ЛЕВ
ГУМИЛЕВ:
СУДЬБА И ИДЕИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга посвящена драматичной судьбе и научному творчеству выдающегося отечественного историка, этнолога и географа Льва Николаевича Гумилева. Центральную часть ее занимает работа президента Русского географического общества С. Б. Лаврова, около 30 лет проработавшего вместе с Л. Н. Гумилевым на Географическом факультете ЛГУ и в Географическом обществе. Книга дополнена автобиографией Л. Н. Гумилева и его воспоминаниями о своих знаменитых родителях Николае Гумилеве и Анне Ахматовой, а также воспоминаниями наиболее близких к нему людей — его вдовы Н. В. Гумилевой, писателя Д. М. Балашова, Ю. К. Ефремова К. П. Иванова и других.

Книга представит большой интерес для всех, кто интересуется творчеством выдающегося ученого и мыслителя.

- ЛЕВ ГУМИЛЕВ. «АВТОБИОГРАФИЯ. АВТОНЕКРОЛОГ»
  - Лев Гумилев
    - Л. Н. Гумилев
    - Л. Н. Гумилев
  - Сергей Лавров
    - От автора
    - 1. Детство
    - 2. Его университеты
      - 2.1. Необрый, но любимый город
      - 2.2. Злой гений Льва Гумилева
      - 2.3. Экспедиционные университеты
    - 3. «Первая Голгофа»
    - 4. Четыре года просвета
    - 5. «Вторая Голгофа»
    - 6. Ретро: Рождение и первая жизнь евразийства
      - 6.1. Пётр Савицкий — лидер «ведущей тройки» евразийцев. Начало переписки
      - 6.2. Трудные поиски «идеи-силы»
      - 6.3 Выход на геополитику
      - 6.4. Магистральные пути евразийства
      - 6.5. Кризис евразийства и судьба П. Савицкого
    - 7. Трудное рождение «степной трилогии»
      - 7.1. На воле
      - 7.2. Кто такой Хара-Даван?
      - 7.3. Время действия: 1957–1960 гг.
      - 7.4. Почему «хунну»?

- 7.5. Как могло случиться?
- 7.6. Расправа с «новичком»
- 7.7. Древние тюрки и будущая докторская
- 7.8. Л.Н. ведёт криминалистическое расследование
- 8. Гумилёвское открытие Хазарии
  -
  - 8.1. Истори выходит на географию (Каспий: «кроты» — профессионалы и любители)
  - 8.2. И снова гетерохронность (От Каспия к глобальности...)
- 9. Конец 60-х гг.: новые книги, обретение уюта
  -
  - 9.1. Разграбление двух архивов
  - 9.2. «Экологическая ниша» или «отторжение»?
  - 9. 3. Венец «степной трилогии»
  - 9.4. Чингисхан: новое прочтение
  - 9.5. Конец «чёрной легенды»? Неожиданные союзники на Западе
- 10. А было ли иго?
  -
  - 10.1. Спор историков. Родилась ли истина?
  - 10.2. Оккупация или симбиоз?
  - 10.3. Геополитика Куликовской битвы. Становление суперэтноса
- 11. Годы признания
  -
  - 11.1. Лучше было бы наоборот
  - 11.2. Популярность мнимая и подлинная
  - 11.3. Покой нам только снится...
- 12. Свет и тени теории этногенеза
  -
  - 12.1. Этногенез: шанхайский вариант
  - 12.2. Самое трудное — определить понятие
  - 12.3. Пассионарность: «за» и «против». Был ли пассионарен сам Л.Н.?
- 13. Уроки Льва Гумилёва

○ Воспоминания о Л. Н. Гумилёве
- История
  - Н. В. Гумилёва
  - К. П. Иванов

- О. Г. Новикова
  -
  - 1. «Добровольцем — на фронт!»
  - 2. «Служил зенитчиком...»
  - 3. «Освобождал Западную Польшу, вернее, окраины ее»
  - 4. «Мой адрес — полевая почта 28807-г»
  - 5. «На Берлин!»
  - 6. «Победа была одержана в сосновых лесах под Берлином»
  - 7. «Наукой можно заниматься везде»
  - 8. Дружба народов
  - 9. «Был май, сирень цвела»
  - Послесловие
- Ю. К. Ефремов
- А. И. Лукьянов
- Савва Ямщиков
- Приветствие участникам и гостям съезда РГО
- Л. Д. Стеклянникова
- Д. М. Балашов

- Хроника жизни Л. Н. Гумилёва
- Фотографии

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19

- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63

- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107

- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151

- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195

- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239

- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283

- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327

- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371

- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415

- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459

- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503

- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547

- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577
- ○ 578
- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582
- ○ 583
- ○ 584
- ○ 585
- ○ 586
- ○ 587
- ○ 588
- ○ 589
- ○ 590
- ○ 591

- ○ 592
- ○ 593
- ○ 594
- ○ 595
- ○ 596
- ○ 597
- ○ 598
- ○ 599
- ○ 600
- ○ 601
- ○ 602
- ○ 603
- ○ 604
- ○ 605
- ○ 606
- ○ 607
- ○ 608
- ○ 609
- ○ 610
- ○ 611
- ○ 612
- ○ 613
- ○ 614
- ○ 615
- ○ 616
- ○ 617
- ○ 618
- ○ 619
- ○ 620
- ○ 621
- ○ 622
- ○ 623
- ○ 624
- ○ 625
- ○ 626
- ○ 627
- ○ 628
- ○ 629
- ○ 630
- ○ 631
- ○ 632
- ○ 633
- ○ 634
- ○ 635

- ○ 636
- ○ 637
- ○ 638
- ○ 639
- ○ 640
- ○ 641
- ○ 642
- ○ 643
- ○ 644
- ○ 645
- ○ 646
- ○ 647
- ○ 648
- ○ 649
- ○ 650
- ○ 651
- ○ 652
- ○ 653
- ○ 654
- ○ 655
- ○ 656
- ○ 657
- ○ 658
- ○ 659
- ○ 660
- ○ 661
- ○ 662
- ○ 663
- ○ 664
- ○ 665
- ○ 666
- ○ 667
- ○ 668
- ○ 669
- ○ 670
- ○ 671
- ○ 672
- ○ 673
- ○ 674
- ○ 675
- ○ 676
- ○ 677
- ○ 678
- ○ 679

- ○ 680
- ○ 681
- ○ 682
- ○ 683
- ○ 684
- ○ 685
- ○ 686
- ○ 687
- ○ 688
- ○ 689
- ○ 690
- ○ 691
- ○ 692
- ○ 693
- ○ 694
- ○ 695
- ○ 696
- ○ 697
- ○ 698
- ○ 699
- ○ 700
- ○ 701
- ○ 702
- ○ 703
- ○ 704
- ○ 705
- ○ 706
- ○ 707
- ○ 708
- ○ 709
- ○ 710
- ○ 711
- ○ 712
- ○ 713
- ○ 714
- ○ 715
- ○ 716
- ○ 717
- ○ 718
- ○ 719
- ○ 720
- ○ 721
- ○ 722
- ○ 723

- ○ 724
- ○ 725
- ○ 726
- ○ 727
- ○ 728
- ○ 729
- ○ 730
- ○ 731
- ○ 732
- ○ 733
- ○ 734
- ○ 735
- ○ 736
- ○ 737
- ○ 738
- ○ 739
- ○ 740
- ○ 741
- ○ 742
- ○ 743
- ○ 744
- ○ 745
- ○ 746
- ○ 747
- ○ 748
- ○ 749
- ○ 750
- ○ 751
- ○ 752
- ○ 753
- ○ 754
- ○ 755
- ○ 756
- ○ 757
- ○ 758
- ○ 759
- ○ 760
- ○ 761
- ○ 762
- ○ 763
- ○ 764
- ○ 765
- ○ 766
- ○ 767

- ○ 768
- ○ 769
- ○ 770
- ○ 771
- ○ 772
- ○ 773
- ○ 774
- ○ 775
- ○ 776
- ○ 777
- ○ 778
- ○ 779
- ○ 780
- ○ 781
- ○ 782
- ○ 783
- ○ 784
- ○ 785
- ○ 786
- ○ 787
- ○ 788
- ○ 789
- ○ 790
- ○ 791
- ○ 792
- ○ 793
- ○ 794
- ○ 795
- ○ 796
- ○ 797
- ○ 798
- ○ 799
- ○ 800
- ○ 801
- ○ 802
- ○ 803
- ○ 804
- ○ 805
- ○ 806
- ○ 807
- ○ 808
- ○ 809
- ○ 810
- ○ 811

- ○ 812
- ○ 813
- ○ 814
- ○ 815
- ○ 816
- ○ 817
- ○ 818
- ○ 819
- ○ 820
- ○ 821
- ○ 822
- ○ 823
- ○ 824
- ○ 825
- ○ 826
- ○ 827
- ○ 828
- ○ 829
- ○ 830
- ○ 831
- ○ 832
- ○ 833
- ○ 834
- ○ 835
- ○ 836
- ○ 837
- ○ 838
- ○ 839
- ○ 840
- ○ 841
- ○ 842
- ○ 843
- ○ 844
- ○ 845
- ○ 846
- ○ 847
- ○ 848
- ○ 849
- ○ 850
- ○ 851
- ○ 852
- ○ 853
- ○ 854
- ○ 855

- ○ 856
- ○ 857
- ○ 858
- ○ 859
- ○ 860
- ○ 861
- ○ 862
- ○ 863
- ○ 864
- ○ 865
- ○ 866
- ○ 867
- ○ 868
- ○ 869
- ○ 870
- ○ 871
- ○ 872
- ○ 873
- ○ 874
- ○ 875
- ○ 876
- ○ 877
- ○ 878
- ○ 879
- ○ 880
- ○ 881
- ○ 882
- ○ 883
- ○ 884
- ○ 885
- ○ 886
- ○ 887
- ○ 888
- ○ 889
- ○ 890
- ○ 891
- ○ 892
- ○ 893
- ○ 894
- ○ 895
- ○ 896
- ○ 897
- ○ 898
- ○ 899

- ○ 900
- ○ 901
- ○ 902
- ○ 903
- ○ 904
- ○ 905
- ○ 906
- ○ 907
- ○ 908
- ○ 909
- ○ 910
- ○ 911
- ○ 912
- ○ 913
- ○ 914
- ○ 915
- ○ 916
- ○ 917
- ○ 918
- ○ 919
- ○ 920
- ○ 921
- ○ 922
- ○ 923
- ○ 924
- ○ 925
- ○ 926
- ○ 927
- ○ 928
- ○ 929
- ○ 930
- ○ 931
- ○ 932
- ○ 933
- ○ 934
- ○ 935
- ○ 936
- ○ 937
- ○ 938
- ○ 939
- ○ 940
- ○ 941
- ○ 942
- ○ 943

- ○ 944
- ○ 945
- ○ 946
- ○ 947
- ○ 948
- ○ 949
- ○ 950
- ○ 951
- ○ 952
- ○ 953
- ○ 954
- ○ 955
- ○ 956
- ○ 957
- ○ 958
- ○ 959
- ○ 960
- ○ 961
- ○ 962
- ○ 963
- ○ 964
- ○ 965
- ○ 966
- ○ 967
- ○ 968
- ○ 969
- ○ 970
- ○ 971
- ○ 972
- ○ 973
- ○ 974
- ○ 975
- ○ 976
- ○ 977
- ○ 978
- ○ 979
- ○ 980
- ○ 981
- ○ 982
- ○ 983
- ○ 984
- ○ 985
- ○ 986
- ○ 987

- ○ 988
- ○ 989
- ○ 990
- ○ 991
- ○ 992
- ○ 993
- ○ 994
- ○ 995
- ○ 996
- ○ 997
- ○ 998
- ○ 999
- ○ 1000
- ○ 1001
- ○ 1002
- ○ 1003
- ○ 1004
- ○ 1005
- ○ 1006
- ○ 1007
- ○ 1008
- ○ 1009
- ○ 1010
- ○ 1011
- ○ 1012
- ○ 1013
- ○ 1014
- ○ 1015
- ○ 1016
- ○ 1017
- ○ 1018
- ○ 1019
- ○ 1020
- ○ 1021
- ○ 1022
- ○ 1023
- ○ 1024
- ○ 1025
- ○ 1026
- ○ 1027
- ○ 1028
- ○ 1029
- ○ 1030
- ○ 1031

- ○ 1032
- ○ 1033
- ○ 1034
- ○ 1035
- ○ 1036
- ○ 1037
- ○ 1038
- ○ 1039
- ○ 1040
- ○ 1041
- ○ 1042
- ○ 1043
- ○ 1044
- ○ 1045
- ○ 1046
- ○ 1047
- ○ 1048
- ○ 1049
- ○ 1050
- ○ 1051
- ○ 1052
- ○ 1053
- ○ 1054
- ○ 1055
- ○ 1056
- ○ 1057
- ○ 1058
- ○ 1059
- ○ 1060
- ○ 1061
- ○ 1062
- ○ 1063
- ○ 1064
- ○ 1065
- ○ 1066
- ○ 1067
- ○ 1068
- ○ 1069
- ○ 1070
- ○ 1071
- ○ 1072
- ○ 1073
- ○ 1074
- ○ 1075

- ○ 1076
- ○ 1077
- ○ 1078
- ○ 1079
- ○ 1080
- ○ 1081
- ○ 1082
- ○ 1083
- ○ 1084
- ○ 1085
- ○ 1086
- ○ 1087
- ○ 1088
- ○ 1089
- ○ 1090
- ○ 1091
- ○ 1092
- ○ 1093
- ○ 1094
- ○ 1095
- ○ 1096
- ○ 1097
- ○ 1098
- ○ 1099
- ○ 1100
- ○ 1101
- ○ 1102
- ○ 1103
- ○ 1104
- ○ 1105
- ○ 1106
- ○ 1107
- ○ 1108
- ○ 1109
- ○ 1110
- ○ 1111
- ○ 1112
- ○ 1113
- ○ 1114
- ○ 1115
- ○ 1116
- ○ 1117
- ○ 1118
- ○ 1119

- ○ 1120
- ○ 1121
- ○ 1122
- ○ 1123
- ○ 1124
- ○ 1125
- ○ 1126
- ○ 1127
- ○ 1128
- ○ 1129
- ○ 1130
- ○ 1131
- ○ 1132
- ○ 1133
- ○ 1134
- ○ 1135
- ○ 1136
- ○ 1137
- ○ 1138
- ○ 1139
- ○ 1140
- ○ 1141
- ○ 1142
- ○ 1143
- ○ 1144
- ○ 1145
- ○ 1146
- ○ 1147
- ○ 1148
- ○ 1149
- ○ 1150
- ○ 1151
- ○ 1152
- ○ 1153
- ○ 1154
- ○ 1155
- ○ 1156
- ○ 1157
- ○ 1158
- ○ 1159
- ○ 1160
- ○ 1161
- ○ 1162
- ○ 1163

- 1164
- 1165
- 1166
- 1167
- 1168
- 1169
- 1170
- 1171
- 1172
- 1173
- 1174
- 1175
- 1176

ЛЕВ ГУМИЛЕВ. «АВТОБИОГРАФИЯ. АВТОНЕКРОЛОГ»
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ. «ЛЕВ ГУМИЛЕВ: СУДЬБА И ИДЕИ»
«ВОСПОМИНАНИЯ О Л. Н. ГУМИЛЕВЕ»

Лев Гумилев
Автобиография. Воспоминания о родителях. Автонекролог

«... личная биография автора никак не отражает его интеллектуальной жизни. Первую автобиографию мы все пишем для отдела кадров, а вторую, некролог, обычно пишут знакомые или просто сослуживцы. Как правило, они выполняют эту работу халтурно, а жаль, ибо она куда ценнее жизнеописания, в котором львиная доля уделена житейским дрязгам, а не глубинным творческим процессам.

Но можно ли судить за это биографов: они и рады были бы проникнуть в «тайны мастерства», да не умеют. Тайну может раскрыть только сам автор, но тогда это будет уже не автобиография, а автонекролог, очерк создания и развития научной идеи, той нити Ариадны, с помощью которой иногда удается выбраться из лабиринта несообразностей и создать непротиворечивую версию, называемую научной теорией.»

Лев Гумилев

Л. Н. Гумилев
Автобиография. Воспоминания о родителях[1]

Я, Лев Николаевич Гумилев, родился в 1912 году, осенью, 1 октября по новому стилю. В этот день, что очень редко бывает, пошел снег. Родился я на Васильевском острове в родильном доме, но родители мои жили в Царском Селе, в маленьком домике, который заработал мой покойный дед и сделал из него небольшой семейный дом. Кроме того, мои родители обладали опять-таки небольшим двухэтажным домом (вернее, домом с мезонином) в Тверской губернии — в родной земле моей бабушки, рядом с деревней Слепнево.

Отношения у бабушки с крестьянами были самыми наилучшими, потому что детство свое она провела в этой деревне, с этими девочками, которые потом стали бабами. В детстве она играла с ними в лапту, и вообще они были в самых наилучших отношениях. В 1917 году, когда, естественно, надо было уезжать, крестьяне помогли нам уложиться на возы и перевезли в соседний город Бежецк, где я и прожил первые Шлет своей жизни.

За это время папа приезжал к нам раза два или три. Один раз он занимался со мной, рассказывая мне, что такое стихи и как я должен изучать историю; велел дать мне книжку о завоевании готами Италии и победе византийцев над готами, которую я потом внимательно прочитал. И я помню только, что бабушка моя, Анна Ивановна, говорила: «Коля, зачем ты даешь ребенку такие сложные книги?» А он говорил: «Ничего, он поймет». Я не только понял, но и запомнил все до сего времени.

Он рисовал для меня картинки — «Подвиги Геракла» и делал к ним литературные подписи. Например, «Геракл, сражающийся с немейским львом» и подпись была такая:

От ужаса вода иссякла
В расщелинах Лазурских скал,

Когда под палицей Геракла
Окровавленный лев упал.

Второе — «Бой Геракла с гидрой»:

Уже у гидры семиголовой
Одна скатилась голова,
И наступает Геракл суровый
Весь золотой под шкурой льва.

И третье — «Геракл, который расстреливает гарпий из лука»:

Ни клюв железный, ни стальные крылья
От стрел Геракла гарпий не спасут.
Залитый кровью и покрытый пылью
Во тьме герой творит свой страшный суд.

Эти картинки и подписи сохранялись некоторое время. Естественно, они не уцелели, но память меня детская не подвела: я цитирую совершенно точно.

Последний раз папа приезжал для того, чтобы увезти свою вторую жену Анну Николаевну Энгельгардт-Гумилеву вместе с моей маленькой сестрицей Леночкой. Надо сказать, что с Леночкой у меня сохранялись хорошие отношения. Даже в Ленинграде, когда я вернулся, я к ней заходил, с ней встречался, и вообще мы были в самых дружеских отношениях, хотя встречались, естественно, редко — она была много моложе меня, на целых 7 лет.

Когда мне было 5 лет, бабушка Анна Ивановна привезла меня из Бежецка к папе в Ленинград, но папа в это время уже жил отдельно от мамы, он занимал квартиру, брошенную Маковским, на углу Ивановской и Николаевской. Но эта квартира была очень холодная, большая, отапливать ее было невозможно. Коридоры там были темные и страшные. И оттуда переехали в очень уютную квартиру — Преображенская, 5, ныне улица Радищева, если я не ошибаюсь, где было все очень мило и уютно.

Папа один раз водил меня к маме в Шереметевский дворец, где жил бывший репетитор детей Шереметевых ассириолог Владимир Казимирович Шилейко (тогда я его помню). Я некоторое время поиграл у мамы, потом папа зашел за мной, взял меня и увел обратно. С Шилейко я с тех пор не встречался, потому что, когда я приехал снова, вернее, бабушка меня

привезла (остановилась она у своей племянницы Констанции Фридольфовны, вполне русской женщины, вот с таким скандинавским отчеством), то она возила меня к маме в Мраморный дворец, где та продолжала жить с Шилейкой. Но Шилейки не было в это время, вместо него сидел Пунин, ее земляк, и как выяснилось впоследствии, ставший ее морганатическим мужем. Он сидел и молчал. Я поздоровался с мамой, там нас сфотографировали, фотокарточка осталась.

Папа ко мне относился очень хорошо и внимательно. Он дал мне возможность получиться поэзии и даже посвятил мне большую свою африканскую поэму «Мик», сделав на ней надпись: «Это сыну Льву. Пускай он ее дерет и треплет, как хочет». Но последний раз я папу видел, когда он приезжал, чтобы забрать Анну Николаевну с Леной в Петроград (Петроград тогда еще). И с тех пор я его не видел.

К маме я приехал уже позже, когда мне было 17 лет (это был 1929 год), и кончил школу уже в Ленинграде. Но жить мне, надо сказать, в этой квартире, которая принадлежала Пунину, сотруднику Русского музея, было довольно скверно, потому что ночевал я в коридоре, на сундуках. Коридор не отапливался, был холодный. А мама уделяла мне внимание только для того, чтобы заниматься со мной французским языком. Но при ее антипедагогических способностях я очень трудно это воспринимал и доучил французский язык, уже когда поступил в университет.

Когда я кончил школу, то Пунин потребовал, чтобы я уезжал обратно в Бежецк, где было делать нечего и учиться нечему и работать было негде. И мне пришлось переехать к знакомым, которые использовали меня в качестве помощника по хозяйству — не совсем домработницей, а так сказать носильщиком продуктов. Оттуда я уехал в экспедицию, потому что биржа труда меня устроила в Геокомитет. Но когда я вернулся, Пунин встретил меня и, открыв мне дверь, сказал: «Зачем ты приехал, тебе даже переночевать негде». Тем не менее меня приютили знакомые, а затем, когда шла паспортизация, Пунин разрешил прописаться у него, хотя я жил на свою очень скромную зарплату совершенно отдельно.

* * *

Из всех интеллигентов, с которыми я встречался, лучше всех ко мне отнесся ныне покойный ректор университета Александр Алексеевич Вознесенский, который дал мне возможность

защитить диссертацию в университете, но это было уже значительно позже. Прошла война, большую часть которой я провел в Норильске, работая в шахтах и в геологических экспедициях, после чего я пошел в армию добровольно и участвовал в штурме Берлина. Когда я вернулся, то узнал, что сестра моя Лена вместе со своей матерью Анной Николаевной погибли во время блокады. Мама встретила меня очень радостно, мы целую ночь с ней разговаривали, она читала мне свою новую поэму, свои новые стихи.

С Пуниным она уже рассталась совершенно, и у нее были две комнаты. В одну из них она меня пустила и прописала. И я поступил в аспирантуру Института востоковедения, но как только совершилось постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», т. е. о моей маме, то меня оттуда выгнали, несмотря на то что за первый же год я сделал все положенные доклады и сдал все положенные экзамены. И диссертация у меня тоже была готова, но тогдашняя дирекция института, которой командовал доктор филологических наук Боровков, заявила, чтобы я убирался и они меня не поставят на защиту. И я оказался на улице с очень плохой характеристикой, совершенно несправедливой. Там было написано, что я был высокомерен и замкнут (хотя я очень общительный человек) и что я не вел общественную работу, которую мне, по правде сказать, и не поручал никто. Но с такой характеристикой защищать диссертацию было нельзя, и остались мы с мамой в очень тяжелом положении.

И тут мне удалось устроиться в психиатрическую больницу библиотекарем. Там я наладил библиотеку, выдавал больным и врачам книги, устроил передвижку, получил хорошую характеристику, и тогда-то я и обратился в университет, где ректор разрешил мне защищать кандидатскую диссертацию. Мы с мамой очень переживали это, потому что жили очень скудно: отапливать помещение было невозможно, денег на дрова не было и мне помнится, как я пилил и колол дрова и таскал их на третий этаж на своем горбу, чтобы отапливать хотя бы одну комнату из двух.

С питанием было тоже очень плохо, и поэтому, когда я шел на защиту кандидатской диссертации, я съел все, что было дома. Дома не осталось даже куска хлеба, и отпраздновать мою защиту можно было только в складчину. Кое-кто подкинул мне денег, пришли, поздравили меня с защитой кандидатской, совершенно блестящей.

Институт востоковедения Академии наук и тут сыграл свою роль. Он вызвал Александра Натановича Бернштама, заслуженного деятеля киргизской науки, для того чтобы он

разоблачил меня перед Ученым советом и завалил мою диссертацию. Он сделал мне 16 возражений, из которых два считал самыми злобными: незнание восточных языков и незнание и неупотребление марксизма. Я ответил ему по 16-ти пунктам, в том числе я говорил с ним по-персидски, на что он не мог ответить; я приводил ему тюркские тексты, которые он плохо понимал, гораздо хуже меня. Я рассказал свою концепцию в духе исторического материализма и спросил моих учителей, насколько они согласны. Привел цитату из его работы, где было явное нарушение всякой логики, и, когда он запротестовал с места, я попросил принести журнал из библиотеки, чтобы проверить цитату.

15 голосов было за меня, один — против. Это было для меня совершеннейшее торжество, потому что с этими академическими деятелями я устроил избиение младенцев, играя при этом роль царя Ирода.

Но после этого постановления мы с мамой оказались опять в бедственном положении. С большим трудом меня приняли на работу в Музей этнографии народов СССР с зарплатой в 100 рублей, т. е. примерно на том же положении, как я был в аспирантуре. Денег у нас не хватало. Мама, надо сказать, очень переживала лишение возможности печататься. Она мужественно переживала это, она не жаловалась никому. Она только очень хотела, чтобы ей разрешили снова вернуться к литературной деятельности. У нее были жуткие бессонницы, она почти не спала, засыпала только уже под утро, часов так в семь, когда я собирался уходить на работу. После чего я возвращался, приносил ей еду, кормил ее, а остальное время она читала французские и английские книжки, и даже немецкую одну прочла (хотя она не любила немецкий язык) и читала Горация по-латыни. У нее были исключительные филологические способности. Книги я ей доставлял самые разнообразные. Я брал себе книги для работы из библиотеки домой, и, когда она кричала: «Принеси что-нибудь почитать», я ей давал какую-нибудь английскую книгу, например эпос о Гэсере или о Тибете. Или, например, Константина Багрянородного она читала. Вот таким образом все время занимаясь, она очень развилась, расширила свой кругозор. А я, грешный человек, тоже поднаучился. Пока не случилось событие, которому объяснение я не могу найти до сих пор.

Внезапно в 1949 году, после того как мама погостила в Москве у Ардовых и вернулась, пришли люди, которые арестовали сначала Лунина, нашего соседа, а потом пришли за мной, арестовали меня. Следствие заключалось в том, что следователи задавали мне один и тот же вопрос: «Скажи что-

нибудь антисоветское, в чем ты виноват». А я не знал, в чем я виноват. Я считал, что я ни в чем не виноват, и никаких неприятностей вообще вспомнить даже не мог. Тем не менее меня осудили на Шлет, опять-таки особым совещанием, причем в заключение мне прокурор сказал: «Вы опасны, потому что вы грамотны. Получите Шлет». И я их получил.

Срок я отбывал сначала в Караганде, потом в Междуреченске, между двумя реками очень красивыми — Томъю и Усой, и, наконец, в Омске, там же, где и Достоевский был. И тут 1956 год, XX съезд (дата, которую я вспоминаю всегда с благоговением) дал мне свободу. Мама присылала мне посылки — каждый месяц одну посылку рублей на 200 тогдашними деньгами, т. е. на наши деньги на 20 рублей. Ну кое-как я в общем не умер при этой помощи.

Но когда я вернулся, к сожалению, я застал женщину старую и почти мне незнакомую. Ее общение за это время с московскими друзьями — с Ардовым и их компанией, среди которых русских, кажется, не было никого — очень повлияло на нее, и она встретила меня очень холодно, без всякого участия и сочувствия. И даже не поехала со мной из Москвы в Ленинград, чтобы прописать в своей квартире. Меня прописала одна сослуживица (Т. А. Крюкова. — Ред.), после чего мама явилась, сразу устроила скандал — как я смел вообще прописываться?! (А не прописавшись, нельзя было жить в Ленинграде!) После этого я прописался у нее, но уже тех близких отношений, которые я помнил в своем детстве, у меня с ней не было.

Здесь она от меня требовала, чтобы я помогал ей переводить стихи, что я и делал по мере своих сил, и тем самым у нас появилось довольно большое количество денег. Я поступил работать в Эрмитаж, куда меня принял мой старый учитель профессор Артамонов, с которым я был вместе в экспедиции. Там я написал книгу «Хунну», написал свою диссертацию «Древние тюрки», которую защитил в 1961 году. Маме, кажется, очень не нравилось, что я защищаю докторскую диссертацию. Почему — я не знаю. Очевидно, она находилась под сильным влиянием. В результате 30 сентября 1961 года мы расстались, и я больше ее не видел, пока ее не привезли в Ленинград, и я организовал ее похороны и поставил ей памятник на те деньги, которые у нее на книжке остались и я унаследовал, доложив свои, которые у меня были.

Надо сказать, что для меня мама представляется в двух ипостасях: милая, веселая, легкомысленная дама, которая могла забыть сделать обед, оставить мне деньги на то, чтобы я где-то поел, она могла забыть — она вся была в стихах, вся была в

чтений. Она очень много читала Шекспира и о Шекспире и часто не давала мне заниматься, потому что если она вычитывала что-нибудь интересное, вызывала меня и сообщала мне это. Ну, приходилось как-то реагировать и переживать. Но все равно это было все очень мило и трогательно, я бы сказал. Но когда я вернулся после 56-го года и когда началась моя хорошая творческая трудовая жизнь, то она потеряла ко мне всякий интерес. Иногда я делал ей визиты, но она не хотела, чтобы я жил ни у нее на квартире, ни даже близко от нее. Я получил очень маленькую комнату в конце Московского проспекта, так что встречались мы эпизодически, редко, и об этом периоде ее жизни я ничего рассказать не могу.

Но своей жизнью, вот этими последними 30-ю годами я очень доволен. В Эрмитаже профессор Артамонов давал мне возможность сидеть в библиотеке и заниматься и писать. Там я доработал то, что я сделал, еще находясь в Сибири, на тяжелых работах, где я был иногда инвалидом, иногда библиотекарем, иногда просто больным, но мне удалось тогда написать очень много черновиков по тем книгам, которые мне присылали. Затем я за 5 лет отработал свои две книги — «Хунну» и «Древние тюрки». Вторую я защитил как диссертацию на степень доктора исторических наук, после чего был приглашен в университет, и — поскольку я интересовался исторической географией — на географический факультет. Это был самый лучший период моей жизни. Я просто был счастлив, что я могу ходить на работу, что я могу читать лекции. На лекции ко мне приходили не только студенты (не смывались, что всех удивляло), но даже в большом количестве вольнослушатели. И все эти 25 лет, которые я в университете, я занимался этой работой, а в свободное время — отпускное и каникулярное — продолжал писать книги по истории, географии и этнологии.

С детства меня интересовала проблема происхождения и исчезновения народов. Но конечно, я эту проблему решить не мог, поскольку ее никто не решил и до сих пор. То есть примерно 50 лет я думал над этой тематикой, собирал материал, и, наконец, когда у нас вышла книга Вернадского «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения» и книга биолога Берталанфи о систематическом подходе, изданная Институтом философии, я соединил эти данные естественных наук с моей исторической подготовкой и предложил синтетическую концепцию пассионарной теории этногенеза. Она была опубликована и в «Вестнике Ленинградского университета», и в журнале «Природа», что сразу подняло тираж журнала, который шел к минимуму.

После этого споров по высказанным мною тезисам было очень мало. Сначала это было вследствие непонимания, непривычности моих взглядов, но потом академик Бромлей (очень способный человек, очень восприимчивый), присутствуя на моих докладах, повторял их содержание у себя в институте, о чем мне сообщали его сотрудники, поздравляя с тем, что я получил первого ученика. Потом он издавал книги, употребляя мои определения, мои дефиниции, и таким образом моя работа оказалась принятой (хотя и без моего авторства). Институт этнографии работал по моим идеям и работает до сих пор. Подробности об этом были изложены в «Известиях Географического общества» моим учеником Ивановым (№ 3 за 1985 год). В результате получилась довольно странная история: я не остановился на достигнутом, я продолжал работать дальше, но уже никакой поддержки со стороны Академии наук я не встречал. В университете сложилась какая-то странная ситуация: бывший ректор Алисковский вместо того, чтобы принять решение о публикации моей представленной и одобренной работы (факультет представил), отложил это до сих пор.

Сейчас у меня на палитре четыре больших книги:

· «Тысячелетие вокруг Каспия», то есть этногенез всех народов региона за полторы тысячи лет;

· затем «Древняя Русь и Великая степь» о соотношении народов Советского Союза, где я доказываю, что у них не было принципиальной вражды, а были отдельные столкновения, которые не выходили за рамки удельных междукняжеских войн;

· Курс лекций, который у меня был депонирован, а затем переработан в монографию;

· и, наконец, «Деяния монголов», братского нашего народа, о котором у меня уже первичная источниковедческая публикация была в 1970 году, а сейчас это обобщенная работа по этногенезу.

* * *

Самым трудным для моей научной идеи было то, что ее негде было обсудить, поскольку это синтетическая наука, и все отвечали, что это не по их специальности. И это было верно, потому что наука действительно новая. И тогда я представил ее как вторую докторскую диссертацию на соискание степени уже не по историческим, а по географическим наукам. Прошла она блестяще, но ВАК не утвердил ее на том основании, что «это выше, чем докторская, а потому и не докторская». И, не присудив мне степени, назначил меня членом специализированного

Ученого совета по присуждению докторских степеней по географии. В каковом положении я и сейчас пребываю.

Так вот, на сегодняшний день — 16 сентября 1986 года — я автор восьми опубликованных книг, более 100 статей оригинальных и примерно стольких же переводных (переведенных на разные иностранные языки), и четыре книги у меня подготовлены к печати и как рукописи могут быть представлены в соответствующие издательства. Хотя до сих пор, к сожалению, мне не удалось найти издательство, которое бы мои книги печатало, по соображениям, мне совершенно непонятным.

Итак, я считаю, что творческий вклад в культуру моих родителей я продолжил в своей области, оригинально, не подражательно, и очень счастлив, что жизнь моя прошла не бесполезно для нашей советской культуры.

Л. Н. Гумилев
Автонекролог[2]

Я, Лев Николаевич Гумилев, родился 1 октября 1912 года в семье двух поэтов — Гумилева Николая Степановича и Ахматовой Анны Андреевны, в городе Царское Село. Детство свое я помню очень туманно и толково сказать о нем ничего не могу. Известно мне только, что я был передан сразу на руки бабушке — Анне Ивановне Гумилевой, увезен в Тверскую губернию, где у нас был сначала дом в деревне, а потом мы жили в городе Бежецке, в котором я и кончил среднюю школу. В это время я увлекся историей, и увлекся потрясающе, потому что перечитал все книги по истории, которые были в Бежецке, и по детской молодой памяти я очень много запомнил.

Когда я вернулся обратно в Ленинград, то я застал картину очень для меня неблагоприятную. Для того чтобы закрепиться в Ленинграде, меня оставили в школе еще на один год, что пошло мне только на пользу, так как я уже мог не заниматься физикой, химией, математикой и прочими вещами (которые мне были известны), а занимался я главным образом историей и попробовал поступить на курсы немецкого языка, готовящие в Герценовский институт. Это был 1930 год, но конечно в этот год меня не приняли в Герценовский институт из-за моего дворянского происхождения. К счастью, биржа труда отправила меня работать коллектором в ЦНИГРИ — Геологоразведочный институт. Я попытался изучать геологию, но успеха никакого не имел, потому что эта наука была не моего профиля, но я тем не менее в должности наименьшей — младшего коллектора — поехал в Сибирь, на Байкал, где участвовал в экспедиции, и месяцы эти, которые я там провел, были для меня очень счастливыми, и я увлекся полевой работой.

По возвращении в Ленинград, когда эта работа кончилась, меня устроили в экспедицию в Таджикистан. Но дело в том, что мой новый начальник экспедиции — очень жесткий латыш — занимался гельминтологией, т. е. из животов лягушек извлекал глистов. Мне это мало нравилось, это было не в моем вкусе, а

самое главное — я провинился тем, что, ловя лягушек (это была моя обязанность), я пощадил жабу, которая произвела на меня исключительно хорошее впечатление, и не принес ее на растерзание. За это был выгнан из экспедиции, но устроился там малярийным разведчиком и целых 11 месяцев жил в Таджикистане, изучая таджикский язык. Научился я говорить там довольно бодро, бегло, это мне принесло потом большую пользу. После этого, отработав зиму опять-таки в Геологоразведочном институте, я по сокращению штатов был уволен и перешел в Институт геологии на Четвертичную комиссию с темой уже мне более близкой — археологической. Участвовал в Крымской экспедиции, которая раскапывала пещеру. Это уже было для меня гораздо ближе, понятнее и приятнее. Но, к сожалению, после того как мы вернулись, мой начальник экспедиции крупный археолог Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский был арестован, посажен на 3 года, и я опять оказался без работы. И тогда я рискнул и подал заявление в университет.

34-й год был легким годом, и поэтому меня в университет приняли, причем самое трудное для меня было достать справку о моем социальном происхождении. Отец родился в Кронштадте, а Кронштадт был город закрытый, но я нашелся: пошел в библиотеку и сделал выписку из Большой советской энциклопедии, подал ее как справку, и, поскольку это ссылка на печатное издание, она была принята, и меня приняли на исторический факультет. Поступив на истфак, я с охотой занимался, потому что меня очень увлекли те предметы, которые там преподавались. И вдруг случилось общенародное несчастье, которое ударило и по мне, — гибель Сергея Мироновича Кирова. После этого в Ленинграде началась какая-то фантасмагория подозрительности, доносов, клеветы и даже (не боюсь этого слова) провокаций.

Осенью 35-го года были арестованы тогдашний муж моей матери Николай Николаевич Пунин, и я, и еще несколько студентов. Но тут мама обратилась к властям, и так как никакого преступления реального у нас не оказалось, нас выпустили. Больше всех от этого пострадал я, так как после этого меня выгнали из университета, и я целую зиму очень бедствовал, даже голодал, т. к. Николай Николаевич Пунин забирал себе все мамины пайки (по карточкам выкупая) и отказывался меня кормить даже обедом, заявляя, что он «не может весь город кормить», т. е. показывая, что я для него совершенно чужой и неприятный человек. Только в конце 36-го года я восстановился благодаря помощи ректора университета Лазуркина, который сказал: «Я не дам искалечить жизнь мальчику». Он разрешил мне

сдать экзамены за 2-й курс, что я сделал экстерном, и поступил на 3-й курс, где с восторгом начал заниматься уже не латынью на этот раз, а персидским языком, который я знал как разговорный (после Таджикистана) и учился теперь грамоте.

Все это продолжалось довольно благополучно для меня, и никаких нареканий я нигде не вызывал, за исключением того, что я один раз провалился по ленинизму — тогда был такой предмет, отличный от теперешнего марксизма, который мы теперь изучаем, — он был какой-то очень специфический, но я его пересдал, и на это все закончилось благополучно для меня.

Но в 38-м году я был снова арестован, и на этот раз уже следователь мне заявил, что я арестован как сын своего отца, и он сказал: «Вам любить нас не за что». Это было совершенно нелепо, потому что все люди, принимавшие участие в «Таганцевском деле», которое имело место в 21-м году, к 36-му уже были арестованы и расстреляны. Но следователь капитан Лотышев не посчитался с этим, и после семи ночей избиения мне было предложено подписать протокол, который не я составлял и который я даже не смог прочесть, будучи очень избитым. Сам капитан Лотышев потом, по слухам, был расстрелян в том же 38-м году или в начале 39-го. Суд, трибунал меня и двух студентов, с которыми я был еле знаком (просто визуально помнил их по университету, они были с другого факультета), осудили нас по этим липовым документам с обвинением в террористической деятельности, хотя никто из нас не умел ни стрелять, ни на шпагах сражаться, вообще никаким оружием не владел.

Дальше было еще хуже, потому что прокурор тогдашний объявил, что приговор в отношении меня слишком мягок, а сверх 10-ти лет по этой статье полагался расстрел. Когда мне об этом сообщили, я это воспринял как-то очень поверхностно, потому что я сидел в камере и очень хотел курить и больше думал о том, где бы закурить, чем о том, останусь я жив или нет. Но тут произошло опять странное обстоятельство: несмотря на отмену приговора, в силу тогдашней общей неразберихи и безобразия, меня отправили в этап на Беломорский канал. Оттуда меня, разумеется, вернули для проведения дальнейшего следствия, но за это время был снят и уничтожен Ежов и расстрелян тот самый прокурор, который требовал для меня отмены за мягкостью. Следствие показало полное отсутствие каких-либо преступных действий, и меня перевели на особое совещание, которое дало мне всего-навсего 5 лет, после чего я поехал в Норильск и работал там сначала на общих работах, потом в геологическом отделе и, наконец, в химической лаборатории архивариусом.

Окончил я срок в 1943 году, и как безупречно проведший все

время без всяких нареканий и нарушений лагерного режима я был отпущен и полтора года работал в экспедиции того же самого Норильского комбината. Мне повезло сделать некоторые открытия: я открыл большое месторождение железа на Нижней Тунгуске при помощи магнитометрической съемки. И тогда я попросил — как в благодарность — отпустить меня в армию.

Начальство долго ломалось, колебалось, но потом отпустили все-таки. Я поехал добровольцем на фронт и попал сначала в лагерь «Неремушка», откуда нас, срочно обучив в течение 7 дней держать винтовку, ходить в строю и отдавать честь, отправили на фронт в сидячем вагоне. Было очень холодно, голодно, очень тяжело. Но когда мы доехали до Брест-Литовска, опять судьба вмешалась: наш эшелон, который шел первым, завернули на одну станцию назад (уж не знаю, где она была) и там стали обучать зенитной артиллерии. Обучение продолжалось 2 недели. За это время был прорван фронт на Висле, я получил сразу же назначение в зенитную часть и поехал в нее. Там я немножко отъелся и в общем довольно благополучно служил, пока меня не перевели в полевую артиллерию, о которой я не имел ни малейшего представления.

Это было уже в Германии. И тут я сделал действительно проступок, который вполне объясним. У немцев почти в каждом доме были очень вкусные банки с маринованными вишнями, и в то время, когда наша автомобильная колонна шла на марше и останавливалась, солдаты бегали искать эти вишни. Побежал и я. А в это время колонна тронулась, и я оказался один посреди Германии, правда, с карабином и гранатой в кармане. Три дня я ходил и искал свою часть. Убедившись, что я ее не найду, я примкнул к той самой артиллерии, которой я был обучен — к зенитной. Меня приняли, допросили, выяснили, что я ничего дурного не сделал, немцев не обидел (да и не мог их обидеть, их не было там — они все убежали). И в этой части — полк 1386 31-й дивизии Резерва Главного командования — я закончил войну, являясь участником штурма Берлина.

К сожалению, я попал не в самую лучшую из батарей. Командир этой батареи старший лейтенант Финкельштейн невзлюбил меня и поэтому лишал всех наград и поощрений. И даже когда под городом Тойпицем я поднял батарею по тревоге, чтобы отразить немецкую контратаку, был сделан вид, что я тут ни при чем и контратаки никакой не было, и за это я не получил ни малейшей награды. Но когда война кончилась и понадобилось описать боевой опыт дивизии, который было поручено написать нашей бригаде из десяти-двенадцати толковых и грамотных офицеров, сержантов и рядовых, командование дивизии нашло

только меня. И я это сочинение написал, за что получил в виде награды чистое, свежее обмундирование: гимнастерку и шаровары, а также освобождение от нарядов и работ до демобилизации, которая должна была быть через 2 недели.

После этого я вернулся в Ленинград, пришел с удовольствием по знакомым улицам домой, встретил свою мать, которая обняла меня, расцеловала и очень приветствовала. Мы с ней всю ночь проговорили, потом я пошел в университет, где декан исторического факультета Мавродин встретил меня также ласково и приветливо, называл «Лёва» и разрешил мне на выбор: или поступить на очный, или на заочный, или сдать экстерном экзамены за 4-й и 5-й курс. Я выбрал последнее и за один месяц сдал все экзамены (поскольку я и в лагере занимался, ну и подготовка у меня была хорошая — историю я знал), сдал кандидатский минимум по французскому языку и по марксизму (так сказать, по истории философии). Сдал вступительные экзамены в аспирантуру Института востоковедения, где меня сразу же приняли, и я начал заниматься дальше, поехал в экспедицию с профессором Артамоновым.

Но когда я вернулся, то узнал, что в это время мамины стихи не понравились товарищу Жданову и Иосифу Виссарионовичу Сталину тоже, и маму выгнали из Союза, и начались опять черные дни. Прежде чем начальство спохватилось и выгнало меня, я быстро сдал английский язык и специальность (целиком и полностью), причем английский язык на «четверку», а специальность — на «пятерку», и представил кандидатскую диссертацию. Но защитить ее уже мне не разрешили. Меня выгнали из Института востоковедения с мотивировкой: «за несоответствие филологической подготовки избранной специальности», хотя я сдал и персидский язык тоже. Но несоответствие действительно было — требовалось два языка, а я сдал пять. Но тем не менее меня выгнали, и я оказался опять без хлеба, без всякой помощи, без зарплаты. На мое счастье, меня взяли на работу библиотекарем в сумасшедший дом на 5-й линии в больницу Балинского.

Я там проработал полгода, и после этого, согласно советским законам, я должен был представить характеристику с последнего места работы. А там, т. к. я показал свою работу очень хорошо, то мне и выдали вполне приличную характеристику. И я обратился к ректору нашего университета профессору Вознесенскому, который, ознакомившись со всем этим делом, разрешил мне защищать кандидатскую диссертацию.

Есть мне было нечего, поэтому я нанялся в экспедицию на Алтай с профессором Руденко. И пока рецензенты читали мою

работу (а они читали ее сверхдолго!), я заработал там какие-то деньги, вернулся и узнал, что мою работу не хотят ставить на защиту. Прошло некоторое время — месяца три, тяжелейшие в моей жизни, когда не было ни пищи, ни дров, чтобы топить печку (тогда еще было печное отопление), и вдруг мне сообщают, что можно защищать диссертацию. Я являюсь на защиту, там мне говорят: «Нет места. Две диссертации уже поставлены на 28 декабря, но вашу мы поставим первой». Ну, слава Богу! Я не думал даже, в чем дело, но оказалось все просто: против меня выдвинули заслуженного деятеля киргизской науки Александра Натановича Бернштама, который выступил против меня как специалист, опроверг моих рецензентов, пытался опровергнуть меня. 16 возражений он мне выдвинул (я их записал). Два самых крупных были: невладение марксизмом, незнание восточных языков. По поводу марксизма я тут же ему дал марксистскую трактовку моей темы (а тема была: «Подробная политическая история Первого Тюркского каганата») и обращался к Ученому совету, к моим учителям с просьбой оценить — марксизм это или не марксизм. Указал на прямые ошибки, которые допустил Бернштам. По поводу восточных языков — я с ним сначала заговорил по-персидски, а потом привел цитаты по-древнетюркски. Оказалось, что он не знает ни того, ни другого. Из 16-ти членов Ученого совета 15 проголосовали за меня, один голос был против.

После этого встал вопрос, чтобы мне устроиться на работу, и меня приняли, правда, с большой неохотой, в Музей этнографии народов СССР на Инженерной улице в качестве научного сотрудника. Но я еще пока не получил решения ВАКа. Так я его и не дождался, потому что осенью того же 49-го года меня арестовали снова, почему-то привезли из Ленинграда в Москву, в Лефортово, и следователь майор Бурдин два месяца меня допрашивал и выяснил: а) что я недостаточно хорошо знаю марксизм, для того чтобы его оспаривать, второе — что я не сделал ничего плохого — такого, за что меня можно было преследовать, третье — что у меня нет никаких поводов для осуждения, и, в-четвертых, он сказал: «Ну и нравы у вас там!» После чего его сменили, дали мне других следователей, которые составили протоколы без моего участия и передали опять-таки на Особое совещание, которое мне на этот раз дало уже 10 лет. Прокурор, к которому меня возили на Лубянку из Лефортова, объяснил мне, сжалившись над моим недоумением: «Вы опасны, потому что вы грамотны». Я до сих пор не могу понять, почему кандидат исторических наук должен быть безграмотен? После этого я был отправлен сначала в Караганду, оттуда наш лагерь

перевели в Междуреченск, который мы и построили, потом в Омск, где в свое время сидел Достоевский.

Я все время занимался, так как мне удалось получить инвалидность. Я действительно себя очень плохо и слабо чувствовал, и врачи сделали меня инвалидом, и я работал библиотекарем, а попутно я занимался, писал очень много (написал историю хунну по тем материалам, которые мне прислали, и половину истории древних тюрок, недописанную на воле, тоже по тем данным и книгам, которые мне прислали и которые были в библиотеке).

В 56-м году, после XX съезда, о котором я вспоминаю с великой благодарностью, приехала комиссия, которая обследовала всех заключенных (кто за что сидит), и комиссия единогласно вынесла мне «освобождение с полной реабилитацией». Этому помогло то, что профессор Артамонов, профессор Окладников, академик Струве, академик Конрад написали по поводу меня положительные характеристики.

Когда я вернулся, то тут для меня был большой сюрприз и такая неожиданность, которую я и представить себе не мог. Мама моя, о встрече с которой я мечтал весь срок, изменилась настолько, что я ее с трудом узнал. Изменилась она и физиогномически, и психологически, и по отношению ко мне. Она встретила меня очень холодно. Она отправила меня в Ленинград, а сама осталась в Москве, чтобы, очевидно, не прописывать меня. Но меня, правда, прописали сослуживцы, а потом, когда она наконец вернулась, то прописала и она. Я приписываю это изменение влиянию ее окружения, которое создалось за время моего отсутствия, а именно ее новым знакомым и друзьям: Зильберману, Ардову и его семье, Эмме Григорьевне Герштейн, писателю Липкину и многим другим, имена которых я даже теперь не вспомню, но которые ко мне, конечно, положительно не относились.

Когда я вернулся назад, то я долгое время просто не мог понять, какие же у меня отношения с матерью? И когда она приехала и узнала, что я все-таки прописан и встал на очередь на получение квартиры, она устроила мне жуткий скандал: «Как ты смел прописаться?!» Причем мотивов этому не было никаких, она их просто не приводила. Но если бы я не прописался, то, естественно, меня могли бы выслать из Ленинграда как не прописанного. Но тут ей кто-то объяснил, что прописать меня все-таки надо, и через некоторое время я поступил на работу в Эрмитаж, куда меня принял профессор Артамонов, но тоже, видимо, преодолевая очень большое сопротивление.

Я очень чту память профессора Артамонова, его отношение

ко мне и то, что, несмотря на какие-то мне непонятные нажимы, он все-таки принял меня на ставку беременных и больных, после чего я стал получать хоть какую-то зарплату и смог жить. Потом я получил очень маленькую комнату (12 м^2) в коммунальной квартире, забитой людьми, но все-таки хотя бы свой угол. Там я стал очень усиленно заниматься.

Из тех моих записок, которые я привез из лагеря, я составил книжку «Хунну». Она вышла в Востокиздате в 1960 году. Из второй части своих записок я составил несколько статей, которые были опубликованы тогда немедленно (в это время было довольно легко для меня их опубликовать) и доработал докторскую диссертацию, которую и защитил в ноябре 1961 года. Защита эта стоила мне очень больших травм и потерь, т. к. в Институте востоковедения, откуда, очевидно, и писали на меня доносы, ко мне было исключительно плохое отношение. И когда прислали эту диссертацию в московское отделение Института востоковедения, ее сначала потеряли, потом, когда я вернулся, ее разыскали, но отказали мне в рецензии на том основании, что у них Древний Восток — до V века, а у меня — VI-й. Но потом мне все-таки выдали положительную рецензию, и я защитил диссертацию единогласно. После чего получил от ректора нашего университета Александрова предложение перейти из Эрмитажа, где я был старшим научным сотрудником, на ту же должность в университет. Это было связано с тем, что во время моих экспедиций на берега Каспийского моря в поисках Хазарии мне удалось установить изменение уровня Каспийского моря в VI и IX-X веках нашей эры, так как я нашел те слои, в которых были черепки соответствующих эпох.

На следующий год, когда я воспользовался тем, что меня пригласил к себе геолог в качестве сотрудника (у меня были деньги, которые мне выдал Эрмитаж на работу, а у него была машина). Мы вместе провели большую экспедицию, результаты которой затем легли в основу моей книги «Открытие Хазарии» и сделала мне, так сказать, некоторое реноме среди географов. И меня приняли не на исторический факультет, а на географический в маленький Географо-экономический институт, который был при факультете. И это было мое самое большое счастье в жизни, потому что географы, в отличие от историков, и особенно востоковедов, меня не обижали. Правда, они меня и не замечали: вежливо кланялись и проходили мимо, но ничего дурного они мне так за 25 лет и не сделали. И наоборот, отношения были, совершенно, я бы сказал, безоблачные.

В этот период я также очень много работал: оформил диссертацию в книгу «Древние тюрки», которую напечатали

потому, что нужно было возражать против территориальных притязаний Китая, и как таковая моя книга сыграла решающую роль. Китайцы меня предали анафеме, а от территориальных притязаний на Монголию, Среднюю Азию и Сибирь отказались. Потом я написал книгу «Поиски вымышленного царства» о царстве пресвитера Иоанна, которое было ложно, выдумано. Я постарался показать, как в исторических источниках можно отличать правду от лжи, даже не имея параллельной версии. Эта книга имела очень большой резонанс и вызвала очень отрицательное отношение только одного человека — академика Бориса Александровича Рыбакова, который написал по этому поводу в «Вопросах истории» статью на 6 страницах, где очень сильно меня поносил. Мне удалось ответить через журнал «Русская литература», который издавал Пушкинский дом, ответить статьей, где я показал, что на этих 6 страницах академик, кроме трех принципиальных ошибок, допустил 42 фактических. И его сын потом говорил: «Папа никогда не простит Льву Николаевичу 42 ошибки».

После этого мне удалось написать новую книгу «Хунны в Китае» и завершить мой цикл истории Центральной Азии в домонгольский период. Очень трудно мне было ее печатать, потому что редактор Востокиздата, которого мне дали, — Кунин такой был — он издевался надо мной так, как редактора могут издеваться, чувствуя свою полную безопасность. Тем не менее книга, хотя и искалеченная, вышла, без указателя, потому что он переменил страницы и испортил даже составленный мною указатель. Книга была напечатана, и таким образом я закончил первую часть трудов своей жизни — белое пятно в истории Внутренней Азии между Россией и Китаем в домонгольский период.

Этот последний период моей жизни был для меня очень приятным в научном отношении, когда я написал свои основные работы по палеоклимату, по отдельным частным историям Центральной Азии, по этногенезу, но очень тяжелым в отношении бытовом и, главным образом, в отношениях с матерью. Мать находилась под влиянием людей, с которыми я не имел никаких личных контактов, и даже в большинстве своем не был знаком, но ее они интересовали значительно больше, чем я, и поэтому наши отношения в течение первых пяти лет после моего возвращения неизменно ухудшались, в том смысле, что мы отдалялись друг от друга. Пока наконец перед защитой докторской, накануне дня моего рождения в 1961 году, она не выразила свое категорическое нежелание, чтобы я стал доктором исторических наук, и выгнала меня из дома. Это был для меня очень сильный удар, от которого

я заболел и оправился с большим трудом. Но тем не менее у меня хватило выдержки и сил для того, чтобы хорошо защитить докторскую диссертацию и продолжать свою научную работу.

Последние 5 лет ее жизни я с матерью не встречался. Именно за эти последние 5 лет, когда я ее не видел, она написала странную поэму, называемую «Реквием». Реквием по-русски значит панихида. Панихиду по живому человеку считается, согласно нашим древним обычаям, служить грешно, но служат ее только в том случае, когда хотят, чтобы тот, по кому служат панихиду, вернулся к тому, кто ее служит. Это было своего рода волшебство, о котором, вероятно, мать не знала, но как-то унаследовала это как древнерусскую традицию. Во всяком случае, для меня эта поэма была совершеннейшей неожиданностью, и ко мне она, собственно, никакого отношения не имела, потому что зачем же служить панихиду по человеку, которому можно позвонить по телефону.

Пять лет, которые я не виделся с матерью и не знал о том, как она живет (так же как она не знала, как я живу, и не хотела, видимо, этого знать), кончились ее смертью, для меня совершенно неожиданной. Я выполнил свой долг: похоронил ее по нашим русским обычаям, соорудил памятник на те деньги, которые остались мне в наследство от нее на книжке, доложив те, которые были у меня — гонорар за книжку «Хунну». Памятник стоит до сих пор, но, правда, сейчас, будучи больным (у меня очень болят ноги), я не имею возможности посещать его, так как идти там довольно далеко.

Но тем не менее в это тяжелое для меня время я не оставлял науки ни на одну минуту, да и не мог ее оставить, потому что это было единственно приятное в моей жизни. Я активно вел общественную работу в Географическом обществе, поднял Отделение этнографии, которое начало выпускать этнографические научные сборники. Потом вопрос о том, что такое «этнос», т. е. как у нас сейчас принято говорить «нация», был совершенно неясен в самом Институте этнографии, а это необходимо для составления этнографических карт. Я взялся за эту тему и написал 30 статей, посвященных этому вопросу, и затем оформил их в большую работу «Этногенез и биосфера Земли».

И тут для меня началась новая серия затруднений и неприятностей. Эту работу никто не брал на обсуждение, потому что в любом институте говорили: «Это не по нашей специальности». Правда в этом кое-какая была, потому что работа действительно была новаторская, постановка вопроса о синтезе естественных и гуманитарных наук на базе географии — тоже

была новой. И единственным способом для обсуждения книги я избрал защиту второй докторской диссертации. Ведь не обсужденная книга у нас не может идти ни в какое издательство.

Географический факультет пошел мне навстречу: организовали защиту, причем пригласили специалистов географов и биологов. Биолог Алтухов, а географы были Мурзаев и Архангельский, но как доктору исторических наук специальных оппонентов по истории не приглашали, но попросили Институт этнографии высказаться по этому поводу как третье ведущее учреждение. Институт этнографии заявил, что он не компетентен обсуждать эти вопросы, и, как впоследствии выяснилось, он был прав: специалистов, равных мне по вопросам этногенеза и этнической диагностики, у них действительно не было — ни в Ленинграде, где я защищал диссертацию, ни в Москве. Они поэтому и отказались и не выступили. Выступил, правда, в прениях один их представитель, который сказал, что автореферат, с которым он ознакомился, по сравнению с диссертацией — это «как обертка конфеты по сравнению с самой конфетой». После этого у него были такие неприятности в институте (в конце концов его выгнали), что он уже никогда не выступал на моих докладах и вообще нигде.

Издательство «Наука», куда была представлена работа, отправило ее на рецензию в тот же самый Институт этнографии и получило аналогичный ответ, что они не будут давать своего мнения и своего решения, потому что это вопросы, которые им не известны, и они не компетентны в этом.

После этого оказалось, что напечатать эту работу нельзя, и тогда я обратился опять-таки к себе на факультет. Разрешили депонировать эту работу в ВИНИТИ — Всесоюзном институте научной и технической информации, как географическую работу, включающую в себя вопросы охраны природы. Это было сделано, но тоже с очень большими затруднениями. Было три выпуска по 10 авторских листов. Первый выпуск прошел очень легко и спокойно, но потом редакторша Ольга Николаевна Азнем украла остальные два выпуска, унесла их к себе домой и показывала своим знакомым. Мой ученик Костя Иванов нашел ее дом и выяснил, кто эти знакомые, правда только имя, но не фамилию. Первый читатель моей работы назвал себя Мойшей. Но когда оказалось, что это такое нарушение, скажем мягко, равносильное преступлению, за которое полагается от 3 до 8 лет (это мне в нашем юридическом отделе дали мощную консультацию; у нас был очень толковый юрист Борис Ефимов. Он вызвал ее отца — доцента геологического факультета — и сказал: «Если ваша дочка не хочет сидеть, пусть вернет работу»), тогда она ее сразу

принесла. И после этого работа была направлена в ВИНИТИ, но оказалось, что она не выполнила всех правил, обязательных для ВИНИТИ: в машинописи должны быть ровные поля с обеих сторон (для пересъемки и ксерокопирования), а она меня об этом не предупредила. ВИНИТИ выслал мне первый экземпляр работы, оставив для проверки второй у себя. Я приклеил сам эти листы. Но, кроме того, оказалось, что она некоторые буквы забила грязно шрифтом на машинке, и это был повод для того, чтобы снова вернуть мне работу. Но моя жена, на которой я женился в 1967 году, Наталья Викторовна, урожденная Симоновская, — художник, член МОСХа, она исправила эти нарушения, потому что она как художник умела все это сделать грациозно и изящно.

На мое несчастье, в ВАКе в это время произошла реформа (изменился его состав, изменились его подходы), и поэтому ВАК относился к работам как-то, я бы сказал, неконструктивно. В частности, мою работу ВАК не утвердил на том основании, что она «больше, чем докторская, а потому и не докторская». И вместо того чтобы присудить мне степень доктора географических наук, назначил меня членом специализированного Ученого совета по присуждению степеней доктора географических наук. В каковой должности я сейчас и пребываю на факультете.

Кроме того, большое удовлетворение мне приносит то, что мои лекции по этногенезу нашли благодарных слушателей на географическом факультете. Обычно студенты часто смываются с лекций (это не секрет, об этом часто ставился вопрос на Ученом совете: как их надо записывать и принуждать к посещению). С моих лекций студенты перестали смываться после второй или третьей лекции. После этого стали ходить сотрудники института и слушать, что я читаю. После этого, когда я уже стал излагать курс более подробно и отработал его в ряде предварительных лекций, ко мне стали ходить вольнослушатели со всего Ленинграда. И наконец, кончилось тем, что меня вызвали в Новосибирск в Академгородок, где я прочел специальный сокращенный курс и имел большой успех: народ приезжал даже из самого Новосибирска в Академгородок (это час езды на автобусе). Народу было так много, что дверь запирали, но так как там в Академгородке все по преимуществу «технари», то они довольно быстро умели открыть этот замок и проходили в помещение. В зал пускали только по билетам, но там были две двери — в одну впускали, другая была закрытая. Так, вошедший подходил к закрытой двери, под нее подсовывал билет, его товарищ брал и снова проходил.

Чем я объясняю успех своих лекций? Отнюдь не своими

лекторскими способностями — я картавый, не декламацией и не многими подробностями, которые я действительно знаю из истории и которые включал в лекции, чтобы легче было слушать и воспринимать, а той основной идеей, которую я проводил в этих лекциях. Идея эта заключалась в синтезе естественных и гуманитарных наук, то есть я возвысил историю до уровня естественных наук, исследуемых наблюдением и проверяемых теми способами, которые у нас приняты в хорошо развитых естественных науках — физике, биологии, геологии и других науках.

Основная идея такова: этнос отличается от общества и от общественной формации тем, что он существует параллельно обществу, независимо от тех формаций, которые оно переживает и только коррелирует с ними, взаимодействует в тех или иных случаях. Причиной образования этноса я считаю особую флуктуацию биохимической энергии живого вещества, открытую Вернадским, и дальнейший энтропийный процесс, то есть процесс затухания толчка от воздействия окружающей среды. Каждый толчок рано или поздно должен затухнуть. Таким образом, исторический процесс представляется мне не в виде прямой линии, а в виде пучка разноцветных нитей, переплетенных между собой. Они взаимодействуют друг с другом разным способом. Иногда они бывают комплиментарны, т. е. симпатизируют друг другу, иногда, наоборот, эта симпатия исключается, иногда это идет нейтрально.

Каждый этнос развивается как любая система: через фазу подъема к акматической фазе, т. е. фазе наибольшего энергетического накала, затем идет довольно резкий спад, который выходит плавно на прямую — инерционную фазу развития, и как таковой он затем постепенно затухает, сменяясь другими этносами. К социальным соотношениям, например к формациям, это не имеет прямого взаимоотношения, а является как бы фоном, на котором развивается социальная жизнь.

Эта энергия живого вещества биосферы всем известна, все ее видят, хотя отметил ее значение я первый, и сделал я это, размышляя в тюремных условиях над проблемами истории. Я обнаружил, что у некоторых людей в большей или меньшей степени существует тяга к жертвенности, тяга к верности своим идеалам (под идеалом я понимаю далекий прогноз). Эти люди в большей или меньшей степени стремятся к осуществлению того, что для них является более дорогим, чем личное счастье и личная жизнь. Этих людей я назвал пассионариями, а качество это я назвал пассионарностью.

Это не теория «героя и толпы». Дело в том, что эти

пассионарии находятся во всех слоях того или иного этнического или общественного коллектива, но количество их плавно снижается со временем. Но цели у них иногда бывают единые — правильные, подсказанные нужной в данном случае доминантой поведения, а в ином случае — противоречат им. Поскольку это энергия, то она от этого не меняется, она просто показывает степень их (пассионариев) активности.

Эта концепция позволила мне определить, почему возникают подъемы и спады народов: подъемы, когда количество таких людей увеличивается, спады — когда оно уменьшается. Есть посредине оптимальный уровень, когда этих пассионариев столько, сколько нужно для выполнения общих задач государства, или нации, или класса, а остальные работают и соучаствуют в движении вместе с ними.

Эта теория категорически противоречит расовой теории, которая предполагает наличие прирожденных качеств, присущих тем или иным народам за все время существования человечества, и «теории героя и толпы». Но герой может вести ее только тогда, когда в толпе он встречает отзвук у людей менее пассионарных, но тоже пассионарных. Применительно к истории эта теория оправдала себя. И именно для того, чтобы понять, как возникли и погибли Древний Рим, Древний Китай или Арабский халифат, ко мне и ходили люди. Что касается применения этого в современности, то это может сделать любой человек, у которого достаточная компетенция в области новой истории, и осознать, какие перспективы есть, скажем, у Западного мира, у Китая, у Японии и у нашей родины России. Дело в том, что к этому я присоединил географический момент — жесткую связь человеческого коллектива с ландшафтом, т. е. понятие «Родина», и со временем, т. е. понятие «Отечество». Это как бы 2 параметра, которые, перекрещиваясь, дают нужную точку, фокус, характеризующий этнос.

Что касается нашей современности, я скажу, что, по моей концепции, преимущество пассионарного напряжения стоит на стороне Советского Союза и входящих в него братских народов, которые создали систему, относительно Западной Европы молодую, и поэтому имеют больше перспектив для того, чтобы устоять в той борьбе, которая время от времени с XIII века возникала и, видимо, будет возникать и дальше. Но о будущем я говорить, естественно, не могу.

Так как коротко изложить содержание целого раздела новой советской науки я здесь не в состоянии, то вернусь к биографии, не столько собственной, сколько к биографии моей концепции.

После смерти моей матери зашел вопрос о ее наследии.

Единственным наследником был признан я, тем не менее все имущество моей матери, как вещи, так и то, что дорого для всего Советского Союза — ее черновики, было захвачено ее соседкой Пуниной (по мужу Рубинштейн) и присвоено ею себе. Так как я обратился в Пушкинский дом и предложил принять на хранение в архив все литературное наследство моей матери, то Пушкинский дом подал в суд, от которого почему-то довольно быстро отошел, предоставив вести суд мне лично, как обиженному человеку. Три года длился этот процесс, причем захват Пуниной этого имущества и продажа, или, вернее, распродажа его в разные советские учреждения (далеко не полностью, часть она оставила себе), он вызвал осуждение в Ленинградском городском суде, который постановил, что деньги получены Пуниной незаконно. Но почему-то Верховный суд РСФСР, судья Пестриков, объявил, что суд считает, что все украденное подарено, и постановил, что я никакого отношения к наследству своей матери не имею, потому что она все подарила Пуниной, несмотря на то что не только документа на это не было, но и сама Пунина этого не утверждала. Это произвело на меня очень тяжелое впечатление и значительно повлияло на мою работу в смысле ее эффективности.

Но тем не менее я продолжал работать и создал изложение всей своей концепции, ныне депонированной в ВИНИТИ, и заказанное читателями в таком количестве копий, что, согласно советским законам, представившее ее издательство обязано напечатать эту работу как книгу. Сверх этого мной было написано продолжение, которого от меня желали читатели, состоящее из двух частей: «Тысячелетие вокруг Каспия», где объясняются истоки единства и дружбы древних народов, ныне населяющих территорию Советского Союза, и «Древняя Русь и Великая степь», где показывается, что и в древности территория Советского Союза (то есть Родина) и традиции, которые тогда существовали (то есть Отечество) имели то же значение, что и сейчас, и представляли единую целостность, противостоящую на востоке Китаю, на западе — католической Европе. Тогда она была католической, сейчас стала «цивилизованной», но от этого дело не изменилось. И вот здесь оказалось очень сложно, потому что ректор Алисковский (которого сейчас уже нет, его сняли с работы), вместо того чтобы на большом Ученом совете представить рукопись хотя бы к депонированию, задержал ее, отложил и собрался давать снова на рецензию до тех пор, пока он не получит отрицательную рецензию. Но так как ректора этого сняли, заменили ректором Меркурьевым, который прочел мою работу и убедился в том, что она научно полезна и не содержит ничего нелояльного в смысле политическом, он представил ее, к

сожалению, опять к депонированию в ВИНИТИ, но не к печати.

Что же касается последней работы «Древняя Русь и Великая степь», я ее еще не представлял, но мне ее некуда и представлять, потому что до тех пор, пока первая часть не получила какого-то своего оформления, вторую часть представлять невозможно — она основана на первой как на фундаменте.

И вот я нахожусь сейчас в довольно грустном и печальном положении: работы, которые я сделал, имеют положительные рецензии академика Лихачева, профессоров нашего факультета, в частности Сергея Борисовича Лаврова, они представлены к изданию, но почему-то (для меня неясно почему?!) каждое издательство отказывается иметь со мной дело. И это меня очень огорчает и даже травмирует: трудно писать неизвестно для чего о тех проблемах, которые сейчас весьма актуальны, весьма доступны и весьма нужны.

По существу, я являюсь последователем Владимира Ивановича Вернадского в его учении о биосфере и энергии живого вещества, но его идеи о ноосфере никак не связаны с моими представлениями и с моими выводами, и я их не имею ни права, ни желания касаться. Это другая тема — не моя, которую будут решать другие ученые.

Единственный издатель, директор Востокиздата Олег Константинович Дрейер, сжалившись над моим недоумением, объяснил мне, что он печатать меня не будет до тех пор, пока меня не напечатает журнал «Вопросы истории», причем главный редактор этого журнала член-корреспондент Трухановский дважды заказывал мне статьи, принимал их, и сейчас в этом журнале лежит уже третий год принятая статья, которая задерживалась потому (это он, тоже сжалившись надо мной, объяснил мне), что его начальник — академик Бромлей — не хочет, чтобы мои статьи вообще выходили в свет.

Единственное мое желание в жизни (а я сейчас уже стар, мне скоро 75 лет) — это увидеть мои работы напечатанными без предвзятости, со строгой цензурной проверкой и обсужденными научной общественностью без предвзятости, без вмешательства отдельных интересов тех или иных влиятельных людей или тех глупых, которые относятся к науке не так, как я, то есть использующих ее для своих личных интересов. Они вполне могут оторваться от этого и обсудить проблемы правильно — они достаточно для этого квалифицированы. Услышать их беспристрастные отзывы и даже возражения — это последнее, что я хотел бы в своей жизни.

Разумеется, обсуждение целесообразно в моем присутствии, по процедуре защиты, когда я отвечаю каждому из выступающих,

и при лояльном отношении присутствующих и президиума. Тогда я уверен, что те 160 моих статей и 8 книг общим объемом свыше 100 печатных листов получат должную оценку и послужат на пользу науке нашего Отечества и ее дальнейшему процветанию.

Сергей Лавров
Лев Гумилев: Судьба и идеи

«Если ученый изучает предмет бескорыстно, не ставя предвзятой цели, то его открытия могут быть использованы в практической деятельности. Если же он хочет добиться какой-нибудь выгоды для себя, шансы на успех ничтожны. Такова диалектика творчества — один из разделов диалектики природы.»

Лев Гумилев

От автора

Автор считает не конструктивным деление научных работ на академические (трудно читаемые) и популярные (легковесные). Любую сложную проблему можно изложить живым и ясным языком, не снижая научной значимости.

Л. Гумилев

Так писал Лев Николаевич в одной из заявок на будущую книгу, и это было его неизменной позицией, которой он старался держаться. С ней легко соглашаться, но, увы, куда труднее реализовать. Передо мной весь «блок» его книг, и в каждой интереснейшие, нестандартные, порой и очень спорные идеи. Попробуй изложи это «живым и ясным языком», да еще и «не снижая научной значимости». Передо мной фотографии, которые увидит читатель этой книги, и многие из них публикуются впервые, от детских — благополучных, с обоими родителями или одной матерью (уже после 1921 г.), до лагерных, страшных, а потом уж снова благополучных — конца 80-х гг. Это — вехи судьбы сложной и ломаной, трагичной и творческой. При этом огромные отрезки ее совсем «затемнены» для нас, они «дешифрируются» лишь иногда по каким-то письмам «туда» или «оттуда», по чьим-то воспоминаниям. Но сначала — до того, один законный вопрос...

Вопрос, который резонно возникает у читателя — а кто такой автор книги о Л. Н. Гумилеве и как это у него хватило смелости взяться за такую работу. Кажется, он не историк, не этнолог, да и в географии не занимался теми сюжетами, которые интересовали Гумилева — климатические рубежи, пути циклонов, колебания Каспия. Не был он и соавтором Гумилева, правда, соавторов у него вообще не было почти никогда.

Все это верно, а решился я на эту книгу по той главной причине, что Лев Николаевич был наиболее значимой, масштабной личностью изо всех, с кем мне довелось работать в жизни. Да и стаж нашей совместной работы не мал — около 30 лет — с той поры (1962), когда ректор ЛГУ А. Д. Александров взял на работу опального ученого. Взял на географический факультет[3]. Точнее — в Институт при факультете. Система была

такова, что каждый сотрудник НИИ был «приписан» к какой-либо кафедре. Лев Николаевич — к кафедре экономической географии, на которой я работал (а позже — и заведовал ею). Он читал лекции нашим студентам по совсем новому курсу «народоведение», был членом «докторского» Ученого совета, которым я руководил.

Но все это — формальная сторона. Куда важнее другое — при солидной разнице в возрасте (16 лет) между нами сразу же установились теплые дружеские отношения, страшно далекие от схемы «начальник-подчиненный» (смешно такое и сказать о нем!). Только с юмором — а он любил и понимал юмор — спрашивал по телефону мою жену или сына: «А начальник дома?»

Вот эти доверительные отношения исключали обиду даже тогда, когда он мог бы и обидеться, а такие эпизоды были: иногда из парткома ЛГУ настоятельно рекомендовали «приостановить» лекции Л.Н. Все понимали, что это глупость — и тот, кто звонил, и тот, кто принимал эти «центральные указания». Тогда мне приходилось просить Л.Н.: «Отдохните пару недель, пусть почитает эти разы Костя[4]». Л.Н. все понимал, даже не дулся на меня при встречах, а через три-четыре недели все забывалось и «наверху», а Л.Н. вновь появлялся перед студентами.

Сейчас, задумываясь о том времени — конце 60-х — начале 70-х гг., — я начинаю сомневаться в том, что эти звонки инициировались «сверху» — из обкома или горкома КПСС. Дело в том, что в 1968–1972 гг. мне довелось быть секретарем парткома ЛГУ при двух партийных лидерах города — сначала В. С. Толстикове, потом Г. В. Романове. Первого вовсю поносила интеллигенция, считая организатором «интеллектуального зажима» в Ленинграде. Неважно, что это было далеко от истины — «короля играла свита». Ему — знающему, честному и толковому хозяйственнику — было не до этих идеологических «игр»; зато порой был реальным «зажимщиком», своенравным и капризным диктатором.

Но ни тот, ни другой ни разу не «спускали» в университет никаких «указаний» по Гумилеву, полагаю, что они просто не знали такой фамилии. Значит, имела место «перестраховка» у кого-то из университетских парткомовцев. Надо обратить внимание читателя на такую странную вещь — у нас секретарем парткома мог стать только профессор; следовательно, кое-какие университетские традиции все же сохранялись.

Правда, был у меня по поводу Л.Н. контакт с другой «инстанцией», к счастью, одноразовый. В конце 70-х гг. в моем кабинете появился очень скромный, внешне неприметный человек, представившийся: «Из КГБ». Он завел разговор о лекциях

Л.Н. «Хорошо ли, что он их читает?» — и все это без нажима, очень спокойно, как бы раздумчиво.

В такие моменты иногда срабатывает интуиция, сам собой находится удачный ответ. Я спросил гостя: слушает ли он «вражеские голоса»? Получив в ответ «да», я признался, что тоже иногда слушаю, но никогда еще не слышал там слов о младшем Гумилеве. Об Ахматовой — да, о Николае Степановиче — да, а вот о Льве Николаевиче — ни слова. Он согласился с такой констатацией. Тогда я осторожно спросил: «Спросите начальство, а хочет ли оно слышать по этим голосам и о Льве Николаевиче, к примеру, безработном?» Он понял все молниеносно: «Мне понравился ваш ответ». Мы очень вежливо распрощались, и больше «оттуда» нас не беспокоили.

Но вернемся к жизни Л.Н. на факультете. Его лекции увлекали, на них рвались и люди «со стороны». Вокруг Л.Н. быстро формировалась команда серьезных ребят, а «гумилевская тематика» на кафедре разрасталась. Вместе с Л.Н. мы работали в Ученом совете по защитам диссертаций, работали очень дружно, зачастую даже весело. У Л.Н. было гигантское преимущество перед председателем: он в любую минуту мог выйти в коридор со своей «беломориной» и широко пользовался этим, ехидно поглядывая на меня при очередном выходе. При этом эрудиция диссертанта жестко проверялась Гумилевым; следовал град вопросов, часто с уходом «в сторону» от темы. Но уже при следующем совместном выходе в коридор он спрашивал: «А не очень я его запугал?», и если «очень», то брал слово где-то перед финалом и объяснял, что будет голосовать «за».

Что, наверное, нравилось Л.Н. в нашем Совете — это нацеленность на республики Союза, где докторские были не частым явлением, да и кандидатские шли не просто. Эта нацеленность была задана ситуацией: «параллельный» докторский Совет по нашей специальности в МГУ (а их в СССР работало всего два — наш и московский) был «снобистским» — не брал защит «с периферии», предпочитая «дозревших» москвичей. Нам же с «периферийщиками» приходилось куда больше работать, проводить «предзащиты», консультировать и т. д. Но как иначе создать научную опору вне столицы? Л.Н. всегда это поддерживал, особенно когда речь шла об ученых из республик Средней Азии. Сейчас я думаю: а правильно ли мы поступали? Ведь наши «подопечные» — сейчас «там» доктора, заведующие кафедрами, директора институтов.

После развала СССР они как-то притихли и затаились, довольные, видимо, своими постами и званиями. Не стали они евразийцами по духу, не вышло из них пассионариев по

действию...

Кафедра наша трогательно относилась к Л.Н., здесь он всегда был самым «своим» и отвечал нам тем же. На кафедре Л.Н. всегда был самим собой, не «ощетинившимся» в дискуссиях, а как бы оттаявшим, зная, что окружен истинными друзьями. Он был ровен со всеми, титулы и чины не играли никакой роли.

На кафедре рождались или «проверялись» многие из его шуток-переименований. Своего главного оппонента в этнологии, академика Ю. В. Бромлея, он переименовал в «Бармалея», журнал «Знание — сила», не напечатавший чего-то гумилевского — в «Знание через силу». Он позволял себе шутить с оппонентами и на их счет не только в узком кругу, шутить иногда очень зло. Вот пример из его письма, напечатанного в «Вопросах философии»: «Что же касается собственных позитивных высказываний Ю. В. Бромлея, то я воздержусь от суждений, следуя изречению, приведенному Оскаром Уайльдом, который, будучи в турне по Америке и остановившись в ковбойском поселке, прочел в трактире такой плакат: «Не стреляйте в пианиста, он играет как может»[5].

Не проходил без Льва Николаевича ни один сбор на кафедре «за рюмкой чая»; так однажды он пришел туда прямо из больницы. Мы гордимся словами Л.Н., как-то сказавшего, что «в годы застоя кафедра экономической и социальной географии была для меня «экологической нишей», меня не гнали с работы, была возможность писать»[6].

Была у него и другая «ниша» — Русское географическое общество. Там Л.Н. выступал с лекциями, собиравшими удивительно много народу при самой скромной рекламе. «Гумилевцы» города находили какие-то свои каналы информации, хотя это была очень разная публика — от трогательных старушек «старорежимного» вида, каким-то чудом уцелевших в войну и блокаду, до восторженных молодых людей, просивших автографы у Л.Н. В Обществе он руководил отделением этнографии, на котором апробировались его идеи.

Жил он в то время в комнате коммуналки на Владимирской. Когда мы с женой первый раз шли к нему в гости в коммуналку, нас ужаснула уже лестница. Старинный, казалось, никогда не ремонтировавшийся дом, темная-темная лестница, и на площадке валялся пьяный. Застойный запах говорил, что это норма, а не эпизод. Дом-то буквально соседствовал со станцией метро «Владимирская», да еще и «полудиким» рынком рядом, со всеми вытекающими (в прямом и переносном смысле) последствиями.

После этой смрадной лестницы вы попадали в маленький, но такой уютный оазис — комнату-кабинет, она же — столовая, она

же — спальня. Над столом — известный портрет отца в военной форме, фотография всей семьи — Анна Андреевна, Николай Степанович и Лёва. Умели хозяева в этих стесненных условиях создать уют, тепло, обстановку, бесконечно далекую от страшной «оболочки». Интересно, что когда они переехали в новую квартиру, Л.Н. сохранил в кабинете буквально «один к одному» ту же обстановку, что была в коммуналке: тот же стол, портрет отца, фотография семьи.

В коммуналке всегда чувствуешь, есть ли «напряженка» между соседями, но в данном случае на нее не было и намека. Лев Николаевич умел ладить с людьми (соседом был простой милиционер), и в квартире господствовала, по-гумилевски выражаясь, комплиментарность. Здесь были смешные эпизоды. Как-то Л.Н. попросил меня познакомить его с коллегой-историком, довольно известным профессором: «Позовите его с супругой к нам, выпьем, поговорим!» Я сделал все как полагалось, помню нашел какое-то красное шампанское, а на столе была вкусная еда, приготовленная Наталией Викторовной, и бутылка «Лимонной» — тогда еще отменной водки. Мы с Л.Н. как-то незаметно опустошили ее «за разговором», а гость ограничился каплей шампанского, несмотря на все наши уговоры и явную «комплиментарность» «Лимонной» с закуской на столе. На следующий день мы с Л.Н. встретились на факультете, и он с некоторым укором и непередаваемо милой картавостью молвил: «Ну, Сергей Борисович, ну какой же это профессор, который о науке не говорит и водки не пьет!»

Университет и Географическое общество помогали Л.Н. в трудные годы; а какие годы были для него не трудными? Были, конечно, и «просветы», когда выходила какая-то из книг Л.Н., но чаще речь шла о том, как пробить хотя бы статью. Они выходили преимущественно в «Вестнике ЛГУ» или «Известиях ВГО». В этом легко убедиться, посмотрев библиографию его трудов: 1964 г. — две статьи из трех напечатаны в «Вестнике ЛГУ», 1965 г. — три из семи опубликованных в Обществе или в ЛГУ[7].

Сейчас подобная статистика может показаться мелочью, но в 1964 г. это был единственный и регулярный «выход» трудов Л.Н. на Запад. В ту пору главным редактором очень необычного журнала, издававшегося в США — «Soviet Geography», был Теодор Шабад. Это был настоящий, без всяких оговорок негативного плана советолог высшего класса, блестяще владевший русским языком, знаток советской экономики, но не узкий специалист, а эрудит. Журнал же был необычен тем, что в основном состоял из переводов советских статей, показавшихся Т. Шабаду наиболее интересными; Гумилева он оценил сразу.

В университете издание работ Л.Н. «курировал» (в самом хорошем смысле слова) проректор по науке В. Н. Красильников — физик по специальности, широко образованный гуманитарий в душе. Сейчас трудно себе представить, на какие ухищрения приходилось идти даже проректору по науке, вроде бы хозяину университетских изданий, чтобы «пробить» книгу «Этногенез и биосфера Земли». Л.Н. об этом не знал, не знали тогда и мы, «помоганцы» и болельщики. А рассказал эту историю только в 1996 г. на очередных «Гумилевских чтениях» сам профессор В. Н. Красильников.

Проректор знал о непростых отношениях между Л. Гумилевым и кафедрой этнографии на истфаке, которую возглавлял тогда профессор Р. Ф. Итс — очень порядочный, хороший человек и специалист своего дела, но не принимавший «гумилевщины». В. Н. Красильников попросил его написать кисло-сладкое (более кислое, чем сладкое, но «проходное») введение к книге «Этногенез и биосфера Земли». Это было сделано, и только тогда (а на дворе был 1990 г.) книжка увидела свет, но и то не в университетском издательстве, а в Гидрометеоиздате. Важно было другое — гигантский тираж в 50 тысяч экземпляров! Эта цифра особенно впечатляла в сравнении с ротапринтным изданием в ВИНИТИ (3 тома), которое нужно было заказывать. Л.Н., правда, гордился, что на черном рынке эти тома «тянули» на тридцатку — большие деньги в ту пору!

В Географическом обществе Л. Н. Гумилеву благоволил президент — известный советский полярник, академик А. Ф. Трешников. Они были почти ровесники (Алексей Федорович родился в 1914 г.). Хотя они работали совсем в разных сферах, но симпатизировали друг другу. Правда, в какой-то момент непонятная кошка пробежала между ними, и Трешников спрашивал меня: «Что это ваш на меня дуется, не здоровается даже?» Но это было, скорее, недоразумение, и все быстро уладилось. А. Ф. Трешников помогал Л.Н. печататься, не очень-то считаясь с начальственным мнением. Иногда, чтобы не валить все на шефа (так мы называли между собой Алексея Федоровича), «молодая часть» редколлегии решала что-то Гумилевское напечатать во время его отпуска и «взять на себя». Тогда, вернувшись после командировки или отпуска, президент мягко журил нас, ворчал, но все это было «понарошку».

В пору зажимов с книгами и со статьями отдушиной для Л.Н. были публичные лекции. Через пять лет после его смерти председатель С.-Петербургского «Знания» вспоминал: «Массовую аудиторию могут собрать только звезды первой величины. Такие примеры есть и в нашей практике: когда Гумилев у нас читал —

зал на 750 мест наполнялся и в проходах стояли...»[8]

Первая докторская Л.Н. по истории никак не была связана с геофаком, она была задумана куда раньше, оставалось ее «оформить», и это прошло без больших проблем. Со второй защитой (по географии) в 1973 г. было куда сложнее. У нас на Совете она прошла легко, а вот в ВАКе начались трудности. Там не смогли понять, что мы живем уже в эпоху интеграции наук, и уж наверно не знали знаменитой фразы В. И. Вернадского: «Мы все более специализируемся не по наукам, а по проблемам». Лев Николаевич уважал Вернадского, да и сам был интегратором. Вся его концепция, построенная на интеграции наук — истории, географии, этнологии, не укладывалась в жесткие рамки параграфов и «номеров ваковских наук».

Для Л.Н. «интеграция наук» была фактом, выношенным, понятым куда раньше, чем его осознали наши философы, начавшие писать об интеграции где-то в 70–80-х гг. Еще в 1955 г. из омского лагеря он писал своему другу: «Помнишь, как мы говорили о мостах между науками. В этой проблеме мы нащупали место для такого моста, и если нам удастся ее разрешить, один мост можно считать построенным»[9].

Прошлое и настоящее иногда не так далеки друг от друга. Казалось бы, «серебряный век» — давно прошедшее время. Мог ли я знать кого-нибудь «оттуда», к примеру, людей, видевших отца Гумилева — Николая Степановича? Оказывается, знал, не подозревая об этом. В конце 40-х я, мальчишка, много раз в старой, типично интеллигентской квартире на 9-й линии Васильевского острова играл в шахматы с «некрасоведом № 1 России», профессором В. Е. Евгеньевым-Максимовым. Я не подозревал, что когда-то он входил в царскосельскую компанию молодого Николая Гумилева.

Приведу еще один эпизод случайной встречи людей, которые могли бы встретиться раньше и много интересного порассказать друг другу. В 80-х гг. на том самом Ученом совете (в присутствии Л.Н.) защищал свою кандидатскую Сергей Лукницкий, тема была весьма нестандартной — «География преступности». Сергей был сыном писателя Павла Лукницкого (1900–1973), посвятившего многие годы исследованию жизни и творчества Николая Гумилева. Необходимо заметить, что писатель принимал самое живое участие в судьбе маленького Лёвы в 20-х гг. Пожалуй, об их отношениях лучше всего говорят слова из письма Лёвы от 19 июня 1925 г.: «Вы спрашиваете, какую книгу мне прислать? Большое спасибо, но лучше выберите сами, потому что я хочу, чтобы Вы руководили мною»[10]. После многолетнего поиска и исследований Сергей Лукницкий, продолжая начатое отцом,

опубликовал в 1996 г. очень необычную книжку «Дело «Гумилева».

Работая рядом с Л.Н., привыкнув к этому, я все же понимал особую значимость того, что он делал. Свидетельство этому — пухлая папка, куда собиралось все, что выходило о Гумилеве, все, что печаталось в малотиражках, почти неизвестных журналах, интервью самого Л.Н. в газетах, критические статьи его оппонентов и просто недругов[11].

Просматривая сейчас эту папку, вижу, как нарастал интерес к Гумилеву; «пик» публикаций пришелся на конец 80-х — начало 90-х гг. — смутное время «перестройки» и развала страны. Но не хочется сосредоточиваться именно на этом, ведь научная биография Л.Н. полна «пересечений» с очень интересными людьми, весьма значимыми в истории нашей науки и даже страны. Среди них есть очень близкие Л.Н., особенно Петр Савицкий — один из «отцов» евразийства. С ним Л.Н. объединяет и трагическая общность судеб: годы, проведенные в сталинских лагерях, и удивительное сходство интересов — поглощенность кочевниковедением. Все это отражается в обширной и изумительной по взаимопониманию и доброжелательности переписке 1956–1966 гг.

Если Петр Савицкий был для Л.Н. не только авторитетом, но «дорогим другом», то Георгий Вернадский[12] — крупнейший из русских историков в эмиграции — Мэтром, чьи отзывы из далекого Нью-Хейвена (США) воспринимались как высочайшая похвала. У этих ученых были общие с Л.Н. герои в истории, фигуры, над разгадкой которых бились и ученый в Праге, и Мэтр в Нью-Хейвене, и наш герой — в коммуналке на Московском проспекте. Это такие разные, но удивительно интересные фигуры, которые были судьбоносны для России на заре ее становления: Александр Невский и Чингисхан.

Так как же писать о Л.Н.? В очень откровенной статье «Биография научной теории, или Автонекролог» Л.Н. писал: «Личная биография автора никак не отражает его интеллектуальной жизни...», а «тайну (мастерства) может раскрыть только сам автор, но тогда это будет уже не автобиография, а автонекролог, очерк создания и развития научной идеи»[13]. С первой частью высказывания вряд ли можно согласиться, поскольку биография Л.Н. отражает его интеллектуальную жизнь, еще как отражает... Поэтому мы избрали «биографическую структуру» книги, пытаясь вплести туда и путь развития идей. Это — отнюдь не самый выигрышный путь, наоборот, очень трудный, но применительно к Л.Н., мне кажется, единственно возможный.

Наконец еще один аргумент в пользу работы над книгой. Дело в том, что я заразился у Л.Н. интересом к евразийству — важнейшей и актуальнейшей геополитической концепции для России. В гумилевском обращении к евразийству все понятно и логично, но есть нечто загадочное и даже мистическое в том, что первые его слова об евразийстве прозвучали лишь на рубеже 80–90-х гг. Почему? Было ли это чем-то сокровенным, долго хранимым «про себя» и оглашенным только перед катастрофой распада страны? «Скажу вам по секрету, что если Россия будет спасена, то только через евразийство», — эта фраза Л.Н. прозвучала совсем незадолго до его смерти — в 1992 г. Фраза — завещание нам. Выполняя этот завет Л. Н. Гумилева, я собрал все, что прямо или косвенно относится к евразийству в его творчестве, в книгу «Ритмы Евразии», которая вышла в 1993 г. с моим предисловием. Увы, сам Л.Н. уже не смог ее увидеть.

Приведу еще одно высказывание Л.Н., которое тоже можно считать завещанием, в подходах к истории, к ее анализу, которому мы постараемся следовать: «И воинствующие нигилисты, видевшие в России лишь «нацию рабов», и ослепленные мифами славянофилы, говорящие о нации-избраннице, «народе-богоносце», были, наверное, одинаково далеки от истины. Главная проблема лежит в иной плоскости. Прежде чем ставить вопрос о холопстве или величии, нужно спросить себя и читателя: что есть сам народ, где корень отношения человека к тому, что он называет историческим прошлым своего народа?»[14]

Тревожным было лето 92-го, тревожным для всех: распад страны, шок первых реформ, какая-то зыбкость и неуверенность в «новой российской жизни». А в Ленинграде в эти летние дни тяжело болел Лев Гумилев. В мае еще казалось, что все обойдется... Когда я был у него в Академической больнице в День Победы (святой для него!), он — хоть и ослабевший, настрадавшийся — все же вышел со мной на балкон выкурить любимую «беломорину». Потом Л.Н. оказался дома, но в июне — снова в Академичке.

И — странное дело — ленинградские газеты (вполне официальные) печатали в те дни нечто вроде бюллетеней об его здоровье:

10 июня: «Операция длилась около двух часов... ночь прошла спокойно. Однако в сознание Гумилев все еще не приходит».

11 июня: «Продолжают проводить комплекс жизненно необходимых процедур.

Тот факт, что состояние больного не ухудшилось, вселяет в медиков надежду...»

13 июня: «Вновь ухудшение», и 15 июня, увы, конец... Когда еще пресса (пусть местная) давала такие сводки? Разве что в 53-м... Видимо, действовал небывалый нажим «снизу» — звонки, вопросы, просьбы. Но и это было как-то неожиданно для знавших Льва Гумилева. Неожиданно хотя бы потому, что у людей в ту пору стало много совсем других забот, чисто бытовых, ведь именно тогда возникло слово «выжить». Не могли же только слушатели его лекций по ТВ создать такой настрой прессы. Да, Гумилев был известен, но думалось, что это «широкая известность в узком кругу».

Чем же все-таки объяснить этот массовый интерес к его судьбе в мрачные июньские дни 92-го? Необычностью биографии? Тем, что он — сын двух великих поэтов «серебряного века»? Но этим интересовался довольно узкий круг людей пятимиллионного города. К тому же первые статьи о Николае Гумилеве, как и издания его стихов, только начинали появляться, даже интеллигенция знала скорее имя поэта, чем его творчество[15]. Да и как могло быть иначе, если в 1990 г. вопрос о реабилитации Н.Гумилева еще рассматривался Прокуратурой СССР? Тогда один из «архитекторов перестройки», А. Н. Яковлев, занимавшийся реабилитацией незаконно репрессированных, на вопрос, не пора ли сделать это и в отношении Н. Гумилева, ответил: «Рано»[16].

Может быть, массовый интерес ко Льву Гумилеву определялся его страшной судьбой? Но таких судеб было немало. К слову говоря, Л.Н. вообще не любил распространяться о лагерных годах. Одна из часто повторенных им фраз — «ученые сажали ученых» — вообще не вписывалась в принятые шаблоны разоблачений «сталинских репрессий».

Так чем же все-таки объяснить это массовое сопереживание с больным Ученым? Думается, это был какой-то инстинктивный порыв — осознание того, что из жизни уходит очень необычный человек, носитель такого знания, которое особенно пригодилось бы в «новое смутное время» России. И еще одно: люди устали от популизма, от пустозвонства политиков; здесь срабатывал контраст — Ученый был неизмеримо выше их, далек от этого мельтешения, просто был из какой-то другой сферы. Он был, пользуясь определением И. Р. Шафаревича, «громадномасштабный человек».

Говоря о Л.Н., хотелось бы вообще абстрагироваться от политики, но втягивание в нее (на каком-то обидно-низком уровне) началось уже на второй день после смерти. Не сказать о некоторых позорных деталях этих июньских дней невозможно. Надо только оговориться: мы будем говорить о «господине Х» не

как о представителе каких-то «злых» политических сил, а просто как о личности, как о взрослом человеке, отвечающем за свои поступки, а о «господине Y» — не как о представителе неких «добрых» сил, а опять же, просто как о личности, отношение которой к смерти, к памяти, к доброму имени Ученого проявилось в эти дни и позже.

Где должен быть похоронен Лев Николаевич? Сразу же отпало Комарове — он не хотел бы этого сам. Отпал Пушкин, с которым была связана часть детства — так считала вдова — Наталия Викторовна. Естественным было решение об Александро-Невской лавре, и если бы все решала Церковь, то проблем не было бы вообще. Л.Н. был в двадцатке церкви Воскресения Христова, что на Обводном канале, к тому же он и Митрополит Ленинградский и Ладожский Иоанн знали и высоко уважали друг друга. Но в условиях нашей непонятной жизни решала уже не Церковь или — в лучшем случае — мэр и Церковь...

Между тем мэр города, дав какие-то туманно-запретительные указания о Лавре, уехал в Москву. Еще 17 июня, на второй день после смерти Л.Н., «Санкт-Петербургские ведомости» писали: «Место погребения пока неизвестно». Кроме того, они сообщали, что «мэр предложил Литераторские мостки Волкова кладбища», а Наталия Викторовна резонно возражала: «Л.Н. — не писатель, а ученый...» Возражала и была права. Здесь похоронены Н. Добролюбов и В. Белинский, Д. Писарев и Н. Михайловский, Н. Лесков и С. Надсон. Правда, здесь же покоится и Д. Менделеев. Я не думаю, что опять играла роль только политика. Логичным (особо «популистски-логичным») для мэра было бы сделать все «по-хорошему» и привычно «возглавить» эту процедуру. Но сработало какое-то недомыслие, а может быть, и зависть...

Определять место похорон пришлось нам — нескольким близким друзьям покойного. Сомнений в том, где проводить гражданскую панихиду, не было — естественно, в доме Русского географического общества в переулке Гривцова, доме, который Л.Н. также считал своей «экологической нишей». Созвонившись со знакомыми в мэрии, договорились о приеме и поехали туда. На въезде в Смольный, на площади пикет незнакомых нам молодых «гумилевцев» с плакатом «Позор мэру!».

В «предбаннике» вице-мэра много ожидающих, и еще каких: пара генералов, солидные хозяйственники... Мы здесь явно не ко двору. Грустно соображаем, сколько же придется ждать, как вдруг холеная секретарша проявляет преувеличенное внимание именно к нам, а не к генералам:

«Шеф сейчас говорит по телефону с мэром и сразу же вас примет». Разговор шел долго, и можно было догадаться, что мэр,

уехав в столицу, чего-то испугался, представив себе возможную реакцию в городе. Если вначале это промелькнуло догадкой, то через несколько минут нашло подтверждение, когда нас запустили к сверхпредупредительному, прямо-таки источающему доброжелательство вице-мэру. В этот момент мы могли получить от него все что угодно...

«Сценарий» визита в Смольный был обговорен с вдовой Л.Н. и его наиболее близким учеником — Костей Ивановым. Он должен был ждать нас на входе в мэрию (на лестнице Смольного), но почему-то не пришел. Когда мы согласовали с вице-мэром вопрос об Александро-Невской лавре, имея в виду самое достойное место там, вошла секретарша и передала ему листок. Это было заявление Наталии Викторовны, что она согласна на место в той части кладбища, которая ближе к Неве и отделена от «основного» лаврской стеной, то есть на Никольском кладбище. Бумагу секретарше принес уже упомянутый К. Иванов.

Итак, все получилось и, может быть, вышло к лучшему. Место у церкви оказалось тихим, хорошим, а покоились рядом достойнейшие люди — историк и искусствовед, барон Н. Врангель и академик В. Ламанский, адмирал Г. Бутаков и скульптор М. Микешин, друг и соученик Пушкина Модест Корф и знаменитый издатель А. С. Суворин. Но еще более важным и символичным стало то, что могила Льва Николаевича оказалась совсем недалеко от раки Александра Невского — одного из главных его героев. Позже неподалеку, на братском кладбище был похоронен митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн, и в этом была какая-то своя символика.

Действительно, все вышло к лучшему. Однако в истории с похоронами было нечто дикое, страшное. Только потом, через пару лет, я понял, что все это — унизительная «борьба за место» на кладбище — уже было, и было после смерти Анны Ахматовой. М. Ардов вспоминал: «Мы говорили, что могила Ахматовой будет предметом поклонения тысяч людей и т. д. А нам ответили, что кладбище в Комарове «перспективное» и должно развиваться в запланированном направлении, а посему на центральной аллее никого хоронить нельзя.... В конце концов все решилось в самый день похорон. Помогла, дай ей Бог здоровья, Зоя Борисовна Томашевская. Ее приятель, фамилия которого, если не ошибаюсь, была Фомин[17], в те годы состоял в должности главного архитектора Ленинграда. Он-то и приказал местным деятелям прекратить сопротивление»[18].

Еще вспоминается из того времени (1991–92 гг.) одна история, тоже тяжелая. На одной из телепередач популярного тогда А. Невзорова Л.Н. согласился причислить себя к «нашим».

Слово «наши», думается, Л.Н. понимал гораздо шире, чем какое-то политическое течение, группа, блок; для него «нашими» были все, выступавшие за единую страну, против дальнейшего ее распада[19], при этом была абсолютно не важна для него их национальность или прописка. Тысячи людей различных национальностей пришли в церковь Воскресения, где шло отпевание, заполнили Никольское кладбище. Но сколько раз это «приобщение к нашим» было помянуто Гумилеву в последние месяцы его жизни. Но вот что любопытно: невзоровские «наши» позвонили мне перед гражданской панихидой и спросили: желательно ли их присутствие в Географическом обществе? Оно было просто необходимо, поскольку мы боялись, что придется ограничить поток людей. Они пришли и на кладбище с красными повязками и обеспечили там порядок, за что мы были благодарны. Ни одна другая общественная организация своей помощи не предложила, хотя мы приняли бы тогда любую помощь.

Политика настигала Льва Николаевича даже в «нормальные годы», не говоря о проведенных вне Ленинграда. Хотя сам он говорил: «Я политикой не занимаюсь, сказать ничего о ней не могу, кроме одного. Желательно, чтобы политики знали историю, пусть в небольшом, но достаточном объеме. Не в специальном, а в общем...» Коронной фразой Л.Н. была: «Я не занимаюсь ничем, что ближе восемнадцатого века»[20].

Человек, который всю жизнь занимался кочевничеством, далекими и давно исчезнувшими этносами, казалось бы, был застрахован от политических обвинений, от всяческих «измов», но увы... Застойные годы кончались, наступала «горбачевская перестройка» — 1985 год. Со страниц «Коммуниста» его заклеймил будущий «демократ» Юрий Афанасьев, приписавший Гумилеву «антиисторический, биолого-энергетический» подход к прошлому[21]. На «более низком уровне» шли статьи «штатного критика» Л.Н. — Аполлона Кузьмина, тоже «с марксистских позиций». Немного ранее, в 1982 г., критике Гумилева была по сути посвящена целая книга писателя В. Чивилихина, вышедшая массовым тиражом в «Роман-газете»; там Л.Н. клеймился как поборник агрессоров и завоевателей[22]. Все это уже было, все это бездарно повторяло недоброй памяти тридцатые—сороковые годы...

В антимарксизме он был обвинен еще на защите кандидатской, в 1948 г., когда его громил «заслуженный деятель киргизской науки» Александр Натанович Бернштам — один из доносчиков на Л. Н. Гумилев позже простил Бернштама: «Бог с ним..., он, в конце концов, и сам пострадал. Его обвинили в

«пантюркистских настроениях», подвергли идеологической проработке, он с горя запил и умер»[23]. Самое дикое и нелепое в этих обвинениях заключается в том, что Гумилев никогда не был антимарксистом. В 1990 г. (подчеркиваю дату, т. к. в это время подозревать кого-то в желании «приобщиться» к марксизму было бы уже смешно) происходил диалог писателя Дмитрия Балашова и Льва Гумилева, из которого я позволю привести себе две реплики.

Д. Балашов: «Есть высказывание у Маркса в предисловии к «Критике политической экономии», быть может, самое гениальное у него — о том, что никакой связи между прогрессом экономики и развитием культуры нет и быть не может».

Л. Гумилев: «Я вполне уважаю Маркса — за это и аналогичные высказывания»[24].

Я помню, как он радовался, найдя у раннего Маркса понятие Gemeinwesen[25], которое, как ему казалось, вполне вписывалось в его теорию этногенеза. Это не было какой-то «мимикрией». Л.Н. был способен ошибаться, увлекаться, иногда блефовать, но абсолютно неспособен был подделываться. Последние слова, которые я услышал от него в Академичке, были удивительны, учитывая его судьбу, но справедливы: «И все-таки я счастливый человек: я писал то, что хотел, а не то, что велели...»

В статье «Биография научной теории, или Автонекролог», прошедшей почти незамеченной, Л.Н. с удовольствием отмечает: «Как писали К. Маркс и Ф. Энгельс, история природы и история людей взаимно обуславливают друг друга...» Эти слова могли бы стать эпиграфом к целому «блоку» его книг. Марксизм привлекал он и в борьбе против вульгарного «линейного историзма». Так, рассуждая о развитии этносов, Л.Н. замечал: «Описанная закономерность противоречит принятой на Западе теории неуклонного прогресса, но вполне отвечает принципу диалектического материализма»[26].

Ему нравилась строфа из В. Ходасевича (явно потому, что она «работала» на его концепцию):

> И ты, моя страна, и ты, ее народ,
> Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —
> Затем, что мудрость нам единая дана:
> Всему живущему идти путем зерна.

Приведя эти строки, Л.Н. тут же добавляет, что Ф. Энгельс использовал для наглядности пример зерна, дающего колос с обилием зерен[27]. Вместе с тем он не соглашался с К. Марксом в оценках России и русского народа. Это очень отчетливо

проявилось в дискуссии Л.Н. с Аполлоном Кузьминым[28].

После августа 1991 г. Л.Н. прожил еще 10 месяцев, и это время было для него тяжелым и по здоровью (последствия инсульта), и по ощущениям окружающей жизни. Но странное дело — именно в это время он интенсивно правил гранки своих книг (хотя временами отказывала рука) и многократно давал интервью, особенно по евразийству, как будто ощущал, что сейчас это самое неотложное[29].

Примечательно, что во всех этих интервью он не высказывался по тем вопросам, которые доминировали тогда в СМИ: «разборки» с прошлым, готовящийся суд над КПСС и т. д. Казалось, ему и карты в руки: у него-то было отнято из жизни 14 лет, лучших лет, в 1956-м ему было уже 44. А он молчал про это... Видимо, разные ему попадались коммунисты. Это и следователи в «Лефортово» и «Крестах», выколачивавшие из него «показания», это и лагерное начальство в Караганде и Омске, но это и ректор ЛГУ Александр Вознесенский, с которым он встретился в 40-х «между лагерями». Всесильный человек, брат «политбюрошного» Вознесенского, не смог тогда принять Гумилева на работу в университет, и тем не менее Л.Н. с благодарностью вспоминал его «вопросы-утверждения»: «Итак, отец Николай Гумилев, мама Ахматова? Понимаю, Вас уволили из аспирантуры после Постановления о журнале «Звезда». Ясно!» И далее: «Работу в университете я Вам предложить не смогу. А вот диссертацию прошу, передайте на Совет историкам. И смело защищайтесь. В час добрый, молодой человек»[30]. В ту пору «разрешение на защиту» — это было очень много для Л.Н., для самоутверждения его, для «оформления» выхода в науку, в которую он давно вошел по сути.

Судьба свела Л.Н. с Львом Вознесенским, сыном ректора, расстрелянного вместе с братом по «ленинградскому делу». Лев-старший и Лев-младший подружились в... лагере. Впоследствии Лев Вознесенский стал политическим обозревателем Центрального телевидения по вопросам внутренней жизни СССР. Связь его с Л.Н. не прекращалась до смерти ученого.

Были эпизоды и совсем недавние, «задним числом» объясняющие, почему Л.Н. не клеймил коммунистов без разбора. Я знал, что в «пробивании» гумилевских книг участвовал А. И. Лукьянов (еще до председательства в Верховном Совете СССР). Когда мы встретились в Санкт-Петербурге в 1995 г. на истфаке университета, я хотел подарить ему одну из редких (как мне казалось) последних фотографий Л.Н., он ответил: «Сильно увеличенная, она висит у меня в кабинете».

В жизни все сложнее черно-белых схем, сложнее фальшивой

антитезы «коммунисты — демократы» и не вписывается в формулы «коммунизм» или «социализм», а для Л.Н. это справедливо тем более. В одном из интервью, когда от него добивались, чтобы он как-то связал социализм с уничтожением ландшафта, Гумилев удивленно ответил: «Социализм— капитализм — это совершенно другая система отсчета».

Тем не менее политические наскоки (не менее научных) раздражали Л.Н., мешали ему жить. «Я удивляюсь, — говорил он, — как это меня не обвинили еще и в космополитизме: был бы полный набор (вместе с русофобией)»[31]. Из далекого Улан-Батора его утешал друг и почитатель — монгольский академик Ринчен: «Джангир сказал мне, что Вы слишком близко к сердцу воспринимаете людское невежество, зависть и все злое, исходящее от этого. Вы должны быть достойны имени своего «Лев»! И работать, делать то, что велит ученому делать его высокий долг Человека, поднявшегося над стадом двуногих». Еще образнее академик выразился в другом письме: «Помните, что путник в долгой дороге не считается с собаками стойбищ, его встречающими и провожающими»[32]. Письма Ринчена сохранились в архиве Л.Н. Академик (он и сам был опальным в Монголии в какие-то времена) утешал Л.Н., подбадривал его.

Здесь возникает закономерный вопрос: почему Гумилев, посвятивший всю сознательную жизнь разоблачению «черной легенды», безмерно любивший и уважавший народы Востока[33], в трудные для него годы не получил конкретной помощи от «сильных мира сего» в мусульманских республиках Союза? Это замечал не только я, но и автор предисловия к сборнику «Черная легенда», ученик Л.Н., Вячеслав Ермолаев. Он писал, что Л.Н. прислали массу писем и поздравлений из Монголии, Татарии, Казахстана, Средней Азии, его приглашал в гости, к нему приезжали делегации, ему говорили теплые искренние слова, дарили халаты, пиалы и тюбетейки, но тем все и ограничивалось. Никакой более значимой поддержки ни со стороны местной творческой интеллигенции, ни тем более от властных структур соответствующих национальных республик Гумилев никогда не получал; только в Азербайджане на русском языке вышла в свет книга Л.Н. «Тысячелетие вокруг Каспия»[34].

Неужели СССР в брежневскую эпоху застоя и тем более позже был настолько «имперской» страной, что лидеры союзных республик (сегодняшние президенты стран СНГ) не могли быть самостоятельными в таких вопросах? Вопрос сугубо риторический, поскольку идеологическая верность «Центру» в основном уже выражалась в ритуальных национальных торжествах во время редких визитов Генерального секретаря в ту

или иную республику.

Значит, могли, но «не сочли нужным». Можно было надеяться, что Лев Николаевич будет поднят и возвеличен демократами «первой волны». Это было бы так естественно, ибо он действительно был жертвой режима. Здесь снова напрашиваются слова: «Все это уже было», было при другом режиме. Он не стал «своим» и для новоявленных демократов. Более того, уже через несколько месяцев после его смерти в «Свободной мысли» появилась злобная статья Александра Янова, бывшего автора «Молодого коммуниста», ставшего в 90-х гг. ярым демократом[35]. Друзья Л.Н. были счастливы, что он уже не увидел ее. Статья походила на те доносы, которые когда-то на него писали те самые «ученые, которые сажали ученых», только как бы «со знаком наоборот». Евразийство характеризовалось в ней как «имперско-изоляционистская установка», которая «должна была вести и привела к фашизму», а учение Л.Н. как идеальный фундамент российской «коричневой идеологии». Итак, Л. Гумилев не просто «наш», он еще и идеолог «красно-коричневых»! Это он, проведший 14 лет в тюрьмах и лагерях?! Нонсенс! Но, в конце концов, А. Янов — это еще не какая-то политическая сила, поскольку можно предположить, что тут играла роль просто зависть и патологическая ненависть псевдоученого к большому Ученому по принципу: «его читают, а меня нет, обидно». В правильности этой догадки убеждает книга Янова «После Ельцина» (1995), в которой Л.Н. посвящена уже целая глава. Там «уничтожается» не только евразийство, но и теория этногенеза. Делается все это в гнуснейшей манере. Как поворачивается язык обозвать Л.Н. «катакомбным ученым», намекая на отрыв от западной науки, отрыв, который, надо заметить, он успешно возмещал в послелагерные годы.

Вот еще пример «яновской» критики: раздел «Этногенез д-ра Гумилева» предваряется фотоколлажем, где со Львом Николаевичем соседствуют Сергей Кургинян и Александр Дугин. Нет сомнения, что оба они знают, кто такой Гумилев, но думается, сам Л.Н. понятия не имел об обоих.

По-видимому, «яновская линия» не является случайной. Евразийство обрекло Гумилева на травлю после смерти. В интервью 1992 г. (последнего в его жизни года) Л.Н. сказал пророческую фразу: «Час их (евразийцев) только сейчас пришел»[36].

В эмигрантской «Русской мысли» было опубликовано несколько статей некоего В. Сендерова со старой-старой и абсолютно фальшивой линией о «родстве евразийства и большевизма» и с изобретением нового, но совсем уж нелепого

термина «евразобольшевизм»[37]. Надо дойти до полного безумия, чтобы объявить «предтечами евробольшевизма» Н. Данилевского или князя Н. Трубецкого — ярого ненавистника большевизма по вполне понятным и логичным мотивам. Но в «Русской мысли» дошли (цитировать противно): «Публицистика Трубецкого — важная веха на пути сращения большевизма с национализмом. Зюганов — последний продукт разложения евразийства»[38]. Все это выглядит более чем странно, учитывая, что та же «Русская мысль» печатала теплые и дружеские воспоминания о евразийцах Зинаиды Шаховской, которая, в отличие от Янова или Сендерова, тесно общалась с ними в 20–30-е гг.

Санкт-Петербург, 1995 г. «Охоты за ведьмами» вроде бы кончились, ан нет!.. Проходит семинар «Неонацизм как интернациональное явление», и снова звучат слова-доносы на покойного: «Исторически, как известно, мыслители типа Хаусхофера[39] выступили на арену несколько раньше, чем наши евразийцы. В какой степени было взаимовлияние?.. Так вот, актуальность евразийских идей у героев сегодняшней нашей конференции, т. е. у русских интегральных националистов (ранее объяснялось, что это и есть фашисты. — С. Л.) совершенно очевидна. Так как очевидно влияние евразийцев на идеи Л. Н. Гумилева, который, видимо, заимствовал не только у евразийских идеологов, но и у такого выдающегося практика, как барон Унгерн, ибо тот и другой сочетали монголофильство с крайним антисемитизмом»[40]. Здесь каждое слово ложь: когда евразийцы выступили со своим манифестом (1921), Хаусхофер еще не написал какой-либо капитальной работы по геополитике; слова, «видимо, заимствовал» (из выступления Д. Раскина) — блестящий оборот, достойный А. Я. Вышинского, а обвинение Л.Н. в антисемитизме представляет из себя «открытие», достойное пера и совести его автора. Страшно сказать, но это все уже было; только не против Гумилева, а против его коллег и знакомых, и не в 90-х, а в 30-х гг.

Нынешние хулители Л.Н. не подозревают, что разработки ленинградского УНКВД в 30-х гг. шли точно по такой же логике. Открылось это недавно, в связи с семинаром памяти проф. В. Э. Дена — создателя кафедры экономической географии в знаменитом Политехническом институте. Итак, 1935 г., полвека до пресловутого «Семинара по неонацизму». Цитируем документ Ленинградского УНКВД: «Ближайшим по направлению к фашистской целеустремленности и геттерианцам-геополитикам являются так называемые петрографы и школа, возглавляемая ленинградским профессором В. Э. Деном (умер)... Мы направляем свои агентурные поиски в эту среду с целью обнаружения

подпольных формирований... Выявляем связи с геополитиками Германии, Польши, Финляндии и др. Введена агентурная разработка под кличкой «Геополитики» (выделено мною. — С. Л.). Слава Богу, они не обвинили В. Э. Дена и других профессоров в монголофильстве и антисемитизме!

Семинар в «обычном областном городе» не вызвал какого-то резонанса в стране, остался событием провинциальным. Совсем в неожиданной связи фамилия Л.Н. возникла на страницах «большой прессы» в 1997 г. Некий неизвестный в науке Борис Гершунский упрекал Г. Зюганова в том, что ему нравится концепция Л. Гумилева. В текст была введена формула «наши — не наши», которой вообще не было у Л.Н., но возвращающая к злополучной передаче «600 секунд» А. Невзорова! «Ведь это у Л. Н. Гумилева, — продолжал автор, — мы находим оправдание якобы естественной, закономерной, инстинктивной неприязни людей друг к другу по сугубо этническим и расовым признакам, их делению по принципу «мы — они», «свои — чужие»[41].

Невдомек Б. Гершунскому, что очень «правильный» академик Ю. В. Бромлей писал: «Этносу присуща непременно антитеза «мы — они». И не Гумилев, не Бромлей это придумали! Цивилизационная концепция исторического процесса — общее достояние мировой науки. Ее создавали русский Н. Данилевский и немец О. Шпенглер, англичанин А. Дж. Тойнби и русский Л. Гумилев, а в самые последние годы она четко сформулирована в нашумевшей статье «Столкновение цивилизаций» (1993) профессора Гарвардского университета Самюэля Хантингтона и в его одноименной капитальной книге (1996)[42]. Последний на очень современном примере поясняет соотношение «мы — они». Во время «Бури в пустыне» — жестокого подавления Ирака силами Запада — был такой эпизод: военные самолеты Саддама Хусейна, чтобы спасти их от бомбардировок, перебрасывались на аэродромы... Ирана. Того самого Ирана, с которым Ирак воевал все 80-е гг. В трудную минуту все это было забыто: сработал «синдром родственных стран».

Л. Гумилев, которого сейчас обвиняют чуть ли не в расизме, давно и однозначно ответил: «Спорить о том, какой этнос лучше, все равно, как если бы нашлись физики, предпочитающие катионы анионам»[43]. Критик-злопыхатель из «Литературки» явно не удосужился прочитать ни одной из книг Л.Н., ибо приведенная выше мысль присутствует в каждой из них. Более того — она суть концепции, она — и рефрен в гумилевских книгах и статьях.

Если кто-то (в последнем эпизоде Г. Зюганов) хочет опираться на нечто конструктивное в теории межнациональных отношений, то на кого же, как не на Л. Гумилева? Может быть, именно

безграмотные нападки с разных сторон говорят о значимости сделанного им?

«Догумилевская» советская этнография — официальная, академическая — была настолько стерильно-чистой и надежно-безошибочной, что и не могла вызывать споров; это была наука «не о том». О своем методе и его происхождении Л. Гумилев рассказывал следующее: «Описанный (знание языка, общение, экспедиции) способ изучения этнографии отнюдь не традиционен, но подсказан жизнью, точнее биографией автора, не имевшего многих возможностей, которые есть у научных сотрудников АН (Академии наук. — С.Л.). Так и пришлось автору стать не научным работником, а ученым»[44].

Я далек от того, чтобы канонизировать Л. Гумилева, и присоединяюсь к очень верной оценке его трудов, сделанной Вадимом Кожиновым: «Перед нами произведение человека, который был, если угодно, в равной мере и историком, и поэтом (кстати сказать, несколько опубликованных в последние годы его стихотворений не уступают по своей художественной силе поэзии его прославленных родителей). И в трудах Л. Н. Гумилева первостепенную роль играет «домысел» и даже прямой «вымысел». Это позволяет ему не только властно захватывать сознание читателей, но и нередко замечательно «угадывать» скрытое, подспудное движение истории. Но в то же время именно эти качества вызывают неудовлетворенность (или даже негодование) у людей, которые считают обязательной строгую документированность, не приемлют никакого «интуитивного» домысливания в изучении истории»[45].

Итак, «домысливающий» кое-что поэт, а не только историк? Да, безусловно... Ведь говорил же Николай Степанович Гумилев, что «история — не наука, это искусство, место ее среди муз»[46]. Да и сам Л.Н. говорил: «Что такое история? Наука? Да, бесспорно! Искусство? Конечно, ибо древние греки среди девяти муз чтили Клио»[47]. К тому же «домысливание» имеет и свои плюсы, иногда немалые. П. Савицкий, первоклассный ученый, строгий критик и ценитель, сообщал Л. Гумилеву в одном из писем (8 декабря 1956 г.) следующую любопытную подробность: «Эти дни хожу как во сне. Мне кажется, что я воочию вижу и великих «тюркских» ханов и их дружинников, которых Вы так красноречиво описываете, что живу в их среде».

Соглашаясь со многими словами В. Кожинова, следует категорически отмести приклеенный к Л.Н. завистниками ярлык «историк-беллетрист». Если сравнить первые его книги — «Хунну» и «Древние тюрки», написанные во второй половине 50-х гг. (другое дело — когда они изданы!), с последней книгой трилогии

«Поиски вымышленного царства» (1970) или «Древней Русью» (1989), то можно подивиться титанической работе над собой — успешному пути от сухо-научных и высокоинформативных исследований к блестящим по форме, подлинно научно-популярным книгам, доступным каждому. Думаю, что благодаря Л.Н. аудитория читателей — любителей истории в нашей стране выросла на порядок.

Стоит добавить, что Л. Гумилева отличает «поразительное глобальное видение истории» (И. Шафаревич), а главное: и сама-то история для него — поле и база выхода на теорию этногенеза, на обоснование евразийства, его реанимацию и новое звучание в 80–90-х гг. Евразийство — бесспорный «выход» из науки в мировую политику.

Именно в этом объяснение травли Л.Н. в прозападных кругах России и в «русской» эмигрантской прессе. Рекламируя евразийство, он вступил на минное поле геополитики. Геополитическая концепция, казалось бы, дремавшая в анабиозе, оказалась крайне опасной для врагов России даже через 70 с лишним лет.

Когда-то евразийство зародилось как «мыслительное движение на опасной грани философствования и политики» (С. Аверинцев). Но предупреждение об «опасной грани» было тихим голоском слегка чудаковатого интеллектуала. Кто это расслышал, кто мог воспринять всерьез?

Другие слова, куда более резкие, были сказаны куда более сильным человеком на Западе и услышаны всеми, «кому надо». Их сказал Збигнев Бжезинский — советолог № 1 в США: «Если Россия будет продолжать оставаться евразийским государством, будет преследовать евразийские цели, то останется империей, а имперские традиции надо будет изолировать». И не наблюдают, а действуют...

Подход Л. Гумилева к этноразнообразию Евразии, к ее языковой и религиозной мозаичности мог бы стать ориентиром национальной политики в «смутные годы» суверенизации. Увы, нами руководили совсем другие люди, далекие от науки. Дело здесь не в конкретных ответах на вызовы времени, дело именно в подходе, в методологии Ученого.

Нам пришлось касаться «пены» — тех волн злобы, непонимания, клеветы, которые поднимались вокруг Л.Н. и при жизни, и после смерти. Эта «пена» косвенно свидетельствует об остроте проблем, поднятых им. «Пена» проходит и пройдет. Годы после смерти Л.Н., по большому счету, были годами триумфа его идей. Обо всем этом будет рассказано в представленной книге.

Мне хотелось в этом несколько затянувшемся авторском

слове искреннейшим образом поблагодарить четырех милых женщин, без помощи которых эта книга никогда не была бы написана. Огромная благодарность:

— Наталье Викторовне Гумилевой за неоценимую помощь — возможность работать с архивом Льва Николаевича, письма ободрения в любую пору, даже в нелегкие для нее дни.

— Людмиле Алексеевне Вербицкой — ректору СПбГУ, академику, за то, что она ценит память о большом ученом, позаботилась о сохранении его архива, а мне создала все условия для работы над книгой.

— Марине Георгиевне Козыревой — хранителю архива Л. Н. Гумилева, за помощь в материалах и фотографическом оформлении этой книги.

— Вере Константиновне Лукницкой, писательнице, вдове Павла Лукницкого, хранительнице ценнейшего архива Н. Гумилева — за огромную помощь материалами и фотографиями.

1. Детство

Пусть благодарственной осанной
Наполнят этот зал слова:
Спасибо Николаю с Анной
За лучший стих — живого Льва!

Ю. Ефремов[48]

Лев Гумилев родился 1 октября 1912 г. в Царском Селе, в доме на Малой улице, купленном за год до этого его бабушкой — Анной Ивановной Гумилевой (ныне это ул. Революции, д. 57). Анна Андреевна в разговоре с П. Лукницким так вспоминала рождение Льва: и она, и Николай Степанович находились тогда в Царском Селе. Анна Андреевна проснулась очень рано, почувствовала толчки. Подождала немного — еще толчки... Тогда А.А. заплела косы и разбудила Н. С: «Кажется, надо ехать в Петербург». С вокзала в родильный дом шли пешком, потому что Н. С. так растерялся, что забыл, что можно взять извозчика или сесть в трамвай. В 10 часов утра были уже в родильном доме на Васильевском острове[49].

Хотя биографы Л.Н. и пишут, что здесь, в этом царскосельском особняке, он провел детские годы, все же его первые воспоминания связаны, конечно, уже не с этим домом и не с этим городом. С шести лет он жил в Бежецке. «Я родился, правда, в Царском Селе, — писал Л.Н., — но Слепнево и Бежецк — это моя отчизна, если не родина. Родина — Царское Село. Но отчизна не менее дорога, чем родина»[50].

Слепнево — родовое имение матери Н. С, Анны Ивановны Гумилевой (урожденной Львовой). Оно перешло во владение к ней и ее сестрам от жены их брата, контр-адмирала Льва Ивановича Львова, — Любови Владимировны (урожденной Сахацкой). Расположено оно в 15 км от Бежецка — небольшого провинциального городка Тверской губернии. Собственно, Слепнево не было барским имением, это была скорее дача, выделенная из соседнего имения Борискова, принадлежавшего Кузьминым-Караваевым[51].

Анна Ахматова писала, что «это неживописное место: распаханные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, «воротца», хлеба, хлеба»[52]. Поэтесса вспоминала о Слепневе с юмором, а иногда с теплотой и даже восхищением. Первое свидание со Слепневым было в 1911 г., когда она приехала туда прямо из Парижа, «и

горбатая прислужница в дамской комнате на вокзале в Бежецке, которая веками знала всех в Слепневе, отказалась признать меня барыней и сказала кому-то: «К Слепневским господам хранцуженка приехала...»[53] Это была провинция, глухая провинция для молодой, но уже известной поэтессы, тем более что «за плечами еще пылал Париж в каком-то последнем закате».

«Земский начальник Иван Яковлевич Дерин — очкастый и бородатый увалень, — вспоминала А. Ахматова, — когда оказался моим соседом за столом и умирал от смущенья, не нашел ничего лучшего, чем спросить меня: «Вам, наверно, здесь очень холодно после Египта». Дело в том, что он слышал, как тамошняя молодежь за сказочную мою худобу и (как им тогда казалось) таинственность называла меня знаменитой лондонской мумией, которая всем приносит несчастье»[54]. Были, правда, моменты, когда А.А. могла оценить прелести захолустья «дворянского гнезда»: «Один раз я была в Слепневе зимой. Это было великолепно. Все как-то вдвинулось в девятнадцатый век, чуть ли не в пушкинское время. Сани, валенки, медвежьи полости, огромные полушубки, звенящая тишина, сугробы, алмазные снега. Там я встретила 1917 год»[55].

Запомним эту дату — начало 1917 г. В дворянском гнезде уютно и хорошо... Февраль и октябрь еще впереди. Спустя много-много лет (уже давно нет Анны Андреевны, да и Л.Н. осталось жить год) Л. Гумилев будет рассказывать о своей жизни ленинградскому журналисту. В этом интервью идут два текста параллельно: прямой (гумилевский) и «связки» (журналиста). В одной из этих «связок» (глубоко уверен, что Л.Н. не мог так говорить) присутствует «домысливание» отношения А.А. к Слепневу и к Бежецку: «Этот тихий незлобивый город глубоко ранит и терзает ее душу. Реальность его существования означала для нее не одну, а разом столько потерь. Оставлено, разорено Слепнево. Бежецк для нее постоянное напоминание о гибели Гумилева, сиротство сына. Бежецк одной своей реальностью (а она была впечатлительна к таким переменам) словно перечеркивал ее прежнюю жизнь и прежние стихи, и былые верования, и даже ее недавно такую легкую, гордую, будто летящую над землей походку».

Все это очень красиво подано, журналист был весьма талантливый, но не больно похоже на правду. Сравните еще раз с ахматовским текстом о 1917 г. и задайте вопрос: а кто, собственно, был инициатором развода годом позже? Сложности начались гораздо раньше. Невестка Н. С. (и тезка А.А.) — Анна Гумилева вспоминала, что А.А. в Слепневе «держалась в стороне от семьи. Поздно вставала, являлась к завтраку около часа,

последняя, и, выйдя в столовую, говорила: «Здравствуйте все!» За столом большей частью была отсутствующей, потом исчезала в свою комнату, вечерами либо писала у себя, либо уезжала в Петербург»[56].

В этих записках нет какого-то предвзятого отношения к А.А.; впечатления А. Гумилевой подтверждаются и другими. Вера Неведомская — соседка по Слепневу, писала: «За столом она молчала, и сразу почувствовалось, что в семье мужа она чужая. В этой патриархальной семье и сам Николай Степанович, и его жена были как белые вороны...» Насчет Н. С. — это спорно. Другая свидетельница этих лет В. С. Срезневская, большой друг семьи, вспоминает: «Гумилев был нежным и любящим сыном, любимцем своей умной и властной матери»[57]. По словам Неведомской, мать Н. С. огорчалась: «... Жену привел какую-то чудную: тоже пишет стихи, все молчит, ходит то в темном ситцевом платье вроде сарафана, то в экстравагантных парижских туалетах (тогда носили узкие юбки с разрезом)»[58].

Н. С. Гумилев не выносил Слепнева, о котором писал: «такая скучная не золотая старина», зевал, скучал и уезжал в неизвестном направлении[59]. Ему не нравились ни неброская природа бежецкой земли, ни местные нравы. В письме к А. Ахматовой (1912 г., Слепнево) он сообщает: «Каждый вечер хожу по Акинихской дороге испытывать то, что ты называешь Божьей тоской... Мне кажется, что во всей вселенной нет ни одного атома, который бы не был полон глубокой и вечной скорби»[60]. Эти же мотивы наполняют и стихи про то же бедное Слепнево:

Как этот вечер грузен, не крылат!
С надтреснутою дыней схож закат,
И хочется подталкивать слегка
Катящиеся вяло облака.

Он впервые увидел Слепнево в 1908 г., а позади было не только подстоличное Царское и сам Петербург, но и франтоватый «кавказский Париж» — Тбилиси, настоящий Париж, увиденный сразу после окончания гимназии, не считая уж Киева, Севастополя, Самары. Понятно, что столичному молодому человеку не могли импонировать и простоватые нравы захолустья. О них вспоминала недобрым словом и А. Ахматова: «На престольный праздник там непременно кого-нибудь убивали. Приезжал следователь, оставался обедать»[61]. Н. Гумилев выражал это в стихах, и куда резче:

Путь этот — светы и мраки,

Посвист разбойный в полях,
Ссоры, кровавые драки
В страшных как сны кабаках.

Но так ли уж здесь было плохо Николаю Степановичу? Если судить по воспоминаниям А. Гумилевой, то именно здесь он пережил настоящую большую любовь к Маше Караваевой, соседке по имению. Невестка Н. С. писала: «В жизни Коли было много увлечений. Но самой возвышенной и глубокой его любовью была любовь к Маше... Меня всегда умиляло, как трогательно Коля оберегал Машу. Она была слаба легкими, и когда мы ехали к соседям или кататься, поэт всегда просил, чтобы их коляска шла впереди, «чтобы Машенька не дышала пылью». Не раз я видела Колю сидящим у спальни Маши, когда она днем отдыхала. Он ждал ее выхода, с книгой в руках все на той же странице, и взгляд его был устремлен на дверь. Как-то раз Маша ему откровенно сказала, что не вправе кого-то полюбить, связать, т. к. она давно больна и чувствует, что ей недолго осталось жить. Это тяжело подействовало на поэта». Из этой скорби родились пронзительные стихи:

Когда она родилась, сердце В железо заковали ей. И та, которую любил я, Не будет никогда моей.

Осенью, прощаясь с Машей, Н. С. прошептал: «Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить». Они расстались. Их новая и последняя встреча произошла в 1911 г., перед отъездом Марии в Сан-Ремо; в декабре того же года она умерла от туберкулеза[62].

А. Ахматова даже «для себя», в своих «Записных книжках» не упоминает об этом эпизоде и ставит под сомнение воспоминания других современников. Так, она пишет «о трех старухах» — В. Неведомской, А. Гумилевой и И. Одоевцевой, которые «к тому же уже ничего не помнят»[63].

Однако о любви Н. С. свидетельствует и второй его сын — Орест Высотский. Он пишет: «В один из приездов в Слепнево Николай Степанович встретился с двумя девушками, Машей и Олей Караваевыми (имение Кузьминых-Караваевых — Борисково, находилось рядом). Маша произвела на Гумилева сильное впечатление: она была как-то особенно женственна и трогательно нежна, у нее были большие грустные голубые глаза и тонкие черты бледного лица. Она была слаба здоровьем, сама знала об этом, и на ухаживание Николая Степановича отвечала с печальной улыбкой, что ей недолго осталось жить»[64].

Здесь стоит упомянуть об одном эпизоде, относящемся ко

времени, когда Слепнево еще принадлежало Любови Владимировне Львовой. Крестьяне боготворили свою барыню за доброту и отзывчивость. Но однажды ей пришлось вызывать полицию. Барыня, очнувшись после обморока, просила никого не забирать. Пережитые волнения отразились на здоровье Любови Владимировны, она уехала в Москву к родным и там умерла[65]. Перед Октябрьской революцией, когда уже Анна Ивановна была хозяйкой имения, ей тоже пришлось пережить со своими крестьянами нечто подобное. Барыне пришлось бежать в Бежецк[66]. В 1918-м она с падчерицей окончательно переезжает туда уже в снятую квартиру. Сначала это была трехкомнатная, потом, после «уплотнения», — двухкомнатная квартира. В конце ее жизни, в 1942 г., она жила в одной комнате, отделенной от соседей перегородкой-ковром. Лёва, любивший бабушку больше всех женщин на свете, помочь ей ничем не мог — он был в Норильске.

Мальчику Льву Гумилеву Слепнево и Бежецк нравились, это была его отчизна. «Место моего детства, — писал Л.Н., — которое я довольно хорошо помню, ибо с 6 и до 20 лет жил там и постоянно его посещал, оно не относится к числу красивых мест России. Это — ополье, всхолмленная местность, глубокие овраги, в которых текут очень мелкие реки. Молога, которая была в свое время путем из варяг в хазары, сейчас около Бежецка совершенно затянулась илом, обмелела. Прекрасная речка Остречина, в которой мы все купались, — очень маленькая речка — была красива, покрыта кувшинками, белыми лилиями...

Этот якобы скучный ландшафт, очень приятный и необременительный, эти луга, покрытые цветами, васильки во ржи, незабудки у водоемов, желтые купальницы — они некрасивые цветы, но очень идут к этому ландшафту. Они незаметны и очень освобождают человеческую душу, которой человек творит; они дают возможность того сосредоточения, которое необходимо, чтобы отвлечься на избранную тему... Вот поэтому дорого мне мое Тверское, Бежецкое отечество. Потому, что именно там можно было переключиться на что угодно... Ничто не отвлекало. Все было привычно и поэтому — прекрасно. Это прямое влияние ландшафта...»[67]

Лев Николаевич вообще не любил громких слов и редко говорил о своем далеком прошлом. Тем больше цена этому гимну Бежецкой земле, произнесенному на выступлении в Центральном доме литераторов в декабре 1986 г. Взрослым человеком Л.Н. посетил Слепнево и Бежецк дважды: в 1939 и 1947 гг. В 80-х, однако, отказался от приглашения, сказав: «Я помню Бежецк чистым, зеленым городом... Не хочу разрушать эту память»[68].

Дорого ему было Тверское, Бежецкое отечество. И это, несмотря на страшный удар судьбы, пережитый в 9 лет — расстрел отца, раннее сиротство. «Конечно, я узнал о гибели отца сразу: очень плакала моя бабушка и такое было беспокойство дома, — вспоминал он в 1991 г., — Прямо мне ничего не говорили, но через какое-то короткое время из отрывочных, скрываемых от меня разговоров я обо всем догадался. И, конечно, смерть отца повлияла на меня сильно, как на каждого влияет смерть близкого человека. Бабушка и моя мама были уверены в нелепости предъявленных отцу обвинений. И его безвинная гибель, как я почувствовал позже, делала их горе безутешным. Заговора не было, и уже поэтому отец участвовать в нем не мог. Да и на заговорщическую деятельность у него просто не было времени. Но следователь — им был Якобсон — об этом не хотел и думать»[69].

Неудивительно, что образ отца идеализируется, что отец на всю жизнь становится героем, примером, легендой. Я не помню, чтобы Л.Н. мне говорил о своем дворянстве, но, по-видимому, с другими подобные разговоры имели место. В первые дни после ареста 1938 г., когда Л.Н. везли с заседания трибунала в Кресты с одним из его товарищей по несчастью — Тадиком[70], между ними состоялся следующий разговор: «Лёва, а почему ты их не поправил — ведь у тебя в стихотворении говорится о святой, а не советской тайге?» — сказал Тадик. «А ну их всех! — отмахнулся Гумилев и, помолчав, гордо добавил: — Я все-таки сын Гумилева... и дворянин»[71]. Это были не просто слова, а в ту пору — убежденность: в 1930 г. (малоизвестный эпизод в биографии Льва Николаевича) его не приняли в Педагогический институт имени Герцена за отсутствием трудовой биографии и как дворянского сына.

В «самом автобиографичном» из всех интервью Л.Н. (правда, не в прямом тексте, а в изложении Льва Варустина) так объясняется повышенное внимание к Льву в 30-х гг.: «Одно дело рядовой коллектор в окраинной экспедиции, а тут — студент исторического факультета, будущий общественный деятель. Как мог попасть в университет дворянский отпрыск, сын офицера-заговорщика, расстрелянного Советской властью?»[72]

Теперь благодаря сохранившимся архивным документам можно разрешить проблему «дворянства» Л.Н. вполне определенно. В январе 1912 г. старший брат Николая Степановича, подпоручик запаса Дмитрий, обратился в Сенат с прошением о признании его потомственным дворянином. Через непродолжительное время он получил ответ, в котором говорилось: «... Принимая во внимание, что отец подпоручика

запаса Дмитрия Степановича Гумилева — отставной статский советник Степан Яковлевич Гумилев полученными им на службе чинами... приобрел лишь личное дворянство, каковое на потомство не распространяется и что... потомственное дворянство сообщалось пожалованием ордена Св. Владимира 4 ст., а не выслугой лет на оный, Правительственный Сенат определяет: в просьбе подпоручика Дмитрия Степановича Гумилева отказать, о чем для объявления ему, по жительству его...»[73]

Знал ли обо всем этом Л.Н., видел ли он в семейном архиве этот отказ — сейчас можно только гадать. В то же время можно предполагать, что легенда (даже если он знал всю правду) ему нравилась больше; она вписывалась во всё, что было унаследовано, и скрашивала то, что предстояло пережить.

Важнее всего для Льва было то, что дворянином считал себя отец. Это документально засвидетельствовано в «Деле Н. С. Гумилева», где его рукой записано: «Фамилия — Гумилев; имя и отчество — Николай Степанович; звание — дворянин». В приговоре это повторено: «Гумилев Николай Степанович, 35 лет, бывший дворянин, филолог»[74].

Вспоминая в эмиграции о своем друге и учителе, Г. Иванов утверждал: «Гумилев говорил, что поэт должен «выдумывать себя». Он и выдумал себя настолько всерьез, что его маска для большинства его знавших (о читателях нечего и говорить) стала его живым лицом[75].

Подчеркивание своего мнимого дворянства — это эпатаж, форма игры со смертью, более того, — форма самоубийства. Однако это полностью соответствует высказываниям самого Н. С. Гумилева: «Человек свободен, потому что у него остается несравненное право — самому выбирать свою смерть». О. Э. Мандельштам вспоминает о других его словах, касавшихся отношения к большевикам: «Я нахожусь в полной безопасности, я говорю всем открыто, что я монархист. Для них самое главное — это определенность. Они знают это и меня не трогают»[76].

Но и это было позой. Если верить А. Ахматовой, он никогда не отзывался пренебрежительно о большевиках[77]. Согласно показаниям В. Таганцева, на которых построено все «дело», — «Гумилев был близок к советской ориентации»[78]. И то, и другое утверждение весьма сомнительны. Нельзя поверить и в то, что Н. С, по некоторым воспоминаниям, был глубоко аполитичным человеком. Во всяком случае, его отношение к большевикам было достаточно однозначным.

Вот что вспоминает Василий Немирович-Данченко — писатель, друг Н. С, позже эмигрировавший из России: «Мы обдумывали планы бегства из советского рая. Я хотел уходить

через Финляндию, он — через Латвию. Мы помирились на эстонской границе... В прибрежных селах он знал рыбаков, которые за переброс нас на ту сторону взяли бы недорого... И вот в таких именно беседах Николай Степанович не раз говорил мне: «На переворот в самой России — никакой надежды. Все усилия тех, кто любит ее и болеет по ней, разобьются о сплошную стену небывалого в мире шпионажа. Ведь он просочил нас, как вода губку. Нельзя верить никому. Из-за границы спасение тоже не придет. Большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда, бросают кость. Ведь награбленного не жалко. Нет, здесь восстание невозможно. Даже мысль о нем предупреждена. И готовиться к нему глупо. Все это вода на их мельницу»[79].

У многих, правда, возникал вопрос: а зачем вообще Н. С. вернулся из Лондона в 1918 г.? Сложен и противоречив был Николай Степанович, и это хорошо известно. Игра со смертью кончилась в августе 1921 г. Анна Ахматова была прозорлива в одном — она говорила об обреченности Н. Гумилева, а он эту обреченность, по ее словам, не сознавал. Но не была ли знаменитая «Пуля» предвидением?

Мог ли Лев Николаевич, обожавший, боготворивший отца, не принять легенды о «дворянстве»? Вопрос риторический. Между тем жизнь уже начинала мстить за это мнимое дворянство, когда Льву было всего 12 лет. Свидетельством тому является письмо А. И. Гумилевой к А. Ахматовой от 5 июля 1924 г. В нем говорилось: «Дорогая Аничка! Сегодня Лёва пошел в школу за своим свидетельством об окончании 4 класса и переводе его в следующий класс, т. е. теперь уже во вторую ступень. Но ему никакого свидетельства не выдали, потребовали, чтобы он принес метрическое свидетельство. Он, бедняжка, очень огорчился, когда узнал, что у меня нет его, и я сама пошла с ним в школу выяснить это дело. И мне тоже сказали, что нынче очень строго требуют документы и без метрики во вторую ступень не примут ни за что. Так что, голубчик, уже как хочешь, а добывай сыну метрику и как можно скорее, чтобы Шура могла привезти ее с собою. А без нее он совсем пропадет, никуда его не примут. А когда будешь получать бумагу, то обрати внимание, что если он записан сыном дворянина, то похлопочи, попроси, чтобы заменили и написали сын гражданина, или студента, кого хочешь, только не дворянина, иначе в будущем это закроет ему двери в высшее заведение»[80].

Вернемся в послереволюционный Бежецк. Слепнева уже нет, Анна Ивановна с падчерицей — на снятой квартире.

Все расхищено, продано. Черной смерти мелькало крыло. Все голодной тоскою изглодано. Отчего же нам стало светло?

Это известное стихотворение Анны Ахматовой подписано

«Петербург, июль 1921» и посвящено Наталии Рыковой — жене профессора-литературоведа Г. А. Гуковского. Н. Гумилев будет арестован позже, 3 августа. Это не предвидение, не прозрение его бывшей жены, это отклик на все происшедшее ранее — голодный и чуждый поэтессе Петроград, утраченное и разоренное Слепнево.

В мае 1921 г. Н. Гумилев последний раз побывает в Бежецке, приедет он на один день за женой (это была уже А. Н. Энгельгардт) и дочерью. Анна Ивановна рассказывала, что его жена посылала «ужасные письма о том, что она повесится или отравится, если останется в Бежецке». Приехавши в Бежецк, Николай Степанович выглядел очень расстроенным. Эта его встреча с матерью, сыном и сестрой оказалась последней[81].

Зимой того же года, через три месяца после расстрела Н. Гумилева, Анна Ахматова приедет в Бежецк, чтобы решать, где жить Лёве — в голодном и холодном Петрограде или у бабушки в более сытом Бежецке. Питер отпал не только потому, что он голодный. Жизнь Анны Андреевны в ту пору была еще более неустроенной, чем раньше. Она разошлась со своим мужем — Вольдемаром Казимировичем Шилейко, бывшим другом Н. Гумилева, ученым-востоковедом и переводчиком. Шилейко, как рассказывал П. Лукницкий со слов А.А., мучил ее, держал взаперти, как в тюрьме, никуда не выпускал, заставлял подолгу под его диктовку писать его работы. А.А. считала, что Шилейко «всегда старался унизить ее в ее собственных глазах, показать ей, что она неспособная, умалить ее всячески»[82].

«Говорит на сорока языках, а не нашел общего языка с Анной», — вздыхала бабушка Лёвы. Теперь Анна Ивановна еще более утвердилась в правоте недавнего решения — не отпускать внука с матерью в Питер. «Господи, спасибо Тебе, что не оставил меня в Своих заботах», — повторила она благодарные слова, привычно склоняясь перед образами в вечерней молитве[83].

А Анна Андреевна? Надо полагать, что решение свекрови пришлось ей по душе, и трудно ее за это упрекать, ибо обстановка в Питере действительно была суровой. Как и потом, в годы блокады, интеллигенция пыталась «кучковаться», переселяясь к редким источникам тепла. Зимой 1920 г. в квартире на Ивановской, где жил Н. С. Гумилев, стало невыносимо от холода, ему удалось переехать в Дом искусств, бывший дом Елисеева на углу Невского и Мойки, где судьба соединила писателей, литературных и художественных деятелей, многих из сотрудников «Аполлона».

Анна Андреевна приедет в Бежецк, если верить памяти Л.Н., лишь через 4 года — в 1925 г., приедет утром и уже в обед того же дня соберется в обратную дорогу. Подобная поспешность,

похожая на бегство, ошеломит, глубоко обидит сына[84]. Вот здесь, мне кажется, нужно искать корни будущего отчуждения А.А. и сына, а не только в лагерной поре и каких-то недоразумениях переписки 1949–1956 гг.

Это тем значимее, что Лев навсегда сохранил благоговейное, святое отношение к отцу. «Он (Л.Н.) ушел от меня..., а в сердце... на многие годы осталась память о вырвавшихся у него как сокровенный вздох словах «мой папа», — писала Э. Герштейн[85]. Добавим, что упомянутый «блиц-визит» к сыну был в том году, когда Анне Ивановне было плохо. «Она очень больна, даже при смерти, но теперь поправляется», — с облегчением констатировала А.А. в январе 1925 г.[86] Месяцем раньше было написано стихотворение, где поминался брошенный сын; оно называлось «Бежецк».

Там белые церкви и звонкий, светящийся лед,
Там милого сына цветут васильковые очи,
Над городом древним алмазные русские ночи
И серп поднебесный желтее, чем липовый мед.

В это время Ленинград (уже не Петроград) еще не стал сытым, но уже был нэповским, уже с возродившимися литературными вечерами — пусть не такими красивыми и изысканными, как десяток лет назад, но все же... Заботы у А.А. стали другие. Вспоминает П. Лукницкий: «Просила сказать мое мнение о том, как она держалась на эстраде 25.11.1925 г. Я ответил, что «с полным достоинством» и немного «гордо». «Я не умею кланяться публике... За что кланяться? За то, что публика выслушала? За то, что аплодировала? Нет, кланяться совершенно не нужно»[87].

Павел Лукницкий встречался с А.А. несколько раз в неделю и скрупулезно записывал все мало-мальски существенное о самой А.А. и уж точно все, абсолютно все, связанное с его кумиром — Н. Гумилевым. Первый том его «Встреч с Анной Ахматовой» вышел в Париже в 1991 г. и содержит записи с декабря 1924 по декабрь 1925 г.[88]. Так вот, за весь 1925 г. Бежецк и Лёва поминаются всего... четыре раза. Впрочем, косвенно Бежецк фигурирует еще один раз, и это, по сути, грустное упоминание, облеченное в элегантную форму. Бежецкие жили бедно, им пришлось даже продавать мебель, и Анна Андреевна вспомнила о проданной кровати: «Упоительная, кровать была!» П. Лукницкий комментирует: «Очень часто к мебели, к столу, креслу и т. д. А.А. прилагает самые нежные, самые ласковые эпитеты»[89].

Раздражала А.А. и сводная сестра Н. Гумилева — А. И.

Сверчкова. По-видимому, разговоры с ней поручались П. Лукницкому. «А.А. дает мне руководящие указания», — отмечал он в дневнике[90]. В другом месте Лукницкий пишет: «А.А. про Сверчкову — когда она ушла — «Я ей дала 30 рублей... И она сейчас же стала уверять, что Н. С. любил меня всегда, что он говорил ей и т. д. Зачем это. Подумай, только 30 рублей нужно...»[91]

Может быть, Сверчкова была малоприятной, неумной женщиной (у нее были плохие отношения и с Лёвой), но на ней держался бюджет бежецкого очага. Анна Андреевна бывала подчас откровенно грубой и злопамятной. Даже по прошествии многих лет (в 60-х гг.), когда сводной сестры уже не было в живых, она в беглых неоконченных заметках писала: «Как можно придавать значение и вообще подпускать к священной теме (речь идет о Николае Гумилеве. — С. Л.) мещанку и кретинку А. И. Гумилеву, которая к тому же ничего не помнит не только про Н. Гумилева, но и про собственного мужа»[92]. Злобно, не похоже на А.А.? Удивительно и другое: нигде в разговорах А.А. не всплывает ее отношение к Анне Ивановне Гумилевой, на плечах которой держался все эти годы вообще весь дом, и нигде нет и намека на благодарность ей.

В декабре 1925 г. Лукницкий записал: «А.А. получила сегодня письмо из Бежецка. Деньги, которые она выслала (50 руб.), они, наконец, получили: сшили Лёве костюм и купили сапоги. В письме сообщают, что Лёва только что заболел, что у него 39° и что именно, еще не выяснено. А.А. сказала это с тревогой и очень обеспокоена этим»[93]. Анна Андреевна по этому поводу просила послать телеграмму в Бежецк, а вечер провела с тем же П. Лукницким, обсуждая гибель Сергея Есенина, которая ее очень взволновала[94].

А.А. была очень внимательна к своему здоровью. Достаточно просмотреть записи П. Лукницкого о вполне нормальных днях Фонтанного дома, чтобы убедиться в этом: «Температура сегодня такая: утром — 36,9°, в 3 часа дня — 37,1°, в семь — 37,3°, в 9 часов вечера — 37,5°»[95]. Приходящие к Анне Андреевне гости, по словам Лукницкого, начинали разговор с ней с ее болезни[96].

Много внимания уделяла А.А. здоровью своей собачки. Лукницкий записал: «Она (А.А.) очень огорчена болезнью Тапа — у него горячий нос, что-то на спине. Завтра А.А. отвезет его в больницу»[97]. Ей бы не в больницу с собачкой, а в поезд и к Лёве, смотришь, и жизнь была бы потом счастливее — не только славой поэта, но и сыном! Между тем она «захлопнула страшную дверь», как сама написала в «Бежецке». А почему, кстати, «страшную»? — за ней остался Лев. Не пришлось бы А.А. в самом конце жизни

признать эти роковые ошибки 20-х гг. После многих лет «необщения» с сыном, она в 1966 г. в разговоре с Лидией Чуковской сообщила той «самую лучшую новость», которую она приберегла под конец: «Лёва был у Нины и сказал: „Хочу к маме“»[98].

А.А. — не мой герой, но много раз по ходу сбора материалов и написания книги возникал вопрос: а почему никто и никогда не создал биографии Анны Ахматовой, нормальной, человеческой, а не поэтической? Ни работа П. Лукницкого в разных вариантах: авторском, парижском или в обработке Веры Лукницкой[99], ни трехтомник Лидии Чуковской — «не в зачет». Ни то, ни другое — не биография, это скорее «цитатники» из А.А.; поучительные, интересные, но не биография.

Единственная (вот это и удивительно!) у нас в стране книга, претендующая на роль биографии, принадлежит англичанке Аманде Хейт, но это скорее автобиография[100]. Как замечал Ю. Г. Оксман, А.А. очень многое диктовала о себе и своей работе Аманде. Это скорее то, что хотела сама А.А. рассказать о своей жизни. По этому поводу вспоминаются ее же очень справедливые слова: «Страшно выговорить, но люди видят только то, что хотят видеть, и слышат только то, что хотят слышать. Говорят «в основном» сами с собой и почти всегда отвечают себе самим, не слушая собеседника. На этом свойстве человеческой природы держится 90% чудовищных слухов, ложных репутаций, свято сбереженных сплетен»[101]. И еще: «Что же касается мемуаров вообще, я предупреждаю читателя, двадцать процентов мемуаров так или иначе фальшивки. Самовольное введение прямой речи следует признать деянием уголовно наказуемым, потому что оно из мемуаров с легкостью перекочевывает в почтенные литературоведческие работы и биографии»[102]. Анна Андреевна, по-видимому, права. Но тогда как же быть с воспоминаниями П. Лукницкого, где почти все построено на «прямой речи»?

Счастьем для маленького Лёвы было то, что его добрым ангелом все эти смутные годы была бабушка — Анна Ивановна — изумительной доброты и ума человек. Она его выходила, вырастила и воспитала. Посмотрите на фотографию: открытое, красивое лицо. «А. И. была хороша собой — высокого роста, худощавая, с красивым овалом лица, правильными чертами и большими добрыми глазами; очень хорошо воспитанная и очень начитанная. Характера приятного: всегда всем довольная, уравновешенная, спокойная», — писала невестка — Анна Гумилева, жена Дмитрия Степановича, про свою свекровь.

Когда А.А. сказала Анне Ивановне, что разводится с Гумилевым, поставив условием, чтобы Лёва остался у нее в

случае развода, Анна Ивановна вознегодовала, позвала Н. С. и заявила ему (тут же при А.А.): «Я тебе правду скажу. Лёву я больше Ани и больше тебя люблю»[103]. Это была не красивая фраза. Вся дальнейшая жизнь Анны Ивановны (до отъезда Лёвы в Ленинград) — самоотверженная и мудрая, заслоняющая мальчика от волнений и тягот окружающего, во многом враждебного мира — доказательство безмерной любви к Лёве[104]. Бабушка по мере сил старалась заменить внуку его родителей и все больше привязывалась к нему. Лев напоминал ей внешним обликом, повадками и рано проявившейся самостоятельностью погибшего сына. Не лез на глаза, не капризничал, сам легко находил для себя занятие. После школы один, обычно устроившись на леопардовой шкуре, которую Николай Степанович привез из Абиссинии, что-то рисовал или же играл в оловянных солдатиков[105].

Сохранность этого маленького уютного мирка (библиотека, леопардовая шкура, тишина и покой) была заботой бабушки, и это было все труднее. С 1918 г., как уже говорилось, они жили в чужой снятой квартире. К тому же, не считая денег из Питера (а они поступали редко), единственным источником дохода была весьма скромная зарплата падчерицы Анны Ивановны — учительницы школы первой ступени. Они не голодали, хлеб был (провинция все же — не Питер), но уже картошка с льняным маслом казалась лакомством.

Школа была уже за пределами этого мирка. Там — открытая враждебность, учебники, отнятые у сироты («враги народа» — более позднее изобретение), серые, малоинтересные уроки... Все обучение было настолько низко по уровню, что, приехав в Ленинград, Лев вторично поступает в 9-й класс, чтобы иметь шанс поступить потом в институт.

На этом мрачном фоне был один светлый человек. Учитель с большой буквы, память о котором осталась у Л. Н. до конца дней: преподаватель обществоведения и литературы в старших классах железнодорожной школы Александр Михайлович Переслегин. О сложившихся отношениях, об их роли в формировании Л.Н. говорит его письмо, написанное в декабре 1968 г. к своему бежецкому учителю: «... Закончил третью часть моей «Степной трилогии» — «Поиски вымышленного царства», т. е. царства пресвитера Иоанна (861–1312). Получился скорее трактат, нежели монография, но так будет интереснее. И еще, сдал в журнал «Природа» огромную статью «Этнос и этногенез как явление природы». Приняли! И то, и другое родилось из наших бесед, когда Вы уделяли глупому мальчишке столько времени и внимания. С 1928 г. — моя мысль работала, будучи толкнута

Вами. Сейчас я стар и в остром переутомлении от сверхнапряжений, но передо мной все чаще встают картины детства и Ваш светлый образ. Обнимаю Вас. Лёва»[106].

Необходимо сказать несколько слов об этом удивительном человеке. А.М. Переслегин (1891 — 1973) родился в Лисичанске в семье горного инженера. В 1900 г. отец получил назначение в Петербург, но неожиданно умер в дороге от сердечного приступа. Жена и девять детей добрались до места назначения одни. После окончания историко-филологического факультета университета Александр Михайлович был оставлен на кафедре русской истории для научной работы, начал писать диссертацию, но революция, голод и разруха, а также смерть одного из детей вынудили семью переселиться в провинциальный Бежецк (по обеспечению это все-таки была, как тогда говорили, «вторая Украина»!). В 1919 г. Александр Михайлович стал преподавателем той самой школы.

На «Гумилевских чтениях» 1997 г. были гости из Бежецка, из Твери — родные и знакомые А. М. Переслегина. Они рассказали о нем немало интересного: недавно нашли тетрадь Александра Михайловича со стихами Мандельштама, В. Инбер и самого Льва, перекликавшимися со стихами отца. Да и сам Переслегин писал стихи. Вообще говоря, он был образованнейшим человеком — владел французским, старославянским, древнегреческим. Внешне Александр Михайлович был похож на А. Суворова — быстрый, изящный, с хохолком на голове. С Гумилевыми Переслегины дружили домами, и в чем-то Александр Михайлович заменил Льву отца.

В преподавании Переслегин использовал «игровую педагогику»: на уроках обществоведения фигурировали сказочные государства и вымышленные персонажи, которые потом перекочевали и в некоторые детские сочинения Льва. Мне попались три опуса: один — совсем юного Льва — «Из рыцарских времен», драма в 4-х действиях, записанная на бедненькой школьной тетрадке в клеточку явно детским почерком, и два — молодого Льва — «Герой эль Кабрилло» и «Тоду-Вакка»...

Из стихов Лёвы Гумилева, дошедших до нас, процитирую «Шахматную партию», посвященную А. М. Переслегину. Учитель любил шахматы, но Л.Н. «в возрасте» как-то скрывал это свое увлечение (или оно прошло с годами?).

Благословенная Каисса[107],
Мне помогает твой приход.
Я на доске хитрей Улисса
Себе выискиваю ход.

Я грозно пешек надвигаю,
Оплот надежный им слоны
Конем умело упреждаю,
Атаку с левой стороны...

Все остальное было в бежецкой школе плохо. «Школьные годы — жестокое испытание, — будет вспоминать Л.Н. в конце жизни, — без знания языков и литературы теряются связи с окружающим миром людей, а без истории — с наследием прошлого. Но в двадцатых годах история была изъята из школьных программ, а география сведена до минимума. То и другое на пользу не пошло»[108].

В школе Лев учился неровно. Шел первым по литературе, обществоведению, биологии и плелся в хвосте по физике, химии, математике[109]. Сам он объясняет это так: «Интересным для автора оказались история и география, но не математика и изучение языков. Почему это было так — сказать трудно, да и не нужно, ибо относится к психофизиологии и генетической памяти...»[110]

К генетической памяти мы еще вернемся, а вот другое объяснить труднее: почему-то взрослый Л. Гумилев не однократно говорит о рубеже «6 лет». «Только с шести-семи лет человек, — писал Л.Н., — может начать выбирать интересное и отталкивать скучное»[111]. Та же мысль высказывается и в одном из писем к П. Савицкому: «Историей я занимаюсь 38 лет, т. е. с 6-летнего возраста. Первые десять лет были посвящены гимназическому курсу, затем пошел Восток...»[112]

К счастью для Лёвы, тогда в Бежецке была библиотека, полная сочинений Майн Рида, Купера, Жюля Верна, Уэллса, Джека Лондона и многих других увлекательных авторов, дающих обильную информацию. Там были хроники Шекспира, исторические романы Дюма, Конан Дойля, Вальтера Скотта, Стивенсона. Да и в слепневском доме была большая старинная библиотека[113].

Чтение давало Льву первичный фактический материал и будило мысль. Так стали возникать первые исторические вопросы. Зачем Александр Македонский пошел на Индию? Почему Пунические войны сделали Рим «вечным городом», а коль скоро так, то почему готы и вандалы легко его разрушили? В школе тогда ничего не говорили ни о крестовых походах, ни о Столетней войне между Францией и Англией, ни о Реформации и Тридцатилетней войне, опустошившей Германию, а об открытии Америки и колониальных захватах можно было узнать только из

беллетристики, т. к. не все учителя сами об этом имели представление[114]. «Излишний интерес к истории, — как вспоминал Л.Н., — вызывал насмешки. Но было нечто более сильное, чем провинциальная очарованность. Это нечто находилось в старых учебниках, где события были изложены систематически, что позволяло их запоминать и сопоставлять. Тогда всемирная история и глобальная география[115] превращались из калейдоскопа занятных новелл в стройную картину окружающего нас Мира. Это дало уму некоторое удовлетворение. Однако оно было неполным. В начале XX в. гимназическая история ограничивалась Древним Востоком, античной и средневековой Европой и Россией. Китай, Индия, Африка, доколумбовская Америка, главное, великая степь Евразийского континента были тогда Терра инкогнита. Они требовали изучения»[116].

Интерес к географии подогревался еще и присланным Анной Андреевной атласом на немецком языке. Немецким Лев не владел, но поиск на карте с латинским шрифтом — полезное дело; не случайно Л.Н. потом блестяще знал «географическую номенклатуру».

Биографы Н. Гумилева старались найти сходство отца и сына — ту самую генетическую память, о которой позже поминал и сам Л.Н. Речь идет не просто о внешнем сходстве, хотя оно было. В. Ходасевич писал, что Л.Н. в детстве был очень похож на отца. Это видно на широко известной фотографии, но в зрелые годы Гумилев стал более походить на мать[117].

Но имеются и более глубокие основания для сходства. Никто почему-то не сказал, что и Николая, и Льва Гумилевых воспитывала одна и та же женщина — мудрая и добрая Анна Ивановна Гумилева (Львова). Думаю, первое, что было от нее унаследовано, — это вера, глубокая религиозность.

Анна Гумилева — невестка Н. С. вспоминала: «Дети воспитывались в строгих принципах православной религии. Мать часто заходила с ними в часовню поставить свечку, что нравилось Коле. С детства он был религиозным и таким же остался до конца дней своих — глубоко верующим христианином. Коля любил зайти в церковь, поставить свечку и иногда долго молился перед иконой Спасителя. Но по характеру он был скрытный и не любил об этом говорить»[118]. Правда, Владислав Ходасевич, говоря о Николае Степановиче, отмечал, что хотя «Гумилев не забывал креститься на все церкви… но я редко видел людей до такой степени не подозревавших о том, что такое религия»[119]. Но я больше склонен доверять невестке Н. С. Гумилева, которая, надо полагать, знала лучше.

Что же касается Л.Н., то М. Ардов вспоминал: «В нем (Л. Гумилеве) я встретил первого в нашем интеллигентском кругу сознательного христианина. Я помню, как поразила меня его короткая фраза о Господе Иисусе. Он вдруг сказал мне просто и весомо: «Но мы-то с вами знаем, что Он воскрес»[120]. Мне кажется, что он не любил об этом говорить. Во всяком случае — только случайно в пятилетие со дня смерти Л.Н., когда мы по традиции собрались на Никольском кладбище, я услышал об его роли в восстановлении университетской церкви (раньше знал только о двадцатке в храме на Обводном канале).

Многое сближает образы отца и сына; что тут от генетической памяти, а что от стремления быть похожим — точно определить невозможно. Но главное общее — пассионарность. У Николая Степановича Гумилева она проявлялась в любой сфере его деятельности: в творчестве и неодолимой тяге дальних странствий, в стремлении быть лидером, успевать во всем — от триумфов в любви, до лидерства в «Цехе поэтов», лидерстве в создании нового направления в поэзии, готовности к подвигу и поиске опасностей, в преодолении физической слабости в юношестве и создании противовеса ей — «всегдашней позе мужественной неколебимости» (С. Маковский)[121].

Но это отнюдь не цельный образ, а очень многогранный, противоречивый, двойственный. Есть Гумилев «имиджа» — холодный, «железный человек», а есть совсем другой Гумилев — открытый для немногих друзей. Один — весь в самоутверждении, другой — благодушно-доброжелательный к ученикам и поклонникам — «гумилятам», «простой и добрый» (Н. Оцуп)[122].

Пассионарность его и в достижении мечты, казалось, самой неосуществимой. В письме отцу юный Николай Гумилев писал о мечте «пожить между берегом Красного моря и суданским таинственным лесом». Тогда денег на это не было, но в 1908 г. он отправляется в путь, сэкономив средства из ежемесячной родительской получки. Отправная точка — Париж. Родители ничего не знают; им идут заранее заготовленные и оставленные друзьям открытки[123]. Мечта об Африке, об этой «исполинской груше на дереве древней Греции», реализовалась и не раз: в 1908 г. — Египет (2 месяца), в 1909 г. — Абиссиния (несколько месяцев), в 1910 г. — снова Абиссиния, в 1913 г. — на полгода в Африке, на сомалийском полуострове.

Все это принято немного шаблонно и даже пошловато именовать «музой дальних странствий». Во время последней поездки наступает некоторый перелом. Николай Степанович едет в Африку на средства и по поручению Музея антропологии и этнографии в Петербурге. Если до этого доминировала романтика

и экзотика: слоновые клыки и шкуры леопарда (Лёва играл на одной из них в Слепневе), картины-иконы и кустарные ткани, то теперь это приобретало характер планомерного исследования. Правда, А. Ахматова, называвшая мужа «великим бродягой», все его находки называла «маскарадной рухлядью»[124].

Над трофеями, привезенными из Абиссинии, подшучивал в редакции «Аполлона» и известный юморист Аркадий Аверченко. Он заявлял, что внимательно осмотрел «эти шкурки», а затем очень учтиво спросил у Н. С. Гумилева, почему на обороте каждой шкурки отпечатано лиловое клеймо петербургского городского ломбарда, намекая на то, что все африканские похождения Гумилева — миф, сочиненный им здесь, в Петербурге. Гумилев ни слова не сказал остряку. На самом деле печати на шкурах были поставлены не ломбардом, а музеем Академии наук[125].

Между тем, по отзывам специалистов, коллекция, подаренная Музею Н. С. Гумилевым, была самой ценной из имеющихся по этому региону. Тонкие знания Африки запечатлелись и в поэзии Николая Степановича; знаменитый африканист Д. А. Ольдерогге, внимательно (с карандашом) читавший его книгу «Шатер», ни в своих пометках, ни позже не упрекнул автора в сколько-нибудь серьезных ошибках[126].

А как было с «музой странствий» у Льва Николаевича? Гораздо сложнее. В первые экспедиции он поехал из-за бедственного положения: не было ни работы, ни денег, ни поддержки. С зарубежными поездками вышло еще хуже. Л.Н. был за границей всего два раза: в 1966 г. поездка в Прагу и Будапешт на Археологический конгресс, да еще в 1973 г. поездка в Польшу. Со многими районами СССР — от Беломорканала до Норильска и Омска — ему пришлось знакомиться принудительно, совсем независимо от «тяги к перемене мест».

Продолжу свои сопоставления биографий сына и отца. Самые знаменитые гумилевские «Пути конквистадоров» открываются эпиграфом из Андре Жида: «Я стал кочевником, чтобы сладострастно прикасаться ко всему, что кочует». Через десятки лет Лев в первом своем письме П. Савицкому сообщит: «Я уже 20 лет тому назад с огромным интересом прочел Вашу работу «О задачах кочевниковедения». Я посвятил свою жизнь именно этому разделу истории»[127]. Что это — совпадение, случайность?

А вот еще. Н. С. Гумилев замечал: «Я пишу географию в стихах... [Это] самая поэтическая наука, а из нее делают какой-то сухой гербарий. Сейчас у меня Африка — черные племена. Надо изобразить, как они представляют себе мир»[128]. Л.Н. не писал географию в стихах, но сделал все, чтобы она не была похожа на сухой гербарий; «его география» во многом оживляла и объясняла

историю, не становясь при этом примитивным «географическим детерминизмом». Примечательна в этом отношении ссылка Л.Н. на автора XVIII века, который писал: «При всяком шаге историка, не имеющего в руках географии, встречается претыкание»[129].

А.Ахматова вспоминала, что в 1916 г. Николай Степанович говорил ей: «Ты научила меня верить в Бога и любить Россию»[130]. Насчет веры мы уже приводили и другие мнения, а патриотизм Н. С. Гумилева был несомненен. Кто еще из поэтов «серебряного века» ушел на фронт в первые же дни войны? Кто из них, на короткий срок возвращаясь в Петроград, имел на груди два Георгия? Василий Немирович-Данченко вспоминал о Николае Степановиче: «В мировой бойне он был таким же пламенным и бестрепетным паладином, встречавшим опасности лицом к лицу… В самые ужасные минуты, когда все терялись кругом, он был сдержан и спокоен, точно мерял смерть из-под припухших серых век. Его эскадрон, случалось, сажали в окопы. И всадники служили за пехотинцев. Гумилев встанет, бывало, на банкет бруствера, из-за которого немцы и русские перебрасываются ручными гранатами и, нисколько не думая, что он является живой целью, весь уходит жадными глазами в зеленеющие дали»[131].

Через полвека поедет на фронт добровольцем его сын Лев, поедет из своей «первой Голгофы». В апреле 1945 года он напишет: «Воюю я пока удачно: наступал, брал города, пил спирт, ел кур и уток, особенно мне нравилось воронье; немцы, пытаясь задержать меня, несколько раз стреляли в меня из пушек, но не попали. Воевать мне понравилось, в тылу гораздо скучнее». И прибавит еще: «Передвижение в Западной Европе гораздо легче, чем в Северной Азии»[132].

Недостатки у Николая Степановича и Льва Николаевича в чем-то совпадали. Про Н. С. один из его друзей писал: «Точными знаниями он не обладал ни в какой области, а язык знал только один — русский, да и то с запинкой (писал не без орфографических ошибок, не умел расставлять знаков препинания, приносил стихи и говорил: «А запятые расставьте сами!»). По-французски кое-как понимал»[133]. В школе он учился плохо, университет не закончил.

Л.Н. писал без всяких ошибок, но самокритично отзывался о своих знаниях: «Основными недостатками своей подготовки я считаю: а) слабое знание языков. Читаю свободно только по-французски и по-английски, знаю персидский и таджикский, но не за все периоды (они очень разные). По-немецки читаю еле-еле, а по-татарски еще хуже; латынь чуть-чуть. Это, конечно, очень грустно, но не моя вина; в) не успел выучить как должно

философию европейскую, т. к. отвлекался на Восток; с) совсем слабо знаю математику, но этот пробел восполняю тем, что принимаю на веру результаты ее и пытаюсь применять к истории»[134].

Поиски «генной памяти» могут завести нас далеко. Нельзя вместе с тем пройти и мимо различий отца и сына. Поэт говорил, что если идея истинно художественная, то она может и должна быть выражена только стихом. Ученый любил писать стихи, но стал известен прозой (я имею в виду лучшую научно-популярную книгу «Поиски вымышленного царства»). Георгий Адамович отмечал, что при жизни Н. Гумилева его книги не имели большого распространения; он имел учеников, последователей, но проникнуть в широкую публику ему не давали, и, по-видимому, он этим тяготился. Ранняя насильственная смерть дала толчок к расширению поэтической славы Николая Степановича[135].

Л.Н. большую часть жизни писал «в стол». Популярность настигла его после смерти: книги Гумилева стали выходить массовыми тиражами, Казахский университет в Астане был назван его именем и т. д. Это был триумф после смерти...

2. Его университеты

О. Мандельштам сказал Анне Ахматовой о Л. Гумилеве: «Вам будет трудно уберечь его, в нем есть гибельность».

Л. В. Яковлева-Шапорина

В 1929 году вернулся в Ленинград, к матери, и окончил 67-ю среднюю школу в 1930-м.

Л. Гумилев

2.1. Необрый, но любимый город

В нелегкое время вернулся Л.Н. в Ленинград, Он сам пишет «вернулся», потому что был здесь когда-то с отцом, пусть совсем недолго; в 1926 г. — «на побывке» у матери, а скорее, у П. Лукницкого. Кому нужен здесь был провинциальный мальчик со своими фантазиями, очень домашний, да еще с таким клеймом, как «сын расстрелянного»? Матери? Это спорно; она была занята своими переживаниями — личными и творческими.

Тем не менее суровый город быстро стал его любимым, оставался мечтой в долгой лагерной жизни. В 1955 г. из Омлага Л.Н. напишет: «Мне кажется, что лучшего места на земле нет: климат замечательный, улицы красивые. Нева, библиотеки, музеи... ну чего еще надо? Очень хочу домой!»[136]

Жили они с А.А. бедно. Э. Герштейн рассказывает: «Оба ослабли от голода, даже курево не на что было купить. Потом они, видимо, заняли у кого-то из знакомых немного денег. Тем не менее Лёва сдал последний экзамен на тройку, потому что у него от голода кружилась голова»[137]. Судя по последней фразе — «сдал экзамен», дело было в 1934 г.

Герштейн дала изумительно четкое и жесткое определение всей ситуации, в которой находился Лёва — любимый ею человек. «Уже давно, — пишет она, — я была потрясена зрелищем его жизни, в которой ему не было предусмотрено на земле никакого места»[138]. Действительно, никакого места... Москву он не любил; увидев столицу в период реконструкции ее центра, заметил: «Мало ли в России пустырей...» И Москва была к нему достаточно жестка. Столичные друзья Анны Андреевны

тяготились ее частыми приездами туда и только делали вид, что ценят Л.Н. Опять же, по свидетельству Э. Герштейн, Мандельштамы были недовольны приездом Лёвы (с которым, кажется, мемуаристка у них и познакомилась), и в первые дни после отъезда Анны Андреевны и у Нади, и у Осипа Эмильевича прорывалось какое-то раздражение против нее. «Осип Эмильевич, — пишет Герштейн, — сочинил на меня и Лёву злую эпиграмму, которую мне сам Лёва прочел... Я, со своей стороны, открыла Лёве, что Надя называет его кретином»[139]. Злоба Мандельштамов выплескивалась за пределы столицы и достигала Ленинграда. Брат Осипа — Евгений Эмильевич, у которого остановилась Эмма, услышав, как она звонила на Фонтанку, заметил: «Вы говорили с сыном Анны Андреевны? Остерегайтесь его, у него могут быть нехорошие знакомства. Вообще... я бы не хотел... из моей квартиры»[140].

Неприятные слухи доходили даже до незнакомых Мандельштаму людей. В 1937 г. Эмма жила у своих родственников — врачей. Последние поинтересовались тем, у кого она бывает. Герштейн назвала среди прочих и Ахматову, на что ей было сказано: «У Ахматовой? О, избегай ее сына»[141]. А еще говорят, что интеллигенция — только страдавшая сторона в тот страшный год. Легко было предсказывать великому поэту: «В нем есть гибельность»; они же и добавляли, помогали «реализовать» эту гибельность.

2.2. Злой гений Льва Гумилева

Если бы я не был так ничтожен...
Но я труслив, слаб и изворотлив.

Н. Пунин

Мог ли Лев спокойно, нейтрально воспринимать третьего мужа Анны Андреевны — Николая Николаевича Пунина? Думается, нет; и дело не только в откровенной и нескрываемой неприязни самого Пунина к нему. Обычно Н. Н. Пунин фигурирует как профессор, крупный искусствовед, жертва сталинских репрессий. Все это в основном верно. Верно и то, что жизнь его закончилась трагически: в 1953 г. в концлагере Абезь на Севере. Странная игра судьбы напоследок свела его там с одним из евразийцев — Львом Карсавиным. По свидетельству «солагерников», оба сохраняли какую-то стоическую силу.

Думается, взрослый Лев Гумилев знал и другое, для него не менее существенное: в 1918 г. Н. Н. Пунин был официальной фигурой в России и очень немалой — заместителем народного комиссара просвещения РСФСР А. В. Луначарского. Это бы ладно, чего не случалось в те годы. Но я думаю, что Лев Гумилев знал «заметку-донос» Н. Н. Пунина на своего отца. В ней говорилось: «С каким усилием, и то только благодаря могучему коммунистическому движению, мы вышли год назад из-под многолетнего гнета тусклой изнеженно-развратной буржуазной эстетики. Признаюсь, я лично чувствовал себя бодрым и светлым в течение всего этого года отчасти потому, что перестали писать или, по крайней мере, печататься некоторые «критики» и читаться некоторые поэты (Гумилев, например). И вдруг я встречаюсь с ними снова «в советских кругах»... Этому воскрешению я, в конечном итоге, не удивлен. Для меня это одно из бесчисленных проявлений неусыпной реакции, которая то там, то здесь да и подымет свою битую голову».

Напечатано это было в газете «Искусство Коммуны». Когда я начал искать что-либо интересное (и не сугубо специальное, а человеческое, так сказать) о Н. Н. Лунине, то наткнулся на статью о нем С. Михайловского. В ней отмечалось, что упомянутая газета издавалась меньше года, а у журнала «Изобразительное искусство», к которому Н. Н. имел отношение, вышел всего один-единственный номер[142]. Но донос, даже «в супрематическом пространстве», не становится от этого менее зловещим.

Первые встречи Н. Н. Пунина с Н. Гумилевым были в дореволюционную пору — «мы жили тогда на планете другой», как пел позже А. Вертинский. Михайловский рассказывает, что в архиве Пунина хранится фотография, на которой заснят маскарад в Царском Селе. Он был устроен дочерьми морского генерала Аренса, обретавшегося при дворе, и проходил на берегу пруда в здании Адмиралтейства. «С беспечной веселостью замерла перед фотографом костюмированная толпа, — пишет биограф Пунина, — над молодыми лицами пудреные парики, затейливые шляпы. Легки преклонил колено перед Зоей Евгеньевной Арене Николай Николаевич Пунин... Впереди, на авансцене, Николай Степанович Гумилев»[143].

Пунин и Н. Гумилев встретились последний раз в августе 1921 г. в следственном изоляторе ЧК на Гороховой, когда первый был ненадолго арестован. Одного вели на допрос, другого — с допроса. У Гумилева в руках была «Илиада» Гомера, с которой он не расставался ни в далеких путешествиях, ни на фронте. Единственное, что успел сделать Гумилев — это показать книгу Пунину[144].

Вряд ли юный Лев знал тогда этот эпизод. В 1929 г. он приехал в Ленинград и из бежецкого тепла попал в крайне холодную, злобную обстановку «Фонтанного дома», где его мать была обозначена в пропуске как «жилец» (он был необходим, так как проходить в квартиру приходилось через вестибюль Дома занимательной науки). В квартире было тесно. Пришлось думать, где поселить бежецкого гостя. Решили постелить ему на сундуке в длинном, идущем вдоль комнат коридоре. Пунин сразу насторожился по отношению к сыну Ахматовой. Быть может, ревновал его к матери, к Гумилевым, а скорее всего, связывал е этим юношей новые хлопоты. Он открыто давал понять, что Лев — семье в тягость, и что было бы совсем неплохо, если бы он подался обратно в Бежецк. Однажды во время одного из объяснений Лунина с матерью Лев случайно услышал, как тот раздраженно кричал: «Что же ты хочешь, Аня, мне не прокормить весь город!»[145]

Как при этой странной «жизни впятером» мог себя чувствовать Лев? Вспоминает Эмма Герштейн: «Меня пригласили к столу, где собрались все: Николай Николаевич, его жена Анна Евгеньевна с Ирой (дочь Н. Пунина. — СЛ.), Анна Андреевна и Лёва... Анна Евгеньевна с Ирой сидели на одном конце очень длинного стола, а Лёва с Анной Андреевной на другом. Анна Евгеньевна молча опрокидывала в рот полную рюмку водки и только изредка подавала своим низким прокуренным голосом реплику — как ножом отрежет... По какому-то поводу говорили о бездельниках. Анна Евгеньевна вдруг изрекла: «Не знаю, кто здесь дармоеды», Лёва и Анна Андреевна сразу выпрямились. Несколько минут я не видела ничего, кроме этих двух гордых и обиженных фигур, как будто связанных невидимой нитью»[146].

Герштейн рассказывает, что жизнь у Пуниных становится невыносимой, так как Анна Андреевна лишилась пусть небольшой, но все-таки своей персональной пенсии, которую она получала «за заслуги перед русской литературой»[147]. Характеризуя состояние пунинского дома, Герштейн писала: «Какая-то тоска на Фонтанке — недовольство Левой»[148].

Допустим, что Эмма Герштейн пристрастна, поскольку она любила Лёву. Но вот записки Лидии Чуковской (правда, о периоде после развода А.А. с Н. Н. Луниным), в которых сохранены следующие слова Анны Андреевны о своем третьем муже: «Ходит раздраженный, злой... Он скуп. Слышно, как кричит в коридоре: «Слишком много людей у нас обедают». А это все родные — его и Анны Евгеньевны. Когда-то за столом он произнес такую фразу: «Масло только для Иры». Это было при моем Лёвушке. Мальчик не знал, куда глаза девать»[149].

Дело не только в отношении Н. Н. к Льву; не мог же 22-летний человек не видеть и другого — отношения Лунина к А.А. Она и сама вспоминала об этом так: «Странно, что я так долго прожила с Николаем Николаевичем... Но я была так подавлена, что сил не хватало уйти. Мне было очень плохо, ведь я тринадцать лет не писала стихов... Я пыталась уйти в 30-м году... Я осталась. Вы не можете себе представить, как он бывал груб... во время этих своих флиртов. Он должен был все время показывать, как ему с вами скучно. Сидит, раскладывает пасьянс и каждую минуту повторяет: «Боже, как скучно... Ах, какая скука»... Чувствуй, мол, что душа его рвется куда-то... И знаете, как это все было, как я ушла? Я сказала Анне Евгеньевне при нем: «Давайте обменяемся комнатами». Ее это очень устраивало, и мы сейчас же начали перетаскивать вещички. Николай Николаевич молчал, потом, когда мы с ним оказались на минуту одни, произнес: «Вы бы еще хоть годик со мной побыли»[150].

Моей задачей было лишь воссоздание обстановки, в которой жил юный Гумилев, а не осуждение или обеление А.А. и ее окружения. Вот еще характерный эпизод, говорящий о нищенском моральном облике «известного искусствоведа». А.А. жалуется Лидии Чуковской: «Шумят у нас. У Пуниных пиршество, патефон до поздней ночи... Николай Николаевич очень настаивает, чтобы я выехала.

— Обменяли бы комнату?

— Нет, просто выехала... Знаете, за последние два года я стала дурно думать о мужчинах. Вы заметили, там их почти нет»[151]. Под «там» имелись в виду тюремные очереди.

В 1941 г. А.А. еще жила в Фонтанном доме, рядом — вновь воссоединившаяся семья Пуниных. В июле и августе она даже стояла на дежурствах с противогазом. Но где-то в сентябре переселилась в писательский дом на канале Грибоедова к Томашевским. Хозяйка дома объясняла это так: семья Пуниных перебралась в бомбоубежище Эрмитажа, а А.А. осталась одна в квартире (как «петербургская тумба», говорила сама А.А.)[152]. Все это было наказанием за отношение к сыну.

Август 1935 г. Если не считать знакомства Л.Н. с органами в 1933 г., которое было мимолетным (10 дней), то это было первым настоящим арестом. Вот как он сам рассказывал об этом: «В число первых жертв с тремя студентами-историками попал и я. Тогда же был арестован и преподававший в университете Пунин. Все мы оказались в Большом доме, в новом здании административного управления НКВД на Литейном»[153]. Далее в рассказе Л.Н. следует примечательная деталь: «Мама поехала в Москву, через знакомых обратиться к Сталину с тем, чтобы он отпустил Лунина». Что это

— ошибка Л.Н. на старости лет? Везде говорится о хлопотах А.А. за сына... «Вскоре нас выпустили всех на волю, поскольку был освобожден главный организатор «преступной группы» — Николай Николаевич Пунин», — продолжает Гумилев, — и завершает этот сюжет страшной фразой: «Пунин вернулся на работу, а меня выдворили из университета. В ту зиму я страшно голодал»[154].

То, что история с освобождением была не очень красивой, следует и из рассказа Э. Герштейн. Она рассказывает, как к ней позвонила А.А.: «Эмма, он дома!». Я с ужасом: «Кто он?» — «Николаша, конечно». Я робко: «А Лёва?» — «Лёва тоже»[155].

Лев жил уже не в Фонтанном доме; его пустил к себе приятель по имени Аксель, у которого он жил до самого ареста в марте 1938 г. «Я спрашивала у него, — вспоминает Герштейн, — что представляет собой Аксель. «Надо же кому-нибудь быть беспутным. Вот он беспутный», — ответил Лёва»[156]. По ее описанию, холостяцкая комната Акселя выглядела так: на стене портрет Н. Гумилева, принадлежащий хозяину, его же грязная кровать (Лёва спал на полу на медвежьей шкуре), в ящике комода валялись две заржавленные вилки и такой же нож[157].

Обедать Лёве все-таки приходилось идти на Фонтанку и там переживать все унижения. Университетские друзья Л.Н. помнят его рассказы о том, как вечно голодный и неустроенный, он приходил в Фонтанный дом, а А.А. говорила гостям перед ужином: «Лёва скоро уйдет», и тогда Анна Евгеньевна — вторая (или первая?) жена Пунина подкармливала Лёву на кухне... «Если я заставала на Фонтанке Лёву, — пишет Герштейн, — он всегда уходил вместе со мной. В общем, он был в развинченном состоянии... Он только что не плакал от стихов, нервов и водки. Мрачно было»[158].

2.3. Экспедиционные университеты

Июль 1930 г. — окончание средней школы.

Сентябрь 1930 г. — декабрь 1930 г. — чернорабочий на службе пути и тока.

Декабрь 1930 г. — март 1933 г. — коллектор ЦНИГРИ.

Апрель 1933 — январь 1934 г. — научно-технический сотрудник ГИН АН.

Сентябрь 1934 — март 1938 —

студент истфака ЛГУ.
Октябрь 1938... заключенный[159].

Л. Гумилев

Понятно, что из этой обстановки (Фонтанного дома и нищей комнаты Акселя) Л.Н. хотелось вырваться, да и работа-то его была достаточно скучной; под «службой пути и тока» скрывалось Парголовское трамвайное депо, куда надо было ехать ни свет ни заря. О первых странствиях по стране говорится в личном деле Л.Н., в записке, составленной им самим — «Список экспедиций, в коих Л. Н. Гумилев участвовал». Но по ней тоже возникают вопросы, ибо за весь «первый ленинградский» период его жизни (до ареста в 1938 г.) поминаются всего-то четыре экспедиции — Крымская (1932, 1933 г.), Манычская археологическая (1935 г.) и Саркельская археологическая (1936 г.). Президент Географического общества СССР академик С. В. Калесник в одной из юбилейных статей о Л.Н. заверял, что юбиляр прошел 21 экспедиционный сезон, а этот академик (я его хорошо знал) перепроверял каждую цифру. Между тем и весь «авторский список» экспедиций Л.Н. с экспедиций за 1932–1962 гг.) насчитывает всего-то 13. Где же раннее знакомство Л.Н. со Средней Азией, где работа малярийным разведчиком в Таджикистане? Они точно были. Почему тогда Л.Н. не указывает их в своем «списке экспедиций»? Я нашел лишь один ответ: он не включал экспедиции, в которых был «для заработка». Так, Л.Н. сам говорил, что мало что смыслит в геологии; поэтому когда он оказался в геологической экспедиции в Прибайкалье (1936), то «читал охотно Апулея, а геологоразведочного дела не читал». Еще в 1933 г. Л.Н. жаловался: «Моя дорога проходила по крымским сопкам, которые похожи на бородавки и на которых скучно, как на уроке политграмоты»[160].

Скучно было не везде. Как он сам рассказывает, ходил на «рынок рабов» — в Апраксин двор, где набирали на работу к геологам в институт. Шел 1931 г., его взяли в Забайкальскую экспедицию, искать слюду. После Парголовского трампарка и это было праздником. Вот что вспоминает об одной из экспедиций Л.Н. ее участница — Анна Дашкова, такая же «социально обреченная», поскольку ее отец был белым офицером: «В Прибайкалье Лёву привлекала романтика длинных переходов, смена ландшафтов, контрасты рельефа. Он был рассеян на маршрутах..., но добросовестно выполнял все задания. Если доводилось быть с Левой в совместных походах, то можно было слышать стихи, произносимые им тихо, как бы про себя, — стихи отца, но иногда и незнакомые, возможно, его собственные,

навеянные красотой природы, отрешенностью от обыденного, безмятежным покоем души... Особенно интересны были рассказы Лёвы у таежных вечерних костров. К ним собирались все, никто не оставался в палатке, несмотря на ранний утренний подъем. Фантазия, как-то особенно правдиво выдававшаяся им за быль, была необыкновенно привлекательной и временами таинственной. Однако по душе Лёве были не многолюдные сборища, а узкий круг собеседников — два, три, максимум четыре человека. Он очень заметно отличался от своих молодых коллег широкой осведомленностью по многим вопросам, особенно в области литературы, выделялся также и воспитанием. Хотя внешне выглядел простаком».

А. Дашкова сохранила нам и описание того, как выглядел он в ту пору. На нем был «черный картуз с надломленным козырьком, по его выражению, «приказчицкий», поверх которого он надевал накомарник, весьма потертый пиджак с выцветшей «штормовкой» под ним, схожие с пиджаком брюки и видавшие виды кирзовые сапоги. Но самым примечательным был брезентовый плащ. Плащ был явно не по росту, но чем-то привлекал Лёву, возможно, сходством с армейской шинелью»[161].

Надо заметить, что Л.Н. хорошо относился к Дашковой. В письмах 1933–34 гг. присутствуют такие обращения: «Светлая радость Анжелина!», «Дорогая Аничка»; он посвящает ей стихи, пишет, что завидует ей, попавшей потом в Таджикистан, а потом — в Ленинград: «Передайте привет Александровской колонне»[162].

Он завидовал Таджикской экспедиции Анны потому, что в 1932 году уже побывал там с гельминтологами, как он сам писал «малярийным разведчиком». Это была комплексная экспедиция (ТКЭ) под руководством весьма известного в стране человека — Н. П. Горбунова, в 1917 г. секретаря первого Совнаркома, а позже — исследователя Памира, академика. Вообще, в ту пору неформальный штаб, руководивший экспедициями на юг и на Крайний Север, был весьма внушительным; для их подготовки в «Европейской» (Ленинград) собрались: сам Горбунов, Н. И. Вавилов, А. Е. Ферсман, И. М. Губкин (позже — открыватель «второго Баку»)[163]. Да и «локальным» начальством у молодого Льва был не кто-нибудь, а Евгений Никанорович Павловский — позже академик, президент Географического общества СССР (1952–1964 гг.).

Но почему Льва так манил Таджикистан, пусть даже в экспедиции, не имевшей ничего общего с историей или этнографией? Давняя, с детства, тяга на Восток? А. Дашкова описывала эпизод в Забайкалье, когда Лев не разрешил будить подвыпившего пожилого бурята, положившего голову ей на

колени: «Оставьте его, пусть спит. Аборигенов нужно уважать, ведь они потомки монголов!» «И только десятилетия спустя, — пишет она, — я поняла, что уже тогда, в 1931-м — в свои 19 лет, Л.Н. любил монголов»[164].

Таджикистан привлекал его, вероятно потому, что о нем еще мальчику Лёве мог порассказать Павел Лукницкий, автор известной в довоенные годы повести «Ниссо», а также записок о Памире, человек, влюбленный в памирские сюжеты. Думаю, что эта поездка «на заработки», которую Л.Н. даже постеснялся упомянуть в своем «Списке экспедиций», была тем не менее самой важной в период 1930–38 гг. Важной не столько для выработки каких-то профессиональных навыков (ведь всего-то «малярийный разведчик», даже не из-за прямого общения с крупными специалистами (вряд ли Е. Н. Павловский особо общался с лаборантом), а в плане формирования мировоззрения, интереса к Большой науке, куда Л.Н. хотел войти и верил, что войдет.

Много позже, в 1990 г., в самом пространном и в то же время самом глубоком интервью (оно осталось почти неизвестным в Москве и Санкт-Петербурге, так как печаталось тогда лишь в газете «Советская Татария») Л.Н. говорил: «В разгар гражданской войны Средняя Азия вполне имела возможность отделиться от России, потому что обе железные дороги, соединявшие юг страны с Москвой, были перерезаны: одна — Дутовым, другая — мусаватистами в Азербайджане. Однако даже попытки такой не было сделано. Знаете, я там был 1932 г., ходил босой, в белом халате и чалме, разговаривал на плохом таджикском языке, который тут же и выучивал, и никто меня не обидел. К сожалению, есть и факты другого рода, но и то, о чем я говорю, — факты»[165].

«Факты другого рода» — осторожная, блестящая формула! В 1990-х гг. они уже проявились, но было трудно себе представить, к чему все придет в конце 90-х. Все это шло независимо от воли таджикского народа, который уважал и любил Лев Николаевич. Хотел ли этот народ фактического возврата к феодализму (название режима 90-х гг. и его современная атрибутика — самолеты, мерседесы, мощная охрана президента — не меняют сути дела) и хаосу? Хотел ли он гражданской войны, десятков тысяч жертв, ухода тысяч таджиков и узбеков через реку в соседний Афганистан и трудного возврата потом? Мог ли Л.Н. поверить в массовое «выдавливание» русских? Раньше, в «его время», русского врача, учителя, строителя ГЭС чтили и уважали. Кто бы мог предвидеть, что население России с ужасом будет произносить чуждые имена бандитов и безучастно наблюдать по телевидению сцены умыкания и убийства даже тех людей,

которые искренне пытались помочь народу Таджикистана?

Думаю, что все это — риторические вопросы. В том самом — «предкатастрофном» — 1990 году Л.Н. предупреждал: «Бессмысленно переносить прибалтийские особенности на Чукотку или Памир. Право выбора пути всегда принадлежит этносу. За ним — решающее слово»[166]. Этносу не дали решать. За него решали амбициозные политики.

Итак, экспедиции 30-х гг. были для Л.Н. уроками жизни, общения, понимания огромности и разнообразия страны. Экспедиции были и отрешением от Ленинграда, — недоброго и все-таки любимого; они позволяли вдохнуть свежего воздуха, забыть об унижениях и опасностях «нормальной» жизни, вольно пожить «в среде дикарей», как писал он А. Дашковой.

Но эта жизнь «доставала» его и по поводу выездов. Перед Саркельской экспедицией (1936 г.) всем участникам университетская администрация дала деньги на проезд, ему — нет. Он пошел в учебную часть. «Гумилев, ты чего нервничаешь?» — «Да вот жить не дают, — он швырнул на пол стопку книг, — в экспедицию не пускают». В конце концов он поехал на свой счет, а там на месте М. И. Артамонов взял его к себе на раскопки[167]. В 1949 г. они станут работать вместе в Эрмитаже; а после возвращения Л.Н. из лагеря в 1956 г. совместная работа продолжится, а главное — они станут друзьями.

3. «Первая Голгофа»

Ученые сажали ученых.

Л. Гумилев

После эпохи свободных скитаний по стране в 1934 г. Лев наконец поступает на истфак Ленинградского университета. Истфак, кстати, только что был «восстановлен», его закрывали в начале 30-х гг. Сбылась мечта юного Гумилева? Да, но очень ненадолго; в 1935 г. по постановлению студенческой комсомольской ячейки «антисоветский человек» Л. Гумилев был признан недостойным обучаться в советском университете. Время было суровое, и удивительно, что дело не обернулось гораздо хуже.

В 1934 г. был убит С.М. Киров. Я смутно помню факельное (кажется) шествие в Ленинграде, черную-черную толпу в мрачный, страшно темный декабрьский вечер (освещение в ту пору и всегда-то было скудным), толпу, которая перетекала с улицы Куйбышева на Троицкий (еще не Кировский тогда) мост и устремлялась куда-то к центру (или на вокзал) для прощания с Кировым, которого любили. «Большой дом» с полностью новым начальством (старое было снято «лично» Сталиным и репрессировано сразу) показывал свое рвение в «расчистке» опального города от «троцкистско-зиновьевских элементов». Конечно, А. Солженицын сильно погрешил против истины, утверждая, что «расчищена» была четверть населения города, но интеллигенция ощутила удар сильнее всего.

В августе 1935 г. был арестован и Л. Гумилев, но это еще не было Голгофой... «Все мы оказались в Большом доме, — вспоминает сам Л.Н., — в новом здании областного управления НКВД на Литейном. Это огромное административное здание, построенное на месте окружного суда, сожженного еще в дни февральской революции... Конечно, все арестованные были тут же объявлены членами антисоветской группы. Правда, в это время никого не били, никого не мучили, просто задавали вопросы. Но так как в университетской среде разговоры велись в том числе и на политические темы, то следователям было о чем нас допрашивать».

А. Ахматова поехала в Москву, через знакомых обратилась к Сталину с личным письмом. По словам А.А., она передала его через Л. И. Сейфуллину. В этом письме говорилось:

«Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, зная Ваше

внимательное отношение к культурным силам страны и в частности к писателям, я решаюсь обратиться к Вам с этим письмом.

23 октября, в Ленинграде арестованы Н. К. В. Д. мой муж Николай Николаевич Пунин (профессор Академии художеств) и мой сын Лев Николаевич Гумилев (студент Л. Г. У.).

Иосиф Виссарионович, я не знаю, в чем их обвиняют, но даю Вам честное слово, что они ни фашисты, ни шпионы, ни участники контрреволюционных обществ.

Я живу в С. С. Р. (так в тексте. — С. Л.) с начала Революции, я никогда не хотела покинуть страну, с которой связана разумом и сердцем. Несмотря на то, что стихи мои не печаются (так в тексте. — С. Л.) и отзывы критики доставляют мне много горьких минут, я не падала духом; в очень тяжелых моральных и материальных условиях я продолжала работать и уже напечатала одну работу о Пушкине, вторая печатается.

В Ленинграде я живу очень уединенно и часто по долгу (так в тексте. — С. Л.) болею. Арест двух единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я уже не могу перенести.

Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никогда никто не пожалеет. Анна Ахматова. 1 ноября 1935 года».

В тот же день к И. В. Сталину послал свое письмо и Б. Пастернак. В нем говорилось:

«Дорогой Иосиф Виссарионович! 23-го октября в Ленинграде задержали мужа Анны Ахматовой, Николая Николаевича Лунина, и ее сына, Льва Николаевича Гумилева.

Однажды Вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища. Помимо той ценности, какую имеет жизнь Ахматовой для нас и нашей культуры, она мне еще дорога и как моя собственная, по всему тому, что я о ней знаю. С начала моей литературной судьбы я свидетель ее честного, трудного и безропотного существования.

Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, помочь Ахматовой и освободить ее мужа и сына, отношение к которым Ахматовой является для меня категорическим залогом их честности. Преданный Вам Б. Пастернак».

Обращения подействовали, о чем свидетельствует резолюция на письме А. Ахматовой, начертанная рукой Сталина: «т. Ягода. Освободить из-под ареста и Пунина и Гумилева и сообщить об исполнении. И. Сталин»[168].

Уже в ноябре 1935 г. Н. Н. Пунин и Л. Н. Гумилев были освобождены. Далее происходят малопонятные вещи — в 1937-м — самом страшном для страны году — Л.Н. восстанавливают на

истфаке ЛГУ и дают сдать экзамены за второй курс. Что тут сыграло роль: миф о личном «благоволении» Сталина или просто порядочность и смелость тогдашнего ректора ЛГУ — сказать трудно, но реальнее второе. Ректором в ту пору был профессор Михаил Семенович Лазуркин. В том же году его арестовали, а вскоре забрали и его жену — старую большевичку Дору Абрамовну Лазуркину. Судьба самого Лазуркина сложилась трагически — он был застрелен следователем во время допроса, а затем его уже мертвого выбросили из окна на уличный тротуар, инсценируя самоубийство[169].

В марте 1938 г., когда Лев был уже на четвертом курсе, начинается, и уже всерьез, его «первая Голгофа». «Внешний повод для ареста дал я сам», — напишет он впоследствии. Тем, кто учился в университете, легко реконструировать место действия — большую аудиторию в бельэтаже здания филологического факультета, рядом со знаменитыми «Двенадцатью коллегиями». Окна зала выходят на Неву, на Исакий, на «Медный всадник». Именно здесь традиционно читали лекции мэтры филфака, как для «своих» (т.е. филологов), так и для «чужих» (в данном случае историков).

Здесь выступал интеллигентнейший, тихий, чудом сохранившийся во все этапы арестов ровесник Н. Гумилева — Б. М. Эйхенбаум[170]. Здесь гремел голос Григория Гуковского, вещавшего студентам нечто парадоксальное по поводу «Евгения Онегина». В роковой для Л.Н. день здесь читал лекцию историкам профессор кафедры истории русской литературы Л. В. Пумпянский. Речь шла о литературе 20-х гг. Предоставлю слово самому Гумилеву рассказать о том, что произошло: «...Лектор стал потешаться над стихами и личностью моего отца. «Поэт писал про Абиссинию, — восклицал он, — а сам не был дальше Алжира... Вот он — пример нашего отечественного Тартарена!» Не выдержав, я крикнул профессору с места: «Нет, он был не в Алжире, а в Абиссинии!» Пумпянский снисходительно парировал мою реплику: «Кому лучше знать — вам или мне?» Я ответил: «Конечно, мне». В аудитории около двухсот студентов засмеялись. В отличие от Пумпянского многие из них знали, что я — сын Гумилева. Все на меня оборачивались и понимали, что мне, действительно, лучше знать. Пумпянский сразу же после звонка побежал жаловаться на меня в деканат. Видимо, он жаловался и дальше. Во всяком случае, первый же допрос во внутренней тюрьме НКВД на Шпалерной следователь Бархударян начал с того, что стал читать мне бумагу, в которой во всех подробностях сообщалось об инциденте, произошедшем на лекции Пумпянского. По мере чтения доноса следователь

Бархударян все больше распалялся. В конце он уже не говорил, а, матерясь, кричал на меня: «Ты любишь отца, гад! Встань... к стене!..» Да, в этот арест все было уже по-другому. Тут уже начались пытки: старались выбить у человека признание и подписать заранее заготовленный следователем обвинительный приговор. Так как я ни в чем не хотел признаваться, то избиение продолжалось в течение восьми ночей»[171].

Трем студентам ЛГУ — Л. Н. Гумилеву, Н. П. Ереховичу и Т. А. Шумовскому — было предъявлено обвинение в том, что они путем физического устранения Сталина, Ежова, Молотова и Жданова собирались... свергнуть советскую власть и установить в СССР буржуазно-демократическую диктатуру.

У каждого из трех — свой «криминал». Николай Ерехович был сыном царского генерала, в 1935 г. был исключен из института «как социально-чуждый элемент, скрывший от института свое соц. происхождение». Теодор Шумовский мало того что был поляком, «скрыл от организации (комсомола. — С. Л.) факт пребывания матери в Польше и беспринципно-раболепное отношение к трудам акад. Крачковского»[172]. Последнее обвинение кажется странным, поскольку в это время действительный член Академии наук СССР И. Ю. Крачковский — выдающийся востоковед страны — спокойно работал, его не трогали, правда, относиться к нему предписано было не «раболепно», а «принципиально».

Еще больший криминал приписывался Льву Гумилеву: он обвинялся в том, что возглавил эту «контрреволюционную организацию». В его деле присутствовала весьма неприятная университетская характеристика, в которой говорилось: «Л. Гумилев за время пребывания на истфаке из числа студентов исключался, и после восстановления часто акад. группа требовала его повторного исключения. Гумилев как студент успевал только по специальным дисциплинам, получал двойки по общественно-политическим дисциплинам (ленинизм) вовсе не потому, что ему трудно учиться по этим дисциплинам, а он относился к ним, как к принудительному ассортименту, к обязанностям, которых он не желает выполнять. Во время избирательной кампании в их группе делался доклад о биографии тов. Литвинова, Гумилев вел себя вызывающе, подсмеивался, подавал реплики, вообще отличался крайней недисциплинированностью»[173].

В сентябре 1938 г. в помещении Главного штаба состоялось судебное заседание Военного трибунала. Там были оглашены и «показания» Л.Н.: «Признаю, что я, Гумилев, по день моего ареста являлся активным участником антисоветской молодежной организации в Ленинграде, которая была создана по моей

инициативе и проводила деятельность под моим руководством». Далее следовала совсем уж абракадабра. «После того, как участники нашей организации Ерехович и Шумовский согласились со мной о переходе к террористическим методам борьбы против ВКП(б) и Советского правительства, я поставил конкретный вопрос о необходимости совершения террористического акта над секретарем ЦК и Лен. Обкома ВКП(б) Ждановым. Эту кандидатуру мы намечали не случайно, ибо Жданова мы считали основным виновником разгрома антисоветских формирований в Ленинграде»[174].

Надо же было приписать ему не кого-нибудь, а ... Жданова! Как будто полуграмотный сержант Бархударян видел вперед на десятилетие, слышал доклад Андрея Александровича, знал заранее о зловредной линии не существовавшего еще в ту пору журнала «Ленинград». Мистика...

На трибунале все трое отрицали предыдущие «показания». Гумилев заявил: «Я все отрицаю... Показания свои на очной ставке с Шумовским я также отрицаю...» Но это никому не было интересно, вся процедура была давно запрограммирована. Пятьдесят минут потребовалось для вынесения приговора: Гумилеву — 10 лет и 4 года поражения в правах с конфискацией имущества (какого?), Ереховичу и Шумовскому — по 8 лет и 3 года поражения в правах.

Э. Герштейн вспоминает: «А.А. была на свидании с ним в этой трагической ситуации (до протеста), и Лев нашел мужество пошутить: «Мне, как Радеку, дали десять лет». И еще: «Мамочка, я говорил как Димитров, но никто не слушал...» Он не хотел убивать мать своим видом и надел на шею чей-то шарф, «чтобы быть красивее», как он выразился»[175].

Однако в эти дни начала закатываться звезда «железного наркома» — Ежова (он уже «руководил» водным транспортом). Поэтому союзная прокуратура опротестовала уголовное дело Л.Н. (в отношении Л. Гумилева приговор был поначалу отменен «за мягкостью»).

Вспоминает один из тройки — Теодор Шумовский: «Потом... не то Нике его сестра..., не то Лёве его мать Анна Андреевна Ахматова сообщили на свидании: 17 ноября, по протесту адвокатов Коммодова и Бурака, Военная коллегия Верховного суда СССР отменила приговор военного трибунала и направила дело на переследствие. Не «прекратить дело» за скандальным провалом, а «направить на переследствие». Вот ведь как вцепились... Как бы то ни было, Ника, Лёва и я — не осужденные, мы вновь подследственные. О нас еще не сказано последнего слова! Торжествуем, надеемся, ждем... Ника сделал из черного

хлеба шахматные фигурки — половину их вывалял в стенной извести — это белые. Красивые фигурки: не обычные, а причудливого облика. У Ники помимо востоковедной одаренности — руки скульптора... И вот мы втроем ведем шахматные битвы...»[176]

За это время появились новые свидетели, новые показания. Десятеро из допрошенных по Ереховичу и Шумовскому не сказали в их адрес ни одного плохого слова, но двое дали компромат. На Гумилева компромата вообще не поступило; остается, правда, тайной: кто же писал университетскую характеристику?

В этот момент упрекнуть А.А. не в чем; она действовала, она надеялась..., но приехав в Ленинград, она совсем «сдала». Герштейн вспоминает, как дворничиха Таня водила ее в баню, и при переходе на другую сторону улицы тянула за руку, понукая: «Ну иди, да иди же»[177]. А.А. собиралась нести передачу в тюрьму, но оказалось, что Лёвы уже нет в тюрьме.

Осужденные «террористы» тоже ждали чего-то, но им велели собираться на этап. В декабре 1938 г. «столыпинский» вагон с решетками на окнах доставил их в Медвежьегорск. «Каждому при входе на баржу выдали по буханке черного хлеба и по две вяленых рыбины — сухой паек на три дня. Всех спустили в трюм, как в средние века поступали работорговцы с невольниками, вывозимыми из Африки. Черный пол трюма тотчас усеяли мешки и тела. Мы с Левой поместились в углу у продольной балки», — вспоминал Т. Шумовский[178].

Дальше была работа на лесоповале — гумилевский «Беломорканал». В январе 1939 г. «выходной» за воротами зоны; и, наконец, в том же январе — «на этап» в Ленинград. Почти полгода длилось повторное следствие, и в конце концов вся троица получила поровну — по пять лет без всяких новых обвинений. Для Н. Ереховича свобода оказалась недолгой: в 1945 г. он умер в больнице в возрасте 32 лет.

Мы очень мало знаем, что делалось с Л.Н. внутри лагеря; нет доступной переписки, нет воспоминаний кого-то из «солагерников». Много данных «с этой стороны» — хлопоты А.А., ходатайства, стихи. Рассказывает сам Л.Н.: «Мама, наивная душа, как и многие другие чистые в своих помыслах люди, думала, что приговор, вынесенный мне, — результат судебной ошибки, случайного недосмотра. Она не могла первоначально предположить, как низко пало правосудие. Следователи и судьи по существу превратились в политических марионеток, своеобразных фальшивомонетчиков, фабрикующих если не поддельные купюры, то фальшивые показания, обвинения,

приговоры. Мамино письмо, если оно и дошло до Сталина, было оставлено без последствий. На этот раз выручил меня не Сталин, а как это иногда бывает, счастливое стечение обстоятельств. К новому 1939 году я окончательно «дошел». Худой, заросший щетиной, давно не мывшийся, я едва таскал ноги из барака в лес. Валить деревья в ледяном, по пояс занесенном снегом лесу, в рваной обуви, без теплой одежды, подкрепляя силы баландой и скудной пайкой хлеба, — даже привычные к тяжелому физическому труду деревенские мужики таяли на этой работе как свечи... В один из морозных январских дней, когда я подрубал уже подпиленную ель, у меня выпал из ослабевших рук топор. Как на грех, накануне я его наточил. Топор легко раскроил кирзовый сапог и разрубил ногу почти до самой кости. Рана загноилась. Видимо, я так бы и закончил свои дни, ударным трудом расчищая ложе канала в лесу под Медвежьегорском, но судьбе было угодно распорядиться иначе. Меня затребовали на пересмотр дела в Ленинград. Это меня спасло»[179].

Л. Гумилев в воспоминаниях и в интервью, сравнивая пересыльные тюрьмы, которые ему довелось пройти — челябинскую, свердловскую, красноярскую, отмечал; «Быт ленинградской мне нравится больше других»[180]. Здесь начинается одна из легенд Гумилева об открытии, сделанном им в «Крестах», легенда красивая, даже очень красивая, но... Она звучит по-разному в разных рассказах и воспоминаниях Л.Н. В одном из вариантов она выглядит так: «„Кресты“ казались мне после лагеря Беломорканала... обетованной землей. Там можно было залезть под лавку и лежать. И у меня возникла мысль о мотивации человеческих поступков в истории. Почему Александр Македонский шел в Индию и Среднюю Азию, хотя явно там удержаться не мог и грабить эти земли не мог, не мог доставить награбленное обратно к себе, в Македонию, и вдруг мне пришло в голову, что его что-то толкало, что-то такое, что было внутри него. Я назвал это «пассионарность». Я выскочил из-под лавки, побежал по камере. Вижу: на меня смотрят как на сумасшедшего, и залез обратно. Так мне открылось, что у человека есть особый импульс, называемый пассионарностью... Это не просто стремление к иллюзорным ценностям: власти, славе, алчность, стремление к накоплению богатств, стремление к знанию, стремление к искусствам»[181].

Свое открытие Л.Н. якобы приравнивал к теории Маркса и был настолько захвачен им, что когда рассказал приведенную выше историю в Москве, то И. Н. Томашевская сказала: «Поприщин..., Поприщин», имея в виду гоголевского сумасшедшего[182].

Есть другой вариант рассказа Л.Н. об озарении в «Крестах»: «Там раздумья о научных проблемах были предпочтительнее мыслей о личных обстоятельствах. Луч света проходил сквозь маленькое окошко и падал на цементный пол. Свет проникал даже в тюрьму. Значит, — подумал я, — и в истории движение происходит благодаря какой-то форме энергии». Тут нет ни слова о сравнении с «теорией Маркса».

Но, скорее всего, ближе к истине третий вариант. В 90-х гг. Л.Н. говорил о своем открытии более осторожно: «Лишь в 1965 г., прочтя книгу В.И.Вернадского «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», я узнал это. А в 1967-м вышла моя первая статья по этногенезу»[183].

Итак, все почти что встало на свои места. Правда, остается непонятным, что же пришло в голову Л.Н. тогда в Крестах: идея пассионарности или его схема этногенеза. Ни то, ни другое — отвечу я. Да и сам Л.Н. позже сформулировал суть своего открытия иначе: «Автор наметил основы такого подхода еще в студенческие годы, но не мог ни точно сформулировать их, ни тем более обосновать. Часто научная идея, даже правильная, гнездится где-то в подсознании, и лучше там ее задержать до тех пор, пока она не выкристаллизуется в стройную, логическую версию, не противоречащую ни одному из известных фактов»[184]. Таким образом, семидесятилетний Гумилев поправляет тридцатидвухлетнего Л.Н. Конечно, то, что было «открыто» в 40-х гг. в «Крестах», было лишь направлением поиска.

После «Крестов», после Ленинграда «первая Голгофа» реконструируется лишь «пунктиром», только моментами. Лев пишет мрачные письма в Ленинград: «Все на меня плюют, как с высокой башни». Между тем в жизни А.А. намечается какой-то просвет, но не для Л.Н. В 1940 г. выходит книга стихов А.А.; ее принимают в Союз писателей СССР. Больше того, ходатаи за Лёву думают, что все уже в порядке. В июле 1940 г. Борис Пастернак спрашивает А.А.: «С вами ли уже Лев Николаевич?» А. Фадеев, А. Толстой и Б. Пастернак намеревались представить книгу А. Ахматовой к Сталинской премии. Сама А.А. пишет второе письмо к Сталину... Но в Прокуратуре СССР с ней говорят жестко, настолько жестко, что она страшится изложить это в письмах сыну.

Затем идут военные годы — 1941–1942-й ... А.А. в Ташкенте, в эвакуации, в 1942 г. она работала над «Поэмой без героя». Только в апреле 1943 г. в ее письме Н. И. Харджиеву[185] появляется Лев: «От Лёвы телеграмма. Он здоров и поехал в экспедицию»[186]. Как-то буднично, без эмоций... А речь шла о том, что в марте 1943 г. кончился пятилетний лагерный срок Л.

Гумилева. В Норильске (там же, где отбывал срок) Л.Н. был принят в качестве вольнонаемного в магнитометрическую экспедицию от комбината.

Лев ехал в Норильск в августе 1939 г.; в Красноярске на пересыльном пункте зеков перегрузили на баржу и доставили по Енисею в Дудинку, а далее по «железке» (самой северной в СССР) в норильский лагерь. Сверхважный в военном плане объект (он давал медь, никель платину и еще сотни названий ценнейшего стратегического сырья) нуждался в людях. «Вольным» платили хорошие деньги за работу в сверхсуровых природных условиях, и все-таки людей не хватало. ГУЛАГ давал «добавку». Здесь лучше относились к зекам, чем «в России»; Сибирь определяла несколько другой «менталитет», как сказали бы теперь[187]. Можно было даже получить более высокую квалификацию; и Л.Н. «рос» от землекопа до горняка меднорудной шахты, потом — геотехника, а к концу срока (в марте 1943 г.) стал даже лаборантом-химиком.

Вроде бы прошла страшная «гумилевская пятилетка», но избавиться от Севера он не мог; дал подписку до конца войны «не рыпаться» — «кадры решали все...». Он продолжал свою «геологическую карьеру»: сначала в экспедиции на Хантайское озеро, а в следующий сезон (1944 г.) — в бассейне Нижней Тунгуски на магнитометрической съемке. Здесь экспедиция обнаружила крупное месторождение железной руды, и Льва Гумилева наградили недельной поездкой в Туруханск — для бывших зеков это было чем-то вроде Эльдорадо; там почти не было мужчин![188]

Вспоминая дальний Север, Л.Н. писал: «Я в тех местах провел 1,5 года, и после этого мне первая линия фронта показалась курортом»[189]. А тогда он сообщал Эмме Герштейн: «Вы спрашиваете о друзьях и близкой женщине. Мужчин со мной двое рабочих, а женщин за год видел трех: зайчиху, попавшую в петлю, случайно забредшую к палатке олениху и убитую палкой белку. Нет также книг и вообще ничего хорошего. Мама, видимо, здорова... Но мне она не пишет, не телеграфирует. Печально»[190].

Поездка в Туруханск круто изменила его жизнь. Находясь «на броне», как и все работники Норильского комбината, он уговорил местного военкома мобилизовать его и отправить на фронт. Требовалось еще и разрешение «своего» начальства. Л.Н. его получил. Э. Герштейн, ссылаясь уже на послевоенный разговор с Л. Гумилевым, сообщает, что он пришел к военкому, держа на запястье бритву и грозя вскрыть себе вены.

Далее опять какие-то отрывочные сведения: Москва, какой-то вокзал, точнее, пути за каким-то вокзалом, брошенный из окна

теплушки треугольничек письма, каким-то чудом дошедший до Харджиева. Нужны были теплые вещи. Николай Иванович их никогда не имел (он сам ходил даже без шапки), поэтому кинулся их собирать; потом он бросился искать на запасных путях полутюремную теплушку и нашел![191]

А вот что вспоминает сам Н. И. Харджиев: «Это было зимой 1944 года. С большим трудом нам удалось добраться до пятого пути. Выход на пятый путь охраняли часовые. Я объяснил им, что привело нас в запретную зону, и они участливо разрешили нам пройти вдоль глухих безоконных вагонов. Часовой выкрикивал «Гумилев!» — и у каждого вагона отвечали: «Такого нет». И, наконец, из дальнего вагона выскочил солдат, в котором мы с радостью узнали Л. Гумилева»[192].

Поведение Л.Н. во время встречи с Харджиевым описывается по-разному: со слов самого Николая Ивановича и со слов Э. Герштейн. Согласно первому варианту: «Он (Л.Н.) сразу же заговорил о своих научных интересах. Можно было подумать, что он отправляется не на фронт, а на симпозиум. Слушая этого одержимого наукой человека, я почувствовал уверенность в том, что он вернется с войны живым и невредимым»[193]. Похоже на правду, если учесть письмо Л.Н., посланное в свое время из Туруханска: «Из всех моих лишений тягчайшим была оторванность от науки и научной академической жизни»[194].

Но и второй вариант не менее похож на правду. Лев якобы сразу закричал: «Николай Иванович, денег!» Так можно обращаться только к близкому человеку, каковым Н. И. Харджиев и был в доме Ахматовой и Пунина. У Николая Ивановича было при себе шестьдесят рублей, тотчас врученных им Лёве. И. Н. Томашевская (жена известного литературоведа Бориса Викторовича Томашевского) быстро сориентировалась в обстановке. Она отошла куда-то за угол и продала первой встречной хлебные карточки всей семьи Томашевских на целую декаду, успела отдать деньги Лёве, поцеловала и благословила его»[195]. Какой вариант более соответствует действительности, сейчас уже трудно сказать.

Дальше опять практически нет сведений о Л.Н.; лишь письма с фронта, но их мало, а напечатаны, как мне кажется, только Эмме и Н. И. Харджиеву. Письмо Эмме было первым. «Жить мне сейчас неплохо, — писал Л.Н. в феврале 1945 г. — Шинель ко мне идет, пищи — подлинное изобилие, иногда дают даже водку, а передвижение в Западной Европе легче, чем в Северной Азии. Самое приятное — это разнообразие впечатлений. Мама мне не пишет, это грустно...»[196]

В мае 1945 уже после Победы Л.Н. пишет Н. И. Харджиеву: «О

себе: я участвовал в 3 наступлениях: а) освободил Западную Польшу, б) завоевал Померанию, в) взял Берлин, вернее его окрестности… Добродетелей, за исключением храбрости, не проявил, но тем не менее на меня подано на снятие судимости. Результата жду. Солдатская жизнь в военное время мне понравилась. Особенно интересно наступать, но в мирное время приходится тяжело»[197].

Война кончилась — «наша пассионарность оказалась выше немецкой»[198]. Оставшиеся до демобилизации четыре месяца наш «пассионарий» провел в Германии под Берлином. Этот короткий период (фронт, война и Германия после Победы) оказался для него, как это и ни странно, самым счастливым и памятным, а День Победы святым днем!

4. Четыре года просвета

Декабрь 1945 — апрель 1946 — пожарник в ИВАН;

Апрель 1946 — декабрь 1947 — аспирант ИВАН;

Февраль 1948 — май 1948 — библиотекарь психиатрической больницы;

Май 1948 — сентябрь 1948 — научный сотрудник Горно-Алтайской экспедиции;

Январь 1949 — сентябрь 1949 — старший научный сотрудник ГМЭ.[199]

Этот отрезок жизни Л.Н., крайне короткий, почти не «просветлен» никакими воспоминаниями — ни самого ученого, ни его друзей и знакомых. Что-то можно уяснить только по сухим документам и немногим сохранившимся письмам.

В скупом «Личном листке по учету кадров» (ЛГУ) не отмечены два существенных момента. Первый — между демобилизацией (сентябрь 1945 г.) и окончанием экстерном истфака ЛГУ (март 1946 г.) прошло всего-то пять месяцев! При этом Л.Н. сдал экзамены не как-нибудь, а в основном на «отлично» и «хорошо»! Существенно и то, кому он сдавал экзамены: История СССР — «отлично», и аккуратная подпись «Б. Греков»; История древнего Востока — «отлично» — «В. Струве»; Новая история — «отлично», и замысловатый завиток «Е. Тарле»... Из оценок по истории — одна «тройка» по Новой истории (1830–1870), которую поставил профессор А. И. Молок. Торопился Л.Н. сдать все, скорее получить диплом, словно предчувствовал — грядет что-то недоброе, поэтому очень торопился...

Второй момент, не отмеченный в «Личном листке», — от поступления в аспирантуру (апрель 1946) до отчисления из нее. Учтем только, что за эти полтора года успело выйти известное Постановление ЦК, касавшееся А. А. Ахматовой. Л.Н. торопились убрать, но и он тоже торопился; был отчислен со всеми сданными экзаменами и готовой диссертацией! Защитить ее удалось только через год, в декабре 1948 г., благодаря ректору ЛГУ А. А. Вознесенскому. Огромным счастьем и для Л.Н., и всего университета было то, что в грозном июле 1941 г. ректором стал именно он!

Трагедии нарастают и разражаются неожиданно. Нормально

Л.Н. пожил всего несколько месяцев, точнее до 14 августа 1946 г. — до Постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград».

Читатель, возможно, ждет, что сотый раз будет воспроизведен тот набор эпитетов и проклятий интеллигенции в адрес всей власти, а особо — в адрес «тупоумно-неинтеллигентного функционера» А. А. Жданова, «оформившего» этот удар по литературе, по интеллигенции, по городу... Но во всем же должна быть какая-то логика, даже если события той осени кажутся абсолютно алогичными. Эта логика блестяще раскрыта в исследовании Сергея Куняева, который опирался на многие работы и труды серьезных историков, касавшиеся 1946 г., и что еще существеннее — «ленинградского дела»[200].

Горючий материал для этого взрывного постановления накапливался давно, на самом высоком уровне, и по большому счету оба «зловредных» журнала и оба «героя» постановления были вообще ни при чем. Борьба шла наверху, на самом верху, а «у холопов...». Год 46-й был не страшным или, точнее, страшным лишь для немногих, но он был увертюрой 49-го — поистине страшного.

Я был в Ленинграде с весны 1944 г. и отлично помню эйфорию выстоявшего и победившего города, города, который теперь знал весь мир. Конечно, восприятие города было очень разным у тех, кто видел его в годы блокады, и тех, кто сравнивал с Ленинградом августа — сентября 1941-го.

Для А. Ахматовой это был «странный призрак, притворяющийся моим городом»[201]. А блокадникам виделось другое: быстро исчезали развалины, мертвый дистрофичный город вдруг помолодел — вернулись с фронта молодые ребята, на стройках работали здоровые краснощекие девушки в ватниках. В воздухе весеннего 1944-го царил оптимизм, гордость своими 900 днями и надежда на быстрое лучшее. Бедно жили тогда ленинградцы, но разве это можно было сравнить с недавними лишениями и ужасами голода.

В отличие от В. Астафьева, не думали блокадники о сдаче города и в те дни, когда казалось — все кончено и вот-вот... Я был в Ленинграде до марта 1942 г., и ни в очередях за хлебом, ни в разговорах знакомых моих родителей (а это была вузовская интеллигенция, казалось бы, изначально «трусоватая»), ни в школе (а мы до ноября 1941 г. учились в Петровской школе — ныне Нахимовское училище) не слышал я подобных разговоров. Можно, конечно, объяснить это боязнью, но власть ругали отчаянно, не стесняясь; нажим органов был сильно ослаблен. Умереть, но не быть под немцем — это была не фраза, а настрой,

практически всеобщий.

Ольга Берггольц писала тогда в письме к матери на Каму:

> Я берегу себя от плена,
> Позорнейшего на земле.
> Мне кровь твоя, чернея в венах,
> Диктует «гибель, но не плен»[202].

Я написал все это абсолютно искренне, но наивно было бы думать, что я знал тогда настрой 100% блокадников. Конечно нет. Так получилось, что, написав уже это, я наткнулся на текст блокадного дневника знакомого уже читателю Н. Лунина и понял, что я не прав... Вот запись 25 сентября: «На что «они» надеются, почему не сдают город?» В сентябре, замечу, было отнюдь еще не тяжело.

Я отлично помню, как ездил в поисках шахматной литературы на Литейный в букинистические магазины и на развалы; много книг появилось от эвакуированных. 26 ноября Н. Н. Лунин записал: «Какое количество должно умереть, чтобы город капитулировал?»[203]

Другие гордились 900 днями, верили в слова Вождя о русском народе, испытывали глубоко патриотичные чувства. Бравый зенитчик — недавний зек — Л.Н. писал еще под Берлином:

> И пять фокке-вульфов опять в вышине
> Уходят на запад к чужим облакам.
> А двое... кружатся в дыму и огне
> И падают вниз на горящий Альтдамм.
>
> Минута, другая, и вдруг тишина,
> И Одера синяя лента видна,
> И виден Победы улыбчивый взгляд,
> Сегодня в Альтдамме отмщен Ленинград![204]

Патриотично было и руководство города; чего стоило хотя бы массовое переименование улиц — и это в январе 1944 г.! Сегодняшние «ревнители старины», уничтожающие память даже о Н. Гоголе и М. Салтыкове-Щедрине (за что?), могли бы вспомнить, что до января 1944 г. вообще не было Невского — был проспект 25 Октября, не было и Литейного — был проспект Володарского, Большой проспект Петроградской стороны назывался именем Карла Либкнехта и пересекался с бывшей

Введенской, названной именем Розы Люксембург, и т. д. и т. п. Было переименовано, точнее восстановлено 20 исторических названий! Руководство города сделало это, не согласовав с Москвой, сделало до известных слов Вождя о великом русском народе. Оно тоже было захвачено эйфорией, а к тому же считало, что «свои» в Москве поддержат — А. А. Жданов, А. А. Кузнецов.

На Соляном переулке, напротив Инженерного замка, в высоком темпе готовился к открытию Музей героической обороны города. Если верить официальной версии (правда, появилась она потом), идеей ленинградского руководства было создание Российской компартии со своим ЦК и центром в Ленинграде. Это уже было роковой, по сути, самоубийственной, переоценкой ситуации и своих возможностей.

Патриотичны были и популярные ленинградские журналы: тоненький, но большеформатный, красивый «Ленинград» и более традиционная «толстая» «Звезда». Печаталось много, и, видимо, непозволительно много истинно русского: о Новгороде, о первых русских изобретателях (без перехлестов), шли статьи о «серебряном веке» и его героях, об Александре Грине, даже о Николае Клюеве. Шли стихи о войне, о «Ломоносовском пятачке» молодого Михаила Дудина. Была и борьба против «эксплуатации темы страдания» блокадного города, против пессимизма, но это проходило где-то «за кадром», на писательских «тусовках».

Но при злой воле (а она инициировалась в Москве, «наверху»!) все это можно было подать и как некое противопоставление Москве. Из памяти людей той поры не могли исчезнуть позорные эпизоды паники и бегства чиновников из Москвы в октябрьские дни 41-го. В настоящем городе-герое этого не было...

Не видя комплектов «Ленинграда» и «Звезды» за 1944–1946 гг., легко предположить, что главными авторами там были А. Ахматова и М. Зощенко, чуть ли не монополизировавшие прессу. Но это страшно далеко от истины; за все эти годы в «Ленинграде» было опубликовало всего четыре подборки ахматовских стихов, как 10-х годов, так и совсем недавних. М. Зощенко в этом журнале не столько печатали (в 1946 г. — три его коротких рассказа), сколько критиковали за философскую повесть «Перед восходом солнца»[205]. А в «Звезде» был напечатан всего один, но зато самый «криминальный» его рассказ — «Приключения обезьянки», предназначенный совсем для другого журнала, а главное — времени.

Лично А. А. Жданов вряд ли что-либо имел против планов превращения невского города в столицу России, и уж тем более он не имел ничего ни против Анны Ахматовой, ни против

популярного русского сатирика (сам, вероятно, читал с удовольствием многие из его рассказов). Об Анне Андреевне Жданов даже позаботился в войну: эвакуация ее и М. Зощенко (уже после замыкания кольца блокады) была осуществлена по прямому указанию Ленинградского горкома. Более того, по воспоминаниям Надежды Мандельштам (а она уж никак не склонна была «заступаться» за секретаря ЦК ВКП(б)), он даже звонил в Ташкент, прося позаботиться об А. Ахматовой, в результате чего она получила «лауреатский паек» и из него «кормила всех, кто нуждается в пище»[206].

М. Зощенко еще в 1939 г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Судя по воспоминаниям родных, он считал, что гонения на него начались не в 1946 г., а куда раньше — в 1943 г.[207]. Вряд ли это было всерьез; критическую статью в «Большевике» забыли бы максимум через пару лет, если бы... Если бы не очередной знак внимания к нему со стороны ленинградских властей, который оказался, как считает историк В. Волков, роковым и для писателя и, как это ни парадоксально, для самих этих властей.

В мае 1946 г., за три месяца до «исторического» постановления (вряд ли этот короткий интервал был случайностью), Зощенко был утвержден членом редколлегии «Звезды». Полагают, что это было инспирировано ведомством Берии. «Наверху» шла своя игра; если вначале А. Жданову удалось выжать Г. Маленкова из аппарата ЦК, то затем начался реванш «маленковцев». Доложили Сталину; видимо, показали «криминальные» журналы в натуре, нужным образом откомментировали. Перед заседанием Оргбюро ЦК 9 сентября 1946 г., вероятно, было еще одно — более узкое, где А. Жданову пришлось выслушать много жестких слов о «распущенности» ленинградских кадров[208]. А дальше — «спасайся, кто может»! Секретарь ЦК «заложил» и оба журнала, и обе «криминальные» фигуры, и тогдашних лидеров города — Капустина и Широкова.

«Подковерная схватка» в Кремле, происходившая «высоко-высоко», ударила и далеко «вниз» — по А.А., сделав опять «спорным» вольное существование Л.Н. Достать его и «приобщить к делу» было бы крайне легко в аспирантуре ИВАНа, и совсем уж нетрудно из библиотеки психушки. Но, возможно, в ту пору А. Жданов (не будем отказывать ему в каких-то человеческих чувствах!) постарался смягчить реальный удар, ограничившись бранными словами разноса.

Это подтвердил позже один из вернувшихся после «ленинградского дела»: «В сорок шестом году Жданов вторично спас своих земляков от физической... гибели. Если в сорок первом

их вывезли из осажденного города на самолетах, оставляя при этом под огнем раненых бойцов и беременных женщин, то теперь он выручил их из беды — возможно, не намеренно, но кто знает? — прогремевшим на весь мир скандалом. Ведь если бы не это «мероприятие», то композиторы и писатели обязательно попали бы в лапы заплечных дел мастера Абакумова! Вам знакомо это имя? Нам слишком даже оно известно»[209]. Изгнанные из Союза писателей СССР А. Ахматова и М. Зощенко вновь получили свои продуктовые карточки непосредственно в Смольном. Замечу, что против объявления их диссидентами впоследствии боролся сам Л.Н.!

Вся история августа 1946 г. больнее всего ударила по ее вынужденному инициатору — А. А. Жданову. В начале могло показаться, что, сдав всех, он выиграл тактически, но это было очень краткосрочно; проиграл же он стратегически, и, видимо, свою жизнь. До августа ему казалось, что конкуренту № 1 — Маленкову не быть в аппарате ЦК, а Берия окончательно потерял пост руководителя НКВД, но это было не так. Жданов переоценил свои возможности, переоценил благоволение Самого.

Незадолго до этого был построен санаторий «Валдай». Как говорит местная молва, построен специально для Сталина; место лучшее в Европейской части страны, здоровое, чистое, у знаменитого и красивейшего озера. Говорят, Сам приезжал туда единожды посмотреть, что получилось; в густом лесу стояло одно капитальное, в «старономенклатурном» стиле здание и скромные домишки для обслуги и охраны вблизи. Беда в том, что впритык к главному дому прислонились могучие темные ели. Вождю это не понравилось; не обеспечен обзор, а значит — безопасность. Вырубить деревья вблизи дома почему-то не решились.

В 1948 г. там, в пустующей «резиденции», отдыхал опальный А. Жданов. После какого-то разговора с Шепиловым ему стало плохо с сердцем. Добавим — и это очень существенная деталь, — что заведовала кабинетом электрокардиографии Лидия Тимашук, имя которой страна узнала в 1952 г., когда она «героически» разоблачила «врачей-отравителей» и получила за это орден Ленина (отобранный после смерти вождя). 31 августа 1948 г. Жданова не стало. Автор книги «В плену у красного фараона» Г. Костырченко писал, что «лечение» А. Жданова нельзя было назвать даже халтурным — «так со своим пациентом не обходится даже начинающий терапевт»[210]. Через полвека Д. Т. Шепилов вспоминал: «На пленуме ЦК после XIX съезда партии Сталин с волнением и большой силой убежденности говорил, что Жданова убили врачи: они-де сознательно ставили ему неправильный диагноз и лечили умышленно неправильно»[211].

После смерти Жданова отпала последняя преграда для расправы с «выскочками» из Ленинграда. Начался поистине страшный 1949-й. А. Ахматова писала:

> В Кремле не надо жить. Преображенец прав.
> Тут зверства древнего еще кишат микробы,
> Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы,
> И Самозванца спесь взамен народных прав.

От описанных, событий было совсем недалеко до «ленинградского дела»; они были прелюдией к нему. 1946-й и 1949-й несравнимы. В первом были слова — гнусные, гадкие, лживые, но все-таки лишь слова. Поклонница Анны Андреевны — страшно поверхностная и ненавидящая все советское — дотошно цитирует в своих мемуарах, смакует этот набор: А.А. — «представительница чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии», «взбесившаяся барынька» и «полумонахиня, полублудница», которая «мечется между будуаром и молельней», а М. Зощенко — «пасквилянт, хулиган и подонок», публично выпоротый журналом «Большевик»[212]. Мемуаристка даже «вычислила», что писал текст постановления 1946 г. сам Сталин, а не Жданов, что весьма спорно, а точнее, вовсе бездоказательно[213].

Но в 1946 г. никого, кроме узкого круга «причастных» к делу, не выгнали с работы и не репрессировали. Ощущался какой-то странный диссонанс между словами и делами местной власти. Не был ли это спектакль для «верхов»? Здесь я могу не ссылаться на чьи-либо мемуары, а просто кое-что вспомнить сам. Я был тогда студентом ЛГУ, а что мог знать студент о «подковровье»? Конечно, ничего; мог лишь видеть реакцию на происходящее. В Саратове, куда был эвакуирован ЛГУ, жизнь проходила в одном общежитии (бывшей гостинице «Россия»); там в стоянии в бесконечных очередях за кипятком я видел и знал многих «героев» 1946–49 гг. Прекрасно помню, что не было и намека на панику, на перепутанность у вузовской интеллигенции. Теперь можно понять, что, скорее всего, это была «куриная слепота», полная неспособность понять корни свершившегося и уж тем более предвидеть и прогнозировать вперед на три года! Доминировало обычное трусовато-интеллигентское подхихикиванье на кухне, анекдотики, но никак не страх.

Совсем другое дело — 1950-й! Вспоминаю одну деталь: едем с другом-студентом в промерзшем тамбуре поезда на Прибытково — это по Варшавской, недалеко, но тогда очень долго, электричек-то не было... И вот в пустом тамбуре друг шепчет мне

на ухо: «А Лёву сегодня посадили!» (Лёва — его приятель, сын ректора ЛГУ А. Вознесенского.) Вот здесь уже был удар по городу, жесткий удар по университету, и отнюдь не словесный, а «лагерный», расстрельный...

Особо «заразным» казался властям, видимо, экономический факультет — детище А. Вознесенского. Профессор В. В. Рейхардт был арестован и погиб в тюрьме. Вернулся, но каким-то сломленным китаист и экономист — профессор В. М. Штейн. Отсидел «свое» и профессор Я. С. Розенфельд. Помнится, еще в 60-х на экономфаке время от времени обсуждали: кто из «своих» сажал?

На филологическом факультете выгнали с работы тишайшего профессора Б. М. Эйхенбаума — исследователя раннего творчества А. Ахматовой (не за это, конечно!). Григория Гуковского сначала просто не пускали в Ленинград, когда ЛГУ возвращался из эвакуации (1944 г.), а потом посадили (1949 г.), и он тоже погиб в тюрьме (1950 г.). На Комаровском кладбище есть могила его второй жены — Зои Владимировны (она тоже сидела, но вернулась), и на этой же плите добавлено: «Памяти Григория Александровича Гуковского 1902–1950».

На историческом факультете, имеющем прямое отношение к нашему герою, посадили брата Григория Гуковского — Матвея. Добрейший и умнейший декан — профессор В. В. Мавродин был исключен из партии и уволен с работы, лишен всяких источников существования и надолго...

В Ленинграде и области работы лишилось 2000 человек, многие из них были репрессированы, некоторые расстреляны. Все это абсолютно несравнимо со «словесной волной» 46-го[214].

К чести Анны Андреевны, надо сказать, что она не сломалась после Постановления ЦК и ждановского доклада. Корней Чуковский вспоминает уже в 1954 году: «Седая, спокойная женщина, очень полная, очень простая... О своей катастрофе говорит спокойно, с юмором: «Я была в великой славе, испытала величайшее бесславие — и убедилась, что в сущности это одно и то же»[215]. Но М. Зощенко был сломлен, сразу и навсегда. Видевший его четырьмя годами позднее А.А. Чуковский вспоминает: «Ни одной прежней черты... Теперь это труп, заколоченный в гроб. Даже странно, что он говорит»[216]. А.А. отнеслась ко всему, в конечном итоге, с юмором (как бы дико это ни звучало), а М. М. «искренне хотел следовать предложенным ему курсом», что подтверждают его дневники и бумаги»[217].

Великая поэтесса не могла тогда понять истинных причин катастрофы. Нам сегодня куда легче, располагая «морем информации» и всем набором мнений. Ей в ту пору казалось, что

доминируют какие-то личные мотивы. Согласно одному из объяснений А.А., «Сталин приревновал ее к овациям». В апреле 1946 г., когда Ахматова читала свои стихи в Москве, публика аплодировала стоя. Последняя почесть полагалась только Сталину, а не какой-то поэтессе[218]. Мелковато и вряд ли докладывалось Вождю.

Второй мотив, приведенный в книге Л. Чуковской: Сталину пришлась не по душе ее дружба с оксфордским профессором И.Берлином, посетившим в 1945 г. Ленинград. В другом месте мемуаров Чуковская даже называет этот мотив главным и отмечает, что в 1956 г. А.А. не встретилась с ним из боязни, считая, что «несчастье с Левой» связано с этой дружбой[219].

Здесь какое-то лукавство — эта дружба, видимо, была достаточно тесной, если они общались на «ты», если Исайе Берлину посвящены два ахматовских цикла стихов «Cinque» и «Шиповник цветет» («Сожженная тетрадь»). Ему же, считал кое-кто, посвящены и такие строфы «Поэмы»:

> Он не станет мне милым мужем,
> Но мы с ним такое заслужим,
> Что смутится двадцатый век...

Правда, Э. Герштейн называет его лишь «третьим прототипом образа гостя из будущего», но проф. В. Жирмунский считал, что посвящение поэмы (опущенное при официальном издании) относилось именно к И. Берлину. Кто такой сэр Исайя Берлин? Он родился в 1909 г., окончил элитарную школу Сан-Паули, колледж Корпус Кристи в Оксфорде. В 1938–1950 гг. работал в военной службе Министерства информации Великобритании, в 1941–42 гг. в посольстве Великобритании в США. В разные годы после войны читал лекции в университетах Чикаго, Принстона, в Гарварде, Иерусалиме. В 1957 году получил рыцарское звание[220]. В 1960–64 гг. — вице-президент Британской Академии наук. Герштейн называла его специалистом по Толстому, Тургеневу, Герцену[221].

В 1945 году И. Берлину было всего 36 лет, а А.А. — 56. Реален ли какой-то его роман со стареющей женщиной? И. Берлин, если судить по его воспоминаниям, вряд ли испытывал к А.А. особенные чувства. В 1945 г. он побывал в Ленинграде в Фонтанном доме. Свой визит он описывает безо всяких сантиментов: «По крутой, темной лестнице мы взобрались на верхний этаж, и нас ввели в комнату Ахматовой, бедно обставленную, — я подумал, что, видимо, все из нее было вынесено во время блокады — украдено или же продано; там оставались только маленький стол, три-четыре стула, деревянный

сундук, софа и возле не топящейся печи — рисунок Модильяни. Величественная седая дама с белой шалью на плечах медленно поднялась нам навстречу». Начался длинный, неторопливый, сухо-официальный разговор. И. Берлин пишет, что «испытывал неловкость от ее холодноватой, чуть ли не царственной манеры держаться»[222].

Причины подобного поведения нам ясны. Вспомним реальную ситуацию. Лев совсем недавно вышел из лагеря. А.А. всего боится (даже до Постановления ЦК), она и через три года после визита Берлина побоялась прийти на защиту Льва Николаевича, чтобы «оплеванная персона», как она о себе говорила, не повредила сыну. И в это время ее так «подставляют»! В 1956 году, когда И. Берлин вновь приехал в СССР, они не встретились; причиной была боязнь А.А. за Лёву[223].

«Вдруг мне послышалось, — продолжает свой рассказ о визите к А.А. Исайя Берлин, — будто кто-то окликает меня со двора по имени. Сначала я не придал этому значения, но крики становились все громче, и слово «Исайя» было явственно различимо. Я подошел к окну, выглянул вниз и увидел человека, в котором узнал Рандольфа Черчилля. Он стоял посредине двора и, как подвыпивший старшекурсник, выкрикивал мое имя... Я опрометью ринулся вниз. Моей единственной мыслью было не допустить его в комнату»[224]. Это удалось сделать.

Берлин подозревал, что за Рандольфом Черчиллем, вероятно, следили. «Эта злополучная история, — пишет он, — породила в Ленинграде нелепые слухи о том, что сюда явилась иностранная делегация — уговаривать Ахматову покинуть Россию, что Уинстон Черчилль — давнишний почитатель ее творчества — выслал специальный самолет, чтобы увезти Ахматову в Англию, и тому подобное»[225].

Берлин увел Рандольфа и вернулся к А.А. лишь вечером. Разговор пошел уже откровеннее; она даже читала свои стихи, вплоть до «Реквиема». Правда, она обозначила «рубеж» между собой и гостем, сказав: «Вы приехали оттуда, где живут люди...»[226] Поздно вечером пришел домой Л.Н. «Было очевидно, — пишет Берлин, — что мать и сын относятся друг к другу с величайшей нежностью»[227].

Жили в ту пору А.А. и Л.Н. бедно. Памятной ночью Л.Н. мог предложить иноземному гостю лишь вареную картошку — больше у них ничего не было. Лев работал пожарником, правда, не где-нибудь, а в Институте востоковедения АН СССР. А.А. еще печаталась понемногу (до августа 1946 г.), и все-таки жили очень бедно.

В апреле 1946 г. Л.Н. удалось поступить в аспирантуру

ИВАНа. Это был скорее поиск «крыши» — места, где можно защитить диссертацию опальному историку, поскольку академические учреждения были менее политизированы, чем вузы. Однако это «неполитизированное» учреждение оказалось страшным, и отнюдь не по науке, а по доносам; формула Л.Н. «ученые сажали ученых» родилась, по-видимому, тогда.

Об этом он поминает многократно в письмах из лагеря (1950–1956 гг.). Так, в 1954 г. Л.Н. писал: «Моя опала началась еще в 1946 г. — там и есть корень зла. Настоящей причины моего бедствия не знаю, но предполагаю, что оно началось в стенах ИВАНа, и сидящие в Академии бездарники определенно старались избавиться от меня, хотя бы путем самых фантастических и клеветнических измышлений. Они имели к тому же связи, и все завертелось».

Завертелось, и с успехом для них. Матери он писал позже: «Вспомни бесцельные усилия в 1947–48 гг., когда надо мной вообще никаких обвинений не висело, а меня выгнали отовсюду». Выгнали его из аспирантуры в декабре 1947 г. явно досрочно, при готовой-то диссертации, которая была признана в официальном отзыве вполне готовой к защите. Больше того, уже были отзывы члена-корреспондента АН СССР А. Якубовского и профессора М. И. Артамонова на книгу «Политическая история Первого Тюркского каганата», отзывы сверхположительные. Л.Н. был в панике, что с ним было редко. Он пишет отчаянное заявление-рапорт академику В. В. Струве, а затем еще «выше» — академику И. И. Мещанинову. Последнему он писал: «Довожу до Вашего сведения, что в комиссию по переаттестации аспирантов в Институт Востоковедения представлены обо мне неверные данные, вследствие чего комиссия, как мне стало известно, решила меня отчислить. Это решение крайне несправедливо, т. к. я своевременно выполняю все обязательства, взятые на себя по плану. Прошу Вас вмешаться и дать мне возможность работать». Но все было напрасно.

Если бы не визит Л.Н. к А. А. Вознесенскому, то эту готовую (диссертацию защищать было бы просто негде. На добрых людей Л.Н. везло, притягивались они к нему, как магнитом. У ректора была симпатичная и очень умная секретарша — Маргарита Семеновна Панфилова, боготворившая своего шефа. Работала еще с Саратова и в какой-то момент оказалась соученицей Л.Н. на истфаке. Она без промедлений доложила шефу о просьбе Л.Н. принять его[228]. В результате, состоялся тот самый разговор, определивший «оформление» Л.Н. как ученого.

Маргарита Семеновна после ареста А.А. Вознесенского была тоже наказана — «спущена» секретаршей к нам на геофак. Только

много позже, когда «пыль улеглась», она вернулась в ректорат и проработала там вплоть до 80-х гг. Есть такие редкие люди, которые, не будучи начальством, определяют нравственный климат учреждения, они настроены на Добро, на Справедливость. Это чувствовал каждый, кто проходил через приемную ректората. Когда в 1995 г. М. С. Панфилова умерла, проститься с ней приехало и нынешнее, и прошлое руководство университета.

Итак, после всех коллизий диссертация Л.Н. все-таки была поставлена на защиту. Но денег не прибавилось. Анна Андреевна после удара августа 46-го «подпитывалась» только переводами стихов. Хорошо знавший Л.Н. писатель Дмитрий Балашов писал впоследствии, что «многие переводы с восточных языков, изданные под именем Анны Ахматовой, выполнял ее сын»[229].

В 1948 г. Лев уезжает в Горно-Алтайскую археологическую экспедицию. Конечно, важно было заработать (хотя платили археологам и тогда нищенски), но для него не менее важен был всемирно знаменитый объект исследования — каменные курганы Пазырык, и возможность поработать под руководством известного археолога Сергея Ивановича Ру-денко. Это была третья его экспедиция за четырехлетний «просвет»; до этого (в 1946 и 1947 гг.) он ездил в Юго-Подольскую экспедицию, которой руководил директор Эрмитажа профессор М. И. Артамонов.

О самой защите диссертации осталось мало воспоминаний. М. Л. Козырева писала: «Когда зачитывали биографическую справку, то каждый ее пункт производил впечатление разорвавшейся бомбы — и кто папа, и его мама, и откуда прибыл, и место работы. У обоих его оппонентов были какие-то дефекты речи, но Лев, который картавил гораздо сильнее их обоих, производил впечатление единственного четко и изящно говорившего... Помню, Лев Николаевич утверждал, что Тамерлан и какой-то еще восточный деспот жили в разное время, а его оппонент говорил, что — в одно, и в качестве доказательства ссылался на то, что их имена выбиты в хвалебных записях на одной скале. На это Лев Николаевич не моргнув глазом ответил: «Уважаемый оппонент не заметил там еще одной записи: «Вася + Люба = любовь». И все. Гомерический хохот»[230]. Даже в сложных ситуациях Л.Н. не терял чувства юмора.

В упомянутом «просвете», заполненном экзаменами, поисками работы, завершением диссертации, у Л.Н. появилась любовь. Героиней оказалась сотрудница отдела редкой книги Публичной библиотеки Наталья Васильевна Варбанец (1916–1987) по прозвищу Птица (принятому и Л.Н.). Познакомились они весной 1947 г. Судя по фотографии, она была довольно интересной женщиной, а по успехам в работе — выдающейся. Она

стала специалистом международного класса по инкунабулам, автором книги о Гуттенберге[231]. Это была большая любовь Л.Н.; даже А.А. отнеслась к Наталье серьезно, а не как к «очередной приходимой крошке Лёвы».

Но Наталью любил ее учитель и начальник по отделу. Она была многим ему обязана и, видимо, разрывалась между долгом и отношением к Л.Н., «одичавшему», как говорили ее подруги, «в лагере». В решающий момент учитель увез ее в Батуми. Лев смирился и даже острил, называя соперника Птибурдуковым[232], но переживал.

Диплом кандидата исторических наук был выписан ВАКом 31 декабря 1949 г., а 6 ноября он был арестован. Началась «вторая Голгофа».

5. «Вторая Голгофа»

Нет, — сказал староста, — ваше дело не из больших. В этом отношении вам жаловаться нечего, а одно из самых мельчайших среди других мелких дел. У вас нет даже отдаленного представления о нашей администрации, раз вы так думаете... Очень просто... Вам, видно, никогда еще не приходилось вступать в контакт с нашими канцеляриями. Всякий такой контакт бывает только кажущимся. Вам же из-за незнания всех наших дел он представляется чем-то настоящим.

Ф. Кафка

Герой «Замка» Кафки — землемер К. прибывает в Деревню, подчиненную юрисдикции графа, живущего в недосягаемом Замке. Цель К. — проникнуть в этот Замок, получить право осесть в Деревне — так и остается неосуществленной к концу новеллы. «Замок» — это блестящая новелла о власти — безликой, анонимной и все же абсолютно необоримой.

Для Л.Н. середина «второй Голгофы» была особенно трудным временем. Он убеждался, что его «дело» — одно из самых мельчайших дел для власти. Прошло пять лет с момента ареста (в ноябре 1949 г.). Уже нет ни Жданова, ни Сталина, за Л.Н. ходатайствуют видные ученые, ему сообщали даже, что за него заступается и Академия наук (увы, этого не было). Но не происходит ровным счетом ничего, «контакт с канцеляриями» остается кажущимся.

О периоде с конца 1954 г. нам известно больше, чем о первой части срока, больше потому, что с этого времени заключенный получил возможность писать и получать корреспонденцию в омский лагерь без ограничений. Сохранился целый цикл писем Л.Н. к «другу Васе» — Василию Никифоровичу Абросову.

Я и не знал бы об этом скромном человеке, большом и верном друге Л.Н., если бы не интереснейшая статья, появившаяся в журнале «МЂра» в 1994 (№ 4) и принадлежащая доктору наук Г. М. Прохорову, ученику и другу Л.Н. Оказывается,

Василий Никифорович знал А.А. и Л.Н. еще в конце 40-х гг., часто бывал в Фонтанном доме. В 1949 г. им заинтересовались «органы», и ему пришлось покинуть Ленинград. Он переехал сначала в Торопец, а потом в Великие Луки. Специалист-лимнолог (озеровед), Абросов успешно занимался и гораздо более широкими проблемами: в частности, цикличностью и изменением климата. Василий Никифорович переписывался с Л.Н. с конца 1954 г., помогал ему советами, научной литературой и выписками, которые делал по просьбе Л.Н., бодрыми письмами и даже продовольственными посылками.

Их переписка продолжалась и позже, вплоть до 1973 г. Кафкианские мотивы проступают во многих из них: «Дело мое сдвинулось с мертвой точки: приезжал прокурор и допросил меня. Записал мои показания правильно и сказал, что дело рассматривается. На мой вопрос: «Как долго можно рассматривать пустое место?», посоветовал не ждать скорого результата, т. к. вся волокита движется медленно»[233]. Летом 1955 г. Л.Н. сообщал другу: «В Москве мое дело все разбирают и разбирают, тратя на это занятие вместо получаса — полгода»[234]. В начале 1956 г. Абросов получил еще более безысходное письмо: «Перспективы мои более чем туманные. Ответа нет, я начинаю думать, что его не будет. Что ж весной и это проявится»[235].

Символично, что Лев Николаевич и «друг Вася» именуют желанный Ленинград, прямо по Кафке, — Городом с большой буквы. Город этот недосягаем не только для «зека» Гумилева, но и для Василия Никифоровича. Через много лет, в 1967 г., доктор наук Л. Н. Гумилев напишет В. Н.: «Когда же ты теперь сможешь приехать в Город? Деньги на дорогу я дам, и жить будешь у меня сколько угодно. Ужасно жалею, что не в силах помочь тебе больше ничем»[236].

Адресат жил в это время в Великих Луках и тихонько, скромно «делал» Большую науку; немного позже у него вышли три серьезных монографии, и один из очень авторитетных географов СССР — Л. Л. Россолимо — назвал его «лучшим озероведом нашей страны». В географических учреждениях Ленинграда (здесь я свидетель, т. к. трудился в это время в географии) работало много абсолютной бездари, а В. Абросов никак не мог попасть в Город. «Не все же придуркам, надо кусочек жизни и ученым», — писал в 1960 г. Л.Н., уговаривая своего друга переехать в Ленинград[237].

Но вернемся в 1955 г., в омский лагерь. Мы уже знаем, что Л.Н. не любил жаловаться на жизнь, и письма его В. Абросову — еще одно свидетельство об этом. Они полны наукой, рассказами о задуманном, а иногда еще и дружескими наставлениями,

советами «за жизнь» «другу Васе». Вместе с тем в этом «лагерном цикле» много свидетельств ухудшающегося здоровья Л.Н. «Я много болел в прошедший год», — пишет Л.Н. в январе 1955 г. В марте того же года он сообщает Абросову: «Скриплю по-инвалидски и занимаюсь как средневековый монах — один, по ночам, ибо работаю ночным истопником». В том же марте Л.Н. пострадал: «На днях... надорвался. Меня на носилках стащили в больницу, и сутки я был в тяжелом состоянии, даже терял сознание». «Я опять расклеился: началось с живота, а потом сыграло сердце, но меня откачали камфорой и каким-то зеленым лекарством», — пишет он «другу Васе» в июне. В ноябре Л.Н. стало еще хуже. Он сообщает Абросову: «Здоровье очень плохо. Лежу в больнице. Кроме язвы и ослабления мышцы в сердце, есть еще межреберная невралгия». Неприятности не прекратились в следующем году. «Лежу с отрезанным аппендиксом и еще очень слаб... Жить нечем и перестает хотеться», — пишет Л.Н. в феврале 1956 г.[238].

Однако эти жалобы (а чаще просто констатации, некое «извинение» за то, что работается не интенсивно) составляют не более чем сотую часть «лагерного цикла». В это время идет и интенсивная переписка с матерью, о которой можно судить по нескольким письмам А.А. (увы, я видел только обрывки ее) и «отзвукам» этой переписки в «лагерном цикле» писем «Васе». Но как раз один из этих «отзвуков» кажется крайне важным для всей последующей нелегкой истории отношений Л.Н. и А.А. 7 февраля 1956 г. Л.Н. с горечью писал другу: «Вся беда была в том, что мое положение и связанная с ним болезненность психологии игнорировались. Со мной обращались и мне писали так, как будто я отдыхал в Ялте. Ведь ты же этого не допустил, твое отношение было нормально. От тебя я всегда получаю ответ на вопрос, а от мамы никогда. Очень уж она бережет себя и совсем не бережет меня. Когда-то я, с крепким здоровьем, это выносил, но наконец сломался и именно от этого».

Письма А.А. того периода разнообразны по обращениям: «Дорогой сынок мой Лёвушка!», «Милый Лёвушка», «Милый Львец». Часть из них — ответы на просьбы Л.Н. достать новую книгу или прояснить у знакомых востоковедов какой-нибудь вопрос. А.А. делала это умело и иногда даже пыталась полемизировать с сыном. Так, например, она писала: «Про Ань-Лу-Шаня (XIII в.) спрашивать никого не пришлось: я сама натолкнулась на него в книге Фицджеральда. Почему ты думаешь, что он был хунном?»

Некоторые советы А.А. в письмах кажутся несколько странными. 27 марта 1955 года она пишет сыну: «Очень хорошо,

что ты занимаешься востоковедением — в частности хуннами — но не следует забывать и русскую классическую поэзию, в частности Пушкина. Перечти «Маленькие трагедии» 1830 г. Какая глубина, какое прозренье!». Любопытно, что А.А. замечает об этом письме, занимающем всего-то три машинописных страницы: «Вот, Лёва, самое длинное письмо, которое я написала за свою долгую жизнь».

Вообще говоря, в письмах А.А. к сыну присутствует бестактность. 17 сентября 1954 г. она пишет Л.Н. по адресу «Омск-29 п-я Ух. 16/11 Гумилеву»: «Я очень печальная и у меня смутно на сердце. Пожалей хоть ты меня.» Странно — письмо направлялось «не в Ялту», а в лагерь. Где же элементарное чувство меры, где такт? Может быть, это случайность? Нет! Письма с подобными стенаниями продолжали идти в лагерь к Л.Н. 29 апреля 1955 г. А.А. пишет сыну: «Твои неконфуцианские письма очень меня огорчали. Поверь, что я пишу тебе о себе, о своем быте и жизни решительно все. Ты забываешь что мне 66 лет, что я ношу в себе три смертельные болезни, что все мои друзья и современники умерли. Жизнь моя темна и одинока — все это не способствует цветению эпистолярного жанра». И тут же: «Здесь наконец весна — сегодня поеду в гости в новом летнем платье — это будет мой первый выезд».

Через год, 26 апреля 1956 г. Л.Н. получает от матери опять нечто подобное: «Приходил фотокорреспондент из ТАССа и раз тридцать щелкал аппаратом, стремясь получить некое подобие меня. Но ты знаешь, как я не фотогенична... Прости, что пишу тебе о таких пустяках — (того и гляди ты опять разгневаешься, как за московский тополь), но у меня из-за моей болезни так мало новых впечатлений, в последние дни даже читать не могу». И опять тот же рефрен: «Пожалей хоть ты меня».

Конечно, я видел очень неполный набор писем, и все-таки удивительно — в них нигде нет и намека на попытки освободить Л.Н. из лагеря, которые предпринимались и самой А. Ахматовой, и ее друзьями. Будем, однако, справедливы к А.А.; ею было сделано очень и очень много. Полный «набор» этих попыток изложен в воспоминаниях Э. Герш-тейн[239].

Анна Андреевна прониклась убеждением, что подавать ходатайства об освобождении Л.Н. от своего имени ей не следует. Она решила действовать через известных людей — писателей и ученых. Из всего этого получилось следующее.

Из писателей в защиту сына А.А. выступили несколько человек. Илья Эренбург послал письмо Н. С. Хрущеву; молчание последнего он воспринял как «знак немилости» и замолк. Михаил Шолохов в прошлое (1938) «сидение» Л.Н. сам прислал человека

к А.А. с предложением хлопотать; он и на этот раз, видимо, обращался в инстанции, но получил ответы в стиле «Замка» — «проверяют», «подняли дело» и т. п. А. Сурков в разговоре с Н. Мандельштам возмущался нарушением законности, но не знал, что Л.Н. до сих пор сидит.

Итак, «писатели» не сработали, да и не выражали, по-видимому, горячего желания «сработать». Чего они все так боялись? Ведь уже не сажали; значит, боялись «немилости»? По-иному — и куда смелее — вели себя ученые.

Академик В. В. Струве без раздумий написал от своего имени ходатайство, характеризуя Льва Николаевича как талантливого ученого-востоковеда. Он оставил пустое место для обращения, вручил свое письмо Анне Андреевне с тем, чтобы она воспользовалась им «по своему усмотрению».

Известный востоковед, академик Н. И. Конрад, через врача Кремлевки, который лечил идеолога КПСС П. Н. Поспелова (тоже — академика!), передал тому письмо-прошение об Л.Н. Но идеолог не удостоил «коллегу» ответом. Академик Конрад не убоялся прочитать и одобрить рукопись «зека» Гумилева, которую тот исхитрился переслать из лагеря[240].

Историк и археолог, академик А. П. Окладников, согласился написать в «инстанции». Директор Эрмитажа М. И. Артамонов, узнав о состоянии Л.Н., реагировал так: «Я очень рад, что Лев жив. Я считал его погибшим». И тут же ходатайствовал о пересмотре дела, оформив пространную характеристику, в которой официально брал на себя ответственность за каждое слово.

Если все было так, то почему же такое недовольство Л.Н. матерью? Эмма Герштейн, разговаривавшая с Л.Н. сразу после его освобождения, так отвечает на этот вопрос: «Лев Николаевич и его друзья-солагерники воображали, что Ахматова крикнет там (имелся в виду съезд писателей СССР в 1954 г. — С. Л.) во всеуслышание: «Спасите! У меня невинно осужденный сын!» Лев Николаевич не хотел понимать, что малейший ложный шаг Ахматовой немедленно отразился бы пагубно на его же судьбе».

Об упомянутом съезде, если судить по дошедшим до нас письмам, А.А. сообщала сыну весьма лаконично: «На съезде писателей я не выступала, имя мое произнес один раз в своей речи П. Антокольский в связи с переводом Райниса и Саломеи Нерис. Это было в газетах» (из письма 27 марта 1955 г.). И все! Упоминание о газетах совсем трогательно, как будто в лагере стояли киоски «Союзпечати».

Между тем и другие письма А.А. в лагерь всегда очень экономны — 6–7 строк, и пусть простят меня почитатели А.А., —

удивительно бессодержательны, а иногда наивны. «Знаешь, Лёвушка, — писала А.А. 28 апреля 1956 года, — мне как-то нравится, что никто ни минуты не сомневается, что ты, вернувшись, можешь углубленно и плодотворно заниматься историей. Как это ты заработал такое?» Как это А.А. не заметила, что научная линия ее сына давно определилась, давно «заработал» он право быть в науке.

Эмма Герштейн пыталась объяснить «сверхэкономность» А.А. следующим образом: «Особенно травмировала Ахматову перлюстрация переписки. Это ее угнетало до такой степени, что она начала писать письма телеграфным слогом. К тому же кто-то ее надоумил, что лагерные цензоры быстрее читают открытки, чем запечатанные письма. Поэтому она писала Лёве на двух-трех, а то и четырех открытках подряд. Это оскорбляло и раздражало его. Тем более, что А.А. писала, по его мнению, сухо, а она не могла выражать свои чувства, помня о чужих и враждебных глазах...»[241]

Период этот, видимо, оказался роковым для отношений А.А. с сыном; очевидна какая-то фальшь писем, фальшь их тона даже в сложный период «хлопот за Лёву».

М. Ардов так описывает пребывание А.А. в Москве: «Начиная с пятидесятого года Анна Андреевна жила у нас на Ордынке едва ли не больше, нежели в Ленинграде. Сначала тянулось следствие по делу сына, он сидел в Лефортовской тюрьме. А затем этого требовала и работа — Ахматовой давали стихотворные переводы именно в московских издательствах»[242].

В ардовском доме господствовал отнюдь не похоронный настрой; там острили и смеялись, шутили по поводу известного доклада А.А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Свои шутливые упреки Ардов преподносил Анне Андреевне в манере типичного «советского оратора»: «И прав был товарищ Ж., когда он нам указывал...» Шутили, сочиняя частушки по поводу работы классика «Марксизм и вопросы языкознания»:

> К нам приехал Виноградов — Виноградова не надо!
> Выйду в поле, закричу: — Мещанинова хочу![243]

Те, кому приходилось «изучать» известное произведение «Марксизм и вопросы языкознания» в начале 50-х гг., вспомнят, что академик В. В. Виноградов после сталинской работы был на коне, тогда как академик И. Мещанинов — в опале, правда, тоже довольно символичной. Сталин сказал как-то: «Если бы я не был уверен в честности академика Мещанинова...» Эта фраза Вождя стала для Мещанинова «охранной грамотой».

Для А. Ахматовой новый лидер советского языкознания был не абстрактно-далекой фигурой. В письме к Л.Н. от 9 декабря 1957 г. она с придыханием сообщала: «Перед тем как я рухнула во второй раз... я позвонила Виноградовым. Они были очаровательны. Виктор Владимирович спросил, в Москве ли ты, и сказал, что очень хочет тебя видеть». Интересно, хотел бы Виноградов видеть Л. Гумилева в 1955-м? Замечу еще, что приводимые М. Ардовым высказывания А.А. по самым разным поводам (оценки коллег, воспоминания, просто замечания о Москве, наблюдаемой из окна машины) несравнимо интереснее, содержательнее, значимее, наконец, остроумнее ее писем сыну[244].

Но вернемся в ГУЛАГ. Здоровье Л.Н. ухудшалось; никакие ходатайства не приближали свободы; росло непонимание с А.А. «Только одного хочу: по возможности закончить книгу об истории Центральной Азии, сиречь посмертную докторскую диссертацию», — пишет он все тому же В. Н. Абросову в середине 1955 г.[245]. А в конце августа Л.Н. откровенно пишет другу: «Если пересмотр приведет меня домой, надо начинать жизнь заново, а это ох как трудно. Это задача для молодости, а я уже старик?»[246]

Идет 1955-й. Гумилеву — 43 года. Вообще-то не так и много, но если вспомнить ничтожную паузу между «первой Голгофой» и 1949 г. — всего четыре года, — то спрашивается, что он видел «на воле», что успел? Разве что, работая библиотекарем сумасшедшего дома, защитить диссертацию. Пересматривая свою жизнь «ретро» в эти «окна свободы», он бодрится, утешает себя — «что-то было». Но «лагерное», циничное проступает именно при этих воспоминаниях, особо в рассуждениях о женщинах: «Птица — была у меня 32-я, и то я считаю, что мне повезло»; «Я знаю, что Птица не хороша, но прочие были еще хуже». Все это как-то пошловато и диковато для умного и деликатного человека, каким по сути был Л.Н. Только в этом смысле можно понимать его советы «другу Васе»: «Как ты прав, что не женишься! Я, вертясь среди баб, ничего не приобрел и много потерял, а ведь требования мои минимальны — только приличия во взаимоотношениях». Дальше идут советы «в чистом виде»: «Я не шучу, я настаиваю, чтобы ты самыми татарскими методами открыл и продолжил донжуанский список, не взирая на лица партнерш. Не думай сам, а поступай, как я тебе пишу — заводи бабу, да не одну. Это то, что тебе нужно, а к чистой любви ты пока не подготовлен»[247].

Среди этих текстов были и более проникновенные, горькие размышления о том, что все уже поздно: «Я не знаю как сложится моя судьба, но, по-видимому, приходится рассчитывать на холостую жизнь, что меня ничуть не огорчает: мне жениться

поздно, ухаживать лень и беспокоиться о взаимности вовсе неохота».

Что же все-таки спасало в этой, казалось бы, полной безысходности? Ответ на этот вопрос в следующих словах Л.Н. из письма Абросову: «Я, конечно, всемерно стараюсь отвлекаться в сторону науки, но сколько можно? Жить и смотреть на мир неохота». Мне кажется, что первая часть фразы — объяснение всего: дикой выносливости, преодоления, способности не обращать внимания на условности, существующие даже там, за колючей проволокой. Чего стоит информация из двух писем конца 1955-го: «Живу сейчас средне, хожу на работу, — учусь на сапожника». И через три дня еще: «Я стал сапожником. Все, включая начальство, хохочут надо мною, но мне наплевать, я в тепле», и тут же с хорошим юмором: «А в самом деле, достаточно прочесть любую статью Натаныча (А. Н. Бернштама. — С. Л.), чтобы понять, что это сапожник; почему никто не смеется? Лучше историку работать в сапожной, чем писать книги как сапожник»[248].

Самое ценное (а вместе с тем и спасительное) для Л.Н. — была возможность хоть как-то заниматься наукой. «Я все чаще стал попадать в больничный барак, — пишет он. — Наконец, врачи пожалели меня: определили инвалидность. Меня назначали теперь на сравнительно легкие работы... Так появилось время, чтобы думать. Теперь предстояло самое трудное: получить разрешение писать. В лагере, как известно, категорически запрещалось вести какие-либо записи. Я пошел к начальству и, зная его преобладающее свойство — предупреждать и запрещать, сразу запросил по максимуму: «Можно ли мне писать?» — «Что значит писать?» — поморщился оперуполномоченный. «Переводить стихи, писать книгу о гуннах». — «А зачем тебе это?» — переспросил он. «Чтобы не заниматься разными сплетнями, чтобы чувствовать себя спокойно, занять свое время и не доставлять хлопот ни себе, ни вам». Подозрительно посмотрев на меня, он молвил: «Подумаю». Спустя несколько дней, он вызвал меня и сказал: «Гуннов можно, стихи — нельзя»[249].

Многократно цитированные выше «письма Васе» интересны, конечно, не жалобами, не «поучениями» насчет женщин, а колоссальным накалом научного поиска, добрым спором двух профессионалов на путях «стыковки», казалось бы, самых разных наук. В начале 1955 г. Л.Н. пишет Абросову: «У меня здесь 2 чемодана книг и ни одной тряпки»[250]. Из омского лагеря в 1956 г. он уедет тоже с двумя чемоданами. Они сколочены из досок (их сделали столяры — зеки), но в них бесценный для Л.Н. груз: рукописи двух его монографий: «Хунну» и «Древние тюрки» — его

будущая, к счастью, не «посмертная» диссертация.

До 1961 г., больше четырех лет — время подчистки, проверки того, что сделано в нечеловеческих условиях, приведение рукописей в диссертабельный вид. Свидетельством поразительной работоспособности Л.Н. для меня явились его письма П. Савицкому; через несколько месяцев после лагеря он пишет отцу евразийства, не уступая тому в эрудиции.

6. Ретро: Рождение и первая жизнь евразийства

6.1. Пётр Савицкий — лидер «ведущей тройки» евразийцев. Начало переписки

Евразийство не только нельзя считать отжившим учением, но наоборот, его надо считать находившимся в состоянии временного анабиоза, с самыми благоприятными и обнадеживающими перспективами.

Вл. Ильин

Выйдя из Омлага, Л.Н. начал интенсивно работать, уточняя, завершая, развивая то, что было сделано в нечеловеческих условиях, что привезено было в самодельных чемоданах с востока. Работая в Эрмитаже, он познакомился с историком из ЛГУ профессором М. А. Гуковским. Матвей Александрович, как и уже упоминавшийся его брат Григорий, тоже сидел. Он попал в лагерь по «ленинградскому делу», будучи виновен только в близком знакомстве с ректором А. А. Вознесенским. Сидел М. Гуковский в мордовском лагере вместе с одним из основателей евразийства — Петром Савицким; там они познакомились и подружились. Матвей Александрович дал Л. Гумилеву адрес П. Савицкого в Праге. «Десять лет мы переписывались, — рассказывает Л. Гумилев, — а когда я приехал в Прагу на археологический конгресс в 1966 году, он встретил меня на вокзале. Мы несколько раз встречались, долго гуляли, он рассказывал о пережитом...»[251]

Вот об этой переписке, об адресате Л.Н. стоит рассказать подробнее. Мне лишь бегло удалось познакомиться с письмами из Ленинграда в Прагу, да и сохранилось-то их немного. Поначалу это были письма робкого ученика к учителю, но затем постепенно они выходили на один уровень с письмами из Праги. Стоит обратить внимание на любопытную деталь: Л.Н. и в 60-х гг. все еще чего-то опасался; он уже не боялся писать в Прагу (братская Чехословакия!), шли его деловые письма во Францию, но воздерживался писать в США, где в Йельском университете работал профессором второй из «отцов» евразийства — Георгий Вернадский. Письма и статьи из Ленинграда достигали США обходным путем: сначала до Праги, затем, уже в чешском конверте, от П. Савицкого к Г. Вернадскому; а обратно — тоже через Прагу — они достигали коммуналки на Московском проспекте. Правда, в 60-е гг, в разгар «холодной войны», не все

было так просто и на другом конце образовавшейся связи — в США. П. Савицкий сообщал Л.Н. в апреле 1961 г.: «Две новейших Ваших статьи, сразу же мной ему (Г. Вернадскому. — С. Л.) посланные, еще до него не дошли: их сверхвнимательно изучает американская цензура, как они того заслуживают». Все статьи и редкие в ту пору книги Л.Н. отправлялись в двух экземплярах; ему очень были нужны отзывы «отцов». «Очень Вас прошу прислать отзывы на отдельных листах, дабы я мог их приложить для редакционных советов», — писал Л.Н. Савицкому 3 декабря 1956 г.

Письма П. Савицкого сохранились в ленинградской квартире Льва Николаевича, видимо, почти полностью[252]. Они-то и заслуживают самого большого внимания, ибо это куда более живая, чем любая статья или книга, очень дружеская и сверхоткровенная дискуссия двух эрудитов, увлеченных кочевниковедением. Им было что рассказать друг другу.

Оба почти одновременно вышли из лагерей. У обоих был гигантский «отложенный спрос» на научное общение, прямо-таки голод по разговору со специалистом одногоуровня, а поначалу еще и просто желание узнать детали о коллеге. «Я страшный хронографист, — замечает П. Савицкий в одном из первых писем 1956 г., — хочу знать, какого Вы года рождения». А в другом письме, от 8 декабря 1956 г., Петр Николаевич совсем по-детски просит Л.Н.: «Если Вас это не затруднит, пожалуйста, пришлите мне Вашу фотографию. Мне было бы страшно интересно на Вас посмотреть! Меня Вам может описать Матвей Александрович (Гуковский. — С. Л.)».

Кто же такой Петр Савицкий, почему так трагично перекрестились их с Л.Н. судьбы, почему они оказались так интересны, так нужны друг другу? А главное — что взял от евразийства и своего коллеги Л.Н. (сам уже давно «работавший» на евразийство)?

Петр Николаевич Савицкий родился в 1895 г., т. е. был старше Л. Гумилева на целых 17 лет. Это много, и страшно много в пору стремительных изменений и коллизий. Когда Лев Гумилев еще не ходил в школу, Петр Савицкий в своих географических исследованиях пришел к выводу, который постарался выразить в построении системы евразийской географии в 1920-х гг.[253]. Когда же маленький Лев пошел в железнодорожную школу провинциального Бежецка, Петр Савицкий уже был отсечен от России революционным ураганом.

Он родился на Украине в дворянской семье. В одном из писем к Л. Гумилеву сам П.Н. прислал свое стихотворение «Бутовичевка» с таким примечанием к названию: «Родовое гнездо

Савицких, к северу от г. Никополя, в самом центре «царской Скифии». Г. Вернадский называл местом рождения Савицкого Чернигов, но, видимо, П.Н. знал лучше.

В 1913–1914 гг. Савицкого занимала украинская тематика. Вместе с известным историком Украины В. Л. Моздалевским они написали книгу «Чернигов. Очерки искусства старой Украины»[254].

Учился П. Савицкий в Петербурге. Окончив перед революцией знаменитый Политехнический институт, он стал секретарем посланника при Российской миссии в Христиании (Норвегии). Все, казалось бы, гарантировало обеспеченное и безбедное будущее: перспективная и новая тогда специальность экономико-географа, блестящее знание языков (английского, немецкого, французского, норвежского), налаживающиеся связи в научном и дипломатическом мире. Революция сломала все планы. Маршруты П. Савицкого в 1917–1920 гг. были типичны для большей части русской эмиграции: юг, Добровольческая армия Деникина, Крым, правительство Врангеля (П. Савицкий был помощником министра иностранных дел Петра Струве), затем — Галлиполи, София и, наконец, Прага — «русские Афины», принявшие значительную часть эмиграции из России.

В воспоминаниях Н. Н. Алексеева (одного из видных евразийцев) есть любопытное объяснение того, почему чешское правительство в ту пору широко помогало русским эмигрантам. Дело в том, что отряд чешских легионеров, застрявших в силу революции в России, при отступлении своем с Волги на Владивосток, в Казани нашел часть золотого запаса русского казначейства (говорят, целый вагон русского золота). Захватив вагон с собой, чехи увезли также и немало другого русского имущества. Это золото послужило основанием для образования в Праге чешского Легио-банка. Э. Бенеш был убежден, что большевизм не продержится в России более пяти, самое большое — десяти лет. Он полагал, что воспитанная в Чехословакии русская молодежь вместе с их профессорами вернется в Россию и послужит там закваской для образования нового демократического государственного строя[255].

На самом деле для эмигрантов было не все так радужно. Насильственное разъединение с Россией стало для многих из них трагедией. Вместе с тем оно открыло глаза на многое, что затуманивалось при «нормальной» жизни на Западе «под защитой» дипломатического представительства великой страны. П.Савицкий рассказывал Л.Н., когда они увидели, как по-хамски с ними обращаются на Западе те же «союзники» в Галлиполи, то поняли, что им надо искать искренних друзей в другом месте[256]. В 1928 г. П. Савицкий писал своему другу: «Огромное значение

имело вживание в исторический образ Европы. То, что было неясно посетителю, стало ясно жильцу, иноприродность (по сравнению с русскими) тех начал, из которых выросла и которыми поныне определяется историческая жизнь Европы»[257].

П. Н. Савицкий знал, что говорил; он побывал почти во всех европейских столицах. Знание Европы стало базой для одной из генеральных линий исследований Савицкого — «Европа — Россия», «Европа — Азия» и еще шире — «Запад — Восток».

Русская интеллигенция в Европе жила в условиях «катастрофического мироощущения» (Н. Трубецкой) с постоянной тревогой о судьбах России, а лучшая ее часть — с сознанием обреченности белого движения, жила в поисках «идеи-силы». Евразийство было попыткой осмысления русским национальным сознанием факта русской революции[258]. Евразийство хотело и надеялось стать стержневой идеологией русского народа.

Формальной датой его рождения принято считать 1921 г. выход в Праге сборника статей «Исход к Востоку. Предчувствие и свершение. Утверждение евразийства»[259]. Основатели этого направления отмечали, что евразийство есть идеология, находящаяся «на пересечении двух планов: отвлеченного мышления и конкретного видения». «Мы — метафизичны, — писали евразийцы, — и в то же время этнографичны, географичны».

Кто эти «мы»? Вопрос очень важный, так как разные определения круга евразийцев давали возможность всякого рода спекуляциям, особо в период раскола и «угасания» движения в 30-х гг. Еще в 1925 г. Н. Трубецкой писал: «Людей, именующих себя «нашими», чрезвычайно мало, человек 70 в Берлине, десятка полтора в Вене, с десяток в Риме и отдельные единицы в других пунктах, в общем немножко больше ста; а из них настоящих не больше трети (это по самому максимальному расчету)»[260]. В этом отношении важно определить твердое и основное «ядро» евразийства, его главных и последовательных идеологов.

Оно, как мне представляется, состояло из трех выдающихся ученых: П. Н. Савицкого, Г. В. Вернадского (1887–1973) и князя Николая Трубецкого (1890–1938)[261]. «Ведущая тройка», безусловно выделялась, даже на блестящем фоне крайне ярких личностей, входивших в евразийство. А это было созвездие ученых высшего класса, специалистов во всех важных для разработки их концепции науках. Вот перечень этих имен:

Георгий Флоровский (1893–1979) — в ту пору молодой философ; был одним из основателей евразийства, автором статьи в «Исходе к Востоку», позже — выдающийся историк церкви и богослов, с 1948 г. — профессор и декан Св. Владимирской

Духовной академии в Нью-Йорке.

Петр Сувчинский (1892–1985) — один из авторов «Исхода к Востоку»; талантливый эссеист, критик, музыковед, яркая творческая личность (друг Б. Пастернака, С. Прокофьева, И. Стравинского), основатель Русско-Болгарского издательства в Софии, в котором вышла первая книга евразийцев.

Николай Алексеев (1879–1964) — профессор, идеолог правовой и политической программы евразийцев, давший формулу «третьего пути»: «ни социализм, ни капитализм»; специалист по «философии государства и права».

Лев Карсавин (1882–1952) — профессор, до революции был ректором Петербургского университета, известный медиевист и ведущий религиозный мыслитель евразийства. В 30-х гг. возглавил семинар в Кламаре (Франция), подготовивший пробольшевистское течение в евразийстве. Дальнейшая судьба его была трагична; в конце войны он был арестован в Вильнюсе и погиб в концлагере в Абези (север СССР).

Роман Якобсон (1896–1982) — профессор, филолог с мировой известностью; обосновал концепцию своеобразного языкового союза, выделяющего Евразию на мировой «филологической карте».

Не надо думать, что несколько мрачные оценки Н. Трубецким числа «истинных евразийцев» говорят о некоем «провинциализме» или «маргинальное №» всего движения. Никоим образом. Во-первых, сеть евразийских «ячеек» в ту пору далеко выходила за пределы Евразии, простираясь от Англии на западе (естественно, включая Париж, Берлин, как центры русской эмиграции) до Харбина, главного центра русской эмиграции в Китае, — на востоке. На западной периферии самой России безусловным очагом евразийства стала Эстония[262]. Во-вторых, даже когда евразийство уже было не «на взлете», выступления его лидеров в Европе собирали огромную аудиторию. Недружественный к евразийству анонимный автор в парижском эмигрантском журнале свидетельствует, что «на выступлении П. Савицкого в Белграде (1926 г.) собралось до 3000 «евразийствующих», которые горячо приветствовали его аплодисментами»[263].

Вернемся к Петру Савицкому. Это — крупный экономикогеограф по образованию, кочевниковед (как он любил себя называть) и первый русский геополитик, как мы законно можем его назвать[264]. Необходимо заметить, что само понятия «геополитика» обладает некоторой двойственностью: за ним кроется и наука, и конкретная политическая деятельность. Так, Петр I был, конечно, геополитиком-практиком; П. Савицкий находил геополитические мотивы еще в «Слове о полку Игореве».

Следствием нашего небрежения к своей собственной истории и науке стало то, что все «отцы геополитики» будто бы «прописаны» только на Западе. Это немец Ф. Ратцель, швед Р. Челлен (автор самого термина «геополитика»), англичанин Х. Маккиндер и, наконец, — это «исчадие ада» — «гитлеровский генерал» К. Хаусхофер.

Несколько слов необходимо сказать о последнем. Мы уже отмечали, что это — весьма сложная фигура, но стереотипы давних времен устойчивы. Можно, конечно, и дальше именовать его «гитлеровским генералом», но он стал генералом в Первую мировую войну, которую будущий фюрер закончил ефрейтором. Можно именовать его и учителем Гитлера, и чуть не соавтором «Майн кампф». Но Хаусхофер был на самом деле учителем Р. Гесса и поплатился за это отсидкой в гестапо после таинственного бегства ученика в Англию. Можно, наконец, перечислять посты, занимаемые К. Хаусхофером в 30-е гг. — Президент Германской Академии наук и т. д. Однако тогда надо добавить, что он лишился их уже в 1937 г. Сын его — Альбрехт Хаусхофер был казнен в берлинской тюрьме Моабит после покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. И самое интересное: по своим геополитическим взглядам К. Хаусхофер был весьма близок к евразийцам, ратуя до 1941 г. за союз «Германия — СССР — Япония», относя последнюю — по духу — к континентальным державам.

Трудов К. Хаусхофера в наших библиотеках почти не было, если и попадались, то в спецхранах. Однако одна книжка, видимо, имела необычную судьбу: ее нашли в Русском географическом обществе, и не в библиотеке, а... за шкафом. На титульном листе стоял штамп: «Зенитный полк № 1». Самое интересное, что эта книга вышла в 1941 г. и, видимо, за несколько недель до нападения на СССР. Любопытен и немалый тираж — 25 тысяч. Книга, казалось бы, далека от евразийских сюжетов, ибо называется «Япония создает свою империю» (Haushofer Karl. Japan baut sein Reich. Berlin. 1941). Тем не менее там есть поистине удивительные слова: «Евразийская политика вместе с Японией и Советским Союзом — высочайшее веление времени». Может быть, именно эти слова больше всех других деяний генерала обусловили полное его «отключение» от всех властных структур «третьего рейха».

Своеобразным парадоксом стало то, что в России не знали не только западных мыслителей, но и выдающейся фигуры русской науки и политики — П. Савицкого, тогда как он был известен в остальном мире. Автор нашумевшей в 90-х гг. статьи «Столкновение цивилизаций» (1993) профессор Гарвардского

университета Самюэль Хантингтон отмечал «характерную для русской общественности новоприобретенную популярность идей П. Савицкого»[265]. Если бы так было! Необходимо заметить, что единственная диссертация и монография, посвященная евразийству до 80-х гг., была написана и защищена в ФРГ Отто Бёссом в Висбадене в 1961 г. (Boss Otto. Die Lehre der Eurasier. Wiesbaden. 1961), когда у нас и слова «евразийство» не знал никто, кроме сверхузкого круга специалистов.

Говоря о своих ближайших единомышленниках, Н. Трубецкой называл их союз — «хоровой личностью тройки — людей ни в чем основном никогда друг с другом не спорящих». Они сохраняли эти отношения до конца жизни. Н. Трубецкой, правда, умер рано — в 1938 г., а Г. Вернадский еще в 1927 г. уехал в США, но оттуда он активно переписывался с П. Савицким вплоть до смерти последнего, последовавшей в 1968 г.

Есть еще одна, правда, парадоксальная, причина выделения этой «тройки»: обвинения в адрес движения в сотрудничестве с большевиками, чуть ли не с ГПУ—НКВД. Начало этому было положено известным в свое время и довольно тенденциозным романом Л. Никулина об операции «Трест», а продолжение следует вплоть до 90-х гг. (А. Янов). В действительности эти обвинения касались лишь второстепенных авторов-евразийцев. В отличие от Л. Никулина коллизии евразийцев в годы операции «Трест» очень объективно и на основе большого архивного материала описываются С. Рыбасом и Л. Тараканової в историческом романе «Похищение генерала Кутепова»[266].

И все-таки даже в этой выдающейся «тройке» П. Савицкий особо выделялся своей верностью евразийству: будучи председателем Евразийского комитета (до 30-х гг.), он взвалил на свои плечи всю организаторскую работу, постоянно находясь в переездах между европейскими столицами. Кроме того, он был главным идеологом евразийства, давшим имя новому направлению. Он заразил других лидеров евразийства геополитическим подходом. Показательно, что один из критиков евразийства историк А. Кизеветтер называл П. Савицкого «шефом евразийства»[267]. С этим определением не расходятся и современные оценки[268].

Многократно, а особо в конце 20-х — начале 30-х гг., Савицкому в одиночку приходилось парировать многочисленные и все более злобные нападки на евразийство с самых разных сторон, и он делал это с огромным искусством и публицистическим блеском. Его стихия — предисловия к новым сборникам. Особо содержательна такая «передовица» к книге «В борьбе за евразийство» (1931).

Теперь следует сказать несколько слов о критике евразийских взглядов, тем более что она удивительно похожа на современную. В «анти-евразийском фронте» эмигрантской печати особо выделялись «правые», призывавшие сделать из евразийцев «секомых», выставить их листовки «на позор», а их самих «пригвоздить». Известная Зинаида Гиппиус так говорила о смене вывесок «СССР» на «Евразия»: «Мы уж знаем, что за вывесками осталось бы то же, лишь обозначенное другими буквами: вместо ЧК — положим ДУ — «Добродетельное учреждение» или БеПе, «Благое Попечительство» и т. д. Но в отношении церкви перемена будет поглубже, поядовитее. Из помехи, из гонимой, предполагается, украсив приятными словами, возвести ее в чин служащей порядка не коммуно-большевицким, а евро-большевицким»[269]. Вспомним А. Янова, эмигрантскую «Русскую мысль», малоизвестного г-на Сендерова и др. Не правда ли, все оказывается уже было и давно...

Другой известный и в общем-то уважаемый персонаж русской истории начала века — В. Шульгин считал, что «евразийство есть вид злости». П. Савицкий парировал: «Не из злости родилось евразийство, хорошо или плохо — евразийство есть выражение воли к созиданию и творчеству»[270].

Доставалось евразийству и от либеральной части эмиграции. П.Н.Милюков, выступая в Праге в 1927 г., говорил, что оно «родилось в результате внешнего поражения и внутреннего разгрома, когда в русском обществе усилились национализм и вражда к иностранцам»[271]. П. Савицкий ответил Милюкову стихотворением, в котором есть такие строки:

> Ты враг, ты недруг евразийства,
> Отсталость — вот Руси закон,
> Все прочее — плоды витийства
> И самый пустозвонный звон[272].

Куда злее эти мысли выражал некий Н. Чебышев. «Евразийство, — по его словам, — порождение эмиграции. Оно подрумянилось на маргарине дешевых столовок, вынашивалось в приемных в ожидании виз, загоралось после спора с консьержкой, взошло на малой грамотности, на незнании России теми, кого революция и беженство застали подростками»[273].

В злобной критике евразийцев почти все было неправдой. И не в эмиграции зародились основные их мысли. Так, статья Г. Вернадского «Против солнца. Распространение русского государства к востоку» была напечатана в России еще в 1914 г., а первые работы П. Савицкого появились в «Русской мысли» в 1915

г.[274]. Нелепо было говорить и о «малой грамотности» отцов евразийства; каждый из них стал известным в мировой науке еще до рождения евразийства.

6.2. Трудные поиски «идеи-силы»

Русскому мышлению столь же чужды категории западного мышления, как последнему — категории китайского или греческого.

О. Шпенглер

Евразийская позиция — это «третий путь» — ни большевизма, ни царизма, или, согласно современному автору, «консервативная революция»[275]. На мой взгляд, самое главное, коренное отличие евразийцев от всех других сил эмиграции состояло в том, что судьба страны для них важнее судьбы режима.

Казалось бы, они ближе всего к славянофилам, но Н. Бердяев обличал их в том, что они «неверны русской идее, порывают с лучшими традициями нашей религиозно-национальной мысли. Они делают шаг назад по сравнению с Хомяковым и Достоевским, и в этом они духовные реакционеры»[276]. Еще резче о евразийцах писал А. Кизеветтер: «Нам важно установить глубокую бездну между славянофильством и евразийством. У славянофилов было то, что поднимало народную гордость: предназначение своего народа. Нам же евразийцы говорят о племенной национальной гордости, когда полагают, что Россия — отпрыск Чингисхана»[277]. Простенькая логика: если вы не за славян, — плохо, еще хуже, если вы за родство России и монголов. По-вашему, «Москва выросла и укрепилась по приказу хана», — значит, нам с вами не по пути... И кого это я, А. Кизеветтер, обучал истории в Московском университете?.. П. Савицкого... «Стыдно!»[278].

Миру русской духовности они (евразийцы) противопоставляли мир западников и критиков первой половины XIX в., а позже — мир Добролюбова, Писарева, Михайловского, большевиков[279]. Антизападная линия и критические оценки западной демократии сближали их со славянофилами; не случайно за рубежом евразийцев называли «славянофилами эпохи футуризма»[280].

Но славянофилы недооценивали экономических факторов, не понимали необходимости сильного государства. П. Савицкий отмечал и другое: славянофилы недооценивали своеобразие отдельных славянских народов. «Поляки и чехи, — писал он, — в

культурном смысле относятся к западному «европейскому» миру, составляя одну из культурных областей последнего»[281]. Все это настолько ясно в 90-х гг., через 70 лет после этих замечаний евразийца, что противоположные идеологически Л. Гумилев и С. Хантингтон считают так же.

Евразийцев тогда не просто не любили, их ненавидели. Иван Ильин писал о грядущем «урало-алтайском чингисханстве», а П. Струве — учитель Савицкого в былые петербургские годы — называл евразийцев «стервецами», злобно добавляя, что главнейшим азиатским даром для судеб России была «монгольская рожа Ленина»[282].

Вот что произошло через десяток лет после этих перманентных препирательств. Шел очередной диспут в Белграде, где П. Струве заявил, что настоящий враг находится не на Востоке (речь шла об обострении отношений СССР и Японии) и не на Западе, а в России. Любопытно, что выступивший вслед за ним внук Льва Толстого — И. И. Толстой — напомнил, что П. Б. Струве говорил такие же слова в дни русско-японской войны. «Что же, — спросил он, — наш настоящий враг всегда, во все времена находится именно внутри России?»[283]

Евразийцы отличались тем, что не считали революцию абсурдом, случайностью и концом русской истории. Конструктивное отношение евразийцев к русской революции — главное отличие между ними и другими группировками русских эмигрантов[284]. Сказать нечто подобное словам П. Струве не мог бы ни один из лидеров евразийства; при всех условиях они были за Россию.

Вместе с тем евразийская концепция имела глубокие корни в русской и мировой историографии. Это, прежде всего, опора на Н. Данилевского, который считал, что прогресс — это возможность исходить поле истории во всех его направлениях[285]. Подобные мысли развивали и евразийцы, противопоставляя «общечеловеческому» национальное, всеобщему — отдельное, индивидуальное.

Параллельно с работами евразийцев на Западе появилась сенсационная тогда книга О. Шпенглера «Закат Европы» (1918), направленная против европоцентризма, говорящая об упадке германо-романской цивилизации. Эти идеи смыкались с тем, что гораздо раньше отмечал Данилевский; например, такую черту германо-романского менталитета, как насильственное навязывание своего образа жизни и образа мыслей другим.

Из русских авторов, работавших параллельно с евразийцами, П. Савицкий выделял Всеволода Иванова, который, защищая их, писал: «Движение евразийцев должно быть приветствуемо всеми

любящими свою страну русскими людьми. Из их исследований веет душистостыо степей и пряными запахами Востока. Они правильно вносят поправку в дело славянофилов, ища на Востоке того, чего не хватало Аксакову, Хомякову, Константину Леонтьеву, чтобы обосновать наше отличие от Европы. Только перетряхивая с полным пересмотром историю Востока, найдем мы самих себя»[286].

Но то, что научно (чаще, увы, сухо-научно) формулировалось в кабинетах ученых России или в эмигрантских листках Софии, Праги, Берлина, становясь достоянием очень узкого круга элиты, спонтанно выплескивалось в романах и поэмах лидеров «серебряного века». Видимо, идеи евразийства носились в воздухе. Это отмечал и Н. Трубецкой в 1921 году в одном из писем Р. Якобсону[287].

Примеров такого «опережения» много. В 1912 г. Велимир Хлебников заявил: «Я знаю про ум материка, нисколько не похожий на ум островитян. Сын гордой Азии не мирится с полуостровным рассудком европейцев»[288]. Он не мог читать книгу О. Шпенглера, появившуюся на десяток лет позже; не читал он, конечно, и сугубо научной статьи Х. Маккиндера 1904 г.

У Андрея Белого в его знаменитом «Петербурге» речь идет о российской столице в 1905 г., о насилии и ужасе, но уже доминируют «азиатские мотивы», в частности, всадники Чингисхана. Еще ярче этот мотив присутствует в блоковских «Скифах»:

> Мильоны — вас, нас — тьмы, и тьмы, и тьмы!
> Попробуйте, сразитесь с нами!
> Да, скифы мы! Да, азиаты мы
> С раскосыми и жадными очами!

Эпиграфом к этому стихотворению А. Блок взял слова Владимира Соловьева (1853–1900): «Панмонголизм! Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно». Русские — скифы, по А. Блоку, держали щит меж двух враждебных рас — монголов и Европы. Характерно, что предисловие к блоковским «Двенадцати» в Российско-Болгарском издательстве в Софии написал евразиец П. Сувчинский. В 1916–1918 гг. в России развилось движение, называемое «Скифы», связанное со школой символистов, возглавлявшееся критиком В. Ивановым-Разумником.

Не значит ли это, что первые импульсы евразийства шли из «серебряного века»? Кто мы, Европа или Азия? — было вопросом № 1. Ответ евразийцев: «Россия есть не только «Запад», но и «Восток», не только «Европа», но и «Азия», и даже вовсе не Европа,

а Евразия». П. Савицкий пояснял: «Франция есть часть Европы, Россия же составляет «континент в себе», в определенном смысле «равноправный» Европе»[289]. Россия — это государство-материк или государство-мир[290]. Это — многообразный, очень многоплановый тезис. Евразийцы здесь не новаторы; всякое новое — хорошо забытое старое. Еще А. Пушкин писал, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европой, что «история ее требует другой мысли, другой формулы, чем мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада». Неожиданно? Да. Резко? Да, крайне резко... Но неожиданно только, если мы никогда не задумывались над знакомыми с детства словами:

Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно.

Но, значит, Россия — не Европа, иначе зачем прорубать туда окно? Не только Пушкин в ту пору осознавал это; типично «евразийский» лозунг — «России надо овосточиться» выдвинул в 1836 г. при жизни поэта его знакомый, Владимир Титов — любомудр, литератор и дипломат. А через год Андрей Краевский в статье «Мысли о России» почти дословно предваряя евразийцев, писал, что страна наша — не Азия и не Европа, а нечто третье, срединное и самостоятельное. Поэтому существует мнение, что евразийство могло бы считать себя «не младше младших славянофилов, а старше старших»[291].

Все это прорывалось тогда и на официальном уровне. В письме-отчете В. Одоевского «Ее Императорскому Высочеству Марии Павловне», поданном в 1858 году, были такие слова: «Иностранец, самый правдивый, самый добросовестный, самый ученый — никогда не поймет Россию, ибо иностранцы все русские события меряют на свой масштаб, руководствуясь своей теорией, своими этнографическими наблюдениями, или меряют нас на масштаб азиатский, но наш масштаб ни западноевропейский, ни азиатский, но свой»[292].

Многократно выходил на эту тематику (Россия — Европа) Ф. М. Достоевский. В своих «Дневниках» он писал: «Итак, вот что значило перемолоться из русского в настоящего европейца, сделаться уже настоящим сыном цивилизации, — замечательный факт, полученный за двести лет опыта. Вывод тот, что русскому, ставшему действительным европейцем, нельзя не сделаться в то же время естественным врагом России. Того ли желали те, кто прорубал окно?.. Русскому ни за что нельзя обратиться в европейца, оставаясь хоть сколько-нибудь русским, а коли так, то

и Россия, стало быть, есть нечто совсем самостоятельное и особенное, на Европу совсем не похожее и само по себе серьезное»[293].

В другом месте Достоевский писал о Европе и России следующее: «Враждебность к нам Европы; отвращение ее от нас как от чего-то противного; отчасти даже некоторый суеверный страх ее перед нами и — «вечный известный давнишний приговор ее о нас: что мы вовсе не европейцы»[294]. Не случайно П. Савицкий прямо называл среди предшественников евразийства Гоголя и Достоевского, а у Н. Трубецкого — целый блок серьезных работ о творчестве Федора Михайловича[295].

Что важнее всего: Россия-Евразия — другой мир географически, исторически и духовно. Это — русский мир, центральный мир Старого материка, ибо Россия занимает на этом материке основное его пространство, его торс. Устраните этот центр, утверждал П. Савицкий, и все остальные его части и вся система материковых окраин (Европа, Передняя Азия, Иран, Индия, Китай, Япония) превращается как бы в «рассыпанную храмину»[296].

Увы, это предсказание не оправдалось, «материковые окраины» благополучно существуют и даже процветают (ЕС, Япония, ныне — Китай), и все-таки глобальная геополитическая ситуация после устранения России стала и неустойчивее, и непредсказуемее, и опаснее на порядок... В 1997 г., уезжая из России, где он проработал много лет, отнюдь не левый итальянский журналист Джульетте Кьезе писал: «Проблемы Запада будут столь же колоссальными, как и огромное пространство России, лишенное идей и планов и полное несметных богатств, оставленных на разграбление всех»[297].

Бблыдую прогностическую надежность обнаружили идеи П. Савицкого относительно внутренней структуры России-Евразии. «В географическом отношении, — писал он, — доуральская Русская равнина представляет больше сходства с равнинами и степями Зауралья, чем с европейским географическим миром, который характеризуется... двумя главными особенностями: 1) разнообразием поверхности, 2) чрезвычайно извилистым очертанием морских побережий... Это огромное единство скорее «азиатской», чем «европейской» конструкции»[298]. О том же говорил еще В. Ключевский, называвший Россию XVIII в. государством восточноазиатской конструкции с европейски украшенным фасадом.

П. Савицкий доказывал единство «Россия-Евразия» сложнее и подробнее. Он писал, что Русский мир «обладает предельно прозрачной географической структурой», что в этой структуре

«Урал вовсе не играет той определяющей и разделяющей роли, которую ему приписывала (и продолжает приписывать) географическая вампука». Тундра, по его мнению, как горизонтальная зона, залегает и к западу, и к востоку от Урала; лес простирается и по одну и по другую его сторону; подобным же образом обстоит дело относительно степи и пустыни. Гораздо существеннее, считал Савицкий, географический предел «междугорий», т. е. пространств между Черным и Балтийским морями, с одной стороны, Балтийским морем и побережьем Северной Норвегии с другой. Из этих чисто географических констатации ученый делает весьма нетривиальный геополитический вывод: «Природа евразийского мира минимально благоприятна для разного рода сепаратизмов, будь то политических, культурных или экономических»[299].

Здесь, казалось бы, легко поиронизировать над первым русским геополитиком, поскольку не оправдался и этот его прогноз — все виды сепаратизмов расцвели на этом «едином пространстве». Но, может быть, стоит задуматься над тем, что написано это было 70 лет назад, а не оправдывается пока лишь семь-восемь... Стоит так же иметь в виду, что провидцы говорили о тенденциях, а не о конъюнктуре.

Бесконечные равнины — это широта горизонта русского (а сейчас можно сказать — и российского) человека, размах геополитических комбинаций, постоянная миграция, непрерывная смена местообитаний. «Между неподвижной, оседлой Европой и кочевой бродячей степью, — писал С. Пушкарев, — является как своеобразный мир, полуоседлая, полубродячая Русь»[300]. Историк С. Рождественский образно называл бродячесть исконной характерной чертой сельского быта северо-восточной Руси, начиная с эпохи ее колонизации. Два встречных процесса шли в России: с одной стороны, от центра к периферии, шел поток русификации, а с другой, — от периферии к центру шел процесс «окраинизации» — возрождения национальных культур: татарской, узбекской, армянской»[301].

Согласно Савицкому, природа Евразии подсказывает необходимость, даже зовет к политическому, культурному и экономическому объединению: «Громадная система равнин, именуемая российско-евразийским миром, как бы самой природой созданный колоссальный ассимиляционный котел. Тогда как в Европе и Азии временами можно было жить только интересами своей колокольни»[302].

6.3 Выход на геополитику

Порожденная панмонгольским евразийским всеединством, Великая Русская Держава всецело была укоренена и этнографически, и географически, и политически в евразийском всеединстве.

В. Н. Ильин

Именно в пределах евразийских степей и пустынь сложился такой «унифицированный» во многих планах уклад, как быт кочевников на всем пространстве от Венгрии до Монголии и на всем протяжении истории от скифов до современных монголов. «Недаром, — писал П. Савицкий, — в просторах Евразии рождались такие великие политические объединительные попытки, как скифская (до Р. Х.), монгольская (XIII-XIV вв.) и др. Взаимное притяжение[303] тут сильнее, чем отталкивание, здесь легко просыпается «воля к общему делу»[304]. Евразия как бы «предсоздана» для образования единого государства.

Говоря об уникальном положении России, о «чертах грандиозности» ее (формула П. Савицкого), мы неизбежно выходим на другую его формулу «Континент-океан». И здесь начинаются загадки. Знал ли первый русский геополитик труды «классика геополитики», англичанина Хэл форда Мак-киндера? Он дал известную формулу непримиримого противостояния континентальных и морских держав («всадник—моряк», «монгол —викинг») и неминуемо агрессивный путь преодоления этого противостояния Западом: тот, кто правит Восточной Европой, господствует над хартлендом[305], тот, кто правит хартлендом, господствует над Мировым островом[306], тот, кто правит Мировым островом, господствует над миром.

Если рассуждать теоретически, П. Савицкий мог знать эту концепцию, поскольку первая программная статья англичанина — «Географическая ось истории» — вышла в 1904 г. Возможно, и даже более чем вероятно, что они сталкивались друг с другом: в 1919 г., когда П. Савицкий работал в правительстве Врангеля, Маккиндер был назначен представителем Британской империи на Юге России и пробыл на этом посту два года.

Целью англичан (и Запада в целом) было раздробление России на ряд мелких государств, т. е. нечто прямо противоположное и враждебное «идее-силе» евразийцев, идее сохранения единой и сильной России. Парадокс истории: два крупнейших ученых, исповедовавших совершенно противоположные взгляды, оказались формально в одном лагере врагов советской власти.

Существенно отметить, что евразийство впервые в русской науке широко обратилось к геополитике. «Возможности геополитического рассмотрения — это пока что непочатая целина в русской науке, — отмечалось в одном из первых евразийских изданий. — Евразийство уже сделало кое-что в этом отношении, но сделанного совершенно недостаточно... Сопоставление данных общей и экономической географии с данными истории хозяйственного быта, этнографии, археологии, лингвистики еще почти не начато, между тем оно может дать совершенно не известный доселе синтетический образ России—Евразии»[307].

Русская геополитика пошла своим особым путем. А. Дугин считает, что геополитическая доктрина Савицкого — это прямая антитеза взглядам таких ученых, как Мэхэн, Маккиндер, Спикмен, Видаль де ля Блаш[308] и других «таласократов». Причем в данном случае речь идет о законченном и развернутом изложении альтернативной доктрины, подробно разбирающей идеологические, экономические, культурные и этнические факторы... Согласно точке зрения Дугина, Савицкий и евразийцы являются выразителями «номоса Земли» в его актуальном состоянии, последовательными идеологами «теллурократии» и мыслителями Grossraum'a, альтернативного англосаксонскому Grossraum'у[309].

Поясню, чего же еще не сказал А. Дугин: формула «Континент—океан» у П. Савицкого отнюдь не агрессивна, вообще не предрекает какой-то неизбежной конфронтации между «всадником» и «моряком», а говорит лишь о долгосрочной стратегии развития России и прежде всего — экономической стратегии. Его концепция в статье «Континент-океан (Россия и мировой рынок)» (1921) вообще не направлена против кого-либо; она «за Россию» будущего. Замечу, что схема «атлантизм-континентализм» не срабатывала и в годы Второй мировой войны; тогда решающая схватка шла между двумя континентальными державами — СССР и Германией. Она не срабатывает и в наше время. С. Кургинян справедливо называет ее схоластической. «Фундаментализм — это «континент», а значит, союзник? — пишет он. — Но самая фундаменталистская страна Исламского мира — это Саудовская Аравия, являющаяся главной опорой США в регионе после Израиля, и как прикажете это совместить?»[310]

Савицкий писал: «Океан един, континент раздроблен, и поэтому единое мировое хозяйство неизбежно воспринимается как хозяйство океаническое»[311]. Если в Европе нет пунктов, отстоящих от океана более чем на 600 км, то в Азии есть места, удаленные на 2400 км от океана (Кульджа). К тому же, кроме

России, замерзаемость морей известна только в северо-восточной части Швеции и Канаде. По мнению Савицкого, Россия — наиболее «обездоленная» в смысле возможностей океанического обмена, но она не довольствуется диктуемой этой обездоленностью ролью «задворков мирового хозяйства». Значит, стараться быть как все? Никоим образом, — отвечал П. Савицкий. Не в обезьяньем копировании, но «в осознании континентальности и приспособлении к ней — экономическое будущее России»[312]. Это крайне актуально и сегодня при непрекращающихся призывах «быть как все» со стороны «гарвардских мальчиков». Евразийцы учили говорить не о «вхождении в мировое хозяйство» (Россия была в нем как минимум со времен Петра I), а об учете и использовании взаимотяготения ближних к нам стран Европы и Азии, о «принципе использования континентальных соседств»[313].

П. Савицкий внес в геополитику интереснейшее и емкое понятие «месторазвитие». Вопрос о том, каким является влияние (местных) географических условий на развитие общества — определяющим или второстепенным — имеет очень большую историю: ярлыки детерминизма навешивались на многих советских ученых, которые искали ответа.

В 50-х гг. на геофаке ЛГУ нас заставляли заучивать классическое определение из IV (философской) главы «Краткого курса истории ВКП(б)», смысл которого (кстати, абсолютно правильный) заключался в том, что географическая среда, конечно, влияет на развитие общества, но не определяет его. П.Савицкий еще в 20-хгг. мудро не ставил такого вопроса вообще. «Понятие «месторазвитие» останется в силе, — писал он, — будем ли мы считать, что географическая обстановка односторонне влияет на социально-историческую среду, или наоборот, что эта последняя односторонне создает внешнюю обстановку, или же мы будем признавать наличие процессов обоих родов. Мы считаем, что научной является только эта последняя концепция»[314].

Двусторонний процесс взаимовлияния создает каждый раз особое, неповторимое сочетание. Согласно Савицкому, каждый двор и каждая деревня есть «месторазвитие». Подобные меньшие «месторазвития» объединяются и сливаются в «месторазвития» большие. Таким образом, возникает многочленный ряд месторазвитий. Например, «Россия-Евразия», как большее «месторазвитие», не ограничивается степью, но сочетает степь с зоной лесной, пустынной, тундровой[315].

Еще конкретнее и «нагляднее» Савицкий объяснял этот термин в письме к Л.Н. от 1 января 1957 г. «Места с сочетанием географических разноодарений[316], — писал он, — это,

безусловно, наиболее стимулирующие месторазвития (не только в смысле этногенеза, но и во многих других отношениях); если хотите, это месторазвитие в первом и прямом значении этого слова. И все-таки качества «месторазвития» нельзя отрицать и за другими местами, хотя бы и не в такой степени отмеченными «сочетанием разноодарений». Мне кажется, что в определенном смысле была и есть месторазвитием и тайга — «от Онежского озера до Охотского моря...».

Хочу сказать еще два слова о значении «таежного моря»... для развития русского народа. Уже до Ермака русские были известны как большой и храбрый народ. Но только Ермак и его продолжатели (в 50 лет дошедшие до Тихого океана) сделали русский народ народом, способным творчески переносить любой холод (а кстати, и жару), какой только бывает на нашей планете. Это была огромная и судьбоносная перемена.

В общем, можно сказать, что движение русского народа по тайге «от Онежского озера до Охотского моря» оказало (и оказывает) на него огромное закаляющее влияние... Русский народ развивался (и развивается) здесь в новом направлении. Также и в этом смысле тайга есть подлинное месторазвитие — хотя, конечно, как и все прочие месторазвития, со своими особенностями».

П. Савицкий умел выражать свои идеи не только сухими словами, но и в поэтической форме. Так в стихотворении «Пурга» он писал:

Вместилища народной славы
Необозримые края!
Суровым ветром, сердцу милым
Россия повита моя.

Тот ветр ковал ее закалы,
Чрез изотермы шел Ермак.
И русские одолевали
И ярый зной, и хладный мрак.

Казахские безбрежны степи!
Бескрайна хмурая тайга!
Хвала тебе, крепь русской крепи,
В просторах вставшая пурга!

Высказывания Н. Трубецкого, казалось бы, далекого от географии, как бы предваряют родившееся через полвека гумилевское определение «кормящий ландшафт», близкое по

своему смыслу к понятию «месторазвитие». «Для личностей многочеловеческих (народных и многонародных), — писал Трубецкой, — эта связь с физическим окружением (с природой территории) настолько сильна, что приходится говорить прямо о неотделимости данной многочеловеческой личности от ее физического окружения»[317]. Изложено сложнее, чем у геополитика № 1, но идея та же, и она понятна.

Критики в эмиграции так «секли» евразийство за геополитические подходы, как будто прошли нашу «философскую школу» 30–40-х гг., когда слово «геополитика» было синонимом «фашизма»! А. Кизеветтер называл построения евразийцев «геополитической мистикой», а П. Бицилли (сам — бывший евразиец) — «географическим фатализмом» или «одержимостью географией»[318]. Между тем классическая русская наука не была чужда геополитических подходов. Такой путь просматривался в работах А. П. Щапова, Л. И. Мечникова и, конечно, Н. Я. Данилевского[319]. Увы, после «взрыва» 20-х гг. (и то — за рубежами России) наступил период длительного анабиоза русской геополитики. В ту пору лишь П. Савицкий, энергично и творчески развивавший геополитические идеи, сумел заразить ими своих единомышленников, отнюдь не страдавших «географической одержимостью».

Геополитический анализ истории России осуществлен Г. Вернадским в его «Начертании русской истории». Это блестящий, оригинальнейший труд, его «прощально-евразийская» книга, приложение к которой, названное «Геополитические заметки по русской истории», написал П. Савицкий[320].

Судьбы русского народа прослеживаются там на широком фоне истории Евразии, в чем в первую очередь и заключаются новаторские тенденции книги. Изложение начинается не с Рюрика, не со скифов и сарматов; особые параграфы посвящены готам и гуннам, а затем роли кочевых народов в истории. По мнению Вернадского, «вся история Евразии есть последовательный ряд попыток создания единого всеевразийского государства»[321]. Приведем лишь пару схем, которых нет ни в одной из других его работ и которые четко демонстрируют геополитический подход, пронизывающий всю эту книгу.

«Лес и степь» — традиционная вражда, борьба; но и сотрудничество в истории России, свои «викинги» и свои «кочевники». «История русского народа, — пишет Г. Вернадский, — есть история постепенного освоения Евразии русским народом... Это не империализм и не следствие мелкого политического честолюбия отдельных русских государственных

деятелей[322]. Это — неустранимая внутренняя логика «месторазвития»[323].

Вернадский дает две очень необычные и в то же время четкие схемы, показывающие «ритмичность государственно-образующего процесса».

Схема начальных фаз развития Евразийского государства
Лес
Скифское государство
Сарматы
Готы
Лес
Гуннская империя
Степь
Лес
Империя Святослава
Степь
Киевское княжество
Печенеги
Распадение русских земель
Половцы
Схема последующих фаз развития Евразийского государства
Распадение русских земель
Половцы
Хорезм
Кара-Кераиты
Монголы
Китай
Распадение Золотой Орды
Литва
Русь
Казанское царство
Киргизы
Узбеки
Ойроты-Монголы
Московское царство
Крымское царство
Российская империя. СССР

Периодическая ритмичность государствообразуюшего процесса

I. а) Единая государственность (Скифская держава) б) Система государств (Сарматы, Готы)

II. а) Единая государственность (Гуннская империя) б) Система государств (Авары, Хазары, Крымские болгары, Русь,

Печенеги, Половцы)

III. а) Единая государственность (Монгольская империя)

б) Система государств (первая ступень): распадение Монгольской державы (Золотая Орда, Джагатай, Персия, Китай)

в) Система государств (вторая ступень): распадение Монгольской державы (Литва, Русь, Казань, Киргизы, Узбеки, Ойроты-Монголы)

IV. а) Единая государственность (Российская империя — Союз ССР)[324].

Мог ли предвидеть Георгий Владимирович Беловежский сговор 1991 года? Нет, не мог и не предвидел. Он заключил свою схему такими словами: «С точки зрения прямолинейности схемы, у многих читателей может возникнуть соблазнительная мысль — не должен ли вслед за периодом государственного единства Евразии вновь последовать период распада государственности. Здесь, однако, нужно вспомнить то, что выше сказано было о создании русским народом целостного месторазвития. Предпосылки исторического развития изменились, т. к. нынче Евразия представляет собой такое геополитическое хозяйственное единство, какого ранее она не имела. Поэтому теперь налицо такие условия для всеевразийского государственного единства, каких раньше быть не могло» (выделено мною. — С. Л.)[325].

Идет 1927 год. Г. Вернадский переезжает из относительного «ближнего зарубежья» — Праги в совсем «дальнее» — США; его отец остается в России и пока не репрессирован, хотя в 20-х гг. был открытым врагом власти ненавистных ему большевиков. Какой же объективностью и прозорливостью надо было обладать, чтобы констатировать — «каких раньше быть не могло»!

В конце этого параграфа приведу весьма интересную периодизацию Н. Трубецкого. Она касается борьбы «леса» и «степи» в истории Руси-России.

На заре русской истории (до конца X в.) — попытки объединения степи и леса для использования выгод обмена их природными богатствами. Попытки то из лесного севера, то из степного юга (государственные образования скифов, готтское, гуннское), опыт Святослава Игоревича, год его смерти (972 г.) — конец первого периода.

Конец X — середина XIII в. — связь между лесом и степью разорвана, идет отчаянная борьба между русскими князьями и печенегами (затем половцами). Русский народ сбивается в лесу, удерживается в пристепье, но не в самой степи. Этот второй период может быть назван борьбой между лесом и степью. Хронологические рамки — условно от 972 г. до 1238 г. (Батыево нашествие).

Монгольское завоевание кладет предел раздорам степи и леса, оно несет с собой победу степи над лесом. Русские княжества освобождаются от борьбы со степью. Подчинением Великому монгольскому хану (затем и «Царю Ордынскому», т. е. хану Золотой Орды) достигается формальное объединение русских княжеств; когда падет власть Орды, Москва оказывается в силах принять эту власть на свои плечи; Орда распадается (выделяет царства Казанское и Крымское). В эту же эпоху происходит отделение западной Руси от восточной, западная Русь попадает в состав Литвы и Польши.

Хронологические рамки третьего периода — от 1238 г. до 1452 (1452 г. — это год основания зависимого от Москвы Касимовского Татарского царства. Москва становилась отныне собирательным центром в том мире, который возник в результате распадения золотоордынской державы, фактически Иван III является уже с самого начала независимым государем («царем»).

Четвертый период (условно 1452–1696 гг.). Наступление русского севера на монголо-турецкий юг и восток; обозначается решительная победа леса над степью; происходит завоевание Казани, Астрахани, Сибири и, после многовекового перерыва, овладение вновь устьями Дона (взятие Азова Петром Великим, 1696 г.).

Пятый период (условно 1696–1917 гг.). Распространение Российского государства почти до естественных пределов Евразии; объединение леса и степи в отношении хозяйственно-колонизационном. Попытка овладения заокеанской территорией в Северной Америке (1732–1867). Весь императорский период: мощное развитие внешних форм культуры при глубоком и тяжелом потрясении духа[326].

6.4. Магистральные пути евразийства

> *1. Россия представляет собой особый мир. Судьбы этого мира в основном и важнейшем протекают отдельно от судьбы стран к западу от нее (Европа), а также к югу и востоку от...нее (Азия).*
>
> *2. Особый мир этот должно называть Евразией... В смысле территориальном нынешний СССР охватывает основное ядро этого мира.*

Принципиальную линию евразийцев, современно выражаясь, можно назвать цивилизационным подходом. Но это был парадоксальный, в ту пору шокировавший многих эмигрантов подход — полная переоценка ценностей. Сделано это было в 1920 г. (еще до манифеста евразийцев) в брошюре Н. Трубецкого «Европа и человечество»; многие именно от нее ведут отсчет всему евразийству. Нечего и пытаться как-то изложить страстный и блестящий текст, над которым автор работал долго и в муках с 1909 г.[327]. Можно сделать это лишь сугубо тезисно, резко обедняя логику ученого. Главные его тезисы шокировали людей, привыкших к стереотипам конца XIX — начала XX в.

Первый тезис: между шовинизмом и космополитизмом нет коренного различия. Космополит отрицает различия между национальностями, а европейские космополиты всегда понимали под «цивилизацией» ту культуру, которую выработали романско-германские народы, а под «цивилизованными» — тех же романцев и германцев. Шовинист считает, что лучшим народом в мире является именно его народ. Все остальные должны подчиняться ему, приняв его веру, язык и культуру, слиться с ним. Евразийцы не хотели «сливаться». П. Савицкий позже выразил неприятие евразийства в стихах, написанных в 1949 году в мордовском лагере:

> Профессора и беллетристы
> С усмешкой слушали меня.
> Для них Нью-Йорк и Лондон — пристань,
> И лишь на Западе заря[328].

Не хотели «сливаться» и лучшие умы русской интеллигенции, оставшиеся в России. Андрей Белый называл западную цивилизацию «гигиенической цивилизацией зубочисток», противопоставляя ей православную степную культуру «кочевников-номадов» — «крещеных китайцев». Итак, по мнению Трубецкого, существует полный параллелизм между шовинизмом и космополитизмом; разница состоит лишь в том, что шовинист берет более тесную этническую группу, чем космополит, разница только в степени, а не в принципе[329].

Второй тезис: слова «человечество», «общечеловеческая цивилизация» и прочие являются выражениями крайне не точными. Европейская культура не есть культура человечества[330]. Это есть продукт истории определенной этнической группы. Позже была вынесена на поверхность идея сверхнациональной

мировой цивилизации, идея, свойственная греко-римскому миру.

Под «всем миром» в Риме понимали лишь Orbis terrarum, т. е. народы, населяющие бассейн Средиземного моря[331]. Это породило основание европейского «космополитизма», который правильнее было бы назвать откровенно обще-германо-романским шовинизмом — эгоцентризмом. Согласно Трубецкому, человек с ярко выраженной эгоцентрической психологией бессознательно считает себя центром вселенной, венцом создания: «Эгоцентрическая психология проникает в миросозерцание весьма многих людей»[332].

Поначалу даже П. Савицкому противопоставление «Европа — человечество» показалось спорным. Неужели автор (Н. Трубецкой), спрашивал он, признает созданную им идеологию выше и совершеннее всякой иной?[333] Между тем история подтвердила концепцию князя-евразийца. Разве не повтором ее «на другом витке истории», как принято сейчас выражаться, стал тезис конца XX в., принадлежащий С. Хантингтону, о противостоянии «Запад — не Запад»? Этот тезис не просто декларируется, звуча весьма весомо, поскольку сформулирован «человеком с Запада», но и конкретизуется уже на «материале» й в терминологии конца XX в. Хантингтон указывает, что на поверхностном уровне западная культура, по большей части, действительно распространяется по всему миру; но на базовом уровне она фундаментально отлична от культур остального мира. Западные идеи либерализма, конституционализма, прав человека, равенства, свободы, господства закона, демократии, свободного рынка, отделенйеркви от государства часто имеют малый резонанс в исламской, конфуцианской, японской, индусской, буддистской или православной культуре. Усилия Запада по распространению таких идей вызывают обратную реакцию, направленную против «империалистических прав человека» и утверждение местной культуры и ценностей.

Третий тезис: согласно Трубецкому, ни один нормальный народ в мире, особенно народ, организованный в государство, не может добровольно допустить уничтожение своей национальной физиономии во имя ассимиляции, хотя бы с более совершенным народом[334]. Здесь мы выходим на нечто сверхактуальное, но непонятное для всех, кроме тех, кто хотел этого добиться в 90-х гг. Подобный поворот событий Н. Трубецкой по-своему предвидел. Из 20-х гг. к нам доносится его предостережение: «... Европейский космополитизм, который, как мы видели, есть не что иное, как общеромано-германский шовинизм, распространяется среди неромано-германских народов с большой быстротой и с весьма незначительными затруднениями. Среди славян, арабов,

турок, индусов, китайцев и японцев таких космополитов уже очень много[335]. Многие из них даже гораздо ортодоксальнее, чем их европейские собратья в отвержении национальных особенностей, в презрении ко всякой неромано-германской культуре».

Эти тезисы в 1993 г. почти повторяет С. Хантингтон. Для П. Савицкого была памятнее стенограмма речи К. Радека в Москве, который заявил следующее: «Когда мы приближаемся мысленно к таким странам, как Франция, мы всегда должны помнить то, что ощущал Герцен, когда первый раз был в Кёльне. Он сказал, что каждый камень этого древнего города имеет большую историю культуры, чем все здания царской России 50-х годов. И, товарищи французские писатели, вы правы, когда указываете нам на это прошлое, которое создало у вас больше индивидуальностей, чем их создала царская Россия». Савицкий комментировал этот «холуяж» (слово-находка В. Розова) так: «Если русские «камни» (и вообще камни Евразии) кажутся вам менее красноречивыми, чем «камни» Европы, то лишь потому, что вы не умеете их слушать. Герцен в наивном невежестве сболтнул зеленую глупость. А вы раболепно ее повторяете»[336].

Даже такой противник евразийства, как П. Б. Струве, разделявший эту позицию, заявлял, что мы слишком безоглядно критиковали и порочили перед иностранцами свою страну, недостаточно бережно относились к ее достоинству, к ее историческому прошлому. «Россию погубила, — писал он, — безнациональность интеллигенции, единственный в мировой истории случай — забвение национальной идеи мозгом нации»[337]. Случай не единственный в истории России — можно теперь добавить.

Бывший ученик П. Струве — П. Савицкий позже, когда, казалось бы, жесткость отношений эмиграции к СССР еще усилилась, писал: «Русская культура в 1932 г. не слабее, но сильнее, чем она была когда бы то ни было»[338]. Удивительное по объективности и неистребимой любви к Родине в любой ситуации признание! Через год он будет восхищаться созданием Урало-Кузнецкого комбината и Турксиба, выдвигать идею транзитного европейско-индийского движения по железной дороге, автотрассам, воздушным путям, как будто он соучастник соцстроительства той поры!

Как же надо жить России, да и всем другим, в том числе претендующим на позицию «в центре Вселенной»? В «Исходе» Н. Трубецкой отвечал: «Долг всякого неромано-германского народа состоит в том, чтобы, во-первых, преодолеть всякий собственный эгоцентризм, а во-вторых, оградить себя от обмана

«общечеловеческой цивилизации». В его статье «Вавилонская башня и смешение языков» сказано гораздо резче; там «общечеловеческая культура» связывается с духовно-нравственным одичанием[339].

Упомянутый Трубецким «долг», по его мнению, можно реализовать двумя путями, сформулированными в древних афоризмах: «Познай самого себя» и «Будь самим собой»[340]. Сократ сформулировал эту мысль, первым понял, что самопознание есть проблема и этики, и логикичто оно есть столько же дело правильного мышления, сколько и дело нравственной жизни[341].)

Четвертый тезис: Трубецкой утверждал, что европейцы приняли за венец эволюции человечества самих себя, свою культуру, и никому в голову не пришло, что принятие романо-германской культуры за венец эволюции чисто условно. Так получилась «лестница культур», на вершине — романо-германские народы, далее — «культурные народы древности», культурные народы Азии и «старые культуры Америки» (Мексика, Перу), ниже — «малокультурные народы» и уж совсем внизу — некультурные «дикари».

Каковы были аргументы, приводимые в пользу подобных утверждений? — «Европейцы побеждают дикарей», но ведь это — поклонение грубой силе. К тому же кочевники (якобы «менее культурные») часто побеждали оседлые народы. Все «великие культуры древности» были разбиты именно «варварами».

Еще аргументы? — «Дикари» неспособны воспринять некоторые европейские понятия, значит, они — «низшая раса». Но и европейцы мало способны проникнуться понятиями культуры дикарей. Н. Трубецкой приводит следующий пример: Гоген, пытавшийся стать таитянином, поплатился за это помешательством и алкоголизмом[342]. Все это, по мнению Н. Трубецкого, квазинаучные аргументы. «Европейская культура, — пишет он, — во многих отношениях сложнее культуры дикаря, но большая или меньшая сложность ничего не говорит о степени совершенства культуры»[343].

Итак, никакой «лестницы культур» нет. Согласно Трубецкому, вместо лестницы мы имеем горизонтальную плоскость. Вместо принципа градации народов и культур по степеням совершенства — новый принцип равноценности и качественной несоизмерности всех культур и народов земного шара. «Момент оценки, — полагал Трубецкой, — должен быть навсегда изгнан из этнологии и истории культуры, как и вообще из всех эволюционных наук, ибо оценка всегда основана на эгоцентризме. Нет высших и низших. Есть только похожие и непохожие»[344]. Эта же мысль формулируется Н. Трубецким еще проще в письме Р. Якобсону от

7 марта 1921 г.: «Понять, что ни «я», никто другой не есть пуп земли, что все народы и культуры равноценны, что высших и низших нет, — вот все, что требует моя книга от читателя»[345].

Важнейшей линией евразийства было его отношение к православию. «Для всех нас Церковь и православие являются главными устоями миросозерцания», — писал Савицкий Н. Трубецкому[346]. Вне православия все — или язычество, или ересь, или раскол. Конечно, это не означало, что православие отворачивается от иноверцев, что было бы нелепо при линии на укрепление внутренних связей России, учитывая ее поликонфессиональность. Православие хочет, чтобы «весь мир сам из себя стал православным».

К ереси, согласно мнению евразийцев, относится прежде всего латинство. Уже в 1923 г. один из первых евразийских сборников — «Россия и Латинство» — был полностью посвящен этому вопросу. Его статьи направлены жестко против внешней деятельности католической церкви (прозелитизм), против Унии и идеи соединения церквей. Выступления против католицизма вызвали неприятие даже дяди Н. С. Трубецкого, князя Г. Н. Трубецкого, который как-то заявил: «... Ведь прочли же мы в одном русском сборнике (евразийском. — С. Л.) аналогию между католицизмом и... большевизмом! Что подобные суждения могут серьезно высказываться, это свидетельствует только о крайней впечатлительности и не меньшем недостатке знакомства с предметом, о котором высказывается подобное суждение»[347].

Евразийцы утверждали, что «между миром восточно-православным и миром западно-католическим существовали глубокие силы отталкивания, и это отталкивание древнерусского человека от «поганой латини» едва ли не было сильнее отталкивания его от «поганых басурман»[348]. При этом они отмечали, что иностранные писатели говорят единогласно: в Москве ни к каким иностранцам не относились с таким отвращением и недоверием, как к католикам.

На чтениях «Мир Гумилева», происходивших в 1994 г. в Москве, друг и коллега Л.Н. — А. М. Панченко — разъяснил, что означает «бытовое исповедничество», один из терминов евразийцев, для ушей многих наших современников непонятный. Оратор ссылался на Трубецкого, говоря, что под этим термином евразийцы разумели весь уклад жизни, в котором вера и быт составляли одно, в котором и государственные идеологии, и материальная культура, и искусство, и религия были нераздельными частями единой системы, сознательно не сформулированной, но тем не менее пребывающей в подсознании каждого и определяющей собой жизнь каждого и бытие самого

национального целого. От себя академик А. М. Панченко добавил следующую мысль по этому поводу: «Западная цивилизация репрессивна. Ее смысл — «потребление» окружающего... мира. Российская (или евразийская, что одно и то же) традиция иная. Жизнедеятельность человека — не воздействие на мир, а взаимодействие с ним. Это очевидно из фольклора, это очевидно из ранней русской письменности... В послереволюционной России евразийцам хотелось видеть своего рода «обратный ход», возвращение к органическому «бытовому исповедничеству», отказ от репрессивной цивилизации»[349].

Так, коротко говоря, выглядят основные принципиальные положения евразийства. Правда, Г. Флоровский заметил по их поводу, что это была «правда вопросов, но не правда ответов, — правда проблем, а не решений»[350]. Но кто вообще в ту смутную пору мог бы дать конструктивные ответы, кто мог указать, как жить дальше России, да и чего стоили бы эти ответы из-за рубежа? Однако кое-какие ответы намечались даже в евразийской «правде вопросов», но в основном — негативные: как не надо жить.

А позитивные? Были и они в ответах о будущем строе, о национальной культуре, об экономической стратегии России (в частности, в «Континенте-океане» П. Савицкого). Он сам признавал, что одного отрицания недостаточно для победы. «В обстановке, в которую мы попали, — писал Савицкий, — может быть плодотворным только то историческое действие, которое подхватят и поддержат крылья огромной исторической идеи. Эта идея должна быть огромной, всесторонней и положительной, в размахе и упоре соравной и превосходящей историческую идею коммунизма. Если будет идея, будут и личности»[351].

По замечанию В. Ильина, типичную особенность евразийского миросозерцания, равно как и евразийского образа общественного бытия, можно назвать идеократией, т. е. господством идейной установки[352]. У великой страны должна быть «идея-сила, идея-правительница». Евразийцы находили ее прежде всего в соборности, в православии (идея православия и есть «идея-правительница»), в сильном и справедливом государстве — «государстве правды».

«Государство в таком большом многонациональном культурном целом, как Евразия-Россия, — писал Лев Карсавин, — может только быть сильным или совсем не быть». И далее он — истинный демократ — (к ужасу современных «демократов») добавлял: что в России «нет объективных условий для появления многопартийности»[353]. Подобных же взглядов по данной проблеме придерживался и П. Савицкий. В письме к П. Б. Струве

он замечал: «...Вслед за падением большевизма вал народной анархии захватит Россию. В обстановке этой анархии выползут, как тады, самостийники»[354].

Еще в 1915 г. П. Савицкий дал свою формулу империи, согласно которой это — особый тип макрогосударства, которое расширяет свою национальную культуру, свою экономику и политику дальше своих геоэтнических границ. История знала две модели империй — Римскую и Британскую. Первая формировалась как колониально-материковая или «континентально-империалистическая» система, скрепленная преимущественно политическими отношениями. Вторая представляла собой «колониально-заморскую» державу, базирующуюся на экономических отношениях.

Российская империя, по П. Савицкому, представляет из себя разновидность «здорового империализма», способного не только оплодотворить культуры «империализируемых наций», но и впитывать их в себя, создавать сверхнациональную культуру». Свидетельством положительного итога такого исторического процесса он считал экономическую равносильность и равноправность народов Российской империи[355].

Конструктивной была (что бы ни произошло в начале 90-хгг.) и формула, данная Н.Трубецким: «Национальным субстратом того государства, которое называется СССР, может быть только вся совокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемое как особая многонародная нация и в качестве таковой обладающая своим национализмом[356]. Эту нацию мы называем — евразийской, ее территорию — Евразией, ее национализм — евразийским»[357].

Н. Трубецкой четко формулировал идеи евразийцев и относительно идеального государственного строя. Он считал, что в народных массах престиж демократического строя все более подрывается, а местами уже подорван не меньше, чем престиж монархии. Поэтому, ни аристократический строй, ни строй демократический (с его разновидностью плутократически-демократическим строем) не являются вполне живыми. «Мы живем, — писал Н. Трубецкой, — в эпоху создания нового типа отбора правящего слоя, а следовательно, и в эпоху создания нового типа государства с совершенно новым политическим, экономическим, социальным, культурным и бытовым укладом»[358].

Князь-евразиец остроумно характеризует правящий слой при демократическом строе, говоря, что он состоит из людей, профессия которых — не столько в улавливании и отражении фактического общественного мнения разных групп граждан,

сколько в том, чтобы внушать этим группам граждан разные мысли и желания под видом мнения самих этих гражда[359].

Кто будет у руля этого сильного государства? Евразийцы ответили крайне неожиданной формулой: нужен отбор правящего слоя, отбор, основанный на подданстве идее. В пояснение термина «правящий (ведущий) отбор», в одном из изданий евразийцев говорилось, что к неудачным примерам создания такового в России относится опричнина Ивана Грозного, к удачным — формирование петровской гвардии, служилого дворянства. Европейская культура породила рыцарство, католическая церковь — иезуитов, Китай — ученых, Япония — самураев[360].

Права этого правящего слоя закрепляются в основном законе и обеспечивают преемственность и постоянство государственного строя. На основе идеократии формируется состав евразийской партии. Это партия особого типа, правящая партия, самовластная, исключающая существование других таких партий. Это «государственно-идеологический союз»[361].

«На смену безнациональной и интернациональной партии, — писал В. Ильин, — должна прийти властная и властвующая национальная организация, элементы чего уже есть в некоторой степени как в российском советизме, так и в коммунистической партии»[362].

При этом он подчеркивал, что, несмотря на сокрушительные противоречия, к которым пришел парламентаризм и коммунизм на Западе, там они все же у себя дома и представляют некий вид лже-органики. В России-Евразии они — просто ни с чем несообразная нелепость[363]. Не все здесь представляется логичным, но интересно и заставляет задуматься.

Читать евразийцев в оригинале (а не в многочисленных сейчас изложениях их взглядов) всегда интересно и поучительно. Идет вроде бы спокойный, сугубо теоретический текст, и вдруг какое-то озарение, пророческий взгляд в будущее.

«Главный специалист» евразийцев по правовым и экономическим вопросам Н. Алексеев считал, что будущее (евразийское) правительство возьмет «на себя великую русскую миссию — миссию социальной справедливости и правды во всем сознании ответственности этой задачи и трудности ее осуществления». Во имя этого идеала оно объявит себя правительством тех народов, которые признали эти идеалы и объединились в союз для защиты угнетенных и эксплуатируемых. Таким образом сохранится основа федерации народов России — их общее стремление к социальной правде»[364].

Алексеев отбрасывает известный лозунг «самоопределение

национальностей», поскольку он, как это показал опыт, менее всего несет с собой мир и покой, напротив, разъединяет и таит в себе глубокую и опасную стихию разложения и вражды. «Увлеченные этим лозунгом народы, — пишет Н. Алексеев, — как в каком-то бреду, уничтожают истинные устои своего экономического существования, ставят себя в явно невыгодное положение и не считаются со своими реальными интересами»[365]. Видимо, позиция евразийцев по вопросу федерализма была реальнее нашей.

Не менее удивительна их экономическая позиция. Евразийцы выступали за регулируемую экономику, а П. Савицкий писал о «планово-государственно-частной системе хозяйства». На «исходе» евразийства (в 1928 г.) он говорил об установке на «государственно-частную систему хозяйства, которая наметилась в развитии евразийства»[366].

Евразийцы задумывались и о месте будущей России в мире. Савицкий указывал на то, что мысль о мировом признании России восходит к XV в.; принимая различные формы, она сохранялась и в последующие века. В XIX в. эта мысль получила новое развитие в русской философской и исторической литературе. Царская Москва и императорская Россия, подходя к осуществлению русского мирового призвания, проводили его методами и в формах национального государства. Даже в коммунизме, помимо воли вождей и наперекор их решениям, присутствует, хотя в искаженном и обезображенном виде, мысль о русском мировом призвании. Примечательно, по мнению Савицкого, то, что при коммунизме она выступила «в размахах, дотоле неслыханных». Он не сомневался, что коммунизм проходит и пройдет, но возрожденная национальная Россия должна в полной мере сохранить то мировое чувство, которое в извращенной форме запечатлено в коммунизме. «Россия предопределена к действию вселенскому», — лейтмотив рассуждений на эту тему главного геополитика евразийцев[367].

На Международном съезде историков в 1933 г. П. Савицкий высказал мысль, актуальную для всей «послеперестроечной» России: «Связи с Азией не менее существенны в русской истории, чем связи с Европой». Поэтому главный евразиец считал необходимым пересмотр русских внешних сношений в духе большего «выпячивания роли Востока»[368].

Подобную мысль высказывал и наименее политизированный из «ведущей тройки» (боявшийся политики, по его собственному признанию) — Н. Трубецкой: «Отныне интересы России неразрывно связаны с интересами Турции, Персии, Афганистана, Индии, быть может, Китая и других стран Азии. «Азиатская

ориентация» становится единственно возможной для настоящего русского националиста»[369]. Сколько лет после 1991-го потребовалось на осознание (частичное, отнюдь не кардинальное и глубокое) этой идеи? Не читали новоявленные политики и дипломаты России того, что было под рукой — даже уже и не в спецхранах.

Сейчас, конечно, можно поиронизировать и над этой «правдой ответов». Ясное дело, она была лишь голубой мечтой лучшей части русской эмиграции об идеале — «А что будет, если «вдруг», сама собой падет, посыплется эта ненавистная власть?», мечтой, далекой от суровых реалий России 20–30-х гг.

Эту условность, эту страшную удаленность от реальности почувствовали вскоре (особенно в конце 30-х гг.) все евразийцы, и раньше других — Н.Трубецкой, живший последние годы в Вене, где он работал профессором славистики в университете. После «аншлюса» Австрии Трубецкой подвергся притеснениям со стороны гестапо. В его квартире проводились неоднократные и весьма грубые обыски; значительная часть его рукописей была изъята и впоследствии уничтожена[370]. Это повлекло за собой инфаркт и смерть, последовавшую 25 июля 1938 г.; ему было всего 48 лет.

Вдова ученого, В. П. Трубецкая, вспоминала: «Новый режим принес ему большие личные заботы: он никогда не скрывал своего антинационал-социалистического направления мыслей и даже написал скаты» о расовом вопросе, где подверг расовую теорию уничтожающей критике. В случае выздоровления эмиграция представлялась ему единственным выходом»[371].

6.5. Кризис евразийства и судьба П. Савицкого

> *Белые знают теперь, что в нынешней русской армии, какой белые считают красную армию, много крепких русских людей, глубоко любящих свою родину. Этим красным со своей стороны надо понять, что среди белых немало людей, близких им по духу.*
>
> *А. Антипов*

Тяжелой оказалась и судьба П. Савицкого. Судьба лидера всегда связана с судьбой движения, а оно угасало. И все-таки главная опасность была не в этом. Последний из евразийских

сборников вышел в 1931 г. «Евразийская хроника» продержалась дольше — до 1937 г., но с 1931 г. ее вышло всего два номера. Это была уже «жизнь после смерти». Из движения ушел Г. В. Флоровский — один из его создателей, философ, историк церкви, богослов. Афера «Трест» скомпрометировала движение, но корни кризиса были куда глубже. Причины неудач были идейного порядка, а внедрение большевистских агентов лишь ускорило этот процесс[372].

В 1928 г. в Париже начала выходить еженедельная газета «Евразия», но это было лишь внешним успехом движения, на самом же деле — детонатором распада. Газета печаталась в Кламаре (Франция), где находилась типография и книжный склад евразийцев. Там сформировалось леворадикальное крыло евразийцев, — «кламарский уклон» — которое возглавили Д. Святополк-Мирский и П. Сувчинский. Практическая сторона этого «уклона» сводилась к сближению с представителями Советской России — дипломатами, учеными, писателями[373].

П. Савицкий отказался признать эту группу даже в виде «уклона» или «раскола»; он называл ее «салонный коммунизм». В своем пражском издании Савицкий писал, что газета «Евразия» не есть евразийский орган, что апология марксизма, проводимая газетой, делает религиозное начало «реликтом» или остатком, что газете чуждо представление об евразийстве, как о цельной и в основных чертах последовательной системе. Во многих случаях газета «Евразия», по словам Савицкого, могла бы по праву называться «Анти-Евразией»[374].

Это стало расколом движения, но раскол предстоял и самой «кламарской группе»: П. Сувчинский стал троцкистом, Д. Святополк-Мирский вступил в компартию Англии и затем уехал в Советскую Россию[375], а С. Эфрон поступил на службу в советскую разведку[376]. Л. Карсавин отошел от дел. Тем не менее «большевизанство» некоторых евразийцев, как считал Л. Гумилев, нельзя объяснить какими-либо личными выгодами или подкупом ГПУ[377].

В 1930 г. в Кламаре был подписан протокол о ликвидации организации. Однако это не стало окончательным поражением евразийства, тем более его идейным крахом, а лишь началом анабиоза, о котором говорил В. Ильин.

События в Советским Союзе, казалось бы, лишали евразийство всяких шансов на будущее; строй укреплялся, а не разваливался, экономические успехи страны были очевидны, а репрессии 30-х гг. неоднозначно приняты даже элитой западной интеллигенции. Все это подтверждало некоторые ключевые и конструктивные положения евразийства: сильная

государственность, однопартийность (правда, отнюдь не та «идеократия», о которой они мечтали, но диктатура партии), полная доминация государственной собственности и планового начала и, наконец, самое важное — медленный, но неуклонный возврат к традиционным ценностям русской державности, возвращение России на естественный путь развития, ее геополитическая линия. Н. Трубецкой еще в 1925 г. писал: «Несмотря на всю искусственность доктрин коммунизма, большевистскому правительству тем не менее силою вещей приходится осуществлять в целом ряде вопросов ту политику, которая является для России естественной»[378].

Реноме лидера евразийства — Петра Савицкого давно переросло рамки «внутриэмигрантского», оно становилось европейским. В 1938–39 гг. по заказу парижского издателя И. И. Фондаминского он начал работать над книгой «Основы геополитики России». Увы, закончить ее не удалось, началась война, затронувшая Чехословакию раньше, чем другие страны.

О жизни в немецкой оккупации от самого Савицкого известно крайне немного. «Немцы меня репрессировали, — вспоминал ученый, — но я остался тогда жив. Меня спасло то, что я «фон Завицки» с двумя печатными генеалогиями на триста лет в пражских библиотеках и еще то, что повсюду мои ученики по Немецкому университету в Праге. А даже немцы не любят расстреливать или вешать своих учителей»[379]. Необходимо заметить, что в Немецком университете до оккупации он так подавал материал, так заинтересовывал Россией, что она начинала казаться совершенно другой страной, вопреки всему, что о ней обычно говорили[380].

Пришли немцы, и наступил период неопределенности. У Савицкого в университете были по-прежнему все советские издания, включая газеты: «работал» пакт Молотова-Риббентропа. Но когда началась война с Советским Союзом, декан Геземанн вызвал Савицкого и сказал: «Пожалуйста, подайте рапорт, что Вы просите отчислить Вас от преподавания по личным мотивам». Чешские «протекторатские» власти пытались его выручить, назначив директором Русской гимназии. И это спасало; на его иждивении были жена, два сына, мать и отец. Спасало, но временно. Не мог Савицкий отказаться от своих убеждений, что стоило ему директорского поста.

Сотрудничавший с немцами барон А. В. Меллер-Закомельский — новый «идеолог», присланный из Берлина, предложил ему написать резкую статью против советских экономистов и руководителей народного хозяйства, к тому же с антисемитским уклоном. Савицкий ответил достойно: «Вы

забываете, что я лидер евразийцев и не изменил точку зрения на евразийство. Ваша программа неприемлема для меня; она направлена не на пользу России как евразийского целого, но против нее, да еще с позиций державы, которая ведет войну с Советским Союзом, а тем самым и с Евразией». На что «идеолог» сказал: «Ваше счастье, что я Ваш поклонник, иначе моей обязанностью было бы довести до сведения моих немецких друзей Ваши взгляды, совершенно нетерпимые во время борьбы коммунизма и национал-социализма»[381].

Через два с половиной месяца Савицкий был уволен с поста директора гимназии; до конца оккупации оставалось еще полтора года. И все-таки самым мрачным временем были для него тяжелые дни июня — ноября 1941 г., когда решался вопрос о самом существовании России. Об этих днях он вспоминал не раз и даже написал стихотворение «Весть о Москве (1941 год)»:

Июнь — ноябрь. В безмолвье стынет Прага. Влачу в страданьях бремя дел и дней. А вести с Родины, средь ликований вражьих, Одна другой тревожней и страшней.

Казалось мне, не выдержу я горя. Бледнел, худел, не спал, ослабевал. Пришел декабрь. И вдруг в родном просторе Призыв к борьбе и жизни зазвучал.

Победа русская и бегство стаи хищной. Ответ врагу Москва моя дала. Весть о Москве, средь Праги неподвижной, Меня в декабрьский день воздвигла и спасла.

По словам Савицкого из письма его к Л.Н., с июня по начало декабря 1941 г. он «сбавил в весе 20 кг, с 80 до 60 кг при росте в 180 см»[382].

В мрачном 1941-м П. Савицкий был возвращен к жизни той самой армией, приход которой в 1945-м означал для него лагерь. Но стихи он написал уже в лагере, а значит Победа, пусть и «со слезами на глазах» была для него все-таки чем-то большим. Это наша вина, не такая как перед некими «диссидентами» в СССР, а куда большая. Годы, проведенные в лагере, были очень тяжелыми, но для рассказа о них и о последующей жизни П. Савицкого необходимо написать особую книгу.

Здесь я позволю себе сказать несколько слов о самом загадочном эпизоде — тайной поездке П. Савицкого в СССР в 1926 или 1927 г. Мне казалось, что все это — не более чем предположения мемуаристов, красивые и завлекательные. Ответ на этот вопрос можно получить лишь в архивах ФСБ, куда я и обратился. Ответ из Центрального архива ФСБ пришел в сентябре 1997 г., всего через пару месяцев после моего запроса, ответ любезный и подробнейший. Кое-чего в биографии П. Савицкого не знали ни я, ни его биограф А. Дугин; это касалось в основном

мелочей. Но самое главное: упомянутая легендарная поездка на самом деле была! Цитирую присланный мне ответ : «Арестован 21 мая 1945 года Управлением военной контрразведки «СМЕРШ» 1 Украинского фронта. В ходе следствия Савицкий П. Н. заявил, что в конце января 1927 года нелегально ездил в Москву, «где связался с антисоветской организацией «Трест»... Задача моя в этой поездке заключалась в том, чтобы связаться с группой «евразийцев» в Москве и выработке совместного плана борьбы с Советской властью» (Допрос от 15 июня 1945 года). А далее — Темлаг, ст. Потьма. «В 1955 году был освобожден. Реабилитирован в 1989 году».

7. Трудное рождение «степной трилогии»

И вот объявили ошибкой
Семнадцать украденных лет.

Б. Слуцкий

С мертвой точки можно сдвинуться, только опубликовав всю Большую книгу в трех частях. В этом я вижу значение моей жизни.

Л. Гумилев

«Семейное положение — нет».

Из «Личного листка» Л.Н. 1960 г.

7.1. На воле

Согласно «Личному листку по учету кадров», заполненному почти каллиграфическим почерком Л.Н. в 1960 г. в ЛГУ, начиная с октября 1956 г. Гумилев был старшим научным сотрудником Эрмитажа. В это время он так интенсивно работает, что через некоторое время от переутомления попадает в больницу, о чем сообщил своему другу П. Савицкому: «Сильно заболел и... пишу это письмо в больнице. Я, очевидно, надорвался»[383]. В 1957 г. он впервые в своей жизни получил свою комнату. «Надо думать об обстановке ее и необходимых хозяйственных предметах, вроде ложек и тарелок; надо ходить в лавку за продуктами и стряпать ужин. Я все это умею, но все-таки это дело женское», — писал он в марте Савицкому[384].

Но он одинок, и совет П. Савицкого — «Род должен быть продолжен! Такова моя мысль» — так и остался без ответа[385]. Замыслы его грандиозны, но научный багаж формально ничтожен; в 1960 г. у Л.Н. было опубликовано всего шесть небольших статей, к тому же довольно «мелкотемных»[386]. О седьмой — «Хунну» — рукой Л.Н. записано, что она «печатается». Он понимал, что для ученого, которому вот-вот стукнет 48 лет — это маловато, поэтому в конце куцего списка добавил: «остальные печатаются». Между тем грандиозны были не только замыслы, но и то, что уже было написано «в стол»; шла правка и дополнение

«лагерных вариантов» из того самого чемодана, который прибыл вместе с Л.Н. из Омска.

1956 год. В одном из самых первых писем П. Савицкому Л.Н. сообщал: «Я не решаюсь послать Вам свое основное сочинение «Историю Срединной Азии в связи с историей сопредельных стран с III в. до н. э. по X в. н. э.», потому что не считаю имеющийся у меня вариант окончательным, ибо большая часть его написана за минувшие 4 года, и Вы легко можете догадаться, что мне была доступна литература только на русском языке»[387]. Он отправил тогда в Прагу тезисы своей кандидатской и статью по теме дипломной работы. Но сделано было в тех адских условиях (до 1956 г.) очень немало: первый и третий тома «Истории Срединной Азии» готовы соответственно на 75% и 40%. Это — оценка самого Л.Н. на декабрь 1956 г., то есть через считанные месяцы после освобождения. Второй том он планировал закончить к весне.

1957 год. Большая радость: Л.Н. получил предложение об издании своих работ. Он представил две книги: «Историю Хунну с древнейших времен до V в. н. э.» и «Историю Первого Тюркского каганата VI—VII вв.»; каждая объемом около 20 печатных листов[388].

Здесь неминуемо Л.Н. пришел к евразийству. Три тома истории Срединной Азии были посвящены истокам Евразии, поискам трудно складывающегося ее единства. Значительно позже (в 1991 г.) он писал, что за обозримый исторический срок Евразия объединялась четыре раза. По началу ее на короткое время объединяли гунны, потом тюрки, создавшие свой каганат от Желтого до Черного моря. В третий раз континент объединяли монголы под главенством Чингисхана. После битвы при Калке монголы поняли, что им надо или мириться с Россией, или завоевать ее. Они склонялись к третьему решению. Россия вошла в единый улус на равных правах с монголами. Монголы были рады, что Древняя Русь служит буфером между ними и европейскими народами. Татары брали очень небольшую дань — на содержание войска, которое защищало Россию от западных соседей. Четвертым объединением Евразия обязана русским, которые, дойдя до берегов Тихого океана и объединив большую часть Евразийского континента, за исключением Монголии и Восточного Туркестана, продлили тем самым традицию монголов. Они опять сделали из Евразии очень сильную страну и сами стали самостоятельной и весьма развитой культурой[389].

Повторяю, что это было сказано в 1991 г.; давно уже вышли тома «Степной трилогии», каждый из которых рассказывал об одном из объединений Евразии; в печати находилось уже и

важное дополнение к ней — по сути четвертый ее том «От Руси до России». А в ту пору у Л.Н. была лишь схема и «заготовки». Удивительное дело, практически не зная евразийцев, прочитав лишь пару их работ, Л.Н. интуитивно вышел на ту сверхзадачу истории, которую отцы евразийства формулировали еще в 20–30-х гг. «Особого рода системой является история России», — писал тогда П. Савицкий[390]. Ту же мысль более подробно сформулировал Г. Вернадский. «Евразия, — писал он, — есть… область действия русского исторического процесса, русское историческое месторазвитие. Русская историческая наука должна овладеть историей этого месторазвития также и в более ранних эпохах (в течение которых Россия еще не охватывала целиком географической Евразии) для того, чтобы правильно понять развертывание русского исторического процесса»[391].

Именно об этом многократно писал впоследствии и Л. Гумилев: «Огромная территория евразийской степи все еще ждет своего исследователя. Особенно это касается периода до появления на исторической арене Чингисхана, когда в центральноазиатской степи сложились и погибли два замечательных народа: хунны и древние тюрки, а также много других, не успевших прославить свои имена»[392]. Было ясно, что необходимо как можно больше использовать богатое наследие евразийцев. Но как?

«Ни Савицкого, ни Георгия Вернадского, ни евразийских сборников, — рассказывает сам Л.Н., — в библиотеках в те сталинские годы, конечно, не было. Правда, в экземпляре книги Н. Толя[393], который мне попался, было приложение — статья Савицкого «О задачах крчевциковедения: Почему скифы и гунны должны быть интересны для русского?» Поэтому я вынужден был соображать сам и доходить до многого, так сказать, своим умом. Впоследствии, когда эмигрантская литература стала более доступной, я прочитал работы князя Н.С.Трубецкого»[394]. Необходимо заметить, что Лев Николаевич не только прочитал его работы, но и написал солидную обобщающую статью «Историко-философские сочинения князя Н. С. Трубецкого (заметки последнего евразийца)». Она очень долго лежала в разных редакциях, пока не вышла в сборнике трудов Трубецкого, появившемся в 1995 г. в издательстве «Прогресс» под названием: «История. Культура. Язык»[395].

В одном из самых последних в жизни интервью Л.Н. вспоминал, что первой прочитанной им евразийской книгой было историческое исследование Хара-Давана «Чингисхан как полководец и его наследие: культурно-исторический очерк Монгольской империи XII—XIV веков», появившееся в Белграде в

1929 г.[396].

Кто такой Э. Хара-Даван? Почему его книгу можно было прочитать в СССР, а «классики» евразийства были табуированы?

Ответу на первый вопрос будет посвящен следующий параграф. А сейчас задумаемся, где и когда Гумилев мог читать белградское издание? Дело, видимо, в том, что в 20-х гг. еще кое-что из запретных книг все-таки по недосмотру доходило до наших библиотек. Зайдя в Библиотеку Географического общества СССР, Л.Н. .мог бы найти там даже оттиски двух статей «криминального» П. Савицкого с дарственной надписью, присланные из Праги в 20-х гг. Возможно, белградская книга могла дойти до СССР подобным же образом. Неясно, когда Л.Н. увидел книгу Хара-Давана. Так, в письме от 1965 г. П. Савицкий рекомендует ему познакомиться с этой работой[397]. Неизвестно, что ответил на это предложение Л.Н.

7.2. Кто такой Хара-Даван?

Вернемся к белградской книге, изданной там на русском языке на средства автора. Оказалось, что Э. Хара-Даван — очень интересный человек и весьма самобытный автор. Родился он в 1883 г. в кочевье, в центральной части калмыцкой степи у бедного калмыка Давы, которого за смуглость прозвали «Хара» (черный). Если коротко ознакомиться с изгибами его судьбы, предстает такая Одиссея перемещений и взлетов, которая нацело разбивает стереотип: «царская Россия — тюрьма народов», разбивает неоднократно и убедительно.

Родители Эренжена были бедны. Отец, не имевший достаточного количества скота, чтобы прокормить семью, был вынужден постоянно работать по найму[398]. Тем не менее маленький Эренжен учился в улусской школе на общественные средства, а потом, поскольку оказался способным, был отправлен в Астрахань, бывшую тогда административным центром Калмыкии. Летом, на каникулах, он с товарищами едет в Сарепту[399], поближе к дому. Узнав, что туда приезжают профессора из Петербурга и Хельсинки, собирающие народные мелодии, Эренжен начинает и сам собирать их.

Следующий «шаг вверх» был сделан в 1908 г. в Петербурге, где он поступил в Военно-медицинскую академию[400].

Калмыков, учившихся в учебных заведениях России, было совсем немного: двое (друзья Эренжена) на юридическом факультете Петербургского университета, а один на восточном[401]. Но не только с ними встречался в северной столице юноша; идея национального возрождения, объединившая

студентов-калмыков, находила понимание и у петербургских ученых-востоковедов. Недавно выяснилась интересная деталь: Э. Хара-Даван успел побывать и студентом Тартусского университета[402]. «Тюрьма народов», кажется, была не совсем тюрьмой.

1917 г. Хара-Даван встречал в Царицыне, а затем на Калмыцкой секции Исполкома Астраханского Губсовета его избрали председателем, то есть человеком № 1 в Калмыкии. Сын бедного калмыка, получивший диплом престижной Военно-медицинской академии, в Петрограде стал другим человеком. В 1918 г. на русско-калмыцком съезде он высказался против экспроприации скота у зажиточных хозяев, против социализации земли. «Плюрализм», как легко понять, в ту пору не поощрялся. Астраханский губисполком решил не предоставлять автономии «такой» Калмыкии; она получила ее лишь в 1920 г. Ну, а председатель «Калмыцкой секции» эмигрирует из России с остатками Белой армии. Судьба бросает его в Прагу — очаг евразийства, бросает потому, что в столице Чехословакии обосновалась калмыцкая организациях научных работников. Сюда же попали и его друзья-калмыки по обучению в Петербурге — юристы и востоковед.

В биографии нет каких-либо указаний на встречи Э. Хара-Давана с «классиками» евразийства, но библиография в его книге содержит имена П. Савицкого и Г. Вернадского. Еще доказательнее говорит о хорошем знакомстве с ними (не так уж важно — очном или заочном[403]) сама направленность книги, все ее содержание. Личная судьба Э. Хара-Давана складывается после этого достаточно грустно: в 1929 г. он переезжает в другой центр русской эмиграции — Белград, участвует в создании первого буддийского храма в Западной Европе, готовится к отъезду в Америку, в степи Северной Мексики или Техаса (тянет его в степи; жива память о родной Калмыкии!). Но сначала этому препятствует начало „мировой войны, а в 1942 г. Э. Хара-Даван умирает.

Надо думать, что жизнь калмыцкой эмиграции была еще труднее, чем многочисленной русской: неустроенность, нищета, разнобой в оценках того, что происходило на родине. В этих условиях естественной была попытка верхушки калмыков на Западе (а Эренжен — доктор наук) разобраться, что же произошло, где корни истории калмыков, и вообще — к чему надо стремиться? Задача очень нелегкая. Ответы на эти вопросы Хара-Даван попытался дать в книге, посвященной истории Монгольской империи и Чингисхану, 700-летие со дня смерти которого приходилось на 1927 г.

Этой историей в России занимались давно. В 1826 г. Академия наук поставила задачу проанализировать: «Какие последствия произвело господство монголов в России?», но к намеченному сроку поступило лишь одно сочинение, и то на немецком языке. Попытка была повторена в 1832 г.; опять в Академию поступила всего одна работа, и тоже на немецком, не получившая премии[404].

В условиях эмиграции, на чужбине калмык, получивший хорошее, но отнюдь не историческое, образование в России, пытается разобраться в истории, и не с узких — калмыцких позиций, а с куда более широких — российских. «Познай самого себя» и «будь самим собой», — пишет Хара-Даван, — вот лозунги, которыми мы должны руководствоваться после неудачных копирований духовной культуры Европы, приведших в тупик Россию теперь, начиная с Петра I до наших дней»[405]. Заметим, что «мы» — взгляд никоим образом не узконациональный, а «познай самого себя» взято у евразийцев, хотя и не они первые сформулировали это как жизненную позицию человека или этноса. Думаю, что Э. Хара-Даван нашел ее в тех же трудах евразийцев, на которые мы ссылались.

Сказанное может навести на мысль о некоей «вторичности» книги Э. Хара-Давана, тем более что программная статья князя Н. Трубецкого «Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока» вышла в 1925 г., то есть четырьмя годами раньше. Но ведь истинным взглядом с Востока была именно работа Э. Хара-Давана. Это подчеркивали и сами евразийцы. П. Савицкий отмечал: «Совершенно особый характер придает повествованию тот факт, что автор непосредственным, бытовым образом знаком с жизнью кочевников. Это позволяет ему в ряде случаев прийти к ценным и убедительным выводам»[406]. Книга Э. Хара-Давана многократно цитировалась и Г. Вернадским, в частности, в его капитальной работе, вышедшей в США в 1953 г.[407]. Более того, даже в статье 1966 г. он замечал, что из обширной литературы о Чингисхане и Монгольской империи может указать только книгу калмыка д-ра Эренжена Хара-Давана[408].

Хара-Даван писал, конечно, под воздействием евразийцев, но у него был и свой взгляд, и свои знания, что позволило создать очень яркое и самобытное произведение[409]. Вот его основные идеи.

Величие Азии: «Колыбель бесчисленных народов и племен, родина кровавых завоевателей, источник мифов и легенд, мать всех религий, почва, питающая около миллиарда (в 1929 г. — СЛ.) человеческих существ — такова Азия»[410].

Величие Монгольской империи: «Только мировая монгольская экспансия быстро охватывает всю Азию, за исключением Японии, Индостана и Аравии, перебрасывается в Европу и сокрушающим натиском монгольской конницы докатывается до Адриатического моря. Так образуется Великая Монгольская империя от устьев Дуная, границ Венгрии, Польши и Великого Новгорода до Тихого океана и от Ледовитого океана до Адриатического моря, Аравийской пустыни, Гималаев и гор Индии»[411].

Величие личности Чингисхана: С кем сравнить Чингисхана, спрашивает Э. Хара-Даван. С Наполеоном? Да, но тот одну армию бросил на произвол судьбы в Египте, остатки другой покинул в снегах России. Его империя пала еще при его жизни. Сравнить с великим Александром Македонским? Да, оба завоевателя умерли на вершине своей славы, и имена их живут до сих пор в легендах народов Азии. Но события, наступившие после смерти, сравнения уже не выдерживают. Тотчас после кончины Александра полководцы его вступают в борьбу между собой за обладание его царством, из которого его сын принужден бежать. Между тем сын Чингисхана без всякого протеста вступил в управление его империей от Армении до Кореи и от Египта до Волги, а его внук царствовал над половиной света[412].

Апологетика? И да, и нет. Нет потому, что так думал отнюдь не один калмыцкий ученый в Праге. В 30-х гг., то есть после него, Джавахарлал Неру оценивал так: «Чингис без сомнения был величайшим военным гением и вождем в истории. Александр Македонский и Цезарь кажутся незначительными в сравнении с ним»[413]. П. Савицкий писал о «памяти великого и сурового отца нашего Чингисхана»[414]. Более того, у него есть и почти дословное совпадение с Э. Хара-Даваном: «Разрешите мне еще раз одно сравнение с Европой: в сопоставлении с Чингисханом Наполеон — не более как мелкотравчатое и неудачливое его подобие, к тому же на шесть веков позднее»[415].

Мировое господство: Вместо гибельных усобиц мелких племен между собой Чингисхан внушил объединенному им народу идею всемирного владычества. Его жизнь была неизменно подчинена одной этой цели. Добавим, что вышедшая в Лондоне за год до книги Э. Хара-Давана работа Гарольда Лэма называлась: «Чингисхан — император всего человечества».

Пока речь шла о фактах, расхождений между Э. Хара-Даваном и евразийцами почти нет. Кое-что они даже впервые увидели у него, например, портрет Чингисхана, опубликованный в его книге; этот портрет из Императорского дворца в Пекине до той поры был неизвестен евразийцам. Когда же речь заходит об

оценочных моментах, легко обнаруживаются разные подходы, и не только с евразийцами. Согласно мнению Б. Владимирцова, герой Хара-Давана — «гениальный дикарь»[416]. Г. Вернадский отмечает, что в некоторых отношениях великий завоеватель был еще более примитивным и диким, чем его помощники[417]. Правда, позднее он изменил эту оценку.

Э. Хара-Даван идеализировал и романтизировал своего героя, утверждая, что добродетели, которые тот ценил и поощрял, были: верность, преданность и стойкость; а пороки, которые особенно преследовал у своих подчиненных: измена, предательство и трусость. К подобным же передержкам следует отнести и утверждение калмыцкого ученого, что задачей Чингисхана было создание из всей азиатской державы посредницы между цивилизациями Востока и Запада[418].

Что же касается разрушения цветущих городов и оазисов, гибели сотен тысяч людей на подчиненных землях, то, по Э. Хара-Давану, «производились они только во время войны и вызывались военной необходимостью; как она в те времена понималась»[419]. По Г. Вернадскому, жертвами этой «военной необходимости» были несколько миллионов человек[420].

Не обошел своим вниманием Хара-Даван вопроса о влиянии монгольского нашествия на Русь. Здесь позиции Хара-Давана практически идентичны с евразийцами. «Московская Русь была лишь небольшой провинцией Великой Монгольской империи..., составляла только малую часть «Улуса Джучи», который сам являлся одной из четырех крупных составных частей Чингисовой империи»[421]. Подобная мысль высказывалась и Г. Вернадским[422].

Э. Хара-Даван утверждал, что до прихода монголов многочисленные русские княжества фактически не составляли единого государства; благодаря монгольскому владычеству эти княжества были слиты воедино, образовав сначала Московское царство, а затем Российскую империю[423]. Н. Трубецкой подчеркивал «малость» Киевской Руси, площадь которой «не составляла и двадцатой доли обшей площади той России, в которой родились все мы». Он полагал, что «Киевская Русь была нежизнеспособна, а всякий нежизнеспособный организм разлагается»[424].

Если подбор высказываний в защиту «восточных» позиций Хара-Давана может показаться тенденциозным (все же они евразийцы!), то обратимся к такому историку, которого никак не заподозрить в евразийстве — П. Н. Милюкову. «В лесной области России, — писал он, — то же нашествие совпало с началом конструктивного периода и, несомненно, оказало влияние на возникновение новой формы русской государственности»

(выделено мною. — С. Л.)[425].

А вот мнение современного турецкого историка, профессора Анкарского университета Айдина Яльчина: «Под защитой Золотой Орды (распавшейся после Батыя) Московское княжество укрепилось, и в 1552–1556 гг. разбило своего противника — Казанское ханство, положив тем самым конец татаро-монгольскому владычеству, просуществовавшему в этой части страны более 300 лет»[426].

Согласно мнению Хара-Давана, политика монголов (при Чингисхане и после) дала покоренной ими стране основные элементы будущей московской государственности: самодержавие, централизм, крепостничество. Она дала и ямскую повинность населения, улучшив связи между районами страны (создание почтовых трактов), дала общую перепись населения в фискальных целях и единое податное обложение, установила общую для всех русских областей монету — серебряный рубль, разделенный на 216 копеек[427]. Э. Хара-Даван отмечал, что именно поэтому монгольские слова «казна», «алтын», «таможня», «ямщик», «ямской» и поныне остались в русском языке[428].

Анализируя влияние Золотой Орды на возвышение Москвы, автор опирался на классиков русской истории — на Ключевского и Платонова. При этом он выделял помощь золотоордынских ханов московским князьям. Местному главному князю подчинялись остальные князья, что и обеспечивало все управление. «Конечно, из местных ставился во главе более лояльный; таковыми как раз оказались московские князья, начиная с Ивана Калиты...» Московские великие князья действовали дипломатией и «смиренной мудростью» (по Ключевскому), а тверские пытались отстоять свою независимость силой оружия[429].

7.3. Время действия: 1957–1960 гг.

Выходит человек на дело свое, и на работу свою до вечера.

Псалтирь

Для души весь смысл существования заключается в истории.

А.Дж. Тойнби

Место действия — Ленинград, точнее, коммуналка на

Московском проспекте, 195; квартира 218, комната меньше 20 метров, заваленная книгами и бумагами. Идет интенсивнейшая, изнурительная работа над «кочевниковедческой трилогией» (вспомните слова из писем: «заболел», «надорвался» и т. д.). Материальное положение остается сложным; в 1959 г. он еще получал от А.А. деньги из Москвы, где ей платили за переводы.

Л.Н. сообщал в Прагу, что он в цейтноте, поскольку рукопись «Хунну» скоро надо было сдавать в издательство. Несмотря на это он нет-нет да и задумывался о герое будущей третьей книги — о Чингисхане. Судя по письму к П. Савицкому 1957 г., Л.Н. уже кое-что прочитал у евразийцев. «Брошюру Георгия Владимировича, — писал Гумилев, — я получил одновременно с письмом и прочел с огромным удовольствием. Вывод его не только правилен, но и весьма плодотворен. Чингис действовал не по обычаям, а вопреки»[430]. Легко «вычислить» по письмам из Праги, что речь идет о брошюре Г. Вернадского «О составе Великой ясы Чингисхана», появившейся в Брюсселе в 1939 г. Несколько ранее он писал Савицкому о Чингисхане, что история его возвышения требует специального исследования, которое еще не сделано.

Гумилев признавался, что несколько раз менял свой взгляд на эту эпоху, и, наконец, добился некоторого приближения, но все-таки еще не был удовлетворен результатами. Он полагал, что изучать эпоху Чингиса надо с хунте через тюрок и киданей. «Надеюсь, — писал Л.Н., — что когда я закончу мою «Историю» и продвину ее до начала XIII в., ибо я достал источник и по этой эпохе, будет создан фундамент для построения истории возвышения Чингиса»[431].

Но до этого еще далеко; пока все мысли заняты хуннами. Вот хроника событий по письмам Л.Н. к П. Савицкому. В феврале 1959 г. Гумилев замечает: «Надеюсь, что первая часть моей «кочевнической трилогии» оправдает меня в Ваших глазах». «Мне хочется, — пишет Л.Н. через три месяца, — поднять историю кочевников и их культуру, как в XV в. гуманисты подняли забытую культуру Эллады, а потом археологи воскресили Вавилон и Шумер». В октябре Л.Н. писал Савицкому: «Хунны», наконец-то, двинулись в поход. Сейчас идет редакционная подготовка, а в начале года есть надежда увидеть их на столе. Но вся третья часть со II по V в. отложена[432]». В следующем месяце Л.Н. пишет другу торжествующе: «Все мои помыслы прикованы к хуннам, снова прорвавшимся на свет. Они выходят! Тьфу, чтобы не сглазить...»[433] Радость была, правда, немного преждевременной. Лишь в апреле 1960 г. Гумилев торжествует по-настоящему: «Тронулся лед. «Хунну» уже набраны и отпечатаны, на днях выйдут в свет»[434].

Л.Н. уже может себе позволить переключиться на вторую часть трилогии — на древних тюрок, так как многое из старых заготовок уже не удовлетворяло. Как и ранее, он вживается в героев своих книг: «Мне хочется оторваться от гипноза китайских летописцев и читать источник глазами тюрка, а не китайца», — сообщает он своему пражскому другу и коллеге[435]. Л.Н. считал, что такой подход вообще типичен для лучших историков русской школы, которые настолько сроднились с Центральной Азией, что научились смотреть на ее историю «раскосыми и жадными глазами» степняков[436].

П. Савицкий подбадривал Л.Н. из Праги, но ему самому приходилось нелегко. Когда он вернулся в Прагу, коммунистическая Чехословакия приняла его негостеприимно. Власти отказались дать ему какое-нибудь место по учебно-педагогической части и таким образом использовать его таланты и знания. П. Савицкий в сентябре 1959 г. сообщал Л.Н.: «Я все делаю собственноручно в труднейшей обстановке сверхперегрузки: снискиваю пропитание для пятерых, а вскоре, будем надеяться, и для шестерых (по линии «дедушки»)»[437]. Ему пришлось заняться плохо оплачиваемой непостоянной работой, главным образом, переводами с чешского языка на русский книг, журнальных статей на исторические, литературные и экономические темы. В этой работе часто бывали перерывы. Жилось ему трудно. В октябре 1969 г. Петра Николаевича постиг тяжелый удар судьбы — скончалась от рака легких горячо любимая жена. До своей болезни она помогала в его работах.

По возвращении в Прагу из советской ссылки Савицкий возобновил переписку со своими друзьями в Европе и Америке. Это обстоятельство не нравилось властям. Особенно их раздражало издание в 1960 году во Франции «стихов Востокова». Раскрыть псевдоним чешским спецслужбам, конечно, не составляло особого труда. В мае 1961 г. П. Савицкого арестовали и заключили в тюрьму. Но случилось так, что в следующем году впал в немилость министр внутренних дел ЧССР, санкционировавший арест П. Н., и многие пострадавшие при нем лица были амнистированы[438]. В их числе был и Савицкий. По другой версии, решающую роль в его освобождении сыграло обращение Бертрана Рассела, по третьей — вмешательство посольства СССР.

Меня очень заинтересовал вопрос, в чем же «криминальность» стихов П. Савицкого? Моему сыну в Библиотеке Прусского культурного сообщества в Берлине удалось найти солидную (в 293 страниц) книгу П. Востокова «Стихи» с предисловием Николая Оцупа (1894–1958). Какие удивительные

пересечения «организует» история: Н. Оцуп — член «Цеха поэтов», хороший знакомый Николая Гумилева. Интересно, знал ли он, что П. Востоков (П. Савицкий) знаком с сыном Николая Степановича?

Что же касается самих стихов, то в предисловии о них сказано следующее: «Некрасов и Блок стонут, говоря о России. Многие другие любят ее, проклиная, бичуя. У Востокова — любовь подвижника, праведника. Он все простил не только за себя, но и за всех. Здесь нет благодушия, есть глубина христианского жизнеутверждения. Ни проклятий, ни жалоб. Какой это урок!»[439]

Это раскрывается и в стихах, и в редких примечаниях автора к ним такого, например, типа: «1946. Сложено на лесоповале. Меня направили на лесоповал. Перенес это с бодростью, сдружился с ребятами-лесорубами. Это почти сплошь были урки (уголовники). Работали ребята замечательно. Любили слушать мои рассказы»[440].

В стихах Савицкий передает свои ощущения лагерной жизни и окружающей природы. Так в одном из стихотворений 1947 г. есть такие строки:

Но знаю, Русь, ты устоишь!
Так помоги ж и мне в бореньи,
Душе моей дай свет и тишь,
Дай твой закал, твое терпенье.

А вот из стихотворения «Небо Мордовии», написанного в том же году в мордовском лагере:

В Европе нет таких закатов,
И нет таких небес в Стамбуле.
Палитры Рубенса богаче
Цвета, тона твоей лазури.

В стихотворении «Мудрецы» (1948) Савицкий так описывает солагерников:

«Медведь не моется и век здоров бывает», —
Так мудрецы бараков говорят,
И серый прах их лица покрывает,
Но весело горит их дерзновенный взгляд.

При всем ужасе лагеря не надо думать о какой-то полной изоляции П. Савицкого в Мордлаге; находились люди, информировавшие его о том, что происходило «на воле» и посылавшие ему книги. Так, в мае 1948 г. «П. Востоков» пишет стихотворение «Другу незримому», посвященное памяти академика Д. Н. Прянишникова — знаменитого агрохимика. Оказывается, тот много писал и помогал П. Савицкому в самые трудные годы. В примечаниях к стихотворению сказано: «Не боялся — как не боялись и многие другие русские люди, в том числе и выдающиеся ученые»[441].

У П. Савицкого даже хватало сил подбадривать других. Так, в стихотворении «Другу историку» (явно, солагернику) он пишет:

Мужайтесь, друг! Придет иное время.
Жены, детей увидите лицо.
Неволи злой навек исчезнет бремя,
Работы творческой сомкните вновь кольцо.

В лагере в 1948–1950 гг. он пишет стихи, посвященные великой княгине Ольге, Агапиту — основоположнику русской медицины, жившему в XI в., Петру — царевичу Ордынскому, Андрею Боголюбскому. Эти темы переходят весьма органично во второй раздел сборника — «Образы Руси древней», включающий, например, такие стихотворения: «Житие Сергия Радонежского», «Царь Федор Иоаннович», «Икона», «Конный бой». В третьем разделе — «Города древнерусские» — поэт вспоминает «Новгород Великий», «Псков», «Тобольск», любимый его Чернигов и «малую Родину» — деревню Бутовичку в центре Скифской степи.

Пишет Савицкий и о людях Руси, более близких ему по времени и по духу («Пржевальский», «Менделеев», «Семенов-Тян-Шанский»). Иногда это как бы доверительный разговор со знаменитым собеседником. Так, в последнем из упомянутых стихотворений есть такие строки:

Гляди, гляди-ка, Петр Петрович,
Растут и ввысь идут хребты.
Все с трепетом встречают новость,
Путей степных забыв суровость
Коня пришпориваешь ты.

Иногда — беседа с действительно близким другом и единомышленником. Таково стихотворение о князе Н. Трубецком, которого П.Савицкий пережил на 30 лет:

Твоей идеи заостренной Ни в чем нельзя предугадать. И нам с улыбкою смущенной Одно осталось — бдеть и ждать.

Вспоминает он и об идейных противниках, например, о былом учителе П. Б. Струве, пути с которым разошлись в эмиграции. О П. Н. Милюкове Савицкий пишет иронично:

Ты с виду сух и прозаичен,
Европе предан всей душой,
В уничиженьи методичен
Всего, что Русь несет с собой.

Я сознательно остановился на сборнике стихов подробно, чтобы задать вопрос (я ничего особо не отбирал, не отсекал из интонаций П. Востокова): где же здесь криминал? Ведь все это — песнь любви к Родине, ко всему, что в ней есть и хорошего, и смутного, но все равно любимого, песнь восхищения ее природой, ее историей, ее людьми. Где же здесь криминал?

7.4. Почему «хунну»?

Обычно хроника социальной жизни называется историей. В таком узком смысле история составляет базис социологии.

К. Поппер

Л.Н., не зная поначалу о пражских коллизиях П. Савицкого, радуется выходу «Хунну» — пусть и ничтожным тиражом в 1000 экз. Следующее издание — «Хунны в Китае» вышло лишь через 14 лет, но уже в 5000 экз. Только после смерти Л. Н в 1993 г. «Хунну» появились действительно массовым тиражом в 50 тыс. экз. Книга оформлена подобно «светло-серой» изящной и качественной московской серии[442], но сделана она была уже не в «Экопросе» (одном из подразделений «Прогресса»), а в Санкт-Петербурге, под научной редакцией ученика Л.Н., кандидата географических наук Вячеслава Ермолаева[443].

Удивительно, что очень специальная, отнюдь не популярная книга разошлась довольно быстро. Что это — гипноз названия? Ведь книга отнюдь не про гуннов, которых Л.Н. касается на пяти заключительных страницах, а про хуннов — их предшественников. Но тогда она должна бы называться «Хунны», а не «Хунну». Дело в том, что последнее — название мощного кочевого государства, созданного до нашей эры в Великой степи.

Задолго до появления гуннов в Европе кочевники, жившие в Монголии, воевали с Китаем и внушали ему такой же ужас своими набегами, как гунны Аттилы — Византии и Риму. В китайских летописях эти кочевники называются «хунны». В исторической науке высказывалось мнение, что сходство имен «гунны» и «хунны» случайно и что гунны не были потомками хуннов. Большинство ученых, однако, отстаивают идею преемственности гуннских переселений с востока на запад. Эта точка зрения убедительно обоснована К. А. Иностранцевым в его исследовании «Хунну и гунны», первоначально опубликованной в 1910 г. в «Русской старине», а в 1926 г. — отдельной книгой.

Насколько можно судить по остаткам хуннского языка, они, как и гунны, были тюркоязычным народом[444].

Заметим, что Г. Вернадский, как и П. Савицкий, не делал разницы между хуннами и гуннами. Он писал, что «гунны страдали от суровых изменений в Китае» (об оставшихся там), но те же гунны вторглись в Европу, и именно они начали Великое переселение народов[445]. Правда, в конце прошлого века высказывались и странные идеи: гуннов отождествлял со славянами крупный русский историк — Д. И. Иловайский[446].

Среди союзных и подвластных хунтам народов были аланы (предки осетин), и готы, и действительно славяне. Славянские волхвы, вероятно, пользовались почетом у гуннов; они принимали участие и в похоронах Аттилы. Историк готов — алан Иордан (VI в.), писавший на латыни, рассказывая о поминальном пиршестве по Аттиле, называл этот обряд древнеславянским словом «страва»[447].

Многое о гуннах (хуннах) уже было написано, и, казалось, что мог добавить к этому Л. Гумилев? Он, конечно, и сам понимал, что когда-то и много работавший над этой проблемой классик востоковедения К. А. Иностранцев мог знать о хуннах нечто большее, чем сам Л.Н. «в начале пути». Недаром Л.Н. писал, что тот имеет блестящие работы, — редко кто удостаивался подобных его характеристик[448]. Ученые, посвятившие всю жизнь только монголоведению (академики С. А. Козин или Б. Я. Владимирцов), вероятно, знали о монголах нечто и не известное еще Льву Николаевичу в 50-х гг. Да и Учитель, как Л.Н. называл М. И. Артамонова, очень много работал над историей хазар; позже он пригласил Л. Гумилева быть научным редактором своей монографии[449]. Л.Н. отлично понимал, что в чем-то уступает авторитетам. В письме к Анне Андреевне от 3 апреля 1955 г., говоря о кадрах Института востоковедения, он признавал, что «сильнее меня... В. В. Струве и Петрушевский. Этих мне не догнать!»

Были свои плюсы и у Л.Н.: он работал после них, а уже поэтому располагал большей информационной базой и кругом идей. Много работал он и с новыми иностранными источниками, хотя и сознавал свои недостатки в этом плане. Кое-что ему удалось издать и переиздать. Так, в 1960 г. в Чувашском государственном издательстве появилось «юбилейное» переиздание труда Иакинфа Бичурина — «Собрание сведений по исторической географии Восточной и Срединной Азии», подготовленное Л. Гумилевым и М. Хваном. «Собрание сведений» И. Бичурина — систематическое извлечение из китайских летописей, касающееся хуннов и других кочевников, начиная с «Исторических записок» Сыма Цяня — знаменитого китайского историка II в. до н. э. Труды И. Я. Бичурина высоко ценил Александр Пушкин, знавший его и бывший с ним в дружеских отношениях. Когда Пушкин писал «Историю пугачевского бунта», Бичурин сообщал ему недостающие сведения о калмыках. Иакинф Бичурин родился в 1777 г., окончил Казанскую духовную семинарию в 1799 г., затем работал там преподавателем. В 1807 г. был назначен начальником Русской духовной миссии в Китае, где пробыл до 1821 г. По происхождению он был чуваш.

Кроме того, Л.Н. дали много нового для его исследований археологические экспедиции 1935–1957 гг.[450]. Кстати сказать, Г. Вернадский, характеризуя Гумилева, однажды написал: «Востоковед, историк и археолог». Конечно, археология в Азии сулила меньшую отдачу, чем в других регионах мира, поскольку «строительный материал — глина во Внутреннем Китае, дерево в Маньчжурии и войлок в Монголии — не мог сохраниться до нашего времени, как сохранились мрамор Эллады, гранит Египта и кирпич Ассиро-Вавилонии[451]. Тем не менее Л.Н. рвался в очередную археологическую экспедицию. Он радовался тому, что намечаются большие раскопки «в стране куриканов, предков якутов», считал своей задачей — найти железный век, т. е. памятники I тысячелетия н. э. Л.Н. предполагал, что это были «северные динлины». Динлины — один из загадочных этносов Центральной Азии. Г. Грумм-Гржимайло писал о них: «Возвышенные носы» указывают на то, что в жилах хуннов и китайцев того времени текла кровь той расы, к которой принадлежали динлины и которую я склонен считать родственной европейской»[452]. Более решительно оценивал динлинов П. Н. Милюков: «Это несомненно европеоидная раса — но только в смысле тех «европеоидов», которые переселились в Сибирь. Затем они прошли обратным порядком северную Россию до Прибалтики»[453].

Потом Л.Н. уехал на Ангару искать «пегую орду», которой

интересовался Г. В. Вернадский[454]. Кто бы сейчас, в эпоху «выживания» и жесткого рационализма, мечтал найти что-то о «северных динлинах»?[455]

В отличие от классиков востоковедения, Л.Н. ставил особую задачу: дать сводную этническую историю всей Евразии, будущего государства-континента[456], всю ее историю от хунте до рождения Руси, проследить и объяснить взлеты и падения крупных этносов, ритмы и «кванты истории» (по настоятельным советам П. Савицкого), попытаться хотя бы в первом приближении дать определение понятия «этногенез». Перед Л.Н. стояла гигантская задача по временному охвату. На Гумилевских чтениях, происходивших в Москве в 1998 г., она была оценена даже как создание новой модели всемирной истории, ибо оказалось, что именно кочевники связали воедино судьбы оседлых культур, отдаленных друг от друга горами, степями и. пустынями[457].

Перед мысленным взором Л.Н. лежало гигантское пространство, на котором развертывалась эта история. Согласно П. Савицкому, это — огромный «прямоугольник степей» с «наибольшей не только в Евразии, но и во всем мире сплошной полосой районов, удобных для кочевника-скотовода, является северная полоса травянистых пустынь и примыкающая к ним с севера и запада область травянистых степей. Эту сплошную полосу степей и травянистых пустынь назовем по характеру картографических ее очертаний и по крайним рубежам простирания хингано-карпатским «прямоугольником степей» (подразумеваем Большой Хинган — меридиональный хребет на западном пределе Маньчжурии). С востока к этому прямоугольнику примыкает Захинганская островная Маньчжурия, с запада — «симметричная» ей Закарпатская венгерская степь. Также с севера (со стороны тайги) «прямоугольник степей» обрамлен островными степями, особенно частыми в условиях пересеченного рельефа Восточной Евразии (енисейская и ленская страна, Монголия и Забайкалье)[458].

Великий евразиец умел выражать это и поэтически:

> Ветровой, степной, необозримый
> Мир башкир, монголов и туркмен,
> Вековых приливов и отливов,
> Судьбоносных быстрых перемен![459]

Подход Л. Н. Гумилева к теме был неизмеримо масштабнее и перспективнее (ведь хунны для него — лишь начало истории Евразии) любых абстрактно-теоретических рассуждений тала:

«Была ли прогрессивной роль хуннов?» По такому скользкому пути пошел ненавистный ему профессор А. Н. Бернштам, выпустивший в 1951 г. в Издательстве ЛГУ «Очерк по истории гуннов». Через год появилась разгромная рецензия на нее, и не где-нибудь, а в «Большевике». За рецензией последовала еще пара «откликов» в специальных журналах[460]. В самом деле, о какой прогрессивной роли хуннов могла идти речь, если И. В. Сталин 6 ноября 1943 г. сравнил орды Аттилы с гитлеровцами, которые «вытаптывают поля, сжигают деревни и города, разрушают промышленные предприятия и культурные учреждения»[461]. Значит, автор «плетется в хвосте буржуазной историографии»[462].

Вторая претензия к Бернштаму состояла в том, что даже после классического труда И. В. Сталина он не отмежевался от марризма. Наконец, его критиковали за то, что он считал становление феодализма в Китае чуть ли не результатом гуннского нашествия, тогда как феодализм в Китае куда древнее (почти на 1000 лет), о чем говорил товарищ Мао Цзэдун[463].

Все это не надо понимать как просто некую огульную критику; рецензия в «Большевике» была написана специалистом высокого класса[464] и в целом выглядела убедительно. Сам Л.Н. считал, что попытка А. Н. Бернштама применить к доклассовому обществу социальные категории привела автора «к позорному разгрому из-за многочисленных передержек»[465]. Ученый совет Института истории материальной культуры, как и положено было, осудил позицию А. Н. Бернштама и предложил ему подготовить выступление в печати с анализом и причиной своих ошибок.

Не будем вдаваться в суть этих «проработок». Отметим лишь заметную безграмотность А. Н. Бернштама. Искажение имени русского геополитика Савицкого (он именует его Н. Савицким) — деталь. Анекдотично другое: он искренне считал, что «вардапет» — фамилия некоего арминского ученого, тогда как это уважительное обозначение учителя вообще. Не силен был Бернштам и в географии: описывая успехи гуннов в Европе, называет галльскими городами немецкие Вормс, Шпейер и Майнц; Днепр именуется у него Истром, хотя античные авторы так называли Дунай[466].

Сам А. Бернштам не чуждался идеологических штампов, и даже куда более жестких, чем его оппоненты. Вот один из шедевров его стиля: «В 20-х гг. XX в. в связи с загниванием идеологии (!) империалистического мира наблюдаются попытки создать особую науку — кочевниковедение. Усиленно работали в этом направлении Н.(!) Савицкий, Н. Толль и другие. «Духовным отцом» этих теорий явился яркий миграционист (?!) и реакционер

М. Ростовцев»[467].

Таким образом, нелюбовь Л.Н. к А. Н. Бернштаму, мягко выражаясь, была достаточно мотивирована, особо учитывая вероятность его вины во «второй Голгофе». Это прорывалось во многих письмах из омского лагеря, своего рода откликах Л.Н. на «руководящую статью» — рецензию на «Очерк истории гуннов» Бернштама. «Я рад, что мерзавец получил по заслугам, — писал Л.Н., — но удивительно, за что на меня ополчились; я говорил то же самое, что напечатано в «Большевике»[468]. А в другом письме к А.А. добавил: «Бернштам — лжеученый невежда и маррист»[469]. Как видно, принимал иногда официально-прорабатывающую терминологию и Л.Н., но для этого его надо было сильно разозлить.

Вернемся в 1956–1957 гг. «Сверх-идея» всей трилогии (кроме, разумеется, создания истории двух тысячелетий Евразии): «рог западной гордыни должен быть сломлен!»[470] Л.Н., работая над неизданными ранее рукописями Н. Я. Бичурина, открыл там много нового и делился своим замыслом с П. Савицким: «Наконец-то можно будет построить историю Евразии с такой же полнотой, какая есть в истории Европы и Ближнего Востока. Тогда сама идея европоцентризма будет скомпрометирована, ибо она основывалась на том, что об Азии и Сибири знали мало, а неизвестное считали несущественным. Но особенно наполняется сердце гордостью потому, что эти новые данные получены не с Запада, а из традиций нашей отечественной науки» (выделено мною. — С. Л.)[471]. Эти мысли развиваются Л.Н. позднее в эссе «Черная легенда».

В странах Западной Европы предубеждение против неевропейских народов родилось давно. Считалось, что азиатская степь — обиталище дикости, варварства, свирепых нравов и ханского произвола. Взгляды эти были закреплены авторами XVIII в., создателями универсальных концепций истории, философии, морали и политики[472].

Из Праги эту линию всячески поддерживал П. Савицкий: «Кто умеет учитывать мощь организационной идеи, скажет, что история кочевников от древних хунну в эпоху до нашей эры и до монголов XIII-XIV вв. (и даже позже) никак не отстает по размаху и внутренней насыщенности ни от греко-римской, ни от мусульманской. Я сказал бы даже по героизму своему (каковы бы ни были его корни!) и по широте своего географического горизонта она превосходит и ту, и другую. Малочисленность кочевников подчеркивает и усиливает звучание этого героизма»[473].

Эта линия, предваряющая «Черную легенду», — сквозная,

главная во всей «Степной трилогии» вплоть до «чисто» российских ее сюжетов. Не надо, однако, думать, что позиции Л.Н. и евразийцев совпадали во всем. Это не так. В «сверх-идее» трилогии есть еще одна пусть побочная, немного замаскированная линия — внутри-азиатская. Откровеннее всего она выражена в авторском предисловии к книге «Хунны в Китае», обещании дать «целостное описание средневековой степной культуры, значение которой для всемирной истории заключается в том, что она остановила ханьскую и танскую агрессию[474], обеспечив тем самым оригинальное развитие всех культур Евразийского континента[475]. Это уже нечто новое среди задач трилогии.

Ну, а при чем здесь хунны? И на это у Л.Н. есть ответ: четверть века династия Хань стремилась доставить Китаю господство над Азией. Подобно тому как в Средиземноморье возникла Pax Romana, на Дальнем Востоке чуть было не была создана Pax Sinica. Свободу народов Великой степи отстояли только хунны[476]. Для нас важно, что кочевой щит не позволил заселить Сибирь с юга. Более того, в поздней работе Л.Н. подчеркивал: «Какое счастье, если подумать, что китайцы не добрались до Европы на рубеже нашей эры! А ведь могли бы, если бы их не задержали хунны, главный противник империи Хань»[477].

Все степные этносы ощущали «феномен соседства», все они жили на своей родине, в привычном ландшафте, в своем «месторазвитии» довольно благополучно. Но проникая в Китай или принимая китайцев у себя, они, согласно Л.Н., гибли, равно как и при контакте с другими этнически чуждыми мирами. «Контакт на суперэтническом уровне давал негативные результаты»[478].

Но какое отношение все это имеет к современности? Чистая теория, умствование, интересное лишь для кабинетных ученых? Оказывается, не так... Противопоставление «цивилизованных земледельцев» (Китай) и варваров-скотоводов имеет давние корни, прочно вошло в специальную литературу, а через нее — и в «масс-медиа». Китай, отгородившийся от степных орд Великой стеной, отбивающийся от агрессоров — один из таких ложных стереотипов, продержавшихся до нашего времени.

Известный французский географ Пьер Гуру в 50-х гг. XX в. писал, что Китай создал цивилизацию, уже полностью сложившуюся в течение второго тысячелетия до нашей эры; примитивные цивилизации Центрального и Южного Китая были поглощены самой блестящей из существовавших цивилизаций; китайской цивилизации посчастливилось не встретить на огромной площади другой высшей цивилизации, способной

оспаривать ее господство в этом районе. Поскольку кочевники не обладали ни достаточной численностью, ни учреждениями, ни идеями, которые были бы в состоянии изменить интеллектуальную, моральную, общественную жизнь этой страны[479].

Поразительно! Знал ли вообще французский ученый о Великой Монгольской империи XIII в. Все, что было здесь ценного в этом огромном регионе, оказывается, дал один Китай! Эта линия продолжается через века, вплоть до наших дней. Но Китай был агрессором, а не жертвой. Это мысль и Л.Н., и современных исследователей. Хотя всегда в той или иной форме наличествовал механизм угнетения и утверждения превосходства завоевателей, но государства соседних с Китаем народов являлись всегда все-таки государствами этих народов — гуннов, тюрков, тибетцев и т. д., а не частями некоего культурно-территориального исторического единства. Чжунго неизменно существовал три тысячи лет. Е. И. Кычанов пишет, что мы встречаем со стороны некоторых китайских историков стремление все многонациональное население современного Китая чуть ли не с неолита считать чжунхуа миньцзу — «народами Китая...». Антиисторизм такого подхода очевиден[480].

Л.Н. писал о наличии форм евразийской культуры в областях земледельческих, но населенных выходцами из степей. К ним он относил в первую очередь Северный Китай, где начиная с IV в. мощная инфильтрация степняков создала особый этнический субстрат, просуществовавший до VIII в. и создавший два расцвета культуры Вей и Тан, причем последняя имела общемировое значение. За пределами своего ландшафта наблюдалось расслоение; китайцы откололись от тюрко-монголов, что на пользу дела не пошло ни для той, ни для другой стороны. Гумилев считал, что есть все основания расширить границы степной культуры за историческое время и выделить группу гибридных образований с точки зрения расцвета и накопления культурных ценностей[481].

Все, оказывается, не так просто с «законной» и вечной доминацией Китая! Однако эти тезисы никоим образом не говорят о каком-то «антикитайском настрое» Л.Н. Это совсем не так. В письмах матери из Караганды и Омска он многократно возвращался к китайской теме и только сугубо уважительно!

Для него самыми интересными книгами там были китайские, особо по династиям Тан и Сун. Он, по собственному признанию, «влюбился в Китай и наши (лагерные. — С. Л.) китайцы это ценят, приглашают меня на чай и беседуют об истории»[482]. В другом письме, в связи с тем что А.А. переводит и китайских поэтов,

пишет: «Доволен, что ты начинаешь чувствовать древний Китай. Нет ничего более неверного, чем представление о китайской «застойности»[483]. Дело, значит, не в какой-то предвзятости — ее нет, а в стремлении быть объективным. Личные симпатии — одно, а правда истории — другое.

Итак, в чем же своеобразие гумилевского «Хунну»? Здесь легко сбиться на краткий пересказ солидной книги, попытку дать некий «дайджест». Но не историку (а может быть, и историку без дара Л.Н.) это явно не под силу, хотя какой-то «краткий путеводитель» по Степной трилогии неизбежен, поскольку без минимума «фактуры» невозможно и пытаться показать подход Л.Н. к теме.

Особенность этой книги, по-моему, состоит в том, что прослеживается первый и удивительный подъем кочевого этноса, перерастающего потом в комплекс этносов и суперэтнос. А дальше пойдет второй виток этногенеза (тюрки), третий (монголы), но хунну — первые! «История — базис социологии» — считал знаменитый Карл Поппер.

В чем здесь секрет истории? Почему поднялся и погиб хуннский суперэтнос? Ведь хунны просуществовали свои 1500 лет и оставили в наследство монголам и русским непокоренную Великую степь[484].

И еще вопрос: почему мозаичный хуннский суперэтнос, включавший еще сяньбийцев, табгачей, тюркютов, уйгуров, смог быть целостностью долго и успешно противостоять другим суперэтносам, и в первую очередь древнему Китаю, относившемуся к Хунну с нескрываемой враждебностью? Почему же для хуннов была неприемлема китайская культура?

7.5. Как могло случиться?

В III в. до н. э. древние хунны уже стали хозяевами всех степных пространств от пустыни Гоби до сибирской тайги, а на берегах Енисея и Абакана, рядом с бревенчатой избой появилась круглая юрта кочевника[485]. Как могло такое произойти, и в чем феномен хуннов?

Раньше переселение их предков с южной окраины Гоби на северную датировалось XII в. до н. э., но в работе Л.Н. от 1989 г., когда были учтены датировки экспедиции С. И. Руденко, эта дата передвинулась на X в. до н. э.[486]. Гумилев считал, что связная история народов Великой степи может быть изложена, начиная лишь с III в. до н. э., когда племена Монголии были объединены хуннами, а полулегендарные скифы Причерноморья сменены сарматами?[487]

Месторазвитие этноса, согласно взглядам Л.Н., должно сочетать два или более ландшафта[488]. Положение это, принятое как некий общий закон, весьма спорно. П. Савицкий возражал и достаточно убедительно: культура майя оставила свои наиболее поразительные памятники на чисто равнинном Юкатане, среди обстановки, отвечающей понятию чисто лесного ландшафта (некоего аналога нашей тайги)[489].

Так или иначе, но в 209 г. до н. э. произошла консолидация родов и возникла сильная центральная власть. Этот год стал важной датой в истории хуннов; к власти пришел шаньюй («высочайший»), а в другом месте Л.Н. называет по-современному — «пожизненный президент[490]. Модэ (или, по Е. Кычанову, Маодунь)[491] был человек жесткий и решительный, умный и смелый, быстро прибравший к рукам всю степную часть Маньчжурии, оттеснивший на запад согдийцев и покоривший саянских динлинов.

В 200 г. до н. э. Модэ победил также крестьянского вождя Китая Лю Бана и заставил его заключить «договор мира и родства». Это представляло загадку, ибо Хунну уступало Китаю по численности населения в десятки раз. Согласно евнуху, перешедшему от китайцев к одному из шаньюев, численность хуннов не может сравниться с населенностью одной китайской области, а одной пятой китайских богатств хватило бы, чтобы купить весь хуннский народ[492]. «И эта горсточка на основах кочевого быта, — заметил П. Савицкий, — держала в страхе Китайскую империю»[493].

Согласно Л. Гумилеву, хуннов в III в. до н. э. было около 1,5 млн, но они сражались на равных против объединенного Китая с его 59 млн[494]. При этом хунны не искали территориальных приобретений, а отражали натиск. Китайская политическая мысль, по выражению Л.Н., была прикована к «хуннскому вопросу»[495]. Китайцы испробовали разные методы: «торговую войну» — лимитирование поставок хлеба и тканей степнякам; искусную дипломатию — попытки расколоть кочевые племена, и прямое военное вмешательство.

Все это, как полагал Л.Н., ставит под сомнение утверждение о постоянной войне «злых Авелей» против «милых и трудолюбивых Каинов». Секрет их отношений в чем-то другом. Этот «секрет» был очевиден трезвым людям еще до н. э. Жена хуннского шаньюя Модэ в 202 г. до н. э., когда хунны окружили ханьского императора у деревни Байдын, в северном Шэньси, посоветовала ему заключить мир без территориальных приобретений, ибо, говорила она, хунны, приобретя китайские земли, все равно не смогут на них жить. Модэ согласился с умной женой и заключил с

императором «договор мира и родства», — дипломатическую форму капитуляции. Все остались жить дома[496]. Это был, по словам Л.Н., беспримерный успех для хуннов, поскольку до сих пор ни один кочевой князь не мечтал равняться с китайским императором[497]. Дело дошло до того, что Китай стал источником доходов Хунну, посылая туда «подарки» — красивую форму дани.

Военная история кочевого мира, согласно образному выражению Савицкого, — это «как бы взрыв атома»[498]. Именно для защиты от кочевых народов была построена Великая Китайская стена, протянувшаяся на 4 тыс. км. Высота ее достигала 10 м, и через каждые 60–100 м высились сторожевые башни. Л.Н. пишет, что, когда работы были закончены, оказалось, что всех вооруженных сил Китая не хватит, чтобы организовать эффективную оборону на стене[499].

Интересно, что циньское правительство, возводя стену, преследовало не только цели защиты — люди бежали из Китая, бежали от налогов, а их почти не было у хуннов, у них было «весело жить». Но дело не в деталях — не в километрах стены, не в кубометрах материалов для нее, — кочевой мир был опоясан рядами укреплений цивилизованных, оседлых культур, и на юге Великая Китайская стена разделяла контрасты культур и контрасты природы: влажный муссонный умеренно-теплый Китай с мягкой и недолгой зимой на юге, и сухая Монголия с невыносимой жарой летом и сильнейшими морозами зимой.

Борьба кочевников и Китая велась в основном за район, где расположены нынешние провинции КНР — Ганьсу, Шэньси и Шаньси, и так называемую тогда «Западную окраину Китая» — переход от лесистых гор к безлесным, сухим склонам и сухим плато степей. Кочевники проникали за Китайскую стену в основном там, где она охватывала, включая в Китай, участки степной природы. Согласно Савицкому, упомянутые горные хребты и есть граница между азиатским и европейским мирами[500]. Между этими хребтами и пустыней Гоби лежит «глассис степей». В китайской литературе I в. до н. э. хребет Иньшань (к северу от излучины Хуанхэ) «богатый травою, деревьями, птицами и четвероногими» назван «логовищем шаньюев»[501].

В абсолютной пустыне скотовод не может держаться, объяснял П. Савицкий. Именно этим определяется и характер геополитической истории восточнохуннской державы. Это как бы история переброс через пустыню. Шаньюй держится в степях и горных хребтах около китайской стены. Если же он оттуда вытеснен, то должен уходить к северу от пустыни[502]. Тезис П. Савицкого подкрепляется и тем, что и после эпохи хуннов,

присяга на верность Темучину (Чингисхану) звучала так: «Если преступим твои приказы... отними у нас жен и имущество и покинь нас в безлюдных пустынях»[503].

Подъему Хунну в первом тысячелетии до н. э. способствовала и природа — увлажнение степи в этот период. Во II в. до н. э. хунны заводят в Джунгарии земледелие. Когда китайцы были сильнее (до Модэ), их набеги на хуннов давали им тысячи, а то и сотни тысяч голов скота. И это в местности, представляющей сейчас пустыню![504]

Феноменальные военные успехи хуннов Л.Н. позже объяснял тем, что они находились в фазе пассионарного подъема. Понятия «народ» и «войско» у них тогда совпадали. Их военная сила стремительно росла в эпоху Модэ. Китайцы оценивали численность его войска от 60 до 300 тыс. Последняя цифра кажется нереальной; оценки современной науки дают от 50 до 140 тыс.[505]. Л.Н. отмечал, что тактика хуннов состояла в изматывании противника: отогнать их было легко, разбить трудно, а уничтожить невозможно.

«Конница кочевников — это сверхтанки прошлых лет», — писал П. Савицкий[506]. Конь был основой жизни кочевника, близким другом своего хозяина. Они подбирали коней определенной масти для каждого отряда. Основатель хуннского могущества Модэ (209–174 г. до н. э.) имел четыре войсковых подразделения, определявшихся мастью лошадей: вороные, белые, серые и рыжие. Мастями хуннских лошадей заинтересовались и китайцы; им пришлось заинтересоваться, ибо их лошади были малорослы и слабосильны, не могли сравниться с хуннскими. В поисках нужной породы они обратились к «западным странам», а западом для них была и Фергана, где китайский агент нашел нечто подходящее. Он доложил своему императору У-ди (126 г. до н. э.), что там есть добрые лошади (аргамаки), которые происходят от «небесных лошадей и имеют кровавый пот». Эта же легенда о кобылицах пяти мастей фигурирует еще в одном китайском источнике.

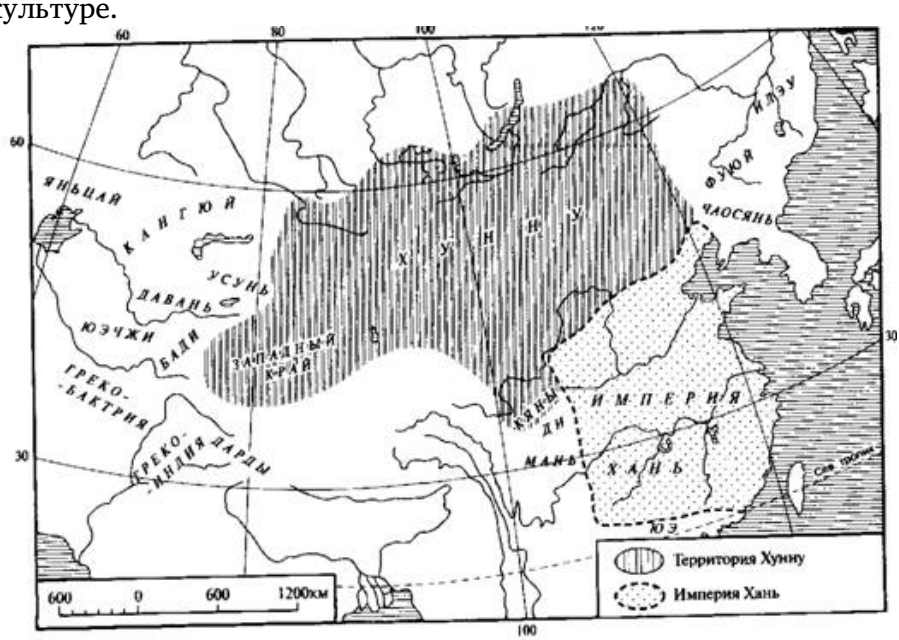
Итак, на карте Срединной Азии около 135 г. до н. э. мы видим гигантское государственное образование Хунну, протянувшееся от «Западного края» — бассейн реки Тарим, до Байкала — на севере и почти до Желтого моря — на востоке[507]. На юге оно включало северную излучину реки Хуанхэ, то есть доходило до Великой Китайской стены, а кое-где и переходило южнее нее. Империя Хань как бы сжалась на юго-востоке от гигантского массива Хунну (см. карту № 1).

Успехи хуннов, как считали и евразийцы, были связаны с традициями прошлого. Ни одна историческая среда, по мнению

П. Савицкого, не может дать такого подбора образцов военной годности и доблести, какой дает кочевой мир[508].

Таким образом, превосходство «цивилизованных земледельцев» над варварами-кочевниками — это злой миф истории. Ведь и кочевой быт отнюдь не предполагал беспорядочного плутания по степи. Кочевники передвигались весной на летовку, расположенную в горах, где пышная растительность альпийских лугов манила к себе людей и скот, а осенью спускались на ровные малоснежные степи, в которых скот всю зиму добывал себе подножный корм. Места летовок и зимовок у кочевников строго распределялись и составляли собственность рода или семьи[509].

Родовой строй стал социальной основой державы Хунну. Успехи хуннов в эпоху Модэ и его преемников объясняются быстрым переломом в политической системе, социальном строе и культуре.



Карта 1. Срединная Азия около 135 г. до н. э.

Л.Н. приходит к следующим выводам: во-первых, хунны — отнюдь не орда, а единое племя, разделенное на роды; во-вторых, их политическая система была не примитивна, а довольна сложна и гибка. Во главе государства стоял «высочайший», но это не царь, а «первый среди равных» старейшин, которых было 24 (по числу родов). Вначале он был выборным, позже — наследным. Ниже его стояла система вельмож и чиновников пяти классов (члены рода шаньюя). Наряду с аристократией крови существовала аристократия таланта — служилая знать, не

относящаяся к родственникам шаньюя. Их называли «Гудухеу» — князь счастья. Последнее обстоятельство особо подчеркивал Л.Н., так как оно очень «подпирало» его концепцию пассионарности. Эта группа вообще была связана не с отдельными родами, а с центральной системой управления, что, по Гумилеву, «крайне характерно для пассионариев всех времен и народов»[510].

Государственное право предусматривало смерть за нарушение воинской дисциплины и уклонение от воинской обязанности. Нравы хуннов были суровы, а суд короткий и строгий. По китайским свидетельствам, преступность у них выражалась едва несколькими десятками узников на целое государство[511]. Именно эти чрезвычайные законы, весьма характерные для фазы пассионарности, способствовали консолидации хуннов и превращению их в сильнейший этнос Срединной Азии.

Сложнее определить особенности гражданского права. Видимо, в родовом владении у них находились пастбища, а неудобные земли принадлежали всему хуннскому народу. «Земля есть основание государства», — провозглашал Модэ. Гумилевское утверждение о государстве Хунну позже оспаривалось в дискуссии 60-х гг. И все-таки он, видимо, был прав, если вышедшая в конце 90-х гг. книга известного русского востоковеда Е. Кычанова так и называется: «Кочевые государства от гуннов до маньчжуров». В ней прямо говорится о ранней государственности в самобытных и оригинальных формах[512].

Хунны знали рабство, но в неволе у них были в основном пленники, использовавшиеся на хозяйственных работах. Современный китайский историк считает, что они составляли 1/10 населения хуннского государства[513].

Запутаннее обстоит дело с налогами. Л. Гумилеву, идущему по линии противопоставления «Хунну — Китай», хотелось бы, чтобы их совсем не было у хуннов. Он пишет: «Степнякам вообще чуждо понятие налога, свободный воин не согласен ничего никому платить»[514]. Увы, здесь Л.Н., видимо, ошибся; во всяком случае, покоренные народы платили хуннам кожами и полотном. Западный край был обложен, кроме того, и «данью кровью», т. е. необходимостью участия в походах хуннов. Была и какая-то система налогов со скота и у «местных»[515].

Противопоставление «Хунну-Китай» или «степняки-земледельцы» характерно и для евразийцев. Так, П. Савицкий с удовольствием приводил следующий пример. Евнух, бежавший из Китая, обличал китайцев: «Ваши обычаи и ваше право таковы, что класс восстанавливается против класса. И одни принуждены быть рабами, чтобы дать другим возможность жить в роскоши».

Евразиец № 1 отмечал, что это, пожалуй, самое раннее, дошедшее до нас противоположение «срединного мира» периферическому… Основу гуннской мощи он видел в независимости от Китая по части всех реальных потребностей[516].

Отвлечемся от конкретики и ответим на типичное обвинение Л.Н. в «биологическом подходе к прошлому»[517]. Спрашивается: какой подход он использовал для объяснения взлета и успехов Хунну? Ответ однозначен: социально-экономический анализ, причем гораздо более трудный, чем при рассмотрении поздних эпох, так как материал приходилось собирать по крупицам! Написав это, я обнаружил подтверждение у П. Савицкого; в одном из писем он именно за это хвалил Гумилева: «Вы делаете попытку глубокого социального анализа истории кочевников. Я читал немало литературы по этим вопросам. Но такой попытки еще не встречал. Бог Вам в помощь!»[518]

Если где-то потом, углубляясь в проблемы этногенеза, Л.Н. нарочито обострял некоторые формулировки, иногда отбрасывал (для чистоты эксперимента?) социально-экономические факторы, то это лишь заострение, акцент и не более того.

Культура хуннов — одна из спорных проблем. Вроде бы у них не было письменности, поскольку она не была обнаружена. Но это не самый сильный аргумент, тем более что китайский дипломат (где-то в 245–250 гг.) сообщал как о чем-то само собой разумеющемся — о хуннской письменности[519]. Китайцы эпохи Хань потому и считали хуннов диким народом, что признавали единственным источником культуры только свою страну.

Между тем хунны могли выбирать: на востоке лежал ханьский Китай, на западе — остатки разбитых скифов и победоносные сарматы. «Кого же надо было полюбить?» — спрашивал Л.Н. и отвечал (ссылаясь на раскопки царского погребения в Ноин-уле, где лежал прах Учжулю-шаньюя, скончавшегося в 18 г. н. э.), что для тела хунны брали китайские и бактрийские ткани, ханьские зеркала, просо и рис, а для души — предметы скифского «звериного стиля»[520].

Рассказать какими угодно словами, что такое «звериный стиль», невозможно. Читатель должен или сходить в Эрмитаж, или, если он не петербуржец, посмотреть в библиотеке изданный в 1958 г. альбом «Древнее искусство Алтая»: он не пожалеет. Во всяком случае, П. Савицкий, а он и так хорошо знал, что такое «звериный стиль», был потрясен этим альбомом. «Вот поистине ценности всемирно-исторического порядка», — писал он Г. Вернадскому в США. А в письме Л.Н. Савицкий не сдерживал своего восхищения: «Каковы горный баран и олень, тот и другой в стремительном движении! Более совершенных и более

современных (сверхсовременных!) вещей я вообще не знаю в искусстве нашей планеты... Еще с большей уверенностью, чем два месяца назад, повторяю: кочевнический «звериный стиль» ставлю выше всей греко-римской скульптуры»[521].

Савицкий считал, что памятники кочевнического искусства можно разделить на три основных «пошиба»: классический, фантастический и графический; последнему, по его мнению, мог бы позавидовать любой современный абстракционист[522]. «Звериный импрессионизм» был, по-видимому, стилем гуннской державы, так сказать, «гуннским ампиром»[523].

Вернемся еще раз к тому, что же хунны брали у Китая «для тела»; не были ли они просто эпигонами, никогда и ничего не изобретя сами? Л.Н. многократно подчеркивал обратное. Он приводил несколько характерных примеров. Штаны были изобретены кочевниками еще в глубокой древности. Когда в IV в. до н.э. правитель древнекитайского царства Чжао решил реорганизовать войско и завести конницу, выяснилось, что конников надо одеть «на варварский манер» — т. е. в штаны, которых китайцы никогда не носили. Правитель оказался в трудном положении, о чем и сказал своим приближенным: «Сам-то я уверен, что сделать это необходимо, но боюсь, что Поднебесная будет смеяться надо мной»[524].

Стремя появилось в Центральной Азии между 200 и 400 гг. Правда, кто придумал стремя — сяньбийцы или другой народ, до сих пор неясно. Кочевая повозка на неких деревянных обрубках сменилась сначала коляской на высоких колесах, а затем — вьюком. Кочевники изобрели изогнутую саблю, вытеснившую прямой меч, а их длинный лук метал стрелы на расстояние до 700 м. Круглая юрта считалась в то время наиболее совершенным видом жилища[525]. Недаром она дошла до наших времен и ее можно видеть на горных пастбищах Киргизии!

Л.Н. делал широкие выводы по линии сравнений «Азия — Европа». «Таким образом мы должны признать, — писал он, что хунны на заре своего пассионарного взлета были не лучше и не хуже, чем, скажем, франки, арабы, славяне и древние греки в аналогичном этническом возрасте»[526].

Однако рост пассионарности, согласно Гумилеву, в этнической системе благотворен лишь до какой-то степени. После подъема наступает «перегрев», и для хуннов он наступил в середине I в. до н. э., а закончился в середине II в. Вместе с единством этноса была утрачена значительная часть его культуры и даже исконная территория — монгольская степь[527]. Горбоносые бородатые хунны покидают родную страну на берегах Селенги и Онона. «От могучей державы, — заметил Л.Н., — остались только

кучки беглецов»[528].

Против Хунну работали два фактора: внешний и внутренний. «Фактор соседства» (Китай) вызывал смещение исторического процесса. «На востоке, — писал Гумилев, — так влияли китайцы, погубившие державу хуннскую и тюркскую»[529]. Выдержав три войны с Китаем, хунны потеряли много боеспособных мужчин; это вызвало ослабление державы. В ней сложились две противоположные по психическому складу «партии». Южная (консервативная часть общества — «тихая») ушла к Китайской стене. Ханьское правительство дало им возможность селиться в Ордосе и на склонах Иньшаня, используя их в борьбе против северных хуннов. В Китай пришли не завоеватели, а бедняки, просившие разрешения поселиться на берегах рек, чтобы иметь возможность поить скот[530]. На север ушла пассионарная часть, сохранившая традиции покойных шаньюев — «право сражаться на коне за господство над народами»[531]. К 97 г., когда Хунну было сокрушено, это были уже совсем другие хунны...

История «северных хуннов» достаточно сложна. Так называемые «неукротимые» к 158 г. н. э. достигли Волги и Нижнего Дона, где вошли в соприкосновение с аланами. История хуннов с 158 г. до 350 г. совершенно неведома. Л.Н. писал, что за 200 лет они изменились настолько, что стали новым этносом, который принято называть «гунны»[532].

Аммиан Марцеллин (330 — ок. 400 гг.) — офицер римской армии, участвовавший во многих восточных походах и знакомый с описываемыми событиями не понаслышке, подтверждает локализацию гуннов на Средней и Нижней Волге. Правда, для него это было где-то далеко, «за болотами, у Ледовитого океана». По его описанию, и здесь он более достоверен, чем, рассуждая о географии, для гуннов не типичны монголоидные черты: скуластость или узкие глаза[533]. По мнению Г. Вернадского, это не совсем так: «Более или менее общепринятым считается мнение, по которому орда гуннов тюркского происхождения; к ней, однако, присоединились также угры и монголы, а на последних этапах она включает также некоторые иранские и славянские племена»[534].

Лишь несколько страниц в «Хунну» посвящено уже не хуннам, а гуннам. Здесь Л.Н. суров, но вряд ли справедлив. Он от души их жалеет, сравнивая с хуннами: те строили избы на зимовках, но ничего подобного не было у гуннов. Зимой они кочевали по разным местам, «как будто вечные беглецы с кибитками, в которых они проводят жизнь»[535]. Главное отличие гуннов от хуннов, согласно Гумилеву, состояло в утрате стереотипов поведения, связанных с политической организацией, и прежде

всего — института наследственной власти. Гунны сокрушают все, что попадет на пути; это — деградация, потеря того, что было достигнуто в культуре и организации прошлого у хуннов[536].

По-другому оценивает гуннов П. Савицкий. Он пишет о «драматической напряженности гуннской истории». Великий завоеватель Мотуна (Модэ) объединяет восточноевразийские степи. Созданная им держава, сначала развивается с успехом, а затем все более клонится к упадку. Трагическое метание вождей и масс между подчинением Китаю и борьбой за независимость, часто в условиях голода и холода. Неподчинившиеся уходят в срединноевропейские степи. Настает видимая или действительная двухвековая передышка. Затем следует ошеломляющий прыжок на запад; занятие в несколько лет западноевропейских степей, а несколько позже — Аттиловы походы в Европу. По Савицкому, — история гуннов знаменует собой историческое единство Старого Света. Это было «завоевание-переселение» в отличие от «завоевания-расширения»[537].

Отправная база гуннского движения была потеряна гуннами уже ко II в. нашей эры. Савицкий следующим образом пояснил Л.Н. свое расхождение с ним по поводу истории гуннов: «Поскольку Вы считаете, что в первые века н. э. степь была так сильно обескровлена, мне не совсем ясно, откуда же, по Вашему мнению, взялись гунны великого Батюшки-Аттилы? Ведь они с большим треском и блеском действовали уже в первой половине и в середине V в.»[538].

Жители Лютеции (Парижа) уже хотели бежать из города, страшась орд Аттилы. Он, правда, немного не дошел до Лютеции, но опустошил Страсбург, Шпеер, Вормс и Майнц, осадил Орлеан, то есть «гулял» уже и вдоль Луары. Далеко зашел «Батюшка-Аттила», и был он, конечно, пассионарен, а не «перегрет». В дальнейшем Л.Н. «смягчился» и к гуннам, заявив, что «гунны — это возвращение молодости хуннов»[539].

Книга «Хунну» вышла в 1960 г. В ту пору географические сюжеты еще не занимали нашего героя, но позже он добавил очень существенную причину заката империи Хунну. «Начиная с I в. до н. э., — пишет Л.Н., — в хрониках постоянно отмечаются очень холодные зимы и засухи, выходящие за пределы обычных. Заведенное хуннами земледелие погибло». Во II-III вв. н. э. хунны покидают родину и занимают берега Хуанхэ, Или, Эмбы, Яика и Нижней Волги[540], III в. н. э. — кульминация процесса усыхания. Это уже серьезное объяснение, добавляющее важный фактор — природный.

С первых публикаций книг «Хунну» и «Хунны в Китае»

прошло несколько десятков лет. Это первые капитальные труды Л.Н., к тому же писавшиеся поначалу для узкого круга «посвященных». Первые работы Л.Н. отчаянно трудны, даже если украшены нарочито публицистическими названиями глав. Они загромождены трудно воспринимаемыми именами, названиями, этнонимами, калейдоскопом дат. Демонстрация огромной и реальной эрудиции? Конечно, Л.Н. был склонен к этому всегда, но получалось это потом удивительно естественно, как и демонстрация его феноменальной памяти на лекциях. Здесь этой естественности нет. В 50–60-х гг. Л.Н. только учился писать популярно; это не давалось сразу.

7.6. Расправа с «новичком»

В чем назначение СОВЕТА?
В Совместных наложеньях ВЕТО,
А если так, то и СОБРАНЬЕ —
СОгласное занятье БРАНЬЮ?

Ю. Ефремов

Перед тобою чувствуют они себя маленькими, и их низость тлеет и разгорается против тебя в невидимое мщение.

Ф. Ницше

Итак, «Хунну» состоялись, книга вышла, пусть и ничтожным тиражом, но ведь это — первенец. Напомню, что список печатных работ Л.Н. насчитывал 6 небольших статей, автору которых было уже 48 лет.

Надо было радоваться книге, и Л.Н. радовался, вряд ли предвидя последующие события. Хотя мог бы, зная нравы наших «научных сообществ». Я имею в виду не востоковедов страны или даже города, а «узкие» сообщества, «малые сектора» в академических институтах — китаистов, тибетологов и т. д. Именно они определяли характер дискуссий. Л.Н. должен был знать этот настрой по своей горькой жизни в Институте востоковедения. Откровений на этот счет немало в его письмах из лагерей 50-х гг.: «Настроение у меня вообще спокойное, т. к. я решил, что я умер и нахожусь в чистилище, где не может быть иначе. Воскреснуть что-то не хочется, особенно если вспомнить веселую жизнь в Институте востоковедения. Здесь тоже много

прохвостов, особенно из урок, но там больше!»[541]

Но пройти обсуждение было необходимо. А коллеги беспощадны и злы. В самом деле — кто такой Гумилев? Да как он посмел, да мы ему покажем его законное место! И показали... «Хунну» вышли в 1960 г., а уже в середине следующего года в академическом журнале «Вестник древней истории» появилась разгромная рецензия К. Васильева. Резюме было убийственным: «Недостатки рецензируемой книги не исчерпываются перечисленными выше. Здесь разобраны лишь наиболее характерные случаи, корни которых кроются в трех основных причинах: в незнакомстве с оригиналами используемых источников, в незнакомстве с современной научной литературой на китайском и японском языках, в некритическом восприятии ряда устаревших концепций, представляющих вчерашний день востоковедческой науки»[542].

Дальше — больше. В сентябре 1961 г. в Эрмитаже и Ленинградском отделении Института народов Азии АН СССР (благо они на одной набережной — Дворцовой) прошло обсуждение книги Л.Н. и рецензии на нее. Замечания оппонентов, и прежде всего того же К. В. Васильева, были таковы:

— Переводы И. Бичурина, выполненные 100 лет назад, на которых базируется Л.Н., не всегда отвечают требованиям современной науки;

— Л.Н. не знает китайского и японского, а многие труды по истории хуннов вышли именно на этих языках; отсюда «море» частных и не очень частных ошибок;

— Датировка начального этапа истории хунну-сюнну у Л.Н. совершенно произвольна;

— Нет никаких известий о европеоидности динлинов, а Л.Н. представляет это не как гипотезу, а как аксиому.

Вывод Васильева весьма резкий: книга Л.Н. — «это пересказ общеизвестных переводов, не анализирующая новых материалов, не вводящая в оборот новых, оригинальных фактов, не вносит ничего принципиально нового в историографию древней Центральной Азии»[543].

Слава Богу, вел это заседание весьма авторитетный ученый, в ту пору заведующий библиотекой Эрмитажа, профессор Матвей Гуковский. Он дал отпор критикам с присущим ему юмором, заметив, что ученые делятся на два типа: «мелочеведов», внимательно следящих за мелочами, и синтетиков, строящих целостные концепции. В науке впереди идут именно вторые, а «мелочеведы» следуют за ними, исправляя их частные ошибки. По мнению М. Гуковского, рецензия К. Васильева проникнута враждебным тоном, которого не заслуживает даже плохая книга,

а Л. Н. Гумилев написал хорошую книгу.

Так же оценил ее директор Эрмитажа, профессор М. И. Артамонов: «Невозможно требовать от одного человека одинаково высокой исторической и филологической подготовки. Спор о праве историка пользоваться имеющимися переводами беспредметен. Конечно, Л. Н. Гумилев вправе был работать с подобными переводами, тем более, что он создавал обобщающий труд, а не частное исследование, устанавливающее определенный факт или поправку к его истолкованию»[544].

Старейшина советского востоковедения академик В. В. Струве отметил, что книгу Л.Н. невозможно вычеркнуть из списка научной литературы; насчет переводов Би-чурина он сказал, что, за неимением новых переводов источников по истории Срединной и Центральной Азии, нецелесообразно отказываться от работы с этим весьма ценным источником[545].

Кроме всего, были отмечены стиль и значение книги Л.Н. для «выхода» науки на более широкое поле, а не только для научной элиты. Работа Л.Н. характеризовалась как «образец яркого, увлекательного изложения для широкого читателя», что проглядел главный рецензент. Сам Л.Н., отвечая на вывод К. Васильева о «пересказе накопленного наукой материала», бодро отметил, что то же самое можно сказать об «Истории России» Соловьева, «Истории Рима» Моммзена и «Истории древнего Востока» Тураева.

Казалось бы, вторжение новичка на поле «хунноведов» обошлось еще довольно благополучно; его не дали разгромить и отлучить, встреча вроде бы закончилась «вничью». Ничего подобного. «Ничья» никак не устраивала критиков Л.Н., и в декабре того же года они организуют «продолжение дискуссии». Эрмитажное поле уже не устраивало; обсуждение перенесли в более «надежное» место — в Отделение Института народов Азии АН СССР.

Гумилев в то время был болен. Нет автора? Тем лучше, проведем все без него: «Карфаген должен быть разрушен!». Естественно, «новичок» был примерно наказан. Обсуждение в декабре было уже «театром одного актера» — все того же рецензента, а престарелый академик В. В. Струве (достойнейший человек, смело заступившийся за Л.Н. в годы его «второй Голгофы») в заключительном слове почему-то защищал уже не автора, а... рецензента[546].

Один из парадоксов судьбы Л.Н. в том, что друзья-евразийцы за рубежом были куда оперативнее доморощенных критиков. Они были сверхоперативны, ибо уже в 1960 г. — в год выхода «Хунну» — мэтр исторической науки Г. Вернадский опубликовал в США

развернутую рецензию на нее, в которой все было поставлено на место. Вернадский отмечал, что книга Гумилева написана талантливо, что он чувствует и природу, и людей; очень удачны его описания пустыни, подкрепленные красочными цитатами из сочинений Пржевальского и других русских путешественников. Не забывает Гумилев и значения северных лесов — «таежного моря». Насыщенная фактами разного порядка — военно-политического, социального, культурного и экономического — книга Гумилева по необходимости составлена в сжатом стиле. Тем не менее его краткие характеристики многих из описываемых им исторических деятелей, а также и социальных сдвигов и человеческих отношений, ярки и вдумчивы. Данные письменных источников, где это возможно, подкрепляются свидетельством археологических раскопок. Рецензент указывал, что «Хунну» Гумилева — первое звено задуманной им «Степной трилогии»[547].

Надо полагать, что почта (пусть и медленнее) работала и по линии Нью-Хейвен-Прага-Ленинград, и в момент сентябрьской дискуссии 1961 г. томик «Нового журнала» лежал в кармане у Л.Н. Был, вероятно, колоссальный соблазн вытащить его и огласить рецензию Мэтра. Увы! В 1933 г. Г. Вернадский опубликовал в Лондоне книгу «Ленин — красный диктатор» (по другим данным название было более скромное — «Заметки о Ленине»[548]). Надо полагать, что в СССР это помнили, а Л.Н. понимал — вынимать из кармана не стоит.

7.7. Древние тюрки и будущая докторская

> *В течение 20 лет я не слышал ни одного отзыва на эту книгу, никакого резонанса. Первые, кто отозвались, были якуты. После этого заинтересовались казахи. Но они мне сказали, что впервые, когда вышла эта книга, они не поверили, что где-то в Москве или Ленинграде о казахах или тюрках могут писать добродушно.*
>
> *Л. Гумилев*

Еще до всех коллизий с «обсуждением-осуждением» Л.Н. писал П. Савицкому: «Тюрки» вдвое толще «Хуннов», хотя период, охваченный исследованиями, вдвое меньше. Я «Тюрок» люблю больше, потому что в VI—VIII вв. гораздо живее можно

представить людей и события. Со многими ханами и полководцами я смог познакомиться, как будто они не истлели в огне погребальных костров 1300 лет назад. Тут я смог применить свое знание тюркского и персидского языков»[549].

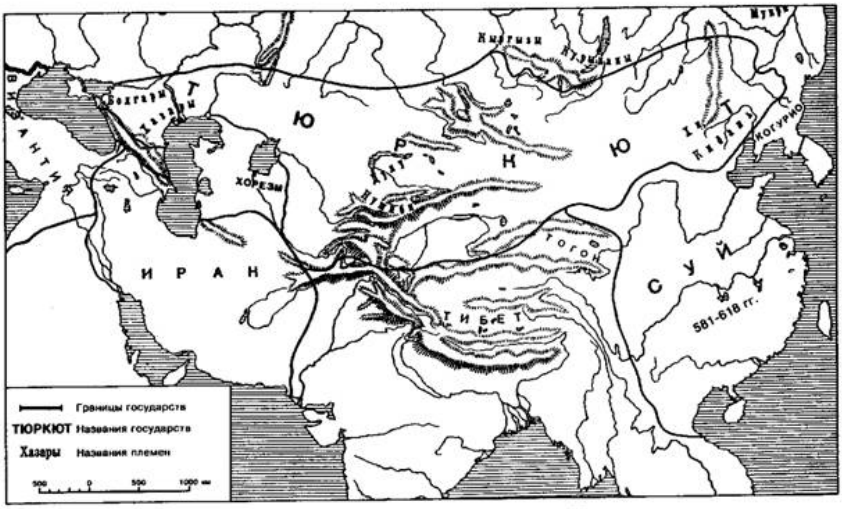
В этом же письме Л.Н. говорит о решительном моменте жизни — о намерении представить на предварительное обсуждение в Эрмитаже докторскую диссертацию «Древние тюрки». В случае благоприятного исхода Л.Н. планировал обсудить свой труд в Институте востоковедения, а потом — в университете. Когда началась работа над диссертацией? В предисловии сам Л.Н. называет 5 декабря 1935 г.; это было время после Манычской археологической экспедиции[550], в том же предисловии он благодарит друзей, «отмеривших вместе заключение в лагерях Норильска и Караганды». Оттуда, из неволи Л.Н. многократно просил матушку достать ему книгу Г. Е. Грумм-Гржимайло «Западная Монголия и Урянхайский край». Этот труд был ему, по-видимому, крайне нужен для развития своих мыслей.

В январе 1953 г. из Омска Л.Н. пишет матушке: «Книгу Грумм-Гржимайло можно достать лишь в Географическом обществе; зайти в библиотеку и спросить там о способе приобретения. Меня это чтение очень утешило бы». В августе 1954 г. та же просьба: «Если бы у меня была эта книга, то на 3 года чтения хватит»[551]. Анна Андреевна почему-то не сумела это сделать, хотя на складе Географического общества эта книга Г. Е. Грумм-Гржимайло хранилась и в...1997 г.!

В январе 1955 г., после двухлетнего ожидания Птица (Н. В. Варбанец) прислала Л.Н. долгожданную книгу. «Теперь мне хватит материала для чтения и занятий на полгода», — писал Гумилев[552]. Впоследствии об авторе этой книги сам Л.Н. говорил: «На всю жизнь сохраню память о тех, кто помог мне выполнить эту работу и кого уже давно нет среди нас, о моем замечательном предшественнике, моем друге Г. Е. Грумм-Гржимайло, прославившем историю народов Центральной Азии и умершем в ожидании признания»[553].

Когда Л.Н. защитил своих «Тюрок», то одно из первых поздравлений пришло от А. Г. Грумм-Гржимайло — сына ученого, теснейшим образом, как и отец, связанного с Русским географическим обществом[554]. Думается, что это письмо было особенно радостно для Л.Н. Исследователей проблемы и у нас, и за границей, в том числе очень именитых, было немало; это и академик В. В. Бартольд, и французский классик востоковедения Е. Шаванн, и немецкие ученые. Но сам Л.Н. все-таки особо выделял Г. Е. Грумм-Гржимайло. Дело, по-видимому, в том, что русский исследователь взглянул на историю глазами географа, то

есть как бы показал Л.Н. верный путь[555].



Карта 2. Тюркютская держава в конце VI в.

Задачу своей книги Л.Н. сформулировал так: «Почему тюрки возникли и почему исчезли, оставив свое имя в наследство многим народам, которые отнюдь не являются их потомками?»[556] Эта задача превосходила то, что сделал Л.Н. в «Хунну», поскольку по масштабам Тюркский каганат («Вечный Эль») далеко превосходил Хуннскую империю. Достаточно взгляда на карту № 1 и сопоставить ее с картой № 2, чтобы понять — императивом здесь становится геополитический подход. В конце VI в., когда границы Каганата на западе сомкнулись с Византией, на юге — с Персией и даже Индией, на востоке — с Китаем, возникла принципиально иная, чем когда бы то ни было раньше, ситуация — средиземноморские и дальневосточные культуры впервые встретились. «Тюрки стали посредниками в связях «Запад-Восток»[557].

Во введении к своей книге «типичный естественник» Л.Н. «вдруг» заявил, что важнее всего социальная и политическая история этих стран (Каганат, Китай, Иран), то есть опять же, как и в «Хунну», он выступает обществоведом — тонким и знающим! Родилось это давно, поскольку кандидатскую Л.Н. защищал еще в 1948 г., в «просвете» между отсидками, а называлась она «Политическая история первого Тюркского каганата в 546–657 гг.». Я видел отзыв профессора Петрушевского о допуске к защите, подписанный еще в 1947 г., когда на истфаке шла «игра» — то ли допускать, то ли не допускать. Два авторитетных ученых — член-корр. АН СССР А. Якубовский и проф. М. И. Артамонов дали блестящие отзывы на книгу Л.Н. того же названия, но она так и не вышла тогда по не зависящим ни от автора, ни от

рецензентов причинам. Между тем А. Якубовский писал, что это ценнейший материал по истории первого Тюркского каганата, чего нет ни в советской, ни в зарубежной литературе. Кроме того, он обращал внимание на четкий анализ политической обстановки в то далекое от нас столетие. Для Л.Н. характерно, что когда он занимался конкретикой, отпадали любые теоретические «загибы», которые могли бы стать мишенью оппонентов.

Понятно, что тюрки — звено этногенеза, этап тех этнических процессов, которые шли в Великой степи, но изучать их без политической истории оказалось нельзя. Сначала перед Л.Н. возникли два естественных вопроса: кто такие тюрки и что такое «Вечный Эль»?

Согласно красивой легенде тюрков, их праматерью была волчица, а праотцом стал мальчик из племени, истребленного врагами. Волчица спасла ребенка, выкормила его, унесла в горы Восточного Тянь-Шаня и спрятала в пещере. Там впоследствии она родила десятерых сыновей, отцом которых был сын человеческий. Когда сыновья волчицы вышли из пещеры, они женились на женщинах ближнего к их горам Турфанского оазиса. Один из внуков волчицы получил имя Ашины[558]. Народ Ашины и был предками этноса «тюрк». Гумилев считал, что этот этноним не следует путать с современным лингвистическим значением этого слова, В XIX в. их называли по-китайски «ту кю», а по-монгольски «тюркют»[559].

Теперь попытаемся вместе с Л.Н. ответить на вопрос, что такое «Тюркский великий Эль» ? Создание великой державы рода Ашина шло как «блицкриг» VI в., завершившийся в очень короткий период с 545 по 581 г. В 545 г. сын Ашины, Бумын-каган подчинил телеутов, ранее уничтоживших Хуннское царство в Семиречье. Тогда же, в год Быка (т.е. 545 от Р. Х.), китайское посольство прибыло в его ставку; это было признанием одной из крупнейших держав того времени и, современно выражаясь, подняло международный статус державы Ашины. В 552 г. Бумын покорил бывших сюзеренов — свирепых жужаней, а в 555 г. тюркюты дошли до «Западного моря», т. е. до Арала. Теперь граница прошла севернее Ташкента до низовьев Амударьи и южного берега Арала. За 1,5 года тюркюты подчинили Центральный Казахстан, Семиречье и Хорезм. В 558 г. они вышли к Волге, «гоня перед собой тех, кто отказывался покориться»[560].

В 565 г. они покорили эфталитов и объединили степь и Согдиану, в 576 г. вышли к Боспору Киммерийскому (Керченскому проливу), обеспечив себе опорный пункт в Крыму, а ставка тюркского военачальника (Тьма Тархана) была организована на Таманском полуострове (отсюда и название

Тьмутаракань)[561].

В 579 г. они вторглись в Китай. Под их контролем оказалась огромная империя — первый Тюркский каганат, они контролировали и Великий Шелковый путь, по которому шла торговля между Китаем и Византией. В своей кандидатской диссертации Л.Н. называл 580-й год кульминационным пунктом могущества Тюркского каганата. В это время он простирался от Маньчжурии на востоке до Боспора Киммерийского на западе, от верховьев Енисея до верховьев Амударьи. «Тюркские каганы стали создателями первой евразийской империи, политический опыт которой в еще больших масштабах был повторен в VIII в. монголами, а в XVIII-XIX вв. — Российской империей», — пишет известный петербургский востоковед Сергей Кляшторный[562].

Каганат стал огромной колониальной империей. Как удавалось держать в покорности из одного центра (да еще неоседлого, нестабильного, степного) самые разные народы империи? Л.Н. считает, что это было реально сделать лишь при наличии жесткой социальной системы. Тюркюты ее создали и назвали «эль»[563].

Здесь, как и при анализе подъема хуннов, Л.Н. начинает не со спорных проблем этногенеза, а с социальных моментов, с социально-политической системы. В центре ее «орда» — ставка хана с воинами, их женами, детьми и слугами. Вельможи имеют свои «орды» с офицерами и солдатами. Вместе они составляют этнос «кара-будун» — тюркские беки и народ (почти как в Риме — «сенат и народ римский»). Еще более, чем материальная культура, исследователя поражают сложные социальные институты: система, иерархии чинов, воинская дисциплина, дипломатия, четко отработанное мировоззрение, противопоставленное идеологическим системам соседних стран[564].

Честный ученый пересматривает свои позиции, если они противоречат новым открытиям, новым работам коллег. Вспомним, как громил Л.Н. гуннов, любя и превознося хуннов. Но это было в 60-х гг., а в 90-х он писал, что «идейное единство хуннов и гуннов сохранилось»[565]. Развивая эту мысль, он утверждал, что объединение орды Ашина с племенами хуннов усложнило этносистему и сделало ее способной к сопротивлению, а потом и к завоеваниям. Пребывание этноса в привычном ландшафте повело к восстановлению кочевого хозяйства и развитию оригинальной культуры. Блестящая переводная и оригинальная древне-тюркская литература возникла не позднее конца VI в., а вместе с ней сложился общетюркский литературный язык, началось освоение достижений культур Дальнего и

Ближнего Востока. Можно утверждать, что в результате культурного прорыва конца VI в. началось формирование древнетюркской цивилизации[566].

Необходимо заметить, что, согласно точке зрения Л.Н., тюркский период был продолжением хуннского, хотя социальные формы изменились: вместо родовой державы возникла орда. Но сменившие тюркютов уйгуры вернулись к родоплеменной системе, так что, очевидно, обе формы сосуществовали, образуя «эль»[567]. Этой мысли придерживался и Г. Е. Грумм-Гржимайло, писавший, что «первыми тюрками, с которыми нас знакомит история Срединной Азии, были хунны»[568].

В пору своего расцвета Каганат был сильнее раздробленного Китая (Китая двух царств: Бей-Чжоу и Бей-Ци), платившего за военную помощь и даже за нейтралитет. Тюркютский хан мог позволить себе такое высказывание: «Только бы на юге два мальчика (Чжоу и Ци) были покорны нам, тогда не нужно бояться бедности». Шелк шел в Византию, торговый путь проходил через Иран, наживавшийся за счет таможенных пошлин с караванов. Но хан не хотел пропускать их слишком много, дабы не наращивать потенциал соперника Византии. Все это вело к войнам Каганата с Ираном, в которых тюркюты использовали изобилие железа и создали латную конницу, не уступавшую персидской. Однако Каганат истощал силы в этой борьбе, тем более что геополитическая картина была еще сложнее: враги были не только на западе (Иран), но не исчезли они и на востоке (Китай).

Соотношение сил было стабильным, пока не сказал своего слова обновленный Китай, объединившийся в 581 г. Л.Н. пишет, что ситуация изменилась в начале VII в., когда снова в историю вмешалась природа и произошел раскол каганата на Восточный и Западный, два разных государства и этноса, у которых общей была только династия Ашина[569].

Природное воздействие Л.Н. объяснял так: Восточный каганат — это Монголия, там муссоны, там летнее увлажнение стимулировало круглогодичное кочевание. Это приводит к социальным последствиям: пастухи постоянно общаются друг с другом. Навыки общения и угроза Китая сплачивали народ вокруг орды и хана.

Другое дело Западный каганат, расположенный в предгорьях Тарбагатая и Тянь-Шаня. Увлажнение там зимнее, надо запасать сено для скота. Поэтому летом скот и молодежь уходили на джейляу — горные пастбища, а пожилые работали около зимовий. Вместо «эля» там сложилась кон федерация племен. Десять вождей получили по стреле-символу, поэтому их этнос называли еще «десятистрелочные тюрки». Ханы Ашина вскоре

потеряли значение и престиж, так как их собственная дружина была малочисленной, и вся политика определялась вождями племен. Китай был далеко, Иран слаб, караванный путь обогащал тюркютскую знать, представители которой могли воевать друг с другом, что и ослабляло Западный каганат[570]. Кажется, что это не достаточно удовлетворительное объяснение, да и сам Л.Н. позже опровергал его.

В работе «Из истории Евразии» Гумилев указывал, что в начале VII в. как бы восстановилась коллизия Хань и Хунну, но перевернутая на 180 градусов. Разница была еще и в том, что молодая империя Суй, находившаяся в фазе подъема, была сильнее, богаче и многолюднее каганата, уже вступившего в «инерционную фазу»[571]. Падение Западного каганата произошло в 661 г., Восточный пал в 741 г. На месте Западного каганата образовалась китайская провинция «Западный край», Восточного — Уйгурский каганат.

Но дело было не только в фазах этногенеза или природе. Корни слабости тюркютов были и внутри Каганата. Л.Н., споря с другими историками, по поводу термина «эль», вышел на такую формулу: называть группу завоеванных племен союзом, скорее всего, неправильно. Согласно Л.Н., «эль» был формой сосуществования орды и племен. Хотя эта взаимосвязь должна была осуществляться мирно, но практически она была так тяжела для обеих сторон. Поэтому «эль» сразу же стал очень нестойкой формой; покоренные страдали и старались при удобном случае отложиться, но и в самой орде было немногим лучше[572]. При этом налоговое обложение покоренного тюркютами народа было значительно сильнее персидского; отсюда становится понятным, почему в тюркютской державе центробежные силы никогда не угасали[573].

Однако имя «тюрки» не исчезло; оно распространилось на пол-Азии. Как полагал Л.Н., арабы стали называть тюрками всех воинственных кочевников к северу от Согдианы. Позже термин еще раз трансформировался и стал названием языковой семьи. Так сделались «тюрками» многие народы, никогда не входившие в Великий каганат VI—VII вв. Некоторые из них были даже не монголоиды, как, например, туркмены, аланы, азербайджанцы. Другие были злейшими врагами Каганата: курыканы — предки якутов, кыргызы — предки хакассов. Третьи сложились раньше, чем сами древние тюрки, например балкарцы и чуваши[574]. Профессор М. И.Артамонов в далекие 40-е гг., после защиты Л.Н. кандидатской, писал, что Гумилеву удалось убедительно показать, что потомки древних тюрок (ту-кью) вплоть до настоящего времени обитают в Южном Алтае (телесы-

теленгиты)[575].

Уже отсюда видно, что история древних тюрок имеет прямое отношение к острым национальным вопросам современной России и СНГ. Л.Н. посвятил свою книгу «Нашим братьям — тюркским народам Советского Союза». Такой страны, увы, уже нет, но 1 октября 1997 г. в 85-летний юбилей Л.Н. на доме № 1 по Коломенской улице от республики Татарстан была установлена мемориальная доска, на которой начертано: «Здесь жил и работал с 1990 по 1992 год выдающийся историк и тюрколог Лев Николаевич Гумилев».

В 1997 г. отмечалось 1450-летие первого Тюркского каганата, и это вызвало очень разные комментарии и оценки. Писали и о том, что это организовано «пантюркистскими силами»[576]. Писали и совсем по-другому, связывая эту дату с историей России, что, на мой взгляд, вполне обоснованно. В самом деле, если справедлив тезис о частичном восприятии Россией тюрко-монгольского государственного наследия, то история объединения Евразии насчитывает как раз 1450 лет[577]. Мне кажется, надо различать законное право людей и этносов чтить свою историю, отмечать ее даты.

Сейчас республиками тюркских народов в Российской Федерации являются Алтай, Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Тува, Хакасия, Чувашия (Чаваш Республика), а еще в двух — Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесской Республике — тюркская нация является титульной наряду с другим народом; в Дагестане существуют две тюркские нации — ногайцы и кумыки.

Мне кажется символичным, что в концепции Госпрограммы РФ «Возрождение и развитие тюркских народов России» много гумилевского. Конечно, это слишком серьезная тема, чтобы ее разбирать вскользь. Приведу лишь одну мысль, содержащуюся в проекте концепции, о том, что тюрки выжили, сохранились как этносы из-за исключительной прочности, живучести такой биосоциальной общности, как этнос, о могучем биогенетическом фонде и социофонде тюркских народов[578].

Все это особенно актуально в пору ослабления России, давления на нее с Запада. С 1996 г. на бывшего президента Монголии Очирбата регулярно «выходили» представители США и Японии. Спекулируя на заявлениях некоторых «демократов», они предсказывали уход Москвы с территорий к югу и востоку от Байкала и образование «геополитического вакуума». С американской и японской точки зрения, заполнение этого «вакуума» Китаем неприемлемо. Следовательно, надо расхватывать то, что якобы плохо лежит; так, Монголия,

например, присоединит к себе Бурятию, Агинский и Усть-Ордынский автономные округа и часть Иркутской области. Для наглядности монголам была даже представлена карта будущего устройства Восточной Сибири и Дальнего Востока. Предусматривалось, что Горный Алтай и Тува, «независимые от России», продолжат «тюркский пояс» от Стамбула-Анкары через Нахичевань—Баку-Ашхабад-Ташкент-Бишкек и Алма-Ату далее на восток вплоть до Якутска. Хорошо бы, согласно намерениям авторов плана, включить сюда и китайский Синьцзян. Под особыми №№ шли «независимая» Якутия, «расширенная» Монголия, а уж Дальний Восток могли бы разделить США и Япония[579]. Популистский «геополитический» бред? Не совсем, ибо подобные карты раздела Востока России фигурировали и в солидных американских изданиях.

Только наука, подлинная наука может и должна, и при этом как можно оперативнее, дать конструктивные решения подлинного развития тюркских народов России, отметая всякого рода химеры об «едином тюркском языке», едином государстве и т. д. Все эти лозунги, как говорится в упомянутом проекте, являются нереальными[580].

7.8. Л.Н. ведёт криминалистическое расследование

В археологии вдруг вошли в моду доисторические эпохи. До той поры почти все находки принадлежали тем или иным периодам истории, а теперь все помешались на доисторических цивилизациях.

Агата Кристи

История середины XIII в. напоминает своей загадочностью криминальный роман — как-то заметил Л.Н.[581]. Это в полной мере относилось к его работе над «Древними тюрками». Книга Л.Н. вышла в 1967 г., то есть через 8–9 лет после окончания основной работы над ней и через 5 лет после защиты докторской диссертации. Сам Л.Н. рассказывал потом, что шел дикий нажим на книгу («торможение» ее выхода), чтобы не дать ему выйти на защиту докторской. Тираж был небольшой — 4800, но книгу раскупили молниеносно. В 1993 г. некое «Товарищество Клышников, Комаров и К0» выпустило книгу Л.Н. огромным тиражом — 200000! Однако он быстро разошелся: «работал» уже имидж автора.

Плюсы и минусы гумилевской книги, как уже говорилось, связаны с «раздвоенностью» ее назначения: то ли это слегка беллетризированная диссертация, то ли высоконаучная и все-таки с претензией на популярность книга. Она поразительно

информативна. Думается, что Л.Н. прочитал все, что на сей счет написано по-русски, да и иностранных источников больше сотни. Добавим к этому синхронистическую таблицу, где все расписано по годам, а также ономастическую таблицу, которую сделал старый знакомый и соавтор Л.Н. — «православный кореец» М. Хван. Это не книга, а океан информации!

Здесь надо оценить гигантскую работу Л.Н. «за кадром». Слова недругов и завистников об «историке-беллетристе» потеряют всякий смысл для любого, кто хотя бы пролистает «Древних тюрок». Друзья отмечали, что Л.Н. любит перепроверять факты. Это верно, но стоит отметить, что он иногда и сам устанавливал новые факты. «За кадром» остается вся черновая работа, иногда подлинно криминалистический поиск, работа, видимая только в его статьях, вышедших до появления книги. Как камни, они ложатся потом в фундамент здания книги, а «кровля, венчающая полувековую работу — сама книга»[582].

Традиционные источники были в основном трех родов: китайские, персидские и собственно тюркские. Сопоставлять их было отчаянно трудно; каждый давал географические названия и имена героев истории по-своему. Еще у Г. Е. Грумм-Гржимайло шла «расшифровка» названий хорошо известных нам рек. Например, то, что в китайской транскрипции звучит как А-бу, есть, вероятно, река Абакан, река Тань или Кань — Енисей, под рекой Чу-си должно, по-видимому, понимать реку Чу (Чуя — у русских), приток Катуни и т. д.[583]. Грумм-Гржимайло приводил удивительный пример путаницы с именами, причем отнюдь не со второстепенными. Видные русские историки — Бартольд, Радлов и Мелиоранский (независимо друг от друга) грубо ошибались, считая, что Бумын-хан и Истеми — одно и то же лицо, хотя первый возглавлял Восточный, а второй — Западный каганат[584]. Много названий было расшифровано еще в 20-х гг. В начале XX века немецкий историк Маркварт доказал, что непонятная дотоле страна «Талгаст» есть просто Северный Китай. Но и до 60-х гг. было неясно, что имелось в виду под термином «колх», хотя этот народ в древности назывался «лазы», а страна в устье Риона — «Лазика» (частью ее была Абхазия).

В двух статьях Л.Н. сам занялся расшифровкой названий и имен, под которыми скрыты главные актеры драмы, разыгравшейся в VI в. в Каганате[585]. Поиск свой он изложил в виде спора с другими исследователями, но всегда уважительно к ним, и даже оправдывая их ошибки. В одной из упомянутых статей он приводит генеалогическую таблицу рода Ашины, добавляя, что ее создание — трудное дело. Трудное потому, что обозначенные там персонажи имели не одно имя, а по три и даже

по четыре: 1) личное имя, которое не всегда известно; 2) княжеский титул; 3) ханский титул; 4) иногда еще и прозвище[586]. Поскольку наряду с китайским произношением имен обнаружены и тюркские имена (в персидских и греческих текстах основную часть имен составляют именно они), то каждый персонаж может носить до шестнадцати имен! Попробуй тут разберись. Л.Н. разбирался методично и основательно, чтобы не заблудиться в лабиринте имен и титулов. Гумилев составил оригинальнейшую таблицу, которую назвал «Разногласия исследователей». В одной колонке — имена и титулы по Фирдоуси, во второй — по французу Е. Шаванну, в третьей — согласно советскому историку Е. Мандельштаму, и, наконец, в четвертой дана интерпретация самого Л.Н.

Однако неясны были не только названия и имена. Спорными и непроясненными оставались и некоторые ключевые вопросы истории тюркютов, в частности причины распада каганата на Западный и Восточный. Замечу, что здесь и Л.Н. отчасти противоречил сам себе; в появившейся после его смерти в 1993 г. «выжимке» по истории Евразии он изложил привычное объяснение — «вмешалась природа»[587]. Но в жизни все сложнее, и такая формула сильно упрощала дело. Более того, она зачеркивала сделанное ранее самим Л.Н. Одна из его статей 60-х гг. была посвящена источнику, освещавшему наиболее темную страницу истории первого Каганата. Речь идет о самом раннем произведении тюркской литературы, дошедшему до нас пусть не в подлиннике и не полностью — в «Истории» Феофилакта Симокатты[588].

Автор «Истории» — египетский грек, живший в период правления в Византии Ираклия (610–641 гг. н. э.), по характеристике Г. Вернадского «добросовестный ученый, но немного слабее подготовленный как историк… чаще, чем следовало… неверно оценивающий значимость описываемых событий, а временами тонущий в незначительных подробностях»[589]. Однако минусы «Истории» были не так уж значимы для Л.Н.

Каган, имени которого Л.Н. поначалу не раскрывает, рассказывал византийскому императору в своих письмах о победах над неизвестными нам племенами абдегов и абаров. В одной из этих битв на Кавказе было якобы убито 300 тыс. врагов. Л.Н. предположил, что это похоже на убийство пленных, которых отступающая армия не смогла увести с собой.

Но это не главный сюжет «расследования» Л.Н. После Крымской и Кавказской кампаний (успешных лишь поначалу) началась междоусобная война тюркютов — «великая распря 581–

593 гг.». На основе анализа текста и его сопоставления с работами предшественников Л.Н. отвечает на ключевые вопросы: кто? где? когда? Письма в тексте «Истории» Феофилакта Симокатты являются здесь ценнейшим источником. Был ли их автор великим каганом? Нет, — вслед за Е. Шаванном отвечает Л.Н., потому что он сам в письмах к императору упоминал имена трех других великих каганов. На основе большой работы Л.Н. было установлено, что анонимный автор письма — Дяньчу-Дату-хан (по-китайски; по-тюркски — Кара-Чурин, по-персидски — Кара-Джурин), что переводится как «черная напасть». Он действительно победил «аборигенов Памира» эфталитов[590], но тюркютам досталась лишь Согдиана; собственные же земли эфталитов еще раньше отошли к Ирану. Дяньчу-Дату-хан подчинил себе Южную Джунгарию, где и основал свое княжество.

В 576 г. после смерти его отца — Истеми-хана, он унаследовал верховную власть на западе и титул Тардуш-хана. В 582–583 гг. тюркюты пытались проникнуть в Византию через Кавказ, но были отбиты. Сам Тардуш-хан не участвовал в Крымской и Кавказской кампаниях, он был занят на Востоке войной с Китаем. Л.Н. считал, что рассказ о победах тюркютов над византийцами в письме, адресованном императору Маврикию, естественно, опущен. Акцент перенесен на лазов (колхов), хотя и бывших подданных Восточно-Римской империи, но сохранивших во II в. автономию[591]. Именно там было уничтожено 300 тыс. врагов, а трупы их будто бы лежали вдоль дороги длиной около 160 км...

Но не эти, столь любимые тюркютскими авторами сюжеты биографии каганов и блестящие перечни их побед над врагами привлекали внимание Л.Н. и стали главным объектом «расследования». Для него самым существенным эпизодом была гражданская война, ее истоки, запутанные интриги внутри каганата. Источник очень туманно говорил о междоусобной войне, о некоем «человеке по имени Турум, по роду близкому к кагану», который попытался совершить государственный переворот, проходивший поначалу успешно[592]. Тогда автор письма к императору Маврикию (теперь мы знаем, что это Тардуш-хан) обратился за помощью к трем великим каганам. Их имена были непонятны; например, одно из них означало в переводе «могучий». Упомянутые «анонимные» (до расшифровки их Львом Николаевичем) ханы помогли, и «путчист» был жестоко наказан: в Бухаре, Пайкенде (его резиденции) он был опущен в мешок с красными пчелами, «отчего он и умер».

Л.Н. исследовал все эти сюжеты «с позиций исторической критики» и сделал важные уточнения. Выяснилось, что в

междоусобной борьбе сам Тардуш-хан был подстрекателем, движимым ненавистью к великому хану Шабо-лио. Л.Н. удалось установить имена трех ханов, пришедших на помощь Тардуш-хану, а также основные линии интриги, приведшей к междоусобным войнам.

Мятеж был подготовлен в 587 г., но война между западными и восточными тюркютами затянулась до 593 г. Почему? Л.Н. находит ответ; это было связано с походом одного из трех ханов на запад уже против Тардуш-хана. Этот эпизод опущен в письме по простой причине: оно писалось в 596 (или 597) г., когда западные и восточные тюркюты уже заключили мир между собой и дорожили им. Однако остался главный вопрос: почему и когда каганат распался на Западный и Восточный? Согласно мнению Л.Н., не было никаких экономических, политических, идеологических и социальных причин, которые стимулировали бы вражду между двумя частями одного племени; напротив, единство обеспечивало им господствующее положение и процветание. «А между тем вражда, и чрезвычайно жестокая, — пишет Гумилев, — разорвала каганат на две части. Возникла она в начале VII в.»[593].

Опасностью для тех и других был усилившийся Китай (династия Сунь). Это отлично понимал великий хан, казнивший за связь с Китаем своего брата. Это понимал и Тардуш-хан, поддержавший китайских эмигрантов, но исключение составил Толис-хан — правитель восточного крыла державы. Междоусобные споры тюркютов искусно разжигались извне, в результате чего возникла своего рода прокитайская партия внутри Каганата.

Г. Е. Грумм-Гржимайло приводит обращение Бильге-хана к народу: «Только тогда, когда в Утуканской черни[594] находится турецкий каган, не зараженный китайским образованием (но имеющий истинную мудрость), народ может считать себя обеспеченным... Китайцы, снабжающие нас золотом, серебром, крепкими напитками и шелком и ведущие обыкновенно сладкие речи, одаряют предметами, приучающими нас к роскоши. Этим они привлекают к себе даже самые отдаленные народы. Усвоившие, однако, их культуру обыкновенно гибнут, ибо только твердые характером, мудрые люди в состоянии противостоять соблазну, остальные же навсегда порывают с родиной, не устоял и ты, турецкий народ! Ты дал себя прельстить сладкими речами и богатыми дарами и жестоко поплатился за это. Ты внял уговорам: «Кто живет далеко, тот получает плохие дары, кто живет близко, тот получает хорошие дары», и переселился на китайские земли, послужившие могилой столь многим. Внемли же мне, турецкий

народ! Только в Утуканской стране, где нет богатств, но нет и китайской опеки, ты можешь сохранить самостоятельность»[595].

Пассионарным был Бильге-хан! Неправда ли, весь приведенный отрывок звучит весьма современно? Заканчивая рассказ об этом отрезке истории, следует заметить, что дальнейшие события развивались так: в 598 г. вспыхнула война и ставка Толис-хана была разгромлена, а сам он бежал. Но это не было победой единства, а лишь видимостью победы.

Предшественники Л.Н. по-разному обозначали дату распада Каганата: кто-то — в 50-х, кто-то — в 70-х или 80-х гг. VI в., а Л.Н. останавливается на другой и вполне точной дате — 603/604 гг. В 600 г. великий хан Юнюлю был убит в своем шатре, и на его место сел знакомый нам теперь Тардуш-хан, но народ восточной половины Каганата не пошел за ним. Вот оно — воздействие Срединной империи! Хан остался с верной ему дружиной, но не смог пробиться в родное кочевье. В 604 г. его отряд был истреблен тибетцами. «Такое быстрое падение турецкой державы, — по словам Грумм-Гржимайло, — было вызвано не силой китайского оружия, а возникшими в государстве междоусобицами»[596]. После этого мир между восточными и западными тюркютами был уже немыслим, и это стало подлинным разделением Каганата.

Вернемся в тяжелое для нашего героя время: в 1955. Л.Н. в омском лагере, уже имея необходимую ему книгу, пишет Анне Андреевне: «Если удастся закончить и привести все в систему, будет гораздо лучше, чем моя кандидатская. Получив Грумм-Гржимайло, со страхом открыл его, желая узнать: в чем я напортачил, и вдруг увидел, что я переплюнул его самого». Но Л.Н. сразу оговаривается: «Прости, расхвастался»[597].

Думается, что нет, не расхвастался, ибо гумилевский «детектив» осветил период «великой распри» гораздо глубже, чем это сделано классиком. Почему-то Григорий Ефимович не обратил внимания на такой источник, как «История» Феофилакта Симокатты и не знал, кто такой Тардуш-хан. «Криминалистическое расследование» Л.Н. подготовило его «большой криминалистический поиск» в 70-х гг.

8. Гумилёвское открытие Хазарии

При всяком… шаге историка, не имеющего в руках географии, встречается претыкание.

И. Н. Болтин

Хазария оказалась типично речной страной, расположенной южнее Астрахани, на площадях, частично ныне затопленных. Они (там) жрали рыбу и арбузы, а кочевниками не были. Об этом буду нынче писать.

Л. Н. Гумилев

Гумилевское «открытие Хазарии» невозможно датировать сколько-нибудь точно. То ли это произошло сначала «в уме», а именно в Туруханске в годы войны после письменного разговора с «другом Васей» (В. Н. Абросовым), то ли в омском лагере (1953–1955) после получения очередного письма от него же. Во всяком случае, связывать это с началом работы Л.Н. в Институте географии (1962) не приходится, т. к. первая экспедиция туда прошла уже в 1959 г.

В чем загадка Хазарии? Ответы на какие вопросы хотел найти Л.Н. в упомянутой и последующих экспедициях? Таких загадок было много: откуда вообще пошли хазары и на каком языке они говорили, куда они также таинственно исчезли, не оставив следов, а главное — где жили сами хазары, когда их царство охватывало почти всю Юго-Восточную Европу?

На востоке оно достигало Хорезма, т. е. включало все степи Южного Приуралья, на юге пограничным городом был Дербент, где стена отделяла от хазарских владений Закавказье, на западе хазарским был не только весь Северный Кавказ, но и степи Причерноморья вплоть до Карпат. В упомянутых владениях обитали подданные хазарского царя — камские болгары, мордва-черемисы, вятичи, славяне-поляне.

Литература о хазарах была огромной, но не давала ответа на многие вопросы, а особо на главный — где? Задолго до Л.Н., еще до войны, хазарами начал заниматься М. И. Артамонов — учитель и друг Л.Н.[598]. В 50-х гг. он раскопал крепость Саркел на Дону,

считая ее хазарской; до хазар здесь были аланские поселения, а после них — русский город Белая Вежа. Саркел позже был поглощен водами Цимлянского водохранилища.

Название «хазары» было известно еще первому русскому летописцу, но никто не знал толком — кто они и где «ядро» Хазарии, от него не осталось никаких археологических памятников. Л.Н. писал, что у хазар было два крупных города: Итиль на Волге и Семендер на Тереке. Но где их руины? Хазары умирали — куда девались их могилы? Хазары размножались — с кем слились их потомки?[599]

Эти вопросы явно выходят «на географию», точнее палеогеографию[600], иначе неизбежно то самое «претыкание», о котором предупреждал русский историк XVIII в. И. Н. Болтин. От того, где находилось это «ядро», каким был «кормящий ландшафт» хазар зависело очень многое — диапазон их возможностей, их главные занятия. Если они жили в степи, то, наверно, были кочевниками, если в долине Волги-Ахтубы, то, скорее всего, земледельцами.

Куда и почему бесследно исчезла после XIII в. Хазария, ставшая какой-то прикаспийской Атлантидой? Когда Л.Н. вплотную занялся этими вопросами, существовало три основных точки зрения в русской — советской литературе. Известный востоковед середины XIX в. В. В. Григорьев считал, что Хазария была неким очагом процветания и цивилизации в море диких кочующих племен, очагом правосудия и веротерпимости.

Диаметрально противоположной была позиция нашего современника, академика Б. А. Рыбакова, одного из главных и «штатных» оппонентов Л.Н. Он называл Хазарию «небольшим полукочевническим государством» «паразитарного характера», жившим за счет транзитной торговли. Лежала Хазария, по мнению Рыбакова, в калмыцкой степи, к югу от Сарпинских озер. Отсюда следовал логичный вывод, что хазары были кочевниками.

И, наконец, третья позиция принадлежала М. И. Артамонову, создавшему капитальнейший труд «История хазар», научным редактором которого стал Л. Гумилев[601]. Еще во введении учитель выразил Л.Н. благодарность за результаты пока еще не опубликованных исследований. Книга М. И. Артамонова — фундаментальный труд с обширным историографическим введением, со ссылками на сотни авторов (от Иосифа — царя хазарского, до академика Д. С. Лихачева), с огромным количеством иллюстраций.

Вопросы истории хазар в 50-х гг. были достаточно острыми в СССР. Им была посвящена статья «Об одной ошибочной концепции» П. Иванова в «Правде» (1951) и целый сборник под

характерным в ту пору названием «Против вульгаризации марксизма в археологии» (1953). После этого, как деликатно замечает М. И. Артамонов, «имело место некоторое замешательство в разработке вопросов истории хазар»[602]. В его книге должен был содержаться некий ответ критикам.

«История хазар», вероятно, в силу этих же причин сильно задержалась; в основном она была завершена еще до войны, а вышла лишь в 1962 г. Правда, в 40–50-х гг. Михаил Илларионович возглавил ряд экспедиций на Дону и в Дагестане и смог получить новейший археологический материал. Примечательно, что фундаментальную книгу М. И.Артамонова даже в 60-е гг. стало возможным опубликовать только в Ленинграде, где он был в то время директором Эрмитажа, в издательстве которого монография и увидела свет. Причины этого в тематике книги: во-первых, она напрямую задевает прошлое России — версию происхождения нашего народа, а во-вторых, поднимает проблему хазарства и еврейства.

Первая книга по этой тематике вышла в Израиле еще в 40-х гг. В 1954 г. издал книгу о Хазарии, опережая М. И. Артамонова, американский ученый Х. Данлоп. Правда, она была посвящена лишь одному аспекту проблемы и озаглавлена «История еврейских хазар». Идеологическая линия этой работы проявлялась в том, что хазарам приписывалась роль спасителей Европы и христианской цивилизации от арабов[603]. Примечательно, что после выхода упомянутого труда Данлопа в американской научной печати появление статей М. И. Артамонова о хазарах стало невозможным: монополия на истину там работала ничуть не слабее, чем у нас.

Профессор Артамонов, будучи археологом, старался поддержать старые российские традиции изучения хазарской проблемы, но большинство археологов в 70–80-е годы эти традиции практически утратили[604].

Книга М. И. Артамонова — исключительно честная, объективная. Основная идея ее состоит в том, что не надо преувеличивать роль хазар в образовании Русского государства, но и не надо отрицать их исторического значения. Как мы теперь знаем, книга писалась «в стол» и отличается крайней «неидеологизированностью». Историки говорят, что археологи иногда недооценивают значение письменных источников. Несмотря на то что М. И. Артамонов возглавил много известных и успешных археологических экспедиций, а будучи директором Эрмитажа и сам направлял их, ни о какой недооценке других источников в книге нет и речи; он блестяще владел самой современной по тому времени западной литературой.

В 1959 г. М. И. Артамонов предложил Л.Н. ехать на берега Волги и отыскивать там столицу Хазарии. Эту экспедицию Л.Н. описал в своей книге «Открытие Хазарии». Она, резко отличаясь от сухо-научных «Хунну» и «Древних тюрок», была написана на одном дыхании — весело и мастерски. Перед нами уже опытнейший популяризатор науки в лучшем смысле этого слова. Мастер своего дела.

Характер изложения определялся самим сюжетом — экспедицией, а не кабинетным поиском, чувством воли и радостью «полевого сезона». Это была первая поездка Л.Н. после Омлага, да еще начальником экспедиции. Все было прекрасно: и красота волжской дельты, и встречи с хорошими людьми — добровольными помощниками. Влияли на весь настрой Л.Н. молодые сотрудники, веселые, жизнерадостные, создававшие особый дух экспедиции. Одним из них был студент Геля, позже выполнявший самые ответственные исследования с аквалангом у дербентской стены. Ныне он доктор исторических наук Г. М. Прохоров[605]. В разведке 1962 г. участвовал также молодой веселый и заводной Женя Сидоренко — историк по профессии, референт ректора ЛГУ.

Эйфория работы в поле выливалась в письмах Л.Н. к П. Савицкому. В 1959 г., возвратившись из неудачной экспедиции, Л.Н. писал: «Я неделю провел в стольном городе Сарае, хранящем следы страшного разгрома от удальцов Тимура. Как было приятно вдохнуть степной воздух, походить по барханам, сидеть под могучими ивами в три обхвата на берегу реки Ахтубы, поговорить по-татарски, хотя я почти забыл разговорный язык. Нашли мы сармахские погребения, раздутые ветром, печенежскую керамику, много монет...»

«Хочется описать Вам один маршрут на лодке, — продолжает Л.Н. — Мы вышли в 9 часов утра и против течения поднялись по Ахтубе до протоки, которую собирались обследовать. Течение там сильное, и мои напарники сразу натерли мозоли от весел. Затем мы поплыли по протоке вверх, просматривая берега, а она вилась как змейка, и когда мы достигли ее конца, наступила глубокая ночь, к счастью, лунная. Тут мы потеряли ориентировку, ибо там сходились две протоки и сама река. Бросали в воду спички, чтобы определить направление течения, но только выйдя на стрежень, разобрались. Мы были голодны и уже очень устали, но путь был только один — гнать изо всех сил вниз по течению, стараясь не попасть на мель. Помогла луна. Вернулись мы домой в 3 часа ночи, сделав без отдыха около 50 верст, еле живые, т. к. под конец стало холодно. Но несмотря на это, ночная река в лунном серебре, окаймленная ивами, была восхитительна, а когда мы

сделали получасовой привал и вскипятили на костре крепкий чай, к которому не было ни сахара, ни хлеба (по нашей российской беспечности), то не только я, а все оценили счастье путешествующих»[606].

Уже в январе 1960-го Гумилев предвкушает следующую экспедицию, на берег Каспийского моря, в коренные земли хазар. «Надеюсь, — писал Л.Н., — что она прояснит хазарскую проблему»[607]. Осенью краткий «отчет» летит из Астрахани в Прагу: «Я только что вернулся из Хазарии, т. е. Дельты, и опять уезжаю в степь половецкую. О находках и результатах я сообщу Вам особо, т. к. я суеверен и до конца работы не позволяю себе делать выводы»[608].

8.1. Истори выходит на географию (Каспий: «кроты» — профессионалы и любители)

> *Ученые похожи на кротов, которые зарываются в свои ямы все глубже и глубже, а факты прямо выкладывают на поверхность, вот и надо другим настоящим ученым ходить между этими фактами, собирать их, иногда спускаться в эти норы, а главное — собирать и анализировать их и делать выводы.*
>
> *Тур Хейердал*

В 1962 г. в журнале Географического общества СССР появляется статья никому не известного автора, по-новому ставящая вопросы периодических изменений климата, разного увлажнения гумидной и аридной зон. Автор не из Москвы, не из Ленинграда, званиями не отягощен, и, естественно, никто из академических титанов не обратил внимание на статью[609].

Через четыре года происходит, казалось бы, абсолютно не связанное с этим событие, замеченное лишь любителями истории — выходит книга уже титулованного (доктора исторических наук) Л. Гумилева «Открытие Хазарии»[610]. Тираж по тем временам невелик: 15 тыс. (Географгиз выпускал и не такие!), обложка мягкая, бумажная, цена — 57 коп. Популярщина? Она тоже проходит абсолютно незамеченной специалистами по Каспию.

Прошло 30 лет — достаточно для проверки на «прочность» любых гипотез, тем более что это были бурные, полные гигантских, поистине глобальных, перемен годы. Уже забываются

и кажутся мелкими «промежуточные» коллизии начала — середины 80-х гг. Как давно это было. Между тем начало «перестройки» совпало с диким, выдвинутым еще раньше «проектом века» («скромные» авторы сами придумали такой титул!). Проект предусматривал переброску части стока северных рек Европейской части СССР в бассейн Волги, чтобы приостановить якобы катастрофическое падение уровня Каспия. Родился он в Институте водных проблем АН СССР, а «толкачом» было мощнейшее монстрообразное ведомство — Гипроводхоз с его миллионным штатом по всей сети станций и институтов и миллиардным бюджетом. За проект были АН СССР, ГКНТ и Госплан. Против — разрозненные, никак не организованные (не было в ту пору никаких «зеленых»!) ученые, писатели, отдельные практики, понимавшие всю порочность переброски. В основном они писали письма, реже прорывались в прессу. И произошло чудо, произошел действительный поворот, но не поворот рек, а реальный (редкий!) поворот власти в сторону общественного мнения. С. Залыгин — один из борцов, так и назвал тогда свою брошюру. Власть отказалась от проекта, и это было решением правительства во главе с Николаем Рыжковым; в отличие от «главного перестройщика», он понимал в экономике, понимал и в жизни.

Но какое отношение все эти коллизии имеют к нашей теме? Оказывается, самое прямое. Дело в том, что Большая наука (истинная, часто неброская, творимая теми самыми «кротами», о которых говорил Тур Хейердал), кик правило, игнорировалась официальной, работая как бы «для себя». Между ней и богатой финансами и оборудованием «ведомственной» наукой (тот же Гипроводхоз с его сетью по стране) — огромный разрыв, совсем разное мироощущение, пропасть. «Вверху» просто не хотели не то что анализировать, но и замечать находки «кротов».

Еще в 1962 г. В. Абросов четко писал о циклах подъема и спада уровня Каспия, об асинхронное™ циклов Каспия и Арала. Трудно читать специальную литературу? Возможно. Но прочитали хотя бы популярную книжечку Л. Гумилева с четким графиком колебаний уровня Каспия в прошлом[611]. В другой незамеченной статье мало известного ученого А. Афанасьева в 1967 г. было предсказано, что последняя четверть XX в. станет временем подъема Каспия. Ошибся автор всего на пару лет, т. е. дал поразительно точный прогноз! Но и этой статьи никто не заметил, поскольку за «проектом века» стояли большие деньги, титулы, награды.

Жизнь подтвердила правильность «кротовых» прогнозов. Уровень моря за эти годы повысился на два с лишним метра

вместо «добавки» каких-то жалких 12 мм за счет получения намечавшихся к переброске 6 кубических километров волжской воды. Сейчас приходится думать, как защитить от затопления уже не пляжи, а дороги, посевы, города.

Проблема Арала — тоже один из эпицентров «Степной трилогии» Л.Н. Официальной терминологией времен «катастройки» (по А. Зиновьеву) она была обозначена как еще одно преступление «авторитарного режима». Простенькие объяснения страшно удобны и живучи: «навязывание колониальной формы хлопководства — усыхание Арала, вымирание каракалпаков» (увы, это написано учениками Л.Н.!). Между тем сам Л.Н. писал, что когда-то и без «колониальной формы хлопководства» Арал мелел и сильно; даже сильнее, чем при «авторитарном режиме». Это происходило почему-то в годы подъема Каспия.

Об обмелении Арала говорит римский историк IV в. н. э. Аммиан Марцеллин. По его данным, Аральское море в III в. превратилось в «болото Оксийское», т. е. весьма обмелело[612]. Не слишком ли мы сильно переоцениваем воздействие человечества?

В 90-е гг. раздаются трезвые голоса. Академик Николай Шило (Институт геологии рудных месторождений РАН) — уже не скажешь, что любитель — очень спокойно, без заявок на сенсацию, касаясь проблем Каспия и Арала, приходит к правильному выводу об асинхронности подъемов и спадов Арала и Каспия. Правда, в начале своей газетной статьи Н. Шило берет очень скромные, приближенные к нам временные пределы. Он указывает, что уровень Каспия понижался примерно с 1927 г. В 75-м году, еще не найдя стройного объяснения, он сделал примерные расчеты и предсказал, что уровень Каспия вот-вот начнет снова повышаться[613]. Оказывается, что и внутри Большой науки есть свои «перегородки». Н. Шило не знал давнего прогноза, по которому перелом тенденций должен произойти как раз где-то около 1975 г.

Показательно, что когда академику нужно было найти более долгосрочные тенденции (не с 1927 г. история Каспия идет!), он прибегает к свидетельствам петровского времени. Шило обращает внимание на сделанные одним географом времен Петра I записи; в них рассказывалось о том, где проходила в то время граница берега, а также утверждалось, что в районе нынешнего Дербента в III в. н. э. у самой воды были построены защищавшие от набегов гуннов крепостные стены, остатки которых обнаружены в воде. Академик делает правильный вывод: «Колебания уровня Каспия идут уже много веков, их нельзя связывать с техногенной деятельностью человека»[614]. Но об этом говорили В. Абросов, и Л. Гумилев, и многие другие «давным-давно».

Лев Николаевич думал над этим еще в Омлаге. Но идея родилась у «друга Васи» — В. Н. Абросова, о котором я уже говорил выше[615]. Конечно, и у Абросова эти идеи родились не на пустом месте. Он много читал и много работал; и что удивительно — провинциальный ученый смог опубликовать три книги[616] и около 40 статей. В подготовке монографии по Балхашу (она не потеряла своего значения и поныне) ему помогал замечательный ленинградский ученый профессор Арсений Владимирович Шнитников — крупнейший специалист по ритмам на Земле (многовековым и внутривековым).

Главным, что Л.Н. взял у Абросова, явилась идея гетерохронности. Проблема увлажнения Евразии была им разработана на примере Балхаша и сформулирована в упомянутой выше статье «Гетерохронность периодов повышенного увлажнения гумидной и аридной зон», опубликованной в престижном в ту пору журнале Географического общества СССР.

При всей скромности В. Н. Абросову было обидно, что статья прошла почти незамеченной. В письме к Г. М. Прохорову он делился своими огорчениями: «Когда в начале нашего века Л. С. Берг проделал все это с Аралом, то Географическое общество присудило ему за это Большую (тогда Константиновскую) золотую медаль. Несмотря на то, что после классического труда Л. С. Берга, такую работу, кроме меня, еще никто не проделал с другим озером, я вряд ли могу рассчитывать даже на похвальную грамоту Географического общества»[617].

Провинциал — скромный работник ВНИОРХ[618] в Великих Луках — В. Абросов не получил и такой грамоты; к тому же, когда писалось это письмо, его уволили и из НИИ. Он служил уже ихтиологом в Рыбинспекции. Далеко от столиц работают тихо, неспешно, солидно, а идеи рождаются никак не менее богатые, чем в кабинетах академических институтов. Все эти сюжеты В. Абросов «прокручивал» давно, их отзвуки находят место в его письмах из Торопца в Омлаг — «другу Лёве». В. Н. излагал свое, а Л.Н. жадно впитывал. Какая-то интуиция подсказывала ему там, чем надо заниматься.

«Тряпки мне не нужны, — писал Гумилев Абросову, — а из книг хотелось бы иметь более или менее живописное описание природы и географии Центральной Азии, т. е. Монголии, Синцзяна и бассейна Хуанхэ». Что-то существенное уловил Л.Н. еще в лагере. Судя по сему, «линия на географию» продолжалась. «Я очень тебе благодарен, — пишет он «другу Васе», — за присланные мне справки. Кое-что может быть использовано, например режим Хуанхэ. Взгляды академика Бэра сейчас

устарели»[619]. Заметим, что упомянутую идею Абросов сообщил Л.Н. за семь лет до его собственной публикации (вот как тогда поступали друзья!). «Гетеросинхронность уровней Каспия и Арала, — писал Л.Н. 3 марта 1955 г. Абросову, — можно использовать для восстановления картины вариаций климатических колебаний, ибо что бы покойный Л. С. Берг ни утверждал, а усыхание за последние 1000 лет во Внутренней Азии налицо»[620].

Необходимо заметить, что позиция академика Л. С. Берга была достаточно жесткой; он утверждал, что ни о беспрерывном усыхании Земли со времени окончания ледниковой эпохи, ни о беспрерывном усыхании в течение исторического времени не может быть и речи[621]. «Этого нельзя отнести за счет 13-летних колебаний и даже 40-летних, — писал Л.Н. в только что цитированном письме к Абросову. — Если это цикл, то с огромной амплитудой. Соображения Берга я знаю, они критики не выдерживают, но надо учесть, что процесс усыхания касается районов между меридианами Памира и Хингана, т. е. к северу от цепи Гималаев. С чем это связано, я сказать не могу — это дело климатолога, — но уточнить хронологию увлажнений в субатлантический период может и историк... Вопросов уйма, и они таковы, что ни историк без географа, ни географ без историка не разберутся. Необходимо построить мост между науками, а не удаляться в дебри спекулятивной философии». Л.Н. признает приоритет и ценность идей «друга Васи»: «Твои соображения о гетерохронных колебаниях климата представляются мне весьма справедливыми и основательными. Если бы на этом принципе удалось построить периодизацию климатических колебаний, то историческая география Азии сдвинулась бы с мертвой точки».

В письме от 26 августа 1955 года Гумилев сообщает В. Н. Абросову свои мысли о периодизации: «Теперь я историю с нужной точностью знаю и нашел следующее: пункты кульминации аридного климата имеют период около 800 лет».

Кульминация аридного периода: V в. до н. э. III в. н. э. XII в. н. э. XIX в. н. э.

Кульминация увлажнений: I в. до н. э. VII в. н. э. XV в. н. э. XXIII в. н. э.

Из этой периодизации Л.Н. делает важный вывод: «За исключением последней даты, данной экстраполирование, все остальные совпадают со степенью напряженности исторических событий»[622].

Мы далеко ушли от экспедиций 1959–1961 гг., но без этого «ретро» непонятны были бы огорчения и успехи друзей. Опять многое вернулось к «другу Васе», хотя он никуда на юг не ездил.

Вопросы к нему возникли после «провальной» экспедиции в дельту Волги в 1959 г. «Полагается возвращаться не с соображениями или выводами, — писал огорченный Л.Н., — а с вещами, скелетами и планами городищ. А тут ценной находкой был только один черепок, вынутый из слоя»[623].

Но оценить черепок смог опять же Василий, когда услышал о датировке нижневолжского аллювия керамикой X в. Его реакция была неожиданной. «Ты сам не понял значения твоей находки!» — писал он Гумилеву. Л.Н. подробно рассказывает о концепции В. Абросова, которая стала «гумилевской» и фигурирует во многих его работах о Великой степи (естественно, кроме самых первых, когда он просто не знал абросовского объяснения).

Я не пытаюсь сделать из читателя климатолога или физика атмосферы, но и Л.Н. не был таковым. Для простоты нужно начать с карты, которая, конечно, многое упрощает, но главную идею передает наглядно. Любой, кто смотрит телепрогнозы погоды (с картой), заметил, что теплый воздух, непогода, дожди, циклоны идут к нам (в Санкт-Петербург, Москву, вообще — на Европейскую часть России) с запада, с Атлантики. Циклоны стремятся на восток, но их пути ограничены максимумами высокого давления, шапкой холодного воздуха над Арктикой с севера и «атмосферной башней» над Сахарой — с юга.

Поскольку солнечная активность меняется, этот «за-тропический» максимум высокого давления может расширяться к северу и сдвигать на север ложбину низкого давления — «дорогу циклонов». Возможны (конечно, упрощенно) три основных варианта их пути, а значит, и три комбинации увлажнения (см. карту № 3). Нас сугубо прагматически (почему и смотрим сводки погоды) интересует Европейская часть, пути циклонов над ней, а Л. Гумилева интересовали возможные пути над Азией.

Вариант 1. Солнечная активность низка, циклоны идут по «южному маршруту» — Средиземное, Черное моря. Северный Кавказ, Казахстан и далее задерживаются горами Алтая и Тянь-Шаня. Дожди — оживление степи, наполнение водой Арала и Балхаша (туда текут степные реки), сохнет Каспий. В лесной полосе мелеют реки, сохнут болота. Севернее — сильно замерзают Белое и Баренцево моря. «Это, пожалуй, оптимальное положение для развития производительных сил во всех зонах Евразийского континента», — замечает Л.Н.[624].

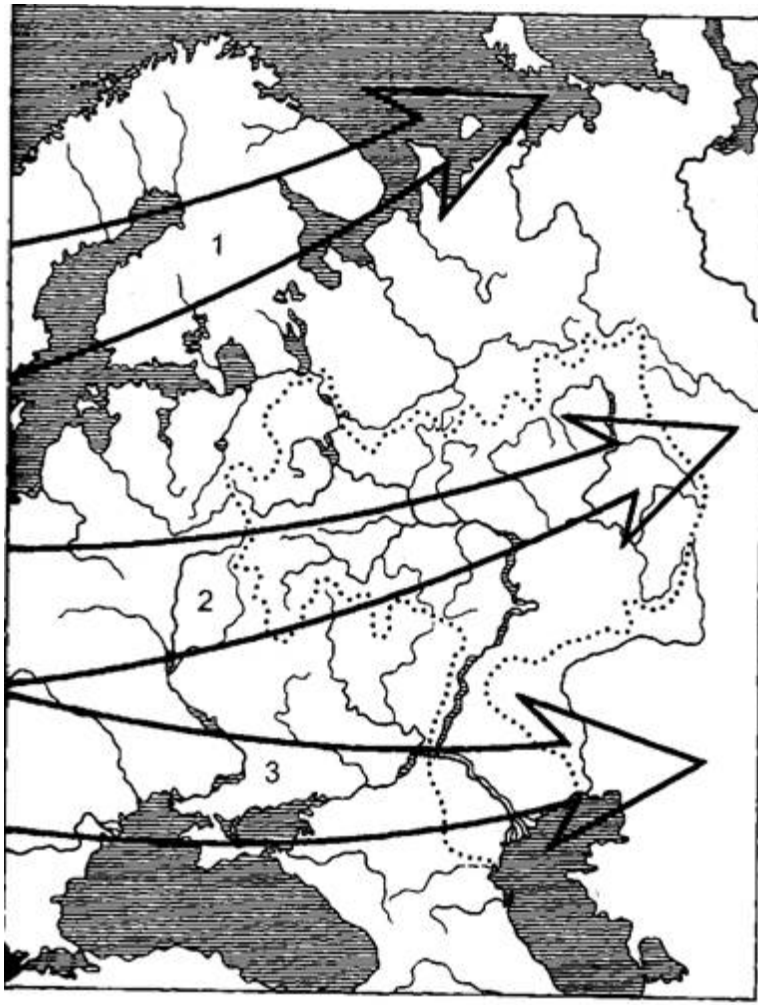
Вариант 2. Солнечная активность усилилась; «дорога циклонов» сдвинулась на север и прошла по Франции, ФРГ, Средней России, Сибири. В результате: степи сохнут, Балхаш и Арал мелеют, Каспий «набухает», т. к. в бассейне Волги выпадает много осадков.

Вариант 3. Еще большая солнечная активность; «дорога циклонов» сместилась далее на север. Теперь она проходит через Шотландию, Скандинавию, к Белому и Карскому морям. Степь превращается в пустыню, суховей оттуда врывается в лесную зону. На севере тают льды Белого, Баренцева и даже Карского морей, мелеет Волга, мелеет Каспий. Идея связи между процессами на Каспии и в Арктике не нова. Академик Л. С. Берг в 40-х гг. задавал вопрос: «Чем вызывается совпадение между потеплением в Арктике и понижением уровня Каспия?» Но по сути не отвечал на него, если не считать ответом ссылку на то, что Каспий получает 80% всего притока речной воды из Волги[625].

Схема Л.Н. проста, несколько абстрактна, а главное — не отвечает на вопрос: какова продолжительность этих периодов? Можно попытаться идти «от обратного» — от истории. Даты расцвета кочевых государств известны за два тысячелетия, а через них восстановить природные условия прошлого. Этническая среда в этом случае как индикатор изменений природной среды. У Л. Гумилева и В. Абросова получилось, что продолжительность периодов равна двум — пяти векам... «Разброс» достаточно большой, вывод спорный, но кое-что позволяет объяснить, например, в Хазарии.

Никому раньше (да и самому Л.Н. в 1959 г.) не приходило в голову искать остатки древней Хазарии в пойме или дельте Волги, поскольку они затопляются при каждом половодье, а не только в периоды высокого уровня Каспия. «Жалкая» находка 1959 г. — черепок хазарского времени — находился под наносами, а значит, уровень Каспия поднялся после гибели Хазарского каганата, и искать надо на низких местах, в дельте. Абросов посоветовал Л.Н. попытать счастья на «Бэровских буграх»[626].

Л.Н. испрашивает у своего доброго учителя — М. И. Артамонова разрешения на новую экспедицию. «Охватим Хазарию со всех сторон!» — говорит он[627]. В 1960 г. дела пошли успешнее — на бугре Степана Разина (каждый бугор имеет свое название!) Л.Н. обнаружил скелет хазарина. «Верхней» датой останков мог быть XIII в., но более реальной — первое тысячелетие н. э., то есть время, когда в дельте Волги жили именно хазары. Позже таких находок стало много, и почти все они были обнаружены или на буграх, или просто в дельте Волги. Уже из Питера Л.Н. радостно сообщил «другу Васе»: «Артамонов осмотрел привезенный материал и признал его хазарским»[628].



Карта 3. Схема перемещения циклонического центра действия атмосферы в Европе

1 — северное положение; 2 — среднее; 3 — южное. Точками обозначена граница бассейна Волги

Уровень Каспия в ту далекую пору (VI в.) стоял на абсолютной отметке не выше 32 м. Но это еще предстояло доказать, а доказав, воссоздать точную карту древней Хазарии (см. карту № 4). Дельта Волги, как хорошо видно, простиралась гораздо дальше к югу, чем сейчас, а область обитания хазар была больше территории Нидерландов. По ландшафту и микроклимату Хазария резко отличалась от окружавших ее сухих степей. По зеленым лугам текли неглубокие речки, окаймленные ивами и камышом. Протоки были полны рыбы и птицы, заливные луга служили прекрасным пастбищем для скота. Все благоприятствовало садоводству, виноградарству и

земледелию[629].

Но режим Каспия определил не только расцвет Волжской Хазарии, он же обусловил и закат «прикаспийской Атлантиды». Итальянский географ XIV в. Марино Сануто писал: «Каспийское море год от года прибывает, и многие хорошие города уже затоплены»[630]. Каспий поднялся на 12 м; новая отметка была — 20 м (этот подъем был связан именно с изменениями движения циклонов). В результате дельта была залита, часть ее превратилась в камышовые джунгли. Под водой оказались земли, где были хазарские села и нивы. Да и в пойме Волги-Ахтубы весенние паводки при новом уровне Каспия уничтожили большинство следов хазарских поселений. Волга стала многоводной; русские ладьи с мелкой осадкой смогли пробиваться через дельту в Каспий, и тогда и произошло отмщение «неразумным хазарам».

Карта 4. Волжская Хазария

Вот почему страстное желание найти столицу Итиль[631] Осталось лишь желанием. После всех поисков в пойме Ахтубы и в дельте Волги Л.Н. честно признавал: «Остров, на котором мог помещаться дворец хагана, подмыт. Не здесь ли располагался древний Итиль? Скорее всего здесь»[632].

Л.Н. учился всегда, и после первых экспедиций в дельту Волги он жадно впитывал все, что написано географами о ритмах в природе, об уровне Каспия в разные эпохи, читал классиков, но не всегда соглашался с ними. К ним в ту пору принадлежали уже упомянутый А. В. Шнитников с его концепцией чередования влажных и сухих периодов, президент Географического общества академик Л. С. Берг с его работами по уровню Каспия с середины XVI в., кроме того, существовали климатологи, которые подчас

имели отличное от Л.Н. мнение.

Самопроверкой для Л.Н. была серия статей «Ландшафт и этнос», опубликованных в «Вестнике ЛГУ» в 1962–1966 гг. и вызвавших большой интерес. К ним следует отнести и доклад, сделанный Л.Н. в Географическом обществе СССР после экспедиции в дельту Волги. Если вспомнить полемику вокруг «Хунну» в Эрмитаже, то здесь обстановка была совсем иной, куда более дружеской. Помогали сами стены; здесь Л.Н. возглавлял отделение этнографии; здесь проходили его публичные лекции. Большой зал, рассчитанный на 250–300 слушателей, часто был переполнен. Помогали, вероятно, и воспоминания, особенно о площадке на втором этаже. Чем знаменита эта площадка, думается, Л.Н. знал, т. к. собирал и хранил в памяти все, связанное с отцом.

До революции в зале на втором этаже проходили заседания Религиозно-философского общества. Вот что вспоминает известный философ М. М. Бахтин об одной из своих встреч с Н. Гумилевым, с которым он познакомился в Религиозно-философском обществе. До этого он видел его там один раз перед самой войной, а второй раз — когда тот приезжал с фронта на побывку. Бахтин рассказывает, что как-то раз он стоял на лестничной площадке второго этажа и курил. Там была и А. Ахматова. Вдруг она воскликнула: «Гумилев здесь!» — и стремительно сбежала вниз. Бахтин пошел следом и увидел: «военную фигуру, прекрасную фигуру». Это был Н. С. Гумилев — «Великолепный! Великолепный Гумилев!»[633]

Воспоминания, согревали, но сын был на докладе экзаменуемым, а не героем с фронта, как отец; он волновался. Л.Н. писал, что никогда нельзя быть уверенным в успехе[634]. Синклит собрания был действительно мощный: «сам» А. В. Шнитников, директор Главной геофизической обсерватории М. И. Будыко (позже — академик), старый знакомый «от археологии» С. И. Руденко, известный физик (друг по омскому лагерю) профессор Н. А. Козырев. Все прошло хорошо, по-деловому. «Возражений против принципа и методики не было», — писал потом Л.Н.[635].

Через несколько лет географы на самом высшем уровне и президент ГО СССР академик С. В. Калесник окончательно признали Л.Н. «своим». Академик отметил, что он создал основы географо-археологического и историко-географического направлений[636]. Немного позже президент Географического общества напишет о гумилевских статьях по этносу: «Все в этих статьях ново… и подкрепляется множеством красочных и ярких примеров». Эта оценка открывала Гумилеву дорогу в Дербент для

точного определения уровня Каспия при хазарах. «Несмотря ни на что, дербентская эпопея — это одно из самых любимых наших воспоминаний», — писал Л.Н. в 1960 г.[637].

Если взглянуть на физическую карту Западного Прикаспия, то видно, что Дербент — особое, ключевое «место-развитие», севернее него выгоревшая степь, южнее — склоны холмов, отроги Кавказского хребта, ближе всего подходящие здесь к Каспию (Хазарскому морю). Это — узкие «ворота» на юг, в Закавказье. В VI в. ворота были замкнуты мощным крепостным сооружением, построенным персидским шахом Хосроем Нуширваном для защиты от северокавказских кочевников, многократно проходивших по этому пути с набегами. Легенда о причастности к этому сооружению Александра Македонского остается легендой; и время не то, и маршрут его пролегал куда южнее.

Сюда приехали Л.Н. и Геля, пройдя перед этим жесткую школу тренировок с аквалангами в Ленинграде; Л.Н. в ту пору было уже 49 лет. Крепость интересовала Л. Гумилева по двум причинам: во-первых, было известно, что это VI в., т. е. определенно и точно время хазаров; во-вторых, крепостная стена уходила в воду и Л.Н. хотел проверить по дербентской стене уровень стояния Каспия в VI в.[638]. Этого до Л.Н. не сделал никто. Все рассуждения Л. С. Берга об уровне Каспия в далекие времена ограничивались началом XVIII в., а догадка про X в., как мы уже видели, была неудачной. Если бы исследование удалось, то это позволило бы выйти на определение границ Хазарии на Нижней Волге!

Арабские географы IX-X вв. утверждали, что крепостные стены — на севере и юге — продолжаются и в море, огораживая с двух сторон защищенный порт, в «устье» которого была протянута цепь, закрывающая вход «наглухо». Но для чего надо было «тянуть» стену в море? Географ Б. А. Аполлов объяснил, почему это было сделано. В 1587 г., когда уровень моря понизился, караван, шедший с севера, остановился у стены на ночлег, чтобы утром, когда откроют ворота, идти дальше через город. Однако утром привратники убедились, что караван верблюдов обошел стену в воде. После этого Аббас I приказал соорудить в море большую башню и соединить ее с берегом стеной, чтобы их не могли обойти верблюды[639].

Никакого продолжения южной стены наши исследователи не нашли, а значит, замыкание порта цепью было мифом. Началось детальное исследование северной стены. Там, под водой, на глубине 3,5 м были обнаружены огромные сасанидские плиты, лежащие на боку, а от берега было больше 200 м. На глубине 4 м был найден черепок амфоры, облепленный ракушками. Что это

значило? Гумилев пишет: «Это был фрагмент точно такого же сосуда, которые мы находили вкопанными в землю вдоль стены, где они служили водохранилищами. Значит, в VI в. в воде нуждались на том месте, где теперь плещется море, а если так, мы нашли то, что искали — уровень моря VI в.»[640]. Абсолютная отметка Каспия в конце VI в. была минус 32 м, а в середине X в. вода стояла гораздо выше (–29,5, –28,5 м), т.к. другая крепость, построенная в Баку в 1234 г. («караван-сарай»), находилась на том же уровне[641]. Это давало ключ к загадкам Хазарии, к ее распространению и ее гибели.

А как же с нераскрытым местом Итиля? Решением этой проблемы Л.Н. занялся в 1963 г. во время работ на Тереке. М. И. Артамонов считал, что первая столица Хазарии — Семендер — находилась в центре равнины, на которой стоит современный Кизляр. Там и начал искать Л.Н., правда, вначале неудачно. Прежде всего в одной из стариц была обнаружена «крепость Шамиля», затем — крепость Терки у самого Кизляра, относившаяся к петровскому времени. Наконец удалось найти что-то похожее на Саркел, который молодой Л.Н. видел в далеком 1935 г.: крепость, ров (куда когда-то поступала вода из Терека), керамику VIII в. Стена крепости была сложена саманным кирпичом, похожим на саркельский.

Только в Ленинграде после консультации со специалистами по крепостной архитектуре Л.Н. убедился, что это крепость у станицы Шелковской — хазарская, и относится она к VIII в. Следовательно, — это Семендер (Саман-дар — саманные ворота), построенный в VI в. персидскими инженерами и являвшийся самым большим городом Хазарии. Его сады и виноградники знал весь Ближний Восток. Здесь подъем уровня Каспия не имел никакого значения. Хазарский этнос (в Дагестане) распался на христианскую (терские казаки) и мусульманскую (астраханские татары) части. «Потомки хазар остались, но этническая система исчезла», — писал Л.Н.[642].

Следует заметить, что позже, в конце 60-х — начале 70-х гг., появились статьи востоковедов В. Б. Виноградова И В. Г. Котовича, поставившие под сомнение, что Л. Гумилевым был открыт именно Семендер. Заведующий кафедрой этнологии СПб ГУ профессор А. В. Гадло полагает, что эта крепость играла роль лишь сезонной ставки хазарского военачальника. Но думается, что будут высказаны еще и иные точки зрения, как бывает в археологии, и вряд ЛИ это что-нибудь изменит в общей оценке «хазарских подвигов» Л.Н.[643].

Но тогда Л.Н. торжествовал. Он пишет статьи всюду, и теперь их печатают, еще бы — открытие доказано! «Моя статья «Хазария

и Каспий» переведена на английский язык и опубликована в американском журнале «Совьет Джеографи»... Я горд как павлин!»[644] В библиотеке Русского географического общества с той поры находится его статья «Изменение уровня Каспия» (1965), напечатанная во французском журнале Cahiers du Monde Russe et Sovietique (1966), снабженная дарственной надписью автора.

Караим-востоковед Семен Шишман[645] пишет ему из Парижа: «Если раскопки подтвердят Ваши безупречные, как мне кажется, гипотезы, Вы будете хазарским Шлиманом и перед наукой откроется новый мир, так основательно забытый»[646]. П. Савицкий настаивал на дальнейшей разработке открытия Л.Н.: «По части Семендера надо сделать больше, чем до сих пор сделано. Ведь это же исключительное открытие! Нельзя ограничиваться «сбором с земли», да и то весьма частичным...»[647]

Эйфория, однако, не мешала Л.Н. работать дальше.

8.2. И снова гетерохронность (От Каспия к глобальности...)

Итак, открыта древняя столица загадочной Хазарии, установлен уровень Каспия в VI в., написана хорошая, популярная книга. Но работа, начатая широким выходом в географию, дает и другие плоды: проблему взаимовлияния «ландшафта и этноса» в самые разные исторические эпохи.

Одним из методов Л. Гумилева становится составление хронологических таблиц, точнее — геохронологических. Идут века, меняются дороги циклонов над Европой по приведенной выше схеме: северный, средний, южный пути. По-разному сказывается это в гумидной (влажной) и аридной (засушливой) зонах; по-разному все идет и внутри аридной зоны — в западной и восточной Евразии. В таблице сопоставляются цивилизации Китая и Европы: первый, второй века — Империя Хань и Рим; шестой век — Империя Суй и франки в Европе, одиннадцатый — Суй и феодализм в Европе, XV в. — империя Мин в «Срединном царстве» и Возрождение в Европе, наконец, XVIII в. — Россия, подчинившая себе Сибирь; маньчжуры и Цинь в Китае, колонизация мира на Западе.

Кажется, что тут нет ничего особенного, все в разных вариантах было в предыдущих книгах — «Хунну» и «Древние тюрки». Но там сопоставляется история одного региона с историей другого, пусть даже с поразительной детальностью, но там это сделано «без природы». Тот подход позволял собрать обширный материал этнической истории, сопоставить вроде бы ранее несопоставимое, обычно рассматриваемое изолированно:

«Запад есть Запад, Восток есть Восток».

Привлечение природных факторов — периоды увлажнения и усыхания — даже в варианте каспиоцентризма (это определение самого Л.Н.) дает куда больше (см. таблицы)[648]. Л.Н. считал очевидным, что 2000 лет назад площадь пастбищных угодий, а следовательно, и ландшафты были иными, чем сейчас. Кроме того: усыхание степи имело место и в древности. В результате этих изменений хуннская держава погибла. Что это — традиционный, хорошо известный на Западе и на Востоке (Ш. Монтескье, Л.Мечников) географический детерминизм, т.е. объяснение всех исторических событий географическими факторами? Никоим образом. Сам Л.Н. сразу же отметал это (и не в угоду идеологии). «Конечно, — писал он, — для крушения кочевой империи имелось сколько угодно Внешнеполитических причин, но их было не больше, чем Всегда, а до 90-х гг. хунны удерживали гегемонию в степи, говоря: «Мы не оскудели в отважных воинах» и «сражаться на коне есть наше господство». Но когда стали сохнуть степи, дохнуть овцы, тощать кони, господство Хуннов кончилось»[649].

Все это — обратный ход мысли (по Л.Н.), т. е. один Из методических приемов, открытый и внедренный им. Ход рассуждений прост: если мы знаем историю последних 3000 лет по письменным источникам, то передвижения степных народов (они более всего зависимы от климатических «перепадов») дают нам ключ к открытию и установлению того или иного периода увлажненности или, наоборот, усыхания. Этот вывод позволили сделать полевые работы 1959–1963 гг. Именно они дали основание для перенесения проблемы усыхания Средней Азии в иную плоскость, а также — наметить опорные точки колебаний уровня Каспия, заполнив интервалы между этими точками и получить довольно стройную картину изменений климата на исследуемой территории[650]. Конечно, все было совсем не так просто: привлекались географические исследования на мезоуровне, т. е. не только «трансгрессия» (наступление) и «регрессия» (отступление) Каспия. В период до VI в. они не были точно определены. Тут на помощь пришло изучение донных отложений залива Кара-Богаз-гол, характер которых определяется уровнем Каспия относительно высотной отметки Бэра, отделяющего залив от моря. По мнению В. Г. Рихтера, очередная трансгрессия падает на конец II в. и сменяется незначительной регрессией около IV в.[651]. Таких поисков деталей и «мелких» открытий у Л.Н. было много, даже очень много.

Одна из глав «Тысячелетия вокруг Каспия», книги относительно поздней в творчестве Л.Н., называется

«Хронософия». Сначала автор превозносит синхронистические таблицы. «Принцип синхронии… — писал Гумилев, — позволяет представить ряды последовательных событий тем же способом, каким географ составляет карту, с той лишь разницей, что наряду с топо-основой учтена темпо-основа — абсолютная хронология от н. э. Здесь важны и «пустые места», т. к. они показывают периоды, в которые исторических событий не было, т. е. пассионарность этносоциальной системы находилась в равновесии, иными словами, время было спокойным»[652].

Дальше Л.Н. доказывает, что синхронистический подход лишь позволяет собрать большой и необходимый материал и является лишь подготовительным этапом. Дальше необходимо начинать отсчет не от того или иного, условно принятого за начало летоисчисления, года, а от момента рождения, точнее «зачатия» этноса. Но это уже другая проблема, и о ней будет сказано позже.

Века до н. э.	Направление циклонов	Аридная зона		Гумидная зона Европы	Цивилизации	
		Западная Евразия	Восточная Евразия		Китай	Ближний Восток
XXXIV–XXV	Сев.	Энеолит, выселение степняков в Зап. Европу	Афанасьевская культура	Неолит	Культура Яншао	Древнее царство Египта
XXIV–XXIII	Сев.				Всемирные потопы	
XXII–XXI	Средн.	Катакомбная культура		Бронза	Культура Лунъшан (Си)	Шумер и Аккад
XX–XIII	Южн.	Срубная культура	Андроновская культура	Фатьяновская культура	Династия Шан	Ассирия и Новое царство Египта
XII	Южн.		Переход хунов на север		Падение династии Шан (1122 г.)	Распад хеттов, гибель Трои
XI–IX	Средн.	Киммерийцы	Карасукская культура	Гальштатская культура (иберы)	Династия Чжоу	Усиление Иудеи
VIII–V	Средн.	Скифы	Пазырыкская культура (Юэчжи)	Иберы	Распад династии Чжоу	Ассирия, Персия, Мидия.
IV	Южн.	Сарматы	Юэчжи	Кельты	Эпоха "Бранн царств"	Александр Македонский
III	Южн.	Сарматы	Создание Хунну	Выселение кельтов	Царство Цинь	Эллинизм
II–I	Средн.	Сарматы	Кризис Хунну	Выселение кимвров и тевтонов	Империя Хань	Римская республика

Сводная таблица изменений степени увлажненности Евразийского континента (на материале палеоэтнографии)

1 — увлажнение; 2 — усыхание; 3 — повышение увлажненности; 4 — понижение увлажненности

Века н. э.	Направление циклонов	Аридная зона		Гумидная зона Евразии	Цивилизации	
		Западная Евразия	Восточная Евразия		Китай	Европа
I	ср.	Сарматы	Хунны		Хань	Рим
II	ср.	Аланы	Сяньби		Хань	Рим
III	сев.	Аланы, гунны, готы	Сяньби	Угры	Троецарствие	Упадок Рима
IV	ср.	Гунны	Жужани	Россомоны	Пять варваров	Христианский Рим
V	юж.	Савиры и болгары (с 463 г.)	Жужани		Тоба-Вэй	Великое переселение народов
VI	юж.	Авары (с 588 г.)	Тюркюты	Анты	Суй	Франки
VII	юж.	Болгары	Тюркюты		Тан (расцвет)	Франки
VIII	юж.	Хазары	Тюрки и уйгуры	Славяне	Тан (кризис)	Франки
IX	юж.	Хазары и венгры	Уйгуры и кыргызы	Киевская Русь	Тан (упадок)	Образование наций
X	ср.	Печенеги	Кидани	Киевская Русь	Пять династий	Феодализм и викинги
XI	юж.	Половцы	Кераиты	Киевская Русь	Сун	Феодализм
XII	юж.	Половцы	Татары	Владимирская Русь	Чжурчжени (Цзинь)	Крестовые походы
XIII	ср.	Завоевания монголов Чингисхана: Золотая Орда	Мятежные ханы	Русь	Монголы	Гвельфы и гибеллины
XIV	ср.	Распад Золотой Орды	Поражение и упадок Монголии	Великороссия	Юань и Мин (с 1360 г.)	Столетняя война
XV	ср.	Упадок Золотой Орды	Ойраты	Усиление России	Мин	Возрождение
XVI	сев.	Ногаи	Калмыки	Соперничество Литвы, Москвы и Казани	Мин	Реформация
XVII	ср.	Калмыки и казаки	Конец монголов	Подчинение Сибири	Маньчжуры	Религиозные войны
XVIII	ср.	Казаки и русские	Гибель калмыков	Россия	Маньчжуры Цинь	Колонизация мира
XIX	ср.	Упадок кочевой культуры		Россия	Цинь	Эпоха прогресса

Сводная таблица изменений степени увлажненности Евразийского континента (на материале палеоэтнографии)

1 — увлажнение; 2 — усыхание

9. Конец 60-х гг.: новые книги, обретение уюта

> *Я мог бы гораздо больше сделать, если бы меня не держали 14 лет в лагерях и 14 лет под запретом в печати. То есть 28 лет у меня вылетели на ветер! Кто это сделал? Это сделали не власти. Нет, власти к этому отношения не имели. Это сделали, что называется, научные коллеги. Так вот, этих, которые сидят в университетах, в институтах научных, в издательствах — вот их как-то надо подвести к тому, чтобы делали дело.*
>
> *Лев Гумилев*

Начало 60-х гг. было для Л.Н., казалось бы, весьма благополучным — он «обрел статус»: в 1961 г. защитил докторскую, в 1963 г. стал старшим научным сотрудником НИГЭИ Ленинградского университета. ВАК протянул с присвоением этого, не такого уж престижного звания аж до 1965 г., но это не меняло дела. Опять же работали «научные коллеги»! Можно было успокоиться и писать, реализовывать все, что задумано еще «там», корректируя это в библиотеках и архивах. Но уже 1966-й начался грустно — в марте умерла в Москве Анна Андреевна. Л.Н. боялся обратного; он думал, что будет иначе. Сколько раз из лагерей 1949–1956 гг. он писал ей, что вряд ли продержится. Вот далеко не полная подборка таких высказываний Л.Н.: в 1951 г. он пишет: «Я решил, что умер и нахожусь в чистилище», «Я, к сожалению, жив и здоров»; в 1952 г. — «Из больницы вышел, стал инвалидом», «На все наплевать», «Думать, что я потяну свои 10 лет — наивность, и поэтому совершенно все равно, болен я или здоров»; в 1954 г. — «Если я умру здесь, останется посмертная работа, которая покажет, что я был и остался ученым», и т. д. и т. п.

Получилось, однако, иначе. Л.Н. думал, что в чем-то и он виноват... Внешне 1966-й был самым продуктивным: 14 печатных работ, и в том числе одна из любимых и «легких», на одном дыхании написанных книг — «Открытие Хазарии». В 1965 г. опубликовано 8 статей за год и в 1967-м — столько же. Но,

конечно, все это лишь видимость; дело в том, сколько создано за год, а здесь многое шло из «запасов», из письменного стола.

1966-й был и первым «выездным» годом. Л.Н. отправился в Прагу на Археологический конгресс. На вокзале его встретил П. Савицкий. «Мы несколько раз встречались, — писал потом Гумилев, — долго гуляли, он рассказывал мне о пережитом»[653].

1967-й был радостнее; наконец-то произошли существенные изменения в комнате на Московском, 195. Л.Н. познакомился со своей будущей женой еще в 1965 г. Москвичка Наталия Викторовна была художником-графиком, иллюстратором книг. 15 июня 1967 г. она переехала в Ленинград. Месяца два до этого от Л.Н. не было никаких известий, и Наталия Викторовна забеспокоилась. Ответ был на открытке и типично гумилевский: «Кончаю корректуру «Древних тюрок». Жду в назначенный срок. Уже вымыл пол»[654].

Комната на Московском проспекте была его первым собственным пристанищем, где он прожил до женитьбы Шлет. «В квартире, — вспоминает Наталия Викторовна, — жил даже свой «родной» милиционер, который, очевидно, по долгу службы спрашивал: «Это что ты там пишешь, Лев Николаевич? Хунны твои — это за Китай или против Китая?» — «Да, против Китая, Николай Иванович». — «Ну, тогда больше пиши, а бумажки-то рви, в уборной не оставляй!» Милиционер имел в виду рукописи»[655].

В комнате Л. Гумилева появилась хозяйка, забросившая полностью свои дела ради Льва Николаевича. Стало чисто, ухоженно; дом сделался гостеприимным, хлебосольным. Хорошо знавший Л.Н. известный писатель Дмитрий Балашов отмечал, что Наталия Викторовна подарила Льву Николаевичу «лишние» десять-пятнадцать лет жизни, в которые он как раз и сумел подготовить, напечатать и тем спасти от уничтожения свои основные труды[656]. Да, с трудами пошло веселее: в 1967 г. вышли наконец «Древние тюрки», и Л.Н. мог полностью сосредоточиться на завершении «Степной трилогии». Она была подготовлена именно в эти годы. Начал он и серию статей об этногенезе. Летом они жили в квартире Наталии Викторовны в Москве, а в «рабочий сезон» (осень—весна) на Московском проспекте. Установился некий режим, видимо, неплохой для здоровья Л.Н.

А годы были нелегкими; три из них заняла «битва за наследие» Анны Ахматовой. Это — особая тема.

9.1. Разграбление двух архивов

Я не верю в нашу

интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее ж недр.

А. П. Чехов

Не теряйте отчаяния.

Н. Пунин

Судьба Н. Н. Пунина была страшной. В 1949 г. его арестовали «всерьез». С. Михайловский пишет, что последним, кто его видел, оказалась А.А[657]. А прощанием с ушедшим звучат ее стихи:

И сердце то уже не отзовется
На голос мой, ликуя и скорбя.
Все кончено. И песнь моя несется
В пустую ночь, где нет тебя.

Забыла ли все А.А., простила ли? Странно, но во всей статье Михайловского нет и упоминания о том, что он был... мужем А.А. О ней биограф Пунина вспоминает, лишь говоря о событиях 1941 г., связанных с эвакуацией в Ташкент. Туда же, позднее, приехали Пунины с тяжело больным Н. Н. Ахматова встречала их на вокзале. Они не виделись полгода, но свидание оказалось недолгим.

Уйдя из жизни, Н. Пунин не оставил в покое Л.Н. Пунинские родственники напомнили ему о себе сразу после смерти А.А. Надо пояснить, кто они: Ирина Николаевна — дочь Н. Н. Пунина, и Анна Каминская — внучка. Об этой, по мрачной шутке М. Ардова, «пунической войне», можно судить, вспоминая очень эмоциональные рассказы самого Л.Н., или по очень обстоятельной статье профессора Ю. К. Толстого в журнале «Правоведение»[658].

Л.Н. вспоминал, что они с матерью задолго до ссоры договорились, что весь ее архив перейдет в Пушкинский Дом. Это исходное положение для нас при оценке всего, что произошло дальше. Вместе с тем оно должно было быть основным для всех остальных (включая и юридические инстанции), но этого не произошло. С обидой Л.Н. говорил о мощных организациях — Союзе писателей СССР и Академии наук СССР, которые должны

были бы его поддержать, но уклонились.

А атаковали его как раз те люди, которые должны были бы помочь и поддержать: Ардов-младший и еще более резко, если верить устным воспоминаниям самого Л.Н., Ардов-старший. Логика была малопонятной. М. Ардов (т. е. Ардов-младший) вспоминал об этом так: «Почти все друзья Анны Андреевны выступили на его стороне», но... «сам факт этого суда повлиял на меня очень сильно и в конце концов отбил охоту тесно общаться с Гумилевым»[659].

Здесь нелогично все, особенно если прочитать следующую фразу воспоминаний М. Ардова: «В этом деле он (Л.Н.) действовал как-то странно, в течение продолжительного времени никаких шагов не предпринимал, в результате почти все бумаги Ахматовой были Луниными распроданы и оптом, и в розницу — и в государственные архивы, и частным лицам». Значит, Л.Н. был виноват лишь в том, что поздно спохватился? Но ведь легко понять, что при его сложных, очень сложных (мягко выражаясь) отношениях с матерью все последние годы ее жизни не так просто было ему решиться на подобный шаг. Хорошо зная Л.Н., я мог бы удивляться отнюдь не тому, что он сделал это с опозданием, а тому, что нашел в себе силы это сделать вообще. Но это было необходимо.

«Ардовская логика» почему-то оказалась заразительной. Ее разделила и большая приятельница А.А. — Ольга Берггольц, помогавшая ей в самые трудные годы, и Павел Лукницкий, знавший Л.Н. еще в 20-е гг., когда тот был мальчишкой. Лев Николаевич потом обижался, что П. Лукницкий говорил с ним о суде «тоном следователя». А ведь это был один из самых близких ему людей в 20-х гг.. Позицию Ардовых разделяла и знакомая Л.Н. по Эрмитажу — И. Немилова.

Если коснуться формальной стороны дела, то дело обстояло так: когда Л.Н. был арестован второй раз, а имя самой А.А. фактически находилось под запретом, а средства к существованию добывались с огромным трудом и нерегулярно, А.А., боясь, что после ее смерти рукописи попадут в чужие руки, составила завещание в пользу Пуниной и ее дочери Каминской. После 1953 г. возникла другая ситуация: Л.Н. был реабилитирован (1956 г.), возвратился в Ленинград. Ахматова аннулирует сделанное ранее завещание, считая, что сын — ее единственный наследник. Отношения ее со Львом в последние годы жизни в этом ничего не меняют, поскольку и отношения с Пуниной и Каминской были отнюдь не безоблачны. «Ухаживать за А.А. было некому. Пунина и Каминская, — пишет очень осторожный Ю. К. Толстой, — тяготятся уходом за ней...

Ахматова мотается по друзьям и знакомым»[660]. Да и у самой А.А. искренне прорывалось: «Ирочка и Аничка никогда не помнят ничего, что меня касается. Они хотят жить так, будто меня не существует на свете. И это им удается вир-ту-о-зно!»[661] Это было сказано в 1965 г.

Еще резче оценивала ситуацию Лидия Чуковская, боготворившая А.А.: «Хотя в Ленинграде Союз писателей в писательском доме предоставил квартиру Ахматовой (не Луниным), они, живя с нею, не считают себя обязанными создавать в этой квартире быт по ее образу и подобию, быт, соответствующий ее работе, ее болезни, ее праву, ее привычкам. Сколько бы они ни усердствовали, выдавая себя всюду за «семью Ахматовой» — это ложь. Никакая они не семья»[662]. Яснее не скажешь.

Хорошо знавшая обстановку в семье Н. Н. Пунина при его жизни (30-е гг.) Э. Герштейн отмечала, что у его бывшей жены и дочери-подростка пренебрежение к литературному имени Анны Ахматовой было вполне искренним. Герштейн рассказывает об одном характерном эпизоде: «Когда в Ленинград приехала из Америки «Синяя звезда» Н. Гумилева[663], она позвонила Ахматовой, но не застала ее дома. Она просила передать Анне Андреевне, что просит встречи с ней. Никто из Луниных не сказал об этом Ахматовой ни слова. Так она и не встретилась с женщиной, внушившей Гумилеву его великую любовь. Анна Андреевна рассказывала об этом несостоявшемся свидании почти со слезами на глазах[664].

Трагедия состояла в том, что после смерти А.А. весь архив оказался в руках Пуниной и Каминской, проживавших в одной квартире с Ахматовой. Более того, как пишет Ю. К. Толстой, в последние годы жизни Ахматова, будучи человеком щедрым по натуре и получая крупные литературные гонорары, фактически содержала Каминскую, а частично и Лунину[665]. Последние никак не хотели терять источник дохода: только теперь им была не сама А.А., а ее архив, в который они вцепились мертвой хваткой. Люди, хорошо их знавшие, рассказывали, что транспортировка всех бумаг А.А. в Москву (куда неизвестно) была ими проведена в первую ночь после ее смерти.

Л.Н. действовал строго по завещанию: ясное дело, надо отдать все в Пушкинский дом, как велела матушка. Уже в июне 1966 г. (т.е. через 3,5 месяца после смерти А.А.) он оформил договор с Пушкинским Домом, по которому продаст все рукописи, переписку и иконографический материал, принадлежавшие А.А. ко дню ее смерти, за... 100 рублей, т.е., как показал потом член Комиссии по литературному наследству

А.А.[666] — академик В. М. Жирмунский, фактически безвозмездно! Сумма в 100 рублей была проставлена, как пояснял Ю. К. Толстой, для того, чтобы придать договору видимость сделки.

Комиссия признала необходимым в кратчайший срок осуществить выявление материалов архива А. Ахматовой и подготовить передачу всех этих материалов в Пушкинский Дом. Это решение было принято Комиссией единогласно, за него (парадокс!) голосовала и И. Пунина. В какой-то момент могло показаться, что все в порядке, тем более что Л. Гумилев в сентябре 1966 г. получил в нотариальной конторе, как и положено, свидетельство о праве на наследство.

Прошло всего несколько дней и выяснилось, что И. Пунина уже продала часть архива А. Ахматовой, но отнюдь не в Пушкинский Дом, а в Публичную библиотеку им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Мотив был смехотворен: устное согласие Л.Н. на такую передачу. На это «устное согласие» ссылались в дальнейшем и И. Н. Пунина, и А. Каминская, а также Мыльников — зав. отделом рукописей Публички. Никак не хотели наследники Пунина расставаться с доходом[667]. Возмущенный Л.Н. пишет письмо А.А. Суркову, в котором называет И. Лунину «соседка моей матери», кипятится, предвидит, что начнется «спекуляция автографами», пишет, что личные отношения с И. Н. Пуниной прервал», но все это было безрезультатно[668].

О том, как все это смотрелось со стороны, свидетельствует запись впечатлений о грабеже, сделанная В. Н. Абросовым. «Время действия — 20 декабря 1966. Место действия — Московский проспект. В 13 ч. 30 минут в моем присутствии на квартиру к Л. Н. Гумилеву пришла И. Н. Пунина. За полчаса перед этим для встречи с ней сюда же явился ее зять Леня. Содержание двухчасовой беседы вкратце излагаю здесь. Л. Н. Гумилев спросил: чем я обязан визиту? Ирина Николаевна ответила: я намерена узнать, что ты хочешь предпринять в отношении архива Анны Андреевны Ахматовой? Лев Николаевич ответил: решительно ничего! Я право собственности за мизерную сумму передал Пушкинскому Дому. Законным владельцем архива теперь является Пушкинский Дом. От меня теперь ничего не зависит. И ничего предпринимать я не буду. Я считаю, что архив мамы должен храниться в одном месте и не может быть предметом торга — кто больше даст? Поскольку я не являюсь владельцем больше, то теперь дело Пушкинского Дома, — согласно переданному мною праву, — собрать архив в одно место. Ирина Николаевна отвечала: Лёва, от тебя многое зависит! Лев Николаевич возражал, указывая, что передача прав означает, что весь архив должен находиться там, куда он его передал.

Ирина Николаевна возражала, указывая, что есть закон, запрещающий передачу материалов из одного архива в другой. Лев Николаевич отметил, что И. Н. не имела права распоряжаться судьбой архива, ей не принадлежащего. Ирина Николаевна заявила, что она заботилась единственно о том, чтобы архив Анны Андреевны попал в надежное место. Пушкинский Дом она таковым не считает. Лев Николаевич задал вопрос: как ты объяснишь то, что за архив А.А. взяли деньги? Ирина Николаевна ответила, что она взяла деньги не за архив, а за работу по приведению его в порядок. Л.Н. заметил: «но тебе платили по фонду для приобретений, а не из фонда зарплаты». Ирина Николаевна несколько смутилась. Затем разговор перешел к воспоминаниям о совместной жизни на Фонтанке и на ул. Кр. Конницы. И. Н. обратила внимание, что Анна Андреевна очень любила Аничку Каминскую и неоднократно говорила, что думает на нее оставить часть своего достояния. Лев Николаевич ответил: «Но не оставила». Ирина Николаевна заметила, что Л.Н. вырос в семье ее отца, должен не забывать это и должен помочь и помогать Аничке. Лев Николаевич отвечал, что он ни Н. Н. Лунину, ни И. Н. Пуниной, ни Аничке Каминской ни в чем себя обязанным не считает. Единственно к кому он сохранил глубокое уважение и благодарность, это к первой жене профессора Н. Пунина — Анне Евгеньевне Арене.

По моему мнению, все действия Ирины Николаевны направлены на то, чтобы получить деньги. Продажа части архива и передача И. Н. Пуниной его по частям в Публичную библиотеку и в ЦГАЛИ свидетельствуют не о заботе о собрании архива, а о его использовании в личных интересах. С 1945 г. я часто бывал у Л. Н. Гумилева и А. А. Ахматовой, и мне известно, что они жили своей семьей отдельно от семьи профессора Н. Н. Пунина. Претензия И. Н. Пуниной на право распоряжаться литературным архивом Анны Андреевны не имеет никаких оснований. Не являясь наследницей А. А. Ахматовой, Ирина Николаевна не имела права ни на продажу архива, ни на определение его по своему усмотрению в какой-либо архив. Отношения между семьей Н. Н. Пунина и А. А. Ахматовой были холодными и основывались на денежном расчете. Составлено 20 декабря в 23 часа по памяти. В. Абросов. Абросов Василий Никифорович, г. Великие Луки, ул. Сиповского, д. 54, кв. 1»,

Дело тянулось вплоть до 1969 г. На суде Л.Н. заверял: «Я не давал согласия ни устно, ни письменно на передачу архива Ахматовой в Публичную библиотеку». Это подтверждали такие свидетели, как академик В. М. Жирмунский, хорошо знавшие А.А., — Н. И. Харджиев, Эмма Герштейн, и, наконец, М.Ардов,

который все-таки выступил «за правду».

В начале 1967 г. состоялось соглашение между ЦГАЛИ (куда предприимчивые «наследницы» сплавили другую часть архива А.А.) и Пуниной о продаже архива за 4500 рублей — заметную тогда сумму. Соглашение между ЦГАЛИ и И. Пуниной еще можно как-то понять, ведь упомянутый архив находится в Москве, там могли чего-то не знать. Но тогда же, в январе 1967 г., Народный суд в Ленинграде отказал Пушкинскому Дому в приеме искового заявления. Логика была весьма сомнительной: раз И. Пунина передала часть архива в государственное,учреждение, значит... дело суду неподсудно. Не дожидаясь судебного решения, Публичка перевела сутяжницам еще 2071 рубль сверх ранее выплаченных 1247 рублей. Тем временем судебная волокита продолжалась: Ленгорсуд снова направил дело туда, где оно уже разбиралось; но через некоторое время оно опять вернулось в Ленинград.

В 1968 г. председатель Комиссии Алексей Сурков (и здесь понятна обида Л.Н. на СП СССР!) вяло комментировал происходящее: да, Комиссия решила все передать в Пушкинский Дом, но «случилось так, что И. Н. Лунина... начала распоряжаться материалами поэтессы по своему усмотрению»[669].

В 1969 году Л.Н., понимая, что основная несправедливость уже свершилась, просил признать за ним право на собственность хотя бы на мемориальные вещи А.А., находящиеся у Пуниной, и обязать ее вернуть эти вещи. Подчеркиваю, речь шла не о каких-то материальных ценностях, а об альбоме «Князь Долгорукий» со стихами А.А.[670], но без успеха.

Все свидетели подчеркивали: нельзя расчленять архив А.А., но это уже было сделано. Все они указывали: если А.А. дарила кому-то что-либо из своего литературного наследства, то только с дарственной надписью. Между тем ни на одной из тетрадей, переданных Пуниной в ЦГАЛИ, дарственных надписей не было. Но и это проигнорировали. Наконец в том же 1969 г. вдруг последовало положительное для Л.Н. решение Ленгорсуда, но снова пошли кассационные жалобы Пуниной, Каминской, Публички и ЦГАЛИ.

Мы уже называли имена свидетелей, выступавших за Л.Н. Это — авторитетные люди; каждый из них знал А.А., знал и ее волю. А кто же выступал на стороне Пуниной и К?? Может быть, еще более авторитетные свидетели или инстанции? Ю. К. Толстой, основательно проштудировавший все перипетии дела от начала и до конца, называет лишь две фамилии, абсолютно никому не известные — Шейн и Люш[671]. Кассационные жалобы этих неизвестных людей сработали; здравый смысл, правда и

порядочность — все это не играло никакой роли. Верховный суд РСФСР согласился с ответчиками и отказался от взыскания с Пуниной полученных ею сумм — более 7800 рублей. Дело, конечно, не в деньгах. Почему Верховный суд принял такое решение? На этот вопрос нет ответа ни в законе страны, ни в комментариях опытного юриста. Судья Ленгорсуда по завершении дела сказала Л.Н.: «Все это — обычное невезение Н. Гумилева, А. Ахматовой и Ваше». Осталось добавить: «И проклятие Н. Н.». Да, дело не в деньгах и даже не в попранной справедливости, а в последствиях.

Конец 90-х, с позорного процесса прошло 30 лет, но проклятие Н. Пунина приходит издалека, опять же, видимо, через него самого. «Новая газета» сообщила: «В городе Турине увидели свет 23 записные книжки Анны Ахматовой. Все ее сохранившиеся черновые записи 1958-го по 1966 год. Это совместная работа Российского государственного архива литературы и искусства и итальянского издательства. Из всего тиража на родину поэта прибыла одна тысяча экземпляров книги»[672]. Почему в Турине, а не в Петербурге или Москве, и почему нам на всю страну «выдают» всего тысячу?

Незадолго перед этим вышел третий том воспоминаний Л. Чуковской. Там есть любопытная фотография «Анна Ахматова и Аня Каминская в Оксфорде, 1965 г.»[673]. Царственная, божественная А.А. больна, это очевидно, и все-таки она действительно «великая княгиня поэзии», как написал потом Ганс Вернер Рихтер. Тут же видим «придворную даму» — Анну Каминскую. С фотографии на нас смотрит ее хитроватое личико; она держит Анну Ахматову под руку, крепко держит[674].

Ясного ответа насчет туринского издания в мемуарах Лидии Чуковской искать бесполезно. В 1964 г., когда А.А. ездила в Рим и Таормину, все записки Л. Чуковской уже переполнены другим героем — идет «дело Бродского». Не будем поэтому гадать и приписывать внучке Н. Пунина какие-либо «операции» в Англии или тем более Италии (была ли она там вообще?): при живой А.А. «загнать» ее записные книжки на Запад было явно невозможно. А после смерти?

Судья из Ленгорсуда была права, когда сказала о невезении Гумилевых. Не повезло и архиву Н. С. Гумилева, это открылось совсем недавно. Редактор журнала «Знамя», жалуясь на нищенский уровень подписки на 1998 г. (десяток тысяч!), рассказал о публикациях и портфеле редакции, задавая вопрос: «Неужели все это никому не нужно?» А среди «всего этого» — книга 92-летней Эммы Герштейн «Надежда Яковлевна», где с шокирующей прямотой и бесстрашием рассказывается о сложном

клубке, в который сплелись личные и творческие отношения Осипа и Надежды Мандельштам, Анны Ахматовой, Марии Петровых, других культовых фигур предвоенного десятилетия»[675]. Оказывается, десяток лет назад известная нам Эмма Герштейн опубликовала часть этой книги за рубежом, в Париже[676]. В ней и содержится страшная правда об архиве Н. Гумилева.

В 1936 г. А.А. встретила в Воронеже у Мандельштамов Сергея Рудакова, работавшего над автокомментарием Мандельштама к его уже вышедшим книгам. Встретила и открыла в нем страстного почитателя Гумилева к тому же текстолога, стиховеда и поэта. Она предоставила ему для работы часть своего гумилевского архива. В Ленинграде до самой войны А.А. нередко виделась с Рудаковым. 28 мая 1940 г. она подарила ему «Из шести книг» с надписью: «Сергею Борисовичу Рудакову на память. А. Ахматова». Герштейн пишет, что ей неизвестно, когда именно Ахматова передала ему архив Гумилева[677]. Упрекать А.А. в этом было бы нечестно, особенно если это сделано в «смутные годы» после 1938 г. — ареста Л.Н.

В мае 1944 г. С.Рудаков погиб на фронте. Осталась Лина Самойловна Финкельштейн, его вдова. Она вернулась в Ленинград в 1944 г., тогда же, когда и А.А. Тут начинается гнусная история лжи, умолчаний и предательства. Рассмотрим эпизоды этой истории по порядку.

Эпизод № 1: Вскоре после возвращения Лина Самойловна встретила А.А. на концерте в Филармонии, подошла к ней в антракте и прошептала: «Все цело»[678]. Эпизод, видимо, достоверен, т. к. о нем Герштейн рассказала сама А.А.

Эпизод № 2: В конце 1945 г. они встретились вновь (это установлено точно по подаренному вдове журналу «Ленинград» № 1–2 за 1946 г.). Э. Герштейн пишет, что говорилось об архиве Гумилева — ей неизвестно, но с обоюдного согласия он остался у вдовы Рудакова[679]. Странный эпизод, ибо в конце 1945 г. А.А. находилась в зените славы, ее печатали, она была спокойнее обычного; Лев вернулся после армии; она могла бы не бояться хранить письма и стихи Н. Гумилева дома. Через год положение изменилось; Лина Самойловна, «психотехник» по специальности, сторонилась уже опальной А.А. и боялась посещений Льва.

Эпизод №3: Как-то Лев, провожая Э. Герштейн на вокзал, заходил вместе с ней за чемоданом на Колокольную, в квартиру, где жила Лина Самойловна. Та в сильном испуге спросила: «Почему он пришел сюда?» Проницательная Эмма писала: «Я предположила, что рукописи Гумилева уже продавались ею (не отсюда ли новая шуба?), а так как совесть ее была нечиста, ей померещилось, что Лёва уже знает об этом»[680].

Эпизод № 4: Герштейн вспоминает, что, встретившись с ней весной 1949 г., Лина Самойловна оглушила ее неожиданным известием. Оказывается, произошла досадная ошибка: архива Гумилева у нее нет и не было[681]. Объяснение было детским: сундук с рукописями стоял в коридоре общей квартиры, она не знала, что там бумаги, а ребятишки... и т. д. Эмма передала этот вздор А.А., которая не могла удержаться от подозрения, что Лина Самойловна торгует письмами и рукописями Гумилева. «Поймите — это золото», — вразумляла А.А. Э. Герштейн[682].

Эпизод № 5: «Во всем виновато КГБ!». В 1954 г. Эмма посещает Лину Самойловну в Москве, и та сообщает нечто совсем новое: ее забрали в марте 1945 г. по «еврейскому делу»; просидела она недолго, но зато у нее изъяли все рукописи Мандельштама. И что совсем гадко (если бы арест и конфискация были правдой), она не удосужилась сообщить об этом вдове Мандельштама; не торговала ли и теми рукописями?

Эпизод № 6: 1973 г. «КГБ не виновато». Эмму зовут к тяжело больной Лине Самойловне, которая передает ей бювар с девятью письмами Н. Гумилева, а она отдает их Льву Николаевичу — «законному владельцу»[683]. Сама больная признается, что обманула ее в 1954 г., на самом деле, она сожгла рукописи Мандельштама, а так «ей все вернули». Об архиве Гумилева Лина Самойловна снова сказала, что больше у нее ничего нет и не было. Неприятно все это читать и цитировать. Трудно сказать, кто из «героев» гнуснее — ответчики в «пунической войне» или вдова Рудакова. Пожалуй, все же вторая; те работали втихую, а эта грабила, распродавала и лгала, лгала...

«Притеснители выходят из ее же недр» — из интеллигенции. Прав был Антон Павлович!.. Впрочем, какая уж это интеллигенция...

9.2. «Экологическая ниша» или «отторжение»?

Литература о Л.Н. пока совсем невелика, но все-таки она уже есть. Есть хорошая, есть и плохая, есть честная, и есть не очень, но об этом уже сказано в предисловии.

Я с удивлением прочитал во вводной статье Айдера Куркчи[684], что «среда экономико-географов отторгла его» (т. е. Л. Гумилева. — С. Л.)[685]. Сам Гумилев оценивал это совсем по-другому: «В годы застоя кафедра экономической и социальной географии была для меня «экологической нишей», меня не гнали с работы, была возможность писать»[686]. Да, я думаю, что он находился у нас почти в идеальной ситуации, когда мог ходить на работу в основном лишь на заседания Ученого совета по

диссертациям, причем делал это с огромным удовольствием и вкусом, ибо встречался здесь с друзьями (очень искренними друзьями, уважавшими и любившими его). Он мог с ними в коридоре покурить и неторопливо побеседовать, а после защиты (эти инструкции ВАКа мы всегда нарушали, думается, как и все другие советы страны) выпить по рюмке-другой.

Какое же это «отторжение», если заведующий нашей кафедрой (до меня) профессор Б. Н. Семевский — географ по образованию и степени — защищал Л.Н. в печати в журнале «История СССР» от нападок… историков!»[687]. Мне кажется, что вот эта «ватная обкладка», защищавшая Л.Н. от «остального мира», помогла ему в последние 25–30 лет жизни и была хоть какой-то «компенсацией» за беззащитность долгих прошлых лет.

Было в ЛГУ все тихо и благостно? Увы, тоже нет; только не на кафедре, а в институте. Ведь структура в нашем университете была и остается такой: при каждом естественном факультете есть НИИ, и сотрудник его находится как бы в двойном подчинении: «материнской» кафедре и директору института.

С кафедрой, как мы видели, все было в порядке. В институте временами шла «мышиная возня», слегка задевавшая и Л.Н. Один такой «всплеск» был весной 1968 г. Обратимся все к тому же «Личному делу» Л.Н. в ЛГУ.

Вот выдержка из протокола заседания научного семинара НИГЭИ от 26 апреля 1968 г.: «Слушали: отчет с. н. с. НИГЭИ, д. и. н. Гумилева Льва Николаевича за 1963–1968 гг. в связи с переизбранием на занимаемую должность». Им опубликованы монография и более 20 статей. Вроде бы все хорошо? Ничего подобного. В ходе выполнения плана уже в 1966 г. выяснилось, что тема стоит особняком от направления и тематики института. Л. Н. Гумилеву была предложена новая тема — «Историко-географические исследования Архангельской области с применением этнической методики». Коллектив и руководство института ждали от Л. Н. Гумилева, что им будет составлен ряд исторических карт для Архангельского атласа, однако этого не случилось. В связи с этим «большинство присутствующих на научном семинаре» приняли решение «не рекомендовать Гумилева Л.Н. для переизбрания на очередной срок на должность старшего научного сотрудника НИГЭИ».

Документ этот «рожали» 20 дней с момента самого семинара. Слава Богу, решение этого «научного» форума ничего не означало, оно лишь портило нервы отчитывающемуся. За кулисами стоял искусный кукловод — тогдашний директор института. У него было много комплексов: не доктор, книг не создал, статей мало и все в соавторстве. Как тут не поинтриговать

против такого «благополучного» Л.Н.? И так было не раз. Просит Л.Н. «отгул» за то, что читал лекции, — нет Вам отгула, а лекции Вы читали в рабочее время (заключение комиссии народного контроля, а там свои люди директора). Необходима Л.Н. помощь с переводами на немецкий (из ФРГ просят прислать статьи), следует резолюция того же директора: «Русский язык — тоже европейский, переведете и сами».

И все-таки в ту «тоталитарную» пору в науке не было тоталитаризма, не решал какой-либо один завистник судьбу профессоров. В итоге, уже через два месяца после позорного «научного семинара», на заседании Ученого совета факультета из 19 участвующих 19 голосовали «за». Л.Н. в очередной раз был утвержден старшим научным сотрудником института. Мышиная возня щекотала нервы, а дело продолжало идти своим чередом. Завершалась работа над венцом «Степной трилогии», и это было главным.

9. 3. Венец «степной трилогии»

История России в изложении ее русскими историками оказалась освещенной только с одной стороны, — со стороны влияния на Россию Европы, а культурному влиянию (среда этническая) со стороны Востока было уделено скромное место.

С. М. Широкогоров

Вскоре он начал работу над одной из своих любимых книг «Поиски вымышленного царства». При написании этой книги свою работу над источниками он назвал методом «исторической криминалистики». Этот метод был присущ ему во всех работах.

Н. В. Гумилева

Наталья Викторовна права, да и сам автор не скупился на «криминалистическую составляющую» этой книги; одна из ее глав так и называется «Джамуха-Сэчен под следствием». «Тут нужны особые подходы к предмету, — пишет Л.Н., — и методика

Шерлока Холмса, патера Брауна и даже Агаты Кристи. Тут мы будем ставить вопросы: как произошло то или иное преступление, кем оно совершено и кому оно было выгодно? Иными словами, из лживых источников мы постараемся отжать крупицу правды»[688]. Помогал опыт «криминалистического расследования» по истории тюрков и богатая детективами домашняя библиотека. Книги Агаты Кристи, Ж. Сименона (даже вырезки из журналов с его рассказами), Д. Ж. Чейза и других стояли в шкафу в спальне и даже доминировали там, научная литература — в кабинете и коридоре.

«Поиски ...» отличаются от всего предыдущего; это венец «Трилогии» не только по замыслу и хронологически, но и по уровню изложения. Это — высший класс такого жанра! Какого именно, сложно обозначить. Автор предисловия к «Поискам...» С. И. Руденко — видный советский археолог и историк, дает свое определение: «научный трактат»[689]. Но что такое трактат? По современным определениям, это «научное сочинение, в котором рассматривается отдельный вопрос или проблема»[690]. Ну и что? Тогда и все предыдущие книги Л.Н. — тоже трактаты. Это в общих чертах верно, но чем же все-таки отличаются «Поиски» от всего написанного ранее?

По-моему, в том отличие от других работ, что это — исторический детектив высшего класса, где нет каких-то искусственных «придумок» для оживления и беллетризации. Есть поиск, высоко научный поиск, есть исповедь автора о методах своей работы, о том, чем она отличается от многих других. Почему детектив? Дело в том, что существовала легенда о большом христианском царстве в Азии, которое было еще до Монгольской империи. Более того, назывался и «лидер» — пресвитер Иоанн, царь и священник народа, живущего «по ту сторону» Персии и Армении (по ту сторону, разумеется, смотря с запада). Иоанн и его люди будто бы исповедовали христианство, хотя несторианского толка[691].

Иоанн якобы писал византийскому императору Мануилу Комнину письмо на арабском языке, которое было переведено на латинский для императора Фридриха Барбароссы. Начало письма (оригинал не сохранился) таково:

«Пресвитер Иоанн, всемогуществом Божиим и властью Господина нашего Иисуса Христа царь царей, повелитель повелителей, желает другу своему Мануилу, князю Константинопольскому, здравствовать и благоденствовать по милости Божией...»

Гумилевский «розыск» начинается с того, что Иоанн называл своих вассалов царями, а суверенного государя могущественной

Византийской империи Мануила Комнина — князем. Почему? Ответ напрашивался сам собой: адресатом был не только византийский император, но и тогдашний католический Запад, а там принижение православного царя было бы лишь приятной деталью[692].

Далее мифический Иоанн совсем уж неправдоподобно восхвалял свою мифическую державу — «Три Индии» со столицей в Сузах[693]. Звери, которые там жили: верблюды, пантеры, белые и красные львы, белые медведи (неужели «Три Индии» простирались до Ледовитого океана?). Но всего этого мало; оказывается, что были там еще рогатые люди, и одноглазые, и кентавры, циклопы, и птица-феникс... Этому бреду вряд ли кто мог поверить, и действительно, в Константинополе на него не обратили внимания, но вот Запад «клюнул». Кажется невероятным, что в эту чепуху поверили и верили еще 500 лет, но такова сила слова, заключенного в «аутентичный источник».

В своем исследовании Л.Н. ставит две задачи: во-первых, прояснить, как в пустынных степях Монголии внезапно возникла могучая империя Чингисхана (давно он говорил об интересе к этой фигуре, но сам признавался, что «не готов»); во-вторых, сопоставить очевидное — существование империи Чингисхана, и невероятное — пресвитер Иоанн и непонятные «Три Индии». Как удалось решить эти задачи, Л.Н. предлагал судить самому читателю.

Название одной из центральных глав исследования поначалу вообще непонятно: «Преодоление филологии». Почему, собственно, ее надо преодолевать? Вспомним, однако, ту «выволочку», которую учинили Л.Н. в Институте востоковедения при обсуждении «Хунну». Там узкие «спецы» обличали его именно в незнании китайского и японского языков. Здесь Л.Н. был несравнимо лучше вооружен; он знал тюркский и персидский. Значит, прошлая «выволочка» в ИВАНе не прошла даром. Дело было не в деталях, даже не в абсурдности «запрета на исследования» без знания того или иного языка, а куда глубже — в принципе. Принцип этот Л.Н. хотел четко обозначить.

В чем же разница между филологом и историком? Филолог хочет ответить на вопрос: что говорит изучаемый автор, а историк — что из сообщаемого этим автором правда. Историк, слепо следующий за источником, всего-навсего воспроизводит точку зрения данного автора, а не истинное положение вещей. «Что толку изучать чужую ложь, хотя бы и древнюю?» — замечал Л.Н.[694]. Он неоднократно возвращается к этой мысли во многих работах, выискивая единомышленников, и совсем не обязательно среди ученых. Так он цитирует Анатоля Франса, писавшего

иронически: «Мы просто-напросто издаем тексты. Мы придерживаемся буквы... Мысль не существует»[695]. Он спорит с академиком В. Бартольдом, считавшим, что грамматически верно прочтенный текст страхует исследователя от ошибок[696]. Исследование предмета, как считал Л.Н., не должно подменяться изучением текста: еще ... одного, ... десятого, ... сотого. Это — кредо Л.Н., от которого почему-то всегда пытались абстрагироваться его критики. Необычно для традиционных подходов? Вероятно, но тем не менее мэтр из Нью-Хейвена — Георгий Вернадский в письме Л.Н. в 1972 г. резюмировал: «Ваше решение, что надо отказаться от прямой цитации средневековых источников как тенденциозных и ограничиться изъятием из них достоверной информации, т. е. фактов, звучит парадоксально, но думаю, что при учете системного подхода может дать убедительные результаты»[697].

Построение исторических исследований как пересказ прямых показаний источников критиковал английский историк Р. Дж. Коллингвуд. Он определял такую систему как историографию «ножниц и клея» и предлагал историку опираться не только на прямые показания источников, но и на их косвенные данные[698].

Не так уж оригинален был в этом Л.Н., но зато весьма доказателен в примерах. Вот один из них. В «Сокровенном сказании» есть такой текст: «Отче наш, царь Чингиз — оставил народы еще не завоеванные». Переводчик делает примечание: «не завоеванные» означает «не оконченные». Дальше начиналась игра в «испорченный телефон»; интерпретаторы этого текста уже писали о «недобитых народах». В переводе, сделанном академиком С. А. Козиным, эта же фраза звучит так: «Огадой Каан (Угедэй)... продолжал военные действия против Калибо-солтана (калифа), незаконченные при Чингисхане»[699]. Ясно, что разница здесь прямо-таки разительная.

Еще пример: битва при Далан-Балджиутах по официальной истории монголов закончилась победой Чингисхана, по «Тайной истории» — его поражением. Казнь Джа-мухи — соперника Чингиса, о которой пойдет речь дальше, приписана одному из сподвижников Чингиса, а в «Тайной летописи» — хан стремится спасти его жизнь. Диаметрально противоположны и многие оценки: тот же Джамуха в официальной истории — беспринципный авантюрист, а в «Тайной...» — патриот и верный друг Чингиса[700]. Итак, заключает Л.Н., «филологически правильный перевод — это сырье, требующее обработки»[701].

Он провозглашает две ступени исследования. Первая — анализ, проводимый путем синхронистического подбора фактов. Крайне важен весь геополитический «фон» любого события.

Поэтому каждая из работ — и по хуннам, и по тюркам, и по монголам — сопровождается большой таблицей, иллюстрирующей весь этот широкий «фон» по годам. В степи в таком-то году произошло то-то, а в это время на Ближнем Востоке нечто другое, а в Восточной Европе — что-то свое. Чем ближе к нам эти события по времени, тем больше таких сопоставлений и «стыковок», ибо это уже не «фон», а нечто взаимосвязанное. Анализ особенно необходим, когда автор адресуется к коллегам-ученым. «Такая книга не что иное, как большая статья», — замечал Л.Н.[702].

Исторический синтез доминирует, когда книга обращена к широкому читателю; ему необязательно знать все аргументы, зато «язык допустим образный, подчас эмоциональный»[703]. Все это — не декларация, а жесткое задание самому себе, при этом мастерски реализованное.

Расследовался «темный период» X—XI вв., прошедший «под знаком молчания летописцев»[704], период быстрой смены господствующих народностей. Кстати сказать, Г. Е. Грумм-Гржимайло определял его еще более длительным — с 745 г. до половины XII в.[705], да и сам Л.Н. в другом месте датировал его иначе.

Автор принял «панорамный метод» — позицию трех взглядов на события; «глобального» (первый раздел книги «Трилистник птичьего полета»), следующего пониже, поближе к объекту — «с кургана», и третьего, самого «заземленного» (он был скромно назван «Трилистник мышиной норы»).

«Глобальный взгляд» можно было бы назвать и геополитическим. Он приурочен к периоду «до того» — до взлета монголов. Что было в эти годы (861–1100 гг.) в Китае, а что в Великой степи, что — в Западной и Восточной Европе, какие коллизии, противостояния, союзы? Суть «темного века» в том, что все государства Центральной и Восточной Азии как бы «ушли в себя», замкнулись на своих территориях: тибетцы на своем плоскогорье, китайцы — за своей стеной, уйгуры — в оазисах Западного края (бассейн Тарима), кидани[706] — в Западной Маньчжурии.

В конце VII в. империя Тан была гегемоном Восточной Азии, но в VIII в. она надорвалась. Ее сотрясали восстания внутри, нажим тибетцев на западе и арабов в Согдиане; она теряла свои «застенные владения». Если в 754 г. население Китая, согласно Гумилеву, составляло 52,8 млн человек, то через 10 лет после подавления восстания — 16,9 млн человек[707]. Здесь Л.Н., вопреки своему принципу «доверяй, но проверяй», приводит эти странные цифры без комментариев, хотя они вызывают большие сомнения.

Так или иначе, но пассионарное напряжение, давшее эпохе Тан расцвет культуры и искусства, «обернулось пламенем пассионарного перегрева»[708]. «Из гегемона Восточной Азии, — пишет Л.Н., — империя превратилась в китайское царство»[709]. Она рассыпалась на провинции. В 907 г. был низвергнут последний танский император и началось время хаоса — «эпоха пяти династий и десяти царств».

Итак, Китай стал слаб, Тибет слаб, Уйгурия пала, и самым сильным народом Восточной Азии стали кидани. В середине IX в. они посадили на престол угодного им полководца и дали своей империи китайское название Ляо (в переводе «железо»). Л.Н. назвал киданей «третьей силой» — авангардом особого дальневосточного этнокультурного комплекса, имея в виду, что две первые — прошлый Китай и кочевники. Степь обезлюдела, пришла в упадок (см. карту 1 в книге «Поиски вымышленного царства»). Терялась основная геополитическая интрига центральноазиатской истории — противостояние Китая и Великой степи. Почему-то в X в. степь перестала интересовать всех. Центральноазиатские кочевники — кидани проникли в Китай и поселились там, кочевники степей (предки якутов) двинулись в Сибирь. Почему-то все покидали степь — печенеги шли в Приаралье, карлуки — в Прибалхашье.

Опять вмешалась география. Только здесь регулятором обстановки стали уже тихоокеанские муссоны, тоже (как и циклоны с Атлантики) меняющие свои пути. Когда они несли влагу в Монголию — пустыня Гоби сужалась и «Байкал наполнялся водой»[710]. Сдвигались на север пути муссонов, и тогда осадки выпадали на склонах Яблоневого хребта и уже не имели отношения к степи. Если до IX в. господствовало повышенное увлажнение степи, то в X в. оно сменилось засухой, и тюркские народы начали уходить из степи. Природа благоприятствовала уже приамурским народам, в частности киданям; именно поэтому они и получили шанс на господство в Восточной Азии.

Книга Л.Н. вышла в 1970 г. Он уже не боялся пойти против известной сталинской формулы о том, что «среда не определяет...». Согласно Гумилеву, географическая среда «иногда являлась решающим фактором в судьбе могущественных государств»[711]. Степь иссыхала, кочевники стремились на ее окраины, туда, где была вода, где зеленели сочные пастбища. Климат косвенно влиял и на «религиозную карту»; муссоны гнали кочевников туда, где господствовал ислам.

В X в. на передний план выходит противостояние Ки тая и Тангутского царства Ся на западе (Ордос, часть Шэнь-си и

Ганьсу), победившего уйгуров и карлуков, успешно воевавшего с Китаем. По Л. Гумилеву, геополитическая роль царства состояла в том, что оно остановило китайскую агрессию на запад, прикрыло Великую степь. Это было некое контрастное сравнительно с Ляо образование, весьма симпатичное Л.Н. Тангуты не любили Китай и имели такие нравы и обычаи, какие хотели[712]. Области этого царства ныне — почти пустыня, но тогда это был цветущий край с городами, школами и университетами, с академией, которая занималась переводами китайских книг на тангутский язык. Царство Ся продержалось до 1227 г., когда погибло от монголов.

Именно в ту эпоху (IX—X вв.), когда засуха определяла упадок Великой степи, на арену истории вышли монголы, и здесь начинается основная линия книги. Основная потому, что именно тут, в «диких степях Забайкалья», именно в это время произошли события, которые изменили весь ход истории Старого Света, повлияли на весь начальный период истории Руси.

Восточное Забайкалье и прилегающая часть Восточной Монголии — это степное пространство. Но здесь был и остров леса — Ононский сосновый бор площадью около тысячи километров с богатой травяной растительностью и обильным животным миром. «Население Среднего Онона[713], — отмечал Л.Н., — по типу хозяйства и, следовательно, культуры должно было отличаться от окружавших его степняков[714]. Засуха, поразившая степи в IX—X вв., лишь минимально отразится на них: «оптимальный ландшафт» давал и оптимальные возможности.

Монголы — самостоятельный этнос, живший с I в. н. э. в Забайкалье и Северо-Восточной Монголии севернее реки Керулен[715], отграничивавшей их от татар. Согласно Г. Е. Грумм-Гржимайло, до эпохи Чингисхана имя «монгол» объединяло многие родственные племенные группы. Китайцы в своих исторических сочинениях очень часто называли коренных монголов татарами, но никогда не наоборот, из чего можно заключить, что монголы в глазах китайцев были лишь отраслью татар. То же замечается и в правительственных актах Цзиньской империи.

Л.Н. объясняет: в XII в. татарами стали называть все степное население от Китайской стены до сибирской тайги. Тогда-то китайские источники считали монголов частью татар, но уже в XIII в. татар стали считать частью монголов, а еще позже принимали как синонимы[716].

Согласно Л.Н., «темный и пустой период» кончился к первой половине XII в.[717]. Очень существенна здесь расстановка религиозных сил: конфуцианство господствовало в империи Сун,

буддизм — в империи Ляо, мусульманство — в Средней Азии. Необходимо заметить, что все эти религии были враждебны кочевникам.

Но при чем же здесь «поп Иоанн»? Оказывается, очень даже при чем. Кочевники, разъединенные и ослабленные засухой в степи, как раз в эти годы обрели идейное знамя, позволившее им несколько консолидироваться; этим знаменем стало несторианство. Ветер с Запада в это время пересиливал ветер с Востока. В самом начале XI в. приняли несторианство кераиты[718] — самый крупный и культурный из монголоязычных народов; тогда же и еще один народ, онгуты — потомки тюрков шато (последнего осколка хуннов[719]), принял несторианство, а у части уйгуров (в Турфане) христианство вытеснило манихейство[720]. В Западной Маньчжурии, ареале уже сугубо восточноазиатском, проявилась и христианская вера; кстати сказать, отсюда, по одной из версий, пошла в Европе легенда о первосвященнике Иоанне. В XI в. христианство проникло в Среднюю Азию; в Мерве находился православный митрополит, а в Самарканде — несторианский.

Некоторые из названий племен неизвестны читателю, как и их географическая «привязка». Севернее р. Онон обитало несколько монгольских родов. По рекам Селенга и Тола (в центральной части Монголии) кочевали кераиты. Они жили не семейными общинами из двух-трех юрт, а куренями, когда множество юрт ставилось вместе, окружалось телегами и охранялось воинами. Они приняли несторианство в 1009 г. и стали очень набожным народом.

Западнее их кочевий, в предгорьях Алтая, обитали наймами[721]. Найманы — потомки киданей, вытесненных с их прежних становищ[722]. Берега Байкала, восточнее нынешних Иркутска и Верхнеудинска, занимало воинственное племя меркитов.

По поводу этого «несторианского ареала» Л.Н. отмечал, что вне восточнохристианского единства остались только монголы в междуречье Онона и Керулена[723]. Забегая вперед, надо сказать, что, согласно Гумилеву, к XIII в. три четверти кочевников были христианами несторианского направления[724].

Но вернемся к этапам создания мифа. В царственной семье империи Ляо в 1087 г. родился человек, имя которого вошло в историю Азии и тесно связано с легендой о «пресвитере Иоанне» — Елюй Даши. Позже он правил двумя областями современной провинции Шань-си, еще позже стал знаменитым полководцем и «гурханом»[725]. Он воевал с чжурчжэнями (северными маньчжурами), затем ушел в Джунгарию с огромным войском (персидские источники говорили о 300 тыс. воинов!), состоявшим

из киданей, тюрок и китайцев. Он разгромил мусульман, занял Бухару и Самарканд. Удачно правил киданями и его сын, а внук — Чжулху — помог патриарху Илие III учредить несторианскую метрополию «Кашгара и Невакета» (Семиречье)[726].

Кара-киданьская империя к моменту смерти Елюй-Даши состояла из трех районов: Западной Джунгарии и Семиречья (со столицей в верховьях р. Чу — недалеко от Иссык-Куля), района южнее р. Чу и Центрального Тянь-Шаня (вплоть до Арала на западе и Амударьи на юге) и Уйгурии. Все это было тем самым «царством попа Иоанна», которого не существовало.

Л.Н. детально сверял источники. Русский источник, «Сказание об индийском царстве», хотя и грешил «научной фантастикой» (трехногие люди, трехсаженные великаны и т. д.), однако хорошо давал географию, подтверждая «привязку» событий к данному региону. Согласно «Сказанию...», посреди «царства» располагалось песчаное озеро, под которым угадывалась пустыня Такла-Макан, а также хорошо описывались южные склоны Тянь-Шаня и богатые оазисы Уйгурии. Совпадали даже детали; драгоценные камни, поминавшиеся в «Сказании...» — это нефрит и яшма Хотана, рубины и лазурит, добываемые в этом районе, и, наконец, богатая рыбой река — это Тарим[727].

Персидский источник говорил о найманах, кочевавших с большим и хорошим войском. Этот монголоязычный народ мог попасть на Алтай только вместе с киданями — соратниками Елюй-Даши.

Наконец, хорошо известный францисканский монах Гильом де Рубрук, ездивший к монголам, сообщал, что кара-кидани жили на горах и межгорьях Алтая — Тянь-Шаня, а на равнине обитал некий несторианин-пастух (pastor) — человек могущественный и владычествующий над народом, именуемым нейман и принадлежащим к христианам-несторианам. Как указывал де Рубрук, после смерти императора династии Ляо этот несторианец возвел себя в короли, и несториане называли его королем Иоанном[728].

Согласно выводам Л.Н., у Рубрука явно описан сам Елюй-Даши и территория его ханства (пусть найманского). Рашид-ад Дин тоже отмечал, что до конца XIII в. у найманов был только один государь — Эниат или Иннан, имя, легко переделываемое в «Иоанн»; либо просто «Иоанн». Не исключено, что и наоборот, «Иоанн» превратилось в Эниат.

Разрешена ли этим загадка о «попе Иоанне»? Конечно нет. Нужен более близкий взгляд — «взгляд с кургана». В эпоху Чингисхана и после нее противостояние христианства и других религий приобретает иные оттенки и масштабы. Здесь Л.Н.

«выходит» на особо любимых им монголов — народ, который «выхватил первенство» и у кераитов, и у найманов, да и у всех народов Евразии на целых 100 лет[729]. Здесь же возникает и другой вопрос: как случилось, что монголы в XIII в. не погибли, а победили?

«Монгольский вопрос», по оценке Л.Н., стоит перед историками третье столетие, а решения все нет! Как смогли малочисленные монголы (их было всего-то полмиллиона), разбитые на разные племена, неорганизованные поначалу, без военных навыков, без снабжения, захватить полмира? «Монгольское чудо»? Победа Авелей-скотоводов над Каинами-земледельцами? Казалось бы, что вся расстановка геополитических сил нацело исключала не то что их победу, но, может быть, и само выживание среди куда более мощных народов. В Северном Китае жило в ту пору 60 млн человек, а власть находилась в руках маньчжуров — воинственного и смелого народа. В Южном Китае (династия Сун) — 30 млн человек. Итого — около 100 млн, традиционно враждебных степнякам.

На западе, во владениях Хорезмшаха[730], жило 20 млн мусульман. Города Самарканд и Бухара по богатству и роскоши были тогда в первой пятерке «рейтинг-листа» мира, во всяком случае, выше Парижа или Венеции[731]. Наконец, на северо-западе, в Восточной Европе, жило еще около 8 млн человек.

Почему же малочисленные монголы (до 1 млн) побеждали, да еще воюя на три фронта? Попытки объяснить «выбросы» монгольской активности усыханием степей не проходят, во-первых, потому что «пик» их активности приходится уже не на этот период, а во-вторых, это не было «завоеванием-переселением» (термин П. Савицкого).

Нельзя сказать, что Л.Н. убедительно отвечает на этот вопрос. В одной из «синтезирующих» работ он пытается объяснить, что решающим фактором борьбы монголов за самостоятельность оказались не степняки, а дальневосточный лесной народ — чжурчжэни, разгромившие в 1125 г. киданей и уничтожившие китаезированную империю Ляо, а к 1141 г. победившие и империю Сун[732]. Это объяснение не совсем удовлетворительно. Здесь мысли Л.Н. совпадают с взглядами современного китайского автора, который в 60-х гг. писал, что государство Цзинь несколькими походами, совершенными в разное время, ослабило силы племенного объединения татар на востоке, но косвенно помогло Чингисхану завершить великое дело объединения Монголии[733].

Вряд ли это объяснение убеждает. Советский ученый Н.

Мункуев считал, что едва ли возможно даже частично объяснить причину успеха первого монгольского великого хана внешними обстоятельствами[734]. Это замечание тем более верно, что цитированный китайский автор называл Монголию лишь «монгольскими районами». Тогда понятен и «главный импульс» от империи Цзинь.

Книга Гумилева «Поиски вымышленного царства» вышла в 1970 г., когда работа над теорией этногенеза была в самом разгаре. Даже полузакрытое издание трактата «Этногенез и биосфера Земли» (работа была депонирована в ВИНИТИ на правах рукописи)[735] попало к читателям лишь в 1979–1983 гг., а общедоступный вариант вышел в свет на 11 лет позже.

Поэтому не приходится удивляться, что в этой книге нет еще «взрывов этногенеза» или «пассионарное №»; правда, появляются уже «люди длинной воли». Все это применительно к монголам Л.Н. сформулирует позже в эссе «Черная легенда» (1989). Именно там он сказал о пассионарном толчке XII в., «вследствие которого возникли два новых этноса — чжурчжэни и монголы[736]. Правда, это не снимает вопроса: почему же монголы победили чжурчжэней, а не наоборот?.. Тем более что в последней своей работе (1992) Л.Н. признавал, что «чжурчжэньская пассионарность ничем не уступала монгольской»[737].

Почему же пассионарный толчок сработал в пользу монголов? Почему чжурчжэни легко победили киданей, сокрушив химерное образование Ляо[738] еще можно объяснить, приняв гумилевскую теорию этногенеза: кидани древний народ, уже достигший старости, а чжурчжэни — совсем молодой этнос. Но и это еще не ответ на вопрос о победе монголов.

В «Черной легенде» Л.Н. хитро отсылает читателя к объяснению, которое дал Марко Поло. Его спросили, почему у великого хана так много людей и сил. Путешественник отвечал: «Потому, что во всех государствах, христианских и мусульманских, существует жуткий произвол и беспорядок, не гарантирована жизнь, имущество, честь и вообще очень тяжело жить. А у великого хана строгий закон и порядок, и поэтому если ты не совершаешь преступлений, то можешь жить совершенно спокойно»[739].

Все-таки Л.Н. здесь куда менее убедителен, чем обычно. Я думаю, он и сам это чувствовал, ибо заключал свои рассуждения вопросом: «Не продемонстрируете ли вы, — скажет читатель, — еще один наглядный случай, когда гомеостатичный этнос, раздробленный, бедный, живущий в неустойчивом равновесии с кормящим его ландшафтом, становится динамичным, преобразованным в новую целостность, и при этом ... за время

жизни одного поколения? Тогда можно будет поверить в вашу систему доказательств»[740].

Гумилев сам ответил на этот вопрос довольно неуверенно: «Если читатель не согласен, то его долг истолковать событие по-другому, ибо оценка никогда не бывает аргументом; он должен сказать не «хорошо» или «плохо», а «верно» или «неверно», и если «неверно», то почему и как будет «верно»[741].

Вероятно, в жестком противостоянии с чжурчжэнями какую-то роль играло и несторианство. В XII в. ареал чжурчжэней — империя Кинь «золотая» — не расширялся, хотя они стремились к владычеству над всей Азией. Возросло сопротивление со стороны несторианской церкви; монголы поддерживали этот «блок».

В самый трудный момент своей жизни Чингисхан получил поддержку Тогрула — лидера кераитов (они звали его «Ван-хан»). Это имя, кстати сказать, имеет странное происхождение. Л.Н. писал: «Слово «хан» всем понятно, слово «ван» по-китайски означает то же самое. Китайцы дали ему титул «ван», то есть «царь», «царек», эквивалентное «хану». Монголы не понимали слова «ван» и стали называть его привычнее Ван-хан. А европейцы стали называть его просто Иван; отсюда получила хождение легенда о «царстве пресвитера Иоанна» где-то далеко в Центральной Азии. Все было основано на ошибке, которую мы назовем филологической»[742].

Логика борьбы рано или поздно должна была привести Чингисхана к столкновению с его сюзереном — Ван-ханом. Монгольский историк Ш. Сандаг объяснял это интригами Ван-хана — «Иоанна»[743]. В 1203 г. Чингисхан разбил бывших союзников — кераитов; так закончился период существования самого сильного христианского ханства с центром в Азии. В 1204 г. он разбил найманов, в 1206 г. как бы «вдруг» возникло некое единство — скопище кочевников, официально названных монголами. В «Сокровенном сказании», великом историческом памятнике монголов, об этом рассказывается следующее: «Когда он (Чингисхан. — С. Л.) направил на путь истинный народы, живущие за войлочными стенами, то в год Барса (1206) составился сейм, и собрались у истоков реки Онона. Здесь воздвигли девятибунчужное белое знамя и нарекли ханом — Чингисханом»[744].

Дальнейшее известно: война с чжурчжэнями продолжалась с 1211 по 1235 г. Инициатива войны исходила не от маленькой (в ту пору) кочевой державы Чингисхана, а со стороны его могущественных соседей. Ведь чжурч-жэньская империя Кинь через каждые три года отправляла войска на север от Китая для репрессий и грабежа. Такая практика называлась «уменьшением

рабов и истреблением людей».

Согласно Гумилеву, весь Хорезмийский султанат был разгромлен за 4 года. 30-тысячная рать, не заметив противника, прошла через нашу Русскую землю, преследуя уходящих половцев, а затем через Польшу, Венгрию, Болгарию и вернулась домой[745].

Никто, пожалуй, так четко не резюмировал глобальных геополитических последствий монгольских побед, как сделал это далекий от геополитики Н. Трубецкой: «Всякий народ, овладевший той или иной речной системой, оказывался господином только одной определенной части Евразии, народ же, овладевший системой степи, оказывался господином всей Евразии»[746].

Армия Чингисхана в значительной мере состояла из воинов покоренных племен. Чтобы быть в мире с новыми подданными, Чингис женил своих сыновей: одного на меркитской, другого на кераитской царевне. Несмотря на то, что несторианская церковь существовала даже в ханской ставке, несторианство не стало государственной религией монголов; однако верующие могли иметь доступ к государственным должностям в Орде. Позже это сыграло роль и в истории Руси. В 1261 г. в Сарае усилиями Александра Невского и монгольских ханов Берке и Мэнгу-Тимура было открыто подворье православного епископа. Он не подвергался никаким гонениям. Считалось, что епископ Сарский[747] является представителем интересов Руси и всех русских людей при дворе великого хана[748].

Сартак — наследник Бату был христианином, а разрыв Золотой Орды с метрополией означал, что Золотая Орда становилась заслоном России с востока. Гумилев утверждает, что, готовясь к борьбе с Андреем Ярославичем, опиравшимся на католическую Европу, Александр Ярославич поехал за помощью в Орду, к Сартаку — покровителю несториан. Победа 1252 г., по мнению Л.Н., была одержана при помощи войск Сартака[749].

Эти, да и многие другие положения книги вызвали неприятие многих историков. Уже в начале 1971 г. в «Вопросах истории», жестком «законодателе мод» в этой науке, появилась резко отрицательная рецензия академика Б. А. Рыбакова[750].

Думается, что ученые тогда сами насаждали тот стиль, на который потом и жаловались. Статья академика — хороший пример этого «академического тона»: «Л. Гумилев, причастный к археологии» — было еще деликатным оборотом, а дальше следовало: «Задуманный Л. Гумилевым «маскарад» грешит прежде всего недобросовестностью...», или: «Верхом развязности и полного пренебрежения к источникам...», и далее в том же

духе... Правда, в конце рецензии делалась оговорка: оказывается, вся она относится не к книге в целом, а к тринадцатой ее главе, которая «может принести только вред доверчивому читателю, и поскольку это попытка обмануть всех тех, кто не имеет возможности углубиться в проверку фактической основы «озарений» Л. Н. Гумилева»[751]. Кроме того, академика огорчила весьма спорная датировка и интерпретация «Слова о полку Игореве», данная Л.Н.

На выпады Рыбакова Л.Н. ответил тремя статьями. Одна из них появилась в «Русской литературе» и приглашала к дискуссии, но академик отказался. «Кесарю — кесарево», и, возможно, академик был прав: спорить с ним могут лишь специалисты. Мне же хочется возразить лишь одной фразе, отнесенной академиком ко всей книге. Он писал: «Как литературный прием, позволяющий объединить Запад и Восток, Л. Н. Гумилев использовал средневековую легенду о царстве пресвитера Иоанна, будто бы находившемся где-то в Азии»[752]. Как литературный прием? Отнюдь нет, ведь эта линия проходит через всю книгу как боль о нереализованном в истории, как сожаление о том, что могло произойти, но увы, не произошло. Как было не заметить, что 1204 г., выделенный в книге как год успехов и становления монгольского этноса, отмечен там же трагедией в отношениях «Запад—Восток».

1204 г. был и годом падения Константинополя, разграбленного крестоносцами. Пал «Париж средневековья» — центр православия, город, сосредоточивший по оценкам историков 2/3 мирового достояния. Прекратила существование Византийская империя, и возникла новая геополитическая ситуация. «Жестокий спазм на Западе и Востоке», — оценивал ее Л.Н.[753].

Всего этого ухитрился не заметить академик! Даже резкий критик Гумилева профессор Я. С. Лурье отмечал, что «фактически книга Л. Н. Гумилева посвящена гораздо более широкому кругу вопросов: возникновению Монгольской империи, ее идеологическим основам и взаимоотношениям с христианскими государствами, в частности с Русью XIII в.»[754].

Коренное изменение геополитической ситуации для нас состояло в том, что Византия была естественным и потому искренним другом Руси. Эта потеря воспринималась на Руси как внезапная смерть близкого человека. Русь перестала быть, по мнению Л.Н., частью грандиозной мировой системы, а оказалась в изоляции, охваченная с севера и юга в клещи двумя крестоносными воинствами[755].

Дело не только в этом, а во всем историческом

противостоянии Запада и Востока, католичества и православия. Византия была идеократическим государством[756]. Последнее, как и евразийскость Византийской империи, отталкивашо Запад[757]. Мне кажется очень глубокой мысль В. Кожинова, заключающаяся в том, что неверно видеть в евразийстве России лишь следствие ее долгого пребывания в составе Монгольской империи. Исследователь пишет, что «в действительности эта пора была закреплением и укреплением уже давно присущего Руси качества»[758].

По мнению Гумилева, лишь гораздо позже, когда Европа испытала остроту монгольских сабель, интерес к «царству пресвитера Иоанна» весьма возрос. Дело в том, что обе стороны — крестоносцы-европейцы и греки-византийцы — жаждали иметь в тылу у ненавистных врагов-кочевников какого-либо союзника, своеобразный «второй фронт», пусть и мифический, но ими желанный»[759].

Джованни Карпини де Плано, посланный папским престолом, и придворный Людовика IX Святого Гильом де Рубрук — францисканские монахи — по сути были разведчиками Запада. Их выводы совпали: «Монголы не христиане, от царства Иоанна сохранились лишь воспоминания, и несториане для католической Европы — не друзья и братья, а еретики и враги»[760].

Читатель, наверное, заметил, что у Л.Н. упоминается не одна версия о «пресвитере Иоанне»; на самом деле их было еще больше, и исследование вопроса тянется очень издалека. Еще в XVIII в. французский историк И. Дегин писал, что это татарский хан, обращенный в христианство несторианскими миссионерами. Н. М. Карамзин приводит цитированное нами письмо Иоанна к Мануилу — греческому императору. Анализ английских средневековых источников говорит о разных версиях: «азиатская теория» совпадает с главным предположением Л.Н. о том, что Иоанн — монгольский завоеватель Е-лю-та-ши (по Л.Н. и Г. Е. Грумму, Елюй Даши — основатель империи кара-китаев в Средней Азии); сторонники «африканской гипотезы» считают, что Иоанн — монах из Эфиопии[761].

Итак, если Иоанна не существовало, его следовало выдумать! Но дело, в конечном счете, не в этом, а гораздо «шире» и глубже ... Запад ухитрился не заметить, что Европа спасена монголами; именно пришедшие к власти несториане (в 1252 г. несторианская «партия» победила в Монгольском улусе) толкнули Мункэ-хана на войну с мусульманами. Но уже в 1253 г. в папской булле был провозглашен крестовый поход против монголов, в котором против них вместе выступали католики и мусульмане.

Кочевники, даже став христианами, оставались в глазах

греков степными варварами, а в глазах латинян — дикарями, пусть не язычниками, но еретиками. Именно близорукость Запада привела к тому, что идея основания христианского царства на Ближнем Востоке была утрачена, так как населенные христианами земли попали в руки врага. Последним актом трагедии было обращение Монголии в провинцию Китая — внеэтничной военной монархии[762].

Так как же было рецензенту-академику не заметить основной линии книги? Может быть, он ее не читал?

«На сегодня нет фактически верного ответа, — писал Л.Н., — почему так преступно безответственно и равнодушно европейская общественность XII—XIII вв. отнеслась к судьбе христианства на Востоке. И там, где маячила великая цель — просвещение во имя Святой Троицы в степях и равнинах Евразии, вдруг возникла трагическая и безысходная коллизия избиения всех христиан — православных, католиков, несториан и других в целях узковедомственной шкурной политики нескольких орденов рыцарей и небольшой торговой прослойки, обнаглевшей от спекуляции дорогостоящими товарами Востока на жаждавших роскоши дворах Запада. Ублюдочная политика Европы — папы, нотаблей, авантюристов, хищных сторонников императоров в столетие между 1187 и 1287 гг. до окончательного падения Святой Земли, обетованной земли христианства, — необъяснима, исходя из логики эволюционных воззрений, присущих традиционной историографии Европы или России начала XX в. Все тогда вело к катастрофе — изгнанию европейцев с Ближнего Востока. Знали об этом почти все, все политики чувствовали это, но ожидали чуда: что кто-то придет и спасет их. Почему?»[763]

9.4. Чингисхан: новое прочтение

> *Вообще мы не имеем средств, чтобы восстановить нравственный облик Чингиса, и даже вряд ли в состоянии будем когда-нибудь указать главнейшие элементы его характера, без чего, однако, невозможно дать правдивой оценки его деяний не только в качестве полководца, но и как организатора мировой империи — задача, которая в таком объеме, по справедливому замечанию Бартольда, не предлагалась еще ни одному народу.*

В 1957 г. в письме к П. Савицкому Л.Н. признавался, что он еще не готов писать о Чингисхане, но через десяток лет «созрел» и взялся за это опасное и острое дело.

Эпоха «оттепели» и последующих лет оставалась еще очень сложной, а официальные оценки Чингисхана в советской исторической науке были однозначно негативными. Истоки негативности очень глубоки. Еще Гегель в своей «Философии истории» писал, что «движения народов под предводительством Чингисхана и Тамерлана... все растаптывали, а затем опять исчезали, как сбегает опустошительный лесной поток, так как в нем нет жизненного начала»[764]. Карл Маркс как-то заметил: «Орды совершают варварства в Хорасане, Бухаре, Самарканде, Ваахе и других цветущих городах. Искусство, богатые библиотеки, превосходное сельское хозяйство, дворцы и мечети — все летит к черту»[765]. В другом месте классик писал: «Это иго не только давило, оно оскорбляло и иссушало душу народа, ставшего его жертвой. Татары установили режим систематического террора, разорение и массовые убийства стали обычным явлением»[766]. Вы что, против Маркса, Лев Николаевич?

На это он решился лишь 20 лет спустя. Не будучи антимарксистом, он опровергал упомянутую оценку Маркса. По поводу взятия монголами среднеазиатских городов существует вполне устоявшаяся версия, согласно которой «дикие кочевники разрушили культурные оазисы земледельческих народов». Л.Н. указывал, что эта версия основана на легендах, создававшихся придворными мусульманскими историографами[767].

В 70-х гг. все было куда суровее. Официальная историческая наука в СССР не знала каких-то нюансов в оценке монгольского нашествия и личности Чингисхана. Академик С. Тихвинский писал: «Господство монгольских завоевателей отбросило Китай далеко назад... Шло распространение рабовладения ... обнищание монголов»[768]. Жестко предупреждал всех идущих «не в ногу» и профессор В. Пашуто: «В международной историографии до сих пор слышны голоса тех, кто подобно авторам евразийского толка славословил сильную личность Чингисхана и мнимые заслуги его преемников»[769]. Критиковал он и немецких ученых, презрительно называя их «остфоршерами», за то, что они приписывали спасение Европы немецким рыцарям, которым якобы принадлежала решающая роль в известной битве при Легнице. «Но еще дальше, — писал В. Пашуто, — пошел в своих последних работах Г. Вернадский». Особенно не понравилась советскому историку фраза последнего: «Запад был неожиданно спасен благодаря

событию, происшедшему в далекой Монголии — умер великий хан». Это, по мнению В. Пашуто, уже «уход из науки».

Понял ли намек Лев Николаевич? Это в его «Поисках» имеется целых три ссылки на работы Г. Вернадского. Еще шаг, и он тоже мог оказаться «вне науки». Но на дворе был уже 1977 год, и в одном сборнике печатались и «обличители» и последователь «криминальных евразийцев» — Лев Гумилев. Правда, его статья была задвинута в самый конец книги.

На что же надеялся наш герой в далеком 1970 г., публикуя свою книгу с очевидной симпатией к личности монгольского завоевателя? Обозначиться как некий «научный диссидент»? Думается, что нет. Он видел, что где-то, пусть пока в «дальнем зарубежье», официальная однозначность оценок дала трещину, и оказался прав.

Ему очень хотелось писать о Чингисе. Хотелось потому, что он, конечно, знал легенду матери о происхождении ее предков. Сама А.А. излагала ее следующим образом: «Моего предка хана Ахмата убил ночью в его шатре подкупленный русский убийца. Этим, как повествует Карамзин, кончилось на Руси монгольское иго. Этот Ахмат, как известно, был чингизидом. Одна из княжон Ахматовых, Прасковья Егоровна, в XVIII в. вышла замуж за богатого и знатного сибирского помещика Мотовилова. Егор Мотовилов был моим прадедом. Его дочь, Анна Егоровна — моя бабушка. Она умерла, когда маме было 9 лет, и в честь ее меня назвали Анной»[770].

Необходимо отметить, что разыскания на этот счет краеведа Д. В. Куприянова при участии москвичей и помощи самого Л.Н. прояснили картину его родословной лишь до середины XVIII в. Первым точно установленным его предком по линии отца был Лев Васильевич Львов — секунд-майор (17... — 10.1.1824). Правда, в этой публикации наверху таблицы было написано: «Прапрадед Н. С. Гумилева князь Милюк — владелец имения Слепнево»[771]. Понятно, почему так хотелось Л.Н. посетить «землю предков» — Монголию; в 1975 г. он даже заполнил выездное дело, но поездка не удалась.

Впоследствии Гумилева критиковали за все что угодно: за «биологизм», за антисемитизм и даже за сионизм, за его датировку «Слова о полку Игореве», но почти не трогали за Чингисхана (ругань по поводу «ига» не в счет). Л.Н. надеялся, что пронесет, но все-таки был осторожен; в «Поисках» нет, например, ни одной ссылки на П. Савицкого, наиболее близкого ему евразийца, и не просто близкого по духу, но и знакомого.

Что это — страх, комплексы? Думается, что нет. Идут 70-е гг., вроде бы доктору наук, не диссиденту, не «подписанту» чего же

бояться? Однако, когда ныне знакомишься с перепиской Л.Н. и журнала «Природа», поражаешься степени его «поднадзорности» даже в это благополучное время, и опять же не у властей, а у коллег! Оказывается, для публикации статей Л.Н. по исторической тематике в столице требовали отзыв не менее чем «стабильно благонадежного» Д. С. Лихачева, а по географии — академика К. Маркова[772]. Когда Л.Н. вяло отбивался, писал, что «не хочется ходить по академикам», ему отвечали: «Не надо, не ходите, но тогда мы сами будем просить их визу строго по служебной линии»[773]. Насчет проработки в «Вопросах истории» сам Л.Н. рассказывал, что его спрашивали так: «Объясните, где у вас производственные отношения? А где производительные силы? Где классовая борьба? Ничего нет». Самое смешное в этом, что Л.Н. знал К. Маркса куда более основательно, чем «проработчики».

Итак, надежды Л.Н. были лишь на неоднозначность оценок Чингисхана за рубежом, прежде всего, естественно, в Монголии и Китае. В ту пору ходила по интеллигентским кухням шутка-загадка: какая из стран мира является самой независимой? Ответом было «Монголия», а на недоуменный вопрос «почему?», шутники, довольно ухмыляясь, сообщали: «А потому, что от нее ни-че-го не зависит!»

Однако кое-что все-таки зависело, и упрощать ситуацию не надо. Оценки Чингисхана там колебались от резко негативных до апологетически-культовых. Сейчас, конечно, анекдотично звучит, что монгольские историки, «руководствуясь решениями III пленума ЦК МНРП (1962 г.), выступили с решительным развенчанием псевдонаучных теорий о прогрессивности татаро-монгольских завоеваний стран Азии и Европы»[774]. Оказывается, Чингисхан лишь в начале пути был прогрессивной фигурой, вся дальнейшая его деятельность сугубо реакционна и гибельна: грабительские войны, упадок производительных сил Монголии, страдания народа.

Более того монгольские авторы иногда поучали наших. Ш. Сандаг стыдил даже классиков русской исторической науки — академиков В. В. Бартольда и Б. Я. Владимирова: нехорошо, дескать, что в ваших дореволюционных работах идет восхваление личных качеств, военных и организационных способностей Чингисхана[775]. В. В. Бартольд действительно был «грешен»: он называл Чингисхана «даровитой личностью», писал о «гениальных планах монгольского хана».

Но статью могли прочитать и в родной Монголии, поэтому следовал такой кульбит: «Отдельные западные авторы огульно охаивали деятельность Чингисхана и изображали его как

жестокого дикаря»[776]. Тоже нехорошо...

Надо, однако, сказать, что «колебались вместе с линией» не все монгольские авторы. Так, четкую позицию признания масштабной личности и заслуг Чингисхана «при любой погоде» занимал опальный в МНР академик Д. Ринчен — один из постоянных корреспондентов Л.Н., высоко ценивший его. Сейчас в Монголии полный размах получило безоговорочное признание, даже культ Чингисхана, поднятый на уровень государственной идеологии[777]. Страна ставит ему памятники. Естественно, что особое внимание обращается там на работу Л. Гумилева «Древняя Русь и Великая степь». На нее опубликованы положительные рецензии, так же как и на переизданную у нас книгу Хара-Давана «Чингисхан». Взаимоотношения Золотой Орды с Русью трактуют даже не как военно-политический протекторат, а как союз двух примерно равноценных образований[778].

Монгольские колебания в оценках Чингисхана могли у нас учитываться, а могли и не учитываться. Иначе с китайскими. Думается, что они учитывались всегда, может быть, только в эпоху «культурной революции» со знаком «наоборот». Там «колебания линии» шли с большой амплитудой. В военном 1942 г. в столице Особого района отмечался день рождения монгольского героя и людей призывали «учиться у Чингисхана революционной деятельности». Однако после победы революции и вплоть до начала 60-х гг. монгольские завоевания квалифицировались как «чужеземный гнет», и лишь в 1961 г. вдруг возникла необходимость переоценки отрицательного отношения и все стало освещаться совсем не так. «Оказалось», что эпоха династии Юань была и временем великого объединения Китая; тогда усилилось общение его с Западом, а в Китае расцвели торговля, ремесла, транспорт, быстро развивались экономические и культурные окраины, особенно Монголия, попавшая под влияние «передовой китайской цивилизации».

Дальнейшее понятно. В 1962 г. орган ЦК КПК «Жень-миньжибао» заключил, что династия, созданная Чингисханом, сыграла прогрессивную роль в истории Китая, а он сам «сломал границы между национальностями, восстановил вновь великое многонациональное государство». Чтобы это стало более наглядным, в границы империи Юань (на карте) включали Восточный Туркестан и Среднюю Азию.

Изменилось кое-что и в России, но этого уже не довелось узнать Льву Николаевичу. Репортаж «Шпигеля» о президенте Калмыкии Кирсане Илюмжинове был иллюстрирован его цветной фотографией за письменным столом, над которым висел гигантский портрет Чингисхана. Статья называлась «Маленький

хан»[779]. В ней было немало любопытного, в частности, видна огромная живучесть традиций, трудная сменяемость менталитета.

Каким же рисовал Чингисхана Гумилев в книге 1970 г. (потом будут и другие более смелые оценки)? У него нет черного или белого, нет и «черно-белого» монгольского варианта: «был хороший — прогрессивный, стал плохой — реакционный». Л.Н. начинает с честного признания дефицита информации, крайней ее противоречивости и политической заданное[780]. Один из основных источников «Юань-Чао-ми-ши» — «Тайная история монголов» (она же — «Сокровенное сказание»), написанная в 1240 г., согласно мнению Л.Н., не что иное, как «политический памфлет»107.

Противоречива не только информация о Чингисхане, но и ее трактовка самыми видными специалистами-классиками востоковедения. Если «Сокровенное сказание», по В. В. Бартольду, — «героический богатырский эпос» и апология степной аристократии, то по С. А. Козину, совсем наоборот — демократии, а по Б. Я. Владимирцову — просто история дома Чингисхана. Согласно же современным ученым, «Сокровенное сказание» является обоснованием объединения монгольских племен.

Л. Гумилев отмечал, что в истории возвышения Чингисхана сомнительно все, начиная с даты его рождения[781]. То ли он родился в 1152–1153 гг.[782], то ли в 1155-м, как указывал Рашид-ад Дин. Некоторые считают, что это мог быть 1155, 1162 или 1167 гг. Следует заметить, что от того, какую дату рождения называют исследователи, зависит то, когда Темуджин впервые стал Чингисханом[783].

Более того, некоторые исследователи сомневались, а был ли он вообще монголом? Не было ли динлинской крови в роду Борджигинов? В свое время его отца, Есугей-багадура, родные и друзья избрали главой этого рода. Современный немецкий исследователь Г. Франке допускает возможность отождествления с Есугеем Аоло-боцзила[784]. «Можно предположить, — пишет он, — что этот первый монгольский император по имени Аоло может быть отождествлен с отцом Чингисхана Есугеем, который в 1266 г. канонизирован как Леузу»[785].

Есугей-багадур был храбрый человек, участвовавший во многих войнах с другими монгольскими племенами. Дети в его семье рождались большей частью с голубыми глазами и белокурые, как отмечал Рашид-ад Дин. Правда, царевич Вахушти в своей «Истории Грузии» писал, что Тэмуджин имел рыжие волосы.

Достоверно известно лишь место, где родился Чингисхан: это

урочище Дэлюнболдок на правом берегу реки Онон в 8 верстах от нашей границы с Монголией, т. е. «в русских пределах»[786]. Отца не стало, когда мальчику было всего девять лет. Семья бедствовала, находясь под постоянным наблюдением бежавших от нее былых соратников Есугея.

Туманен весь период отрочества Чингиса. Из него вроде бы достоверны лишь порочащие мальчонка обстоятельства: убийство им своего брата, а также факт пленения будущего властителя Монголии соседним племенем. Однако Л.Н. полностью реабилитирует своего героя. Брат его якобы был лазутчиком и доносчиком, а соседи напали на юрту Есугея потому, что лишь в Чингисе они видели «выдержку, волю, упорное стремление к цели», и это пугало врагов Борджигинов[787].

Молодость героя еще труднее для изучения. Сложным путем — через возраст сына Тэмуджина — Джучи (который нам известен уже по истории Золотой Орды и Руси), через известное время его смерти — восстанавливает Л.Н. многие даты этого периода. Из монгольской традиции известно, что первое избрание Тэмуджина Чингисханом произошло в год Барса — 1182 г. Согласно китайским историкам, — в 1183 или 1184 г. Много и других неясностей вплоть до имени «Чингисхан». Бурятский исследователь Д. Банзаров считал, что это имя одного из шаманских духов. Другие полагают, что титул произошел от слова «чингиху» — обнимать, а значит, «Чингис» — титул человека, имевшего всю полноту власти. Имеются и другие варианты перевода; например, «чингис» значит небо, а тогда Чингисхан — небесный хан. Л.Н. отмечал, что «наши орфографы» заставляют писать «Чингис-хан» вместе, в общее слово. Но это все равно что писать «академик Иванов» в одно слово. Ведь это же легко понять: Чингис — титул, а хан — это должность[788].

Наконец, — зрелость; период также весьма неясный; его можно ограничить 1182–1201 гг. Это время внутренней войны в Монголии. На все эти годы выпадает лишь три «освещенных» события: 1) ссора Чингиса с его андой — кровным братом — Джамухой (это как раз и есть тема детектива, о чем речь пойдет дальше); 2) поход на татар; 3) расправа с «отложившимся», т. е. ушедшим родом Джурки. Но именно тогда Чингис превращается из мелкого князька в претендента на престол не только Монголии, но и всей Великой степи. Этот период — ключ ко всему пути монгольских побед в глобальном масштабе, и именно здесь официальная история замалчивала те же события, что и тайная.

В «Сокровенном сказании» отношение автора к герою двойственно. Первая ипостась — Тэмуджин — человек злой,

трусливый, вздорный, мстительный, вероломный. Вторая ипостась — Чингисхан — государь дальновидный, сдержанный, справедливый, щедрый. Первая ипостась нацело отвергалась Г. Е. Грумм-Гржимайло, и, по моему мнению, вполне убедительно. Исследователь считал, что будь этот портрет хоть сколько-нибудь верен, «Тэмуджин не мог стать тем, кем он стал, и возбудить к себе уже с юных лет, с одной стороны, преданность и симпатию, с другой — боязнь и зависть»[789].

Л.Н., безусловно, склонялся ко второй оценке. Мотивировка Гумилева, мне кажется, еще глубже. Она состоит в подчеркивании верности его героя идее «природного государства», поскольку в сплочении Великой степи он пошел куда дальше и хуннов и тюрков. Кроме того, Л.Н. указывает на безусловную и выдающуюся пассионарность Чингисхана. Последняя проявляется как в его действиях, так и в его притягательной силе, собиравшей вокруг него «людей длинной воли». Г. Вернадский, оценивая Ясу, как свод законов уже не для Ханского улуса, а для мировой империи, писал: «Следует признать, что Чингисхан был не только гениальный полководец, но и государственный деятель крупного размаха, творец нового имперского права»[790]. Дополняет эту оценку замечание Г. Е. Грумм-Гржимайло о том, что законы Чингисхана нельзя назвать строгими, если сравнить их с кровавыми средневековыми законами Европы или даже с «Воинским уставом» Петра Первого, согласно которому смертная казнь угрожала по 200 артикулам[791].

По-разному объясняли историки противостояние Чингисхана и Джамухи. В. В. Бартольд полагал, что Чингисхан встал во главе монгольской аристократии, а его анда и «лучший враг» Джамуха защищал интересы простого народа. Эту позицию разделял и Г. Вернадский[792]. Но еще Г. Е. Грумм-Гржимайло решительно отвергал мнение о том, что аристократы не составляли сколько-нибудь заметной части дружины Чингисхана и лишь частично получали военно-административные роли. Отвергали такое противопоставление известный тюрколог Б. Я. Владимирцов и П. Н. Милюков, говоривший о «чересчур схематичном взгляде»[793]. В войске Джамухи, воевавшем против Чингиса в 1201 г., главную массу вообще составляли не монголы, а татары, ойроты, найманы; монголы же были представлены лишь пятью родами. Они отстаивали не какие-то абстрактные демократические принципы, а свою политическую самостоятельность. Сам Джамуха, добивавшийся престола еще в то время, когда Тэмуджин не мог и мечтать об этом, едва ли действительно разделял упомянутые принципы[794]. К тому же «избирают Джамуху именно племена».

Стандартным в «догумилевском» прочтении истории было противопоставление «Тэмуджин — Джамуха» на равных. Более того, иногда последний изображался как бы и «выше». Автор «Сокровенного сказания» писал, что он «мыслью стремился дальше анды», т. е. Тэмуджина. Они стали андами еще в детстве, в 1173 г., когда Тэмуджину было всего 11 лет; в ту пору он с Джамухой играл на льду реки Онон. «Анда» — значило очень много, даже больше, чем кровное родство. Семь лет после этого они даже не встречались, а за это время в жизни Тэмуджина произошло многое: он побывал в плену, бежал оттуда, успел жениться.

Дальше начинается цепь загадок в их взаимоотношениях. В 1180 г. враги умыкают Борте — молодую жену Тэмуджина, и он просит о помощи Ван-хана и Джамуху. В ответ «за обиду одной женщины 40 тысяч воинов сели на коней». Врагов — меркитов, естественно, разбивают, Борте возвращена. Но почему против 300 меркитов выступают 40 тысяч? «Энергия закономерностей набухала», — туманно объясняет Л. Н.[795]. Но почему-то и Г. Вернадский говорил о том же времени, как о «страшном сосредоточии и напряжении народной энергии»[796].

Дальше еще одна загадка: полтора года анды неразлучны, а потом Джамуха говорит Тэмуджину какую-то непонятную, туманную фразу, и дружба вдруг испаряется. Фразу эту потом назовут «кочевой загадкой Джамухи». Правда, Л.Н. считает, что все проще: автор «Сокровенного сказания» (а оно писалось через 60 лет после события) вложил свои мысли в уста героя. «Где уж нам его (смысл) раскрыть», — заключает Гумилев[797].

Но все это — слова, а надо следить за событиями, за фактами, как учил сам Л.Н. После похода на меркитов анды почему-то снова проводят обряд братания. Почему? Уже в 1182 г., когда Тэмуджина избирают Чингисханом, Джамуха жалуется неким «посредникам» из монгольской аристократии, что их с «андой» разлучили. Дальше происходит совсем непонятное: столкновение после убийства брата Джамухи. Расклад сил такой: 30 тысяч воинов у Джамухи, 13 тысяч — у Чингисхана. В битве при Далан-болчжутах войска Чингиса терпят поражение, остатки их оказываются запертыми в ущелье у реки Онон. Однако Джамуха не только не развивает успех, но, взяв пленных, уходит, сказав: «Ну, мы крепко заперли его в Ононском ущелье» Почему? Л.Н. объясняет: окружение Джамухи хотело боя, хотело уничтожить чингисовцев, а у Джамухи такой цели не было. Но опять же — почему?

Чингис получает «передышку» на 18 лет. Правда, она была весьма условной — то ли 10, то ли 14 лет он провел в плену у

чжурчжэней, но бежал оттуда. В 1201 г. его «анду» — Джамуху курултай избирает гурханом; за него «племена», точнее, племенная аристократия. Дальнейшее совсем загадочно, необъяснимо. В 1202 г. шла монголо-най-манская война, в одном строю находились воины Чингиса и кераиты Ван-хана. Вдруг последний покидает Чингиса в сложной ситуации и терпит поражение; его спасает лишь великодушие Чингиса. Здесь еще нет большой загадки. Она в другом. До спасения Ван-хана Джамуха является в кераитскую ставку и дает советы Ван-хану; возникает столкновение между союзниками монголами и кераитами, в результате которого последние терпят поражение. А Джамуха? Он оказывается в лагере врагов Чингиса. Но опять же: почему, зачем? Л.Н. объясняет это так: Джамуха вел двойную игру. Отпугивая Ван-хана от примирения с найманами, он играл на руку Чингису.

Джамуха уводит свои войска и извещает Чингиса, что найманский хан деморализован и можно начать наступление. Найманы терпят полное поражение, и монголы Джамухи сдаются Чингису. Все это выглядит очень запутанным. Но это не так, если принять версию, что «лучший друг и злейший враг» Чингиса был просто его шпионом, и названные братья почти до конца оставались друзьями. Это объясняет и последнюю их встречу, и предыдущие эпизоды.

После поражения найманов воины схватили Джамуху, привели к Чингису, а тот велел казнить его. Очередное противоречие? Отнюдь нет. Если следовать «Сокровенному сказанию», то Чингис сказал стражнику слова: «Передайте Джамухе вот что: Вот и сошлись мы с тобою. Будем же друзьями. Сделавшись снова второй оглоблей у меня, ужели снова будешь мыслить инако со мною?»[798] Джамуха якобы отверг этот мир.

Но если все предыдущее было игрой, хорошо срежиссированной и обманувшей многих исследователей, почему же тогда состоялась казнь?! Л.Н. отвечает и на этот вопрос, как мне кажется, весьма убедительно: «Если бы Чингис мог без шума и огласки отпустить Джамуху, то он бы, конечно, это сделал, но нухеры испортили всю игру, потому что вся степь узнала о пленении главного соперника монгольского хана. Надо было прятать концы в воду, и Джамуху казнили, оповестив об этом всех, кого было нужно»[799].

Если эта «детективная история» с разгадкой лишь в финале кому-то покажется неубедительной, то надо найти более доказательную версию «конфликта» между ними, версию, которая по-иному снимала бы все загадки. Вряд ли это скоро произойдет. Тем более что к «шпионской версии» Л.Н. очень близка и версия

классика — академика В. В. Бартольда, который писал: «С таким чувством

Чжамуха[800] поднял оружие против Темучина, но и гут тайн оказывал услуги своему анде и «предупреждал его о намерениях врагов»[801].

В 1206 г. на важном курултае Чингис был вновь избран ханом, но уже всей Монголии. Так родилось общемонгольское государство. До этого он победил «своих соседей обывателей» (выражение Л.Н.), которых Г. Вернадский уничижительно называл «народцами»[802]. Оставались старинные враги Борджигинов — меркиты. Разбитые монгольским войском в 1216 г. на Иргизе остатки непокорившихся меркитов откочевали к половцам. Половцы приняли их и, естественно, стали врагами монголов. Борьба с половцами затянулась и была продолжена уже при приемнике Чингиса — его сыне Угедэе. В 1223 г. монголы, преследуя половцев, впервые соприкоснулись с русскими. Но это уже другая история.

Только через 20 лет после «Поисков» Л.Н. скажет «всю правду» про Чингиса: «Из него сделали просто пугало нашей истории, вместо реального исторического разбора. Монголы были союзниками России; в 1912 г., отделившись от Китая, они вошли в контакт с Россией. Чингисхан для них святыня»[803].

От «Поисков» пошло много новых линий в творчестве Л. Гумилева. Монголы и Русь — это начало «Древней Руси и Великой степи». «Поиски» вместе с двумя предыдущими частями степной трилогии дали богатейшую «фактуру» для обобщений по теории этногенеза. Они прямо-таки толкали к обобщениям на тему «Запад — Восток». Именно на Востоке создалось высокоорганизованное, беспрецедентное по размерам государство от Тихого океана до Карпат. Восточная цивилизация продемонстрировала, что она ничем не слабее западных. Монголы формулировали историческую задачу Евразии, положив начало ее политическому единству и основам ее политического строя[804]. Евразийцы не уходили здесь от позиций классиков русской исторической науки. В. О. Ключевский называл Россию XVIII в. «государством восточноазиатской конструкции с европейски украшенным фасадом»[805].

9.5. Конец «чёрной легенды»? Неожиданные союзники на Западе

Нравы русских, вопреки всем претензиям этого полуварварского племени, еще очень жестоки и

надолго останутся жестокими. Ведь немногим более ста лет тому назад они были настоящими татарами. И под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизации сохраняет медвежью шкуру — они лишь надели ее мехом внутрь. Но достаточно чуть-чуть поскрести, и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщится.

Астольф де Кюстин

Свыше, чем двухвековое общение с татарами, постоянное соприкосновение с ними неизбежно привело к сильному огрублению нравов, к усвоению варварских понятий и привычек.

Евг. Шмурло

Книги с названием «Черная легенда» у Льва Николаевича вообще не было. Она появилась после его смерти и собрана из ряда статей (включая журнальное эссе «Черная легенда») его учениками Владимиром Мичуриным и Вячеславом Ермолаевым[806]. Но число таких статей велико, а разоблачение «черной легенды» по сути проходит через все годы и труды Л.Н. В 1990 г., на закате жизни он по праву скажет: «Я, русский человек, всю жизнь защищал татар от клеветы»[807].

Автору предисловия Л.Н. так рассказывал о рождении своих взглядов: «Когда я был ребенком и читал Майн Рида, я неизменно сочувствовал индейцам, защищавшим свою землю от «бледнолицых». Но поступив в университет и начав изучать всеобщую историю на первом курсе, я с удивлением обнаружил, что в истории Евразии есть свои «индейцы» — тюрки и монголы. Я увидел, что аборигены евразийской степи также мужественны, верны слову, наивны, как и коренные жители североамериканских прерий и лесов Канады. Но больше всего меня поразило другое. Отношение цивилизованных европейцев к индейцам ничем не отличалось от их отношения к тюркам и монголам. И те, и другие считались равно «дикими», отсталыми народами, лишенными права на уважение к их самобытности. «Господи, — подумал я, — да за что же им такие немилости?» Но моя попытка разобраться в

вопросе столкнулась с немалыми сложностями. Целостной истории тюрок и монголов просто не было. Тогда-то я и решил заняться этой темой сам»[808].

У «черной легенды» есть свое время рождения — конец XIII в., и долгая-долгая, вплоть до наших дней, жизнь ее «метастаз». Все началось с того, что тамплиеры принесли в Европу миф о «царстве пресвитера Иоанна». Второй крестовый поход (1147–1148 гг.) организовывался в расчете на союзника, на мифический «второй фронт», которого не было и в помине. Естественно, что поход кончился полным разгромом крестоносцев.

Следующий этап событий: вторжение монгольского войска в Европу — великий Монгольский поход на запад 1236–1242 гг. «Завоевание мира в задачу монгольскому корпусу поставлено не было, — объясняет Л.Н. — Цель похода была гораздо скромнее — разгромить надолго или навсегда половцев и избавить себя от внезапного ответного удара»[809]. В битвах 1241 г. при Легнице и Шайо они разгромили польско-немецкую и венгерско-хорватскую армию.

Европа не была едина. Гвельфы, сторонники папы, пытались создать антимонгольскую коалицию, но неудачно. Их противники — гибеллины искали союза с монголами. Создалось нечто вроде коалиции «Фридрих II — хан Батый». Л.Н. назвал это «пактом о ненападении»[810].

Следующий этап зарождения «черной легенды» был связан с изменениями в самом Монгольском улусе. Поначалу казалось, что они сулят успехи Христианскому миру.

После смерти Мункэ (1259 г.) на престол взошел Ариг-буга — несторианин. В 1260 г. монголы двинулись в «желтый крестовый поход» (находка Л.Н.) против мусульман — египетских мамлюков. При их «примитивных» понятиях о чести и наивной вере в данное слово, они надеялись на союзников — христианских рыцарей-крестоносцев. Но тамплиеры и не собирались держать слово; их вовсе не устраивало окончание бесконечной борьбы за Гроб Господень, поскольку это было бы концом самого ордена.

1260 г. оказался годом предательства, годом «Сидонской трагедии». Правитель христианской Сирии монгол Китбуга со своей крошечной армией спокойно стоял у Баальбека в расчете на союз с рыцарями, но был разгромлен «союзниками». Монголы, преданные и лишенные поддержки, были затем разбиты мамлюками у Айн-Джалуда.

Л.Н. считает 1260 г. поворотной датой в истории, после которой «сила вещей» повлекла цепь событий по иному пути[811]. Было сметено культурное наследие Византии: мусульмане

убивали христиан, все более расширяя свой ареал. Ближний Восток из христианского превратился в мусульманский. Запад должен был что-то придумать для оправдания цепи своих предательств, и пошла по свету «черная легенда», что монголы — это татары, а татары на самом деле тартары, т. е. исчадие ада. Охаяны были не только тихие волжские татары, мордва, тунгусы, якуты, но и русские, входившие в это время в состав Золотой Орды. Ведь идея татаро-монгольского ига, по сути, «русская составляющая «черной легенды»[812].

За 500 лет «черная легенда» пустила глубокие корни и пышные ветви, на которых произросли европоцентризм, учение о народах «исторических» и «неисторических», расизм, тезисы об отсталости России, застое Китая и особой значимости Индии. «Особенно гадко, — писал Л.Н., — деление этносов на «диких», из вежливости называемых «примитивными», и «цивилизованных», под которыми понимаются европейцы и выходцы из Европы, живущие в колониях»[813].

Набор стереотипов «черной легенды» и ее вариаций очень велик, и все труды Л.Н. так или иначе «работают» на их разоблачение. Основные принципы Гумилева, с позиций которых он вел критику, были следующие: «Нет европоцентризму» (этот тезис выдвинули и разработали еще евразийцы): «Нет «хороших» или «плохих» этносов» (это утверждал Л.Н. чуть ли не в каждой книге или интервью). «Спорить о том, какой этнос лучше, все равно, как если бы нашлись физики, предпочитающие катионы анионам, или химики, защищающие щелочи против кислот», — писал Л.Н.[814].

В одном интервью, касаясь типичных обвинений восточных народов в жестокости, Л.Н. говорил: «Монголы учиняли жестокие кровопролития, говорите Вы? А вырезанный Иерусалим, где в 1099 г. крестоносцы не оставили в живых даже грудных детей? А разграбленный ими же в 1204 г. Константинополь? А приказ Черного Принца вырезать все население Лиможа в 1370 г.? Черного Принца, который считался национальным героем Англии? И чем же он лучше монгольских полководцев?»[815]

Гумилев подчеркивал, что сама идея «отсталости» или «дикости» может возникнуть только при использовании синхронистической шкалы времени, когда этносы, имеющие разные возрасты, сравниваются как будто они сверстники. «Но это столь же бессмысленно, — пишет он, — как сопоставлять между собой в один момент профессора, студента и школьника, причем все равно по какому признаку: то ли по степени эрудиции, то ли по физической силе, то ли по количеству волос на голове, то ли, наконец, по результативности игры в бабки»[816].

Как отмечал Л.Н., цивилизованные европейцы стары и поэтому чванливы, как и все этносы в старости; а в молодости и они были дикими «франками» и «норманнами», научившимися богословию и мытью в бане у культурных тогда мавров[817]. По мнению Л.Н., нет Каинов и Авелей, если принимать, что был Каин — земледелец и ремесленник, а Авель — скотовод. Бог предпочел Авеля; Каин, убивший своего брата, был проклят и наказан изгнанием. Следовательно, «земледельцы хорошие, а скотоводов надо бить». Л.Н., опровергая подобные взгляды, разъяснял на исторических примерах, что самые жестокие войны в Элладе шли между Спартой и Афинами, Спартой и Фивами, Фивами и Македонией, гуманно щадившей Афины. Война в Риме с Тарентом и три пунических войны велись горожанами[818].

Вообще, противопоставление «город — не город» применительно к степи достаточно бессмысленно и выдает лишь безграмотность его авторов! Выдающийся русский исследователь Азии П. К. Козлов замечал, говоря о Монголии, что «почти нет другой страны, имеющей столь много памятников разнообразной культуры и цивилизации, как на поверхности земли, так и под землей»[819]. Да и Кара-Корум — столица Монголии при Чингисхане свидетельствует о том, что степнякам была отнюдь не чужда и городская культура. В. В. Радлов, в 1890 г. обследовавший стены монгольского монастыря, обнаружил каменные плиты с высеченными на них ханскими указами из Кара-Корума. Город был основан Чингисханом после 1220 г. как административный центр с хорошо развитой торговлей и ремесленным производством. Особенностью города было отсутствие крепостных стен, что запрещалось ханским указом. У входов в городские ворота размещались многочисленные лавки торговцев из разных стран. В городе действовали храмы разных вероисповеданий, в том числе христианская церковь. Уже при Угэдее в 1238 г. был построен «Дворец великого спокойствия», который возвышался на высоком каменном цоколе и имел громадный зал с 64 колоннами[820].

Л.Н. всю жизнь боролся с мифами, ибо когда миф торжествует, то наступает подлинный упадок науки, да и всей культуры[821]. Но не стала ли эта борьба в наше время сражением с ветряными мельницами? Казалось бы, евразийцы за полвека до Л. Гумилева высказали все необходимое для опровержения всяких «черных легенд»: «Европа и человечество» (1920 г.) — знаменитая брошюра князя Н. Трубецкого стала их манифестом еще до появления в 1921 г. программного сборника «Исход к Востоку».

Хотя одна из первых публикаций евразийцев была посвящена другому вопросу (отношению России и латинства), там тоже

содержались четкие мысли на тему «Запад — Восток»: «Может быть, в итогах революции, как они уже теперь намечаются, Россия в целом отвернется от Запада и, следовательно, противопоставит свое Православие — западному Католичеству, ибо «латинство» всегда воспринималось на Руси, как яркий и вражеский признак иностранства»[822].

При всей ненависти к большевизму евразийцы признавали некую преемственность мироощущений, осознания новой властью особого места России в мире, ее грядущую этническую позицию. Но почему же продолжалась «черная легенда» в нашей стране до 80–90-х гг. и даже расцвела в годы «перестройки»? Неужели «заря» и сейчас на Западе?

Контрвопросы здесь вполне законны: а кто у нас до 80-хгг. читал евразийцев или хотя бы имел понятие об этом течении? И если читал, то где? В спецхранах. Колоссальной заслугой Л.Н. являются не только его труды, но и его гигантская просветительская работа, ибо он «долбил» о евразийстве в каждом интервью 80-х гг.; «взрыв» издания о них итог этой работы. Массовые тиражи книг о евразийстве начались уже после «перестройки» — в 90-х гг. Концепция вышла из «анабиоза»; капля сточила камень.

Л.Н. считал, что его единомышленниками в XX в. являются евразийцы, а на Западе, в какой-то мере, лишь О. Шпенглер с его «Закатом Европы». Разоблачая европоцентризм, тот писал: «В таком случае китайский историк был бы вправе спроецировать всемирную историю, в которой замалчивались бы, как нечто незначительное, крестовые походы и Ренессанс, Цезарь и Фридрих Великий»[823].

Близкие идеи возникают иногда у людей очень разных культур, разных стран и судеб, никогда и не подозревавших о существовании единомышленников. Вероятно, это говорит о значимости таких идей. В 1997 г. исполнилось 100 лет со дня рождения малоизвестного (а у нас и вовсе неизвестного) немецкого философа Вальтера Шубарта. Его книга «Европа и душа Востока» вышла в России крохотным тиражом в 2000 экземпляров[824].

Судьба автора трагична и связана с его прорусскими взглядами. Из-за них он, немец-католик, уже в 1933 г. был вынужден покинуть Германию вместе со своей русской женой (по семейному преданию, внебрачной дочерью князя Долгорукова). Он выбрал неудачное место эмиграции — Ригу. В 1941 г. за несколько дней до сдачи города немецко-фашистской армии он был арестован и исчез в ГУЛАГе.

Парадоксы истории были и здесь; приемному сыну Шу-барта

— Максимилиану разрешено было выехать в Германию, а хлопотал за него человек, казненный в 1944 г., тогдашний посол Германии в СССР граф фон Шуленбург[825].

«Европа и душа Востока» вышла в Швейцарии в 1938 г. Ее заметил известный русский философ И. Ильин, живший в эмиграции. Заметил, высоко оценил и сам привел несколько примеров злобного отношения к России на Западе, в частности в Германии. Вот несколько цитат, достойных войти в «черную легенду». «Это даже не варвары, — писал один из непримиримых врагов России, — мазохистские трусы, блудливо ждущие позорного наказания. Смесь восточного бессмыслия и татарской хитрости. Таковы все они, побирающиеся у западной культуры: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, и больше всех Достоевский». «Образы, выдвинутые русской литературой — это сплошь «образцовые идиоты» — от Мышкина и Раскольникова до Кутузова и Платона Каратаева». «Россия — это вечная ночь, раз навсегда опустившаяся на жалких людей»[826].

Вальтер Шубарт, интуитивно воспринимавший дух России, гораздо больше душой, чем умом и знанием, поставил задачу — осмыслить противостояние «Запад — Восток», «Европа — Россия», которое занимало и Л.Н. Он так и начинает свою книгу: «Мое единственное и сильнейшее переживание — осмысление противоположности между человеком Запада и человеком Востока»[827]. Многое у него не очень доказательно, например четыре архетипа людей, которые якобы сменяли друг друга в истории: гармоничный, героический, аскетичный и мессианский человек. Мессианский — это русский, который «видит в людях не врагов, а братьев, в мире — не добычу, на которую надо набрасываться, а хрупкую материю, которую надо спасти и освятить»[828].

Есть у него и удивительные совпадения с взглядами Л.Н. В. Шубарт задается вопросом: что действует на людей, каковы постоянные силы истории? Его ответ — «дух ландшафта или земли, genius loci (дух местности. — СЛ.), который пересекается с духом эпохи». Шубарт указывает на большое значение в религиозных судьбах человечества степей Китая и России, равнин Индии, пустынь Сирии и Аравии[829]. Чем не «кормящий ландшафт» Гумилева? Дух ландшафта, по мнению Шубарта, обусловливает различия в пространстве, дух эпохи — различия во времени. Можно указать и на еще одно изумительное созвучие с «Гумилевщиной»: Шубарт пишет, что люди одной крови, но различных эпох, отличаются друг от друга не только возрастной стадией своей расы («этноса» — сказал бы Л.Н.), но и «в своей основе, всем своим существом»[830].

Возникает естественный вопрос: не читал ли В. Шубарт евразийцев? Он писал это в 30-х гг., когда их труды на Западе были уже известны. По-видимому, не читал, поскольку представление об евразийцах у него было весьма странным.

В. Шубарт знал, что есть такое течение, но называет только две фамилии, которые могут считаться лишь предшественниками евразийцев, и то «по частностям». Один из них — С. Юшаков с его трудом «Англо-Русский конфликт», вышедшим в 1885 г., а второй — князь Э. Ухтомский с работой «К событиям в Китае». Князь умер в 1921 г., т.е. в год выхода первого манифеста евразийцев.

«Запад-Восток» основная тема книги В. Шубарта; здесь много нестандартного, никак не дублирующего предшественников. «Местные условия диктуют Европе формирование человеческого типа, отличного от восточного...» — это вроде бы тривиально, но далее следует: «Азия стала истоком всех больших религий, Европа не дала ни одной». Поразительно, но это было написано католиком!

Далее следует очень неожиданный «выход» на современность (его современность — межвоенной, неспокойной, предгрозовой Европы), на роль русской эмиграции в чуждом ей мире: «Стоит только представить себе: три миллиона человек с Востока, принадлежавших большей частью к духовно ведущему слою, влились в европейские народы и возвестили им культуру, которая до того времени была Западу почти неизвестна и недоступна» (выделено мною. — С. Л.)[831]. Это похлеще, чем многое у Л.Н.

Не зная евразийцев, Шубарт стихийно выходил на их позиции. «Именно Россия, — писал он, — обладает теми силами, которые Европа утратила или разрушила в себе. Россия является частью Азии и в то же время членом христианского сообщества народов. Это — христианская часть Азии»[832].

Основное противопоставление в книге: «западный человек — русский человек». Оно раскрывается особыми главами о немцах (их менталитете), об англо-саксах, французах, испанцах и т. д. При этом некоторые черты русского народа идеализируются и кажутся приукрашенными, а Запад критикуется безжалостно. «Русский, — пишет Шубарт, — переживает мир, исходя не из «я», не из «ты», а из «мы»... Европеец и сам не помогает, и от других помощи не ждет. Отсюда жесткость и безутешность, кантианство всего стиля жизни, «кантующей» европейца». «Каждый здесь стремится скрыть свою нужду и имитировать счастье»[833]. Думается, что это и сейчас актуально.

По-иному относятся русский и западный человек к богатству. Иначе и к культуре, и ко времени — «у русского бесконечно много времени». Он противопоставляет Запад с его «культурой

середины» — России с ее «культурой конца». Что значат эти необычные и мало понятные формулы? Там, где Запад предпочитает «золотую середину» среднего сословия, копит золото и богатство, становясь их рабом, утрачивая дух свободы, русская душа хранит свободу, не покоряется вещам и противопоставляет свою независимость Западу[834].

Многое из написанного в 1938 г. о русских «не смотрится» в 90-х гг. Это заметил и великий немецкий писатель Генрих Бёлль, написавший в предисловии (1979 г.) к книге В. Шубарта: «Не произошла ли за спиной марксизма со всей его западностью нежелательная вестернизация русского человека, возможно, уже непоправимая — вопреки ценимому В. Шубартом чувству братства?»[835]

Л.Н., естественно, не мог и знать о существовании В. Шубарта. Зато про другого западного ученого — Арнольда Джозефа Тойнби, знаменитого английского историка и философа (1889–1975), он не только знал, но в своем архиве хранил папку переводов с надписью «Тойнби». Льву Николаевичу явно не нравилась концепция Тойнби «вызов—ответ», согласно которой развитие цивилизации идет и убыстряется в качестве ответа на вызов в ситуации особой трудности, которая воодушевляет сделать беспрецедентные усилия. Л.Н. иронизировал: «Да-да, а может быть, причина расцвета Англии — лондонский туман? Или вызов — это нападения иностранцев, потому что их надо отражать?»[836] Увы, не читал Л.Н. многого у А. Дж. Тойнби, да и не мог читать, ибо поздно вышли у нас книги англичанина, слишком поздно[837]. «Если одной необходимости достаточно, чтобы создать сильное государство, — писал Л.Н., критикуя Тойнби, — то почему они создаются так редко?»[838] Л.Н. не нравится, что англичанин считал кочевой мир «застойным», что якобы не давало возможности развивать собственную оригинальную цивилизацию[839].

Между тем заслуга Тойнби отнюдь не только и даже не столько в концепции «вызов — ответ». Эта гипотеза для него — ключ к пониманию локальных цивилизаций; но еще важнее то, что англичанин стал автором широкой цивилизационной теории, а его формулы часто гораздо современнее и реальнее самых модернистских изысков на Западе.

Появившаяся в 80-х гг. концепция Ф. Фукуямы «Конец истории» нацело отметалась А. Дж. Тойнби задолго до ее рождения. Конец истории — это ее смерть, а сущность истории — это жизнь и движение, причем движение, отнюдь не всегда поддающееся контролю и весьма часто непрогнозируемое. Более того, А. Дж. Тойнби почитается на Западе и как «отец циклизма»,

что, по большому счету, сближает его с Л.Н. Кроме того, он стал «дедушкой» самой современной и модной западной теории — «столкновения цивилизаций», заново сформулированной и развитой ее «отцом» — профессором Гарвардского университета С. Хантингтоном в 1993 г. Суть ее в том, что в XXI в. на первый план может выйти не экономика и идеология, а цивилизационные противоречия и столкновения.

А. Дж. Тойнби и С. Хантингтон увидели, правда, на полвека позже, главное цивилизационное противоречие в конфликте между Западом (западноевропейская цивилизация плюс США) и «не-Западом», т. е. остальным миром. Эту концепцию критиковали на Западе (видимо, как «недостаточно западную») и на Востоке. Критиковали по мелочам, деталям, и по более крупному — «за перетолковывание политических трений в культуралистских терминах», разъясняя, что, например, ненависть бедного Юга к богатому Северу есть «скорее чувство классовое»[840]. С этим никто и не спорит, но установить точное (в процентах?) соотношение разных факторов конфликтов, возможных в будущем — дело вряд ли реальное. Писал же Макс Вебер когда-то: «В принципе история банковского дела какого-либо народа, в которой объяснение построено только на экономических мотивах, столь же невозможно, как «объяснение» Сикстинской мадонны, выведенное из социально-экономических основ культурной жизни времени ее возникновения»[841]. Ясно, что противоречия сложнейшего современного мира определяются не только привычными факторами; новые подходы здесь неизбежны и продуктивны. Не надо монополии одного подхода, не передаст он всей картины, всей сложности.

Вернемся к неожиданному союзнику Льва Николаевича. А. Дж. Тойнби подчеркивал, что современное ему видение истории остается по преимуществу европоцентристским. Западная цивилизация, достигшая в своем развитии высочайшего технологического и научного уровня, породившая либеральную демократию, тем не менее не кажется ему идеальной. Напротив, для А. Дж. Тойнби совершенно очевиден ее экспансионистский характер[842]. «В столкновении между миром и Западом, — писал Тойнби, — которое длится к нынешнему времени уже четыре или пять веков, именно Запад, а не остальной мир обрел наиболее значительный опыт. Не мир нанес удар Западу, а именно Запад нанес удар, и очень сильный, остальному миру»[843].

Здесь видится много общего между английским профессором и его русским «критиком». Особенно ясно это прослеживается в статье А. Дж. Тойнби «Россия и Запад», в которой он советует западному человеку покинуть «свою кочку» и объективно

посмотреть на столкновение «Запад — не-Запад», посмотреть глазами огромного, незападного большинства человечества. «Золотой миллиард»[844], то есть Западный мир, составляет на самом деле всего-навсего 1/6 человечества!

Тойнби писал, что русские и мусульмане, индусы и китайцы, японцы и все остальные ответят одинаково на вопрос о роли Запада. «Запад, — скажут они, — это архиагрессор современной эпохи, и у каждого найдется свой пример западной агрессии. Русские напомнят, как их земли были оккупированы западными армиями в 1941, 1915, 1812, 1709, 1610 гг., народы Африки и Азии вспомнят о том, как, начиная с XV в., западные миссионеры, торговцы и солдаты осаждали их земли с моря. Азиаты могут еще напомнить, что в тот же период Запад захватил львиную долю свободных территорий в обеих Америках, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке и Восточной Африке. А африканцы о том, как их обращали в рабство и перевозили через Атлантику, чтобы сделать живыми орудиями для приумножения богатства их алчных западных хозяев. Потомки коренного населения Северной Америки скажут, как их предки были сметены со своих мест, чтобы расчистить пространство для западноевропейских незваных гостей и их африканских рабов»[845].

Это — глобальное видение истории, совпадающее с гумилевским, но следует подчеркнуть именно глобальное. Мысли А. Дж. Тойнби о далекой ему России, как ни странно, тоже были в унисон с гумилевскими. Совпадало не только неприятие «черной легенды», но, больше того, оценка татарского ига. Она далеко не тривиальна.

«Довольно печальная история отношений России с Западом, — пишет Тойнби, — имела, тем не менее, счастливую первую главу, ибо, несмотря на различный образ жизни, Россия и Запад довольно удачно взаимодействовали в пору раннего средневековья. Шла взаимная торговля, заключались династические браки. Например, дочь английского короля Гарольда вышла замуж за русского князя». Отчуждение началось в XШ в., после нашествия татар на Русь.

Татарское иго продолжалось недолго, ибо татары были степными кочевниками и не могли укорениться в русских лесах и полях. В результате татарского ига Русь потерпела убытки, в конце концов, не столько от татар, сколько от западных соседей, не преминувших воспользоваться ослаблением Руси для того, чтобы присоединить к западнохристианскому миру западные русские земли в Белоруссии и на Украине. Только в 1945 г. России удалось возвратить себе те огромные территории, которые западные державы отобрали у нее в XIII и XIV веках» (выделено

мною. — С.Л.)[846]. Остается пожалеть, что нынешние борцы против «имперскости» России этого никогда не читали, иначе отнесли бы респектабельного английского профессора к сталинистам, а уж визы в «самостийную» он бы не получил ни за что.

Вот еще один тезис большого ученого, показывающий глубокое понимание русской истории («профессионалы-советологи» обычно не отличаются этим): «Западный мир, к которому Россия пошла в ученики, был уже миром нерелигиозным»[847].

Жалко, что Л.Н. не читал этого, поскольку не владел английским. Знал бы тогда Л.Н., что и на Западе есть в чем-то единомышленники, при этом весьма видные. Арнольд Тойнби — огромное явление в науке. За два с лишним десятилетия после его смерти на Западе не появилось сравнимой по масштабу фигуры. Более популярные в «масс-медиа», более плодовитые авторы — сколько угодно; например, З. Бжезинский выдает по книге в год, а то и больше, но не его же сравнивать с титаном А. Дж. Тойнби?

Пожалуй, такого уровня достигает сейчас С. Хантингтон, куда более объективный и интересный, чем многие политологи Запада. Строгая научная объективность вообще — удел немногих, тем более, когда речь идет о плюсах и минусах не в точных, а в общественных науках. Какая уж тут объективность, когда кумир российских интеллектуалов — Зигмунд Фрейд всерьез говорил о «властвующих над миром великих нациях белой расы, на долю которых выпало руководство человеческим родом»[848]. Читатель возразит: это же было давно, на заре века. Но почти на закате века другой интеллектуал, очень известный немецкий историк Эрнст Нольте, не нашел ничего лучше, как характеризовать поведение своих соотечественников в годы третьего рейха словами «asiatische Tat»[849][850].

С. Хантингтон несравненно грамотнее, оригинальнее и куда объективнее большинства современных западных авторов. Грамотнее уже потому, что в отличие от признанных советологов он читал сочинения евразийцев[851]. Гарвардский профессор объективнее их, ибо понял, что «ценности, которые наиболее важны на Западе — наименее важны во всем остальном мире».

Он сформулировал в последней главе своей капитальной книги такой прогноз на будущее: «Глобальные «монокультуристы» хотят сделать весь мир Америкой. Тамошние «мультикультуристы» хотят сделать Америку похожей на весь мир. Но «мультикультурная» Америка невозможна, ибо «незападная» Америка перестала бы быть и американской. «Мультикультурный» мир непредотвратим, потому что

невозможна глобальная империя»[852].

Запад уже начинает понимать, что тотальная «кока-колонизация» не проходит, что западная культура не становится мировой. Ведь не более, чем видимость, что американская еда, одежда, поп-музыка, кино с большим энтузиазмом принимаются «не-Западом», доминируют чуть ли не на всех континентах. Культура — не потребление материальных продуктов. «Сутью культуры, — пишет Хантингтон, — являются язык, религия, ценности, традиции и обычаи. Если русские пьют кока-колу, это вовсе не означает, что они мыслят подобно американцам»[853]. Думается, что под этими словами подписался бы и Л.Н.

Лучшие умы Запада отвергают и другую легенду, состоящую в том, что будто бы модернизация других цивилизаций есть их вестернизация. Но еще Ф. Бродель отмечал, что «Китай эпохи династии Минь... был несомненно ближе к Франции династии Валуа, чем Китай Мао Цзэдун к Франции времени Пятой республики»[854]. Сегодняшний Китай демонстрирует Западу, что конфуцианство, помноженное на современную технологию и менеджмент, представляет серьезное оружие модернизации без намека на вестернизацию.

В России все иначе; нас призывают войти в «круг цивилизованных стран», «общеевропейский дом» и т. д. Академик А. М. Панченко, друг Л.Н., ядовито замечал по этому поводу: «Они просятся в «общеевропейский дом», а их дальше прихожей не пускают, разве что вышлют стакан водки и краюху хлеба»[855]. Как будто до «пришествия» Горби не были мы цивилизованной страной, как будто не Россия-СССР дала миру Толстого и Достоевского, Королёва и Шостаковича...

В годы «перестроечных» мифологем с Запада пытались достучаться до нашего сознания, до лениво-нелюбопытной «элиты» такие выдающиеся и без кавычек элитные интеллектуалы, как Александр Зиновьев («идеалист-коммунист», как он сам себя называл) с его анализом западнизма и критикой мета-идеологии Запада[856], Владимир Максимов, Мария Розанова и многие другие. Все они в чем-то повторяли судьбу евразийцев, а потом и их горький вывод. Как писал когда-то П. Савицкий, то, что было «неясно посетителю, стало ясно жильцу»[857]. Ясна стала иноприродность.

Предупреждения об «иноприродности» из далеких 20-х гг. не дошли до так называемой «демократической интеллигенции» России. Она в большинстве своем оказалась неспособной понять ситуацию и в силу этого несет большую нравственную ответственность. Больше того, спустя два дня после бойни в Останкине и у «Белого дома» большинство «творческой элиты»

стали «подписантами» обращения к президенту, о котором А. Зиновьев отметил, что оно «не имело прецедентов по подлости, жестокости и цинизму»[858]. Кстати, «творческая интеллигенция» (один из шаблонов «демо-жаргона») — достаточно нелепое выделение. Неужели научная, научно-техническая интеллигенция не творческая? Видимо, творцы «демо-жаргона» выделили артистов, журналистов, писателей в силу неизмеримо большей продажности именно этой части «элиты».

Именно она дала второе дыхание «черной легенде» в 80-х гг. и особенно после развала СССР, всячески оплевывая свою страну, ее историю, ее людей (чего стоит придумка «совок»!), организовав беспримерную кампанию мазохизма и создания комплекса неполноценности у своего (своего ли?) собственного народа, став каким-то коллективным «спичрайтером» для малограмотного, но амбициозного «нобелевского тракториста». Можно утешать себя тем, что не они олицетворяют теперь культуру, но спрашивается, кого же мы видим на ТВ, в прессе, слышим ежедневно?

Время такое, «культура такая, что она любит подтанцовщиков, подпевальщиков, создателей мелких жанров, она любит людей, которые приукрашивают и смешат... Нет им числа, этим писателям, которые смешат», — констатировал писатель, который грустит по поводу развала страны[859].

Л.Н. как будто предвидел эту жалкую и подлую роль интеллигенции в новое смутное время, много раз в последних интервью повторял мало понятные тогда слова: «Я — не интеллигент!» Л.Н., правда, был отнюдь не первым; еще К. П. Победоносцев писал министру внутренних дел В. К. Плеве: «Ради Бога, исключите слова «русская интеллигенция». Ведь такого слова «интеллигенция» по-русски нет: Бог знает, кто его выдумал, и Бог знает, что оно означает...»

Итак, модернистский вариант «черной легенды» — творение российской псевдоэлиты. Именно она довела народ до того, что французский геополитик Пьер Галуа, вовсе не обязанный любить Россию и даже сострадать ей, предупреждает, почти просит оттуда, с Запада: «Надо объяснить русским людям, что у них своя история, свои победы и поражения, свои традиции и обычаи, что они отличаются от других народов и от своих соседей. Навязать им чужие устои — абсурд. Запад воображает, будто его образ жизни, организация общества являются образцом, которому все должны следовать. Нет никакой причины соглашаться с этим». До чего дело дошло!

После развала СССР можно унижать Россию, как это делает З. Бжезинский (формула «лишняя страна» — его находка), можно относить ее к странам «с переходной экономикой» (куда?), даже к

«третьему миру». Издеваться могут все кому не лень — от Госдепартамента США, вводящего новые, унизительные для русского человека правила получения виз, до Польши, внезапно перекрывающей доступ в страну нашим «челнокам», и до властей «демократической Латвии», где полиция прилюдно и безнаказанно избивала «русскоязычных пенсионеров».

Можно жалеть и оплакивать Россию, как это делают некоторые из подлинных ее друзей на Западе; например, Дж. Кьезе в своей изумительно глубокой книге «Прощай, Россия»[860]. Но есть ли это победа Запада, западной цивилизации? Нет. «То, каким образом умирает эта империя, — пишет Кьезе, — является отражением победившей цивилизации..., в свою очередь не отдающей себе отчета в том, что она вступила в свой заключительный кризис»[861].

Ситуация в России в послереволюционные годы была, может быть, еще сложнее, чем сейчас: война, разруха, оккупация части страны. Но в 1919 г. Владимир Иванович Вернадский — отец евразийца, писал: «Сейчас главнейшей силой, спаивающей новое русское государство, будет являться великая мировая ценность — русская культура во всех ее проявлениях»[862].

10. А было ли иго?

Без «татарщины» не было бы России.

П. Савицкий

Заостренная формула Л.Н. — «Никакого татарского ига не было» — надолго стала мишенью, по которой упражнялись его многочисленные критики. Возьмем, к примеру, один из номеров журнала «Родина» (№№ 3–4) за 1997 г., специально посвященный лесу и степи в IX-XVI вв.

Вот основные идеи историков, признававших отрицательные последствия ига:

— Оно вызвало глобальное бедствие, катастрофические последствия которого были неисчислимы.

— Высокоразвитая цивилизация (древнерусская) была отброшена назад в экономическом, политическом и культурном развитии, по крайней мере, на полтора столетия.

— К 1241 г. на Руси наступил демографический спад, не сравнимый ни с какой эпидемией или опустошительным голодом.

— Никакого симбиоза между лесом и степью не было. Русские земли были страшно разорены[863].

Можно дополнить этот список «свежих» высказываний цитатами из «штатных хулителей» Льва Николаевича — Аполлона Кузьмина или В. Чивилихина. Думается, что «заостренность» гумилевской формулы дала импульс для спора, для возражений, а значит — для поиска истины. Как всегда новое — в какой-то мере хорошо забытое старое. Почему, например, никто не критиковал П. Милюкова, бравшего в кавычки термин «татарское иго»?[864] Я нахожу лишь один ответ: российское (именно российское, а не русское!) издание его «Очерков» вышло лишь в 1993 г., уже после смерти Л.Н., после того, как он принял удар на себя. Принял и наслаждался обстановкой «боя», как бы ему при этом ни перепадало.

После смерти Л.Н. его резкие слова еще раз прозвучали в книге «От Руси до России»: «Ни о каком монгольском завоевании Руси не было и речи. Гарнизонов монголы не оставили, своей постоянной власти и не думали устанавливать. С окончанием похода Батый ушел на Волгу, где основал свою ставку — город Сарай. Фактически хан ограничился разрушением тех городов, которые, находясь на пути войска, отказались замириться с монголами и начали вооруженное сопротивление»[865].

Проблемы ига неотделимы от якобы многовекового противостояния леса и степи. Им посвящена самая капитальная во всем цикле итоговая работа Л.Н. — «Древняя Русь и Великая

степь», вышедшая еще при жизни автора в 1989 г.[866]. Противостояние «Лес — Степь» находило параллели в традиционных «связках контрастов»: оседлые — кочевники, земледельцы — скотоводы, славяне — тюрки, европейцы — азиаты, Запад — Восток. Русь и степь до нашествия и Русь в годы «ига» — два тесно связанных, но все-таки разных периода. Рассмотрим их коротко.

10.1. Спор историков. Родилась ли истина?

Есть много загадок прошлого, например, почему в XII-XIII вв. половецкая степь именовалась в русских источниках «Землей незнаемой», если еще в X в. русские свободно ездили в Тьмутаракань (Керчь) и в Крым, доходили до берега Каспия? Неужели знания русских географов в XIII в. уменьшились или забыли они об этих «рядовых» событиях недавнего прошлого?

Как замечал Л.Н., в XII в. «бывшая степная окраина Киевской Руси превратилась сначала в «Землю незнаему», потом в «Большой луг» и, наконец, в «Дикое поле»[867]. В последнем названии уже явственен элемент враждебности.

Тянулась ли действительно эта вражда чуть ли не столетиями, и если «да», то только ли вражда?

В степи доминировали половцы, и, значит, в первом приближении проблема сводится к выяснению взаимоотношений русских с ними. Русские историки XIX в. (а частично и XX) давали однозначный ответ. «Рыцарственная Русь и тревожная недобрая степь, — пишет Б. Рыбаков, — разлившаяся безбрежным морем от Волги до Дуная... Степь полна топота и ржания конских табунов, дыма становищ, скрипа телег; рыщут волки, кружатся над полем хищные птицы, тут и там идут несметные войска половецких ханов, распугивая антилоп и туров. Духами зла и смерти, огня и несчастий наполняет степь фантазия поэта... На сотни верст вдоль русской границы раскинулось необъятное степное море, ежегодно, ежедневно угрожавшее ураганами и штормами воинственных и хищных половецких орд» (выделено мною. — С. Л.)[868]. Красиво? Да. Но убедительно ли?

У академика Б. Рыбакова было много именитых предшественников — классиков русской исторической науки. Их оценки практически однозначны. Гумилев писал, что дореволюционная русская историография от В. Н. Татищева до Г. В. Плеханова, за редкими исключениями, решала проблему русско-половецкого контакта единообразно.

Татищев считал, что «половцы и печенеги... русским пределам набегами, пленяя и грабя, великие вреды наносили»; Н.

Карамзин: половцы — «неутомимые злодеи», «мир с такими варварами мог быть только опасным перемирием»; Н. Г. Устрялов: половцы — «лютые злодеи»; С. М. Соловьев: «Русь… должна была вести борьбу с жителями степей»; Н. И. Костомаров: половцы — «полчища степных кочующих народов… жадных к грабежу и истреблению»; Н. А. Рожков: половцы — «наибольшая опасность для древнерусского государства»[869].

Сюда же, к «традиционалистам», Л.Н. отнес и П. Н. Милюкова, отнес напрасно, но не виновен в ошибке: российское издание «Очерков» вышло, как уже говорилось, после смерти Л. Гумилева. Между тем П. Н. Милюков был совсем не традиционен: он считал, что своеобразны были отношения «на границе лесостепи с теми кочевниками, которых русские князья начинают, в противоположность «диким половцам», называть «наши поганые», «надобные Руси»[870]. Понравилось бы это Гумилеву! Но это лишь эмоции, а необходимы доказательства «невражды».

По мнению П. Милюкова, половцы — последние степные пришельцы, были и остались чистыми кочевниками, без всякой перемены государственных целей. Настоящего наступательного движения на Русь у половцев никогда не было, они не желали выходить из степей и расширять свою территорию за счет лесостепной и степной области. Вот почему северные пределы половецких кочевий и южные границы днепровских русских княжеств оставались неизменными до второй половины XII в. и до конца существования половецкой независимости[871]. Типично «евразийское» объяснение! Добавим, что I—II тома «Очерков» Милюкова основаны на понятии «месторазвитие» П. Савицкого, что, правда, не мешало ему там же критиковать евразийцев.

Л.Н. «реабилитировал» половцев еще подробнее и капитальнее.

Во-первых, число русских в XII в. достигало 5,5 млн человек, а половцев — нескольких сот тысяч (вспомним «несметные войска» у Рыбакова!).

Во-вторых, в XI—XII вв. было больше русских походов на север, чем столкновений на юге.

В-третьих, В. Пашуто подсчитал, что, несмотря на рознь русских князей, половецкие набеги коснулись лишь 1/15 территории Древней Руси, тогда как русские походы достигали Дона и Дуная, приводя половецкие становища к покорности.

В-четвертых, согласно Лаврентьевской летописи получается, что за 180 лет (1055–1236 гг.) половцы нападали на Русь 12 раз и столько же раз русские на половцев; совместных русско-половецких операций в междоусобных войнах было тридцать[872].

В-пятых, Владимир Мономах писал, что заключил с

половцами «19 миров»; он первый привел половецкую рать на Русь для разгрома Полоцкого княжества[873].

В-шестых, в XII в. редкая усобица обходилась без того, чтобы тот или иной князь не приглашал к себе на помощь «поганых»[874].

«Следовательно, половцы и русские, — резюмировал Л.Н., — уже составляли единую этносоциальную систему»[875].

Видимо, иначе и не могло быть. Огромный регион, включающий Древнюю Русь и Великую степь, не был разрезан какой-то жесткой природной границей; лес плавно переходил в лесостепь и затем в степь; зональные ландшафты сочетались с азональными, а значит, должна была сформироваться некая целостная хозяйственная система. Тогда более характерными и нормальными являются не войны и набеги, а интенсивный товарообмен между Лесом и Степью[876]. Экономика, как всегда, определяла политику. Ее в свою очередь определяли возможности такого товарообмена.

Граница не была ни жестким природным рубежом, ни этническим водоразделом. Не случайно даже в XIV-XVI вв. сохранились такие полиэтничные (и вместе с тем — «микро-политические») образования на границе Леса и Степи, как Елецкое княжество, «Яголдаева тьма», княжество Глинских (потомков Мамая), опровергавшие концепцию «извечного антагонизма»[877]. Настоящая беда шла на Русь не с востока, а с запада. И не одна беда, а много бед.

10.2. Оккупация или симбиоз?

Золотая Орда была искусственным и непрочным государственным объединением. После завоеваний, сопровождавшихся чудовищными разрушениями и человеческими жертвами, главной целью золото-ордынских правителей было ограбление порабощенного населения.

Большая советская энциклопедия

Типичный двойной счет, принятый на Западе при оценке Запада и Востока, не миновал и нас; более того, он доминировал, это чувствуется и сейчас. Монгольские войска вторглись в пределы Руси в 1237 г., и к концу 1240 г., одержав победы во

многих сражениях, подчинили себе чуть ли не всю страну. Новгород, по оценке Э. Хара-Давана, спасла лишь апрельская оттепель и бездорожье[878]. Тут нечему удивляться, ибо до того (правда, не за три, а за двадцать шесть лет) ими был покорен почти весь Азиатский континент, а значит, на Русь обрушилась концентрированная мощь всей Азии[879].

Этому предшествовало пагубное изменение всей геополитической обстановки, резкое ухудшение положения Руси в тогдашнем мире — и в «дальнем», и в «ближнем зарубежье», плюс утеря координации внутри самой Руси. Л.Н. назвал это «вереницей бед»[880]. Грозная беда надвигалась с Запада: началось завоевание Прибалтики немцами; была основана Рига; в 1201 г. учрежден орден меченосцев; Ревель, основанный датчанами в 1219 г., стал базой наступления на Северо-Западную Русь. Немцы взяли основанный русскими Юрьев и не пощадили там ни одного русского. Это было страшнее поражения на Калке в 1223 г., и, может быть, еще страшнее потому, что все это не находило никакой реакции в Новгороде — наиболее угрожаемом форпосте Руси.

В 1204 г. пал Константинополь, захваченный французско-итальянскими крестоносцами — врагами православия. «Русь перестала быть, — писал Л.Н., — частью грандиозной мировой системы, а оказалась в изоляции, охваченная в клещи двумя крестоносными воинствами»[881]. При этом Европа в начале XIII в. прошла менее ⅓ нормального цикла этноса; ее «распирала» пассионарность, а славянские князья воевали друг с другом, не замечая, как тает территория Руси. Галичина, бывшая ее передним краем на юго-западе, была разделена поляками и венграми. Русь находилась в стадии обскурации[882].

Стандартное объяснение русских поражений — «феодальная раздробленность Руси». Л.Н. считал иначе: он видел основную причину в спаде пассионарного напряжения, в старении этнической системы[883].

Монгольское нашествие (1237–1240) Л.Н. называет «бедой девятой». Факты хорошо известны: Батый разгромил Рязанское княжество, во Владимирском взял 14 городов, завоевал Торжок и «злой город» Козельск; затем пал Чернигов, а в 1240 г. — Киев. Дальше был рейд на Венгрию и Польшу. При этом Л.Н. категорически отвергал миф о «спасении Европы», широко распространенный с давних времен (еще А. Пушкин был им «заражен»). Он отмечал «отсутствие благодарности» у Запада; вместо нее было благословение крестового похода против православных[884].

Л.Н. называл «иго» симбиозом русских и татар, и это

вызывало возмущение у критиков. Но поставим вопрос» иначе: не как называть этот период, а был ли иной выход? Геополитическая картина мира в начале XIII в. была отчетливо биполярной. Господствовали две мощные системы: теократия папы Иоанна IV на западе и Монгольский улус на востоке[885]. Какая-либо сравнимая с ними «третья сила» отсутствовала. Византия, казалось бы, обретшая «второе дыхание» в 1261 г., временно стряхнувшая оккупацию, находилась в состоянии прозябания (по Л.Н., в фазе обскурации, как и Русь). Русь к тому же была раздроблена на 8 «полугосударств» — княжеств, враждовавших друг с другом.

Л.Н. называл Литву и Великороссию тех лет малыми этносами, зажатыми между двумя могучими системами[886]. Где же искать выход из тупиковой, казалось бы, ситуации: что хуже, что гибельно для Руси, а что даст хоть какой-то шанс на выживание и возрождение? Такой нелегкий вопрос стоял перед Александром Невским. «Русские — враги католической церкви», — говорилось в папской булле шведскому архиепископу. Именно в Прибалтике проходил передний край наступления на Северо-Восточную Русь.

Только не понимая всего трагизма ситуации, абстрагируясь от реальности, глядя «с Запада», можно обвинять Александра в «коллаборационизме», высокомерно морализировать по этому поводу. Западный историк Джон Феннел холодно заметил, что находиться в вассальной зависимости от Золотой Орды было позорно и бессмысленно[887]. Из теплого и уютного кабинета в Лондоне или Кембридже легко было морализировать, куда труднее было принимать решение на ледяном ветру у Чудского озера в эпоху, когда все решалось силой, князю, которого не раз предавал его родной город, человеку, родной брат которого был типичным «западником».

Из крупных русских историков, даже оценивавших нашествие как «иго», никто не бросил камень в новгородского князя. Г. Вернадский писал: «Будучи убежден, что Русь не может противостоять одновременно натиску немцев и монголов, Александр принял твердый политический курс на ханское покровительство; он никогда не отходил от этого, и его наследники продолжали вести такую же политику в течение почти столетия...»[888] При этом историк, различая этапы нашествия, отмечал, что политика Тимура сделала монгольскую власть для русских более приемлемой[889]. Е. Шмурло, однозначно принимавший концепцию «ига», считал, что князь Александр прилагал невероятные усилия «ввести расхлеставшееся татарское море в должные границы, примирить возмущенное чувство русских людей с неизбежностью ига»[890].

Для Л.Н. Александр Невский — ярчайший пример пассионария. Он — мастер маневренной войны, он наиболее последовательный борец за Русь, защитник суперэтноса и его культуры от железного натиска католической Европы или, что одно и то же, от колониального порабощения[891]. Поэтому он отказывается от любого культурного обмена с Западом, даже от дозволения религиозных диспутов[892]. Союзом с монголами ему удалось остановить крестоносный натиск. Поэтому договор Александра с ханами Батыем и Берке, согласно мнению Л.Н., был по сути «военно-политическим союзом, а «дань» — взносом в общую казну на содержание армии»[893]. В этой борьбе он противостоит не только своему городу-республике, много раз предававшему его, он противостоит этносу, находящемуся, согласно Л.Н., «в маразме», в полной неспособности к отражению внешней угрозы... Здесь Л.Н. явно перегибал в угоду своей концепции, но не так уж сильно. Не так сильно, ибо очень осторожный в оценках Г. Е. Грумм-Гржимайло тоже отмечал, что «князья не испытывали ни государственного, ни национального стремления к единству»[894].

Важнее всего для нас все-таки не оценки историков XIX или XX в., и даже не гумилевское признание всех заслуг князя Александра и его безусловной пассионарности. Гораздо интереснее и весомее оценка Александра

172

Невского в более близкое к нему время. Несмотря на то что он был канонизирован лишь в 1547 г., почитание его как святого началось сразу же после кончины: открытие мощей Александра Невского произошло перед Куликовской битвой, когда «бяху вси людие в страсе велице утесняеми»[895].

Выбор пути стоял не только перед Александром, но и перед каждым русским человеком. Необходимо было выбрать ту культуру, которая ему больше подходила: западную, католическую, или восточную, православную. Ведущая роль тут, согласно Л.Н., принадлежала не догматике, а мироощущениям, «симпатичным друг другу»[896]. Здесь «срабатывала» такая таинственная сила, которую Л.Н. назвал комплиментарностью, «срабатывала», естественно, в пользу «своего» суперэтноса. До нашествия «свои» — это греки, болгары, половцы, но не католики, не мусульмане. Согласно Л.Н., с западной стороны грозила подлинная оккупация, а с другой — «большой набег»[897].

При всей необычности и условности гумилевского определения «большой набег» оно все же ближе к истине, чем «оккупация» или «порабощение», хотя бы потому, что ни на Руси, ни в Польше или Венгрии монголы не оставляли постоянных

гарнизонов. Да и не могли они это сделать, ибо по реальным оценкам численность монгольской армии была где-то между 30 тыс. (Н. Веселовский) и 120–140 тыс. (В. Каргалов). При этом последние цифры, вероятно, завышены уже потому, что в этом случае нужно было иметь конницу примерно в 500 тыс. голов, а где взять корм, особенно зимой? Это абсолютно нереально и потому, что после похода в северной части Руси Батыю пришлось дать войскам продолжительный отдых в южнорусских степях «для ремонта конского состава»[898]. Слова древних авторов о 300–400-тысячной армии вообще фантастичны, т. к. это больше всего мужского населения тогдашней Монголии.

Могла ли даже 30–60–80-тысячная армия быть раздроблена еще на сотни гарнизонов? После побед Батыя, уже как главы Золотой Орды, на его долю приходилось всего 2 тыс. «настоящих» воинов, а с ополчением (т. е. отчасти «обслугой») — 25 тыс.[899]. Монголов ограничивало это соотношение сил; их толкало на союз с Александром Невским и другое: Батый хотел иметь надежный тыл, поскольку все время должен был считаться с внутриполитической обстановкой и интригами в самой Монголии, в улусе.

Комплиментарность «срабатывала» уже потому, что с начала «оккупации» до принятия Ордой ислама, как государственной религии (1312 г.), прошло более полувека. Первый мусульманин из правителей Орды — Берке (брат Батыя) в 1240 г. разрешил учредить в самом Сарае православную епископию. Ислам нравился отнюдь не всем татарам, и тогда они шли в русские княжества и оседали там, происходила метисация. «Так появились на Руси, — пишет Л.Н., — Аксаков, Алябьев, Чаадаев, Шаховской, Шереметев, Юсупов». В полном списке, включавшем 65 фамилий, есть, кстати сказать, и фамилии нескольких историков и философов-классиков, по-разному оценивавших «иго»: Карамзин, Милюков, Татишев, Чаадаев[900]. В этом же списке присутствуют Ахматовы, но, как известно, настоящая фамилия А.А. была другая.

Комплиментарность же римско-германского суперэтноса с восточными соседями была отрицательной[901]. Монголы принимали православие, ислам или буддизм, но не католическую религию. Это был не поиск выгоды, а симпатия, лежащая в сфере подсознательного, природного. Комплиментарность русских и монголов поддерживалась и веротерпимостью «оккупантов». Чингисхан провозглашал это так: «Уважаю и почитаю всех четырех — Будду, Моисея, Иисуса и Магомета — и прошу того, кто из них в правде наибольший, чтобы он стал моим помощником»[902]. Но это, так сказать, теория, а практика была

закреплена указом Менгу-Тимура: «На Руси да не дерзнет никто посрамить церквей и обижать митрополитов и подчиненных ему»[903]. Резюмируя эти многочисленные доказательства веротерпимости, Э. Хара-Даван писал: «Ханы выдавали русским митрополитам золотые ярлыки, ставившие церковь в совершенно независимое от княжеской власти положение»[904].

Комплиментарность поддерживалась и невысоким экономическим гнетом. Русь платила дань, платила ее долго и исправно. Но в капитальном исследовании С. М. Каштанова показано, что она составляла в XIV в. — 5000 руб., а в XV в. — 7000 руб. в год. Это — огромные по тем временам деньги, ибо на 1 руб. можно было купить 100 пудов хлеба. Да, конечно, князья предпочли бы, чтобы эти суммы оседали у них, а не уплывали в Орду. Но если разделить их на пятимиллионное население тогдашней Руси, то на душу приходится всего 1/1000 руб. в год, т. е. 1,6 кг хлеба. В. Кожинов уточняет: подушная подать была больше, поскольку указанные суммы предназначались лишь для монгольской власти[905]. Существует мнение, что годовая дань на душу населения в современном (конец 80-х гг.) исчислении составляла всего один-два рубля. Князь Симеон Гордый (сын Ивана Калиты) добровольно жертвовал равную всей дани сумму на поддержание Константинопольской епархии[906].

В. В. Бартольд писал, что, несмотря на произведенные монголами опустошения, первое время существования Монгольской империи было временем экономического и культурного расцвета для всех областей, которые могли воспользоваться последствиями широко развившейся при монголах караванной торговли и более тесного, чем когда-либо прежде, культурного общения между Западной и Восточной Азией[907].

Стоит сказать и еще об одном моменте, уточняющем понятие «иго», и существенно уточняющем. Почему-то никто не ставил вопрос о географическом ареале ига, а вопрос этот чрезвычайно важен. Была ли тогдашняя вся Русь под игом? Современный исследователь Э. Кульпин расценивает известную нам историю «веков ига», как историю 1/10 населения тогдашней Руси, а именно той ее части, которая была сосредоточена вокруг городов и как бы зависала в лесных ареалах, где от одного пашенного участка до другого могло простираться в среднем 10–20 верст[908].

Конечно, все было отнюдь не идеально и благостно, речь идет лишь о самых общих и длительных тенденциях внутри ареала. Были бедствия, огромные бедствия и разорение, и все-таки не «погибель Русской земли». Е. Шмурло писал, что нашествие Батыя сильно обезлюдило Русскую землю.

Известно, что в Торжке татары перерезали всех жителей; в Козельске — не только все взрослое мужское население, но и женщин с детьми; в Южной Руси, взяв и сжегши Переяславль, половину жителей перебили, а другую — увели в плен; в Киеве от всего города осталось не более 200 домов и т. д.[909].

Поэтому «симбиоз» нельзя воспринимать как некую особую любовь русских к монголам. Сам Л.Н. писал, что без монголов они обошлись бы с удовольствием, так же, как и без немцев. Более того, Золотая Орда была так далека от главного улуса и так слабо связана с ним, что избавление от «татарского ига» после смерти Берке-хана и усобицы, возбужденной темником Ногаем, было несложно. Но вместо этого русские князья продолжали ездить кто в Орду, а кто в ставку Ногая и просить поддержки друг против друга[910].

Все меняется после 1312 г., когда уже мусульманский суперэтнос овладел Причерноморьем и Поволжьем. Как утверждал Л.Н.: «Великороссия, чтобы не погибнуть, вынуждена была стать военным лагерем, причем былой симбиоз с татарами превратился в военный союз с Ордой, который продолжался более полувека — от Узбека до Мамая»[911].

Узбек, правивший в 1313–1342 гг., выдал свою сестру за московского князя Юрия Даниловича — внука Александра Невского, которая при крещении получила русское имя Агафья. Хан Джанибек (1342–1357) дружил с одним из главных религиозных деятелей Руси (позже — митрополитом) Алексием. Кстати, он вылечил жену Джанибека от тяжелой глазной болезни[912]. Юрий Данилович жил в Орде два года, приобрел расположение хана, получил от него ярлык на великое княжение. Он был первым, кто от имени Московского княжества подписал международный договор.

Итак: «симбиоз» или «иго»? «Симбиоз» — всего лишь обозначение, данное этому феномену Л. Гумилевым, а оценка (идея) была высказана куда раньше евразийцами. В 1926 г. они формулировали ее так: «Прежняя разграничительная линия между русскою и азиатско-языческими культурами перестала ощущаться потому, что она просто исчезла: безболезненно и как-то незаметно границы Русского государства почти совпали с границами Монгольской империи, и не от кого стало с этой стороны защищаться»[913].

Неужели стереотип «ига» реально отбросить? Конечно, нет. Велика сила и устойчивость стереотипов, велико и число противников концепции Л.Н. Только надо понять, что спор идет скорее по форме, чем по сути: сначала необходимо определить само понятие «иго».

10.3. Геополитика Куликовской битвы. Становление суперэтноса

Я считаю, что в Куликовской битве родился русский этнос. 8 сентября 1380 года на Куликовом поле сражались уже не владимирцы, москвичи, суздальцм, тверичи, смоляне. Не представители разобщенных междоусобицей княжеств — но русские, великороссы, совершенно осознанно шедшие защищать свой мир и свое отечество, свой культурно-философский смысл бытия.

Скифский, гуннский и монгольский периоды общеевразийской истории были продолжены периодом русским.

П. Савицкий

В 1980 г. отмечалось 600 лет со дня Куликовской битвы. В потоке публикаций была и статья Л.Н., как мне кажется, лучшая в его жизни, кристально четкая по логике и в то же время очень эмоциональная. Начиналась она весьма необычно: «Генуэзские купцы, которые весь XIV век держали в экономической зависимости Византию и сделали своим теплое Черное море, серией территориальных захватов оказались у нас на юге — в степи»[914]. Какая здесь связь: генуэзские купцы и Куликовская битва?

Три силы у Л.Н. играют главные роли в геополитике конца XIV в: во-первых, нарождающийся западноевропейский этнос, его авангардом была активная купеческая буржуазия, которая лишь ждала гибели ослабленной Византии. Проводником ее влияния у нас на юге была Генуя[915]. Во-вторых, молодая Османская Турция; и в-третьих, ослабленная Золотая Орда, где в 1359 г. началась внутренняя междоусобица — «замятия», и за 20 лет сменилось более 20 ханов! Русь и Литва были лишь «кандидатами на суперэтнос».

В 1312 г. после государственного переворота в Сарае царевич Узбек объявил ислам государственной религией. Из степного хана кочевой Орды новый властитель становится завоевателем-султаном. Как указывал Л.Н., конфессиональные перемены

означали изменение политического курса на суперэтническом уровне. Нагнетание ситуации длилось до 1340-х гг., когда какой-то рок в один-два года лишил три восточноевропейских центра вождей и правителей: в Литве умер Гедимин, в Сарае — Узбек, а в Москве — Иван Калита. Стало ясно, что надвигается новый тур взаимной неприязни, вражды[916].

Нажим на Русь шел по всей линии противостояния, линии «раскола цивилизаций». Опасность исходила не от Золотой Орды. Угрозой № 1 был Запад — ганзейские купцы с их монополией торговли на Севере, а параллельно — агрессия Ливонского ордена. Еще опаснее был Юг, откуда исходила генуэзская агрессия, заключавшая триаду: купцы-воины-католицизм[917]. Линия «раскола цивилизаций» была давно нарушена Западом, резко отбросившим ее на восток. Во второй половине XIII — начала XIV в. она сдвинулась с Западной Двины и Западного Буга на 600–800 км до Верхней Волги и Оки[918]. Еще резче был удар на Юге — главном направлении натиска на Русь. Запад наступал с юга! Вот почему и начал Л.Н. свой рассказ о Куликовской битве.

С конца XIII в. генуэзцы, не без борьбы, становятся на Черноморье полными хозяевами. В 1266 г. они покупают у татар Феодосию, основывая знаменитую колонию Кафа, а в начале XIV в. обосновываются в Керчи и Херсонесе. Венецианцы в то же время утверждаются в Сугдее (Судак). Это значит, что на юге «линия раскола» откатилась на восток еще дальше — от Адриатики до Черного и даже Азовского побережья, т. е. на 1500 км[919]. Здесь генуэзцы столкнулись с монголами Джанибека, против которого в 1345 г. папой был объявлен крестовый поход. Таким сложным и мрачным для Руси был геополитический «расклад» середины XIV в.

С кем же все-таки встретилась она на поле Куликовом и почему, обреченно-пассивная до тех пор, вдруг стала пассионарной? Воевала она с крымским темником Мамаем[920]. Он не был Чингизидом, поэтому и не мог стать ханом; авторитет его в Золотой Орде был невелик. Г. Е. Грумм-Гржимайло называл его узурпатором[921].

Как указывал Л.Н., Мамай опирался на союз с Западом, главным образом с генуэзскими колониями в Крыму, и это оказалось решающим в дальнейшем ходе событий[922]. Союзником Мамая стал и Ягайло — литовский князь. Это был союз под эгидой Запада, союз для превращения Руси в колонию генуэзцев. На их деньги Мамай покупал наемников (в его корпусе были не только и не столько монголы, сколько остатки половцев, алан и других). Им он продавал права на торговлю, военные поставки, работорговлю.

Л.Н. утверждал, что постепенно Мамаева орда превратилась во «всеразъедающую химеру». Под последней Гумилев понимал такое состояние социального организма, когда насильственное сожительство двух и более этносов не ведет ни к чему положительному ни в каком направлении, а лишь создает перегрузки системы при полной рассогласованности составляющих ее элементов[923].

Русь сражалась на поле Куликовом «вовсе не с Золотой Ордой», а с Мамаевой ордой, которая кардинально отличалась от первой. Лучшим и самым очевидным доказательством этого было то, что радостную весть о победе на поле Куликовом Дмитрий послал хану Тохтамышу в Золотую Орду[924].

Золотоордыские правители не стремились осесть на Руси, им нужна была «дань», а иногда и прочный союз. А. Тойнби признавал, что в XIII в. «угроза России со стороны Запада» стала хронической; правда, почему-то удивлялся, что ответом Руси стали самовластие и централизм в управлении страной [925].

Россия как бы проснулась от анабиоза, длившегося более века. Война шла уже не между «лесом и степью», «Европой и Азией», русскими и татарами, а жизнеспособными этносами и химерой, оказавшейся на пути развития как Руси, так и самой Великой степи. Гумилев писал, что химера была не так страшна тем, что «вползала» в несвойственный, чуждый, экологически другой суперэтнос, а тем, что ее сущностью явилась отчетливая тенденция рассеяния и уничтожения народов-соседей (русских, половцев, мордвы, самих же татар)[926].

Факты хорошо известны: химера лопнула, ее убила Куликовская битва. Ради этого 150 тысяч человек пошли на бой, из которого вернулись только 30 тысяч. «Русский этнос родился на Куликовом поле, — пишет Л.Н., — на тесной, затянутой перелеском и болотцем площадке, размером не более 30 квадратных километров, откуда вышла горстка новых русских, родоначальников этноса, который живет и поныне»[927].

Коллизии русско-татарских контактов и столкновений не кончились на этом. Вспомним, что Тохтамыш через 12 лет вторгся в Россию, взяв Москву, но вернул ли он ее к положению, предшествовавшему Куликовской битве?[928]. Нет, не вернул! Нельзя было уже вернуть все назад. Русский этнос родился на Куликовом поле.

11. Годы признания

Есть поговорка: «Чтобы жить счастливо, надо жить долго». Мне 78 лет. Честно говоря, на столько я и не рассчитывал. Жизнь была иногда очень тяжелой, но ведь я не был исключением. Кому из порядочных людей (а я смею относить себя к таковым) было легко? Я не был одинок, был вместе со своей страной, своим народом... я могу быть счастливым.

Лев Гумилев

Пожалуй, спокойной и относительно благополучной можно назвать лишь четверть его жизни — последние двадцать лет. В 70–80-х гг. он текла спокойнее и устроенное, чем когда бы то ни было раньше.

Давно вернулась в "официальную литературу" А.А.; еще в 60-х гг. шла книга за книгой ее стихов. Где-то маячило второе рождение стихов отца. Еще в 1964 г. А.А. знала о предстоящей реабилитации Н. С. Гумилева. К ней заходил «очень высокопоставленный», по ее понятию, человек[929], рассказавший, что «никакого заговора не было»[930]. Надо думать, что знал об этом и Л. Н.

В ту пору окололитературная интеллигенция питалась еще зарубежными изданиями Н. Гумилева, контрабандой попадавшими в СССР. В нашу страну он входил «через окраины»; первое крупное издание его стихов появилось лишь в 1988 г. в Тбилиси в издательстве «Мерани». Л.Н. знал о нем заранее от составительницы и автора очень хорошей биографии Н. С. — Веры Лукницкой, вдовы много раз поминавшегося нами Павла Лукницкого. В 1990 г. в Кишиневе появилась толстенная книга «Николай Гумилев. Золотое сердце России». Ее заключала интереснейшая «Семейная хроника», написанная Орестом Высотским — вторым сыном Н. С.

Впервые за долгие годы устроена его личная жизнь, впервые Л.Н. окружен заботой дома и не должен думать о быте. На работу он ходит редко: в статусе «с. н. с.» это и не требуется. Ходит в основном на «защитные» ученые советы, делает это с

удовольствием, очень благодушно, по-хорошему расслаблено. Здесь уже нет «злых людей»; бороться стало просто не с кем. А эффектно выступить на защите всегда приятно, чтобы потом с удовольствием посидеть на кафедральном микробанкете. Геофак стал для него поистине «экологической нишей».

Но в 1973 г. эта благодать была временно нарушена самим Л.Н., вздумавшим стать «дважды доктором». Он представил свою диссертацию «Этногенез и биосфера Земли» на географический совет. Идея неплохая, оппоненты солидные: известный исследователь Средней Азии профессор Э. М. Мурзаев (Москва), заведующий кафедрой физической географии Пединститута им. А. И. Герцена профессор А. М. Архангельский и биолог профессор Ю. П. Алтухов.

Защита прошла хорошо, даже красиво, но вот в ВАКе начались неприятности, оттуда пришел отзыв «черного оппонента» с огромным количеством замечаний. Последовал вызов «на ковер» в Москву. Тогда еще был жив мой шеф — декан геофака профессор Б. Н. Семевский; не помню почему его не было в городе, и нам, довольно молодым в ту пору коллегам Л.Н., пришлось помогать ему в редактировании ответа «черному». Мы думали не столько о сути ответов; сколько о форме: не сорвался бы Л.Н. в столице, не стал бы спорить «на всю катушку»... И как в воду глядели — сорвался! В ответ на нелепый в эпоху интеграции наук вопрос: «А кто же Вы все-таки: историк или географ?», наш «подзащитный» наговорил много лишнего и был провален. В Ленинград вернулся смущенный и несколько виноватый; не столько из-за печального итога, сколько из-за того, что не выполнил обещания держаться «в рамках»...

Надо честно сказать, что, когда мы работали над ответом, я впервые всерьез познакомился с авторефератом Л.Н. и пришел в ужас — так небрежно он был написан и оформлен. Удивление вызывал и «ваковский номер» специальности: 07.00.10 — «история науки и техники». Почему «история науки»? Теория этногенеза — это сама наука. Увы, спросить сейчас некого. Благодушие и некоторая расслабленность подвели Л.Н., да, впрочем, он не сильно горевал по этому поводу.

Однако признание приходило к нему независимо от этих «деталей», а может быть, и потому, что любят у нас обиженных. К Л.Н. шли потоками письма со всех концов страны и из-за «бугра» от знакомых и незнакомых людей, каким-то чудом прослышавших о Гумилеве. На ленинградском ТВ был организован цикл его лекций, который слушали наши студенты и аспиранты, а Л.Н. витийствовал у карты с указкой, без всяких шпаргалок, все на память — даты, имена, названия. Все это он делал радостно, это

была его стихия.

В 1985 г. вышел на защиту Константин Иванов — его самый близкий ученик. Тема его диссертации — «Эколого-географическое исследование сельскохозяйственного населения Нечерноземной зоны РСФСР», — на первый взгляд, имела мало общего с теорией Л.Н. Но это только на первый взгляд. На самом же деле исследовался механизм связи сельских популяций Архангельской области с «кормящим ландшафтом», т. е. это была типично «гумилевская тема», доказывающая прикладные возможности теории Учителя. Вместе с тем К. Иванов показал себя как верный помощник при подготовке работ Л.Н. В 1987 г. он редактировал книгу Гумилева «Тысячелетие вокруг Каспия», которая вышла через четыре года в Баку. С очными учениками Л.Н. не очень-то повезло: один из них — В. Ермолаев защитит диссертацию[931] поздно, в 1990 г., а другой, будучи уже в высоком звании, говорят, в ответ на слова учителя, что он-то и продолжит дело Л.Н., сказал: «Своих дел хватает...»

«Устроенность» и признание Льва Николаевича дают ему возможность больше работать за письменным столом куда больше, чем раньше: за 1970–1975 гг. число статей (не считая их переводов за границей) перевалило за сорок. Радостью были переводы «Поисков вымышленного царства» за рубежом — в 1973 г. в Польше, а в следующем году в ЧССР, где книгу Л.Н. перевел Иван Савицкий — историк, сын «того самого» П. Савицкого!

Активность Л.Н. нарастала, а «пик» наступил в 1987–88 гг., когда было опубликовано 2 книги и 14 статей. Конечно, такие подсчеты всегда условны, поскольку, при самом уважительном отношении к автору, статьи долго «дозревают» в редакциях, а книги вообще пишутся годами. И все-таки многое переменилось в сравнении с безрадостными 50–60-ми гг. Статьи выходят и в СССР и за рубежом — в США, Англии, Италии, Венгрии, Польше. Их уже, как правило, не нужно «проталкивать», наоборот, часто ищут его, заказывают ему. В 1988 г. «выход Л.Н. в массы» стал вообще рекордным: полумиллионная армия читателей «Знамени» познакомилась с его «Автонекрологом»[932].

Постепенно темой № 1 для Л.Н. становится теория этногенеза; она же и тема всей его жизни, поскольку отделить предыдущие «наработки» (а это — вся «Степная трилогия») от этногенеза невозможно, они слиты органично. Если в «урожайные» 1970–1975 гг. теме этногенеза посвящена половина его статей, то уже в 1978–1979 гг. — все вышедшие статьи. Сам Л.Н. говорил, что для создания теории ему «понадобилось почти на двадцать лет остановить востоковедческие студии»[933].

Главное, по-наполеоновски ввязаться в бой, а там будет видно

— стало гумилевским девизом в борьбе с официальной (и довольно бесплодной) советской этнографией и ее лидером — академиком Ю. В. Бромлеем. Примечательно, что в периоды ожесточения этой борьбы Л.Н., улыбаясь, называл своего оппонента «Бармалеем». Бесплодность эта косвенно была подтверждена в перестроечные годы самим лидером, который признал, что к национальной проблематике «явно нужен новый подход»[934]. Но от этого было мало толку. Как констатировал в 1990 г. заведующий кафедрой этнографии ЛГУ профессор Р. Ф. Итс, концепцию Л.Н. не принимал никто из советских этнографов[935].

А он сыпал парадоксами, его работы были «намеренно парадоксальны», изобиловали «странно-любопытными мыслями»[936]. Но даже «не принимавшие» замечали, что все-таки что-то во всем этом было...

11.1. Лучше было бы наоборот

В 1989 г. широко отмечалось столетие со дня рождения Анны Ахматовой. ЮНЕСКО объявила его годом А. Ахматовой. Произошел подлинный «взрыв» публикаций; ей был посвящен весь июньский номер журнала «Звезда». В этом была какая-то символика, напоминание через три с лишним десятка лет о ждановском постановлении и ответ на вопрос — кто же победил?

Победила явно она. Это, в частности, раскрывает один эпизод, одна ее реплика. А.А. как-то в очередной раз уезжала в Москву. Среди провожавших была одна благостная старушка, которая задолго до отхода поезда несколько раз обняла и перекрестила ее, даже прослезилась. Когда она ушла, Ахматова сказала: «Бедная! Она так жалеет меня! Так за меня боится! Она думает, что я такая слабенькая. Она и не подозревает, что я танк!»[937]

Ахматова победила, ее «культ» оказался долговечнее любых постановлений. Ее успеху, как отмечал в недавней очень жесткой, (но, мне кажется, верной во многих оценках) статье А. Жолковский, «способствуют сильнейшие внелитературные факторы, собирающие под ее знамена самые разные слои поклонников. Либералам дорог ее оппозиционный ореол, верующим — ее христианство, патриотам — русскость, прокоммунистам — чистота анкеты от антисоветских акций, монархистам — ее имидж императрицы и вся ее имперско-царскосельская ностальгия, мужчинам — женственность, женщинам — мужество, элитариям умственного труда — ее ученость, эзотеричность и self-made аристократизм, широкому

читателю — простота, понятность, а также полувосточная внешность и фамилия, импонирующая всему русскоязычному этносу смешанного славяно-тюрко-угро-финского происхождения» (выделено мною. — С. Л.)[938]. Необычные, зачастую безжалостные оценки; подобных мне не приходилось встречать, хотя «ахматоведы» много написали...

В 1984 г. Льву Николаевичу, никогда не бывшему «розовым оптимистом», все казалось довольно радужным. Его интервью, напечатанное в «ахматовском», юбилейном номере «Звезды», заканчивалось словами: можно «смотреть на будущее с нормальной долей оптимизма»[939].

В дни юбилея мысли Л.Н., надо полагать, не раз возвращались к матери. Читатель, может быть, помнит эти ключевые слова, вынесенные в один из подзаголовков: «Лучше было бы наоборот, лучше бы я раньше ее умер». Зачем? Возможно, чтобы не терзаться, кто «более виноват». Л.Н. вспоминал и, может быть, осуждал себя за часто повторяемые слова: «Мама, ты ничего в этом не понимаешь». Но не мог осуждать себя за все, каяться во всем. Нет...

О том, что Л.Н. постоянно задумывался и возвращался к вопросу: кто же все-таки виноват в возникновении «полосы отчуждения», в их разрыве, свидетельствует горький и удивительно открытый рассказ Л.Н. о последних годах А.А. в интервью, данном его коллеге из ЛГУ — Льву Варустину. «Я старался (и это мне удавалось), — говорил Л.Н., — создавать маме как можно меньше проблем. Сначала я жил с бабушкой в городе Бежецке...»[940] Эта строка возвращает нас к тем временам, когда закладывалось отчуждение матери и сына. Вот несколько выдержек из дневника П. Лукницкого. «Сидел у А.А. в Мраморном... — пишет он. — Стук в дверь — неожиданно Лёва и А. И. Гумилева. Приехали из Бежецка, остановились у Кузьминых-Караваевых». Или еще эпизод, зафиксированный в дневнике Лукницкого: «Весной 19-го в мае целый ряд встреч. Он (Н. Гумилев. — С. Л.) приходил, Лёвушку приводил два раза»[941].

Разведенный отец приводил к матери ребенка. Дикость. Почему Лев жил не у матери? В обычное время, когда Лёва жил в своем провинциальном «далеке», она не радовала его и письмами; всего восемь строчек в одном из них, подобном сугубо формальной «отписке»[942]. Незаметно, чтобы он занимал какое-либо место в ее стихах. «Там милого сына цветут васильковые очи», — почти исключение[943].

Лев помнил — боготворимый отец писал о нем не так, даже на фронте писал:

Он будет ходить по дорогам
И будет читать стихи,
И он искупит пред Богом
Многие наши грехи[944].

И сбылось... Кстати, в воспоминаниях одной из самых близких подруг А.А. — Валерии Срезневской можно прочесть о подобном же отношении к отцу Л.Н.: «Эта смерть (Н. Гумилева. — С.Л.) не отразилась в ее стихах. Как в «Вечере», «Чертах», «Белой стае», так и в последующих книгах Гумилев занимает очень скромное место... Отчего? Кто сможет ответить?»[945]

В 20-х гг. в Бежецк регулярно отправлялись 20 руб. в месяц, тогда как кормежка любимого шилейкинского пса Тапы обходилась в 15. А.А. признавалась П. Лукницкому: «Мне почему-то кажется, что я никого не люблю кроме Тапы»[946]. Дело дошло до того, что А. И. Сверчкова (урожденная Гумилева — сводная сестра Николая Степановича) хотела усыновить Лёву — «все и так считают Лёву ее сыном»[947].

Поистине он старался создавать как можно меньше проблем маме, и отстраненность взрослого Л.Н. была реакцией на ее холодность и отстраненность 20-х гг. Не мог он не переживать (или вспоминать о пережитом в детстве, в юности) перипетий ее личной жизни, ее вечной неустроенности. Сама А.А. писала: «Чужих мужей вернейшая подруга и многих безутешная вдова»[948].

Видел Л.Н. и вечную позу, вечное ее «стремление казаться». Отсюда родилась его блестящая фраза, тем более удивительная, что сказал ее маленький Лёва: «Мама, не королевься!»[949] Не мог не заметить этого смышленый неначитанный провинциал.

Исследователи интерпретировали «королевствование» по-разному. Литературовед Наталья Роскина относила это к «необычайному благородству» и «гармоничной величавости» А.А.[950]. Можно все это объяснять и по-другому, куда более жестко: всю жизнь А.А. «лепила свой имидж», говорила «на запись» (А. Найман), давила на собеседников, вызывая у них робость, страх, трепет, оцепенение, в общем, создавая «монархический образ»[951]. Правда, это согласно «злому» А. Жолковскому, хотя, возможно, он и недалек от истины. Но вот как писал деликатный Корней Чуковский: «Мне стало страшно жаль эту трудно живущую женщину. Она как-то вся сосредоточилась на себе, на своей славе — и еле живет другим»[952]. Недавно одна моя знакомая обратила мое внимание на известные стихи А.А., хорошо иллюстрирующие приведенные суждения:

Муж в могиле,
Сын в тюрьме.
Помолитесь обо мне...

Отсюда и мифы, и какие-то странные признания, бездумно сделанные, и не менее странная смесь восхищения и ненависти к «тирану». К одному из подобных мифов относится сообщение о представлении А.А. к Нобелевской премии[953]. Не странно ли звучат такие слова: «Как известно из записных книжек Блока, я не занимала места в его жизни?»[954] То ли это обида, то ли кокетство: не занимала, по его записным книжкам, а на самом деле?..

Как уже я говорил, о Сталине А.А. писала по-разному. С одной стороны, она совершенно определенно заявляет: «Меня спас Сталин» (имелась в виду эвакуация самолетом из блокированного Ленинграда в сентябре 1941 г.)[955]. Вместе с тем А.А. приводит следующее любопытное объяснение своей милости у «вождя»: «Очевидно, около Сталина в 1946 году был какой-то умный человек, который посоветовал ему остроумнейший ход: вынуть обвинение в религиозности моих стихов и заменить его обвинением в эротизме»[956]. Но с другой стороны, Сталин — гонитель ее поэзии; касаясь судьбы своего сборника «Из шести книг», она замечала: «... Когда его показали Сталину, он решил, что стихотворение «Клевета» (1923) написано недавно и велел запретить книгу»[957].

«Сталинская тема» с какой-то маниакальной силой проходит через все «Записные книжки 1958–1966 гг.». Здесь и обида на Струве, подозревающего, что было какое-то первое «запретительное постановление» о ней еще в 1925 г., но здесь же и осознание навязчивости идеи:

Кого-то я в Москве уговорила
Прийти послушать мой унылый бред,
Как дочь вождя мои читала книги
И как отец был горько поражен[958].

Упомянутая тема многократно возникала и после войны. «В сороковом году Усач спросил обо мне: „Что дэлаэт монахиня?“»[959]

Все это понимал взрослый Л.Н., если уж и мальчишкой замечал «королевствование» матери и еще — ее «редкий антипедагогический дар»[960]. Но после «второй Голгофы» к этому добавилась обида за «неучастие» в его вызволении из лагеря и

предубеждение против матери, если верить словам Эммы Герштейн[961].

Можно ли последней верить — это вопрос. Дело в том, что она родилась в 1903 г., а «пик» активности мемуаристки приходится на 80–90-е гг.[962]. Рецензент воспоминаний Э. Герштейн отметил, что это — мстительный текст, неприятно сводящий счеты с человеком, с которым мемуаристка поссорилась 30 лет назад. Рецензент подчеркивал, что ему абсолютно чужд и сам принцип мемуаристки: «Настало время, когда... темные места можно и нужно высветить»[963].

Мне также далеко не все у Э. Герштейн кажется правдоподобным. Например, ее утверждение о том, что А.А. находилась под сильным воздействием направляющей руки Надежды Яковлевны. Вместе с тем эти воспоминания дают потрясающе интересный материал для выяснения отношений Л.Н. с матерью. Из письма Льва к Эмме выясняется, что в 1957 г. было какое-то просветление в отношениях Л.Н. и А.А. Он тогда болел и записал: «Мама... с нею чудо. Она опять такая хорошая и добрая, как 20 лет назад»[964].

Но в 1961 г. произошел окончательный разрыв. Сказывалась не только старая обида за «неучастие», огорчали его и слова, которые А.А. говорила кому-то о сыне. Он опровергал их, сердился, жаловался на непонимание: «Говорят, что я вернулся из лагеря озлобленным, а это не так. У меня нет ни ожесточения, ни озлобленности. Напротив, меня здесь все занимает: известное и неизвестное. Говорят, что я переменился. Немудрено. Согласен, что я многое утратил. Но ведь я многое и приобрел. У меня замыслов на целую библиотеку книг и монографий. Я повидал много Азии и Европы»[965]. Несмотря на все оговорки о ненадежности Эммы Герштейн как мемуаристки, я верю — именно так говорил (да и действовал) Л.Н. во все годы нашего знакомства, Герштейн тут ничего не придумала. Ведь сама А.А. писала о сыне: «Он стал презирать и ненавидеть людей и сам перестал быть человеком»[966]. Результаты подобных отношений зафиксированы и в письме А.А. к своему младшему брату, Виктору Горенко: «Передать твой привет Лёве не могу — он не был у меня уже два года, но, по слухам, защитил докторскую диссертацию и успешно ведет научную работу»[967]. В интервью, данном в 1989 г., Л.Н. подтверждал слова его матери: «Наше общение носило скорее эпизодический характер»[968].

В упомянутом интервью обращает на себя внимание обида за его «Голгофу», за ее «неучастие»: «На самом деле заявление о моем освобождении она не подавала, следовательно, никаких хлопот реальных и быть не могло. Когда я вернулся из Омского

лагеря, я спросил, почему же она не подала заявления? На это она ответить мне не смогла, хотя и училась на Высших женских юридических курсах в Киеве в 1910 году. Мама не усвоила того, что любое дело должно начинаться с подачи заявления, или, как говорили раньше, с прошения. Она думала, что если она страдает, то ей должны пойти навстречу... Этот вопрос к маме («В чем выразились твои хлопоты?») вызвал неполное понимание моей матери. В дальнейшем этот разговор был использован ее подругами (среди которых были и просто приживалки) для того, чтобы настроить маму против меня».

Такой настрой сохранился у А.А. до самой смерти. В ее «Записных книжках. 1958 — 1966» я насчитал всего лишь 35 упоминаний «Лёвы» (на 800 с лишним страницах!); причем все они были или сугубо «воспоминательные» (такое-то число, «в этот день арестовали Лёву в 1938», «в 1949»), или ужасно формальные (телефон Лёвы, «сожгла рукопись, когда Лёву взяли»). Какие-то человеческие слова лишь в двух телеграммах: «Беспокоюсь здоровье. Пришли открытку. Целую. Мама» (1958), или «Я в городе. Позвони непременно» (1960?).

В самом конце ее жизни и у нее, и у Л.Н. были какие-то попытки помириться: она послала ему книгу, а он пришел к ней в больницу. «Пришел и смяк, испугался и ушел, не зайдя в палату», — пишет Эмма Герштейн[969]. Все эти горькие раздумья прорывались в его очень «открытом» интервью 1989 г. Интервью, которое кончалось все же на оптимистической ноте. Не мог Л.Н. предвидеть, что в 1990 г. будет инсульт и цепь недугов. Цепь, которая не сразу прервет его работу. А пока были раздумья над этногенезом.

11.2. Популярность мнимая и подлинная

До развала СССР в стране была своя «обойма» завсегдатаев голубого экрана и авторов публикаций в прессе. И. Ильф и Е. Петров называли это когда-то «пеналом». В «демократические» годы появился свой набор — еще более узкий. Он должен быть представительным, но из слоев общества нацело выпали рабочий и колхозница («по В. Мухиной»), остались те, кто почти ежевечерне мелькали на «тусовках». Академик — в прошлом это А. Сахаров[970]; потом другой — почетный гражданин культурной столицы (он же «совесть нации), ныне покойный. Правозащитник Сергей Ковалев — большой друг террористов-чеченцев, явно нездоровая В. Новодворская, режиссер — это, конечно, Марк Захаров (иногда — Ю. Любимов, если вдруг в России), поэт (раньше Е. Евтушенко, ныне — А. Вознесенский, благо живет все-

таки не «там» и почти всегда под рукой). Актер — здесь есть варианты: О. Басилашвили, М. Ульянов (роль Жукова, видимо, была эпизодом-ошибкой). Из «обоймы» кое-кто выпал. Те, кто перестали «соответствовать» — Владимир Максимов, Александр Зиновьев, да и А. Солженицын попадают на ТВ лишь «по праздникам». Правда, есть и новые кандидаты, а пропуском служит свидетельство диссидентства в «годы террора»; «подписывал то-то», «выходил на Красную площадь тогда-то», «хотел выйти», «читал в туалете самиздатовскую книжку» и т. д.

Лев Гумилев не был диссидентом и пропуска в «обойму» явно не заслужил, да вряд ли и пытался; ему хватало научно-популярных лекций в программе «Зеркало» ленинградского ТВ. «Демократов» Л.Н. не жаловал; он быстро в них разобрался: «Демократия, к сожалению, диктует не выбор лучших, а выдвижение себе подобных. Доступ на капитанские мостики и к штурвалам получают случайные люди», — так еще в 1990 г. писал Гумилев[971].

Был ли такой поток писем к «столпам демократии», как к Л.Н., можно сильно сомневаться. Писали ему отовсюду и с разными целями. Хотели чем-то обрадовать: вот в скромной открытке сообщалось, что в Новгороде-Северском открыт музей «Слова о полку Игореве», уйгур из Алма-Аты писал Л.Н., что хочет быть посредником в распространении его научных находок среди своего народа, и в семи газетах на уйгурском уже появились гумилевские статьи (1977 г.). Другие о чем-то просили. Иногда совсем неожиданно и абсолютно незнакомые люди. Попалось мне в архиве Л.Н. письмо от Александра Потапенко из опытного хозяйства Института виноградарства в Новочеркасске. Он прочитал «Открытие Хазарии» и сообщал, что солидарен с автором: именно хазары выступали распространителями пристрастия к виноградарству. А. Потапенко был не совсем бескорыстен; он просил Л.Н. откликнуться на его книгу об истории виноградарства. Отзыв Гумилева вскоре появился в журнале «Природа»[972].

Удивительно, что даже люди науки верили, что Л.Н. обязан знать нечто недоступное им. Так, генетик из Москвы в 1988 г. интересовался: «Был ли Тамерлан... подагриком (хромота-то из-за раны)». «Вы, — пишет он, — можете решить мои подозрения парой строчек: «да», «нет» и если «да», то где можно найти что-то на этот счет». Корреспондент абсолютно убежден, что Л.Н. все знает, и просит его поделиться информацией, поскольку, по его словам, он подводит биологическую базу под теорию пассионарности. Доктор наук, физик из Академгородка (Троицк) в Подмосковье пишет, что прочитал все статьи Л.Н. в «Природе»,

а хобби его — китайская государственность. Он задает вопрос: можно ли зайти к Л.Н. во время командировки в Ленинград?

В письмах и благодарность коллег, тех, кто способен не «по мелочи» оценить труды Л.Н. В их числе академик А.Л. Яншин. Он писал, что не со всем согласен в «Этногенезе...», но «считает, что книга написана хорошо, увлекательно, читается с большим интересом и содержит массу ценнейших исторических сведений, которые обогащают читателя». Известный литературовед Лев Аннинский по-дружески и с юмором — «Благословите, Лев Николаевич!» — испрашивал согласия Л.Н. на публикацию кусков «Этногенеза...» в «Дружбе народов». Он имел на руках «подпольное издание» и писал, что это произошло «благодаря попустительству ВИНИТИ и попущению дьявола».

Были и постоянные корреспонденты Л.Н.; я бы назвал их «подбадриватели». Из Горького писала журналистка Н. Серова — автор многих писем в издательства с «защитой» Л.Н. Она обороняла его концепцию «симбиоза», понимая «Древнюю Русь», как идею «кочевого щита», предохранившего Сибирь от заселения с юга».

Интересны вопросы и мысли его корреспондентов, но еще интереснее были бы ответы Льва Николаевича. Увы, копий наш герой обычно не оставлял, но кое-что все-таки сохранилось. Так, профессору из Чехословакии Я. Малике он отвечал на вопрос о «бесконечности прогресса» следующее: «Применима эта схема только для смены формаций, а экологические, этнические, культурологические аспекты лежат вне ее. Диалектический материализм по закону отрицания отрицания предполагает дискретность природных процессов. Действительно, звезды вспыхивают и гаснут, динозавры появились и вымерли, древние римляне в VIII в. до н. э. построили «Вечный город», а в VI в. н. э. там были только руины, заселенные заново, и таких примеров слишком много, чтобы их не замечать».

Л.Н., «растерявший все свои хорошие качества в тюрьмах и лагерях», если верить матушке и Э. Герштейн, был исключительно притягивающей личностью, и не в 70–80-х, в благополучии и достатке, а даже «там». В архиве Л.Н. сохранилась подборка писем от «солагерника» — Иржи Вронского из Польши. «Случайно увидел Вашу книгу в польском переводе, — писал он. — Это стал для меня знак, что Вы в живых и имеете условия для научной работы... Неоднократно возвращался мыслью к этим дням, когда мы вместе пребывали и Вы сделали на меня очень большое впечатление. Я Вас забыть не могу... А возвращался я на родину из Караганды в последних числах 1953 года». Пан Иржи в первом же письме рассказал все о себе (дело было в 1973 г.) и приглашал

к себе, а «если Вы женаты, то с женой...». Завязалась переписка друзей по несчастью; более того, Л.Н. по приглашению пана Иржи побывал в Польше.

Уцелело также несколько открыток из Штатов, из редакции журнала «Совьет Джеографи», от его редактора — Теодора Шабада. При нем этот журнал был действительно зеркалом советской географии и печатал наших авторов, отбирая их (это кажется сейчас невероятным!) по их классу, а не по званиям или позиции в политике. Блестящий знаток СССР, специалист по топливно-энергетическому комплексу нашей страны, Шабад был к тому же поклонником и ценителем русской литературы, хорошим переводчиком, опытнейшим и пунктуальным редактором. Его стандартные по виду открытки всегда содержали пару-тройку «вопросов на засыпку». «Племена «теле», — спрашивает он у Гумилева, — а где они нашлись?.. А кто такой Неджати?.. Как по-латински «фрины» Иордана?» И как всегда, Теодор настаивал: «Ответьте срочно, авиапочтой».

Из Франции шли деловые письма от караима Семена Шишмана, который успешно «пробивал» статьи Л.Н. в профессиональном журнале «Cahiers du Monde Russe et Sovietique». Так, в 1965 г. Л.Н. сообщал Шишману: «Я очарован переводом и редактированием моей статьи «Монголы XIII в. и „Слово о полку Игореве“». Такая теплота понятна, поскольку это пробивало блокаду, пробивало заговор умолчания и «непечатания» в СССР, да и просто помогало жить, так как 500 франков за пару статей Л.Н. очень и очень пригодились.

С «Анналами» — ведущим историческим журналом (значительно более высокого ранга, чем «Cahiers... ») все было сложнее. Не надо думать, что цензура (не политическая, а «научная») там отсутствовала. Как только зашла речь о теоретических работах Д.Н., то и Шишман оказался бессилен. Он смущенно писал, что «не могут» они в «Анналах» напечатать, а потом извинялся, что Марк Ферро (историк, редактор журнала) ездил в Россию, но «не успел встретиться с Вами». Видимо, на взгляд кого-то из французских «бессмертных» этногенез шел как-то иначе...

Но это было давно, в 1965-м, а в 70–80-х уже преобладали заказы на статьи и переводы Л.Н. без всяких оговорок и условий...

11.3. Покой нам только снится...

И когда я жил у них, я жил над ними. Оттого и невзлюбили они меня... И все-таки хожу я со своими

мыслями над головами их: и даже если бы я захотел ходить по своим собственным ошибкам, все-таки был бы я над ними и головами их.

Фридрих Ницше

Отбиваться от нападок Льву Николаевичу приходилось и в самые благополучные его годы. В 1982 г. он пишет письмо главному редактору «Коммуниста» Р. И. Косолапову, начинавшееся трогательным обращением: «Глубокоуважаемый Ричард Иванович! Разрешите обратиться к Вам, хотя я и беспартийный...» Л.Н. просит помочь опубликовать ответ доктору исторических наук Аполлону Кузьмину — его «штатному критику». Дело в том, что незадолго до этого вышел роман-эссе В. Чивилихина «Память», где тот поругивал Л.Н., а А. Кузьмин написал рецензию, которая, по сути, была еще одним ударом по Л. Гумилеву, ударом более жестким[973].

Конечно, в центре рецензии и в ответе на нее опять было злосчастное «иго», опять приводились доказательства Л.Н.: «ига не было». Находились научные и, так сказать, «бытовые» аргументы, иногда не без юмора. «Допустим, — писал Л.Н., — что Чингис и Батый не нравятся А. Кузьмину и В. Чивилихину, но ведь нет народа, который состоял бы только из милых и приятных людей. С другой стороны, может быть В. Чивилихин и А. Кузьмин тоже кому-то не нравятся. Так стоит ли всех русских или даже всех москвичей на этом основании считать плохими людьми? Но поскольку они не могут выразить воли всего русского народа или даже мнения русских историков, то это не важно, а то, что Чингис и Бату выражали волю монгольского народа, избравшего их на курултаях ханами, — общеизвестно».

События тех далеких веков некоторые критики Л.Н. пытались оценивать мерками XX в. и даже описывать в современной терминологии. Л.Н. отвечал им: «Даже если чингисиды, и по Кузьмину и Чивилихину — «военно-паразитическая верхушка», — были только партией, то ее поддерживал весь народ. В условиях военной демократии — осуждать или хвалить надо всю систему, а не только некоторых ханов». Далее следовал совсем убийственный оборот — апелляция к марксизму: «Да и стоит ли интересоваться характеристиками отдельных вождей, когда известно, что, согласно философии марксизма, войны в классовом и доклассовом обществе — неизбежны, как продукт непримиримых классовых или племенных противоречий».

Но все это, так сказать, лирика, а серьезные аргументы были прежними:

— Насчет татаро-монгольской орды, страны с населением около полумиллиона человек, которая завоевала Русь, Китай и Среднюю Азию с Ираном.

— Монголы, воевавшие на трех фронтах: в Китае, в Иране и с половцами в Поволжье, посылать большую армию на третьестепенный фронт просто не могли. «Странно, что А. Кузьмин, называющий себя патриотом, считает древнерусских людей за такую дрянь, что они позволили погубить себя столь слабому противнику», — ехидничал Л.Н.

— Батый совершил по Руси глубокий рейд, чтобы зайти в тыл половцам. Поэтому он и не оставил гарнизонов на Руси, а договор о дани был заключен через 20 лет после похода Батыя Александром Невским.

— Наконец, почему надо пугаться термина «симбиоз», ведь буквально это значит совместная жизнь. «С XIII по XV век татары жили на Нижней Волге, а границей Руси была Ока, т. е. между ними простиралось огромное малонаселенное пространство. Обе стороны подчинялись правительству в Сарае. Все татарские походы на Русь совершались при помощи русских князей для борьбы с их соперниками, а русские сражались в татарских войсках во время гражданской войны в Орде: Ногая убил русский ратник». Тут задумываешься: а так ли оригинален был Л.Н. или это просто наше общее незнание классиков исторической науки «работает» на его исключительность в оценках нашествия? Давайте посмотрим, что по этому же вопросу писал С. Ф. Платонов: «Да и как татарское влияние на русскую жизнь могло быть значительно, если татары жили вдалеке, не смешиваясь с русскими, являлись в Россию только для сбора дани или в виде войска, приводимого большей частью русскими князьями для их личной цели? Поэтому мы можем далее рассматривать внутреннюю жизнь русского общества в XIII в., не обращая внимание на факт татарского ига»[974]. Нет сомнений, что Л.Н. читал Платонова. А читал ли Аполлон Кузьмин?

Конечно, Л.Н. в полемике и сам не ангел! В его ответах критикам были и перехлесты. Но он был недалек от истины, когда в цитируемом письме в «Коммунист» (оно не было напечатано) называл писания таких критиков травлей.

То, что было при жизни, еще можно назвать «приглашением к дискуссии», а как назвать тотальное охаивание после смерти, в котором поначалу солировал все тот же А. Кузьмин, а сейчас добавились и малоизвестные, но еще более горластые критики? В очередном опусе Аполлона Кузьмина, опубликованном в 1993 г., был красноречив уже подзаголовок «Лжепатриоты[975] топчут историческую Русь»[976].

Красоты стиля в тексте не отличались новизной: «палачи народа» (естественно, о татаро-монголах), «евразийская утопия», «публицистическая фантастика», «оба публициста» (Л.Н. и В. Кожинов), «про хазар мемуар», «паразиты-евреи погубили добрейших хазар» (это приписывается Л. Гумилеву); «Евразийство» (только в кавычках) предполагает безразмерный Черемушкинский рынок, где Азия продает, а Европа покупает втридорога свою собственную продукцию», «лица смешанного происхождения» «хазарские набеги на историю» и т. п.[977].

Аполлону Кузьмину не чужд был и жанр доноса. В цитируемой статье он называет достойнейшего человека — профессора М. И. Артамонова — функционером уже за то, что тот был директором Эрмитажа в пору борьбы с космополитами (1951–1954), а потом… заведующим кафедрой археологии ЛГУ[978]. В другом опусе он пишет, что школа «евразийства» (опять же в кавычках) возникла «из части белоэмигрантов»[979]. «Патриот» А. Кузьмин издевательски пишет даже о Сергии Радонежском: «Великороссы, заразившись пассионарностью от святого старца…»[980] Он противопоставляет патриотов Древней Руси и «разумных обывателей», стоявших за союз с Западом.

В критике Л.Н. выделялись два толстых журнала очень разного толка, с большой регулярностью поносящие Л. Гумилева — «Молодая гвардия» и «Звезда». Последняя даже отметила премией опус солидного и высококвалифицированного историка Я. С. Лурье «Древняя Русь в сочинениях Л. Гумилева»[981]. Здесь какая-то мистика: журнал, пострадавший в далекое время за А.А., теперь мстит ее покойному сыну.

У Я. С. Лурье ругательное слово, да и главное обвинение против Л.Н. — «публицистика». Все, что ему не нравится, есть публицистика! Вот, к примеру, Г. Вернадский когда-то опубликовал статью «Три подвига Александра Невского», но профессору Я. С. Лурье она не нравится, а поэтому наклеивается привычный ярлык: она «носит публицистический характер»[982]. Правда, Александр Невский ему тоже не нравится, хотя он и не публицист… «Спасла ли проводимая им политика уступок Северную Русь от полного разорения татарами?» — сочувственно цитирует Лурье Джона Феннела. Л.Н. же, по его мнению, «проявляет… свободу от исторических источников», дает «красочные известия» и «загадочны, его рассказы». Вот эти «внеисточниковые» рассказы и служат якобы основанием для его теории этногенеза[983].

Здесь придется снова обратиться к принципам работы Л.Н. Во-первых, «доказанным положением» для него является не то, которое имеет сноску на аутентичный источник, а то, которое не

противоречит строго установленным фактам и логике, как бы парадоксален ни был вывод[984]. Для Я. С. Лурье это не так. Во-вторых, когда все это невозможно, на первый план исследования выступает гипотеза. Л.Н. особо уважал великого русского филолога и историка академика А. А. Шахматова, который активно использовал этот метод. Не избегал гипотез и Г. Е. Грумм-Гржимайло.

В-третьих, для Л.Н. главным были люди, персонажи истории, их характеры, объяснение их поступков. «Со многими ханами и полководцами, — писал Гумилев, — я смог познакомиться, как будто они не истлели в огне погребальных костров 1300 лет назад»[985]. Итак, люди, а не просто рукописи и их сличение; точнее — люди «через рукописи», объяснение их помыслов и поступков, что не всегда реально основывать на рукописных свидетельствах.

Вот, к примеру, пишет Л.Н., что Василий — сын Александра Невского, возглавивший восстание в Новгороде, был «дурак» и «пьяница», но ведь ни в Новгородской, ни в Лаврентьевской летописи не говорится об его склонности к алкоголизму. Я. С. Лурье возмущается: «Нет в рукописях...»[986] Но как быть, если солидные источники дают противоположные оценки, как это было в случае с Джамухой — андой Чингисхана?

У Л.Н. были куда более разносторонние «расшифровки» и сопоставления источников в работе над «Степной трилогией». Для него факты не так-то легко (и беспроверочно) устанавливались. Немного перегибая, он и сам говорил о широте кругозора, опыта, видения: «А историки у нас за последние сто лет специализировались исключительно только на одних узких темах. Говорит один: «Я занимаюсь Люксембургским герцогством, и ничем больше. Остальное меня не интересует»[987].

Противоречил ли метод Л.Н. традициям русской исторической науки? Думается, нет. И вот почему. Вспомним эпизод у реки Орхон, загадочную фразу того же Джамухи, сказанную им Темучину, будущему Чингисхану[988]. Где и кто сможет точно интерпретировать ее смысл? Да и вообще определить, «а был ли мальчик?» Даже, Я. С. Лурье, вероятно, спасовал бы.

Академик В. В. Бартольд как-то говорил в лекции: «На наш взгляд, смысл пророчества, приписываемого Чамухе, ясен»[989]. Заметим, «на наш взгляд»! Почему же Льву Гумилеву не позволено иногда думать и делать так же? Или — что позволено Юпитеру, не позволено быку?

Дело в том, что В. В. Бартольд тоже был не за сухое, протоколированное по каждому слову изложение. В одной из

статей П. Савицкий отмечал, что «В. В. умел писать увлекательно»[990]. Вот и Л.Н. хотел того же; но классика за это хвалили, а Л.Н. секли. Впрочем, не все. Строгий автор предисловия к «Этногенезу» профессор Р. Итс писал: «Удивительно! Читаешь текст и не хочется перепроверять факты, хочется верить, верить автору безусловно»[991]. Российским историкам и этнографам стоило бы ценить Л. Гумилева хотя бы за то, что он вывел их науку из элитного захолустья малотиражных и сухих статей к самому широкому читателю и сделал это в трудную эпоху «выживания».

12. Свет и тени теории этногенеза

Греки обнаружили куда большее число людей, на себя не похожих, и назвали их «этносы»; это слово означает «порода». Вне этноса нет ни одного человека на земле, и каждый — я сейчас цитирую собственную книгу — на вопрос «Кто ты?» ответит: «русский», «француз», «перс», «масаи» и т. д., не задумавшись ни на минуту.

Л. Гумилев

Написать этот кусок было труднее всего. Чтобы получилось убедительно, надо верить в теорию этногенеза безоговорочно. А этого нет...

Помню, как часто мы сидели с Л.Н. на защитах дипломов и тихо беседовали. Если был его «подзащитный» — какой-нибудь энтузиаст, как будто посвященный в некое таинство, с придыханием выговаривающий такие слова, как «пассионарность», «надлом», то Л.Н. умиленно слушал — идеи «становились материальной силой». Если не его и не мой дипломант, то мы перешептывались «за науку». Удивительно, но он никогда на меня не обижался, хотя именно во время таких неторопливых бесед я иногда подкалывал его. И касалось это обычно этногенеза. Мои вопросы состояли в следующем: можно ли предсказать примерное время, место будущего «взрыва», можно ли видеть хотя бы проекцию будущего «шрама» на теле Земли? Когда Л.Н. признавался, что нет, тогда следовал финальный «удар» по концепции — если нет даже выхода на прогноз, то какова же тогда значимость этой концепции? Я говорил, конечно, гораздо мягче, а здесь передаю самую суть. Он почему-то не обижался, а терпеливо пытался разъяснять мне, почему — так и почему не может быть иначе. Хорошее было

время.

12.1. Этногенез: шанхайский вариант

Надо заново перечитать и Сергея Михайловича Широкогорова, обосновавшего первую общую концепцию этноса, и труды теоретиков культурно-исторической школы Фридриха Ратцеля, Николая Яковлевича Данилевского, Константина Николаевича Леонтьева, Освальда Шпенглера...

Л. Гумилев

Перечитать Л.Н. пришлось многое. Но почему-то в «Этногенезе» первому из ученых, который был упомянут — С. М. Широкогорову — уделена от силы пара страниц. Одна-две похвалы, легкая критика: «импульсы от соседей», которые показались Л.Н. вариантом концепции А. Дж. Тойнби «вызов — ответ», и кисловатое резюме: «все-таки книга С. М. Широкогорова для своего времени была шагом вперед»[992]. Гораздо резче Л.Н. сказал о ней в автореферате докторской: «Попытка создать научную дефиницию успеха не имела»[993]. Между тем мне кажется «шанхайский автор» заслуживал куда большего, а его книга «Этнос» читается с огромным интересом даже сейчас[994].

Почему она вышла в Шанхае, не знаю, но в предисловии говорится, что «это исследование было написано в условиях наименее благоприятных для научной работы»[995]. Безусловно, это означало рождение труда в эмиграции. Поиски биографических данных о С. М. Широкогорове в зарубежных библиотеках пока ничего не дали. По-видимому, «Этнос» — единственная «русскоязычная» книга

С. М. Широкогорова. Остальные написаны им по-английски и вышли в Пекине и Шанхае примерно в эти же годы. Их переиздало в 70-х гг. одно нью-йоркское издательство.

Кажется, впервые в русской литературе автор попытался раскрыть понятие «этнос». Если верить специалистам, то впервые оно было применено в начале XX в. профессором Н. М. Могилянским в работе «Этнография и ее задачи»[996].

С. М. Широкогоров говорил о ритмике. Этнос, по его мнению, является формой, в которой происходит процесс создания, развития и смерти элементов, дающих возможность человечеству

как виду существовать[997]. Чем не циклы по Л. Гумилеву? Я не намекаю на заимствование; идеи всегда носятся в воздухе...

Интересно и довольно жесткое разделение С. М. Широкогоровым «этнография» и «этнология»[998]. Первая скатилась к народоописанию. Автор приводит любопытные и остроумные примеры. Так, этнографию он описывает следующим образом: «До сих пор по торжественным случаям в Сорбонне в Париже профессора появляются в мантиях, а немецкий бурш должен иметь порезанную на дуэлях физиономию, и русский студент должен быть нечесан, обязательно груб в обращении и либерален. Все это и есть наша этнография, которую мы любим, понимаем и без которой жить не можем в наших университетах»[999]. «Этнология», согласно Широкогорову, — «молодая наука» и «венец знаний о человеке»; она объединяет три науки: антропологию, этнографию и языкознание[1000].

Мы ищем не столько параллелей с Л. Гумилевым и другими, сколько отличий от его концепции этногенеза. Мне кажется, что у С. М. Широкогорова — это свое понимание этноса. Он пишет: «Этнос — есть группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных традиций и отличающих его от таковых других групп»[1001].

Широкогоров, по-видимому, считал, что этнос — не биологическое понятие. В одном месте он пишет, что «социальные единицы образуют этнос», а в другом — что «новая форма приспособления этноса — социальная организация»[1002]. Если этнос состоит из социальных единиц, то не может же он трактоваться как чисто биологическое явление! Почему этого — может быть, самого важного для конструирования его концепции этногенеза — не уловил Л.Н., совершенно непонятно.

У «шанхайского автора» есть и другие находки, побуждающие к раздумью. Например, такая: «Каждый жизнеспособный этнос должен иметь специальный орган самозащиты и нападения, и этим органом в дифференцированном этносе является армия, в недифференцированном — все население, способное носить оружие»[1003]. Видимо, примером могла бы служить империя Чингисхана. Еще сильнее и, может быть, актуальнее звучит следующее его утверждение: «Развитие антимилитаристских идей порождается обычно гибнущими этносами»[1004].

12.2. Самое трудное — определить понятие

Пожалуй, тут приоритет мой.
Тут я не чужие мысли буду излагать,

а свои собственные. Потому, что я проверил, как люди определяют этнические целостности.

Л. Гумилев

Отличительной чертой этноса является деление мира надвое: «мы» и «не мы», или все остальные.

Л. Гумилев

Определение этноса через противопоставление несложно. Как признавал и Л.Н., здесь в качестве критерия выступает ощущение, но если для обыденной жизни этого достаточно, то для понимания мало[1005]. Что же надо сделать для понимания? Очевидно, определить этнос не через какое-то ощущение-отрицание («мы не они»), а по неким «позитивным» критериям. Простое перенесение признаков нации на этнос — единство языка, территории, экономической жизни и психического склада — не срабатывает, хотя такой простенький подход и не исчез. «Основным условием возникновения этноса является общность территории, языка и культуры», — читаем мы в «Географическом энциклопедическом словаре»[1006]. Но верен ли он?

Язык? Л.Н. многократно показал, что этнос необязательно объединен языком. Французы — этнос, говорящий на четырех языках: французском, провансальском, бретонском и гасконском. Жанна д'Арк вообще произносила свою фамилию с немецким акцентом — «Тарк»[1007]. Но попытки что-то изменить с языком, с письменностью «сверху» болезненны и безуспешны. В 1946–1948 гг. американские интеллектуалы пытались перевести письменность побежденной Японии с иероглифов на латинский алфавит. Ничего не получилось.

Этнос необязательно скрепляет и общая религия. Романо-германская католическая Европа еще в XIII в. объявила своим противником православные страны — Византию, Болгарию и Россию, хотя и тут, и там вера была одна, но суперэтносы разные. «Чтобы оправдать четвертый крестовый поход, — пишет Л.Н., — говорили даже, что православные такие еретики, что от них самого Бога тошнит»[1008]. Это настолько основательное «размежевание», что и в 90-х гг. нашего века граница между православием и католичеством проходит резкой чертой от Белого до Черного моря, являясь рубежом между разными суперэтносами, разными цивилизациями. Еще в атласе Меркатора (1595 г.) восточная граница Европы — граница римско-

католического мира.

Итак, язык и. религия являются признаками, но не самыми главными. Этнос — отнюдь и не единая власть на данной территории, что отмечал еще и С. М. Широкогоров[1009]. Л.Н., доводя эту мысль до абсурда, спрашивал диссертанта на одной из защит: «А как назывался этнос Австро-Венгрии? Австро-венгры?»[1010]

Иные авторы уходили в сторону от определения сложного понятия, говоря, что это — «не социальная организация, а состояние»[1011]. Поправляя этот тезис, Л.Н. когда-то определял, что этнос — это процесс. Это тоже был уход от дефиниции, как и его же слова, что этнос — специфическая форма существования вида Ното заріепз[1012].

Почему же так трудно давалось Л.Н. определение этноса, так долог был путь к истине? Думается, ответ в том, что его раздражала однозначность, как бы «утвержденная сверху», определения этноса как чисто социального феномена. Позже он жаловался на это: «Академик смело говорит, что это социальное явление. Я не могу с этим согласиться хотя бы потому, что он академик и ему можно говорить все, что угодно, а мне сразу пришьют идеализм»[1013]. Обратите внимание на слова «хотя бы потому»! Л.Н. впадал в другую крайность; в 60–70-х гг. одна за другой в его статьях рождались сугубо «биологизированные» формулировки, которые сразу же становились чем-то вроде боксерской груши для силовых упражнений оппонентов.

В 1967 г. он писал, что явления этногенеза лежат в сфере природы, и поэтому осмысление их возможно лишь путем применения той самой методики, которая дала такие блестящие результаты в физической географии, зоологии и учении о наследственности[1014]. «Я вижу биологичность этноса не в его анатомических и генетических чертах, а в поведенческих, в системе условных рефлексов, которые со времени И. П. Павлова рассматриваются как раздел биологии»[1015].

Даже в автореферате второй докторской диссертации Л.Н. «подставился», и еще опаснее, так как, в отличие от журнала «Природа», его обязательно читают и члены Экспертного совета ВАК. Там Л.Н. еще раз провозгласил, что «бесперспективно видеть в этносе социально-историческую категорию»[1016]. Если все так, то спрашивается, как же именовать науку, изучающую этносы и этногенез? Куда она относится? По Гумилеву, по-видимому, к естественным наукам.

Одна ошибка влечет за собой другую, при этом сохраняется устойчиво, повторяется, дублируется, и даже в по-смертных изданиях 90-х гг. Собственной рукой Льва Николаевича было

написано: «Этнология — наука естественная, основанная на наблюдениях и сопоставлении фактов». Там же говорится, что «этнология — географическая наука», изучающая становление этносферы Земли как результат процессов этногенеза в историческую эпоху[1017].

Будучи географом, я мог бы порадоваться такому «обогащению» географии, но увы, все это неверно. На такой «поиск» Л.Н. толкало жесткое деление наук на естественные и общественные, доминировавшее в 60–70-х гг. Никак ему было не уйти от этого «или-или», хотя он прекрасно знал известные слова К. Маркса о том, что «впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание: это будет одна наука»[1018]. Знал и многократно цитировал.

Некогда было Л.Н. следить за сдвигами в нашей философии; не знал он, что академик Б. М. Кедров уже говорил о «промежуточных» науках, куда, кстати, относил и географию. Наряду с естественными и общественными намечался уже и «третий блок» — науки о взаимоотношениях природы и общества.

Все же Л.Н. понимал ущербность «крайних позиций» и искал истину. Сознавая, что все отношения между людьми, в том числе и этнические, носят отпечаток того общества, где они живут, уже в 1975 г. в ответе своему «критику № 1» (А. Кузьмину) как бы нехотя признавался: «Конечно, этнос — не биологическая категория, хотя все люди, составляющие этнос — организмы»[1019]. А в книге, написанной в 80-х гг., формулировал это точнее: «Этносы — явление, лежащее на грани биосферы и социосферы и имеющее весьма специальное назначение в строении биосферы Земли»[1020]. Здесь уже и этнология фигурирует в качестве «пограничной области науки».

Это был трудный путь от полуправды к правде, трудный поиск истины, путь к реальной оценке очень сложных явлений и процессов. В 80-х гт. Л.Н. уже не отходит от этих, наконец-то найденных, позиций. В «Тысячелетии вокруг Каспия» этносы фигурируют уже как «биосоциальные коллективы»[1021]. В беседе с журналистом «Советской Татарии» (1990 г.) на вопрос, чем же является этнос — социальной или биологической величиной, Л.Н. без колебаний отвечает: «Ни тем, ни другим»[1022]. Это, надо полагать, верно.

Непредвзятые и серьезные философы понимали и ценили этот его путь к истине: «Не замена учения о примате социального развития в истории, а дополнение его бесспорными данными естественных наук — мысль, последовательно проходящая через всю работу», — писали в своем отзыве на книгу Л.Н. «Феномен

этноса» (неопубликованную) доктора философских наук Ю. М. Бородай и А. В. Гулыга в январе 1978 г.[1023]. Но обычно его критиковали люди другого уровня.

Когда я собирал эти очень противоречивые высказывания Л.Н., то против многих ставил заметку: «Гумилев против Гумилева», и это было тоже верно; «поздний», многое понявший куда глубже Л.Н., против «раннего» — задиристого, уязвленного неравенством возможностей с Академиком.

В самой главной его книге развернутое определение этноса находим лишь на 96-й странице, и звучит оно так: «Этнос — коллектив особей, выделяющий себя из всех прочих коллективов. Этнос более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени. Язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а иногда — нет. Вынести за скобки мы можем только одно — признание каждой особью: «мы — такие-то, а все прочие — другие»[1024].

Это выделение характерно для всех эпох и стран: эллины и варвары; китайцы (люди Срединного государства) и ху (варварская периферия); арабы-мусульмане и «неверные»; европейцы-католики и «нечестивые» (в том числе греки и русские); православные и «нехристи» (включая католиков) и т. д.[1025]. Контрастность «этноцентризма» никуда не ушла, не исчезла и в наши дни, как бы странно не выглядели сегодня предыдущие стереотипы. Не на бытовом, а, так сказать, на научном уровне. Сравнивая по итогам эмпирических исследований азиатов и граждан США, авторитет из Гарварда профессор Л. Кольберг приходил в 60-х гг. к странному выводу о «низком моральном уровне» азиатов. В 90-х гг. японский психолог доктор М. Кобояши ставит это утверждение под сомнение: «Почему же тогда Япония гораздо лучше выглядит по уровню преступности, чем западные страны?» Японский психолог считает, что все дело в том, что в Европе эгоизм отдельного человека перевешивал коллективное, в Японии — социальные связи с другими людьми оценивались приоритетнее, чем личные[1026].

У С. Хантингтона есть фраза, которую наверняка мог бы сказать и Л. Гумилев: «В бывшем Советском Союзе коммунисты могли стать демократами, богатые бедными и бедные богатыми, но русские не могут стать эстонцами, а армяне — азербайджанцами»[1027]. Конечно, все не так просто. Это признавали и Л.Н., и его оппоненты: «Этническая принадлежность — не ярлык, — писал Л.Н., — а релятивное понятие... Так карел из Калининской области в своей деревне называет себя карелом, а прибыв в Ленинград — русским; для того, чтобы казанский

татарин объявил себя русским, ему нужно попасть в Западную Европу или Китай. Там, на фоне совершенно иной культуры, он назовет себя русским, прибавив, что, собственно говоря, он татарин. А на Новой Гвинее он же назовет себя европейцем»[1028].

Но то же самое писал и Ю. В. Бромлей: «Попав в Японию, белорус на фоне совершенно иной культуры назовет себя сначала русским, прибавив затем, что он, собственно говоря, белорус. А на Новой Гвинее он же назовет себя европейцем»[1029]. Совпадение, как мы видим, дословное, но такие совпадения его огорчали.

Оба ученых писали и о стереотипах поведения. Л.Н. понимал под этим «навыки быта, приемы мысли, восприятие предметов искусства, обращение со старшими»[1030]. Любимый его пример на лекциях: трамвай, куда заходит пьяный... Оказывается, все, даже люди одной расы — русский, немец, татарин, кавказец — отреагируют по-разному. Русский скажет: «Кирюха, ведь тебя сейчас заметут, смывайся...» Ему жалко человека. А немец остановит трамвай тормозным краном и вызовет милиционера. Кавказец, услышав непристойные выражения, развернется и даст в зубы. Татарин посмотрит с отвращением, промолчит и отойдет.

Любил Л.Н. рассказывать о разговоре Тура Хейердала с людоедом. Путешественник удивлялся каннибализму, а абориген — тому, что в Европе убитых на войне хоронят, а не едят.

Сюда же относит Л.Н. и разное восприятие времени. Он видел чукчей, которые не могли ответить на вопрос, сколько им лет, так как считали такой счет вообще бессмысленным. Из работы над «Степной трилогией» он хорошо знал «самооценку» Китая: мы — «Срединная империя», мы — «посредине Поднебесной»; а все остальное — периферия, весь отсчет событий в мире следует вести по нашим правилам, по смене наших династий. Эти «самооценки», такое осознание «себя в мире» не ушли в прошлое. «Карты ментальности», составленные недавно школьниками Канберры в ответ на вопрос о географии современного мира, отличаются тем, что Австралия для них — всегда в центре, а «остальной мир» — на периферии, вокруг нее.

Есть и мелочи, например, детали одежды, которые воспринимаются по-разному разными этносами. Воздавая должное заслугам одного государственного деятеля VII в. до н. э., Конфуций писал: «Если бы не он, все мы стали бы носить халаты с полой налево» (т. е. переняли бы обычаи кочевников, вторгавшихся тогда в Китай)[1031]. Для современников Конфуция в Европе — древних греков это было вообще не важно: можно и так, и так.

В 1985 г., когда немного утихли споры вокруг этногенеза и осела «пыль», появилась статья за подписью Константина

Иванова, в которой сравнивались основные позиции Учителя и Ю. В. Бромлея[1032]. Кроме отмеченного выше «совпадения», одинаковыми оказались подходы еще к нескольким вопросам: иерархичность этнических систем; генезис этнических таксонов; особая роль географической среды в этногенезе[1033].

Почему статья пошла за одной подписью, я не мог вспомнить, но у меня в архиве остался ее черновик за двумя подписями — Л.Н. и К. Иванова. Дело в том, что Л.Н., конечно, огорчали многие «совпадения» с Академиком. Он жаловался, что «имел много неприятностей и обид, но теория этногенеза была... приписана академику Ю. В. Бромлею, цитировавшему положения автора без отсылающих сносок»[1034]. За эту свою обиду Л.Н. очень хотел отомстить. Сделал он это своеобразно; в упомянутом черновике статьи говорилось: «Мы употребляем выражение «этнограф», когда речь идет о Ю. В. Бромлее, и «этнолог», когда подразумевается Л. Н. Гумилев». Страшная месть?!

Л.Н. умел не только разгадывать загадки истории, но и сам творить загадки. Зачем ему нужна была статья, где бы доказывалось чуть ли не идентичность взглядов с «Бармалеем»? Только для установления приоритетов? Но тогда это сделано учеником № 1, мягко выражаясь, не четко.

Так или иначе, за двадцать лет работы над проблемой Л.Н. удалось выстроить изящную и во многом убедительную концепцию теории этногенеза. Остановимся поначалу на том, что кажется более или менее бесспорным. Может быть, каждая из идей — составных частей его теории была и не совсем нова («ритмика» этноса встречалась, как мы уже видели, и у С. М. Широкогорова, и у американцев в 60-х гг.), но вместе, «в связке» они были сведены впервые. Этносы возникают, живут и пропадают в историческом времени, — говорил Л.Н. и даже определял время цикла от рождения до гибели этноса в 1200–1500 лет. Доказательство истинности утверждения Л.Н. в том, что из народов, процветавших 5 тысяч лет тому назад, не осталось ни одного. Следовательно, центральная проблема этногенеза: как и почему это происходит! Но об этом — немного позже.

Л.Н. вводит понятие субэтноса. Это не род или племя, а гораздо более стойкие и длительно существующие группировки — элементы структуры этноса. В истории было так, что мелкие этносы входили в состав крупных, иногда растворяясь в них целиком, иногда сохранив память о своем прошлом. Пример первого — провансальцы, ставшие французами, второго — шотландцы и уэльсцы в Англии или бретонцы во Франции. В России субэтносом Л.Н. считал старообрядцев, которые сначала были объединены общностью судьбы (консорция, по Л.Н.), затем

— общностью быта (конвиксия, по нему же). В XX в. последняя перестала существовать, осталась лишь инерция.

Сами этносы, по Л.Н., объединялись в своего рода галактики — суперэтносы. Как, например, «Христианский мир» романо-германской Европы в XVI в., где стереотипы поведения разнились мало. Группа этносов могла образовать систему, именуемую «культурой» — таковы романо-германская, мусульманская, византийская культуры. Суперэтнос — крупнейшая после всего человечества единица, возникшая одновременно в одном регионе и проявляющая себя в истории как мозаичная целостность, причем эта мозаичность придает суперэтносу пластичность, добавляет выживаемости. Вместо «суперэтноса» Н. Трубецкой образно говорил о «многонародной личности — России-Евразии»[1035].

Мозаичной целостностью является и суперэтнос современного Китая. Л.Н. подчеркивал, что таксономически название «Китай» соответствует таким понятиям, как «Европа» или «Левант», а не таким, как «Франция» или «Болгария». У С. Хантингтона «конфуцианская цивилизация» по значимости равна всей западной (то есть западноевропейско-американской).

Кроме того, Л.Н. вводит понятие «комплиментарность», которая может быть положительной или отрицательной. «Добросовестные историки, — писал он, — как дореволюционные: Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, С. Ф. Платонов, так и советские: А. Н. Насонов — отмечают отсутствие «национальной» вражды монголов с русскими. Действительно, мусульманские султаны Сарая: Узбек и Джанибек всеми способами выжимали серебро, необходимое для оплаты армии, но они же защищали кормилицу Русь от натиска литовцев»[1036]. И, наоборот, как многократно показано в «Степной трилогии», сугубо отрицательной была комплиментарность «Китай—кочевники». Крайний вариант здесь — формирование химер, которые Л.Н. определял как «сосуществование двух и более этносов в одной экологической нише». Обычно химеры являются последствием миграции и, как правило, неустойчивы[1037]. Такой химерой он считал Хазарию: «На месте этнической ксении[1038] появилась страшная суперэтническая химера»[1039]. За это ему приклеили ярлык «антисемита». Мы не будем останавливаться на том, была ли химерой Хазария (дело это слишком тонкое и специальное), отметим лишь, что этому посвящено около двухсот страниц книги «Древняя Русь и Великая степь».

Его критиковали, он отбивался: «Химера — не тезис, а научный термин, причем историко-географический, а не биологический, ибо если бы чуждые этносы в одном

географическом районе слились половым путем, то химера бы превратилась в новый этнос»[1040].

Я понимал и раньше, что неспециалист не может быть арбитром в таких научных спорах, но убедился в этом на 200%, прочитав главу из «России распятой» Ильи Глазунова. Когда он пересказывает спор ленинградских историков о теории Л.Н. — одно дело; там он за них не отвечает, хотя его «Россия» — не роман. Куда хуже, когда он сам раздает оценки и эпитеты вроде «историка-фантазера Л. Н. Гумилева» и даже «опровергает» то его, то М. И. Артамонова с легкостью мысли необыкновенной[1041]. Глазуновское «открытие Хазарии» основывается на словаре Брокгауза и Ефрона. «Вершиной» «России распятой», пожалуй, является заключение о кочевниках: «Они ничего не созидали, они могли только потреблять и разрушать». Глазунов апеллирует к о. Иоанну, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому, противопоставляя его книгу «бредням Л.Н.». Невдомек ему, что они были единомышленниками!

Воинствующее и злобное дилетантство стало одним из печальных следствий кажущегося приближения к власти так называемой «творческой интеллигенции». Наименее умная часть ее приняла это всерьез, а самая мудрая заметила, что «на смену дремучему невежеству пришли полузнания»[1042]. Придворный портретист показал, что он застрял где-то между этими позициями.

12.3. Пассионарность: «за» и «против». Был ли пассионарен сам Л.Н.?

Если б мы с Китаем не фаничили,
Не учились у Орды величию,
Если бы турецкие обычаи
Не перенимали никогда,
А напротив, с вьюгой и медведями
Англичанам были бы соседями,
В римское вникали правоведение
Долгие-предолгие года —
Все равно бы мы бежали к Разину,
С Пугачевым вместе безобразили
И царя при первой же оказии
Грохнули в истории кювет.

О том, какой взрыв критики произвело гумилевское определение «симбиоз» применительно к Древней Руси и Орде мы уже писали. Но еще большие недоумения, а чаще проклятия и издевательства вызвала пассионарность — открытие, которым больше всего гордился Л.Н. В одном из последних интервью он даже говорил, что евразийцы, с которыми он в основном согласен, «главного в теории этногенеза — понятия пассионарности… не знали»[1043].

Это парадокс: «пассионарность» — термин, который стремительно вошел в нашу жизнь, в самый широкий обиход, который интуитивно все понимают и принимают (а значит, не оспаривают), в то же время отвергаются некоторыми видными специалистами. Так, академик Ю. В. Бромлей писал: «Нельзя не отметить несостоятельность попытки Л. Н. Гумилева представить в качестве движущей силы этнической истории… пассионарность. Понимая под ней стремление небольшого числа людей к активной целенаправленной деятельности, Л.Н. усматривает ее единственное основание в повышенной способности организма абсорбировать энергию внешней среды и выдавать ее в виде работы. Между тем совершенно очевидна неправомерность отождествления физической энергии людей с их активностью. Последняя же… определяется социальными факторами… и специфическими особенностями их (людей) психики»[1044].

В свойственной ему глумливой манере Аполлон Кузьмин писал, что Л.Н. совершил «множество удивительных открытий», например, придумал понятие «пассионарность» (слово латинское), которое распространяется как на отдельные личности, так и на целые народы. «Заразиться этой страстью, — отмечал критик, — народы могут лишь из космоса и биосферы, и не по своей воле: на одних небесная благодать снисходит, другие оказываются обделенными»[1045].

Парадокс очень обидный для Л.Н., поскольку он работал над идеей пассионарности чуть ли не 60 лет. «Это слово, — пишет он, — вместе с его внутренним смыслом и многообещающим содержанием в марте 1939 г. проникло в мозг ученого как удар молнии. Откуда оно взялось неизвестно, но для чего оно, как им пользоваться и что оно может дать для исторических работ, было вполне понятно»[1046]. Оно-то и стало тем самым «фактором икс», который определял фазы этногенеза: толчок — подъем — перегрев — упадок — затухание.

Что же такое пассионарность? Отвечая на этот вопрос, Л.Н. писал: «Формирование нового этноса всегда связано с наличием у

некоторых индивидов необоримого внутреннего стремления к целенаправленной деятельности, всегда связанной с изменением окружения, общественного или природного, причем достижение намеченной цели, часто иллюзорной и[1047]. Сочинил все это Л.Н.?

Но ведь не историки, а сама история дала определение — «люди длинной воли!». Г. Вернадский задолго до Л.Н. писал, что «в конце XII в. среди монгольских племен Восточной Евразии, как это неоднократно происходило в прежние века, вновь произошло страшное сосредоточение и напряжение народной энергии» (выделено мною. — С.Л.)[1048].

Если классик евразийства знал, то отец Л.Н. чувствовал:

> Вы все паладины Зеленого храма
> Над пасмурным морем следившие румб,
> Гонзальго и Кук, Лаперуз и Де Гама,
> Мечтатель и царь, генуэзец Колумб!

Наличие пассионариев «улавливали» и другие. Можно привести высказывание Гегеля о «интересе-страсти», когда «индивидуальность целиком отдается предмету... и ничто великое в мире не совершается без страсти»[1049]. Еще ближе к нам, ближе к самому Л.Н. Арнольд Дж. Тойнби, утверждавший, что в период роста цивилизации «творческое меньшинство» (т. е. пассионарии, по Л.Н.) все более берет контроль над своим окружением, и потом следуют времена неспокойствия[1050].

Пассионарии — это конквистадоры, устремившиеся вслед за Колумбом за океан и погибавшие там. Пассионарии — это Жанна д'Арк, Кутузов и Суворов. А субпассионарии, у которых перевешивает «импульс инстинкта» — это почти все чеховские персонажи. «У них как будто все хорошо, а чего-то все-таки не хватает; порядочный и образованный человек, учитель, но... «в футляре», хороший врач, много работает, но «Иоыч»[1051]. «Разумными обывателями» называл Л.Н. тех на Руси, кто призывал подчиниться Мамаю и замириться с папой. «Им противостояла группа патриотов, чьим идеологом был Сергий Радонежский»[1052].

Как рассуждал Л.Н., пассионариями движут не корыстные чувства. «Поручик артиллерии Наполеон Бонапарт, — пишет он, — в молодости был беден и мечтал сделать карьеру. Это банально и потому понятно... Однако уже итальянская кампания делает Бонапарта богачом. Так что остальную жизнь он мог бы прожить, не трудясь. Но что-то потянуло его в Египет, а потом толкнуло на смертельный риск 18 брюмера. Что? Властолюбие, и ничто иное... А когда он стал императором, разве он

успокоился?»[1053] Таков же был и Александр Македонский; что он совершил бы великого и прекрасного, если бы сидел в Македонии? Пассионарии не приносят своих близких в жертву страстям, а жертвуют собой ради их спасения или ради идеи, как, например, Ян Гус. Но это необязательно схема «герой — толпа». Согласно Гумилеву, можно быть рядовым членом общества и весьма пассионарным, например Иван Сусанин[1054]. Нехотя, но Л.Н. признавал и Сталина пассионарием: «У того же Сталина в дефиците была совесть, любовь к окружающим. Он — типичное сочетание пассионарности с негативным, жизнеотрицающим выбором»[1055].

Можно подумать, что пассионарность — всегда некий генератор прогресса, но это не так. Как оговаривался сам автор: она не генератор, а, скорее, катализатор. «Она так ускоряет этнические процессы, — писал Л.Н., — что многие этносы сгорают от собственных деяний, не дожив до спасительного гомеостаза»[1056].

Думаю, что, работая над концепцией пассионарности, Л.Н. имел перед глазами образ отца — бесспорного, абсолютно безусловного пассионария. Пассионария во всем: в стремлении быть лидером в поэзии «серебряного века», в повседневной «заводной» жизни, в любовных увлечениях, в экспедициях в Африку. Ярче всего это проявилось в дни войны, когда он, непрофессиональный военный, был примером, как нужно «не бояться и делать, что надо». Таким он оставался до конца своих дней. Георгий Иванов воспоминал об открытке, полученной от Н. С. Гумилева за два дня до смерти: «Не беспокойтесь обо мне. Я чувствую себя хорошо, играю в шахматы и пишу стихи. Пришлите табаку и одеяла...»[1057]

Сам Николай Гумилев говорил: «Мне всегда было легче думать о себе как о путешественнике или воине, чем как о поэте»[1058]. Просматривая сохранившиеся его письма с фронта, поражаешься спокойствию и умению замечать то, что, казалось бы, трудно заметить, когда смерть рядом. В ноябре 1916 г. он пишет Ларисе Рейснер: «Здесь тихо и хорошо. По-осеннему пустые поля и кое-где уже покраснели от мороза прутья. Знаете ли Вы эти красивые зимние прутья? Для меня они олицетворение всего самого сокровенного в природе»[1059]. Как справедливо писал литературовед Ю. Айхенвальд: «Гумилев — поэт подвига, художник храбрости, певец бесстрашия»[1060].

Далее Л.Н. излагает, на мой взгляд, весьма спорные мысли по поводу динамики (фаз) пассионарности (см. схему «Изменение пассионарного напряжения этнической системы»). По его мнению, «пусковой момент» этногенеза, — это внезапное

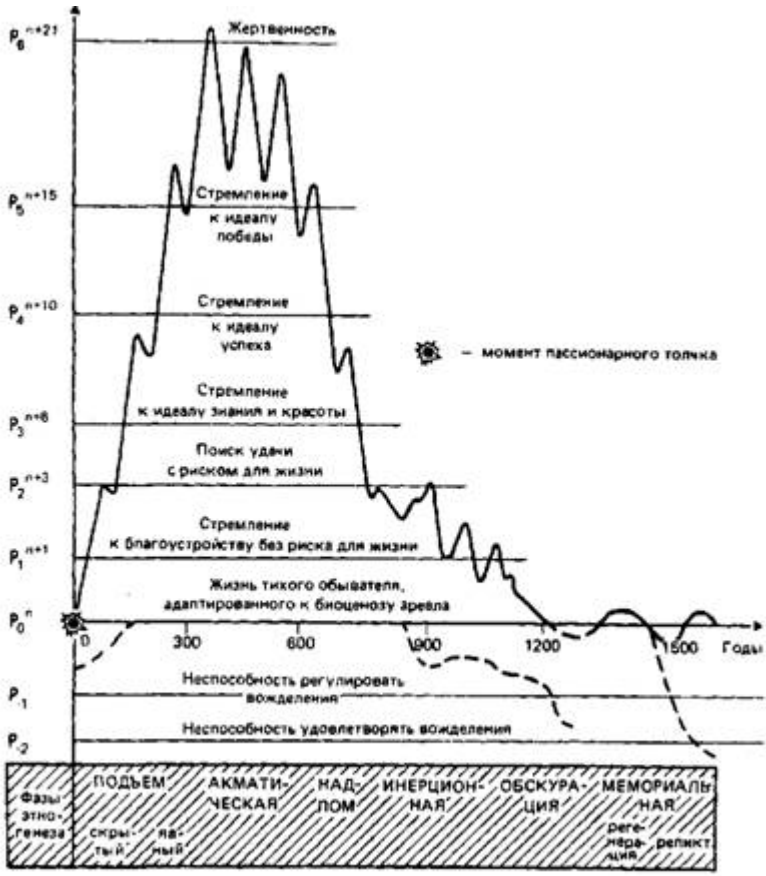
появление в популяции некоторого числа пассионариев и субпассионариев. Фаза подъема сопровождается быстрым увеличением числа пассионарных особей в результате либо размножения, либо инкорпорации; акматическая фаза характеризуется максимальным числом пассионариев; фаза надлома — это резкое уменьшение их числа и вытеснение их субпассионариями; инерционная фаза — медленное уменьшение числа пассионарных особей; фаза обскурации — почти полная замена пассионариев субпассионариями, которые в силу особенностей своего склада либо губят этнос целиком, либо не успевают погубить его до вторжения иноплеменников извне[1061].

Эта конструкция подвергалась не только сомнениям, но и жесткой критике у нас. Может быть, потому, что никаких аналогов этой схеме ни у кого из «западных» не находили. Между тем интересные мысли приходят совсем независимо от этноса, к которому принадлежит автор. Вот что открылось для меня случайно, хотя я долго искал нечто подобное. В 1961 г. американская исследовательница Кэролл Квигли в статье «Эволюция цивилизаций» выделила семь стадий их развития: смешение (этносов, культур), созревание, экспансия, эпоха конфликтов, мировая империя, упадок, интервенция (чуждых сил) — иноплеменников, по Л.Н.[1062].

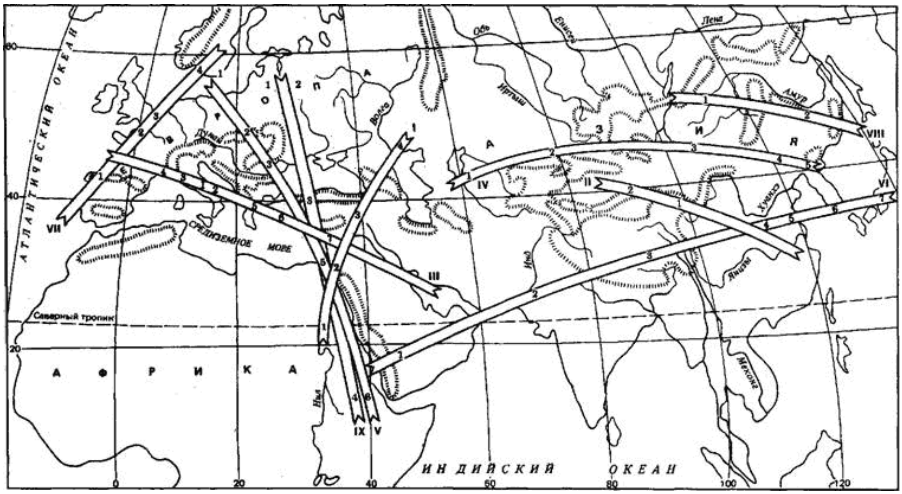
Конечно, я и раньше знал, что какие-то аналогии есть, что все это у Л.Н. не на пустом месте родилось. Знал, что теория пассионарности как-то связана с учением о «циркуляции элит» итальянского социолога Вильфреда Парето[1063]. Но как близки взгляды американки и Л.Н.: чем не Гумилевские «подъем — вершина — упадок», согласно его схеме, названной «Кривая этногенеза»[1064]. По абсциссе отложено время (1200–1500 лет), а на оси ординат — та самая загадочная движущая сила этногенеза — пассионарность. Вроде бы все довольно просто, но для этой «простоты» Л.Н. пришлось обобщить 40 «индивидуальных» кривых этногенеза, построенных для разных этносов. Как отмечал сам Л.Н., эта кривая хорошо известна математикам; она описывает и процесс сгорания костра, и взрыв порохового склада, и увядание листа.

Рассмотрим сейчас другой вопрос: где и когда на земле возникают очаги пассионарности. «Глядя на глобус, — рассказывал Л.Н., — я вижу, как космос сечет своей плетью нашу планету... Другое дело — содержательная сторона этой «экзекуции» в географических координатах. Тут предстоят еще многие... раздумья и поиски». Действительно, на карте 5 видны эти «шрамы» (полосы) на теле Земли, но по их рисунку нельзя сразу установить какой-либо закономерности. Нельзя этого

сделать и по времени «рождения»[1065]. И все-таки каждая из этих линий пассионарных толчков есть отражение истории человечества, какого-то ее этапа.



Изменение пассионарного напряжения этнической системы (обобщение)



Карта 5. Оси зон

I (пассионарный толчок XVIII в. до н. э.):

1 — египтяне-2; 2 — гиксосы; 3 — хетты; 4 — протохазары.

II (пассионарный толчок XI в. до н. э.) 1 — чжоусцы.

III (пассионарный толчок VIII в. до н. э.):

1 — римляне; 2 — самниты; 3 — эквы; 4 — галлы; 5 — эллины; 6 — мидийцы; 7 — киликийцы.

IV (пассионарный толчок III в. до н. э.):

1 — сарматы; 2 — кушаны-согдийцы; 3 — хунны; 4 — сяньби; 5 — пуё.

V (пассионарный толчок I в. н. э.):

1 — готы; 2 — славяне; 3 — даки; 4 — христиане; 5 — иудеи-2; 6 — аксумиты. пассионарных толчков VI (пассионарный толчок VI в. н. э.):

1 — арабы-мусульмане; 2 — раджпуты; 3 — боты; 4 — табгачи; 5 — китайцы-2; 6 — корейцы; 7 — ямато (японцы).

VII (пассионарный толчок VIII в. н. э.):

1 — испанцы; 2 — франки (французы); 3 — саксы (немцы); 4 — скандинавы.

VIII (пассионарный толчок XI в. н. э.): 1 — монголы; 2 — чжурчжэни.

IX (пассионарный толчок XIII в. н. э.):

1 — литовцы; 2 — великороссы; 3 — турки-османы; 4 — эфиопы.

I (пассионарный толчок XVIII в. до н. э.): Египтяне (Верхний Египет), столица в Фивах (1580 г. до н. э.), смена религий, культ Озириса. Прекращение строительства пирамид. Агрессия в Нубию и Азию. Гиксосы (Иордания, Северная Аравия). Хетты (Восточная

Анатолия).

II (пассионарный толчок XI в. до н. э.): Чжоусцы (Се-верный Китай, Шэньси). Завоевание княжеством Чжоу древней империи Шэнь-Инь. Появление культа Неба. Расширение ареала до моря на востоке, р. Янцзы на юге, пустыни на севере. Скифы (Центральная Азия). Кушиты (Большая излучина Нила) и т. д.

III (пассионарный толчок VII в. до н. э.): Римляне (Центральная Италия), расселение на Среднюю Италию, завоевание ее, образование республики (510 г. до н. э.). Самниты (Италия), этруски (Северо-Западная Италия), галлы (Южная Франция), эллины (Средняя Греция). Колонизация эллинами Средиземноморья и т. д.

Пропустим несколько толчков. Остановимся на восьмом. Это — монголы XI в. н. э. Появление «людей длинной воли». Объединение племен в «народ-войско». Создание законодательства «Ясы» и письменности. Расширение Улуса от Желтого до Черного моря. Чжурчжэни (Маньчжурия). Образование Империи Цзинь полукитайского типа. Агрессия на юг. Завоевание Северного Китая[1066].

Л.Н., говоря о подобных шрамах на карте, пишет: «Выделенные узкие полосы шириной около 300 км, тянущиеся то в меридиональном, то в широтном направлении примерно на 0,5 окружности планеты, похожи на геодезические линии. Возникают толчки редко — два или три за тысячу лет и почти никогда не проходят по одному и тому же месту... Один и тот же толчок может создать несколько очагов повышенной пассионарности (и как следствие — несколько суперэтносов). Так, толчок VI задел Аравию, долину Инда, Южный Тибет, Северный Китай и Среднюю Японию. И во всех этих странах возникли этносы-ровесники, причем каждый из них имел оригинальные стереотипы и культуры»[1067].

Нет сомнений, Л.Н. блестяще знал историю и понимал ее географически «шире» многих, так как само «поле» его исследований простиралось от запада Европы до Желтого моря. Можно, конечно, дискутировать о доказательности построения какой-то из кривых на карте, но это был бы спор по деталям.

Л.Н. признавался, что до 1965–1966 гг. не публиковал концепцию, так как не знал, какая энергия здесь имеет место[1068]. Да и позже честно писал, что любая комбинация факторов не дает возможности построить гипотезу, то есть непротиворечивое объяснение всех известных в данное время факторов этногенеза[1069]. «Не дает», а очень хотелось, чтобы дала. И он метался в череде противоречивых определений этногенеза и этнологии. Метался в поисках контактов с естественниками.

В череде его контактов встречались очень разные, но всегда яркие люди. Один из них — Н. В. Тимофеев-Ресовский («Зубр» — в известной повести Д. Гранина). Вдова Л.Н. — Наталья Викторовна, вспоминает (лето 1967–68): «Каждую субботу и воскресенье Лев уезжал в Обнинск, в Институт радиации, где работал с Н. В. Тимофеевым-Ресовским и его учеником Н. В. Глотовым. Льву было очень важно мнение генетика-биолога, знаменитого своими открытиями в области популяционной и эволюционной биологии»[1070].

Но уже в 1968 г. в коротком (для себя) дневнике Л.Н. записал: «Тим.-Рес. фордыбачит»[1071]. Сотрудничеству пришел конец: «Зубр» оскорбил Л.Н., и хотя позже письменно извинился, сотрудничество закончилось. Можно объяснить это характером обнинского партнера (да и Л.Н. был не сахар), но думается, что дело глубже, и не столько в научных расхождениях. Слишком разными были судьбы у них — когда Л.Н. сидел в Омлаге или был зенитчиком у Зееловских высот, «Зубр» спокойненько работал в закрытой лаборатории в Бухе, под Берлином. В апреле 1945-го они были рядом географически и бесконечно далеки друг от друга в других измерениях.

Другим биологом, с которым пытался сотрудничать Л.Н., был профессор ЛГУ М. Лобашов — борец с лысенковщиной, автор одного из первых в стране вузовских учебников по генетике. Увы, М. Е. Лобашов умер, когда сотрудничество лишь начиналось. На геофаке ЛГУ Гумилеву был особенно симпатичен профессор М. М. Ермолаев — ученик знаменитого А. Е. Ферсмана, известный полярник, позже уже в 70-х гг. организатор первой в стране кафедры географии Мирового океана в Калининградском университете. В его очень нестандартной книге «Введение в физическую географию», вышедшей в 1975 г. в университетском издательстве и скромно обозначенной как учебное пособие для студентов, много внимания было уделено «миру, окружающему Землю», т. е. довольно необычному в ту пору космическому аспекту географии Земли. «Он один из первых признал мою концепцию, — рассказывал Л.Н., — дал мощное подтверждение. Оказывается, ночью космические излучения, или видимые, или ультрафиолетовые, пробивают ионосферу, проходят до поверхности Земли и воздействуют на мелкие организмы. Вирусы их очень чутко воспринимают и мутируют под их влиянием»[1072]. «Они маленькие, и им это ничего не стоит», — пояснял от себя Л.Н.

Все же фигурой № 1 среди естественников для него был творец учения о ноосфере Владимир Иванович Вернадский. Примечательно, что даже о любимых евразийцах Л.Н. сказал, что

им очень не хватало естествознания. Так, Г. В. Вернадскому, как историку, по мнению Л.Н., не хватало идей своего великого отца[1073].

Но нестандартен был наш герой, не хотел признавать даже и у В. И. Вернадского того, что славословили другие. Поэтому с удовольствием цитировал другого «сомневающегося» — известного географа Юрия Константиновича Ефремова: «Так ли уж разумна сфера разума?» Следуя этой мысли, сам Л.Н. спрашивал: «А что дала нам ноосфера, если она действительно существует?»[1074]

У В. И. Вернадского были весьма примечательные, с точки зрения Л.Н., наблюдения. Так он писал как будто бы о пассионарности: «Взрывы научного творчества, повторяющиеся через столетия, указывают... на то, что ... повторяются периоды, когда скопляются в одном или нескольких поколениях, в одной или многих странах богато одаренные личности, те, умы которых создают силу, меняющую биосферу. Их нарождение есть реальный факт, теснейшим образом связанный со структурой человека, выраженной в аспекте природного явления» (выделено мною. — С. Л.)[1075]. Поразительное совпадение мыслей! У В. И. Вернадского Л.Н. взял то, что ему было нужно, то, что могло объяснить эти толчки, эти кривые, именно такой ход этногенеза.

Теперь перейдем к самой важной теме: откуда же взялся первоначальный толчок? Л.Н. обратился к наследию классиков естествознания. «Великий ученый XX века В. И. Вернадский, — писал Гумилев, — читая в 1908 году заметку во французской газете о перелете саранчи из Африки в Аравию, обратил внимание на то, что масса скопища насекомых была больше, чем запасы всех месторождений меди, цинка и олова на всей Земле. Он был гений и потому задумался о том, какова энергия, которая подняла этих насекомых и бросила их из цветущих долин Эфиопии в Аравийскую пустыню, на верную смерть»[1076].

Л.Н. опускает дальнейший ход рассуждений автора и переходит к выводу: биогеохимическая энергия живого вещества биосферы — совсем не мистическая, а обыкновенная, аналогичная электромагнитной, тепловой, гравитационной и механической. Большей частью она находится в гомеостазе — неустойчивом равновесии, но иногда наблюдаются флуктуации — резкие подъемы и спады. «Тогда саранча летит навстречу гибели, муравьи ползут, уничтожая все на своем пути, и тоже гибнут, крысы... из глубин Азии достигают берегов Атлантического океана...»[1077] Понятно, что это еще не объяснение, а скорее, уход в сторону, замена анализа причины ярким и «доходчивым» примером.

Из трех гипотез энергетического импульса Л.Н. отбрасывал две: солярную и подземную (радиораспад)[1078] и оставил одну — космическое облучение. Лишь очень легковесные критики Гумилева (особо из гуманитариев) могли упрекать его в фантазиях насчет пассионарности и «толчков» из космоса. Упрекать надо было предшественников-евразийцев. Ведь Г. Вернадский в главе «Ритмы истории» писал, что «ритмическая периодичность в истории человечества зависит от действия космических, биологических, психических, географических, политических, экономических и социальных сил»[1079]. Обратите внимание: космические силы стоят на первом месте!

В этой связи весьма интересны мнения, высказанные в дискуссии, развернувшейся среди ученых на «Гумилевских чтениях» в Москве в 1998 г. Там обсуждались и другие механизмы пассионарных «толчков» в зонах разломов, рифтов, краев континентов, которые «с хода» были отброшены Л.Н.[1080]. В одном из выступлений указывалось, что эндогенные источники находятся в непосредственной близости к биосфере (87% на глубине до 60–150 км). В другом докладе правдоподобной причиной «толчков» называлось резкое, стремительное изменение климата[1081].

Согласно взглядам Е. В. Максимова, «чистого» естественника, из девяти пассионарных «толчков» Л. Гумилева пять более или менее совпадают с переломными моментами 1850-летнего ритма, а два — показали отклонения в 150–250 лет. Вывод ученого состоит в следующем: «Переломным моментам 1850-летнего ритма отвечают общециркуляционные перестройки, образование «озоновых трещин» и, как следствие, возникновение пассионарных зон»[1082]. Максимов делает еще более широкий (пусть спорный, но, безусловно, интересный) вывод: «Этническая история человечества определяется совместным действием трех причин: 1850-летним ритмом А. В. Шнитникова, волнами цивилизаций в плане О. Шпенглера и пассионарными толчками Л. Н. Гумилева»[1083].

Парадоксально, что естественники всерьез воспринимают «выход» Л.Н. в их науки[1084], а гуманитарии спорят, не хотят воспринимать то, в чем они совсем не специалисты...

Сам Л.Н. в серьезной книге (в статьях и интервью он менее скромен) довольно пессимистичен, но зато абсолютно честен относительно своих толчков. Он пишет, что гипотеза «пока не может быть строго доказана, но зато... не встречает фактов, ей противоречащих»[1085]. К более критичной оценке склоняется М. И. Чемерисская, опубликовавшая статью в журнале «Восток» в 1993 г. Там она, подводя итог своим рассуждениям, пишет: «Так что

же, Л. Н. Гумилев действительно создал всеобъемлющую теорию, объясняющую законы исторического развития народов? Думается, что все-таки нет. Пассионарность и комплиментарность — одна из попыток объяснить необъяснимое, не более убедительная, чем производительные силы и производственные отношения»[1086].

Академик А. М. Панченко оценивает вклад Л.Н. выше. «Удалась ли Л. Н. Гумилеву та вожделенная «мера», — пишет он, — о которой говорил Аристотель? На мой взгляд, удалась. Во всяком случае, в нынешнем историософском запасе нет идей, которые могли бы конкурировать с теорией этногенеза. Никто не отважится сказать, откуда берутся и куда деваются этносы (если угодно, нации, народы, народности), — никто, кроме Л. Н. Гумилева. А ведь они берутся и деваются»[1087].

Был ли сам автор «теории этногенеза» пассионарием? Л.Н. считал, что этого точно определить нельзя. Где-то в 80-х гг. наши психологи все-таки задались целью найти подобный критерий; они составили гигантский вопросник — 128 вопросов! Получил его и Л.Н. и честно ответил. Результат был неожиданным. Вывод по «сырым данным», сделанный психологом Михаилом Коваленко, был таков: «Отклонений от популяционных данных нет».

Неужели же Л.Н. не был пассионарием? Думается, что-то неладно в методике опроса. Ф. М. Достоевский в «Братьях Карамазовых» говорил о «потребности познания». Для Л.Н., возможно, именно эта потребность была ведущей пассионарной чертой, побудившей его работать в любых условиях, в самых нечеловеческих условиях пытаться творить. Человек, бывший вместе с ним в лагере, вспоминал, что все отбывали срок наказания, день за днем, неделя за неделей, год за годом, а Л.Н. работал «над пассионарной теорией все семь лет день в день нашей совместной жизни в лагере»; «окружающая обстановка — решетки на окнах бараков, конвоиры с собаками, забор с колючей проволокой — его не беспокоила... Все это относилось к мелочам жизни»[1088].

Вспомним письмо из Омлага к матери, письма к В. Абросову; в них страдание почти везде на втором плане, а на первом — ожидание нужных книг, проверка идей, а итог — чемоданчик с рукописью в поезде Омск — Ленинград.

Л.Н. — пассионарий особого рода. Он заслужил право быть первопроходцем в науке труднейшей судьбой своей. Л.Н. писал, что Ньютон отдал свою жизнь, чтобы создать теорию, и «не пролил ни капли семени». Однако в одном интервью он с горечью признался: «Я после себя оставлю книги. Мой визави, кроме книг и статей, оставит после себя дочек. Мы все что-то оставляем»[1089].

Да, механизм пассионарности и физические причины «толчка» были Л.Н. лишь обозначены. Но разве это так мало?

13. Уроки Льва Гумилёва

Сейчас модно славословить новое мышление. Особенно усердствуют те, кто ни по-старому, ни по-каковски думать не умел.

Л. Гумилев

Но бояться этой страны
Мы не станем и в смертный час,
Беспощадный гнев сатаны
Не склоненными встретит нас.

Л. Гумилев

Лев Гумилев умирал вместе со страной. В 1990-м был инсульт, он сильно сдал, плохо работала рука, а надо было править гранки книг, шедших в печать. Ученики помогали, но надо было включаться и самому, он напрягался и работал. При одной из наших последних встреч у него дома даже принял немного коньячку. Но это уже было для него строго ограничено.

Что-то загадочное и даже символичное, связанное с судьбой униженной и умиравшей страны, было в этом ударе судьбы — инсульте. Я узнал об этом после его смерти, узнал из чужих недосказанных слов. Дело было якобы так. Баку, шел 1990-й. В смутное время митингов и ввода войск во взъерошенную азербайджанскую столицу там готовилось издание книги Л.Н. «Тысячелетия вокруг Каспия». Казалось бы, кому какое дело до гумилевских опусов, когда на улице стреляют. Но пассионарии находятся везде. Один из них, ныне работающий на востфаке СПбГУ, вез тогда свинец для типографии. Остановили, подумали, что свинец для пуль. Его схватили и посадили. Л.Н. каким-то чудом узнал об этом, просил ближайшего ученика что-то предпринять, может быть, даже экстраординарное. «Личность Л.Н. опалила учеников», — блестяще сказала Ольга Новикова. Самый близкий — Константин Иванов оказался «самым опаленным»; последовал жесткий разговор Учителя с учеником, суровый, видимо, разговор и... инсульт.

Да, формально Л.Н. был вне политики и много раз объявлял об этом: «Я не политик», «Не считаю возможным заниматься политикой», «Не знаю, что тут делать» и т. д. и т. п. Зато он говорил (и неоднократно), что «знает, чего делать не надо». Не

только знал, но и пытался объяснить, пока был здоров. Об этом свидетельствует настоящий «взрыв» его интервью и «самоинтервью», а также диалогов с вымышленными оппонентами в 1988–1991 гг. Особое место среди них занимает «многосерийное интервью» в «Советской Татарии»: семь бесед с журналистом Альясом Сабировым[1090]. Такого обилия их не было за все предыдущие годы.

Об этом же говорит и его трагикомичный «выход» в МИД СССР. Сам он вспоминал с юмором: «Я как-то читал лекции в МИДе, но кончились они бедой. Я объяснял им, какие у нас могут быть отношения с Западной Европой и ее заокеанским продолжением — Америкой. То, что Америка — это продолжение Европы, они усвоить не могли и считали, что она кончается на берегу Атлантического океана. И еще я им говорил об отношениях с народами нашей страны. Поскольку я занимаюсь историей тюрков и монголов, я знаю этот предмет очень хорошо и поэтому посоветовал быть с ними деликатными и любезными и ни в коем случае не вызывать у них озлобления. Они сказали: «Это нам не важно — куда они денутся!» «И вообще, — сказали они, — мы хотим, чтобы вы читали нам не так, как вы объясняли, а наоборот». Я ответил, что этот номер не пройдет. Они сказали: «Тогда расстанемся», подарили мне 73 рубля и пачку чая. Большую пачку»[1091].

Наивный Л.Н.! Это они — все эти козыревы-шеварнадзе — вели внешнюю политику страны «со знаком наоборот», а за ними стоял «миротворец Горби», в котором Л.Н. поначалу ошибался, лишь потом назвал его обывателем.

Наивный Л.Н.! Он говорил о гибельности европоцентризма, а они молились на Европу и «ее продолжение — Америку»[1092].

Наивный Л.Н.! Он сокрушался, что «Планше и Бонасье вытесняют д'Артаньянов и Атосов», а дело было куда страшнее[1093]. Эту же мысль об утрате пассионарности по-другому выражал Александр Зиновьев, ужасавшийся буйству бездарностей в России: «В советский период была бездарность, но она как-то сдерживалась. Ее можно было игнорировать, ... сейчас невозможно потому, что эти сорняки заполонили все»[1094].

Но если бы перед нами были Планше и Бонасье... Все было несравненно гаже и страшнее: страной правили разрушители суперэтноса. Л.Н. это особенно хорошо понял после лекций в МИДе; он рассказывал ученикам, что «аудитория поразила его своей косностью и тупостью»[1095].

Лукавил, конечно, Л.Н., говоря, что он «вне политики», пришлось ему на старости лет пересмотреть свою позицию: «ближе XVIII века не заходить». Правда, в науке он ее держался,

обрывая все изыскания на эпохе Петра I. Кстати сказать, Л.Н. приложил руку к разоблачению «петровской легенды» — о мудром царе-преобразователе, прорубившем окно в Европу и открывшем Россию влиянию единственно ценной западной культуры и цивилизации. Правда, в последней своей книге он слегка амнистировал Петра, и то потому только, что тот расширил империю. Но все же не мог Л.Н. удержаться от едкого замечания по поводу того, что «птенцы гнезда Петрова» из-за снижения пассионарности были сплошь «карьеристы и казнокрады»[1096].

Это было в книгах, а в жизни приходилось приближаться к новейшему времени, отказываться от «железных принципов». Так, например, он высказывался о геополитической стратегии России конца XX в.; правда, слова «геополитика» по-прежнему избегал, заменяя его «глобальной историей»[1097]. Говорил Л.Н. о необходимости сохранить все постсоветское пространство, ибо здесь «народы связаны друг с другом достаточным числом черт внутреннего духовного родства, существенным психологическим сходством и часто возникающей взаимной симпатией (комплиментарностью)»[1098].

Показательно, что в последних интервью четко звучал мотив евразийства, более того — спасительности евразийства для России, и новое противопоставление: уже не «Запад — Восток», а шире — «Запад — не-Запад». «История общения с западным этносом однобока, — резюмировал Л.Н., — мы Запад любим, а он нас не любит». И когда ему говорили что-то о разрядке, об угрозе войны, он отвечал: «Есть вещи пострашнее войны. Есть бесчестие рабства[1099].

События в мире во многом подтверждали актуальность евразийства. Оно вряд ли вышло бы из анабиоза при всех усилиях Л.Н., если бы не было востребовано жизнью — вакуумом в идеологии «новой России».

Его возрождения панически боялся Запад. Отсюда и «пророк» А. Янов — одна из гнуснейших фигур импортно-русскоязычной публицистики, и бешеная злоба эмигрантской «Русской мысли» с ее «страшилкой» — русским фашизмом[1100]; отсюда — прямые угрозы именитых политологов Запада. Збигнев Бжезинский, говоря о необходимости изолировать имперские тенденции России, писал: «Мы не будем наблюдать эту ситуацию пассивным образом. Все европейские государства и Соединенные Штаты должны стать единым фронтом в их отношениях с Россией»[1101].

Высказывались в таком же плане и официальные лица администрации США, в частности заместитель госсекретаря и «специалист по нам» Строуб Тэлботт. Он грозил русским: «Не

вздумайте повторять путь Александра Невского». Как будто был уполномоченным псов-рыцарей с Чудского озера[1102].

Конечно, есть и другие, более трезвые оценки, к тому же и более компетентных людей. Так, И. Валлерстайн (США), широко известный капитальными работами по истории и геополитике, предсказывает, что мир следующих пятидесяти лет обещает быть куда более жестким, чем мир «холодной войны», из которого мы вышли. Согласно его представлениям, «холодную войну» в высшей степени режиссировала, в высшей степени сковывала забота двух сверхдержав о том, чтобы между ними не вспыхнула ядерная война[1103].

Евразия — в самом широком смысле (Континент Евразия) — на подъеме, отнюдь не спокойна, отнюдь не так предсказуема, как раньше. Это пугает Запад. Кажется, «призрак Евразии» начинает бродить по странам «золотого миллиарда». Мечта Запада об униполярном мире во главе с США не стала реальностью. «Неполитик» Лев Гумилев перед смертью прогнозировал: «Евразийский полицентризм предполагает, что таких центров много. Европа — центр мира, но и Палестина — центр мира, Иберия и Китай — то же самое»[1104]. В заявлениях России и КНР (1997, 1999) современный мир трактуется как полицентрический[1105].

Безальтернативность евразийства для России все более становится очевидной. «Все остальные модели дальнейшего политического развития, — считает А. Дугин, — в конечном итоге приведут к процессу постепенного евразийского возрождения, к нормализации исторического курса, к осознанию необходимости для России уникального культурного, геополитического, социально-экономического пути»[1106].

Евразийский континент, единственная в мире супер-континентальная держава — «Большое пространство» все равно заставит признать и реализовать его единство, оно выше любой национальной идеи, оно выше для всех этносов России. Самые простые, почти тривиальные мысли в условиях безумия, охватившего страну зоологического национализма, о котором говорил еще С. М. Широкогоров в 20-х гг., могут быть абсолютно гениальными. В беседе с А. Сабировым в 1990 г. Л.Н. «выдает» такую формулу: «Знаете, внутри государства тоже необходима международная политика»[1107].

Страна-то у нас особая — суперэтнос, мозаичное единство. «Мозаичность», согласно Л.Н., «поддерживает этническое единство путем внутреннего неантагонистического соперничества»[1108]. Он отвергал «политизированный этноцентризм», отвергал распад страны и в ответ на

провокационный вопрос: «Распад — благо?» — утверждал: отнюдь нет, жить «порознь — не касается государственного устройства»[1109]. «Лично я, — писал Л.Н., — за проверенный веками вариант устройства страны: за единую Россию, в которой было бы одно правительство, в одной столице — Москве. Местные бюрократии не нужны»[1110].

Как в воду глядел Л.Н., а ведь «самостийники» тогда еще не показали страшного своего лика. Трудно было в ту пору и предвидеть, что Москва уже не совсем столица, а вскоре совсем не столица, не Центр, а нечто другое. Как объяснить научную (и вполне серьезную) конференцию в Новосибирске (1995) под хлестким названием «Социально-экономические аспекты переноса столицы из Москвы»? А. Зиновьев писал, что уже сейчас Москва не является национально русским явлением. Хотя в основном тут живут русские, колоссальный «Гонконг» уже сложился в Москве, а «гонконги» будут существовать и уже существуют за счет основной массы России[1111]. Не похожи ли эти «гонконги» на гумилевские «химеры»? Авторы одного аналитического обзора характеризовали отношение регионов к Москве как зависть, перешедшую в ненависть.

Казалось бы, Л.Н. имел право осуждать ту прошлую, уходящую страну, географию которой он изучал по лагерям — от Беломорканала до Караганды-Норильска-Омска. Но, удивительное дело, у него хватило объективности подняться до других оценок; более того, опровергать новую официальную ложь. Не заразился он тем «обличительным синдромом» конца 80-х— начала 90-х, которым упивалась «творческая интеллигенция». Эта ложь мутным потоком выплескивалась с голубого экрана, заполняла газеты, лилась с трибун съездов и конференций. Вот ее основные направления.

Ложь № 1: никакого добровольного объединения народов в советские годы не было, была сплошная «империя зла», «тюрьма народов», «большой ГУЛАГ». Неожиданным для многих (кто пожелал заметить) был ответ Л.Н.: «В пору моей молодости СССР как раз и был Россией. Сейчас он перестает быть Россией именно потому, что разваливается, а развал отнюдь не самый удачный способ этнической политики». Это было сказано в интервью, озаглавленном жестко: «Объединиться, чтобы не исчезнуть»[1112]. Начинался 1991 г.; еще не было Беловежской Пущи....

Пламенный патриот своей страны, Л.Н. подчеркивал нежелание народов «отложиться», то есть уйти из России даже в самые смутные годы. Именно этого не могут ему простить яновы: как это он — неоднократно репрессированный, униженный в годы сталинизма и полузапрещенный позже — не с ними,

охаивающими Россию. А Л.Н. говорил о другом, о нежелании народов «отложиться» (то есть уйти из России) даже в самые смутные годы. Шла гражданская война. Железные дороги, соединяющие юг страны с Москвой, были перерезаны: одна Дутовым, а другая — муссаватистами в Азербайджане. «Тем не менее, — подчеркивал Л.Н., — народы Средней Азии не сделали даже попытки уйти от России»[1113]. Князь Н. Трубецкой 70 лет назад отмечал, что между народами Евразии постоянно существовали и легко устанавливаются отношение некоторого братания, предполагающего существования подсознательных притяжений и симпатий, а случаи «подсознательного отталкивания и антипатии» в Евразии очень редки[1114]. Согласно Гумилеву, это комплиментарность.

Ложь № 2 (как бы дополняющая и «уточняющая» первую): Россия всегда была империей, ее путь — это какой-то «антипуть». Многократно и задолго до эпохи развала Л.Н. гневно выступал против конвейера очернения истории русского и других народов[1115]. Отнюдь «не по плану» образовалось в Евразии государство, занявшее шестую часть земной суши, а русский народ вошел в контакт с более чем сотней этносов. Стремление к объединению, как утверждал Л.Н., было связано с пассионарным подъемом народов Евразии, а распад происходил по причине упадка пассионарности. Каждый распад «уносил множество жизней и причинял много горя»[1116].

Л.Н. был реалистом и считал, что без оружия и без захватов не обошлось и не могло обойтись. Объединить и удержать под единым началом столь великое разнообразие невозможно одним принуждением, без добровольности и согласия. Правда, Гумилев был не всегда прав, когда утверждал, что народы Евразии к нашему времени уже в основном нашли свои территориальные государственные границы, сселились в некие конгломераты этносов, и произвольно разорвать их нельзя. Принципиально важно, по-моему, всем нам, россиянам всех национальностей, понять, что не Запад и не Восток, а именно Россия как общее, собирательное суперэтническое, если хотите, понятие, является матерью и истинным домом населяющих ее народов[1117].

Завоевания и захваты, конечно, были, но больше было другого. Л.Н. любил приводить пример вхождения Грузии в состав России: «Долгое время первые Романовы — Михаил, Алексей, даже Петр — не хотели принимать Грузию, брать на себя такую обузу. Только сумасшедший Павел дал себя уговорить Георгию XIII и включил Грузию в состав Российской империи. Результат был таков: в 1800 году насчитывалось 800 тысяч грузин, в 1900 г. их было 4 миллиона»[1118]. В другом интервью

Л.Н. высказался еще более выразительно: «Русские войска защищали их от турок, персов, кавказских горцев — чеченцев. Русские сражались, грузины пили кахетинское и очень мирно жили вместе»[1119].

В 1992 г. я получил письмо из Закавказья. Армянский профессор, мой друг, писал: «У нас холодно, у нас голодно, мы без света, вот что дала горбачевская перестройка. Видимо, путь к независимости проходит через ад». Да, в советские годы Армения жила неплохо, если в начале века там жило 1,5 млн армян, то в 1989 г. — 3 млн. Не было никаких «оккупантов». Более того, доля русских с 4% в 1939 г. снизилась до 1,6% в 1989. «Имперское устройство» России — СССР позволило армянам сохранить и упрочить свою национальную самобытность. Через 10 лет число армян, покинувших родину, достигло 1 миллиона![1120]

Л.Н. многократно подчеркивал такую черту русских, как умение понимать и принимать другие народы. Это подтверждено историей: ведь опорный слой царской России во второй половине XIX в. лишь на 45% состоял из православных. Так называемые «инородцы» (и это не было уничижительным словом) поднимались на самые высоты иерархической лестницы России, начиная с татарина Симеона Бекбулатовича, которого Грозный, удаляясь в Александровскую слободу, оставил вместо себя на троне, и кончая армянином Лорис-Меликовым — по существу правителем России на рубеже XIX — XX веков[1121]. «Что бы ни говорили, хоть Чаадаев, хоть Бердяев, — писал Л.Н., — наша история не более кровава, не более мрачная, не более катастрофичная, чем история той же Европы, Ближнего и Среднего Востока или Китая, где при этнических потрясениях уничтожалось две трети, три четверти и даже, эпизодически, девять десятых населения (Китай, VI в.)»[1122].

Все это абсолютно современно и верно, все это не какое-то чудачество далекого от жизни ученого и подтверждается позициями и словами очень разных, но авторитетных и абсолютно современных людей. Сергей Кургинян пишет: «Строго говоря, СССР равно «империя минус империализм» или еще лучше: «Империя — форма существования цивилизации, строящейся на наднациональном фундаменте»[1123]. Как подчеркивал Юрий Жданов, в отличие от империй Россия не имеет этно-класса, т. е. экономически и политически господствующей нации; это государство в равной степени русское, татарское, бурятское, башкирское и т. д.[1124].

Все это как-то ужасно быстро забылось, когда в эпоху «перестройки» начали лихо отрицать дружбу народов. Как будто все, что делалось на этот счет и не существовало: дней культуры

народов СССР в Москве и столицах республик, огромных тиражей классиков национальных культур, да и лучших современных писателей и поэтов. Между тем одним из самых ностальгических мотивов по Союзу остается у людей возможность сесть в поезд (да и самолет был доступен практически всем) и выйти «на дальней станции» любой из республик, выйти и встретить если не родных, то друзей или коллег, увидеть открытые лица, и уж точно — не вражду. Недаром именно в эти годы Л.Н. писал: «Во-обще дружба народов — лучшее, что придумано в этом вопросе за тысячелетие». За тысячелетие![1125]

«Перестройка» и «реформы» поставили под сомнение, если не перечеркнули, многие, казалось бы, бесспорные положения; еще бы — одна чеченская бойня говорила о стремлении Центра к типично имперской политике, к силовым, страшным решениям. Действия российских властей подорвали у многих и веру в евразийство как реальную концепцию «международной политики внутри страны», подорвали даже там, где авторитет Л.Н. был и остается бесспорным, в частности в Татарстане[1126]. Видный татарский историк, советник президента Татарстана — Рафаэль Хакимов сформулировал это так: «Современное евразийство представляет из себя конфликтогенную идеологию, ибо, не выдвигая общих ценностей для различных народов и стран, оно тем не менее говорит о восстановлении государства в старых границах. В таком случае ей не на что уповать, кроме грубой силы»[1127]. Правда, при этом почему-то представителем евразийства у него фигурирует журналист Денис Драгунский, никак не замеченный в «Гумилевстве» или евразийстве.

Вина политиков современной России (грех сказать, национальных политиков) абсолютно очевидна: они не восприняли подлинного духа евразийства, абсолютно неспособны выдвинуть общие ценности для различных народов России, не говоря уж о СНГ.

Ложь № 3: «Вас здесь не стояло», как шутливо говорила когда-то А. Ахматова. В серьезном варианте ложь такого рода состояла в исконности тех или иных земель для «исконного же» народа. Мы единственные и коренные, все остальные — мигранты, «покупанты», оккупанты и вообще «не граждане» (в балтийском варианте геноцида). Ложь эта дошла до того, что чтимая интеллигентами газета всерьез писала, что «доля исконно русской земли составляет (в РФ) всего несколько процентов!»[1128].

Л.Н. утверждал, что исконных земель не бывает. Каждый народ-этнос возникает в историческом времени, завоевывает или занимает территорию, меняет на новую, а ему кажется, что он всегда там жил. Л.Н. опровергает это заблуждение: всегда никто

не жил[1129]. В другом интервью Л.Н. уточнял: «Навечно закрепленных за каким-то народом земель и территорий не существует»[1130].

В 90-х гг. лживые мысли и спекуляции на национальных мотивах были не у народов, а у так называемых «политических элит», а еще проще и грубее — у корыстного сословия, современных князьков и баев (по Л. Гумилеву), у серо-безграмотной «новой образованщины» России (по А. Солженицыну).

«Желательно, — писал Л.Н., — чтобы политики знали историю, пусть в небольшом, но достаточном объеме»[1131]. За доказательствами правильности подобного требования далеко ходить не надо: высшее лицо страны искренне считало, что граница Чечни с Дагестаном — это не одна, а почему-то ... две границы, а один из экс-премьеров заявлял, что «Россия занимает основную часть Европы»[1132]. А. Солженицын сказал про таких: «Они мнятся себе на исторических государственных высотах, на коих не состоят»[1133]. По национальному вопросу он высказался вполне по-гумилевски: «Страна многонациональная в трудные моменты своей истории должна иметь опору в поддержке и одушевлении всех своих граждан. Каждая нация должна иметь убежденность, что единая защита общих интересов государства жизненно нужна также и ей»[1134].

Ложь № 4: Распад СССР был неизбежен, а произошел вследствие экономического краха социализма в «холодной войне» с США. «Колбасное объяснение» (сколько сортов «у них», а сколько у нас) не удовлетворяло Ученого, и он отмечал, что «те, кто ненавидели друг друга, ненавидели и раньше, когда в магазинах всего было достаточно»[1135].

Ложь № 5: «Империя зла» не имела идей, кроме как ложных (строительство коммунизма, интернационализм). «Нет, имела!» — возражал Л.Н. Однажды, в пору всеобщего охаивания марксизма, он даже спросил воображаемого оппонента: «Не понимаю, зачем вам оспаривать теорию исторического материализма?»[1136]. Необходимо заметить, что сказано это было в период охаивания марксизма. Но вместе с тем Л.Н. жестко критиковал то в советской политике, что понимал куда лучше власть предержащих — этническую политику, говоря его словами. «Все, что делал Сталин, было упрощением этнической системы. А мы сейчас расхлебываем»[1137]. Истинные корни межнациональных конфликтов заключались в шаблонизации решений: совершенно бессмысленно переносить прибалтийские особенности на Чукотку или Памир. «Право выбора пути, — многократно повторял Л.Н., — всегда принадлежит этносу»[1138].

Очаги национальных конфликтов вспыхивали в конце 80-х — начале 90-х гг. по всей периферии России: Карабах, трагедия Приднестровья, стычки осетин с ингушами. И они не только не гасились Москвой, она как будто подбрасывала горючего туда, где тлела вражда. Апофеозом стала война в Чечне (1994–1996 гг.).

Начиналось иногда с малого, начиналось еще в «горбачевскую эпоху». Атака сначала пошла на русский язык. Депутатша Союзного парламента (еще был СССР), а позже — министр по делам национальностей Эстонии (!) заклинала тогда: «Двуязычие — это проклятие!» Тихий национализм был немногим легче агрессивного: в «освободившейся» Балтии унижали и преследовали «не граждан», да и «казахизация» Казахстана, где ⅓ населения не владеет государственным языком, тоже начиналась с этого. Все это выбрасывало метастазы и внутрь России: если где-то в «субъекте» РФ имеется 10–15% иного народа, а остальные русские, то эта область уже называется не по-русски (например, Хакассия, где 11 % хакасов и т. д.).

Я не мог рассказать Льву Николаевичу о том, что видел своими глазами в Латвии еще до развала Союза. Не мог, так как был там в 1990-м, когда он сильно болел. А рассказать было что. Одно дело воспринимать что-то по газетам и совсем другое — видеть своими глазами. Я ездил туда не отдохнуть на Рижском взморье (оно было уже страшно пустынным, каким-то брошенным и предгрозовым). Мы летели в Ригу группой народных депутатов СССР по жалобам русских военных на их унижения уже в то время, еще не «самостийное». Им издалека верилось, что Москва еще может стать действенной защитой, но увы...

Везде царило запустение, лишь Рига была как-то лихорадочно оживлена. Самым страшным было ожесточение людей, зоологический национализм (прямо по С. Широкогорову) и ответная злоба «русскоязычных». Вот два характерных примера. Мы проехали от Риги в Западную Латвию, чтобы попасть в Талсу — маленький, ничем не примечательный городок, откуда шли жалобы в ВС СССР. Недалеко был другой провинциальный городок — Скрундс. С) и но печально знаменит геростратовой акцией властей, подорвавших там радиолокационную станцию слежения, предназначенную для предупреждения северо-запада СССР от воздушных или ракетных ударов.

В Талсе стоял небольшой гарнизон, его офицеры показали нам фотографии, сделанные 1 сентября на входе в местную школу. Взрослые дяди (из местных) с плакатами пикетировали школу, чтобы туда, не дай Бог, не проникли «русскоязычные» малыши! Можно ли было поверить в такое злодейство? Но дети

действительно не прошли, и каждый день автобус из гарнизон вез ребятишек за 80 км в ту школу, где директор-латыш не поддался уговорам «не пущать».

Поздно вечером в клубе проходила встреча с гарнизоном; не с начальством, а со всеми: их было не так уж много здесь, в Талсе. До сих пор я помню свой стыд и бессилие, когда нечем было ответить на вопрос молоденького лейтенанта: «А что мне делать, если однажды вечером дочь не вернется на автобусе?» Мы рассказали обо всем этом в Москве, отдали даже ту страшную фотографию «пикетчиков» у школы. Был поставлен в известность М. С. Горбачев. Но в ту пору главного «перестройщика» невозможно было уговорить даже снять телефонную трубку и наорать на кого-либо из «локальных шефов». Он уже был в трансе, а страна — в агонии.

Второй эпизод, убедивший меня в абсолютно разном, контрастном менталитете «нас» — православных и «их» — католиков и протестантов, произошел в последний вечер в Риге. Происходила встреча в Доме офицеров, встреча резкая, бурная. Весь их законный гнев на Москву обрушился на нас. Капитан, который должен был проводить нас до гостиницы, пришел раньше, минут за 20–30 до конца встречи, и ждал нас на улице, курил. За это время его больше 20 раз обозвали фашистом.

Еще страшнее то, что в конце 80-х — начале 90-х гг. сделали все для фальсификации, «примитивизации» и очернения отечественной истории. Именно в эти годы пошел какой-то вал учебников, и прежде всего по истории, больше всего по истории, хуже и чаще всего по истории. Так, в учебнике А. Кредера «Новейшая история. XX век» нет ни параграфа, ни абзаца, ни фразы об Октябрьской революции, но в нем говорится, что «СССР стал соучастником развязывания второй мировой войны»[1139]. Нравится им, «новым авторам», XX век; в учебнике И. Долуцкого написано, что угнетаемыми национальными меньшинствами было 57% населения Российской империи — все от белорусов до киргизов[1140]. Число таких примеров можно увеличить до бесконечности. Школьная история стала полем для серых и злобствующих дилетантов, возможностью неплохо подзаработать. Случайно ли?

Думается, что была и некая направляющая рука. Во-первых, это «накат» с Запада — стремление «евроинстанций» стандартизировать школьное преподавание истории в духе «общечеловеческих ценностей» и «общеевропейского дома». Ведь в Литве уже учатся по учебникам, написанным в Норвегии и Швейцарии, а на Украине — по французским[1141]. Во-вторых, и это еще страшнее (европейскому «накату» еще можно как-то

противостоять), — в России достаточно влиятельны силы, заинтересованные в примитивизации и политизации (в нужном духе) преподавания истории, лишении народа исторической памяти.

Известный русский писатель Михаил Алексеев, возглавлявший журнал «Москва», вспоминает, как пришлось бороться за Николая Михайловича Карамзина, против которого встал А. Н. Яковлев! К тому времени Горбачев сделал его главным идеологом. Именно из комитета Яковлева на Старой площади началась атака, когда там узнали о решении полностью опубликовать великий труд Н. М. Карамзина «История государства Российского». Как рассказывает Алексеев, при очередном звонке из ЦК он спросил сотрудника идеологического отдела, Козловского, которому два давних друга А. Яковлев и В. Медведев поручили истязать журнал грозными звонками: «Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, почему сотни тысяч наших с вами соотечественников радуются Карамзину, а ваше начальство так испугалось?» Сперва он услышал в трубке только частое, прерывистое дыхание. Но наконец Козловский проговорился: «Мало разве у нас шовинистов? Теперь вы своим изданием умножите их число!»[1142] Итак, Карамзина «наверху» решили «не пущать», поскольку не нравится он «демократам».

Причины этого понятны, если сравнить некоторые высказывания великого русского историка с планами «прорабов перестройки». Н. М. Карамзин в предисловии к «Истории государства Российского» писал: «Не надобно быть русским: надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предание народа, который смелостью и мужеством снискал господство над девятой частью мира, открыл страны дотоле никому неизвестные, внеся их в общую систему географии, истории, и просветил Божественною верою, без насилия, без злодейств, употребленных другими ревнителями христианства в Европе и Америке, но единственно примером лучшего»[1143].

Николай Михайлович говорил о Петре I, что тот сделал нас подобным европейцам, и после этого историческая связь прервалась. Нужен ли такой Карамзин «перестройщикам», рвавшим связь со всей историей России — вопрос, видимо, риторический. Не нужен был им и Л. Гумилев, всегда выступавший против бездумной и бездуховной вестернизации. В этих условиях распада была позитивная задача, может быть, главная — пробудить историческую память России, говоря словами одного из теоретиков евразийства П. Сувчинского[1144].

Именно поэтому огромное значение имеет «прорыв Л.Н.» после его смерти в систему образования благодаря выходу в 1996

г. его книги «От Руси до России» в качестве учебника истории для 8–11 классов. Пусть это первая ласточка, пусть всего 25-тысячный тираж, но это прорыв Ученого в ту сферу, которую, казалось, захватили дилетанты и хулители русской истории. Это важный урок Льва Николаевича, урок «на страну».

Еще раньше ту же книгу, вышедшую еще не в качестве учебника параллельно в Москве и Санкт-Петербурге, «читали в вагонах метро, искали в книжных магазинах и на развалах, о ней спорили студенты, на нее опирались школьники, готовясь к вступительным экзаменам»[1145]. Я сознательно цитирую этот, вроде бы ничем не примечательный текст, но для меня он весьма важен уже тем, что принадлежит заведующему кафедрой этнологии СПбГУ, той самой кафедры, которая при жизни Л.Н. не очень-то его признавала. Еще раньше, до «учебнического рождения» книги, меня спрашивали школьные учителя, почему они вынуждены преподавать историю по посредственным учебникам, а не по Гумилеву? Ответить было нечего.

Сейчас специалисты-этнологи с удовлетворением отмечают, что «главная причина широкой популярности книги «От Руси до России» в том, что автор прямо поставил в ней задачу рассказать русскому человеку о нем самом, показать, как формировался современный русский этнос»[1146]. Парадокс, но это было сделано впервые.

Дело не только в русском этносе. Задачи просвещения (в высоком смысле этого слова) смыкаются здесь с подлинной национальной политикой. Давний знакомый и почитатель Гумилева, Лев Аннинский, абсолютно верно отмечал, что если для русских начало истории — приход славян на Днепр, Ильмень и Волгу, призвание варягов; Русь Новгородская, Русь Киевская, Русь Владимирская, но тогда татары резонно спрашивают: «Вы историю чего пишете? Историю племени, пришедшего в степь из Карпат, потом переселившегося «из степи в лес» и влившегося в племена, давно тут живущие? Но почему именно этого племени?»[1147] Правильный вопрос, и, на мой взгляд, в книге Гумилева дан на него правильный ответ: «История Золотой Орды была в тот момент частью мировой истории, а история раздробленных и грызущихся между собой русских княжеств[1148] была частью истории татарской. Русские благодаря Золотой Орде оказались вовлеченными в мировые процессы, они сумели стать наследниками Золотой Орды; в том же, как теперь говорят, «вмещающем ландшафте они создали великое государство»[1149]. Еще резче эту мысль сформулировал татарский историк Рафаэль Хакимов: «В России живут не только русские, но и десятки других народов, имеющих зачастую более древнюю историю, чем

русские»[1150].

Если бы русские, да и татары, в 80-х гг. учились по книге «От Руси до России», подобных вопросов могло бы не быть. Задача просвещения россиянина, увы, пока не под силу тем, кто владеет истиной, но не владеет голубым экраном. Яд русофобии действует, хотя он и не овладел еще другими народами. Новые феодалы зачастую выступают даже с предложениями об укреплении СНГ, а то и, об «Евразийском союзе». Тогда вспоминается 1991-й, «послепутчевый» Верховный Совет (еще СССР), речь казахского лидера (бывшего партийного лидера, уже Президента, но еще Казахской ССР!). Цитирую по чудом сохранившемуся у меня пожелтевшему бюллетеню: «Для меня очевидно, что обновленный Союз уже не может быть федерацией. Хватит бежать вдогонку за ушедшим временем... Не должно быть никакого союзного Кабинета министров, никакого союзного парламента, ничего, кроме договорных отношений... Сегодня наступил момент истины»[1151]. Печатный текст не может передать эмоционального напряжения, того нажима, с которым все это было продекламировано. Так какой же Назарбаев искренен: образца 1991 г. или Назарбаев-евразиец, дающий своим указом имя Л. Гумилева университету в новой казахской столице? Ответ неясен, но символично, что популярности сегодня ищут на путях приобщения к евразийству.

Может показаться, что это — самоутешение, миф; ведь не помешала же гумилевская правда ни погромам русских в Туве, ни отстрелу наших военных в Таджикистане, ни тихому «выдавливанию» русских из Казахстана, — «очага евразийства».

Русский народ растерялся. Он какой-то сверхтерпеливый, опущенный, зараженный синдромом жертвы. Страшные итоги дал недавний социологический опрос в Санкт-Петербурге, причем это был частный опрос, не из тех, что охотно рекламируются СМИ. 70% опрошенных ответили, что чувствуют себя жертвами «реформ». Особенно страшны эти итоги потому, что проводился опрос среди митингующих, т. е., казалось бы, самой активной части россиян[1152], народа, все более становящегося просто населением.

Значит, 70% у нас — субпассионарии? Значит, все мы в стадии обскурации? Формулы эти рассчитаны Л. Гумилевым и хотя бы позволяют установить диагноз. Грустный, но верный? Оптимисты, правда, считают, что «у русских тяжелая фаза, фаза надлома»[1153]. Согласно Л.Н., в России надлом начался в XIX в. Проявлением его стали кровавые катаклизмы начала XX в., особенно гражданская война. Вообще же, надлом — характерный этап в любом этногенезе, наступает примерно через 600 лет после

его начала. У нас не снижение пассионарного напряжения (какое уж там снижение, если нет реакции ни на что?), а фаза обскурации.

Понятно, что не хочется быть в обскурации, ведь потом легко стать и реликтом. Тем не менее многие симптомы обскурации, как мне кажется, у нас налицо. Л.Н. писал об упадке Римской империи, об уйгурах «в ареале остывающей пассионарности»[1154]. Там много колоритного и специфического. Если же выделить «сухой остаток» из гумилевского описания фазы обскурации, то получим пугающе знакомую картину:

— Мало становится жертвенных людей, идет быстрая утрата пассионарности этнической системы.

— Растет доля субпассионариев, система превращается в «царство субпассионарных теней», наступают «сумерки цивилизации».

— Все становится продажным, а грабеж — повседневным явлением.

— Дисциплина в армии стала мечтой.

— Расцветают гадания, а религия уже обременительна.

— Культ влияния соседей растет, и честолюбивые претенденты на власть все чаще привлекают иностранцев.

— Они не могут создать оригинальное мировоззрение, близкое и понятное народу, ибо для этого нужен высокий уровень пассионарности.

— Всем становится всё равно.

Так и хочется подставить российские «ответы-аналоги» в этот «римско-уйгурский» перечень: пассивность народа, кредиты МВФ, внешний вид столиц — Невского, Тверской, лихорадочный поиск национальной идеи, засилье рекламы на ТВ и т. д.

Жизнелюбы-субпассионарии как будто твердят «россиянину»: «Будь таким, как мы!», или «День, да мой!» Прекрасный ответ дал на это Л. Гумилева: «Жить становится в чем-то легче, но противнее».

Больше шести лет его нет на Земле, а формулы и слова его работают, книги живут и даже размножаются. Поразительно: в 1998 г. в списке «интеллектуальных бестселлеров» стоит «История народа хунну» в двух томах[1155]. Поразительно потому, что это первая гумилевская книга, а значит — весьма сложная, совсем «не популярная».

Ежегодно проходят «Гумилевские чтения» в Санкт-Петербурге. Открываются они в день рождения Л.Н. 1 октября в Петровском зале университета, там где Л.Н. проработал тридцать лет своей жизни. В 1998 г. москвичи провели «Вторые Гумилевские чтения», собравшие небывало представительный

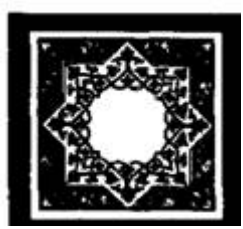
состав. Три дня до вечера слушались доклады, наряду с заслуженными «львоведами» выступило и много новых «гумилевцев», особенно естественников. То, что раньше многократно подвергалось легковесной критике непрофессионалов, сегодня зачастую воспринималось как само собой разумеющееся. Увы, там же было констатировано, что в сегодняшней России «все формальные Гумилевские признаки антисистемы налицо»[1156].

Значит, при всех наших бедах, при всей мнимой недейственности «уроков Гумилева» можно вспомнить слова его знаменитой матушки, сказанные, правда, совсем по другому поводу[1157]: «Лёва живет теперь на необъятных просторах нашей Родины!» Ныне эта, случайно брошенная фраза обрела другой, куда более значительный смысл.

Воспоминания о Л. Н. Гумилёве

История

В чужих словах скрываются пространства
Чужих грехов и подвигов чреда.
Измены и глухое постоянство
Упрямых предков, нами никогда
Невиданное. Маятник столетий,
Как сердце, бьется в сердце у меня.
Чужие жизни и чужие смерти
Живут в чужих словах чужого дня.
Они живут, не возвратясь обратно
Туда, где смерть нашла их и взяла,
Хоть в книгах полустерты и невнятны
Их гневные, их страшные дела.
Они живут, туманя древней кровью,
Пролитой и истлевшею давно,
Доверчивых потомков изголовья.
Нас всех прядет судьбы веретено
В один узор; но разговор столетий
Звучит, как сердце, в сердце у меня.
Так я, двухсердый, я не встречу смерти,
Живя в чужих словах чужого дня.
Л. Н. Гумилев



Н. В. Гумилёва
Воспоминания

С Львом Николаевичем я познакомилась совершенно неожиданно, в 1965 году, у нашего общего друга — художника Юрия Матвеевича Казмичева. Он был петербуржец и еще до войны дружил со Львом. Когда Лев очень голодал, то иногда забегал к Юре попить чайку и позировал ему (за что Юрий Матвеевич иногда даже что-то платил). Но еще больше Льва привлекала возможность побеседовать с братом Юры —

Михаилом Матвеевичем — высокообразованным человеком, замечательным переводчиком с испанского и португальского, который хорошо знал поэзию и историю. Во время войны, в эвакуацию Юра попал в Москву, потом женился и стал москвичом.

Однажды Юра позвонил мне и сказал, что к нему приезжает друг, которого он не видел, наверное, лет пятнадцать. Это замечательный человек, умница, доктор наук. Юриной жены Оли в тот момент не было в Москве, и он попросил меня помочь устроить небольшой стол для гостей.

Я, конечно, согласилась. Испекла небольшой пирог и приехала к вечеру в мастерскую Юры, куда-то на окраину города, организовала ужин, и мы стали ждать гостя. Было еще несколько приглашенных — художников и ученых.

Когда Юра сказал мне, что его друг — сын Ахматовой и Николая Степановича Гумилева, на меня это не произвело никакого впечатления. Я, конечно, слышала об Ахматовой (у нас дома, у папы, была даже книжечка ее стихов), но мне был интересен именно друг Юры — такой, по его словам, замечательный и талантливый человек. А то, что он сидел 14 лет, было для меня вообще поразительно, как своего рода эталон трагичности и героизма.

Мы сели за стол в мастерской — небольшой длинной комнате, где Юра работал. Я сидела в конце стола, откуда мне была видна дверь. И вот она открылась, и перед нами предстал человек с очень светлым и детским выражением лица, излучающий доброту. Одет он был в короткий пиджак, из рукавов которого выглядывали манжеты рубашки. Но я прежде всего обратила внимание на лицо: какое удивительное светящееся лицо! Он галантно поклонился, сел с нами за стол, очень легко включился в общий разговор, стал сразу что-то рассказывать.

Во время той первой нашей встречи Лев говорил о проблемах со «Словом о полку Игореве». Д. С. Лихачев поручил ему объяснить монгольские слова, которые встречались в «Слове», а когда Лев чем-то занимался, он уходил в этот вопрос весь целиком. Он рассказывал о том, что только в XIII веке на Руси появились татаро-монголы, а в XII веке (когда, по общепринятой версии, было написано «Слово») о монголах еще не было и слуха. И он передвинул время написания «Слова» с 1187 года на более поздний срок — на 1250-й год. Ну конечно, все возмутились: как же так?! Ведь датировка «Слова» — уже устоявшийся факт! Особенно воспротивился Б. А. Рыбаков. Лихачев был более гибок, он сказал: «Мне кажется, что верна моя версия, но и Гумилев имеет право на свою трактовку». Когда Лев нам все это

рассказывал, мы слушали раскрыв рот. Потом задавали вопросы. И вот какая особенность меня тогда поразила: Лев Николаевич говорил понятно и уважительно с любым слушателем, даже с самым некомпетентным, и о сложных вещах рассказывал так, что все было понятно.

Так мы познакомились, и, мне кажется, я сразу в него и влюбилась. Я не могла от него глаз оторвать, только на него и смотрела: добрейшее лицо, но при этом он часто уходил в себя (глазами вроде смотрит на тебя, но чувствуешь, что он где-то далеко). Он даже мог что-то при этом говорить, но думал о своем: у него в голове все время шел мыслительный процесс.

Лев через несколько лет после нашей первой встречи, мне рассказывал: «Я посмотрел и подумал: О, какая красивая москвичка! Ну, тут не «обломится». У нее, наверное, тьма поклонников. Так что я даже и не рассчитывал».

Но наш Юра Казмичев очень хорошо относился к нам обоим и считал, что хорошо бы нас соединить, и стал своего рода свахой. Через какое-то время после той первой встречи Юра опять позвонил мне и сказал, что приезжал Лев Николаевич и спрашивал: «Как там поживает наша красивая москвичка?» Он, значит, меня запомнил. Но меня в то время не было в Москве. А на третий раз, уже в 1966 году, когда он приехал, то позвонил мне и сказал, что скоро у него выйдет новая книга и он привезет ее мне в подарок. То есть у него появился предлог повидаться, и я тоже была этим довольна. Я дала ему по телефону свой адрес. Он очень обрадовался.

Это было трудное для Льва Николаевича время. В марте 1966 года умерла его матушка Анна Андреевна, и начались всякие сложности и неприятности: наследие Ахматовой начали делить Пунины, хотя Лев был единственным сыном и законным наследником и отдал все безвозмездно, по дарственной, в Пушкинский Дом, получив совершенно формально 100 рублей. Пушкинскому Дому запретили принимать архив от Льва Николаевича, Союз писателей принимал все решения не в его пользу. Он был измучен тяжбами, длившимися уже почти полгода. Но вопреки всему И. Н. Пунина весь архив Ахматовой за большие деньги продала в две организации.

Когда в августе 1966 года Лев Николаевич в очередной раз приехал в Москву и позвонил, я пригласила его зайти. Он был очень вежливый, немножко чопорный (он ведь воспитан был бабушкой, которая по сути дела воспитала трех сыновей — Николая Степановича, Дмитрия Степановича и Льва. Он с ней был с рождения и получил хорошее воспитание: знал, как себя вести с дамами, мог поцеловать руку — это все ему было просто).

Лев подарил мне свою книжку «Открытие Хазарии» с надписью: «Очаровательной Наталии Викторовне Симоновской от автора. 30.VIII.1966».

Когда он пришел, все было очень мило, но чувствовалась какая-то неловкость, говорить было трудно. И он быстро ушел. Я подумала: это хороший признак — то, что он умеет уходить. В этом отношении со Львом всегда было легко, он был очень деликатным человеком.

А уже в следующий раз я встретила гостя более основательно, что называется «разложила шатер». Я ужасно волновалась, потому что была уже влюблена. А Лев мне казался таким спокойным. Он стал меня дотошно расспрашивать — о моем происхождении, о семье, пока не убедился, что все в порядке. И тогда я поняла, что он не зря интересуется. Через несколько дней он снова мне позвонил и предложил встретиться и погулять по Москве. Ну, где у нас можно встретиться? Я жила на Зубовской: между Плющихой и Крымской набережной, поэтому и предложила пойти в Парк культуры имени Горького. Он согласился.

Перед встречей я очень долго «нафабривалась», чтобы быть красивой: платье меняла несколько раз, а он бедный стоял на Зубовской площади, на остановке автобуса. И поскольку он человек очень пунктуальный, то мое опоздание в мою пользу его не настроило. Когда я прибежала, он сказал, что уже собирался уходить. Пришлось мне извиняться.

Мы сели в автобус, хотя ехать нужно было всего две остановки, и тут я поняла, что денег у меня нет. Я ему призналась в этом, а он сказал: «У меня есть». Ну, я успокоилась: значит, все будет хорошо.

Он был очень грустный, потому что умерла матушка, на носу суд о наследстве, но он мне ничего об этом не говорил (я только со стороны узнавала обо всех этих неприятностях). Сели мы в парке в открытом кафе за круглый столик, нам принесли какое-то жесткое мясо, все было весьма не романтично, но, несмотря ни на что, мне было очень приятно просто находиться рядом с ним. И тут он предложил прокатиться на пароходике по Москве-реке. Я с радостью согласилась.

Сели мы на пароходик; людей было мало — так хорошо, уютно, солнышко светит. Я сидела около окошка, и вдруг он — чмок! — и поцеловал меня в щеку. Я вся замерла, а он опять сидит, как ни в чем не бывало. В конце концов, приехали опять на Зубовскую площадь. Я его к себе не пригласила, попрощалась с ним, а он очень удивился, расстроился и спросил: «Когда Вас можно навестить?» Я ответила: «Не раньше вторника». И он пришел ко мне во вторник. Тогда уже начался наш настоящий

роман. Через некоторое время Лев сделал мне предложение стать его женой.

Мы договорились, что через какое-то время я приеду в Ленинград. Но раньше середины июня я приехать не могла, т. к. мне нужно было закончить иллюстрации к книге и сдать работу в издательство. Я хотела ехать не с пустыми руками, а получить деньги, чтобы было с чем начинать новую жизнь. Лев сказал, что тоже должен закончить работу с гранками «Древних тюрок». Поэтому решили, что я приеду 15 июня.

Он уехал, я скорее принялась заканчивать оформление книжки о какой-то пионерке, которую мне заказали в «Детгизе». В конце концов, я ее вымучила. Прошел месяц-полтора, уже приближается 15 июня, а Лев не звонит, не пишет. Я подумала, может быть, он передумал, и написала ему маленькое письмецо на открытке, совершенно детское, с вопросом: «Может быть, Вы раздумали жениться?»

Через несколько дней получаю открытку: «Я Вас жду 15-го. Все в порядке. Пол вымыт». Я удивилась: причем здесь пол? Таков был Лев: коротко и точно!

Это было время Ленинианы, подготовки к столетнему юбилею, и все рисовали Ленина. Я тоже под это дело взяла в Союзе художников аванс 200 рублей (это была тогда очень большая сумма) и решила назвать будущую работу «Юность Ленина в Петербурге» или что-то вроде этого, в общем, какая-то чушь.

Я получила эти 200 рублей, получила деньги за книжку и отправилась в Ленинград. Лёвочка меня встретил на Московском вокзале. Он взял мой чемодан и сумку, снял ремень со своих брюк, просунул его через ручки чемодана и сумки и повесил это сооружение через плечо. Я подумала: «Срам какой! Как же мы пойдем так?» — и попросила: «Давайте понесем вместе». Но он отрезал: «Так ведь нести легче!» Так с вещами наперевес мы дотащились до трамвая, долго ехали по Лиговскому проспекту, там еще добирались до дома на Московском проспекте, а я все страдала оттого, что он нес эти тяжести на ремне.

В то время Московский проспект был еще новым районом, стояли большие сталинские дома, была открытая площадь, на ней Ленин с простертой ручкой, небольшой скверик. Когда мы подошли к дому, Лев сказал: «Вот тут я живу» — и показал свое окно на 6-м этаже. А вокруг окна почему-то все было черное. Я спросила: «А почему же оно такое черное?» — «А это мы так курим». То есть они так страшно курили в открытую форточку, что кирпичи закоптились. (Лев курил всю жизнь, до самой смерти, причем очень много и только «Беломор» — просто не

выпускал папиросу изо рта. Только в последние годы, когда уже сильно заболел, стал курить меньше.)

Дом назывался «эпохи реабилитанса», то есть был построен специально для реабилитированных. Мы поднялись на 6-й этаж, в квартиру. Это была малогабаритная трехкомнатная квартира с маленькой кухней, в которой обитали милиционер Николай Иванович с женой и сыном Андрюшкой, Павел — «поэт» и страшный пьяница с женой Раисой, еще какие-то тетки и дети. Они меня встретили настороженно. Я поняла, что там надо себя вести потихоньку и постепенно отрегулировать отношения.

Лёвочкина комната была маленькая — 12 метров, узкая, но светлая — в окно было видно много неба, но меня поразил какой-то специфический запах. Я понимала, что, будучи доктором наук, он занят только наукой, долго сидел, но чтобы жить в таких условиях?!

Это была первая за всю жизнь собственная комната Льва, и он был счастлив и горд, что имеет свой угол. Переехать в Москву было невозможно, потому что у него была работа в Ленинградском университете; из Эрмитажа его перевели в экономико-географический институт при университете и сказали: «Вы не отказывайтесь, Лев Николаевич!» А Льву что? Ну, пусть география. И он начал читать студентам курс исторической географии; его лекции пользовались большим успехом. Еще одной отдушиной для него было Географическое общество, где он был председателем секции этнографии, организовывал семинары и выпуск научных сборников.

Но вернемся к моему приезду. Когда мы пришли в квартиру, там в кухне почему-то сидел друг Льва Василий Абросов. Он был очень симпатичный, но без руки, а лицо уже немножко обрюзгшее. Жил Вася в Великих Луках, но частенько приезжал в Ленинград. Он сделал важные открытия по гетерохронности увлажнения Каспийского бассейна, они написали со Львом несколько совместных статей. Позже Вася написал книгу «Балхаш». Лев хотел помочь ему с публикацией, то есть позвонить президенту Географического общества Станиславу Викентьевичу Калеснику, который очень уважительно относился ко Льву. Но Вася вдруг начал рыдать и кричать: «Нет, не звони. Только не ты! Только не ты!» Видимо, Василия Никифоровича запугали и соответственно настроили: если Гумилев будет за него хлопотать, то будет плохо. Лев очень удивился, ибо чистосердечно хотел помочь: позвонить, соединить с президентом общества и рассказать о значимости книги Абросова, потому что С. В. Калесник высоко ценил знания Льва Николаевича и его мнение.

А тогда, в день моего приезда в Ленинград, Васю мы уложили

спать на полу, на каком-то матрасе, а сами легли на старом диване. Утром Лев ушел в университет, Вася уехал, а я завязала лицо платком, поставила лестницу и начала посыпать в углах, за карнизами, плинтусами и обоями каким-то порошком от клопов. В течение недели старый диван я выбросила и купила новый. И постепенно начала все обновлять: самодельные книжные полки, которые были сколочены гвоздями, как у Робинзона Крузо, заменили на застекленные настоящие. Сделали косметический ремонт, поставили два кресла, кругленький столик. Все обновилось, и стало как-то легче дышать. Я постаралась устроить в комнате некий уют. Льву это все нравилось, он стал много писать за своим большим старинным письменным столом, купленным в комиссионном магазине.

Нас начали посещать некоторые знакомые Льва, например Гелиан Прохоров (это был его главный ученик) и его жена Инна. Лев в свое время очень их любил. Но позже Гелиан начал ему почему-то грубить, перестал быть внимательным, отказался быть продолжателем идей Льва — видимо, его тоже о чем-то предупредили, а может, и завербовали. Лев называл это «гусиным словом». «Какое-то гусиное слово людям говорят, и они сразу отходят от меня». Про это «гусиное слово» ему признался только Володя Куренной. Он был архитектор, строитель, приехал из Средней Азии, был со Львом несколько раз в экспедициях, потом стал преподавать в строительном институте ЛИСИ. Володя рассказал, что его вызвали в Первый отдел института и сказали: «Вы, кажется, теорию Гумилева читаете студентам, так извольте это прекратить, а то вам придется уйти из ЛИСИ». Это был единственный человек, который признался Льву Николаевичу, что его вызывали. Остальные просто грубили, и поэтому приходилось расставаться. Лев говорил: «Ложь я не переношу».

Тот же Гелиан, к примеру. Когда через некоторое время после моего переезда в Ленинград, уже в 1968 году мы пошли расписываться в ЗАГС, Лев пригласил Гелиана Прохорова быть свидетелем, а еще одного своего знакомого и соавтора по статье А. Алексина как второго свидетеля — для резерва, а я пригласила свою подругу — художницу Нику Моисееву. Мы прождали в ЗАГСе очень долго, Гелиан так и не появился, свидетелем пришлось выступить Алексину. А когда мы вернулись домой, то увидели, что Гелиан сидит в комнате. На недоуменный вопрос Льва он сказал: «Я не люблю оставлять расписки». Что-то такое он успел, видимо, шепнуть и Нике, потому что она после этого события стала меня избегать и даже не захотела встретиться, чтобы взять забытый у нас кошелек.

За Львом Николаевичем постоянно был негласный надзор

органов. В той коммуналке на Московском проспекте жил милиционер Николай Иванович, которому было поручено присматривать за Львом. Но он, слава Богу, по натуре своей был человек добрый и, исполняя свою службу, при этом добродушно советовал: «Ты, Лев Николаевич, бумажки-то со стихами рви, в уборной не оставляй!» Во время обострения советско-китайских отношений спрашивал Льва: «Что ты там пишешь, Лев Николаевич? Это за Китай или против?» — «Да, против, Николай Иванович». — «Ну, тогда больше пиши!» Доброта его и погубила: он пожалел немца-туриста, который на улице Питера торговал колготками, не задержал его, а на него самого потом донесли и выгнали из милиции. Он начал еще больше пить, жена его запилила, и однажды он пошел на чердак и там повесился.

В целом же, несмотря на внешние неприятности и бытовые тяготы, мы были тогда очень счастливы в этой маленькой комнатке, потому что любили друг друга, и нам было очень хорошо и легко вдвоем. Да и окружение в этой коммунальной квартире все-таки было очень хорошее, доброжелательное. Еще до меня соседки помогали Льву с хозяйственными делами, а он любил возиться с ребятами. Павел — поэт, здоровый детина, но, к сожалению, пьяница, все время писал какие-то стихи и давал Льву читать; он же по дружбе сколотил Льву книжные полки.

Прожили мы вместе в этой маленькой комнатке семь лет (а Лев — семнадцать), и в один прекрасный день к нам пришел изумительной красоты старый монгол. Это был академик Ринчен, он занимался этнографией степных народов, прекрасно знал языки, они со Львом вели научную переписку. Будучи проездом в Ленинграде, Ринчен посетил Льва Николаевича. На нем был роскошный синий халат, подпоясанный поясом с серебряными бляхами, в шапке из черно-бурой лисы. Его сопровождал какой-то человек, по всей видимости, стукач. Он увидел Ринчена в экзотическом наряде в метро, прицепился с расспросами, проводил его до самых дверей Льва Николаевича, а вслед за академиком и сам просочился в квартиру. Но дело не в этом. После посещения Ринчена к нам пришла дворничиха и сказала: «Не хотите ли сменить комнату на большую, но тоже в коммуналке?» Видимо, соответствующие органы решили, что неудобно Гумилеву жить в этой берлоге, если к нему ходят такие важные гости. Предложили комнату на Большой Московской, в доме около Владимирского собора. С одной стороны от нас был музей Достоевского, а с другой — дом, где прежде жил Чернышевский. Лев тогда говорил: «Ну, теперь я живу между двумя каторжниками». Там уже было просторнее, да и расположение в центре города Льву нравилось, хотя были и свои

минусы.

В этой коммунальной квартире нашим соседом стал тюремный служащий. Жил он с семьей, а свои обязанности по отношению ко Льву исполнял более рьяно, нежели милиционер Николай Иванович, но тоже страшно пил. В той комнате постоянно, в наше отсутствие, проводили «шмоны», искали что-то в бумагах. Лев, зная их повадки и уже разозлившись, однажды написал записку: «Начальник, когда шмонаешь, книги клади на место, а рукописи не кради. А то буду на тебя капать!» — и положил в ящик письменного стола. Записка примерно такого же содержания лежала и в его письменном столе и в моей московской квартире, куда мы переезжали каждый год на лето (а зимой, соответственно, квартира была ненаселенной и посещалась «заинтересованными товарищами»).

Из жизни в Ленинграде мне особенно запомнились наши многочисленные поездки по пригородам Ленинграда. Прямо под нашим домом останавливался автобус, и почти каждую субботу или воскресенье мы на него садились и ехали в Царское Село или в Павловск. Ездили мы и в Гатчину, в церковь, где вел службу отец Василий (Бутыло), который многие годы был духовным отцом Льва Николаевича. Лев очень любил церковное пение. У нас дома было много грампластинок с записями православных песнопений, и Лев их с удовольствием слушал. В некоторые праздники, особенно на Пасху и в Рождество (уже в последние годы жизни Льва, когда идти в храм ему было тяжело), я готовила праздничный стол, зажигала свечи и включала какую-нибудь из этих пластинок. Было так торжественно и возвышенно.

В театры мы ходили часто, особенно на балеты. Наш друг Савелий Ямщиков, искусствовед и реставратор, был женат на известной прима-балерине Мариинского театра Валентине Ганибаловой, поэтому мы с большим удовольствием пересмотрели множество спектаклей.

А в те первые мои ленинградские годы мы совершали чудесные долгие прогулки по паркам, которые производили на меня даже большее впечатление, чем самые наилучшие и красивейшие спектакли. Когда мы со Львом гуляли по паркам, он непрерывно рассказывал об истории, читал стихи, и делал это превосходно. Мне, как художнице, хотелось мир созерцать, смотреть на все вокруг и любоваться. Я ему говорила: «Лёв, ну подожди, посмотри, какая красота, тебе же надо передохнуть». Ответ был: «Ничего, я не устаю. Я отдыхаю таким образом». И продолжал рассказывать об истории.

Вероятно, во время этих бесед он размышлял над своими концепциями, что-то сопоставлял, проверял — мозг у него

работал все время, как мотор. Однажды он мне сказал: «Я чувствую себя как объевшийся человек: меня распирает, я должен с кем-то поделиться мыслями. Понимаешь, у меня все в голове, мне скорее нужно все изложить в книгах». Единственное, что он успел написать в лагере между тяжелыми работами — это книга «Хунну». Писал на листочках, которые ему приносили зеки. Так как он был человек уже очень больной (у него началась язва двенадцатиперстной кишки), его часто освобождали от работ, и он мог писать. У меня сохранились четыре тетрадки (вернее стопки листочков, подобранных по цвету — зеленые, розовые и т. д.), в которых мелким почерком, буквально бисером, были сделаны записи. Причем все это написано так чисто и четко, как будто он с чего-то списывал. Во время второй посадки 1949–56 годов книги у него были — тогда уже разрешали присылать. Ну и, конечно, выручала феноменальная память, благодаря которой у него была колоссальная подготовка.

В Бежецке, еще в детстве, Лев впитывал в себя все, что прочитывал. Там была прекрасная городская библиотека, да и бабушке много книг удалось перевезти из имения; Лев их все прочитал. Память у него, как я уже писала, была фантастическая. Еще когда он не мог сам читать, бабушка читала ему вслух Шекспира. И Лев страшно увлекся, он запоминал имена всех королей и герцогов. Когда мы гуляли, он часто мне говорил: «Хочешь, Наталия, я тебе перечислю всех королей по династиям». Но я отмахивалась: «Бог с тобой, зачем мне все это». — «Нет, я тебе расскажу». И перечислял бесконечные английские или французские имена. Всемирную историю Лев знал досконально, голова у него была пропитана всем этим. Плюс к этому он ведь и языки знал. Не скажу, чтобы блестяще, но с французского он мог свободно переводить и разговаривать; знал немецкий, совсем неплохо — персидский и таджикский, а казахский понимал. Когда он сидел в лагере, там было много людей разных национальностей и разных вероисповеданий, он общался с ними, ему это было интересно и давало богатый материал для анализа. Как народы общаются между собой, какие у них обычаи и какая культура? В чем между ними разница? Почему одни уживаются с соседями, а другие нет? Он говорил, что важно находить комплиментарность. Если есть комплиментарность народов друг к другу, то надо ее сохранять, поддерживать. А если ее нет, но народы волею судеб живут рядом, то лучше жить порознь, но в дружбе.

Этим-то и ценно евразийство, к которому Лев Николаевич уже потом пришел, досконально изучив историю народов, проживавших на территории Российской империи, а затем

Советского Союза. Он хорошо знал труды основателей евразийства, живших в эмиграции. Он переписывался с Георгием Вернадским, с Петром Николаевичем Савицким они были в дружбе (в какой-то момент даже встретились в Чехословакии), но Лев Николаевич в евразийство привнес свои открытия — теорию этногенеза, понятие пассионарности, как движущей силы исторических процессов.

* * *

Во время наших долгих прогулок по пригородам Ленинграда Лев рассказывал не только о серьезном, а мог и посмеяться, и анекдот рассказать. Вообще он был очень смешливым человеком, очень веселым. Он никогда не вспоминал свои лагеря и связанные с ними трагические моменты. Но мне известно, конечно, несколько таких трагических случаев из его жизни.

Однажды в Норильске он спускался в шахту; там была не лестница, а какие-то деревянные балки, какие-то «пальцы», которые шли в шахматном порядке, через один. И вдруг у него на голове погас фонарь, он завис неподвижно, не видя, куда наступить дальше. Некоторое время простоял так, а потом решил ступить наобум, и только стал спускать ногу, как фонарик, слава Богу, зажегся, и он в последний момент увидел, что балки нет, и нога его ступает в пустоту. То есть он мог упасть и разбиться, и только счастливая случайность его спасла. Этот рассказ произвел на меня очень тяжелое впечатление.

Потом он рассказывал, как его спас А. Ф. Савченко, бывший строитель, который сидел с ним вместе, — очень сильный и властный человек. Они со Львом довольно долго были в одном лагере и находились вместе с урками (вообще это было довольно редко, когда их смешивали с политическими, но тогда было именно так). В бараке завязалась какая-то драка. Один урка был сильно пьян и пошел на Льва с топором. Он замахнулся, чтобы ударить, но тут Савченко подскочил и выбил топор из его рук и спас Льва. Такую вот историю он мне рассказал, и Алексей Федорович в своих воспоминаниях тоже об этом пишет.

Но рассказывал и смешные истории. В лагере был один молодой человек, совсем простой, работал вроде бы , маляром. Он очень любил Льва Николаевича и все время говорил: «Я знаю историю на 90%, а Лев Николаевич — остальные 10». Часто Лев устраивал в бараке лекции для своих соседей, рассказывал им об Иване Грозном и других исторических персонажах, а все его разинув рот слушали. И однажды этот молодой человек вдруг

говорит: «Ну, это все ерунда. А вот я знаю на 90% больше Льва Николаевича». Ему говорят: «Ну, скажи тогда, Лешка или Васька (не помню точно, как его звали), то-то и то-то». А он отвечает: «Ну, это как раз те 10%, которые знает Лев Николаевич». Вот это он всегда с большим весельем вспоминал. Позже, уже в Ленинграде этот парень у нас появился и даже покрасил балкон масляной краской, которую где-то добыл бесплатно.

Еще Лев много раз рассказывал о Н. А. Козыреве. Николай Александрович Козырев — известный астрофизик, занимавшийся кроме прочего теорией времени. Они встретились с Лёвочкой в лагере. Козырев был тогда уже кандидат наук, а Лев — еще только студент III курса, но знания Льва уже тогда были таковы, что они могли легко общаться, им было интересно друг с другом, и они очень подружились.

Но когда Лев сказал, что открыл явление пассионарности и хотел рассказать об этом, то Козырев сразу перебил его: «А я тоже сделал открытие. Я открыл, что такое время». И Льву показалось, что это было сказано в запальчивости, от обиды: вот, мол, какой-то мальчишка-студент открыл пассионарность, а я что? Я думаю, что Лев тогда ошибался. Николай Александрович, видимо, действительно тогда всерьез думал на эту тему. Ведь это очень сложно — понять, что такое время. Никто не мог этого объяснить ни с физической, ни с исторической точки зрения.

В 1943 году в Норильске, когда у Льва кончился срок и его оставили там на поселении, а Николай Александрович еще отбывал срок, они жили вдвоем в палатке за пределами поселка, на склоне горы и выполняли какие-то задания, видимо, по геологии. В один прекрасный день палатку, в которой они жили, вдруг начало страшно трясти, как во время землетрясения. Слышны были тяжелые шаги вокруг палатки, как будто слон ходит. Но когда они выходили, никаких следов вокруг палатки не обнаруживали. Снег идет, и все спокойно. Так повторялось довольно долго, и это было неприятно и раздражало.

Однажды Николай Александрович поднимался по тропе вверх, к палатке и вдруг почувствовал, что его кто-то взял за плечи и толкнул на торос. (А он был человек очень тренированный, сильный, настоящий спортсмен.) Во время падения у него сломались два ребра, боль была дикая, он еле дотащился до палатки. И тут Лев говорит: «Это Албаст». Ведь он изучал этнографию и верования разных народов. Он знал, что шаманы северных народов совершают заклинания над потусторонними силами. В Сибири и Средней Азии был известен дух по имени Албаст. Лев стал лечить Николая Александровича и помог ему быстрее выздороветь. (Надо сказать, что у Льва было

очень сильное поле рук, он мог даже кровь заговаривать. Но как он это делал, никогда не признавался.) Но странные явления вокруг палатки продолжались, и терпению их пришел конец, нужно было что-то делать с этим Албастом. И вот в очередной раз, когда начались шумы и трясение, Лев заговорил на разных языках, уговаривал Албаста оставить их в покое. И когда он дошел до персидского — вдруг все прекратилось, наступила полная тишина. Спустившись однажды вниз в поселок и разговаривая с местными аборигенами, Лев рассказал об этом случае. Его спросили: «А вы палатку-то где поставили?» — «Вот там-то». — «Да вы что? Вы ведь на самой дороге поставили, где ходят наши духи. Надо было поставить в стороне. А то вы ему ход загородили!» Так вот все и объяснилось. Палатку они после этого, конечно, переставили. Уже позже, после 1956 г., когда Льва выпустили после второго срока, они с Козыревым встретились в Ленинграде. Сохранилась их совместная фотография, сделанная на ленинградской улице. Лев на ней выглядит очень молодо. Вообще есть много раз подтвержденное наблюдение, что после отсидки и возвращения из лагеря люди как-то очень молодели, выглядели на несколько лет моложе, а потом, постепенно снова возвращались к облику, соответствующему их возрасту. Вот и Лев после лагеря, когда отмылся, побрился — выглядел лет на 27. Это очень хорошо видно на фотографии.

Характер у Льва Николаевича был замечательный. С ним вообще было хорошо и легко. Он был деликатный человек с идеальным характером, но твердый в принципиальных вопросах науки. И это притом, что у него была такая тяжелая жизнь.

Его обижали с самого рождения, он был недолюбленный ребенок, практически брошенный своей матерью. Он ни от кого, кроме бабушки, не видел тепла. Он как-то сказал мне: «Кроме тебя и бабушки, ко мне никто так хорошо не относился».

Ему хотелось от людей внимания, чтобы к нему по-человечески, тепло относились. И когда кто-то проявлял такое отношение, Лев бывал этому очень рад и всячески старался ответить добром. Он очень дорожил моей лаской. Иногда, если он ложился спать раньше, я его благословляла и целовала в лоб. А он всегда говорил: «Спасибо». В нем было столько детского!

Мы никогда с ним не ссорились. Всего один раз он на меня заворчал. Это случилось по поводу его работы. Лев Николаевич ведь все тогда дома работал — читал, писал, правил гранки. И большим ударом для него стал отказ его постоянной машинистки, которая всегда перепечатывала его тексты. Я решила тогда сама научиться печатать. Купила за 75 рублей у своей соседки в Москве старую пишущую машинку

«Континенталь». Это была большая, железная машинка начала XX века (сейчас она в Ленинграде). Я напечатала на ней всю вторую докторскую диссертацию Льва Николаевича «Этногенез и биосфера Земли». С большими трудами, с потом и кровью вся работа была напечатана.

Лев работал постоянно, иногда он хотел что-то поправить в тексте и просил допечатать 2–3 строчки, а потом вклеивал их в готовую машинопись. Но я была в тот момент чем-то занята на кухне. Он вспылил. Я говорю: «Ну, я же не стерва, я сейчас напечатаю». Он извинился и поцеловал меня.

За то время, пока мы были с ним вместе — то есть за 25 лет, он написал все основные свои книги, кроме написанных раньше «Древних тюрок» и «Хунну». Все остальные книги он уже при мне написал, то есть буквально вывалил их из головы. У него все время было стремление работать, работать, работать. И это его больше всего радовало.

Так как я художник и понимаю, что такое творчество, то для меня его занятия — это было святое. Я знаю, что когда человек погружен в науку или в искусство, его нельзя трогать, у него прерывается мысль. Это не все понимают, для этого надо самому пережить творческий процесс. Это нужно чувствовать, очень любить человека и очень уважать. И он, видимо, был мне за это благодарен. Первая книга, которая у него при мне вышла, — «Поиски вымышленного царства». Я делала к ней обложку и пять шмуцтитулов. В том же оформлении она была потом издана на испанском языке.

Вообще история издания книг Льва Николаевича — это отдельная и довольно непростая тема. Например, была очень неприятная история с книгой «Конец и вновь начало». Мало того что в издательстве «Наука» изменили название на слишком наукообразное «География этноса в исторический период» и довольно грубо порезали текст, так под конец во всем готовом тираже в 30 тысяч, видимо по указанию сверху, замазали черной типографской краской на задней сторонке переплета очень положительное высказывание Д. С. Лихачева о Льве Николаевиче и его книге. Вообще редакторы иногда просто издевались надо Львом. Например, был такой Кунин в «Востокиздате», он редактировал книгу «Хунны в Китае» и намеренно перепутал все надписи на картах, снял подписи, книга вышла без указателей и со значительными купюрами.

У книги «Этногенез и биосфера Земли» вообще была пятнадцатилетняя история мытарств от депонированной в ВИНИТИ рукописи до нормальной книги. Тем не менее, несмотря на все козни, неприятности и обиды, Лев Николаевич все-таки

напечатал к концу жизни все, что хотел. И дело, конечно, не в обидах — он думал прежде всего о том, как довести свои мысли до людей, до читателей и побудить их к размышлениям.

* * *

Очень тяжелым для Льва Николаевича на протяжении почти всей его жизни в науке было непонимание коллег-ученых и нежелание общаться с ним из-за постоянного надзора органов. Он говорил: «Мне не с кем поговорить. Весь ужас в том, что мне негде проверить свои мысли, свои теории. Если бы они могли хотя бы поспорить со мной, опровергнуть или поддержать. Ведь наука всегда требует обсуждения». Это особенно важно, когда делаются новые открытия, да еще в пограничных областях, на стыке наук, как это было в случае с пассионарной теорией этногенеза. Те академики, которые писали на Льва доносы в ЦК КПСС (Бромлей, Григулевич, Рыбаков), не откликались на его призывы вступить в открытую дискуссию. Их статьи печатали, а Льву почти никогда не давали ответить. Академик Ю. В. Бромлей однажды принародно заявил: «Я не могу дискутировать с Гумилевым, потому что не знаю так историю. А Гумилев ходит по всемирной истории, как по своей квартире!»

Лев искал подкрепления своей теории пассионарности со стороны естественных наук — географии, биологии, генетики. Его очень интересовало, что могут сказать о его выводах представители этих дисциплин.

В 1967 году Лев познакомился с Н. В. Тимофеевым-Ресовским, очень известным ученым-генетиком. Внешне это был очень крупный мужчина, громогласный, с большим носом. В 1930–40-е годы он был директором Генетического института в Германии. Поговаривали, что там проводили опыты над людьми, но так или иначе он сохранил себе жизнь, работая на немцев. После возвращения в СССР ему не разрешили жить в Москве, и он жил и работал в Обнинске. Лев хотел с ним обсудить свои вопросы, поговорить о пассионарности: что это за признак — доминантный он или рецессивный, как он передается и т. п. Летом, в субботу и воскресенье, Лев уезжал в Обнинск, где общался с Николаем Владимировичем. Они много беседовали, спорили, Лев там очень уставал; да еще дорога занимала 3 часа в одну сторону. А тут Льву Николаевичу предложили написать вместе с Тимофеевым-Ресовским статью для журнала «Природа», и Лев очень загорелся. Но когда он спросил Тимофеева-Ресовского: «Что такое этнос? Как Вы его понимаете?», тот стал

приводить какое-то кондовое сталинское определение: общность языка, территории и прочее. Это Льва совершенно не удовлетворило.

А как раз в это время около Николая Владимировича появился Д. Гранин, который решил, что своей повестью «Зубр» он освободит ученого от всех сплетен, которые вокруг него вились. И он, видимо, внушил Тимофееву-Ресовскому, что общение с Гумилевым для него нежелательно. Разве это допустимо, чтобы две такие взрывные фамилии — Гумилев и Тимофеев-Ресовский — были рядом? И Тимофеев-Ресовский нагрубил Льву: прислал ему жуткое оскорбительное письмо, приведшее Льва в шок.

А тут в марте 1969 года нам дали путевку в пансионат под Лугой, и там Лев написал Николаю Владимировичу потрясающий ответ. К сожалению, Айдер Куркчи не вернул мне подлинник этого письма, но, правда, напечатал его. Лев очень деликатно, элегантно, но при этом очень убедительно и жестко письменно «высек» Тимофеева-Ресовского. Когда дело касалось науки, он был непреклонен.

На это письмо Лев получил от Тимофеева-Ресовского ответ с извинениями[1158]. Потом он приехал к нам со своей женой Еленой Александровной. Она тоже была генетик, благороднейший человек. Они появились в нашей маленькой комнатке, и Лев, конечно, сразу заговорил о своей науке: «Давайте-ка еще повторим то, что вы написали, и ; то, что вы считаете верным». Н. В. дал три составляющих своего определения. И Лев, наконец, был удовлетворен. А Елена Александровна говорит: «Коля, почему же ты сразу об этом не сказал?» Н. В. смутился, как-то не смотрел Льву в глаза. Потом быстро встал, и они начали прощаться. Лев пошел их провожать, а я смотрела из окна — у нас весь проспект сверху из окошка просматривался. Н. В. не стоял, а бегал от угла к углу, взад и вперед (ему, видимо, было стыдно), потом они сели в такси и укатили, больше мы их не видели. В итоге Лев написал статью один, и она была напечатана в первом и втором номерах журнала «Природа» за 1970 год[1159]. Статья получилась очень интересная, а меня Лев попросил сделать к ней иллюстрации — портреты многих исторических персонажей, упоминавшихся в тексте. Н. В. Тимофеев-Ресовский тоже написал свою отдельную статью, но ее не приняли, т. к. отзыв был отрицательным. Статья же Льва вызвала бурную дискуссию, которую печатали в 1970 и 1971 году.[1160]

Отношение ко Льву Николаевичу ученых-коллег всегда было очень осторожным. Его все боялись из-за его лагерного прошлого. Рядом с нами жил декан Географического факультета ЛГУ,

почтенный ученый Б. Н. Семевский. Лев всегда был очень аккуратен с бумагами; когда он уезжал на лето в Москву, то всегда подавал заявление на факультет, указывал сроки, просил дать отпуск. Декан жил в соседнем доме, причем очень хорошо относился ко Льву, т. к., будучи сам ученым, хорошо понимал значимость Льва Николаевича. Но никакой близости он допустить не мог.

Лев вынужден был ехать в университет за этой подписью, вместо того чтобы подойти к декану домой и просто подписать заявление. А когда они попадали в один автобус по дороге на работу, Семевский пересаживался куда-то назад, чтобы только не сидеть рядом со Львом. Правда, когда Лев Николаевич решил защищать свою теорию этногенеза в виде второй докторской диссертации (так как иного способа обнародовать свои взгляды у него не было), декан поддержал его идею. Из Москвы были приглашены два оппонента-профессора — генетик Ю. П. Алтухов и географ Э. М. Мурзаев.

Ученый совет геофака ЛГУ единогласно утвердил его диссертацию, а ВАК — нет, и при этом там заявили: это больше, чем докторская, а потому и не докторская; утвердить не можем, потому что это открытие, в котором мы не компетентны. Диссертацию печатать не разрешили, а разрешили только депонировать. После депонирования рукописи в ВИНИТИ несколько тысяч экземпляров этой работы было напечатано по заказам читателей. Вся типография ВИНИТИ работала на копирование Гумилева. Работяги из типографии очень тогда выиграли: они под телогрейками выносили по нескольку ротапринтных томов за ограду типографии, а к ним подходили и спрашивали: «Гумилев есть?» — и покупали. Потом руководство ВИНИТИ, наконец, сказало, что больше печатать не будут, потому что сколько же можно — ибо научная организация, где книга была одобрена, должна ее напечатать. И только через 15 лет после защиты (1974) — в 1989 г. университет напечатал книгу «Этногенез и биосфера Земли» с «кисло-сладким» предисловием Р. Ф. Итса.

По поводу теории пассионарности Льва Николаевича было много спекуляций и нападок. Некоторые авторы утверждали, что это новая редакция теории «героя и толпы». Но ведь Лев писал, что пассионарии не обязательно имеют положительную доминанту. Пассионарии как люди — не сахар, однако без них не движется история. Кстати, пассионарии совершенно нео бязательно бывают вождями, героями. Руководитель может быть и умеренно пассионарным, но чтобы в стране произошли какие-то положительные или отрицательные изменения, активные

пассионарии обязательно должны быть в народной массе.

В XVIII веке Екатерина II освободила дворян от обязательной воинской службы, но в 1812 году они еще дрались, и очень здорово дрались, потому что сохранилось поколение воинов-пассионариев. А дальше началось: «что делать?», «куда идти?», — и тут оставшимся без дела пассионариям подсунули масонские лозунги типа «Свобода, Равенство, Братство». На них клюнули все эти «клоповоняющие» базаровы, волоховы. В общем, образовался у нас в XIX веке западнический субэтнос, который все время расшатывал устои государства.

Как-то я смотрю на собрание сочинений Чехова и говорю Льву: скучно мне читать Чехова. Язык замечательный, образы великолепные, но эти ноющие женщины невыносимы. «А это уже началась эпоха скуки, — сказал он. — Самое страшное, когда люди начинают скучать. Значит, они инертны, у них нет энергии. Настоящий творческий человек — художник, писатель, ученый — никогда не скучает. А к концу XIX века у нас появилось огромное количество обывателей, и так как Чехов жил среди них, то он их описывал. «В Москву! В Москву!», «Работать! Работать!» — а работы вокруг навалом. Разве это творческие люди? Поели, попили, поспали — а дальше что делать? Вот тебе и скука». У меня такое ощущение, что Чехов своих героинь терпеть не мог. «Попрыгунья», «Душечка» — все с ними мне стало ясно, когда Лев сказал, что это была эпоха растраченной пассионарности.

Лев был русским человеком, но при этом уважал другие народы, этносы. Когда в лагере на допросах он сказал, что занимался описанием религиозной живописи бурят-буддистов, ему говорят: «А, значит, Вы буддист?» Когда занимался католиками: «А, значит, Вы католик?» А он был просто русский человек и по роду своих интересов занимался различными этносами. Он говорил, что плохих этносов просто не бывает, есть лишь разные степени комплиментарности в их отношениях друг с другом. Когда складывается обоюдная комплиментарность, получается благоприятное сочетание, народы уживаются друг с другом и могут объединиться в единое государство.

Например, Российское государство сложилось на такой огромной территории именно благодаря тому, что была обоюдная комплиментарность народов, живших на своих землях. Создание единого государства на пространстве от Балтики до Тихого океана было естественным процессом и происходило без кровопролития. У нас не было ничего, хотя бы отдаленно напоминающего историю создания США, когда индейцы-аборигены истреблялись сотнями тысяч. В таком понимании русской истории Лев Николаевич был очень схож с

классическими евразийцами — Г. Вернадским, Н. Трубецким и П. Савицким. Но первопричину возникновения государства Лев объяснил по-своему, на основе своей пассионарной теории. В XIII веке киевский период Древней Руси закончился, последовал следующий, начиная со времен Александра Невского, пассионарный толчок. Это первый пассионарий, который был ясно выявлен. Потом наступило что-то вроде инкубационного периода, когда пассионарии только выявлялись. Появились очень энергичные бояре. Ведь самое главное, не каков царь, а каково окружение, бояре. Если окружение пассионарно и патриотично, то какая нам разница, кто по национальности царь — татарин, русский или белорус? При патриотическом окружении царь может быть даже не очень умным: поговаривали, например, что первый Романов, Михаил Федорович, был не слишком умен, но при нем был его мудрый отец и наставник патриарх Филарет.

Пока у нас не будет настоящего патриотизма, основанного на любви к родной земле и ее истории, ничего хорошего не получится.

Современной политикой Лев Николаевич никогда не занимался, за политикой не следил. Утверждал, что в описаниях современных событий много неправды. Только отойдя от злобы дня, можно выяснить истинную подоплеку событий и их направленность. Про ситуацию последних лет он говорил: «Мне очень тяжело на все это смотреть. Чем это кончится, не знаю». Запад, по его словам, навязывает России не присущий ей стереотип поведения. Сказался и геноцид русского народа в советское время. Выбили элиту — аристократию, ученых, просто энергичных, самобытных людей. Они отдали свои силы тупой каторжной работе. А скольких расстреляли, утопили в баржах! Лев был тоже приговорен к расстрелу, но не успели привести приговор в исполнение — арестовали Ежова и стали пересматривать вынесенные при нем приговоры. Лев говорил: «Я Солженицына уважаю за то, что он смог написать «Архипелаг ГУЛаг», потому что мне даже вспоминать это все не по силам». Ведь он никогда не рассказывал о перенесенных в лагере испытаниях. Остался лишь короткий дневник с односложными фразами: «Голод», «Холод», «Тяжелые работы».

У Льва были весьма не простые отношения с его знаменитой матерью Анной Ахматовой. Он приехал в Ленинград из Бежецка в 1929 году, чтобы продолжить учебу, и закончил там 9-й класс. По сути дела, впервые за всю жизнь Лев попытался жить вместе со своей матерью. Но Анна Андреевна была занята собой, сын ей был не нужен. Многие талантливые люди эгоцентричны, так что сильно осуждать ее я не могу.

Ее жизнь тоже была незавидной: стихи не печатали, все время донимало безденежье, к быту она была не приспособлена, а выживать как-то надо, поэтому была то с Шилейко, то с Пуниным (не умирать же с голоду). Видимо, она полюбила Пунина, но тому чужой ребенок совершенно не был нужен; Пунин гонял Льва и не давал ему ночевать даже в холодном коридоре квартиры в Фонтанном доме, часто он говорил: «Я же не могу весь Ленинград кормить!» Лев скитался голодным, но в Бежецк возвращаться не хотел, потому что жизненной перспективы для него там никакой не было. Кроме того, и в доме бабушки не все было гладко: тетушка Сверчкова выпроваживала его, лишний кормилец ей был в тягость. После окончания ленинградской школы Лев начал где-то работать, зарабатывать пролетарскую анкету, без которой о поступлении в университет нечего было и думать. Но по сути дела, он зарабатывал себе на жизнь, чтобы не умереть от голода. Анна Андреевна смотрела на это как бы со стороны. Лев вспоминал, что однажды она сказала: «Лев такой голодный, что худобой переплюнул индийских старцев...» Вот так она могла сказать.

Анна Андреевна осталась жива, но ее жизнь разменивали на жизнь сына. Считалось, что лучше посадить сына, чем мать. Так полагали не только власти, но и некие «иксы» из окружения Анны Андреевны. В 30–40-е годы Лев не был тем, кем он был в шестидесятые. Иные говорили про него, что он идиот. Про него вообще бог знает что говорили! Чокнутый, мол: все учится, а его все выгоняют, ну, значит, неспособный. Его действительно выгоняли из университета, но причиной были в основном доносы студентов. А как-то он заступился за своего отца. Некий профессор на лекции начал клеветать на Николая Степановича, будто тот, описывая в стихах Африку, на самом деле никуда не ездил, а все насочинял. Тогда встал студент Лев Гумилев и сказал, что в стихах все правда! «Откуда ты знаешь?» — «Я знаю!» Профессор донес на дерзкого студента, и Льва выгнали из университета. Позже его арестовали и на допросах, кроме всего прочего, требовали отказаться от отца, сменить фамилию. Но Лев отца обожал, знал почти все его стихи наизусть и отца не предал. Поэтому первый срок ему дали, не в последнюю очередь, как сыну белого офицера и расстрелянного контрреволюционера.

Когда в 1945 году Лев вернулся домой после очень тяжелой отсидки и фронта, матушка встретила его очень радостно: герой с фронта приехал! Они всю ночь проговорили, конечно... о ее стихах. Лев сразу же стал готовиться к сдаче экзаменов. За два месяца он сдал экзамены за четвертый и пятый курс университета, а потом и государственные экзамены — это после

семилетней отсидки и войны! Потом сразу поступил в аспирантуру. В 1946 году вдруг выходит постановление о Зощенко и Ахматовой, и его снова выгоняют отовсюду. Ругают мать, а сына выгоняют из аспирантуры. Он только сказал: «Ради Бога, оставьте меня до декабря, чтобы карточки получить, иначе я умру с голоду». Дали ему карточки за декабрь и выгнали с волчьим билетом. Опять разменяли мать на сына? Лев выдержал все, он за мать стоял несколько дней подряд на допросах под направленным в лицо электрическим светом. Это была настоящая пытка, но ничего не подписывал. Ему говорили: «Скажи, в чем ты виноват, а в чем ты не виноват, мы и сами знаем». — «Я ни в чем не виноват». — «На тебя доносов, знаешь, сколько написано? — спросил следователь и добавил: — Ну и нравы же у вас там!» В то время считалось, если ты напишешь донос, то тебя не посадят. Поэтому понятна его обида на мать, которая уже после смерти Сталина, когда всех начали отпускать из лагерей, не очень-то за него хлопотала. Ведь его продержали до 56-го года. Уже всех выпустили — и бандеровцев, и власовцев. Он писал матери: «Почему ты не хлопочешь, почему ты не просишь за меня?»

Фамилия «Гумилев» была как лакмусовая бумажка, около нее все сразу проявлялись. А матушку, видимо, окружили и с фронта, и с тыла, с тем чтобы изолировать от Льва, и она его избегала. Она была умна, но и хитра: прекрасно понимала, что к чему, но выхода у нее не было. Она понимала: или ее должны посадить — а тогда смерть, ибо она была человек нездоровый, — или сына. И сын сидел: сперва за отца, за отцовскую фамилию, потом, после названного постановления, — за мать. Кстати Лев рассказывал, что Анна Андреевна предупредила его о готовящемся аресте в начале 1949 года. Выходит, она знала, кто-то ее информировал. А когда уже в 1956 году Лев вернулся из лагеря, он приехал в Москву, к Ардовым, где тогда жила Ахматова, но она сказала: «Ты уезжай в Ленинград, а я потом приеду». И три месяца не приезжала. Льва прописала Татьяна Александровна Крюкова, его знакомая, потому что в ином случае его могли бы просто выслать из города, а на работу без прописки устроиться было невозможно.

Лев Николаевич очень любил мать, но сильно огорчался, считая, что она его не любит. У меня сохранились его письма из лагеря, по ним видно, как безумно он страдал от разлуки. Он ей все время говорил: «Я за тебя на пытках был, ты же ничего не знаешь!» Но как кошки отгоняют своих котят, так Анне Андреевне пришлось отогнать сына, потому что она не верила, что они смогут жить вместе без осложнений.

Лев очень много переводил с восточных языков. И, кстати, многие переводы ему давала мать, и они вышли под псевдонимом

«Ахматова». Деньгами она потом частично делилась с ним, но считала, что довольно сильно потратилась, отправляя посылки ему в лагерь, и теперь он должен их отработать.

Он рассказывал о последней своей встрече с матерью в 1961 году, перед тем как они расстались (это было за месяц до защиты им докторской диссертации). В те времена он часто ее навещал. Порой она встречала его холодно, иногда с важностью подставляла щеку. В тот раз она сказала Льву, что он должен продолжать делать переводы. На это он ответил, что ничего не может сейчас делать, так как на носу защита докторской, он должен быть в полном порядке, все подготовить.

— Ты ведь только что получила такие большие деньги — 25 тысяч. Я же знаю!

— Ну, тогда убирайся вон!

Лев ушел. Он очень расстроился, так как это был уже не первый случай ее грубости.

В тот момент Льва встретил М. И. Артамонов, директор Эрмитажа, его учитель и руководитель многих археологических экспедиций. Он сказал:

— В таком виде, Лев Николаевич, на защиту не являются. Вас трясет. Извольте привести себя в порядок!

И Лев, чтобы развеяться, поехал куда-то за город с Немиловой, сотрудницей Эрмитажа, которая, видимо, была прикреплена к нему.

После смерти Ахматовой в 1966 году все эти люди — Немилова, Пунины, Ардовы, Лукницкий — требовали, чтобы Лев отдал все наследие Ахматовой Ирине Пуниной, возмущались тем, как он смеет так себя вести — передавать все бесплатно государству.

К нам домой в маленькую комнатку уже в 1967 году приехал Павел Лукницкий и часа 3, сидя на диване, уговаривал Льва отступиться от своей идеи передать все наследие матери в Пушкинский Дом. А потом мы узнали, что Лукницкий был следователем НКВД. Татьяна Крюкова рассказала, что ее арестовали в 25-м году, так же как и Лихачева, и ее допрашивал Павел Лукницкий.

В те же годы Лукницкий крутился возле Ахматовой, писал биографию Николая Гумилева. А кому могли поручить такое — писать биографию расстрелянного поэта? Конечно, своему человеку. Поэтому весь архив Николая Степановича достался Лукницкому. У Льва ведь ничего, ни одной строчки от отца не было. Даже рисунки Николая Степановича — иллюстрации к стихам-экспромтам по древнегреческим мифам, сделанные им для сына в Бежецке, попали в архив П. Лукницкого. (Большую

часть из того, что было у Веры Лукницкой, весь огромный архив Н. Гумилева она уже в 90-е годы продала в Пушкинский Дом.)

А тогда, в 1967 году, Павел Лукницкий сидел у нас 3 часа, ни разу не вставая даже в туалет, и он Льва как будто гипнотизировал: требовал, чтобы тот отказался от суда, взял свое заявление назад, и чтобы Ирину Пунину не трогали. Страшно напирал, но Лев не отступился от своего решения сохранить архив Ахматовой в целости, в стенах Пушкинского Дома. Уходя, Лукницкий поцеловал мне руку, а Льву даже не подал руки. Лев потом сказал: «В органах своя этика. Подследственным руку подавать не положено».

По поводу наследства Ахматовой Льву тогда много нервов попортили. А ведь он на свои деньги организовал похороны матери, получил разрешение в церковных верхах и заказал панихиду по православному обряду (в те годы это было нечто немыслимое, это было целое событие для тогдашней интеллигенции!), заказал надгробие, кованый крест и мраморный барельеф для кладбища в Комарове. Ни Союз писателей, ни городские власти, ни тем более те, кто неплохо поживился на архивах двух поэтов, не дали и копейки на все это. Проект надгробия и металлический крест Лев заказал замечательному псковскому архитектору и реставратору В. П. Смирнову; мы специально несколько раз ездили для этого в Псков. А мраморный барельеф Ахматовой был заказан ленинградскому скульптору А. А. Игнатьеву. Барельеф Льву очень нравился, его гипсовая копия всегда висела у нас в комнате. А вот свинцовый голубь (олицетворение Святого Духа), который, по замыслу Смирнова, как бы присел на металлический крест, к сожалению, был похищен с могилы какими-то вандалами. Когда после смерти Льва подобная задача встала передо мной, я обратилась к тому же скульптору А. А. Игнатьеву с просьбой сделать на могиле Льва крест из карельского пудожского камня, по образцу древних псковских крестов. По-моему, скульптор со своей задачей справился.

* * *

В заключение самое трудное — о последних днях Льва Николаевича, для меня до сих пор это тяжелые воспоминания. Я всегда относилась отрицательно к Академической больнице, но меня уговорили отправить туда Льва для лечения язвы, так как там есть барокамера, которая как будто дает хорошие результаты.

После семи сеансов Лев сказал: «Я больше не пойду туда, мне

это не помогает». Но врачи, которые его лечили, заявили: «Нет, мы его не отпустим, надо чтобы язва зарубцевалась». И начали лечить его облепиховым маслом, что в принципе можно было делать и дома.

Мне надо было готовить еду, а возить туда нужно было через весь город на метро и на автобусе. Поэтому Льва часто навещала наша помощница Елена Маслова, жившая рядом с больницей. Ученики — Костя Иванов, Оля Новикова, Слава Ермолаев, Володя Мичурин — приходили и читали Льву научные книги и фантастику, которую он очень любил. Это его отвлекало.

Наконец, я забрала Льва из больницы, но дома ему стало очень плохо, поднялась температура, начались страшные боли. Пробыл он дома всего неделю. Я вызвала «скорую помощь». Те сказали: «Подозрение на воспаление легких, надо в больницу», и, конечно, отвезли опять в академическую. Я сказала: «Лёв, я приеду завтра утром». Вдруг рано утром звонит Лена Маслова и сообщает: «Я пришла к Льву Николаевичу, а мне говорят, что его увезли на операцию!» — «Как на операцию? Почему мне не позвонили?»

Его нельзя было класть на операцию. Они ему удалили весь желчный пузырь, а этого нельзя было делать — ткани были очень тонкие. Лопнула его чуть зарубцевавшаяся язва и образовались новые язвы, началось сильное кровотечение. И уже остановить было нельзя. В это время очень помог А. Невзоров: он объявил в своей передаче, что нужна кровь, и доноров пришло много.

Меня не пускали в реанимацию. Я звонила утром, вечером. Вдруг мне звонит из реанимации доктор и говорит: «Лев Николаевич очнулся и хочет есть, а у нас кроме соленой трески ничего нет. Так что приезжайте, привезите кашу».

Это Лев, конечно, придумал предлог, чтобы повидаться. Лев лежал в отдельной реанимационной палате весь бледный, опухший, опутанный проводами.

Он хотел меня повидать: видимо, чувствовал, что уже кончается. Посмотрев на кашу, сказал: «Ты чернослива туда не положила». — «Завтра привезу». Но завтра уже не было. Наконец мне сказали, что больше оставаться нельзя. Я поцеловала ему руку, поцеловала его самого, то есть простилась с ним.

Я спросила: «У тебя что-нибудь болит?» — «Нет, ничего не болит».

15 июня 1992 года Лев умер.

К. П. Иванов
Памяти Учителя[1161]

Мы пришли в стены Русского Географического общества, чтобы почтить память великого человека, великого гражданина.

Но почему именно сюда мы пришли? Потому что именно сюда, начиная с пятьдесят шестого года, ходил и сам Лев Николаевич. Ради чего он сюда ходил? (И ради этого и мы сюда пришли.) Потому что именно здесь звучали его крамольные по тем временам идеи. Звучали притягательные, соблазнительные, его изумительные, гумилевские вопросы.

Выполняя завет Учителя — нести его слово, я и хочу немного напомнить об этих вопросах, об этих идеях, которые сделали его русским гением.

В науке есть три рода достижений. Первый род — это хорошее решение сформулированных задач, сформулированных вопросов, уточнения в теориях, уже существующих. Второй род достижений — это то, что мы называем обобщениями или открытиями. Их, в отличие от первых, гораздо меньше.

Но еще меньше тех явлений, которые мы можем назвать прозрениями. Такое прозрение было у Ньютона. Мы все знаем его прозрение, когда за вещью банальной, знакомой всем и видимой каждому, его гений увидел явление вселенского масштаба — гравитацию.

Так и Гумилев, за вещами банальными, о которых мы все знаем, — мы все видим, что существуют русские, французы, немцы, японцы, корейцы, — увидел нечто и поставил вопрос — а что же такое этносы? И ответил, что этнос — это явление природы и что есть особая сила, такого же вселенского масштаба, как и гравитация, которая стягивает людей вместе в эти самые коллективы, которые мы называем народами.

Это же сила, это вселенская сила, которую он назвал комплиментарностью. Слово французское, но для русского, в русском языке существовало только слово, хорошо нам всем известное, — свои. Мы — свои, а они — чужие, мы — наши.

Вот эта сила, она объединяет этнос, она создает этнос. И эта же сила распространяется и на явления более широкого масштаба, чем народы, то, что мы привыкли называть цивилизациями или культурами, или то, что Гумилев называл суперэтносами.

Мы бы не говорили о Гумилеве, мы бы не считали его великим, если бы эти его идеи в действительности не подтверждались бы жизнью. И то, что мы все испытали в последнее время, — горечь и обиду от развала нашей страны, ведь это произошло строго и четко по указанным Гумилевым границам, по суперэтническим границам.

Он сам видел это, он сам понимал, что его теория

подтверждается, что всё происходит именно так. Что Прибалтика отходит, Молдавия с Украиной тоже. Но Казах-стан, согласно его же теории, остается вместе с Россией, не смотря ни на что.

Это было великое его прозрение. Но лично, как человек, он страдал от того, что был, как ученый, прав. И ему было больно. И можно сказать честно, что, может быть, это и было главной причиной его смерти.

Он был удивительным ученым, потому что ставил удивительные, раздражающие многих вопросы.

В конце пятидесятых годов он поставил удивительный вопрос, — а кто же все-таки ближе России — Запад или Восток, которых на самом деле много, он не один?

И еще один интересный вопрос он поставил — а было ли на самом деле это самое иго, то самое татарское иго (которое было 200 лет, как нас учили вначале в гимназиях, потом в школах, теперь опять в гимназиях)? Вот как он сам рассказывал:

— Я начал ходить по редакциям журналов и говорить: «Не было ига. Не было!»

Он начал это говорить, и здесь говорил. И терпел, потому что были наветы, была облава, были запреты. После очередного запрета ему было запрещено читать лекции. И тогда он передал эстафету мне, сказав:

— Костя, продолжайте читать лекции.

Гумилев ставил вопросы, ради которых мы сюда и пришли. Он был великим ученым, но он был не менее великим гражданином.

Он редко говорил о своих взглядах, редко давал оценки, он старался быть вне политических событий.

Но сердце патриота, сердце солдата, — потому, что когда его спрашивали:

— Лев Николаевич, Вы — интеллигент?

— Нет, — говорил он. — Я не интеллигент, я — солдат, я — дворянин. Все мои предки были солдатами, — сердце патриота болело, особенно в последнее время.

Но Бог дал нам — не только ученикам, но и всем русским людям, — дал великое учение, великие книги, читая которые мы можем найти ответы на все те вопросы, которые нас сейчас раздирают.

Читайте Гумилева.

О. Г. Новикова
Русский солдат
Л. Н. Гумилёв на Великой Отечественной Войне

Была Великая Россия,
Была Великая страна,
С народом, мощным, как стихия,
Непобедимым, как волна.
Иеромонах Василий (Росляков)

В квартире русского ученого на «почетном» месте у иконы Ангела Златые Власы — простой солдатский котелок. С ним Лев Гумилев дошел до Берлина... Многолетний лагерник, он не придавал особого значения вещам. И если этот котелок каким-то чудом сохранился, значит, очень был он ему дорог...

Лев Николаевич Гумилев широко известен своими научными открытиями — пассионарной теорией, теорией антисистем и межэтнических контактов. Многие ценят его поэтическое творчество, для кого-то важно, что он сын русских поэтов Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой, кто-то его помнит только как узника ГУЛАГа. Сам он очень редко рассказывал (в отличие от многих) о своей лагерной жизни и военной судьбе. Воевал? — Да, с Жуковым брал Берлин, — подчеркивая, что воевал не за кого-то, а защищал свою Родину. На дальнейшие расспросы кратко отвечал, что нужно еще много успеть и нет времени вспоминать. А если и вспоминать, то только хорошее. И иногда в кругу близких он говорил о себе так: «Я — русский солдат. Я всю жизнь, все время на войне. Мы ведь, Гумилевы, — каста военных. Были священники, но в основном военные — морские и сухопутные офицеры и разведчики. Что я могу сказать о вооруженной защите Отечества, когда я его сам защищал в годы Великой Отечественной войны на передовой, а мой отец имел два Георгия, да и деды, и прадеды были военными. Если верить фамильным преданиям, то мой далекий предок командовал одним из полков на Куликовом поле и там же и погиб. Так что я, скорее, не из интеллигентов, а из семьи военных. Чем весьма горжусь»[1162]. Он до конца своих дней отмечал святой для него день — День Победы.

Его дед и отец были офицерами. Отец воевал на фронтах Первой мировой войны, а после революции погиб, скорее всего, не как поэт, а как офицер, выполняя офицерский долг. При устройстве на работу в Государственный Эрмитаж Л.Гумилев записал в анкете: «национальность — русский, социальное происхождение — дворянин». Хотя у него и по материнской, и по отцовской линиям были татарские корни. Хан Ахмат и князь Милюк, родоначальник рода бабушки — Лызовых[1163]. Иногда Лев Николаевич подписывал письма Арсланбей, что в переводе с

тюркского значит — «лев-царь».

1. «Добровольцем — на фронт!»

Офицер Н. С. Гумилев предугадал не только свою судьбу, но и будущую судьбу сына, написав, что «есть люди, рожденные только для войны, и в России таких людей не меньше, чем где бы то ни было. И если им нечего делать „в гражданстве северной державы“, то они незаменимы „в ее воинственной судьбе“»...

Сам Лев Николаевич рассказал в воспоминаниях, как он стал солдатом: «9 марта 1943 года кончился мой пятилетний срок, и как безупречно проведшему все время без нареканий и нарушений лагерного режима, мне разрешили подписать обязательство работать на Норильском комбинате до конца войны. Я был отпущен, и полтора года работал в экспедиции того же самого Норильского комбината. Мне повезло сделать некоторые открытия: я открыл большое месторождение железа на Нижней Тунгуске при помощи магнитометрической съемки. И тогда я попросил, — как в благодарность, — отпустить меня в армию. Начальство долго ломалось, колебалось, но потом отпустили все-таки».

Возможно, на решение властей отпустить Льва Гумилева на фронт повлияли события на фронте. После трех с лишним лет войны армии требовались новые свежие силы. На фронт стали посылать и из мест заключения, и из ссылок — вольнонаемных и заключенных. Английский историк Энтони Бивор, ссылаясь на данные советских архивов, в свой книге «Падение Берлина» пишет, что к 5 сентября 1944 г. из лагерей ГУЛАГа было освобождено 1 030 000 человек.

Согласно записи в трудовой книжке, 13 октября 1944 г. Лев Николаевич Гумилев был призван в ряды РККА Туруханским военным районным комиссариатом Красноярского края из 283-го ЛАП, где он служил вольнонаемным. В декабре 1944 г. Гумилев проездом на фронт оказывается в Москве.

Разыскания в фондах Центрального Архива Министерства обороны РФ, проведенные в 2005 г., позволили документально установить, что Л. Н. Гумилев прошел свой боевой путь с декабря 1944 г. до сентября 1945 г. в составе 3-й батареи 1386-го зенитно-артиллерийского полка (зенап) 31-й зенитно-артиллерийской Варшавской Краснознаменной Ордена Богдана Хмельницкого дивизии РГК. Материалы, полученные в фонде № 13704 управления 31-й зенад (за период с 1.02.43 по 31.12.45), а также воспоминания самого Льва Николаевича легли в основу данной работы.

2. «Служил зенитчиком…»

В Книге учета рядового и сержантского состава 1386-го зенитно-артиллерийского полка (ЦА МО РФ, фонд 1386 зенап, оп. 332358с, дело № 1) на стр. 98 значится, что Гумилев Лев Николаевич служил в этом полку в 3-й батарее рядовым, орудийным номером (ВУС-13). Призван в октябре 1944 г. Туруханским ВРК Красноярского края из 283 ЛАП. Присягу принял в декабре 1944 г.

(В «Записках кавалериста» Николай Гумилев много теплых слов адресовал — «царице боя» — артиллерии. Лев с детства наизусть декламировал поэмы и стихотворения отца. Несомненно, он знал и эти строки об артиллерии. Быть может, поэтому и стал артиллеристом.)

В графе об образовании значится: научный работник (историк), б/п (беспартийный), грамотность — ВУЗ. Далее в Книге учета записано, что Л. Гумилев имел административную высылку из Ленинграда в Туруханск (с 1938 г.), так как в 1938 г. судился и получил условно 5 лет. Указана также мать — А. А. Ахматова и последний адрес проживания: г. Ленинград, ул. Фонтанка, д. № 34, кв. 44.

Документы ЦА МО РФ свидетельствуют, что зенитно-артиллерийский полк (зенап) № 1386, в котором служил Л. Н. Гумилев (номер его полевой почты — 28807), входил в 31-ю зенитно-артиллерийскую дивизию. Командовал 31-й зенад Богдашевский Юрий Гаврилович, с 02.11.1944 г. генерал-майор артиллерии. Сформирована 31-я дивизия была 1.02.1943 г., и затем ее последовательно придавали различным войсковым соединениям 1-го Белорусского фронта. Так, с 23.06.44 г. она входила в состав 48-й армии. Командиром 1386-го зенап был полковник Гуков, нач. штаба — майор Кемельман.

В Книге учета личного состава полка не указаны функциональные обязанности рядового Гумилева. Видимо, расчет его зенитной батареи в составе 5–6 человек был взаимозаменяемым. Лев Гумилев мог служить и заряжающим, и наводящим. На вооружении полка, в который входило 4 зенитные батареи и одна пулеметная рота, были зенитные пушки 61-К. Они были приняты на вооружение в 1939 г. и всю войну были основным средством борьбы с авиацией противника. Артиллеристы, успешно уничтожая цели, кроме того, должны были перемещать орудия на местности, чтобы не дать обнаружить себя противнику.

В соответствующей графе Книги учета личного состава 1386 зенап указано, что рядовой Гумилев провинностей и ранений на

фронте не имел[1164].

3. «Освобождал Западную Польшу, вернее, окраины ее»

Очень важный документ, который удалось обнаружить В фонде № 13704 ЦА МО РФ, хранящем дела 31-й зенитно-артиллерийской Варшавской Красно-Знаменной Ордена Богдана Хмельницкого дивизии РГК (Резерва Главного Командования), — это «Боевые донесения штаба 1386 зенап с 1.01.45 по 8.05.1945» (опись № 1, дело № 31). В этом журнале последовательно, день за днем описаны все перемещения полка, состояние боезапаса и продовольствия, успехи в выполнении боевых задач, потери и т. п.

Когда Л. Н. в декабре 1944 г. прибыл в свой полк, фронт на Висле уже был прорван. 31-я дивизия находилась на подступах к Варшаве. Новый 1945 год зенап 1386 встретил в километре к северо-востоку от польского города Понятува и пробыл там две недели.

12 января началась Варшавско-Познанская наступательная операция. В морозный туманный день 14 января ударная группировка 1-го Белорусского фронта перешла в наступление, а полк 1386 переместился сначала в Калушин, а затем в Новоольшевац. Полоса обороны противника на Вислинском рубеже была прорвана. 16 января все войска 47-й армии продвинулись на 10 км, вышли на рубеж Польски-Янувск, создав угрозу окружения Варшавы с севера. Войска 5-й и 61-й армий охватывали группировку с юга. Используя достигнутый успех, перешла в наступление 1-я армия Войска Польского. Форсировав Вислу севернее и южнее Варшавы, она завязала бои за город. В этот день полк 1386 подошел к Висле и занял плацдарм на берегу реки, прикрывая огнем переправу. К 14 часам польская столица была полностью освобождена от фашистских оккупантов.

Этнологам должен быть интересен и поучителен разговор, который приводит в своих воспоминаниях командующий фронтом генерал Рокоссовский: «Когда речь зашла об укреплениях Праги, пригорода Варшавы, взятого когда-то генералиссимусом Суворовым, кто-то сказал Берлингу, командующему 1-й армией Войска Польского: „А ведь это Вы построили такую мощную оборону. Теперь Вам же приходится брать ее. Вот ведь судьба!“ Берлинг нахмурился и задумчиво ответил: „Видите ли, наши правители всегда смотрели на запад, а не на восток, вот и результат: нашему народу приходится расплачиваться за это кровью“».

Частям и соединениям Советской армии, участвовавшим в освобождении Варшавы Приказами ВГК, было присвоено

наименование Варшавских. С этого времени 31-я зенад стала именоваться 31-й Варшавской Краснознаменной дивизией. Вот как описал освобождение польской столицы Лев Гумилев:

Мы шли дорогой русской славы,
Мы шли грозой чужой земле,
И лик истерзанной Варшавы,
Мелькнув, исчез в январской мгле.

А впереди цвели пожары,
Дрожала чуждая земля,
Узнали тяжесть русской кары
Ее леса, ее поля.

Но мы навеки будем правы
Пред вами, прежние века.
Опять дорогой русской славы
Прошли славянские войска.
Франкфурт-на-Одере
11 апреля 1945 г.

Согласно записи в «Боевых донесениях», 18.01.1945 1386-й зенап 31-й дивизии прикрывал огнем переправу через Вислу, по которой наша армия шла на северо-восток, а 22.01.1945 участвовал в освобождении города Влоцлавека. Армия усилила натиск, стремительно преследовала отступающего врага. Один за другим брались города.

Далее 31-я дивизия движется в направлении, где противник усилил свои потрепанные дивизии свежими силами. Решающий бой произошел в городе Бромберг (Быдгощ). Эта операция была проведена блестяще. Неожиданные удары ошеломили немцев. 23 января 1945 г. силами 2-й танковой армии противник был выбит из этого важного транспортного узла. 26 января полк 1386, совершив трудный 450-километровый марш, дислоцируется на окраине этого города.

27.01.45 полк находится в городе Хоенфельде. Начался новый этап войны: наши войска теперь сражались на территории фашистской Германии. Возможно, отмечая это событие, Гумилев бодро сообщает в письме от 5.02.45: «Жить мне сейчас неплохо. Шинель ко мне идет, пищи — подлинное изобилие, иногда дают даже водку, а передвижения в Западной Европе гораздо легче, чем в Северной Азии. Самое приятное — разнообразие впечатлений».

После освобождения Варшавы продвижение советских войск было стремительным. Но передовые части оторвались от главных

сил армий более чем на 100 километров. Погода ухудшилась, стояла сплошная низкая облачность, моросил мелкий дождь, горизонт затянулся дымкой. На дорогах — грязное месиво, автомашины буксовали. Возникли проблемы со снабжением горючим и продовольствием (в донесении комполка: «запасы продовольствия — 1 суткодача»). Но особенно тревожила нехватка боеприпасов.

Согласно отчету комполка Гукова, 8.02–12.02 полк дислоцировался в городке Квирим. Но батареи не стреляли, так как кончились боезапасы. «Патронов!» — просит комполка. 12.02 полк совершил марш-бросок в направлении городка Бернойхем, а 13 февраля дислоцировался уже в Каленциге. 18.02 полк прошел Делиц, а праздничный день вооруженных сил 23.02 встретил в городе Пумптове. 27.02 полк в Шульцендорфе.

4. «Мой адрес — полевая почта 28807-г»

К середине февраля 45-го года противник сосредоточил на побережье Балтийского моря около 40 дивизий. 1-й Белорусский фронт повернул на север к Штаргарду, началась Восточно-Померанская операция. 3 марта (в день именин Л. Н.) его полк находился в городе Цахан. С аэродрома Финовфурт фашисты поднимали в воздух до 200 самолетов, бомбивших прицелы артиллерии. Самые большие потери наша армия в тот момент войны несла именно в зенитных войсках. Вот что стоит за шуткой Льва Николаевича о том, что в зенитной части он «немного отъелся». Во время взятия Штаргарда 31-я дивизия была придана войскам 61-й армии. Для историка Гумилева это наверняка было значимым событием. В ходе Семилетней войны в этой прусской крепости в марте 1762 г. князь М. Н. Волконский заключил перемирие. В 1945 г., наши войска опять прошли на запад «дорогой русской славы», как в 1812 году, освобождая Родину от войск Наполеона.

4 марта после ожесточенных боев Штаргард был взят. Текст благодарственной грамоты командования, бережно сохраненной Львом Николаевичем, гласит:

«Рядовой Гумилев Лев Николаевич!

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 4 марта 1945 года Вам объявлена благодарность за отличные боевые действия при прорыве сильно укрепленной обороны немцев восточнее города Штаргард и овладении важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании.

Войсковая часть полевая почта 28807.

Подполковник Гуков».

Советские войска рассекли Восточно-Померанскую группировку фашистов и вышли на побережье Балтийского моря. 14.03 в 19 часов полк 1386 подошел к Альтдамму. 17 марта продвинулись к аэродрому и заняли селение Тир юго-восточнее Альтдамма. Этот город был центром укрепленного плацдарма на правом берегу Одера. Он имел стратегическое значение: через него проходили железные и шоссейные дороги, которые связывали районы Германии с Померанией и Восточной Пруссией. Город прикрывал подступы к крупному промышленному центру и порту Штеттину. В овладении Альтдаммом особую роль играли зенитные войска. Немецкий историк пишет: «Хотя город был еще в руках немцев, русские засели на высотах у Альтдамма на противоположном берегу Одера и обстреливали из своих многочисленных батарей городские кварталы». Фашисты пытались раскрыть расположение артиллерийских батарей. Для этого на их разведку вылетали двухфюзеляжные разведывательные самолеты-корректировщики огня Fw-189.

18.03 полк 1386 овладел железнодорожной станцией Альтдамм и мостом через реку Плона. 20.03 полк вышел к берегу Одера. Но на другом берегу реки фашисты создали мощный оборонительный рубеж, поэтому полк задержался в окрестностях Альтдамма вплоть до 26 марта.

Запомнился рассказ одного знакомого Гумилева о боях на Одере: «Представляете, стоит батарея на Одере — пикируют на них немецкие самолеты..., а Гумилев выходит на берег и читает Гёте! (Возможно, и эти знаменитые строки: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой!») Командир батареи ему говорит: „Ну, ты, Гумилев, даешь!“» И он действительно давал жару немцам! Его друзья-священники и сейчас говорят, вспоминая о нем, — он был отчаянный человек, ничего не боялся... Судить об этом можно по этим его военным стихам. В них подробнее, чем в письмах, Л. Гумилев рассказывает о войне:

Мне памятен серый туманный денек.
Альтдамм догорал и еще не погас.
Осколки, как пчелки, жужжат — и в песок,
И семь самолетов, как камни, на нас.

Мне слышен был пушек отчетливый стук.
На небе чернели снарядов пути.
И я не отвел каменеющих рук,

Чтоб бросить прицелы и с пушки сойти.

А пять фокке-вульфов опять в вышине,
Стремятся на запад к чужим облакам,
А двое… кружатся в дыму и в огне
И падают вниз на горящий Альтдамм.

Минута, другая — и вдруг тишина,
И Одера синяя лента видна,
И виден Победы улыбчивый взгляд,
Сегодня в Альтдамме отмщен Ленинград!
Лев Гумилев, 26 марта 1945 года[1165]

День 5 апреля 1945 г. оказался знаменательным: был объявлен Приказ Главного Командования о награждении за боевые заслуги Орденом М. И. Кутузова зенитно-артиллерийского полка № 1386 31-й зенитно-артиллерийской Варшавской Краснознаменной дивизии.

Тогда же, в начале апреля, 31-я зенад была переведена в распоряжение 3-й армии под командованием генерал-полковника А. В. Горбатова, которая до 15 апреля находилась в резерве фронта и вела усиленную подготовку к операции по прорыву обороны противника с плацдарма севернее города Кюстрин на западном берегу Одера.

В донесении командира полка записано: «9 апреля немецкие самолеты сильно бомбят нашу переправу, разбили два пролета, которые были восстановлены». К 11 апреля 3-я армия составила второй эшелон 1-го Белорусского фронта. Шла подготовка к Берлинской наступательной операции.

5. «На Берлин!»

Фашисты создали мощную оборону на реках Одер и Нейсе. Особенно сильной она была перед Кюстринским плацдармом, на Зееловских высотах, находившихся в 4 км от переднего края, оттуда просматривался весь плацдарм. Против англо-американцев, между Берлином и Эльбой, немцы оборонительных рубежей не создавали. Для обороны против русских немцы сняли соединения с Западного фронта и перебросили на Восточный фронт. Гитлер еще не терял надежды на заключение сепаратного мира с англо-американцами.

В 5 часов утра по московскому времени началась последняя битва Великой Отечественной войны — битва за Берлин... Яркие всполохи артиллерийской канонады 40 тысяч орудий усилили световой удар прожекторов. Был сплошной гул вулканической мощи! Клубы пыли и порохового дыма поднимались высоко в небо. Прорыв немецкой обороны, расчленение и уничтожение этой группировки осуществляли войска трех фронтов.

В донесении командира 1386 полка наступление на Кюстринском плацдарме отражено так: «16.04 — после внезапной артподготовки, начавшейся в 5.00 наши войска перешли в стремительное наступление, прорвали оборону противника и к 20.00 вышли на рубеж: зап. окрест. с. Мальков — ЮВ берег озера Алькастен». Войска второго эшелона 3-й армии приступили к форсированию Одера под прикрытием артиллерийского огня. Переправа осуществлялась на широком фронте с помощью множества лодок, заранее подтянутых к восточному берегу. В ночь на 18 апреля у с. Визен была сооружена переправа через Одер, полк 1386 ее обороняет. Под прикрытием артиллерийского огня на плавсредствах войска устремились к противоположному берегу. На следующий день полк пошел в наступление, придвинулся к городу Нидер-Езар и занял новый рубеж. Оборона фашистов была прорвана, наступление шло дальше.

22.04.45 полк совершил марш-бросок до Егерсдорфа. К 22 апреля линия фронта уже проходила от северных предместий Берлина через Штраусберг, Кинбаум, Буххольц, Болендорф к сев. окраине Франкфурта.

6. «Победа была одержана в сосновых лесах под Берлином»

Развивая наступление, войска 1-го Украинского фронта подошли к пригородам Берлина с юга и замкнули в кольцо

франкфурт-губенскую группировку противника, отрезав ей пути отхода к Берлину. 3-я армии должна была к 25 апреля замкнуть кольцо окружения и перерезать дорогу Берлин — Цоссен. Фронт наступления был развернут от Берлина на юго-восток. Согласно донесениям комполка, 24.04.45 зенап № 1386 находился в г. Нидерлеме, расположенном в 30 км к юго-востоку от Берлина, а 25.04.45 — в важном стратегическом центре Вильдау, лежащем на железнодорожной магистрали Берлин — Дрезден.

Самые ожесточенные бои начались после того, как было замкнуто кольцо вокруг Берлина и началось уничтожение Окруженной немецкой группировки. Окруженный противник оказывал особо упорное сопротивление. (На заметку этнологу: пленные немцы говорили: «Офицеры нас предупреждали: уж если придется сдаваться в плен, то не русским, а англичанам и американцам. Мы должны были обороняться до тех пор, пока наши начальники, а вместе с ними «тузы» разных мастей не отойдут за Эльбу к англосаксам...») Противник продолжал атаковать плотными цепями: гитлеровское командование совсем уже переставало считаться с потерями.

Но кольцо окружения сжимать было не просто: местность, поросшая вековым сосновым бором, была перерезана каналами и озерами. По берегам стояло множество красивых вилл. В этом районе издавна жила и развлекалась немецкая знать. Но не всегда эта земля была германской. Рыцари-крестоносцы в Средние века осуществляли походы против здешних коренных жителей — славян ободритов и лужичан, лживо объявляя своей целью обращение их в христианство. Упорное сопротивление славян онемечиванию шло не один век, но к XII веку было сломлено. Славяне были почти поголовно истреблены, а их земли захвачены. Но в 1945-м потомки рыцарей бросили виллы и бежали под натиском русской армии, а их слуги вывесили из окон вилл белые флаги. Л.Н. говорил, что освещенные солнцем сосновые леса наших предков помогали нам.

27 апреля 1945 года полк 1386 переместился еще южнее от Берлина и вышел на южную окраину города Тойпиц на берег озера Тойпицер-Зее. 28 апреля полк в составе дивизии продолжал наступление, встречая все более нарастающее сопротивление противника. Донесение комполка в штаб дивизии звучало тревожно: «28.04 противник бросил в ход танковую дивизию „Великая Германия“, частично потеснил и снова занял город Хальбе, затем отошел».

На следующий день: «С 00 час. До 16.00 29.04 противник, замкнутый в кольцо, пытался вырваться из Берлина на соединение со своими войсками и предпринял контратаки в

районе Лёптен — Хальбе. Батареи открыли орудийный и ружейно-автоматный огонь на дальности 100 м, израсходовано 59 снарядов. Контрнаступление противника отбито.

В районе Хальбе группа вражеских солдат при поддержке бронетранспортеров пыталась прорваться к магистрали Берлин-Дрезден через плацдарм 2-й батареи. Наступление отбито, взято 400 пленных. Пытался прорваться генерал-майор от инфантерии с 9 солдатами. Все убиты».

Гумилев помнил этот бой у городка Тойпиц. Рассказывая в своих воспоминаниях (см. стр. 21 этой книги) о том, как ночью поднял батарею по тревоге для отражения контратаки немцев, Лев Николаевич упоминает о невзлюбившем его комбате, который не отразил в донесении это событие, в результате чего Гумилев не получил награды[1166].

По материалам ЦА МО РФ, в это время Лев Гумилев служил в 3-й батарее 1386-го зенап. Командиром батареи был старший лейтенант Финкельштейн Соломон Моисеевич в других документах Моисей Соломонович), 1923 г. рождения, член ВКПб с декабря 1943 г., в РККА с августа 1941 г., образование — ТУЗА (техническое училище зенитной артиллерии). В отчете командира полка указывается, что 3-й батареей к маю 1945 г. было сбито 14 самолетов, а общее число награжденных составило 64 чел.

К утру 30 апреля 1945 г. франкфурт-губенская группировка прекратила свое существование... В этот день бесноватый фюрер арийского народа покончил с собой. С ?.04 по 1.05 полк 1386 находится под Тойпицем.

К исходу дня 1 мая полк получил приказ совершить марш сосредоточиться в одном из районов восточной окраины Берлина. Вдали стали видны кварталы немецкой столицы. Город еще кое-где горел, но небо ясное, голубое, ярко светило солнце. 3 мая полк находится в городе Эркнер (в ? км к востоку от центра Берлина), батареи охраняют перекресток. С 5 по 7 мая полк 1386 дислоцируется в городке Уленхорст в восточном предместье Берлина.

Берлин представлял собой жуткое зрелище: везде лежали убитые. Земля была изрыта воронками от бомб и нарядов, перепахана военной техникой, изранена глубокими траншеями. Всюду разбитые заграждения, обломки бронированных дотов, изуродованные остовы танков, ушек, машин, куски брони — все было так перемешано, что оставляло впечатление всеобщего хаоса. Вот к чему привели свой «фатерланд» нацисты. Во имя чего погибло столько людей? — Во имя торжества иллюзии — превосходства над миром народов одной этнической группы?!

Как-то раз Гумилев на очередной вопрос об армии помедлил

и сказал: «Д-а, я могу рассказать, что такое армия без прикрас. Все эти писатели, Бондарев и другие, — это результат „писательства“. Самый жесткий писатель — это ранний Лев Толстой с „Казаками“ и русская литература, посвященная войне с Наполеоном. Потом началось приукрашивание действительности. — А Верещагин ? — Верещагин — это позерство, предназначенное для императорского двора. Все значительно страшнее». Закончил он свою мысль так: «Войны происходят, с этим ничего не поделаешь. Человечество несет количественные и качественные потери, но жестокость опустошает души».

8 мая 1386-й Ордена Кутузова зенитно-артиллерийский полк встретил на южной окраине Мальсдорфа (это пригород Берлина). В этот день войска 3-й армии получили приказ передать занимаемый участок частям 3-й ударной армии. Ночью 9 мая стало известно о подписании акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

В 6.00 утра 9 мая 1945 г. все полки армии были построены при развернутых знаменах. Дружное «ура» то и дело заглушало голоса выступающих. Неудержима была радость. Ведь Победа же! 1418 дней и ночей шли они к ней. И дошли! Радость победы испытывали все — от простого солдата до военачальника, от юноши до убеленного сединами старика. Тысячи и тысячи фронтовиков с гордостью говорили: «Я брал Берлин!»

Сохранилась грамота:

«Красноармеец Гумилев Лев Николаевич.

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза от 2 мая 1945 № 359 за Берлин всему личному составу нашего соединения, в том числе и Вам, принимавшему участие в боях, ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ.

КОМАНДИР ЧАСТИ п./п. 28807.

Подполковник Гуков».

31-я зенитно-артиллерийская Варшавская Красно-Знаменная Ордена Богдана Хмельницкого дивизия была выведена в Резерв Главного Командования. На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 25.09.1945 Л. Н. Гумилев демобилизован из 1386-го полка. 4 месяца до демобилизации он провел в Германии, под Берлином. Время на фронте, послевоенные «каникулы» Лев Николаевич впоследствии называл самым счастливым и памятным временем.

7. «Наукой можно заниматься везде»

Ученый говорил: «Если для тебя что-либо интересно, то обстоятельства и обстановка — не помеха. Думать ведь можно

везде». Во время войны Лев Николаевич не оставлял своих интеллектуальных исследований, не упуская случая и для научного общения. Вот его воспоминания об общении с немецким историком. «Помню, в 1945 году, после взятия Берлина, я встретился с немецким ученым моего возраста и разговорился с ним. Он считал, что славяне захватили исконно немецкую землю, на что я возразил, что здесь древняя славянская земля, а Бранденбург — это Бранный Бор лютичей, завоеванных немцами. Будь он начитаннее, то упомянул бы, что еще раньше, в V веке те же лютичи вытеснили с берегов Эльбы германских ругов. Но разве в этом суть? Все народы куда-то откуда-то пришли, кто-то кого-то победил». Славянское прошлое этих земель отражено также названиях других германских местностей, таких как Померания, Штаргард («старый город») и др.

В другой раз Гумилев беседовал с немецким физиком, рассказывая про Таймыр. Тот стал сопоставлять рассказ с сочинениями Джека Лондона. Гумилев возмутился и вскричал: «AIазка ш Кигогі\»(fb2: неразборчиво), ведь изотерма Аляски проходит через Байкал, а более красивого и благодатного места он в жизни не видел.

8. Дружба народов

Отечественная война всколыхнула в народе чувство патриотизма, необходимости дать отпор врагу. Народный гнев превратил разноязыких советских людей в мощную несокрушимую волну. О своих однополчанах Лев Гумилев говорил: «Все мы в этой последней войне воевали за Россию, хотя в нашей маленькой зенитной батарее были армянин и казах. И мы великолепно уживались друг с другом на индивидуальном уровне. Но мы же не навязывали своих привычек, не старались сделать из них «неполноценных русских». И они вели себя соответственно в отношении нас. Общий результат известен: мы взяли Берлин, а не противник — Москву». Чтобы действовать быстро, четко и слаженно, чтобы не подвергнуться обстрелу сразу после своих выстрелов, надо было стремительно менять положение орудия на местности. Артиллеристы должны были действовать слаженной единой командой. Для этого надо было чувствовать локоть друга. И каждый помогал другому, как мог, даже в быту.

Помню, Л.Н. рассказывал, что он в лагере научился шить сапоги и ботинки, и на фронте это ему пригодилось. О том, как воевал противник, вспоминал так: «Немцы воюют по часам, и только, когда кофе попьют, а мы — всегда. Фашисты воевали с

удобством для себя, а защитники Отечества в любой обстановке. Я воевал в тех местах, где выживали только русские и татары. Войны выигрывают те народы, которые могут спать на голой земле. Русские и татары — могут, а немцы — нет». Помогала победить и память о Родине, память о тех, ради которых надо жить:

Вечер теплый и тихий в родимой стране
Почему-то сегодня припомнился мне.
Теплый вечер чуть трогал вершины берез.
Пестрый луг в предзакатном сиянии цвел,
И звенели на воздухе крылья стрекоз,
И блестели тела пролетающих пчел.
Но сегодня холодное небо во мгле.
Бесприютно и мрачно на чуждой земле.
В черном небе чужая жужжит стрекоза,
И расчет напрягает до боли глаза.
И снаряды, как пчел огневеющих рой,
По холодному небу скользят надо мной.
Помнить оба мгновения мне суждено.
Оба дороги сердцу и милы равно.
Сохраню я их в памяти бренной моей
Для друзей, для жены и для будущих дней.
Чтобы знали потомки, что эта война
Никогда не была нам тяжка и страшна.
Франкфурт-на-Одере[1167]

А вот этнологическое замечание Л. Н. Гумилева: На фронте мне рассказывала переводчица, что она видела, как немецкий фельдфебель бил солдата по физиономии, а тот вытягивался в струнку и повторял: «Герр фельдфебель, я виноват!» Попробовал бы мне старшина дать по морде или кому-то другому. Был такой случай: он мне по шее, а я ему в зубы. После чего мы посмотрели друг на друга и сказали: «Ну, хватит, квиты». Да, но если бы старшина ударил кавказца, тот бы схватился за оружие.

9. «Был май, сирень цвела»

Великая Отечественная война окончилась. Лев Николаевич вернулся домой в Город, как он называл Ленинград. Не забыть, как он рассказывал о своем ощущении! По окончании войны. Время на фронте и послевоенные «каникулы» Лев Николаевич называл самым счастливым и памятным в своей жизни. В канун

дня Победы, когда Цветет сирень, мы с ним и Наталией Викторовной много лет ездили на Марсово поле, чтобы вдохнуть ее запах и почувствовать май 45-го. Рассказывал, какая любовь разгоралась тогда, как всем хотелось любить. Победа, счастье, Май! Он говорил: «Боже, какой это был 45-й год. Меня встретили, как родного (я же был в шинели с погонами). Разрешили сдавать экзамены экстерном за два курса, вместе с аспирантскими. Но потом мне отозвалась моя отзывчивость...» — Это он уже о следующих тюремных мытарствах.

Никакого мира для него не наступило. После речи Черчилля в Фултоне началась новая война двух супердержав, двух суперэтносов — «холодная». А за несколько месяцев до этого, в конце 1945 г., вскоре после возвращения Гумилева в Ленинград произошла встреча-провокация А. Ахматовой с английским дипломатом и шпионом, будущим философом либерализма Исаией Берлиным, на которой Лев присутствовал, так как попросту жил у своей матери. Новая клевета, допросы, тюрьмы и лагеря. И все время ни на минуту он не прекратил своей работы. — Думать можно всегда и везде. Так для Льва Гумилева, участника важнейших и кровопролитнейших операций последнего этапа Великой Отечественной войны, начался новый фронт. «Холодная война» проходила в области научного и культурного влияния. Изнутри шло подталкивание к соперничеству в военной сфере, не оказание должного сопротивления (а часто и потакание) проникновению в страну чуждых ценностных установок; наряду с этим, яростное сопротивление продвижению книг ученого-патриота. И хотя сейчас руководители государства и политики цитируют мысли Гумилева, признавая верными его научные оценки и прогнозы, — эта война не закончилась для его пассионарной теории этногенеза [1168].

Послесловие

Когда разрушился Союз, Лев Николаевич переживал невероятно. Горько было видеть, что Победа предана, страна роздана по прихоти, при безмолвии народа. Подсчитал процент голосовавших в Верховном Совете за Союз. Сказал: «Смотрите, Оленька, как сейчас всё советское разрушится, даже брак. Собираться будет уже на других основах». Солдат Победы умирал вместе со своей страной...

Вслед за ним невероятно быстро и непонятно ушли его ученики и друзья. Во всех случаях это был преждевременный уход. Прошло 15 лет после смерти Л. Н. Гумилева, за это время с

Россией случилось много бед — Чечня, «Курск», Дубровка, Беслан...

И все же в последние годы уже больше слышно радостных детских голосов. Будущее России создают поколения, не знавшие бед Гражданской войны. Ведь именно люди меняют окраску времени. Помня совет Льва Николаевича, вспомним только хорошее...

Лев Николаевич и Наталия Викторовна часто бывали за городом — в Пушкине, Павловске, Гатчине. Позже, когда им стало потруднее, им помогали (в том числе и мы с мужем) выезжать подышать свежим воздухом. Ездили мы и по Городу, и в пригороды. В Карелию не ездили. Л.Н. не очень нравилась местность со скалами. Любил среднерусские поля с открытыми пространствами до горизонта или дворцовые парки — то, к чему был больше привычен глаз и что не отвлекало от мыслей...

— Плохого лучше не вспоминать. Зачем? Вспомнишь, расстроишься, заболеешь. Нет, лучше не надо. Как они все пишут про войну, лагеря, не понимаю! — Плохо было очень в школе, просто убивали меня. Пришлось даже уйти в другую школу. Одного мальчишку очень хорошо помню... — А что с ним сталось потом? В драке пьяной до войны еще погиб... А мы сможем на машине до Бежецка доехать? — Конечно. — Тогда давайте этим летом поедем.

— Я и не думал, что доживу до живых людей. О том, что проживу столько, и не думал. Каждый день в лагере был как последний. Вот все думаю, почему после инсульта выжил? (Инсульт был с частичной парализацией.) Зачем меня Господь оставил еще жить, что я еще не сделал?

— Вы бы остались в памяти людей только любителем Чингисхана. (Разговор происходил в 1990 г., когда книги «Древняя Русь и Великая Степь» и «От Руси до России» находились еще в рукописях.) А Вы — кто, степняк?

— Я — русский.

— У Вас отец был офицер и патриот, его расстреляли... Л.Н. перебивает:

— Мой отец был поэт.

— Л.Н., позвольте остаться при своем мнении, его расстреляли как патриота, а Вы — его сын.

В поездках Л.Н. иногда комментировал окружающее, говорил, каким это место было раньше. «Вот тут Греческий собор был, а тут — такая-то часовня». Проспекты и улицы называл по-дореволюционному. Называл и литературные места: «Вот тут в доме у Пяти Углов Наталью Филипповну торговал Рогожин...»

Или вот — едем, в машине тишина, вдруг Л.Н.: «Проспект

Скверника!» Это он фамилию партдеятеля Шверника переделал. Этот проспект опять переименован в 2-й Муринский. Помню, было удивительно, откуда он знает, как и какие трамваи ходили в далеком от центра районе Лесного корпуса. А он, оказалось, служил в путевой службе, рабочим, и ездил в Парголово на работу. Потом, студентом, ездил в Лесное к Орику, своему брату, студенту Лесной академии. В парке Академии они гуляли-ухаживали за одной девушкой. «Но я успеха не имел», — с грустью сказал Л.Н. Он описал это время «Зимней сказке».

По пути в Царское Село много раз пытались отыскать могилу деда — С. Я. Гумилева, не нашли. Как-то раз в дождливую погоду Л.Н. просит остановить машину. Осенний холодный дождь, ветер, а дорога просто как на картине Саврасова «Проселок», только осенняя. Это даже не лужищи, а канавы в вязкой глине. Н.В. остается в машине. Но Л.Н. упрямо «топает» вперед. Кругом запустение среди голых деревьев. Показались руины. Нет ничего, что бы напоминало былое великолепие. Тишина. Потом Л.Н. как-то особенно торжественно громко произносит: «Феодоровский городок!» Долгое молчание. Поворачиваем назад. При подъезде к Царскому дождь становится элегическим, а при подъезде к Екатеринскому дворцу уже только моросит. Как обычно, мы договариваемся о времени встречи, и вот уже Н.В. и Л.Н. отправляются по главной аллее перед дворцом «шуршать» золочеными листьями. Надо сказать, что в день своего рождения Л.Н. старался уехать из города, не отмечал он этот день. А вот именины — всегда. В день рождения на прогулке обдумывал план на наступающий год. Возвратясь, сообщает радостно: «Оленька! Я — спасу Россию!» И начинает свой длинный рассказ о князе Николае Трубецком... (Впоследствии он действительно начал работать над статьей на тему евразийства.)

В последние годы часто гуляли «к Пушкину» или объезжали Город. Л.Н. называл эти вспоминания — «прощание с Городом». Круг около Марсова поля, Летнего сада (тут он ребенком был влюблен... в статую). Вот церковь Симеона и Анны, куда он сбегал из Фонтанного Дома. По каналам, через мосты, к Крестам. Тут выходили и молчали. Так же, как около Университета. Помню, как Костя показал место, где в будущем будет стоять памятник Льву Николаевичу. Гумилев промолчал. (Сейчас площадка перед БАНом уже занята — Сахаровым.)

Размышлял о будущем учеников: «Костя будет наукой заниматься, Слава — книги мои издавать». — «А N.7» — «А я его не знаю». — «Как не знаете? Он же много раз у Вас был дома, он же у Кости работает?!» — «Ну, да, я знаю его, но я его работ не знаю. А Вы вот — меня реанимируете». — ??? — «Вы же —

реставратор». (Так потом и получилось — пришлось собирать из разрозненных кусков его лекции на телевидении.)

Да, стремительно стала меняться этническая картина мира. Ушли друзья и недруги Гумилева — те, кто сидел, и те, кто сажал их. В однополярном мире началась новая война — война с терроризмом, война, в которой нет фронта, диффузная война. Явно проступают черты новой этнической фазы и нового суперэтнического конфликта, по Гумилеву, — смещения…

Еще вот чему можно поучиться у Гумилева. В дни августовского путча 1991 г. на даче, когда мы все (Н.В., Костя и Лена Маслова) были крайне возбуждены («Анатолия Ивановича взяли!»), Лев Николаевич был спокоен, как обычно. Выкурил «беломорину» и кратко сказал: «Статья 58-я — измена Родине. Нам рекомендовали не волноваться. Следующая волна — русская».

Много было за это время пораженческих прогнозов для России, но мы видим — есть пассионарность, российский этногенез не закончен. И теория, созданная им на стыке наук, побуждает, к исследованиям в различных областях: истории, психологии, социологии, геополитике, культурологии, генетике, нейрофизиологии, математике, синергетике. Струна российской истории звучит.

Ю. К. Ефремов
Слово о Льве Николаевиче Гумилёве[1169]

В культуре России и мира Лев Николаевич Гумилёв — явление настолько большое, что всестороннюю его оценку не дашь и на многодневных чтениях. Отдавая дань памяти выдающемуся мыслителю, ученому и человеку, мы собрались не для дискуссий и выяснения отношений. Отложим их до будущих ристалищ, а сегодня у нас другой повод для встречи — две недавние даты. Одна из них — скорбная: в ночь с 15 на 16 июня 1992 г. — мученическая кончина человека, у которого злобно раскрылись лагерные язвенные швы; другая — его 80-летие, исполнившееся 1 октября.

Для меня это выступление — внутренний долг перед другом, с которым связаны 35 лет близости и взаимопонимания. Общаться с ним мне посчастливилось в годы подлинного расцвета его научного творчества.

24 июня 1916 г. 23-летняя Марина Цветаева, боготворившая Анну Ахматову, пропела в адрес трехлетнего сына двух поэтов («Имя ребенка — Лев, матери — Анна») не только «осанну маленькому царю», но и пророческую строку «Страшное наследье тебе нести» — словно предчувствовала уже тогда трагические судьбы обоих родителей и маленького «Львёныша».

В студенческие годы мы ничего о нем не знали. Лишь однажды, году в 35-м, на географическом факультете был шепот, что есть в Ленинграде такой студент — глубоко верующий (надо же, вторая пятилетка, а он все еще во что-то верует!), а на вопрос, что ему ближе — Москва или Питер? якобы отвечавший:

— Ну что вы, конечно, Москва — в ней самый воздух как-то православнее.

Рассказал я об этом слухе уже стареющему Льву Николаевичу, и он возмутился:

— Никогда я такого не говорил.

Впервые я увидел его в Географическом обществе в Питере, только что вернувшегося с каторги, и опознал по фамильному сходству — по единственному известному мне и не самому удачному портрету отца в журнале «Аполлон». А к старости Лев Николаевич становился все больше похожим на свою мать (вглядитесь в ее портреты в пожилом возрасте).

Внутренне он, конечно, гордился и этим сходством, и родством, знал наизусть уйму стихов обоих родителей, но, как правило, ни в чем этого не проявлял, а разговоров о их судьбах и особенно о своих правах наследника упорно избегал.

Общаясь со мной, Лев Николаевич любил подчеркивать свое старшинство — родился в 1912-м, а не в 1913-м году, хоть и был меня всего на семь месяцев старше. Но я-то чувствовал себя всегда куда более младшим: никакие семь месяцев разницы в возрасте не шли в сравнение с четырнадцатью годами лагерных страданий, с опытом фронтовика, прошедшего до Берлина, человека, всю жизнь прожившего под тяжестью осознания трагедии отца, а потом и драмы матери, и так горько расплатившегося сначала за одно только это родство, а потом и за собственное героическое инакомыслие.

Как сверстнику, мне легче представить себе обстоятельства его долагерной жизни. И отрочество с юностью, и молодость Льва Гумилёва прошли под черным крылом анкетного пункта о расстрелянном отце, а в тогдашних школах не прощалось и интеллектуальное превосходство. Принцип был: «не высовывайся!». Даже меня, сына учительницы и агронома, выходцев из сельского нижегородского захолустья, корили за академический индивидуализм — так принято было обзывать успехи в учебе. В любом дитяти из нерабочих семей мерещилась голубая кровь. А юного Льва Гумилёва прямо обвиняли в «академическом кулачестве».

В 1930 г. мы закончили тогдашние девятилетки, но продолжать образование не могли, как выходцы из чуждой прослойки. Принять 17-летнего Льва Гумилёва отказался питерский пединститут, а мне документы возвращались даже из пяти вузов, в их числе и с моего будущего географического факультета. Для поступления полагалось нарабатывать рабочий стаж, вот мы оба и оказались в Сибири — я собирал за Обью американские комбайны, а Лев Гумилёв коллекторствовал в геологической экспедиции в Саянах. Побыл он и рабочим службы пути и тока, и «научно-техническим лаборантом» в академической Памирской экспедиции, потом — санитаром по борьбе с малярией в таджикском совхозе и лишь в 1933-м оказался участником археологической экспедиции Бонч-Осмоловского в Крыму. После ареста руководителя экспедиции был удален из геологического института и Лев Гумилёв. Цвету «белой кости» оттенок придавался уже политический. С начала 30-х годов наши судьбы не совпадали.

Во всю широту своих взглядов Лев Николаевич раскрылся перед нами не сразу, поначалу приводил даже в недоумение — так непривычно парадоксальны были его оценки, скажем, татарского ига как периода сравнительно мирного и даже взаимообогащающего сосуществования русских с татаро-монголами. Во вступлении к незавершенному труду «Ритмы

Евразии», где понятие «Евразия» трактуется нетрадиционно, в весьма суженном значении, об этом сказано прямо: «Золотоордынские ханы следили за своими подчиненными, чтобы те не слишком грабили налогоплательщиков». Об этом же подробно говорится в одном из глубочайших трудов Гумилёва «Древняя Русь и Великая степь».

Не отрицая жестокости отдельных карательных акций, таких как батыева или мамаева, Гумилёв утверждал, что монголам было выгоднее не тотальное ограбление и обескровливанье Руси, а, напротив, поддержание ее жизнеспособности и платежеспособности, не иссякающей веками. А влияния при этом действовали, конечно, встречные, взаимные, обоюдные.

Тогда же мы впервые услыхали от него и о понятии пассионарности — многих оно поперву тоже насторожило, да и позднейшие и нынешние оппоненты его не приемлют. Но Лев Николаевич сумел нас убедить, что пассионариев не следует считать никакой высшей расой, что это никак не комплимент. Пассионариями были и хищные завоеватели, и явные разбойники и негодяи, и не обязательно единичные герои над безликой толпой; бывало, что пассионарными оказывались и народы, пребывавшие под началом посредственных вождей и тупых правителей, но подвластные некоему повышенному энергетическому импульсу. А волны пассионарной активности с положительным знаком, когда сочетались силы и личностей, и народов, приводили к таким победам, как на Неве и Чудском озере, или на полях Куликовом и Бородинском, формировали новые этнические единства.

От публичного анализа текущих событий Гумилёв воздерживался, не забираясь глубоко даже в XIX век и блюдя, как он говорил, орлиную высоту взгляда на времена и пространства. Считал, что историку противопоказаны конъюнктурные диагнозы и торопливо-скороспелые выводы. Сколько я ни пытался выспросить его, была ли революция Мейдзи и последующая агрессивность японцев проявлением их пассионарности, он предпочитал отмалчиваться. Но это отнюдь не значит, что открытые им закономерности перестают действовать в новейшее время.

Как могло появиться в семье русских поэтов такое дитя Востока? Вряд ли тут нужно искать генеалогические корни. Важнее, что Восток открывался мальчику с детства — и в книгах по истории, и в живом общении с людьми. Дружба с татарчатами еще при работе в Крымской экспедиции открыла ему живую тюркскую речь, а работая в Таджикистане, он наслушался и подлинного фарси. Даже еще не овладев этими языками, он сам

попробовал их «на язык», а ощущение их реальности вооружило его ключом и к тюркоязычным, и к персидским текстам — они не были для него непроходимой тарабарщиной, не отпугивали.

А в лагерных «университетах» подобные же знания пополняло общение с казахами, монголами, китайцами, корейцами. Добавим к этому домашний французский и умение читать на разных языках «со словарем» — вот и истоки легенд о Льве Гумилёве-полиглоте; каюсь, что когда-то и сам их доверчиво распространял.

Много дала и работа в хранилищах Эрмитажа, где и египетские, и ассиро-вавилонские, и древнеиранские шедевры делали ощутимо овеществленной историю незапамятных эпох. Списки допотопных династий фараонов, шахиншахов и китайских императоров уже и юноше не казались несъедобными абракадабрами. Позже помогали, конечно, и опытные учителя. Вот и вырос такой феноменальный знаток, словно сам современник и очевидец давно прошедших событий истории Востока.

Что помогло особенно быстро возникнуть доверию и взаимопониманию между нами? Пожалуй, первый визит Льва Николаевича в университетский Музей землеведения, на создание и развитие которого я положил 30 лет жизни.

Чтобы описать этот учебно-научный геолого-географический музей, занявший 7 этажей высотной башни, нужна специальная лекция, а к ней и экскурсия — буду рад провести такие, если их организует Союз писателей (никак не запомню, как он теперь называется). В нем нам удалось реализовать близкие Льву Николаевичу идеи целостности природно-общественных комплексов и выразить их с помощью средств синтеза науки и искусства. Как историк Гумилёв очень оценил в этом музее наше внимание к истории Московского университета и к исследованиям дорогой ему Внутренней Евразии. В галерее бюстов его особенно тронули созданные по нашему заказу портреты Вернадского, Гумбольдта, Пржевальского, Семенова-Тян-Шанского, Обручева, Краснова (удивился — как вам разрешили, ведь он брат повешенного генерал-атамана!).

С полным пониманием отнесся Лев Николаевич к нашим материалам по охране природы, в том числе и охране от ухудшающих преобразований — мы тогда с Д. Л. Армандом выступали как соавторы первого проекта природоохранного закона, принятого в 1960 г. Но главное было в том, что музей помогал понимать пути развития всей природно-общественной экосферы Земли, толкуемой в духе учений Гумбольдта, Докучаева и Вернадского. Мы сошлись с ним тогда в отрицании

узкопространственного, а не философского толкования ноосферы, приписываемого Вернадскому. Моей социосфере Лев Николаевич противопоставил свою биосоциальную мозаичную этносферу, образуемую этносами. Толкование биосоциальности человечества в отличие от узкосоциальной трактовки общества догматиками-марксистами также способствовало нашему взаимопониманию.

Биосоциальная трактовка этноса — огромный вклад Льва Николаевича в философию, историю и географию. Понятие об обществе как о чем-то стерилизованном от природных начал — категория абсурдно-абстрактная; ведь все члены общества рождаются, питаются, растут, плодятся и умирают биологически (как от этого ухитрились абстрагироваться марксисты-материалисты?).

Но биологические признаки свойственны не только особям, а и их сообществам — ценозам, а значит, и антропоценозам, этноценозам, которые во многом, хотя и не во всем, подобны биоценозам. Гумилёв убеждает нас, что этносам как компоненту биосферы присущи определённые стадии — от становления до расцвета и угасания. Существенную роль при этом играет связь со средой, вписанность этносов в ландшафт. А существуют и не вписавшиеся в него или паразитирующие на нем этносы — химеры. Эти противоестественные образования возникают, когда в одной экологической нише сосуществуют и взаимодействуют чуждые один другому этносы разных суперэтнических систем. Свойственные им заведомая внутренняя конфликтность и острые противоречия с окружающей средой позволили Л. Н. Гумилёву назвать такие образования антисистемами. На это понятие больше всего взъелись противники Гумилёва, увидав под ним чуть ли не утверждение о существовании низших рас, хотя химерами у него сочтены и хазары в Прикаспии после проникновения туда иудеев, и альбигойцы в Европе. А избранником Бога Гумилёв никакой народ не считает. Какой бы из них ни объявлял себя богоизбранным — немец, японец или еврей — это проявление лишь националистического чванства, эгоизма и нравственного уродства.

Кстати, химерами и впредь могут становиться народы, пренебрегшие связями с питающей их природной средой.

В наших науках — и в философии, и в природоведении, и в обществоведении — уныло господствовал постулат о несовместимости изучения природно-общественных закономерностей в единой науке. Поэтому буржуазной объявлялась и единая (природно-экономическая) география как допускающая недопустимое смешение независимых закономерностей. Труды Гумилёва — бесценный вклад в

обоснование не только возможности, но и необходимости изучения именно природно-общественных связей в любых науках.

Восхищала его феноменальная способность к пространственно-времянным корреляциям. Для географа полезны такие навыки, как умение наизусть нарисовать контуры Каспия, Крыма, Италии, мысленно знать соразмещение объектов по широтам—долготам (Питер и Магадан на одной параллели и т. п.). С такой способностью легче понимать, скажем, климатические аномалии. У Гумилёва подобная ориентированность в координатах на плоскости сочеталась с такой же свободой манёвра в третьем измерении — во времени. В его памяти над картой мира вставал словно хрустальный лучевой короб из эпох и дат — тысячелетий, веков и более дробных сроков. Ему были доступны наизусть времянные сопоставления, синхронизации — что происходило в любой из сроков одновременно в Перу и в Японии, в Скандинавии и в Южной Африке. Мы лишь робко соревнуемся с ним, погружаясь в палеогеографию, а он и ее не обошел вниманием. Палеоритмы ландшафта, сдвиги целых природных зон во времени и пространстве он тоже учитывал, объясняя исторические события, в частности переселения народов.

Огромный вклад Льва Николаевича в географию и обществоведение — признание им существенной роли окружающей среды в судьбах общества. Это полагалось считать смертным грехом и почему-то проявлением буржуазного мышления. Сталин приказывал думать, что эта среда способна только ускорять или замедлять развитие общества, но никак не влиять на него сколько-нибудь решительно. А у Льва Николаевича одно наступание Каспия, поднявшего свой уровень, взяло да и затопило всю Хазарию, вместо того чтобы замедлять или ускорять ее развитие!

269

Однако, увлекаясь, Лев Николаевич кое-что и преувеличивал в этих влияниях среды. Человек знания в нем совмещался с человеком веры, а ученый — с интуитивистом-писателем и художником мысли и слова; вот и случилось, что он принимал за уже доказанные некоторые свои догадки. Такие случаи, как и проявления торопливости и небрежности, неизбежные при исполинских объемах его трудов, занимают в них единичные проценты, но и это делает некоторые положения Гумилёва уязвимыми для критиков, чем те с удовольствием и пользуются.

Даже свою статью 1971 г. в журнале «Природа» с активной поддержкой основных положений Гумилёва я сопроводил рядом указаний на такие небрежности, и он благодарил за эти

замечания печатно. Однако возглавлявший противогумилевскую оппозицию в Академии наук этнограф Бромлей, перечисляя в своем капитальном труде об этносах пороки взглядов Льва Николаевича, не постеснялся привести и мои частные замечания, вырвав их из хвалебного текста и изобразив меня ... «врагом Гумилёва». Хорошо, что Лев Николаевич отнесся к этому как к скверному анекдоту и своим противником меня не счел.

Однажды встречаю Льва Николаевича в Питере, и он ошарашивает меня сюрпризом — вручает автореферат своей новой диссертации «Этнос и биосфера» на соискание ученой степени доктора — теперь уже географических наук!

Выражаю недоумение каким-то молодежным оборотом вроде «Ну, дает!», а он в ответ восклицает:

— Дорогой мой, разрешите, я вас расцелую!

— За что?

— Вы — первый человек, не спросивший меня, зачем мне это нужно.

— Но мне же это и так ясно. Коллеги-историки и этнографы вас блокируют, не прощают химер и пассионарного якобы расизма, значит, нужно усилить формальные права на голос хотя бы в географической науке, где докторские лампасы тоже в чести.

Защита второй докторской прошла в 1974 г. в тогдашнем Ленинградском университете; одним из оппонентов был наш московский географ и знаток Внутренней Евразии Э. М. Мурзаев. Дело было за утверждением присвоенной степени в пресловутом ВАКе. Перед заседанием ВАКа Льву Николаевичу дали прочитать разгромный анонимный отзыв «черного оппонента», в котором он легко опознал «почерк» Ю. Г. Саушкина — его доводы и стиль (впоследствии тот своего авторства и сам не скрывал).

В роли сочувствующего провожаю Льва Николаевича на ректоратский этаж, где заседают 15 членов геолого-географической секции — 12 геологов и 3 географа, абсолютно чуждые защищаемой проблеме. Чин из приоткрытой двери пробасил:

— Который тут из вас Гумилёв? — и предложил войти. Прозвучало это совсем как «введите» в суде. Полчаса спустя «подсудимый» вышел ко мне как оплеванный.

— Забодали и закопали. Вопросы задавали глупые и невежественные.

— А Саушкин был?

— Был, но молчал, он же высказал всё в своей чернухе.

Как утешать? Все же попытался; помню дословно:

— Что же вы хотите? Чтобы 15 дядь — каждый лишь единожды доктор — согласились, что вы любого из них вдвое

умнее и хотите стать дважды доктором? Вот они вам и показали...

Забойкотированный ведущими историками и этнографами (не всеми, конечно, — его авторитетно поддерживали Лихачев, Руденко, Артамонов и многие другие), Лев Николаевич проявил чудеса находчивости — догадался депонировать свою «непроходимую» вторую докторскую в академическом реферативном журнале Института информации. Тем самым была открыта возможность заказывать копии с его труда любому желающему. Получились три тома, рублей, кажется, по двадцать, — по-тогдашнему недешево, но число заказов вскоре уже превысило все ожидания — счет пошел на многие тысячи! Учение об этносах на крыльях депонирования полетело по стране!

Появились и отклики. В президиуме большой Академии заволновались, подняли новую волну антигумилёвских публикаций, распоряжались прекратить такое тиражирование.

Но вскоре времена изменились. Труды Льва Николаевича стали публиковаться широким потоком, питерский университет обнародовал многострадальную монографию «Этногенез и биосфера Земли». Творчество Гумилёва из запретного плода превратилось в общенародное культурное наследие. Этот рост известности подтвержден рублем — книги Гумилёва идут нарасхват по удесятеренной цене, с ними не тягаются и моднейшие бестселлеры. А со складов издательств загадочно исчезают чуть не целые тиражи — то ли в интересах спекулянтов, то ли назло автору — в развитие идейной полемики.

Перед народом простерся неисчерпаемый океан знаний и мысли. Знаний — Бог с ними, они посильны и запоминающему компьютеру. Но мысль, способная их упорядочить, осветить, сделать из них далеко идущие выводы, — это уже превышает способности электронной считалки; перед нами достояние гения. Он становится подлинным властителем дум. Читать Гумилёва нужно медленно и долго — это и обогащает, и укрепляет уверенность в могуществе человеческого разума и духа.

А какой интерес вызвали увлекательные лекции Льва Николаевича, в частности выступления с телеэкрана. В них проявился еще один его дар — дар проповедника. Былую экспедиционную подвижность сменило подвижничество лектора, вдохновенного и убеждающего пропагандиста своих взглядов. В высокоинтеллектуальных аудиториях Москвы и Питера, Новосибирска и Тарту, в ученейших городках-спутниках столиц, а за рубежом — в Праге и Будапеште звучал голос неукротимого просветителя.

Не всегда были одни овации — встречались и яростные противники. Грехи ему вменялись диаметрально

противоположные — одни обнаруживали в его трудах русофобию, а другие даже антисемитом, хотя Гумилёв всегда выступал прежде всего как патриот России. Идеи славяно-тюркского взаимовлияния ничего общего не имеют ни с каким национализмом и шовинизмом.

Критики и теперь еще точат Гумилёва с позиций мыши, ловят блох и не видят главного, а он учит наблюдать мир с высоты полета орла. Именно так можно оценить и величие всего содеянного им самим.

Зная, как боготворила его маму Марина Цветаева, он и ей не прощал фактического потворства евразийскому варианту терроризма — деятельности любимого мужа как агента советских спецслужб. Но от обсуждения и этой темы он, как правило, уклонялся, как и от осуждения Блока за его не всегда мудрые метания и нелюбовь к Николаю Степановичу Гумилёву. Мы глубоко почитаем Волошина, но и тут Лев Николаевич перемалчивал — ему не хотелось обсуждать основания для дуэли своего донжуанствовавшего отца с этим поэтом.

Сам — кровное, но отнюдь не духовное дитя «серебряного века», — Лев Николаевич был далек от его прославления, ныне столь модного и безоглядного. Он не прощал интеллигентам, претендовавшим на роль духовной элиты, что они за своими мечтами и бреднями не предотвратили надвигавшейся катастрофы.

А как не сказать о феноменальной ёмкости его памяти! И не только профессиональной — на четырехзначные цифры исторических дат до и после Рождества Христова или экзотические имена Ашурбанипалов и Цинь Шихуанди, неслыханных рек, гор и городов. Знал наизусть уйму стихов и целые поэмы.

Он никогда не афишировал своих чисто литературных способностей, хотя техникой и музыкой русского стихосложения владел в совершенстве, а мыслей ему тоже было не занимать. Но он понимал, что его выступления в этом жанре будут сочтены претенциозными, на первое место выйдет не учет их действительной ценности, а выявление влияний папы—мамы. Тем не менее в «Советской литературе» (1990, № 1) была опубликована пьеса Льва Николаевича в стихах «Волшебные папиросы. (Зимняя сказка)», сочиненная в неволе, но сохраненная в памяти, так сказать, по той же модели, что у Солженицына. В питерском сборнике «Реквием и эхо» есть три фронтовых патриотических стихотворения Льва Николаевича. Прочтите их на стенде — там есть строки:

Опять дорогой русской славы
Прошли славянские войска.

Это на Одере в 1945-м.

Куда больше было опубликовано его стихотворных переводов восточных поэтов — в списке фигурируют 15 имен авторов, чьи отдельные стихотворения, циклы и поэмы были переведены Л. Н. Гумилевым с фарси, бенгали, персидского и других языков.

Но поистине замечателен Лев Гумилёв как создатель совершенно особого научно-художественного жанра, не менее увлекательного, чем приключенческий или детективный. Научные трактаты Льва Николаевича даже на сложнейшие допотопные темы читаются и сегодня как захватывающие романы. На путях синтеза науки и искусства Лев Гумилёв тоже сумел сказать совсем новое слово.

Когда пять лет назад Льву Николаевичу исполнилось 75, нашлись силы, воспрепятствовавшие проведению его чествования в системе Академии наук. У меня остались не оглашенными строки, которыми я хотел завершить свое тогдашнее слово во славу гениального сына двух великих поэтов. Не прозвучали они и в 1989 г. при живом Льве Николаевиче — в дни столетия Ахматовой. Восполню этот пробел сегодня:

Пусть благодарственной осанной
Наполнят этот зал слова:
СПАСИБО НИКОЛАЮ С АННОЙ
ЗА ЛУЧШИЙ СТИХ — ЖИВОГО ЛЬВА!

А. И. Лукьянов
Пассионарий отечественной науки и культуры

Известно, что жизнь человеческая измеряется не тем, сколько прожито, а тем, что запомнилось. В этом смысле одной из самых ярких страниц моей памяти являются встречи и беседы со Львом Николаевичем Гумилевым — выдающимся нашим ученым, мыслителем, человеком огромного таланта и постоянного, я бы сказал, азартного, научного поиска.

Мы познакомились весной 1968 года. Лев Николаевич приехал тогда в Москву по делам, связанным с литературным наследством Анны Андреевны Ахматовой. Задолго до своей смерти она договорилась с сыном, что весь ее архив перейдет в Пушкинский Дом в Ленинграде и будет храниться как единое

целое в одном месте. Но, как известно, буквально после похорон Анны Андреевны ее наследство стало растаскиваться и распродаваться. Лев Николаевич подробно рассказывал мне о неблаговидной роли в этом деле потомков Н. Н. Пунина, семейства Ардовых и некоторых других деятелей из литературных и окололитературных кругов. Шла долгая судебная тяжба, в которой судьи становились то на одну, то на другую сторону.

Работая в то время в Президиуме Верховного Совета СССР, я старался помочь Льву Николаевичу, тем более что его позиция была чиста и бескорыстна. Пришлось вести переговоры с Верховным Судом, подключать к делу известных юристов, любителей литературы. Очень большой вклад в решение этого сложного правового конфликта внес тогда мой давний друг ленинградский профессор Юрий Кириллович Толстой. И хотя наши усилия натолкнулись на непробиваемую стену судейской косности и формализма, само это дело еще ярче высветило главное — несмотря на достаточно сложные отношения с матерью, Лев Николаевич до конца выполнил свой сыновний долг. Жаль только, что в этом его стремлении не было должной помощи со стороны литературной общественности, и прежде всего Союза писателей СССР.

С тех пор наши связи с Л. Н. Гумилевым стали постоянными. Он много работал, открывал все новые и новые пласты истории народов, живших на просторах нашей страны, часто выступал перед учеными и студентами. Популярность лекций Льва Николаевича была невероятной. Я сам был свидетелем такого огромного интереса слушателей, буквально покоренных живостью и простотой преподнесения им самых сложных научных проблем. Древняя Русь и Великая степь, история наших народов представали перед нами в их взаимооплодотворяющем единстве, выпукло и образно, рушились многие окаменевшие концепции и постулаты, десятилетиями повторявшиеся в монографиях и учебниках. Это, конечно, не могло не встретить сопротивления и в академических кругах, и других инстанциях. И здесь Льву Николаевичу требовалась товарищеская поддержка, поскольку препоны канцелярской науки, а порой и партийно-административные были ничуть не лучше, чем судейские.

Мне не раз приходилось чувствовать все это, связываясь с ленинградскими, да и с московскими чиновничьими структурами по поводу издания трудов Л. Н. Гумилева. Разного рода деятели от науки, сплотившиеся вокруг очередного вельможи, не читавшего ни одной работы автора теории этногенеза и пассионарности, умело внушали своему патрону, что

«гумилевщина» сродни антимарксистскому идеализму, географическому детерминизму, шовинизму, национализму и т. д.

Это, конечно, угнетало Льва Николаевича, но он не сдавался, работая с поразительной эффективностью и отметая наветы и интриги. Сын двух крупнейших поэтов России, он был глубоко русским человеком и патриотом страны. Гумилев не раз говорил, что далек от всякой политики, хотя и уважает выводы Маркса и Энгельса, правда за исключением того, что они писали о России. Такое отношение к политике было естественным для узника ГУЛАГа с 14-летним стажем. Однако, вспоминая годы репрессий, Гумилев обычно ограничивался фразой: «да было такое время, когда вожди сажали вождей, соседи — соседей, а ученые — ученых». После этого Лев Николаевич закуривал свой «Беломор» и говорил: «Но это к науке отношения не имеет».

Подлинной наукой он считал, прежде всего, комплексный подход к любому историческому явлению, умение добиваться синтеза гуманитарных и естественных наук, ни в коем случае не замыкаться в рамках определенного времени или отраслевой дисциплины.

Именно на основе этого комплексного подхода на стыке этнографии, географии и истории шли научные поиски Гумилева. Об этом он подробно говорил в переданной мне магнитофонной записи своего «Автонекролога», вспоминая о том, как в тюремной камере пришла к нему идея пассионарного взлета человеческой натуры, как потом на эту идею стала «наматываться» сама история народов, расцвета и падения этносов. И мне думается, что он представляет собой удивительный, уникальнейший документ о том, как рождается научное открытие, как оно захватывает все более и более широкие сферы знаний, проверяет свою истинность живой жизнью человечества.

И в этом, мне кажется, весь Лев Гумилев, который сам является воплощением пассионарности, увлеченности идеей и упорного всепоглощающего служения ей в интересах истины и великой России. На эту сторону личности Льва Николаевича обращал внимание хорошо знавший его Митрополит Ленинградский и Ладожский Иоанн в ходе нашей беседы на Каменном острове в Ленинграде осенью 1994 года.

В свете этой мысли, высказанной Владыкой Иоанном, мне особенно часто вспоминается встреча с Л. Н. Гумилевым, состоявшаяся у меня дома 16 сентября 1986 года. Тогда, рассказав гостю о собираемой мною коллекции голосов русских писателей XX века, я попросил у Льва Николаевича разрешения записать его рассказ о Николае Степановиче Гумилеве и Анне

Андреевне Ахматовой, их отношениях с сыном и о творческой лаборатории двух прославленных поэтов России.

Теперь я с трепетом вновь и вновь включаю магнитофон, чтобы услышать эту запись, в которой Лев Николаевич не только поведал обо всех перипетиях своей трудной жизни, но и прочитал три коротких стихотворения о подвигах Геракла, подаренных маленькому Лёве отцом во время одного из приездов в Бежецк. Стихи эти не вошли в собрания сочинений Н. С. Гумилева. Но дело было не только в самих неопубликованных стихах знаменитого мэтра. Оказалось, что чтение этих стихов Львом Николаевичем, удивительно точно совпадало по тембру и интонации с интонациями отца, запись голоса которого имелась у меня и была копией с записи на восковом валике фонографа Петроградского института живого слова, сделанной в феврале 1920 года. Так встретились отец и сын, которые по духу своему, по пониманию силы поэтического слова были очень близки.

Немало рассказал Лев Николаевич об Анне Андреевне Ахматовой, о тех годах, когда они жили вместе, о посылках, которые передавала мать своему заключенному в тюрьму сыну, о том, как, возвратившись из лагеря, он помогал Анне Андреевне переводить стихи зарубежных поэтов и «кое-чему научился сам». Говорил он с горечью и о том холодном отчуждении, которым встретила его Ахматова после возвращения из омского лагеря в 1956 году. «К сожалению, я застал женщину старую и почти мне не знакомую, — вспоминал Лев Николаевич. — Ее общение за это время с московскими друзьями — Ардовыми и их компанией, среди которых русских, кажется, не было никого, очень повлияло на наши отношения». Однако теплые чувства к своей гениальной матери и ее творчеству никогда не покидали Льва Николаевича. Когда же я стал расспрашивать Гумилева о его собственных стихах и переводах поэзии Востока, Лев Николаевич отшутился. «У всякой науки должна быть какая-то отдушина, — сказал он и добавил: — А вообще-то когда со мной не хотят спорить как с ученым, обычно говорят: «ну зачем спорить с поэтом». Но здесь, думаю, Гумилев сын был все же несправедлив к самому себе. Гораздо более объективную оценку его творчества дал известный литературовед В. В. Кожинов, который считал, что «Лев Николаевич был в равной мере и историком, и поэтом»[1170].

В тот вечер мы долго говорили о его подготовленных к изданию книгах «Тысячелетие вокруг Каспия», «Древняя Русь и Великая степь», о фундаментальном труде «Деяния монголов», которые Гумилев считал наиболее весомыми и ценными разработками теории этногенеза. Как бы подводя итог этим своим работам, Лев Николаевич сказал: «Знаете, в целом я думаю, что

творческий вклад в культуру, сделанный моими родителями, я продолжил в своей области оригинально, неподражательно и очень счастлив, что жизнь моя прошла не бесполезно для нашей советской культуры».

Уверен, что для такой самооценки Л.Н. Гумилев имел все основания, ибо его творчество, его подвиг ученого и мыслителя никогда не ограничивался «чистой наукой». Каждым своим трудом он выходил на простор отечественной культуры, обогащая и одухотворяя ее самобытный характер. И здесь особо следует подчеркнуть, что эту культуру, эту традицию Руси Лев Николаевич понимал широко и объемно, далеко заглядывая в наш сегодняшний день.

В этой связи мне особенно запомнилась одна из наших бесед в начале 1989 года. Просматривая книги по истории России в моей библиотеке, Лев Николаевич обратил внимание на то, что в ней довольно много, как он сказал, «славянофилов и славянофильствующих». «Они были по-своему романтиками, — заметил Гумилев, — превозносили до небес народ-богоносец, но все-таки оказались гораздо последовательнее, чем западники, в подходе к разгадке того, что такое Русь и Россия. А разгадка эта состоит в евразийском характере нашего этноса. Да, мы и Европа, и Азия. В силу этого мы самобытны и не похожи на западные народы. Нас же все время пытаются заставить любить Запад, хотя он нас все равно не любил и не любит. А вот с Азией, с Востоком у нас тысячелетние связи и гораздо большее взаимопонимание».

Тогда я впервые услышал от Льва Николаевича оценку идей Г. В. Вернадского, П. Н. Савицкого, Н. С. Трубецкого и других пионеров российского евразийства. Он отмечал, что, родившись как протест против унижения и поношения русского народа, идеи евразийства имели и имеют под собой реальную историческую почву. Они дают возможность гораздо полнее и объективнее разобраться в том, откуда есть пошла Русь и русская земля. Причем для Гумилева евразийство имело не только научное, теоретическое значение. Он делал из него ясный. практический вывод, состоящий в том, что нельзя, невозможно правильно решать вопросы жизни России в прошлом и настоящем, абстрагируясь от тех коренных особенностей и закономерностей развития, которые органически присущи нашему этносу. Нарушение этих законов тысячелетней истории грозит самыми тяжелыми последствиями для российских народов.

Вот почему так остро переживал Лев Николаевич те разрушительные процессы, к которым привела горбачевская перестройка. Он самым решительным образом осуждал катящиеся по Советскому Союзу волны сепаратизма и национализма — в

Прибалтике и Киргизии, Карабахе и Чечено-Ингушетии, Молдавии и Казахстане. Как рассказывал мне в 1994 году президент Русского географического общества С. Б. Лавров, именно тогда, в разгар войны законов и суверенитетов уже тяжело больной Лев Николаевич обратился к своим коллегам по университету с наказом сделать все от них зависящее для предотвращения развала советского союзного государства. «Скажу вам по секрету, — говорил тогда Гумилев, — если Россия будет спасена, то только через евразийство»[1171].

Сегодня это завещание великого ученого звучит как никогда актуально.

Актуально, во-первых, потому, что после разрушения СССР беловежскими заговоришками возникло и, несмотря ни на что, будет расти движение за восстановление Союза братских государств, и прежде всего России, Белоруссии и Украины. Их суперэтническую близость всегда подчеркивал Л. Н. Гумилев. И если бы нынешние политические лидеры хоть в малой мере знали учение Льва Николаевича, выявленные им закономерности исторического развития России, этот исключительно важный процесс мог идти гораздо быстрее и эффективнее в интересах всех народов, живущих на постсоветском пространстве.

Во-вторых, идеи Гумилева приобретают особую актуальность потому, что продолжаются и нарастают попытки Запада и его оруженосцев в России под флагом ее вхождения в «современную цивилизацию» подчинить русский и другие народы нашей страны чуждой им индивидуалистической рыночной идеологии, разрушить наш жизненный уклад, превратить российскую экономику в сырьевую базу транснациональных монополий. Однополюсный глобализм по американской модели становится все более зримым фактором жизни планеты и отсюда закономерно растет антиглобализм — как ответ сопротивляющихся этому насилию этносов. Вот почему сегодня так современно звучит предупреждение Гумилева: «Конечно, можно попытаться «войти в круг цивилизованных народов», то есть в чужой суперэтнос, но, к сожалению, ничто не дается даром. Надо осознавать, что ценой интеграции России с Западной Европой в любом случае будет полный отказ от отечественных традиций и последующая ассимиляция».

Наконец, подтверждением значимости и злободневности евразийской концепции Гумилева является то, что его взгляды до сих пор подвергаются самым ожесточенным нападкам противников самостоятельного пути русского народа и российского государства. Достаточно сказать, что в октябре 2002 года, когда отмечалось 90-летие со дня рождения Льва

Николаевича, снова выплыли на поверхность его хулители. В статье некоего Григория Ревзина под названием «Пророк Азиопы» вновь утверждалось, что «история Гумилева не интеллектуальна, не изысканна, в ней не случается озарений и в ней нет метафизики божественного присутствия. В ней есть орда, которая прет, потому что ее расперло». Ревзин никак не может простить ученому его трактовку исторических фактов и «антисемитизма довольно странной конфигурации, спроецированного в нарисованную им фантастическую картину Хазарского каганата». По заявлению другого антигумилевца Семена Новогрудского, Гумилев был, по сути, «пророком стада, толпы», мешающим России «перестать быть коллективным, бессознательным и всеобщим пугалом для человечества»[1172]. Как видим, ничего не изменилось под луной со времен культа личности. И прав был Лев Николаевич, когда, отвечая академику Бромлею и другим своим критикам, обычно ссылался на Оскара Уайльда, увидевшего в американской таверне плакат: «Не стреляйте в пианиста, он играет как может!»

Пианисты, играющие по чужим нотам против России и ее самобытности, не только не перевелись, но и плодятся в великом множестве в атмосфере рыночных реформ и врастания человечества в «цивилизацию западного образца».

Последняя весточка от Льва Николаевича Гумилева пришла ко мне, когда весной 1991 года развернулась работа по подготовке и проведению референдума о сохранении Союза ССР. Мне позвонили из Ленинграда и передали, что Лев Николаевич просил посмотреть его выступление в газете «Час пик». Я сразу же нашел эту публикацию. Она называлась «Объединиться, чтобы не исчезнуть»[1173]. Великий ученый, видя черную тучу развала, надвигавшуюся на нашу страну, говорил в ней об огромной ценности дружбы советских народов, которую надо хранить как зеницу ока, о том, что эта дружба — самое лучшее, что дала нам отечественная история. Как никто другой Гумилев предчувствовал гибельность Беловежья, разрушившего устои, соединявшие могучий евразийский суперэтнос на территории от Балтики до Тихого океана. К великому сожалению, это его предчувствие оказалось трагической реальностью.

О кончине Льва Николаевича я узнал по радио в камере «Матросской тишины». Для меня, да, думаю, и для всех истинных патриотов России, это был страшный, непоправимый удар. Ночью под потолком тюремной камеры всегда горел тусклый свет. Не было и не могло быть сна. Тогда и появилось стихотворение, посвященное очень дорогому для меня мыслителю, ученому и патриоту России Льву Николаевичу Гумилеву. Им и хотелось бы

закончить этот короткий набросок воспоминаний.

Мы и Европа, мы и Азия,
Мы — сочетание начал.
Судьбы такой своеобразие,
Наверно, каждый замечал.

Мы не разрознены на атомы,
Воюя каждый за себя.
Трудяги, пахари, солдаты мы —
Один народ, одна семья.

Мы не враги своеобразия,
Но общность — общий наш удел.
Наш грозный этнос — Евроазия —
В многовековье поседел.

Как реки, в нем сливались нации,
Исконным верные гербам.
И западной цивилизации
Они совсем не по зубам.

Камзолы лопались расшитые
На мощном теле Русь-земли,
И убирались прочь разбитые
Псы-рыцари и короли.

И отправляла латы ржавые
Под обагренный кровью лед
Община, слитая с державою,
Держава, вросшая в народ.

Себя не льщу ни в коем разе я,
Что всепобедна наша рать,
Но общность эта — Евроазия —
Себя заставит уважать.

9. XI. 2002

Савва Ямщиков
Счастье общения[1174]

Большую часть своей жизни провел я в древнем городе Пскове, занимаясь реставрацией памятников иконописи и изучая культурное наследие крупнейшего древнерусского княжества. Работая в старинных русских областях, будь то Владимиро-Суздальская земля, Ростово-Ярославский край, Вологодчина или Карелия, я никогда не ограничивал свое пребывание в провинции узкими рамками профессионального делания. Меня интересовали люди, живущие и работающие в глубинке, ибо они были для меня носителями местного быта, знатоками краеведения, хранителями культурного и художественного наследия родной земли. Во Пскове круг моих друзей и собеседников включал не только музейщиков, архитекторов-реставраторов и писателей. Я с удовольствием общался со здешними «земскими» врачами, священниками, техническими и инженерными работниками и от каждого получал положительный заряд энергии, помогающей мне в повседневной жизни и работе в старом городе.

Были у меня в Пскове и знакомства и с людьми не псковскими: кого только не притягивал этот край — Пушкиным, праздниками поэзии, стариной и легендами Пскова, Изборска, Печерского монастыря. Но мои самые интересные знакомства происходили обычно не на праздниках, а в доме Всеволода Петровича Смирнова, архитектора, реставратора, художника и кузнеца. Со многими приятельствую и поныне, но хочу рассказать о встрече совершенно особенной, поскольку Льва Николаевича Гумилева считаю одним из главных людей моей жизни.

Он приехал в Псков летом 1969 года, чтобы заказать Смирнову крест на могилу Анны Андреевны. Наверное, можно было найти хорошего мастера и в Питере, сделать памятник Ахматовой многие сочли бы за честь. Мрамор, надпись золотыми буквами... Но Лев Николаевич человек необычный, формально исполнить этот свой сыновний долг не мог. Когда узнал, что в Пскове есть виртуоз кузнечного дела, к нему и поехал. К счастью

моему, я тогда был в очередной командировке, работал в музее, а значит, почти все вечера проводил у Смирнова, в интересных застольных беседах.

Придя в тот раз после работы в звонницу, заметил, что стол накрывают торжественно, для гостей. Льва Николаевича Гумилева я видел на фотографии и теперь легко узнал. Он был с женой, Натальей Викторовной. Художник-график, оформившая много книжек, она к тому времени привыкла быть «женой декабриста», ведь Гумилев пребывал под негласным надзором, даже получив разрешение жить в Ленинграде.

Тогда я смотрел на этого человека прежде всего как на сына двух поэтов. О его научных трудах знал понаслышке, издано было совсем не много. Правда, «Поиски вымышленного царства» прочел, и эта книга открыла глаза на многое, чего в университете «нам не задавали» и «мы не проходили». Так что, встретив в смирновской звоннице автора, сразу понял, что предстоит услышать много интересного. В предвкушении пиршества, пока готовился стол, решил освежиться в реке: звонница стоит на берегу Великой, до воды метров тридцать, не больше.

Надо сказать, кулинаром Смирнов был блестящим и совершенно оригинальным. Как вспоминал много лет спустя Лев Николаевич, «такой еды, как в Пскове у Всеволода Петровича, ни в одном ресторане не подадут». Один «кузнечный суп» чего стоил! В ведро бросали всякую всячину: сосиски, рыбу, капусту, томатную пасту, ветчину, лук... Варился суп на кузнечном горне, подавался в изобилии, съедался с наслаждением. В той же кузнице жарили мясо, которое на богатом псковском рынке покупалось за гроши.

Пили-ели из старых чаш и братин, передаваемых по кругу. Этим необычным и приятным способом в отреставрированной звоннице воссоздавалась картина давно ушедшей жизни. Вот какое застолье ожидало Льва Николаевича и Наталью Викторовну... Пиршество еще не началось, когда я вернулся в звонницу и тут же ощутил доброе внимание Льва Николаевича: «О, вы с реки. Вы уж примите, а то замерзнете». В те молодые свои годы я слыл профессиональным выпивальщиком: сколько бы ни выпил в компании, не пьянел и не шумел. Зная за собой это качество, постарался не ударить в грязь лицом перед таким человеком и принял довольно приличную дозу. Закусил огурчиком, успел подумать, что надо бы накинуть сухую рубашку и...

Подобное со мной в жизни два или три раза случалось. Видимо, алкоголь добрался до каких-то неподготовленных уголков организма и буквально снес меня «с лица земли».

Потихоньку добрался до соседней комнаты, где на полу была расстелена огромная калька с чертежами будущего креста. Повалился на нее и так, «самораспявшись», проспал часа три. Открываю глаза и вижу участливо наклонившегося надо мной Льва Николаевича. «Вы прямо как воин на васнецовском поле лежите. Я подходил все время, проверял, но чувствовал, что дышите. А теперь можно и к столу. Мы ваш уголок за вами сохранили», — я еще не знал, как добр этот строгий, серьезный человек, насколько тактичной и по-мужски цельной бывает его заботливость.

Страшно неудобно, стыдно: при первом знакомстве опростоволосился! Но друзья помогли мне быстро войти в ритм застолья. И, конечно, это был стол, за которым надо было только слушать Льва Николаевича.

Негромко, неторопливо, с характерным петербургско-университетским грассированием он рассказывал о теории этногенеза, о книгах, которые пишет, и о своей жизни. Теперь мы знаем, сколько несправедливости и зла пришлось пережить младшему Гумилеву. Но если читатель полагает, что на собеседников Льва Николаевича обрушивалась хотя бы толика этого страшного груза, он ошибается.

Сложилось так, что все мои главные учителя были узниками ГУЛАГа, притом «серьезными», отсидевшими не год-другой, а по максимуму. В университете курс русского декоративно-прикладного искусства нам читал профессор Виктор Михайлович Василенко, только что вернувшийся в Москву после «десятки». Мерзавец, по навету которого он получил срок, работал рядом, но Виктор Михайлович не допускал и намека на выяснение отношений. Не зная о прошлом Василенко, вы ни за что не сказали бы, что огромный кусок жизни этого влюбленного в свой предмет, восторженного, элегантного человека прошел на нарах.

Профессор Василенко возил нас на первую практику в Суздаль и Владимир. Вместе с ним я впервые оказался у церкви Покрова на Нерли — с тех пор это мое самое любимое место России. Виктор Михайлович рассказывал о фресках Рублева, рельефах Дмитровского собора, но ни словом не обмолвился о своем гулаговском прошлом. Не говорили о лагерных ужасах и Николай Петрович Сычев, и его ученик, а мой учитель Леонид Алексеевич Творогов. Если и вспоминали, то с юмором, самоиронией, как Творогов однажды: «Представьте, с моим-то врожденным подвывихом ноги будит ночью охранник и велит идти за двадцать километров — полено принести. Пришлось пойти. Иначе расстреляли бы». Байка, анекдот — не более.

И рассказы Льва Николаевича Гумилева были не о страшном,

а о его занятиях наукой, стихами или о случавшихся с ним любопытных происшествиях. Плыл, к примеру, однажды на лодке по одной из сибирских рек. Видит — на берегу языческий идол. Для науки предмет интереснейший. Причалил, взял истукана на борт: чтобы в ближайший музей доставить. Тут река заволновалась, забурлила. «Я понял, что лодка потонет и быстро к берегу, к берегу. Идола поставил, и река сразу утихомирилась». Лев Николаевич то ли все еще сожалел, то ли подсмеивался над давней неудачей.

Такие вот истории. Николая Петровича Сычева я не решился спросить. Виктора Михайловича тоже. А Гумилеву волновавший меня вопрос все-таки задал: «Лев Николаевич, вы прошли такую страшную школу. При вашем блестящем литературном слоге могла бы выйти необыкновенно интересная книга. Вы напишете ее?» Он грустно покачал головой: «Савелий Васильевич, я боюсь пережить это еще раз. Писать спокойно, схоластически не смогу. Начну переживать заново, а уже моей жизни на это не хватит». Таков был ответ.

Разговор происходил через много лет после нашего знакомства, а в тот первый псковский вечер у всех было легкое летнее настроение. Белой ночью возвращались мы от Смирнова, пели какие-то хорошие песни. Я думал: какое же счастье, что все-таки существует связь времен и поколений. И я, барачный мальчишка, закончил университет, работаю реставратором и иду рядом с человеком, у которого была такая трудная жизнь, но который вместе с нами шутит, поет. А мы пытаемся соответствовать, но это совсем не в тягость.

Наутро мы поехали в Псково-Печерский монастырь, оттуда в Изборск — город, который Гумилев еще в лагерях сделал полигоном своих научных теорий, поскольку именно здесь сконцентрировалась вся начальная история Русского государства.

Мы шли в сторону Малов, говорили о далеких столетиях. Лев Николаевич внимательно посмотрел на меня и сказал: «Савелий Васильевич, когда вы там в звоннице на кальке лежали, я подумал, что с вами можно быть откровенным. Вы всегда, когда в Петербурге будете, — милости прошу, я буду рад».

Во время той же прогулки по Изборской долине я услышал от него слова, всю мудрость которых мне еще предстояло оценить. А сказал Лев Николаевич так: «Вы занимаетесь реставрацией памятников, изучением древнерусской живописи, организуете выставки. Это очень важно и хорошо. Но если вы пишете, скажем, о псковской иконе XV века, вы должны знать, что в это время происходило в Париже, в Лондоне, в Пекине. Только так можно правильно осознать смысл псковского памятника. Настолько

тесно все было связано тогда, да и во все другие периоды. Знать надо обязательно».

Совет Льва Николаевича Гумилева важен не только для искусствоведа, историка. Это ключ к пониманию многообразия жизни. Только если твое представление о мире не ограничено рамками специальности, или конфессии, или партийной идеологии, ты способен воспринять другую культуру, другое мнение. И тогда не возникает желания отлучить православного священника от паствы за то, что он общался с католиками, и в «Мадонне» ван Эйка видят не бесовство — творение гения. Бесовство — это когда на снарядах, которыми бомбят мирную маленькую страну, пишут «поздравление» с Пасхой...

Гумилевские слова вспомнил я прошлой осенью в Сиенне. С моим давним другом Микеланджело Мазарелли целый день осматривали достопримечательности нашего любимого города. Микеле в один год со мной заканчивал МГУ, он биофизик, но, не порывая с основной профессией, уже много лет серьезно занимается искусством, стал одним из самых крупных антикваров Запада. Приятно любоваться шедеврами Дуччо, Симоне Мартини, Пинтуриккио, когда рядом человек, который тоже любит эти произведения и прекрасно их знает. Тем острей воспринял я замечание Микеле: «Ты не обижайся, Савелий, но ваша иконопись все-таки отстает от нашей».

Дело не в обидах, но как же не прав мой друг! Правда, он не бывал в Пскове, Суздале, Новгороде, Владимире, и я обязательно его туда свожу. Он должен увидеть это искусство — великое, но другие Мадонны на полотнах итальянцев кормят младенца грудью, у рафаэлевской Девы Марии облик земной возлюбленной гениального художника. Для православия такая вольность невозможна: другой менталитет, иной путь развития культуры. Я преклоняюсь перед гениями Возрождения, особенно раннего. Помню, как бродили вместе с Андреем Тарковским по заснеженным московским переулкам и спорили о доступных нам только в иллюстрациях работах Пьеро делла Франческа, Симоне Мартини. Мы восторгались ими, еще не успев остыть от съемок «Андрея Рублева» — фильма, благодаря которому уже не одно поколение открыло для себя величие древних русских икон.

Да, у нас другое. Но не менее великое, чем у итальянцев, и высота эта объясняется тем, что сказал мне когда-то Лев Николаевич: «Все очень тесно связано. Знайте, что было там, там и там». Я истовый сторонник православия, на пядь не отойду от постулатов нашей веры. Но будем объективны: если бы не Фиораванти, не стоял бы в Московском Кремле Успенский собор. Если бы не те же итальянцы и французы, не было бы Петербурга.

А не заслонили бы русские Европу от полчищ татар, не узнал бы мир творений Дуччо и Симоне Мартини. Мы Европу защитили не только силой, но и умом. Правдой ее защитили...

В семидесятые годы жизнь моя проходила между Петербургом и Москвой, в Петербурге больше, чем в Москве. Благодаря таким семейным обстоятельствам много работал в Русском музее, с Василием Алексеевичем Пушкаревым. И, конечно, одним из самых притягательных мест была коммунальная квартира на Большой Московской, рядом с Владимирским собором и Свечным переулком Достоевского. Раньше, когда я еще не был знаком с Гумилевым, он жил на окраине, тоже в коммуналке: вторую комнату занимал милиционер, который вполне официально осуществлял надзор за «сомнительным» ученым. Как рассказывал Лев Николаевич, с соседом они быстро подружились и даже собутыльничали.

Наверное, кого-то удивит подобное приятельство, но Лев Николаевич знал, что ему-то оно не повредит, а милиционеру пойдет на пользу: человек послушает об интересном, что-то узнает. Величие настоящей российской профессуры еще и в этом — абсолютное отсутствие снобизма. Известно, что общаться с хорошим плотником бывает гораздо приятней, чем с плохим искусствоведом или журналистом.

Соседи жили душа в душу, иногда милиционер просил: «Лев Николаевич, ты мне только скажи, что сейчас пишешь. Чтоб я им мог доложить». Гумилев отвечал без утайки: «Делаю книгу „Древние тюрки“». Это вполне устраивало милиционера: «Ну, турки и турки. Я им так и напишу».

Потом Гумилеву улучшили жилищные условия — как-никак доктор исторических наук, читает лекции в университете. Переселили в центр, на Большую Московскую. А через короткое время милиционер повесился. Может быть, простое совпадение, а может, живи он рядом с Львом Николаевичем, духу и хватило бы, чтоб этот страшный акт не совершился...

Постоянно приходившие на Большую Московскую ученики и добровольные помощники Льва Николаевича жадно ловили каждое его слово. Мне было приятно, что я в этом доме почти как член семьи, и о тех же древних тюрках мы с Львом Николаевичем говорим за вечерним чаем. В такой неформальной беседе самые сложные вещи воспринимаются легче. Кстати, именно поэтому я всегда старался проводить выставки в залах Союза художников, а не в музеях, где есть психологический барьер между зрителем и устоявшейся экспозицией. Более демократичная, свободная обстановка располагает к обсуждению, дискуссии: интересней проходят экскурсии.

Теория Гумилева не самая простая, но Лев Николаевич умел объяснить ее очень доступно, увлекательно. Возвращаясь в гостиницу по ночному Петербургу, я снова и снова «прокручивал» яркие картины, нарисованные ученым, удивительные рассказы о том, как он приходил к тому или иному открытию. Разумеется, бывал я и на лекциях Льва Николаевича, в частности на Высших режиссерских курсах. Как всегда, невероятно интересно, но я думал: «Как же должны завидовать мне друзья-киношники. Ведь я имею возможность слушать Гумилева один на один». Хочу подчеркнуть: Наталья Викторовна, которая присутствовала при этих домашних беседах, была поистине вторым «я» своего мужа, понимала малейшее его движение, не то что слово. Это абсолютное понимание делало жизнь Льва Николаевича уютней, легче. А трудно было всегда. Бесконечно срывались лекции, проводились обсуждения-осуждения научных работ... Спасала гулаговская закалка. Тот, кто там выживал, потом уже не позволял себе отступлений от требований веры, норм человеческого бытия.

Никогда не забуду, как в начале перестройки сидели мы с Львом Николаевичем на кухне, и позвонили из Москвы: сообщили Гумилеву, что он не избран в членкоры. Ученый со своей, и столь блистательной, теорией. Парадокс! Увы, куда охотней выбирают тех, кто не будет смущать других подлинным талантом, величием. Я попробовал сгладить ситуацию: «Лев Николаевич, вы расстроились...» Он и тут все обратил в шутку: «Савелий, бросьте! Ну есть немножко осадок. Но разница только в том, что, если бы я получил звание, мы бы выпили одну бутылку, а теперь нужно две, потому что вроде бы я и достоин, а в то же время нет».

На другой день мне пришлось звонить по делу некоему московскому чиновнику из руководства Фонда культуры. В голосе этого как бы ученого дребезжала обида. «Меня не выбрали в членкоры!» — объяснил он причину дурного настроения. «Вас?! Гумилева Льва Николаевича ! Не выбрали!» — возмутился я и услышал чудовищное: «Гумилев? А кто он такой?» Вот ярчайший пример того явления, которое Александр Исаевич Солженицын обозначил точным и хлестким словом «образованщина»... Зная, что Лев Николаевич, прежде чем принять решение, любит все как следует взвесить, я долго не решался подступиться к нему с одной заветной мечтой. Дело в том, что в пору директорства Василия Алексеевича Пушкарева я ежемесячно проводил в Центральном доме художника на Крымском валу устный альманах «Поиски. Находки. Открытия». Название придумал исходя из своей профессии — пусть считают, что находки и открытия относятся исключительно к реставрации, археологии,

музейной старине. Хотя с самого начала знал, что этим академическим материалом не обойдусь — непременно потяну и современные темы. Действительно, все было в альманахе. Полу разрешенный Слава Зайцев показывал моды, Альфред Шнитке играл со своим квартетом еще нигде не исполнявшийся концерт; режиссер приносил «полочный» фильм, художник — отвергнутую выставкомом картину. Райком партии пристально следил за культпросветработой ЦДХ, но Пушкарев после 27 лет работы в толстиковско-романовском Ленинграде был настолько опытен в общении с властями, что нам все удавалось. Однажды Василий Алексеевич сказал мне: «Савелий, знаешь, я не из трусливых, но мне легче будет отбиваться от райкома, если у альманаха появится редколлегия и ты напечатаешь эти уважаемые имена на пригласительном билете». Все, к кому я обратился с просьбой войти в редколлегию, охотно согласились, понимая, что дело-то благое. И только Сергей Капица обеспокоился, залепетал о вероятности «всякого-разного». Я поспешил его успокоить: силком никого не тянем, все на добровольных началах.

В этот-то альманах в конце концов я все же решился позвать Льва Николаевича. Он удивился: «Савелий Васильевич, мне не разрешают в такой большой аудитории. Я читаю для двадцати, может быть, тридцати человек. А у вас сколько в зале?»

— Зал рассчитан на восемьсот человек, но послушать вас придет тысяча.

— Ну что вы, мне не разрешат!

— Лев Николаевич, а что мы теряем? Командировку вам оформим, в Москве есть где остановиться. Почему бы не съездить?

— В общем-то вы правы. Возьмем все купе, а на лишнее место никого не пустим. Посидим, поговорим. Только знаете, я человек старой закалки — прихожу к поезду самое маленькое за час. Вдруг его раньше времени отправят?

Что ж, пришли на вокзал за полтора часа. В поезде всю ночь проговорили. Я немного побаивался: что, если в последний момент райком отменит выпуск альманаха с Гумилевым? К счастью, не отменили. Действительно, собралось около тысячи человек, сидели на ступеньках в проходах — «висели на люстрах». Были, конечно, поначалу попытки свернуть разговор на отношения Анны Ахматовой с Николаем Гумилевым, но это быстро отодвинулось в сторону. Никогда не отрекаясь от своих родителей, отбыв за них два срока, Лев Николаевич тем не менее настаивал на том, чтобы в нем видели его самого, а не только сына знаменитых «Ани и Коли».

Два часа потрясающего выступления бывшие в том зале

вспоминают по сей день. Задавали много вопросов. Гумилев отвечал убедительно, ярко, образно. Один из слушателей попросил как можно доступней объяснить, что же такое пассионарность, и спроецировать это понятие на современность. Неожиданно Лев Николаевич обернулся в мою сторону: «Пожалуйста. Вот Савелий Васильевич Ямщиков — типичный пассионарий. Два дня назад я был абсолютно уверен, что мы с ним вхолостую прокатимся в Москву и мое выступление перед вами не состоится. Но он добился, все получилось. Маленький, но наглядный пример пассионарности человека». Надо ли говорить, что для меня это была самая большая награда.

Прошлой осенью, вскоре после захвата заложников на Дубровке мне позвонила Наталья Викторовна. Прочитала в газете мою статью о трагедии, и вспомнился давний день в ЦДХ: «Да, не обманулся в вас Лев Николаевич, вы настоящий пассионарий»...

Он интересовался моей работой, очень хотел поехать вместе в Кижи, спрашивал, как там идет жизнь. Кстати, слушателем был замечательным. Никогда не перебивал, не оскорблял менторством, и в то же время мог тактично подсказать, еле заметно направить беседу в более плодотворное русло. Очень точной была реакция Гумилева на все, что происходило со страной. Когда разразилась перестрой-ка и пошла массовая раздача России направо и налево, предупредил: «Савелий Васильевич, приготовьтесь. Вы попадаете в очень тяжелый период. Россия скатывается в яму, пассионарность падает. Вам придется в этой жизни нелегко. Посмотрите, кто приходит к власти».

Некоторые бойкие репортеры попытались было на мудрых прозрениях ученого нажить политический капиталец, но с такими он держал дистанцию. Зато замечательный питерский тележурналист Виктор Сергеевич Правдюк успел отснять восемь серий очень объективных, спокойных, глубоких бесед с Львом Николаевичем, в которых Гумилев рассказывает о теории этногенеза, делится своими раздумьями о России. Это драгоценнейшее свидетельство пока не стало достоянием широкой телеаудитории, но оно существует. Как ученый и гражданин он остро переживал вспыхнувшие в хаосе перестройки споры о северо-западных рубежах России. Позиция Гумилева была совершенно определенной. «На этих землях наши предки громили рыцарей, шедших на Русь с запада, но никогда Изборск, Печеры, Псков не имели никакого отношения к Эстонии, — говорил он. — От России Эстонию отделил ленинский декрет. Единственное благо этого акта в том, что Псково-Печерский монастырь не разрушили. Останься он в советской Псковщине,

может быть, не сохранился бы».

Однажды при мне по этому же поводу Льву Николаевичу позвонили из какого-то ведомства петербургского мэра Собчака. Звонивший стал объяснять, что все-таки, если посмотреть на карту, Псков и Печеры попадают в Эстонию. То есть пристыдил Гумилева, как нерадивого школьника, за плохое знание географии.

«Да, у меня есть эта советская книга с картой, на которую вы ссылаетесь. Но ведь граница там по линейке нарисована. А я географ и знаю, что не бывает границ, сделанных таким способом, они всегда имеют замысловатые очертания. Псков, Изборск, Печеры под ваши линеечные границы не подходят. Даже если сейчас отдадите эти земли, все равно они вернутся в состав Псковского региона. Я могу дать вам письменное заключение. Если надо, приезжайте».

Сколько раз за последние годы у нас на глазах самые «стойкие», а на деле — оголтелые патриоты преображались в «патриотов» того или иного денежного мешка. Настоящая любовь к Родине некриклива и мужественна. Для меня пример патриотизма — это вся жизнь Льва Николаевича Гумилева. Безусловно, много значат гены. Не будем забывать, что отец, Николай Гумилев, был еще и великим воином, георгиевским кавалером.

Приезжая в 80-е годы в Петербург, сначала один, а потом с подраставшей дочкой, я первым делом спешил к Льву Николаевичу — духовно окормиться. Огромной радостью был и каждый его приход на выставки, которые я проводил в петербургском Манеже. Всегда интересное, порой — парадоксальное мнение Гумилева об отдельном произведении или экспозиции в целом было мне очень и очень дорого. Он умел углядеть такой аспект, найти такой поворот темы, который даже для меня, готовившего эту выставку, оставался незамеченным. Радовались этому необыкновенному посетителю и мои коллеги. «Лев Николаевич пришел!» Значит, будет много интересного, неожиданного.

Последние годы он много болел. Съездить вместе в Кижи так и не довелось. В конце жизни Лев Николаевич все-таки получил отдельную квартиру. Сейчас в ней создается музей: творческое наследие осталось огромное. Слава Богу, вокруг него невозможно то, что происходило после кончины Анны Андреевны. Лев Николаевич тогда поступил благороднейшим образом — сразу пресек попытки семейства Пуниных выгодно распродать наследие Ахматовой.

Сказал, что как единственный прямой наследник передает

все без каких-либо торгов в Пушкинский Дом.

Прошлой осенью, готовя к 90-летию Льва Николаевича вечер в Фонде культуры, я узнал подробности той давней истории. Наталья Викторовна напомнила, что выступить адвокатом на суде истец пригласил Анатолия Ивановича Лукьянова. Добросовестный правовед, тонкий ценитель поэзии процесс выиграл, и основная часть архива Анны Ахматовой поступила в Пушкинский Дом. На этом общение не прервалось. В конце 80-х, будучи председателем Верховного Совета, Лукьянов поспособствовал выходу в свет всех основных книг Льва Гумилева, автографы со словами благодарности сохранились. При самой действенной поддержке Анатолия Ивановича создавался музей Ахматовой в Фонтанном доме в Петербурге.

Еще одно великое дело удалось Лукьянову: записал на магнитофон часовой рассказ Льва Николаевича о его жизни и воспоминания о родителях. При этом, как рассказывает Наталья Викторовна, боясь навредить Анатолию Ивановичу, занимавшему высокий государственный пост, бывший зек самым тщательным образом конспирировал его фамилию, адрес, номера телефонов.

...Теперь, бывая в Петербурге, прихожу к Льву Николаевичу в Александро-Невскую лавру, — он лежит рядом с лицейским приятелем Пушкина Модестом Корфом. Никогда я не был плакальщиком, но у могилы Гумилева особенно ясно понимаешь, что, хотя приходим в этот мир и покидаем его мы по воле Божией, очень многое зависит от самого человека, от того, каким будет его путь между двумя точками. Лев Николаевич свой путь прошел как один из самых достойных людей XX столетия. И не случайно сейчас, когда мысли его о России и мире оказались пророческими, издано, наконец, достойно подготовленное полное собрание сочинений, постоянно выходят отдельные научные труды, а в Казахстане открыт университет имени Л. Н. Гумилева.

Думаю, не просто так, а по благословению Божию в тяжелейший для России век — век войн, революций, крови — пришли в этот мир и осветили его для нас такие люди, как Александр Исаевич Солженицын, Владимир Емельянович Максимов, Лев Николаевич Гумилев.

В последней его беседе с Дмитрием Михайловичем Балашовым[1175], несмотря на довольно суровый разбор российской действительности, все-таки есть оптимизм. Это позиция подлинного ученого и человека, который знает, что такое жизнь и как она нелегка. Лев Николаевич оставил нам надежду, а это под силу лишь праведникам, без которых не стоит село.

Такой была одна из моих встреч — начавшаяся в Пскове, продолжившаяся почти на четверть века. И я благодарен Богу,

благодарен судьбе за то, что мне посчастливилось узнать этого человека. Одного из тех редких людей, память о которых остается в сердце на всю жизнь.

Январь 2003 г.

Приветствие участникам и гостям съезда РГО

Уважаемый Сергей Борисович! Уважаемые господа!

В эти дни исполняется 150 лет со дня основания в граде святого Петра Императорского Русского географического общества. Позвольте мне, правящему архиерею Санкт-Петербургской епархии, передать Вам, высокому собранию участников юбилейного съезда слова приветствия и поздравления.

Славная история РГО — это часть истории Российской, с ней неразрывно связаны имена выдающихся отечественных ученых и путешественников, которые много сделали для просвещения народного, для изучения и освоения неведомых земель, укрепления Государства Российского и распространения Веры Православной. Достаточно вспомнить лишь два славных имени — выдающегося географа и историка иеромонаха о. Иакинфа (Бичурина) и нашего великого соотечественника ученого-патриота Льва Николаевича Гумилева.

И в нынешнее непростое время ученые РГО предпринимают усилия для одоления смуты, для возрождения нашего Великого Отечества. Поздравляя участников X съезда РГО с юбилеем, хочу пожелать вам успехов в научной и педагогической деятельности во имя мира, спасения и преуспеяния нашего народа. Призываю Божие благословение на все ваши добрые труды.

ИОАНН,
Митрополит С-Петербургский и Ладожский
22 августа 1995 г.

Л. Д. Стеклянникова
Вечная память

Знакомство мое со Львом Николаевичем Гумилёвым было вынужденное. В начале 80-х я работала тогда редактором на Петербургском (Ленинградском) радио в литературно-драматической редакции. Однажды меня вызвал главный редактор и вручил папку рукописей. Это были лекции по этногенезу, прочитанные Гумилёвым на географическом факультете С.-ПбГУ (тогда, естественно, ЛГУ). Я, конечно, не была в восторге от ее появления у меня, скорее, наоборот. Театровед по образованию, я занималась в редакции радиотеатром и литературой. А тут текст научный, текста много. Читать, конечно, его придется, но лучше отложить «на потом». И я постаралась запрятать эти лекции подальше в стол.

Спустя какое-то время главный редактор напомнил мне о рукописи Гумилёва, потом еще, а затем зазвонил телефон на моем рабочем столе: «Людмилу Дмитриевну.» — «Это я». И тут слышу в трубке с характерной гумилевской дикцией (он грассировал «р» и не очень выговаривал «л») блоковские строки:

Я звал тебя, но ты не оглянулась, Я слезы лил, но ты не снизошла. Ты в синий плащ печально завернулась, В сырую ночь ты из дому ушла...

И только после стихов представляется. Мне становится стыдно, и я назначаю встречу чуть ли не на следующий день — обещаю прийти к нему домой работать с рукописью.

Немедленно начинаю читать лекции. И тут оказывается: все мне понятно, а интересно так, что я одним духом прочитываю весь этот «сложный научный» текст. Позже я поняла, что у Гумилёва был дар — сложнейшие проблемы объяснять доступно, чтобы его понимал студент-первокурсник. Вот этот дар и бесил тех коллег-ученых, которые прячут в тягучих научных умствованиях (я называю такие писания — «жевать бумагу во сне») свою бездарность.

Но это замечание к слову. А сейчас я иду к Гумилёву на Большую Московскую. Звоню, открывает сам Лев Николаевич. Принимает у меня пальто. Успеваю осмотреться. Справа от входной двери — мрачная, давно не знавшая ремонта кухня, там какие-то люди. Мрачный узкий недлинный коридор. Проходим в первую по коридору дверь. Большая темноватая комната. Два больших окна зашторены темно-бардовыми (сколько помню) шторами. Как узнала позже — окна выходят во двор и глядятся в окна дома напротив. Слева от двери — старый платяной шкаф, тоже темный. Прямо — большой обеденный стол, а за ним — у правого зашторенного окна — стол письменный. Севший за него оказывался спиной к двери, да и ко всей комнате. Следом за нами входит женщина. Лев Николаевич представляет: жена — Наталья Викторовна. Мы со Львом усаживаемся за обеденный стол. Он садится в центре стола в старое кресло, я — по правую руку от него. И с этого момента место «одесную Льва» закрепилось за мной на долгие годы.

Профессорская жена проходит за шкаф и садится на диван, это был диван-кровать, на котором они спали. Про себя думаю: что, она так и будет сидеть здесь во время нашей работы? Неужели нельзя уйти в другую комнату? (Я ведь пришла в профессорскую квартиру!) Только потом я узнала, что другой комнаты не было. Точнее, была, но жил в ней тюремный надзиратель с семьей, всех — 4 человека. Удивительно «везло» Льву Николаевичу с соседями. Совершенно «случайно» в квартире

на Московском проспекте его соседом был милиционер, а тут, на Большой Московской, — «цирик» — так называл надзирателя бывший «зек» профессор Гумилёв. Лев относился к этому трезво — он всегда предпочитал человека «в мундире» (от него знаешь, чего ждать), тайному стукачу, маскирующемуся под друга, поклонника или ученика. Но вернусь к моему первому визиту ко Льву Николаевичу Гумилёву.

Работать с текстом решили так: я вслух читаю его, уточняя по ходу смысловые оттенки, задаю вопросы, когда что-то неясно, расставляю по указанию Льва ударения в исторических и географических названиях и именах. В работе Лев был настоящий зверь (лев — одно слово), он тут же уговорил меня приходить к нему каждый день. Я могла только после рабочего дня, т. к. от передач, стоящих на эфире, меня никто не освобождал, а эта работа делалась впрок, и, как оказалось, в очень далекий прок: 7 лет ждали эфира эти передачи.

Так я стала ежедневной «гостьей» в доме Льва Николаевича. Сейчас уже не помню, в первый или второй визит, наткнувшись в тексте на имя древнегреческого философа Анаксимена, я произнесла вслух имя Анаксимандра, вспоминая, кто из них учитель, а кто ученик и кто ввел термин «апейрон». Вместе со мной Лев Николаевич усомнился и перепроверил, о ком идет речь. Оказалось, что в тексте была допущена ошибка, которую он и исправил, а я, по-видимому, с этого момента была выведена из разряда «радиотов», как называл работников радио Лев Николаевич. Месяца через два плотной работы целый цикл передач был готов, мы назвали его «Беседы по народоведению». А за это время так подружились и привязались друг к другу, что сохранили эту привязанность до конца его дней.

Я посещала его лекции в университете, в Географическом обществе, «заболела» теорией пассионарности. Узнала обо всех его мучениях не только в прошлом, но и о травле в первой половине 80-х годов. Его нигде не печатали. Журнал «Вопросы истории» для него, историка, был закрыт. За это он называл журнал «Вопросы по борьбе с историей», а «Знание — сила» — «Знание с позиции силы», ибо даже в этот популярный журнал его редактор Роман по фамилии, кажется, Продольный (Лев звал его Роман Подпольный), не подпускал Гумилёва.

Вообще, не могу тут не прибавить, что Лев Николаевич был настоящий Ьеі езргіс (fb2: неразборчиво) — остроумец. Помню, особенно популярную в 80-е годы газету «Московские новости» называл «Масонские новости». И, кстати, о вызывавшей всеобщее восхищение в тот же период Маргарет Тэтчер, говорил, что она масонка очень высокого ранга.

Но возвращусь к травле Гумилёва. Круговую оборону держал Институт этнографии, возглавляемый академиком Бромлеем (которого Лев прозвал Бармалеем). Хотя вернее было бы сказать, этнографы из этого заведения вели прицельный огонь по Гумилёву. Их нападки печатали, а он не мог ответить им печатно.

Более того, его главный научный труд «Этногенез и биосфера Земли», в котором изложена теория пассионарности, был рекомендован ЛГУ к печати в 1979 г., но не печатался, т. к. не получил грифа Горлита, то есть разрешения цензуры. Напечатать его было необходимо, потому что идеи Гумилёва уже начинали растаскивать, а слово «пассионарность» стало мелькать по статьям без ссылок на первоисточник. Перехват идей — явление нередкое в научных дебрях. Например, Альберт Эйнштейн, воспользовавшись открытиями французского математика и физика Ж. А. Пуанкаре (умер в 1912 г.) и немецкого математика и физика Германа Минковского (умер в 1909 г.), создал и опубликовал в 1905 г. — частную, а в 1907–16 гг. — общую «теорию относительности», опередив своих старших «коллег». Когда к Пуанкаре пришла студенческая делегация подписать Эйнштейну поздравительный адрес, тот прогнал их со словами: «Я от своих открытий не отказываюсь». Все это поведал мне Лев Николаевич и прибавил рассказ о печальной судьбе московского профессора А. А. Тяпкина, опубликовавшего сведения о научном плагиате Эйнштейна и тут же лишившегося должности.

Понятно, что только публикация рукописи «Этногенез и биосфера Земли» могла «застолбить», закрепить авторство теории пассионарности. Одним словом, Лит был необходим, и он был получен в 1981 г. неожиданным образом.

Один толковый парень — Николай Столяров, работавший музыкальным редактором на радио, был представлен Льву Николаевичу. Решив помочь Гумилёву, он познакомил его с человеком, возглавлявшим радио — И. А. Чуевым. Чуев очень интересовался историей, а к Гумилёву проникся симпатией и сочувствием и, узнав о проблемах с Горлитом, сам вышел на директора этой всемогущей тогда структуры, который был его приятелем. И чудо, рукопись «Этногенез и биосфера Земли» была «залитована»! А вскоре депонирована. Чтобы поддержать Льва Николаевича материально, И. А. Чуев заключил с ним договор на цикл передач по этногенезу и выплатил ему аванс. А редактором назначил меня. Все это было во власти Чуева, но пустить передачи в эфир было уже не в его власти. Ведь Комитет по телевидению и радиовещанию был органом Обкома КПСС, а в Обкоме был функционер — историк по образованию — некто Дегтярев, персонально «опекавший» Гумилёва, поэтому

подготовленные к записи тексты ждали своего часа на радио

7 лет. Лишь на пятый год перестройки, в 1989-м, передачи пошли в эфир. Читал их диктор радио Геннадий Воробьев. К записям он относился очень ответственно, проходил со мной весь текст накануне. Читал великолепно. Льву Николаевичу его чтение нравилось чрезвычайно. С апреля 1989 года по май 1990-го прошло 27 передач с периодичностью в две недели; хронометраж колебался от 39 до 49 минут, в зависимости от отрезка в сетке вещания. Отклики были самые положительные. Но, повторяю, все это случилось семь лет спустя.

А пока на дворе 82-й год. Радость с депонированием позади, и в пору ждать новых репрессий. Как он страдал от этого, страдал не только морально, но и физически.

8 это время у Льва Николаевича появились симптомы диабета. Диагноз этот он узнал обходным путем.

Дело в том, что Лев Николаевич не доверял врачам. Говорил, что у Сталина было одно правильное дело — дело врачей. «Заметьте, — говорил он, — что «дело» было заведено в январе 1953 г., а уже 5 марта официально объявлено о смерти Сталина». Когда Льва Николаевича помещали в больницы, он из них сбегал. В последний раз, к несчастью, сбежать не мог...

Так вот о диабете. У него на ступне появилась трещина, а в ней образовался нарыв. С нарывом этим он попал в больницу, из которой быстро ушел. Потом несколько раз он падал в университете после лекции — выключалось сознание. Боясь врачей в Университетской и Академической поликлиниках, которые его знали, он поехал в поликлинику по старому месту жительства, хотя уже много лет там, на Московском проспекте, не жил. Он рассказал мне, как вошел в кабинет так, «на дурака». Врачиха оказалась опытной. Увидев его «заеды» — трещины в уголках рта, определила диабет. Жить стало еще сложнее. Язва желудка у него уже была, а теперь еще и диабет. Что можно было есть при язве, исключалось при диабете, а что требовалось при диабете, запрещалось при язве. Сплошная мука. Ему, голодавшему всю юность, молодость, зрелость, теперь и в старости нельзя было поесть, чего хотелось бы. Диету он, разумеется, нарушал, болезни от этого прогрессировали.

А если к этим болезням прибавить те, что были результатом пыток в тюремных застенках в молодости (во время приступов он и в старости кричал от боли) и каторжного труда в лагерях, то можно только удивляться, как он мог жить с этим, и не просто жить, а столько работать, так гениально писать.

Повторяю, гениально. Я открываю наугад страницу в любом его научном трактате и не могу оторваться. Какая бездна фактов,

какая глубина мысли, какая красота слога, точность, афористичность: «Увы, история полезна только тем, кто ее выучил», или «Предвзятое мнение — самая жестокая язва науки», или «Идеи — это огни, манящие ученых к новым свершениям, а не вериги, сковывающие движение и творчество». Таких афоризмов можно привести массу, но лучше читать их в контексте трудов Льва Николаевича, чем в цитировании.

Впрочем, еще одну гумилевскую цитату я приведу: «Банальные версии имеют ту привлекательность, что они позволяют принять без критики решение, над которым трудно и не хочется думать». Сам он никогда не грешил банальностью, а его девизом было: «Думать надо!» И думать он умел: ведь он додумался до такой гениальной истины, какая заключена в его теории пассионарности. Как-то я спросила Д. М. Балашова, автора исторических романов, часто гостившего у Гумилёвых, что он думает о теории Льва Николаевича. «Это прорыв к звездам», — ответил он.

Да к звездам, к небесам. Я думаю, что Бог открыл эту истину ученому Гумилёву. Ведь Лев Николаевич был человек глубоко верующий. Для меня нет сомнения, что та энергия из космоса, пучки ее, что вызывают мутации, из-за которых начинается процесс этногенеза, рождение нового этноса — это деяние Бога. Но ведь не мог же он, светский ученый, в то агрессивно-атеистическое время писать, называя вещи своими именами. Кто бы стал его печатать, читать и слушать. Тут бы даже 15 лет тюрем и лагерей было мало.

Теперь открою: каждый раз, когда мы допоздна засиживались за работой, Лев Николаевич, его ученик Костя Иванов и я (естественно, когда заслужила доверие) вставали на молитву в комнате Гумилёвых — икона была в правом углу — читали краткое правило «на сон грядущим». Иногда это была только молитва «Ангелу хранителю», ибо засиживались у них в доме порой за полночь, и надо было успеть в метро, которое тогда закрывалось в час ночи. Но без молитвы дом не покидали.

Лев Николаевич говорил мне: «Я хотел стать священником (это в 30-то годы!), но мой духовный отец сказал мне: «„Церковных мучеников у нас хватает. Нам нужны светские апологеты“. И я стал светским апологетом». Светский апологет Бога. Апология Бога — вот ключ к его жизни, научной деятельности.

Мир сотворен Богом. И вся наука — это только попытка постигнуть Божественные законы мироздания. Или, как писал И. А. Ильин, «несовершенные попытки приблизиться к живой тайне материального и душевного мира». Но прежде чем открыть

Гумилёву одну из своих тайн, Господь долго и страшно его испытывал.

В сущности, вся жизнь его от рождения была испытанием. Мать бросила младенца на бабушку с первого же года рождения. В 15-м году — мальчику 3 года — Ахматова пишет:

Знаю, милый, можешь мало Обо мне припоминать: Не бранила, не ласкала, Не водила причащать.

Как всегда лаконично и гениально выразила она в стихах обязанности матери, которых не исполняла. А он любил ее всегда, и никогда я не слышала, чтобы он называл покойную Анну Андреевну матерью, только мамой, кстати, Николая Степановича — только папой. Стихи ахматовские эти я знала, конечно, и до встречи со Львом Николаевичем, но наткнувшись теперь на них, вдруг ужаснулась глубине трагизма его жизни.

Помню, процитировала эти строки Льву, и он печально повторил: «Да, да... Не бранила, не ласкала, не водила причащать». И стал быстро-быстро тереть ладонь о ладонь. Был у него такой характерный жест — признак сильного волнения.

Среди фотографий, которые как-то показала мне Наталья Викторовна, меня поразили две. Одна, где совсем юный Лев — 14-летний подросток — сидит у изголовья лежащей, очевидно в болезни, матери. Какая печаль (о матери или о себе?) и обида в глазах мальчика, в поджатых губах, во всей его позе. А другая — из «дела»: Гумилёв — заключенный. Еще молодое (ведь я узнала его почти 70-летним), красивое, но измученное лицо и какое-то пронзительное смирение, что ли, в этом лице. Да, пожалуй, именно смирение, а не беззащитность. Все это в развитие мысли об испытаниях, выпавших на его долю.

Беломорканал... Он называл его «белый мор». Лев Николаевич говорил, что там он уже умирал, потому что при той норме, которая требовалась от заключенного, копающего «котлован», при скудном, голодном пайке и кратком сне долго выдержать невозможно. И когда в «органах» решили, что 10 лет, данные ему, слишком легкое наказание, и его повезли обратно в Ленинград, он, понимая, что ему грозит вышка, об этом не думал. «Я всю дорогу до Ленинграда (везли несколько суток) спал». А тут как раз, пока ехал, открылось «дело Ежова», НКВДешников и самих постреляли; Гумилёву при пересмотре дела дали 5 лет и направили, к счастью, не на Беломорканал, а в другой лагерь. Понятно, что и тут был далеко не курорт, но выжить тогда удалось.

При второй посадке, как он говорил, «за маму» (первая была «за папу»), после смерти Сталина и разоблачения его культа, для освобождения политических нужно было ходатайство

родственников. Многие уже освободились, Анна Андреевна почему-то не хлопотала. Ему удалось с выходящими на волю передать ей, естественно, нелегально, записку, чтобы поторопилась. «Она взяла эту записку и под ручку с Лидией Гинзбург отправилась в «большой дом». Меня, вместо освобождения, сажают в карцер», — говорил Лев Николаевич.

Но время пришло, и его освободили. Жизнь на свободе оказалась ничуть не легче. Лучший в стране, да и в мире историк-востоковед, превосходно знающий географию (любил повторять болтинское: «у историка не имеющего в руках географии встречается претыкание»), блестящий писатель, мыслитель, он не был востребован ни на историческом факультете университета, где продержался всего два года, ни на восточном.

Кстати, о восточном факультете. С удивлением наткнулась в автобиографической книге «Признания скандалиста» одного питерского выпускника филологического факультета с «двойным дном» (его собственное определение своей личности) на такую фразу: «Студенты с соседнего востфака при малейшей возможности прогуливали лекции Льва Гумилёва и говорили о них: «Сплошное занудство». Ну, что тут сказать, что тут станешь делать? Спьяну, очевидно, «скандалисту» пригрезилось, ибо вся его книга изукрашена подвигами автора на ниве пьянства. Не стоило бы и упоминать об этом откровенном вранье, но ведь так и рождаются фальшивки, создаются лжемифы.

Когда же мне приходилось бывать на лекциях ЛэНэ (так его звали студенты, преобразив «эль» и «эн» в «лэ» и «нэ», что ему чрезвычайно нравилось, он сам с удовольствием открыл мне свое прозвище), то народу набивалось всегда множество, будь то аудитория на географическом факультете университета или большой зал Географического общества. Более того, целой гурьбой слушатели провожали Льва Николаевича до автобуса и в автобусе, до самого дома, не переставая задавать вопросы и слушать, слушать его, а он не уставал отвечать.

С какой ответственностью он относился к лекциям! В 80-е годы, когда я была свидетелем его жизни, лекции он читал раза два в неделю, а потом и вовсе один раз — лекционные часы ему неумолимо сокращали. Так вот в день лекции, которая читалась обычно во второй половине, он с утра ничего не ел, собирался тщательно, надевал лучший костюм и к моменту выхода из дома выглядел торжественно, взволнованно, как жених перед свадьбой, и только поздно вечером, вернувшись домой, позволял себе обильный ужин.

Что же до исторического факультета то там и сегодня историком Гумилёва не считают. В апреле 2002 года на

подготовительных курсах истфака абитуриенту, попытавшемуся в контексте лекции напомнить о Л. Н. Гумилёве, было заявлено, что Гумилёв занимался не историей, а политикой, и ему за это неплохо платили. Да, платили, — пытками на допросах и пятнадцатью годами тюрем и лагерей. Он занимался политикой, а они на историческом факультете занимались исключительно историей! И так, конъюнктурщики, всю историю извратили, что непонятно теперь, чему же учить школьников. Сейчас начнут, да и начали уже ее переиначивать согласно требованиям новой политики, но к истории как таковой это так же не имеет отношения, как и прежде.

Лев Гумилёв был верен Истории, и только ей. Это во все времена требовало подвига. Подвигом была, не устану это повторять, вся его жизнь. А ведь он знал, что «тайна бытия смертельна для чела земного». И все-таки стремился узнать эту «тайну», стремился бесстрашно, бескорыстно, пройдя сквозь все испытания, посланные ему Богом. И был вознагражден. Нет, не покоем и благополучием, их он не знал до последнего своего часа, а знанием, из которого родилась гумилевская теория этногенеза.

Приют — как он выражался, «экологическую нишу» — после освобождения он нашел в НИИ географии с возможностью читать лекции по этнологии, по своей теории этногенеза на географическом факультете ЛГУ. Там он тоже натерпелся вдоволь: то вдруг большую аудиторию заменят на совсем крошечную: ведь студентов-то на курсе немного, а сбегались на эти лекции люди со стороны — с других факультетов, из других вузов и даже из «большого дома». (ЛэНэ рассказывал, что ему однажды представился его постоянный слушатель — врач по профессии — и спросил: «Вас не смущает, что я работаю врачом в „большом доме“»? Льва «не смущало», ибо куда денешься. Потом он даже принимал его в доме, пользовался его профессиональными услугами врача. Я встречала этого человека в доме Гумилёвых.)

В конце концов Льва Николаевича лишили возможности читать лекции, оставив консультантом на кафедре, уменьшив зарплату. Помню его переживания в тот период. Но бывали и другие дни. Как радовался он в день своего 70-летия. «После 70-ти у нас не сажают за политику», — говорил он. Господи, думала я тогда, значит, все время с момента освобождения из ГУЛАГа он ждал ареста и новой посадки. Старому, больному человеку постоянно жить под этим «дамокловым мечом»?!

Помню, как-то в Великом посту, обедая у Гумилёвых, я отказалась от скоромного блюда. Лев грустно сказал: «А я не

пощусь. Но на войне пост отменяется. А я все время как на войне». Вот так жилось, так он ощущал себя в «экологической нише».

Он никогда не предавался в моем присутствии (а оно было почти каждодневным до рождения моего сына в 1985 г.) лагерным воспоминаниям. А ведь немало узников ГУЛАГа сделали это своим основным занятием, стали на этом профессиональными писателями-вспоминателями. Ему было не до воспоминаний. Ему необходимо было донести людям свое открытие, свое научное видение этого мира, поделиться своими знаниями. Как щедро он это делал! Сколько я узнала и поняла такого, чего никогда нигде не прочесть и не услышать.

Лев Николаевич комментировал многие исторические эпизоды Ветхого Завета. Особенно мне запомнилась его реакция на историю из книги Бытия, случившуюся в городе Сихем.

Иаков, сын Исаака, сына Авраамова, ходивший по совету матери своей Ревекки за женой в Месопотамию (она не хотела невестки местной Ханаанской), возвращается назад через 20 лет с двумя женами Лией и Рахилью и своими потомками, и останавливается в Ханаанском городе Сихем. «И купил часть поля, на котором раскинул шатер свой... и поставил там свой жертвенник, и призвал имя Господа, Бога Израилева». Сын князя земли той — Сихем (имя совпадает с названием города) принудил к соитию дочь Иакова от Лии — Дину. Очень она ему понравилась, и он хотел жениться на ней. Отец парня пошел к Иакову поговорить о женитьбе сына.

В это время с поля вернулись братья Дины Симеон и Левий, услышали о бесчестии сестры и воспылали гневом. Еммор, князь города и отец Сихема, стал говорить им: «Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей; дайте же ее в жены ему. Породнитесь с нами; отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе».

Сихем же готов был на все, лишь бы заполучить Дину в жены, на любой выкуп. Братья Дины отвечали «с лукавством» — говорится в книге Бытия, — что не могут выдать сестру за человека, который не обрезан. Что готовы принять предложение Еммора отдавать за них своих девиц и жениться на их девицах и составить один народ, если все местные мужчины сделают обрезание. Еммор с сыном поверили им и уговорили весь город. А подвергшиеся этой операции — говорил Л.Н. — очень больны три дня. На третий день сыновья Иакова «напали на город и умертвили весь мужской пол. И самого Еммора и Сихема, сына его, убили мечом...». Потом разорили город, взяли скот, «все богатство их и всех детей и жен их взяли в плен». «Каков народ!»

— Льва Николаевича особенно возмущало вероломство сыновей Иакова. Обман доверившегося он считал самым гнусным преступлением. Неудивительно, говорил он, что мирянам-католикам даже запрещено читать Ветхий Завет, чтобы не потерять веру.

Говорил, что из 10-ти процессов инквизиции, которая по установившемуся расхожему мнению слишком свирепствовала в Испании, 9 были над евреями-выкрестами. Креститься-то они крестились, ибо в христианской стране это сулило все выгоды в испанском обществе, но сами продолжали исповедовать иудаизм, исполнять обряды, которые прямо противоположны и враждебны христианским, как, например, жертвоприношения.

Говоря об Испании, восхищался генералом Франко: он спас страну от того, что случилось в России в 1917 году и после него — долгой Гражданской войны. В Гражданской войне в Испании также воевали революционеры всех мастей, в том числе и из Советского Союза, но Франко не дал себя победить. И надолго установилось «над всей Испанией безоблачное небо».

Замечание о Гражданской войне в России тянет за собой еще одно воспоминание.

Как-то, очевидно, в очередную годовщину входа советских танков в Чехословакию, когда били себя в грудь и посыпали голову пеплом представители, так называемой, творческой интеллигенции, разъясняя в средствах массовой информации позорность этой акции, Гумилёв говорил: «А что же они, чехи, хотели за их предательство в Гражданскую войну?»

Чехословацкий корпус, 45 тыс. человек, сформированный Временным правительством в 1917 году в основном из военнопленных (Чехословакия воевала на стороне Австро-Венгрии в Первой мировой войне), с января 1918 г. вошел в состав французской армии, воевавшей на стороне белых. После мая 1918 г. часть чехов стала переходить на сторону красных, остальные примкнули в Сибири к Колчаку. Но в 1920 году предали Колчака, подписав соглашение о перемирии с Красной Армией, сдали адмирала большевикам и через Владивосток отбыли из России, прихватив ее золотой запас, который Колчак возил с собой. На это золото в Чехословакии основали Банк легионеров.

Чем же тут возмущаться, если всего 48 лет спустя, в 1968-м, в Прагу вошли танки, посланные туда сыновьями тех победивших с помощью чехов «комиссаров в пыльных шлемах», так «мужественно» воспетых Б. Окуджавой, чтобы покарать сыновей и внуков легионеров из Чехословацкого корпуса. Вот так объяснил мне историческую ситуацию Лев Николаевич Гумилёв и

прибавил: «Господь наказывает за грехи до третьего и четвертого колена». Ибо сказано: «Мне отмщение и Аз воздам». И с этого момента я уже не могу слышать стенаний по поводу советских танков в Праге.

Поэтому по прочтении «культового» романа «Невыносимая легкость бытия» «культового» чешскоязычного писателя Милана Кундеры, живущего ныне (как указано в справке на обложке романа) в Париже, мне захотелось спросить его, муссирующего события августа 1968 года, а знает ли он о событиях в Сибири 1920-го. Так что за тогдашнее предательство чехов плата августом 68-го более чем умеренная.

И еще один международный вопрос мы обсуждали с Львом Николаевичем: Афганистан. В мае 1988 года, когда начался вывод советских войск оттуда, Гумилёв сказал: «Вот, впервые, после 45-го года мы показали миру, что нас можно победить». А ведь о поражении и речи не шло, просто объявили о выводе воинского контингента. Но он с болью говорил о поражении, о том, что нельзя было входить в Афганистан, что воевать там невозможно: неприступные горы. Афганцы в них как рыба в воде, а наши? Я по невежеству возражала: «при современном-то оружии...» Он объяснял: «Вот укрепленная крепость или пункт на горе. Как ее взять? По горной тропе можно идти цепочкой, но сверху снайпер всех по одному отстреляет. Артиллерию в горы не потянешь». — «А с вертолета?» — не унималась я. «Зависший над укреплением вертолет очень свободно можно сбить». Винил правительственных советников, которые ввергли страну и армию в афганскую аферу: «Ведь правительство, прежде чем предпринять подобную акцию, запрашивает специалистов, советуется с ними. В случае с Афганистаном советниками были либо некомпетентные, либо недобросовестные. Вспомнили бы опыт англичан. В свое время англичане пытались закрепиться в Афганистане, но сочли за лучшее покинуть его». Я слушала его и думала: вот специалист-востоковед, чьи знания так пригодились бы, сидит не у дел, а какие-то горе-советники при правительстве дают вредные советы.

Он говорил, что в царской России наместником Средней Азии назначался выпускник Царскосельского лицея, что в переводе на современный язык означает — очень образованный и верный Родине человек. Он, великолепно владея ситуаций, всегда знал, какого хана надо в данный момент поддержать, а какого, наоборот, придержать для сохранения стабильности в регионе, как по-умному выражаются сегодня.

Оказывается, «все сложно, а просто в голове у дурака» — этот устный афоризм Л.Н. Гумилёва я запомнила на всю жизнь, как запомнила его «уроки», каковыми для меня становились все

беседы с ним. Как на многое он открыл мне, воспитаннице советской школы и советского вуза, глаза.

Да, настоящим «открытием» Америки было для меня утверждение Льва Николаевича, что американцы в массе своей давно уже не рожают — не могут. То ли от пищи с гормонами и продуктов генной технологии, то ли от других причин, но каждые 30 лет США объявляют иммиграцию и ввозят в страну молодых людей, которые родят детей, а их дети уже родить не могут. И чтобы закончить международную тему, скажу, что Лев Николаевич очень скептически отзывался о международной торговле. Приводил пример с колорадским жуком, ставшим бичом наших картофельных полей. Жил себе этот жук где-то в Колорадо на чахлых кустиках, но однажды вместе с импортным американским зерном попал в Советский Союз, освоил картофельную ботву и размножился невероятно. Я сама видала на Украине в Батурине — бывшей гетманской столице, усеянные жуком огороды. «Вот и вся «польза» от международной торговли», — итожил Гумилёв.

Как часто его мнения и взгляды не совпадали с общепринятыми. «Ненавижу декабристов», — цедил он сквозь стиснутые зубы. Они все до одного были масоны. С них началось раскачивание трона российского, а значит, государства, империи. У него, убежденного монархиста и горячего патриота, их тайная деятельность могла вызвать только ненависть.

Ему вторила Ольга Петровна Лихачева, часто бывавшая в доме, ныне тоже покойная: «Николаю I надо было повесить не пять, а все триста, чтоб неповадно было бунтовать». Ольга Петровна была старого дворянского рода и имела право на такое суждение. Доктор наук, она была научным сотрудником рукописного отдела Библиотеки Академии наук — БАН. (Женщин из БАНа Лев в шутку называл «банщицами», а из Публичной библиотеки — «публичными женщинами». И в той и в другой он был прилежным читателем.) Ольга Петровна жила напротив, через двор от Гумилёвых, и они часто встречались. Она была племянницей историка, академика Николая Петровича Лихачева, и академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, происходившему из мещан, — только однофамилицей, но они были дружны. Об Ольге Петровне я завела речь, чтобы показать, что Лев Николаевич был не совсем одинок в своем отношении к декабризму. И все-таки преобладает всеобщее преклонение перед «подвигом» этих первых революционеров. Но и «революционеров последнего призыва» — диссидентов — он откровенно презирал. Диссидентскую тему мы с ним не обсуждали подробно, и я не стану домысливать, почему презирал, хотя, конечно, догадываюсь.

Зато объяснял, за что презирает писателя Владимира Набокова. Восхищения его талантом, прекрасным русским языком его романов, его стихами Лев Николаевич не разделял. Более того, с сарказмом говорил: «Набоков пишет: на противном берегу, когда по-русски — на противоположном берегу или на другом». А уж о бегстве его из России говорил и вовсе с гневом. Я пыталась защищать писателя: «Ведь тогда он был почти мальчиком». — «19 лет — это не мальчик. Он уже мог воевать, как воевали и гибли за Россию тысячи его ровесников». И он, увы, был прав. Сыну прекрасного русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева было 18, когда его расстреляли в Крыму красные. Мой родной дядя — юнкер, задолго до моего рождения, тоже совсем молодым погиб во время Кронштадтского мятежа. И несть числа им, юным павшим...

Молодым, 35-летним, расстрелян отец — Николай Степанович Гумилёв. Лев Николаевич, конечно, восхищался его личностью, очень высоко ценил поэзию отца. Знал наизусть, мне кажется, все стихи.

Это он сказал мне, что последняя статья Блока «Без божества, без вдохновенья» — донос на Николая Степановича. Статью эту я знала, конечно, раньше, но перечитав после слов Льва Николаевича, увидела ее совсем в другом свете. Да, это литературный донос, несомненно. Было ли это сведение счетов, или предсмертная болезнь Блока, которая дала о себе знать в середине апреля, потом рецидивы ее повторялись в середине мая, июня, пока в июле не приняла угрожающие формы, сведя его 7 августа 1921 года в могилу. Или это было искреннее мнение перешедшего на службу Советам человека, и потому он был так неосмотрителен в выборе выражений в дни, когда свирепствовал террор ЧК? Все это тема для отдельного исследования.

Здесь нам важно мнение Льва Николаевича — донос. И как он сработал! В апреле написана статья, 3 августа Гумилёв арестован, а 27 августа — расстрелян. После смерти красного Блока можно было не церемониться с обруганным им белым Гумилёвым.

Еще Лев Николаевич приводил слова отца: «Поэтом может считаться тот, у кого есть одно гениальное стихотворение. Исключение составляет Пушкин — у него гениальных стихотворений несколько».

О Пушкине мы также говорили со Львом Николаевичем. Он утверждал, что его убили масоны. Масоном был Геккерн — это общеизвестно. Пушкин вступил в ложу, а потом, прозрев, вышел из нее, чего члены масонской ложи никогда не оставляют безнаказанным. Как только Пушкин стал писать патриотические стихи, он был обречен. Дантес был выбран исполнителем

убийства и не смел отказаться, иначе его самого бы убили. «Никакой измены, конечно, не было и не могло быть, — говорил Лев Николаевич. — При открытых анфиладах комнат и при тех дамских платьях — это практически невозможно».

В свете этих объяснений Гумилёва становятся понятными письма, которыми обменивались Л. Геккерн — голландский посланник — и Пушкин. Ведь анонимки, где Пушкин назначается «историографом ордена рогоносцев» сочинил и рассылал не Дантес, а Геккерн. Намек прозрачен: вышел из масонского ордена, так мы тебя припишем к ордену рогоносцев. И ведь это Геккерн от имени Дантеса, а опять не сам Дантес, утром 26 января послал вызов Пушкину. Пушкин-то прекрасно понимал всю подоплеку происходящего, но не защитить честь жены и свою не мог. Так излагал Лев.

А ведь сколько написано на тему пушкинской дуэли: и царь-то его убил, и свет, и долги, и жена глупая. Как тут было не стреляться. Горы книг! И эти горы громоздятся, как будто специально, чтобы под ними навсегда упрятать правду.

Кстати, о Пушкине или, скорее, некстати. 7 июня этого, 2003 года, по TV транслируют из зала Чайковского гала-представление по поводу 70-летия Андрея Вознесенского. Особенно «уместно», что происходит это сразу после 6 июня — дня рождения Пушкина, из чего, по-видимому, следует, что на сегодня у нас два равных поэта: Пушкин и Вознесенский. Вспоминаю, как презрительно отзывался о Вознесенском Лев Николаевич. Ему пришлось однажды встретиться с этим антипоэтом. Гумилёв пришел забрать посылку, переданную через Вознесенского, кажется, из-за границы. А тот принял его как жалкого просителя, лежа на диване. Ну хоть бы из уважения к родителям — Анне Ахматовой и Николаю Гумилёву, поэтам не Вознесенскому чета — встал перед их сыном. Да где там! Человек, живший безбедно и в славе в советские времена, пописывая поэмы про Ленина, клеймя стихами монахов Троице-Сергиевой лавры, примеривавший на себя лавры Б. Пастернака (иначе, почему всегда рядом с именем Вознесенского всплывает имя Пастернака) и ныне восславляемый, может ли понять настоящую поэзию. А Лев Николаевич прекрасно отличал подлинное от суррогата в стихах, поэтому и презирал Вознесенского со всеми его «антимирами».

Читатель Лев Николаевич был требовательный. Час-то повторял: «У нас десять тысяч писателей (действительно в Союзе писателей было десять тысяч членов), а читать нечего, поэтому читал фантастику и детективы. Агату Кристи называл Агафьей. «В переводе на русский Агата и есть Агафья». — говорил он. Из

русских классиков любил Лескова, из юмористов — Аверченко. Нередко цитировал его остроты.

Его пристрастия в музыке были очень определенны: Бетховена он предпочитал Чайковскому, силу — слабости. В связи с музыкой вспоминаю, как на заре нашей дружбы опозорилась перед Львом Николаевичем и Натальей Викторовной, когда повела их на генеральную репетицию балета «Конек-Горбунок» Р. Щедрина в радиоложу Театра оперы и балета, тогда, им. Кирова. Чудесная русская сказка, известный композитор, усиленно рекламируемый, русский танец — это должно понравиться, думала я. Но зрелище оказалось прежалкое; кстати, балет этот быстро сошел со сцены. А музыка! Как метко изрек Лев: «Не музыка, а сплошное пуканье». Я не знала куда деваться от стыда.

И еще могу привести эпизод, связанный с этим театром. Это уже было за два года до смерти Льва Николаевича. В день рождения Ахматовой мы со Львом Николаевичем в Никольском соборе, где ее отпевали, отстояли литургию, потом отслужили панихиду по покойной Анне. С нами в соборе была московская журналистка, друг семьи Гумилёвых, и бывший узник ГУЛАГа, сидевший со Львом в пересыльной тюрьме, Николай Борисович Васильев, ныне тоже покойный. Выходец из семьи блестящих петербургских аристократов, 1914 года рождения, крестник государя императора Николая II, на последнем (если не путаю) курсе консерватории арестованный и осужденный по статье «Терроризм», и только промыслом Божиим оставшийся в живых, — вот визитка этого достойного человека. С ним я была знакома еще до встречи со Львом Николаевичем по Театральному институту, где он преподавал фортепиано, а я училась и работала. Пишу о нем потому, что рядом с памятью о Гумилёве живет во мне память и об этом мученике за Россию. И для того, чтобы было ясно дальнейшее.

Итак, два старых «зека» и две нестарые еще женщины вышли из Никольского собора. Николай Борисович идет сам, а Льва Николаевича мы ведем под руки. Стиснув зубы, он переставляет ноги. Каждый шаг дается ему с трудом и болью, и, чтобы не продлевать его муку, мы решаем, какой транспорт ближе от Никольского сада. И тут Николай Борисович говорит, указывая в сторону Театральной площади: «Можно подогнать такси. Там стоянка, у Кировского театра». — «У Мариинского, Коля! За что ты сидел?» — тут же парирует Лев, казалось бы весь ушедший в свою боль.

Это сейчас «Мариинка» у всех на слуху, а тогда кроме «Кировский» иного слова никто не употреблял. «Львиная» верность истории проявлялась даже в мелочах. Хотя мелочь ли в

данном случае? Это как считать!

Цельность его личности впечатляла. Он, скажем, не любил картошку как блюдо, потому что не любил это растение. Утверждал, что внедрение картофеля на Руси осложнило жизнь крестьянина. Раньше зерно посеял и ждешь сбора урожая. А с картошкой? И посадка ее тяжелая, а потом полоть, окапывать дважды вручную и копать — тяжелый труд. «Ну, а как же без картошки, — спрашивала я, — суп-то с чем варить?» — «С репой! До того, как завезли к нам картошку, крестьянин ел репу. «Посадил дед репку», — говорит нам русская сказка. А теперь репа исчезла из обихода, но ее-то гораздо проще выращивать». Чтобы окончательно убедить, вскоре с Натальей Викторовной накормили меня супом с репой. И действительно, было полное ощущение, что я ем картофельный суп. Можно воспринимать это как курьез или чудачество, но я так не считаю.

Бескомпромиссность в малом и большом — вот стереотип поведения Льва Николаевича. Бескомпромиссность заставила его даже сменить вектор творческих пристрастий. Дело в том, что в детстве он сильно увлекался индейцами, в 7 лет прочитал всего Майна Рида, с возрастом стал серьезно изучать жизнь индейских племен. Но поведение ацтеков вызвало такое отвращение, что он бросил заниматься «индейцами» — не мог. Все восхищались культурой ацтеков, а Гумилёв считал, что своим вторжением в природу — строительством теокалли, сооружением искусственных озер и т. п. — они ее изменяли, нарушали экологию, как говорим мы сегодня. Ацтеки (у Гумилёва в книге «Этногенез ...» — астеки) в Городе Солнца на своих теокалли приносили человеческие жертвы. «Солнце любит цветы», — говорили они. А цветами считали сердца, которые вырезали при каждом обряде у 11 девушек и 11 юношей — своих соплеменников или из других племен. Есть от чего содрогнуться.

Зато судьба монгольского пассионария Тэмуджина, с детских лет перенесшего столько страданий и не сломавшегося, вызвала горячее сочувствие. Это как раз тот случай, когда Лев «его за муки полюбил». «Да, тяжела была доля Тэмуджина, окруженного лжецами и предателями», — пишет Гумилёв. Но предательство самого Тэмуджина, когда по его знаку в борцовском поединке (состязание в борьбе — постоянное развлечение монголов) был сломан хребет пленному чжуркинцу, притворившемуся в угоду хану побежденным, не вуалировал, как это принято, когда на любимого героя наводят глянец.

Л. Гумилёв восхищался Ясой — законом Чингиса, которому подчинялся сам хан и в котором было закреплено воинское братство, взаимовыручка. Скажем, если едущий впереди воин

выронил, не заметив колчан со стрелами, то едущий сзади обязан поднять его и вернуть товарищу. Если не сделал этого — смертная казнь. «А иначе в боевом походе и в бою нельзя», — говорил Лев Николаевич. И выбор был сделан навсегда: Великая степь стала темой его научного подвига, не побоюсь этого слова.

Его обвиняли в чрезмерной любви к татарам, говорили о его татарских корнях, вспоминая ахматовское: «Мне от бабушки-татарки были редкостью подарки...» А он был русским патриотом и в ответ на подобные обвинения говорил: «Сколько можно твердить о татаромонгольском иге, оскорблять татар и монгол. Монголы наши верные союзники. Граница с Монголией — самый спокойный участок наших обширных границ. И если Монголия отвернется от России, туда пойдут американцы, потому что монголам нужен сильный союзник для защиты от Китая». Россия отвернулась от Монголии, и все случилось по прогнозу Гумилёва.

С татарами мы живем в одном государстве, а известные русские фамилии Аксаковы, Кутузовы — он приводил длинный список их, но лучше его найти у самого Гумилёва — на самом деле чисто татарские. Миф о татаро-монгольском иге создан на Западе. Всегда надо учитывать — не уставал повторять Гумилёв, — кто говорит, когда говорит и с какой целью. Обо всем этом нужно читать, конечно же, в его книгах, я же пишу об этом потому, что не раз и не два слышала это от самого Льва Николаевича, и еще потому, чтобы заставить читающего эти строки обратиться к первоисточникам — трудам ученого.

Он называл себя последним евразийцем. Сейчас их много развелось — «последних», рассуждающих о геополитических пространствах и прочих заумных вещах. А Гумилёв-этнолог учил умению жить вместе с народами Востока, населяющими нашу державу, учил знать и уважать историю этих народов. Выбора — жить в симбиозе, как жили наши предки, или в противостоянии — для Гумилёва не существовало.

Почему же мы не почитаем этого человека, как почитают эти народы? Почему даже памятную доску в Петербурге на доме, где он прожил последние два года, установил Татарстан? (За что, конечно, татарам спасибо.)

С горькой иронией говорил Лев Николаевич о пути в науку, о том, как становятся ученым. «Сначала, пока ты повторяешь общеизвестные истины, тебя хвалят. Пока ты пишешь компилятивные работы, — а большинство научных работ это переписывание источников и компиляция ранее написанного, — тебя также гладят по головке: молодец. Но стоит начать мыслить самостоятельно, писать оригинально, тебя начинают „бить по голове“». И как же ученого Гумилёва били в прямом и переносном

смысле и не только в советские времена.

Сказать, что после перестройки Гумилёву полегчало с публикацией трудов, было бы преувеличением. Да, в 1989 г. вышла «Древняя Русь и Великая степь», но как говорил мне Лев Николаевич, А. И. Лукьянов, тогда председатель Верховного Совета СССР (а еще поэт и большой поклонник творчества Ахматовой), буквально топал ногами на руководство издательства «Мысль», требуя ускорить ее печатанье. И все равно затягивали, и якобы, в целях ускорения напечатали книгу без совершенно необходимого в научном издании справочного аппарата: указателей и терминологического словаря. Все равно это была победа: труд всей жизни пришел к читателю.

Получив в подарок книгу от автора, я начала читать, а прочтя, поняла, что с нею надо знакомить как можно больше людей, всех радиослушателей Петербурга. И мы со Львом Николаевичем стали это осуществлять. С января 1991-го по март 1993 г. прошло 49 передач. Они звучали два раза в месяц, хронометраж колебался от 40 до 50 минут. Так с неизбежными сокращениями на Петербургском радио была прочитана вся книга «Древняя Русь и Великая степь». Спасибо тогдашнему радионачальству, что не препятствовали этому. А радиослушатели были в восторге и от текста и от чтения народного артиста России Ивана Краско. Сколько благодарных звонков и писем получил Иван Иванович, сколько откликов пришло в редакцию!

В 1998 г. я переписала на кассеты все передачи по «Древней Руси...» и все «Беседы по народоведению». Сейчас они хранятся на последней квартире Гумилёва на Коломенской, которая стала совсем недавно филиалом музея Ахматовой, чего смею утверждать, Лев Николаевич вряд ли хотел. А записи радиопередач можно было бы заставить работать на распространение теории Гумилёва. Выкупить у радио права на них и крутить их в школах Петербурга, Москвы, рассылать по городам страны, в вузы, да и за рубеж, для изучающих науку и русский язык, популяризируя учение. Это работа для Фонда Гумилёва. Но Фонд этот скончался, едва родившись.

Убит ученик Гумилёва — Константин Иванов, спустя ровно полгода после смерти учителя. Другой, младший ученик Вячеслав Ермолаев, интригами оттеснивший от Льва Николаевича в последние год-два К. Иванова, который, собственно, и приблизил его к Учителю, возглавил Фонд еще при жизни Кости, а потом — сгинул.

Развивать теорию, прикладывать ее к практике, чем начал успешно заниматься К. Иванов, некому. Кончина Кости Иванова

после смерти Гумилёва не могла не навести меня на мысль о мистической связи учителя с учеником. Действительно, Лев Николаевич выпестовал его не только как ученого, но и как человека; любил его как сына, называл Костенькой. Для Кости он был ближе родного отца. В ночь с 18 на 19 декабря — на зимнего Николу — Константин Иванов был зарезан на лестнице своего дома, зарезан точным, профессиональным ударом в шейную артерию и истек кровью до приезда «скорой».

За полгода до этого истек кровью и Лев Николаевич. По существу, он тоже был зарезан: ему, диабетику, — при этом диагнозе кровь очень трудно останавливается — резали печень — кроветворящий орган.

Помню, где-то в начале июля 92-го года позвонил мне Костя — он скрупулезно собирал все, что касалось Гумилёва — и спросил: «Какие страницы «Древней Руси и Великой степи» звучали на радио в самом конце мая?» На мой встречный вопрос: «А зачем тебе?» — отвечает: «Знаешь, ведь Лев Николаевич умер 28 мая. До 15 июня его держали на аппаратуре. Он был без сознания. 15-го отключили аппарат и объявили о смерти».

Я тут же уточняю, что читалось на радио в тот роковой день, и прихожу в изумление: звучали страницы из главы «Вереница бед», а названия параграфов в ней: «Беда первая», «Беда вторая», «Беда третья» и так до «Беды девятой», а за ней параграф «О запустении Киевской Руси» и «Беда чужая».

Человек неверующий скажет: «Совпадение». Очень уж много совпадений. Для могилы Льва Николаевича, так случилось, сделали два деревянных креста. Один поставили, а второй стоял некоторое время на лестнице у квартиры Гумилёвых, а потом его отвезли в церковь. Теперь этот крест на могиле убиенного Константина Иванова.

В православном русском народе говорят в случае, когда за одним покойным следует вскоре второй: забрал с собой. Костю забрал с собой Лев Николаевич. Вот почему я говорю о мистической связи учителя с учеником.

И со своей теорией у Льва Николаевича была такая мистическая, от Бога связь. Он мне сказал однажды после рождения моего сына, названного в его честь, которого он крестил: «У Вас сынок, а у меня — доченька — моя пассионарная теория». Да, доченька, которую он выстрадал, в муках родил, вынянчил, и отдал ей всю свою жизнь, как самый любящий родитель все отдает своему ребенку. И умер он, а его детище в эти дни повторяло нам: «Беда, беда, беда... запустение...»

Беда с ним, с нами, знавшими и любившими его, беда с наукой, потерявшей верного рыцаря и труженика, с народами

России, потерявшими мудрого народоведа, способного им помочь своими знаниями...

Как жаль, что некому больше задавать вопросы, рассчитывая получить научно обоснованный и честный ответ. А вопросы возникают повседневно. Больные вопросы. Что происходит в Чечне? Почему из всех кавказоидов (Гумилёв считал всех, живущих на Кавказе, отдельной расой и называл по аналогии с монголоидами, европеоидами, австралоидами и т. п.) именно чеченцы раздувают пожар войны искони? Мирные чеченцы, о которых так пекутся «правозащитники», не миф ли это? Может быть, они исповедают исмаилизм (антисистема в исламе), а значит, исповедают «ложь как принцип»? Только Гумилёв знал ответы на эти вопросы.

Он описал все антисистемы, и исчезнувшие и существующие доныне: исмаилитство, карматство, маркионитское, павликианство, манихейство, богомильство, альбигойство, раскрыв их суть — жизнеотрицание. Объяснив, что истина и ложь в них не противопоставляются, а приравниваются друг к другу, показав, как из этого вырастает программа человекоубийства. А как логичны, убедительны и увлекательны их учения и философия. Но будьте осторожны, они ведут в бездну.

Впрочем, об антисистемах надо читать, не устану повторять, у самого Л.Н. Гумилёва. Я же здесь приведу оброненные им как-то к случаю замечания, что употребление французами и поныне в пищу лягушек и устриц — хладнокровных — это пережиток альбигойства, которое было особенно распространено во Франции. И борьба Бриджит Бордо против ношения мехов, из-за которых убивают животных, ведет начало оттуда же, из антисистемы: из альбигойства.

Жизнь и смерть всегда идут рядом, поэтому и надо ценить жизнь. Но жить любой ценой — этого он принять не мог. Однажды Гумилёв привел слова друга, с которым они принципиально разошлись, сказанные им еще в период дружбы: «Жизнь — самое ценное у человека или главная ценность в мире» (не помню точных слов, но смысл их таков). А мне вспомнился — говорил Лев Николаевич — атаман Белый, под этим именем он был известен, а какое было настоящее — Бог ведает. Со своим отрядом он боролся с Советами, когда все уже прекратили сопротивление. Оставшись совсем один, без соратников — кто погиб, кто разбежался, кто сдался, — Белый увешал себя под одеждой гранатами и пошел в штаб красных. Заявив, что он — атаман Белый пришел сдаваться, прошел в здание и, когда сбежалась целая толпа посмотреть на «самого Белого» — за ним долго и безуспешно охотились, — он себя подорвал. Погибая,

прихватил с собой не один десяток врагов. Вот цена жизни по Гумилёву!

Свою собственную жизнь он целиком отдал науке, сделав потрясающее открытие. Всеобъемлющие знания в истории, достаточные — в смежной географии, необходимые — в физике, химии, биологии, психологии и позволили ему сделать обобщение, результатом которого явилась его пассионарная теория этногенеза. Чего это ему стоило? Откроем его трактат (он любил это старинное слово) «Этногенез и биосфера Земли»: «Самые на вид простенькие обобщения требуют такого душевного подъема и накала чувств, при котором мысль плавится и принимает новую форму, сначала поражающую, а затем убеждающую читателя». А если обобщения не простенькие? Тогда они требуют всей жизни без остатка. Он и отдал ее науке, своей теории. Ничего другого для него не существовало.

Домашний уют, а тем более комфорт, казалось, был ему противопоказан, сам он был к нему равнодушен. Помню, когда вторая комната в квартире на Большой Московской была отдана Гумилёвым и соседи, долго не хотевшие покидать центр, наконец, съехали, надо было делать в ней ремонт, и его даже начали. Это отвлекало ученого от работы, он сильно раздражался: зачем все это беспокойство. Я, шутя, сказала: «Правильно, Лев Николаевич, надо закрыть ту комнату и жить в отдельной квартире». — «Да», — подхватил он совершенно серьезно.

Но пожить в той отдельной квартире, к которой он привык, не удалось: дом треснул. Причина была вполне реалистическая — строительство новой станции метро «Достоевская» и перехода к ней со станции «Владимирская». Но я воспринимаю этот факт как вмешательство провидения: не суждено ему было иметь прочных стен. Ему, занимавшемуся номадами-кочевниками, не дана была оседлость.

Переселение в новую квартиру на Коломенской он воспринимал без радости. А едва стал привыкать, как болезни все разом подступили и убили его. К язве с диабетом прибавился сперва инсульт, потом печень.

Вижу наше последнее свидание на Коломенской. Лев Николаевич тогда только вышел из больницы, и я пришла, как всегда, согласовать вопросы по текстам передач. Когда я вошла в комнату, он сидел на диване. Я села рядом. Видимо, боли были нестерпимые, потому что он взял мою руку и положил себе на живот, справа. Я удивилась, ведь желудок-то слева. Я думала, что у него язва обострилась, а оказывается, это болела печень. Он подержал еще мою руку на животе, а потом, превозмогая боль, стал отвечать на мои вопросы. Но видя его муку, я быстро

свернула работу.

Приближалась Пасха, и я с моим семилетним Львом собирались в гости к крестному. Мальчик выучил стихотворение Николая Степановича «Носорог», но прочесть его крестному не удалось. Перед Пасхой Лев Николаевич снова попал в больницу, из которой больше не вышел.

Отпевали его в храме Воскресения Христова, тогда еще, вскоре после возвращения «из мерзости запустения», являвшего вид большой руины (к слову, о комфорте). А отпевал отец Пахомий — крещеный татарин, далекий потомок тех «людей длинной воли», которые шли за его любимым Тэмуджином — Чингисханом.

Стараниями Кости Иванова и отца Пахомия — келейника покойного митрополита Петербургского Иоанна, любимого нашего владыки, давшего разрешение, похоронен был Лев Николаевич Гумилёв в благословенном месте, тогда еще не осквернённом могилами денежных демократов, на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Когда я прихожу на его могилу и вижу надгробие на ней — две огромные каменные глыбы, сложенные крестом, — всегда отмечаю: как верно они передают тяжесть креста, который нес раб Божий Лев всю жизнь.

И когда думаю о нем, на память приходит одно место в статье А. Куприна, написанной после расстрела Николая Степановича Гумилёва: «Да, надо признать, ему не чужды были старые, смешные ныне предрассудки: любовь к родине, сознание живого долга перед ней и чувство личной чести. И еще старомоднее было то, что он по этим трем пунктам всегда готов был заплатить собственной жизнью». Слова эти прямо, без всяких оговорок, приложимы и к личности Льва Николаевича, достойного сына славного отца.

Таким он и останется навсегда в моей памяти. И пусть не только в моей — для этого и записываю воспоминания. И еще для того, чтобы сбылось пророчество в стихах Льва Гумилёва:

«... я не встречу смерти, живя в чужих словах чужого дня».

Д. М. Балашов
Слово об Учителе

Сейчас, пожалуй, уже не надобно защищать теорию Гумилева. Интерес к его книгам растет день ото дня, о чем красноречиво свидетельствует их безусловный (в том числе и рыночный!) успех у читателя.

Не стоит и пересказывать то, о чем талантливее всего говорит сам автор.

Я думаю, что и к той мысли, что теория Л. Н. Гумилева выводит наконец европейскую историческую науку из того тупика, в который она загнала сама себя, пытаясь летопись страстей и бед, озарений и славы человеческих изъяснить убого безличными экономическими законами или «классовой борьбой», а то и никак не объяснять, погружаясь в дебри позитивизма, — и к этой мысли вдумчивый читатель придет самостоятельно.

Я же здесь хочу еще раз повторить несколько слов, несколько замечаний о Гумилеве-человеке, таком, каким я знал его при жизни, знал и любил настолько, что смерть его 15 июня 1992 года потрясла меня, как глубоко личная трагедия. Хотя то, чего я молча опасался более всего в продолжение последних лет, к великому счастью, миновало «ЛэНэ» — так, полушутя, он называл сам себя. А именно: Льву Николаевичу удалось узреть свои работы напечатанными, удалось увидеть и ясно обозначившийся уже — после тяжких лет травли, «недоумений» и непризнаний — подлинный интерес, творческий интерес, с желанием понять и усвоить, к своим трудам, к своей теории, призванной обессмертить его имя.

И все-таки... Где-то хоть раз в полгода побывать у него, посидеть рядом, пользуясь радушным гостеприимством его верной спутницы, Натальи Викторовны, услышать хоть несколько слов, всегда корневых, главных, иногда ошарашивающих, вроде того, давнего, брошенного вскользь и походя и так полно выявившего всю горькую правду только теперь, утверждения, что демократия — самая дорогая (точнее, даже самая разорительная!) для народа форма правления. Да просто... просто прикоснуться, почувствовать себя вновь бесконечно малым и бесконечно невежественным и в этом умалении найти просветленное успокоение себе, как будто на миг сбросивши с себя тяжкую, непереносимую ношу взрослых лет и обязанностей. Стать вновь

учеником, дитятею, почуять над собою «набольшего» и, по словам Марины Цветаевой, «вздрагивая, затихнуть, как в детстве, когда простят».

Познакомился я со Львом Николаевичем так, как, пожалуй, не знакомился ни с кем до того, ибо не мастер нарочитых знакомств и без дела, любопытства ради, не могу и поднесь подойти к заинтересовавшему меня человеку.

Началось со статьи в «Природе», очень взволновавшей меня, хоть и был в ней оттенок той, с легкой руки Ницше модной в начале века теории сверхличностей, был, но позже исчез вовсе. А быть может, и то мне показалось только, как кажется обычно при встрече с принципиально новым: что оно-де есть повтор того-то и того-то... Трудно признать принципиальную новизну, трудно при встрече с выдающимся умом признать его оригинальность, непохожесть на все предыдущее. Да ведь про нас, по сути, и произнес Чехов эти горько-язвительные слова: «Человек, с которым я пью чай, не может быть гением». Вспомним и того мужика, что пришел поглядеть на Сергия Радонежского и отказался поверить, что старик в рубище, копавшийся в монастырском огороде, — это и есть прославленный подвижник! Хотелось ему узреть непременное величие: блеск одежд и толпу прислужников у ворот...

Работою своей, впрочем, я был подготовлен к приятию гумилевской теории. Я фольклорист, а в отличие от литературоведов, изучающих «явления» (редко кто из них, как Бахтин, подымается до осознания «процесса»), фольклористу приходится поневоле иметь дело с процессом, со множественностью, и тут как не задуматься, в самом деле, о причинах развития и изменения художественных форм и стилей, да и всей духовной культуры человечества, как не сделать еще один шаг... Но вот тут-то, для шага этого, и нужна гениальность, проявленная, скажем, Менделеевым и не проявленная тьмою прочих химиков, имевших перед собою ту же сумму явлений, что и он.

Я пошел в Публичку (дело было в Питере) и выписал по каталогу все имевшиеся труды Гумилева и все их прочел. И «Хунну», и «Открытие Хазарии», и «Поиски вымышленного царства», и какие-то статьи — словом, все, указанное в каталоге.

Кстати, людям, надумавшим когда-нибудь знакомиться с ученым, писателем ли, рекомендую настоятельно тот же метод. Очень оскорбительно (сам это испытал), когда к тебе лезут с дежурною лестью относительно «ваших замечательных произведений», не читавши из них ни одного.

Прочтя, пошел искать самого Льва. Это не фамильярность. Он

и был львом: оппоненты не дерзали являться на открытые диспуты с Гумилевым, подсовывая каких-то недоумков, ибо выглядеть и смешным и глупым, да еще и невежественным, никому из них не хотелось. И тут началось что-то странное. Меня встречали с опаскою, с какими-то многозначительными умолчаниями, цедили: «Да... работал тут некоторое время... А зачем он вам?» Может быть, и не следовало искать его следы в учреждениях, где Гумилева за что-то едва терпели, но эта «лестница» остепененных чиновников очень и очень запомнилась мне.

Не помню уже, где и как я узнал наконец его адрес. И жил Гумилев тогда еще на новостроечной окраине Ленинграда, в «типовом» доме, еще не перебравшись в центр. Но и в центре у него до последних лет жизни была лишь комната в коммуналке, с довольно «сложными» соседями, но хоть старая петербургская комната с высоким потолком, украшенным лепниной, и окнами во двор, а не на шумную улицу.

Встретил меня Лев Николаевич ежом, достаточно ожегшись о провокационные и просто хамские знакомства, «месть врагов и клевету друзей» и прочие прелести нашего коллективного бытия, особенно трогательные для него после четырнадцати лет лагерей. Кажется, я был в обычной своей косоворотке и сапогах и — Наталья Викторовна призналась мне недавно — был принят ими не то за актера, не то за ряженого. Однако знакомство состоялось. А на подозрительность Льва Николаевича, иногда вскипавшую обвинениями в мой адрес, я раз и навсегда запретил себе обижаться, памятуя разницу возраста, учености и те самые лагерные четырнадцать лет, отсиженные им в три приема — до и после войны.

Каюсь, я тоже тогда частично принадлежал еще к племени тех, для кого пить чай с человеком значило не видеть в нем гения. Казалось странновато порою, что этот мало кому известный ученый говорит о Лихачеве как о равном себе. Смутно уже помню первые доклады Льва Николаевича, на которых довелось побывать, доклады и тогда упоительные, с этою дворянскою картавостью речи, с отступлениями, которые, заводя поначалу Бог знает в какие дали, вдруг волшебно выстраивались в стальную цепь доказательной аргументации, с этой его лукавою улыбкою, когда он, напоминая прошлое, произносил: «Когда я был на великих стройках коммунизма», с восхитительными прыжками мысли через две ступени на третью, разом опрокидывавшими башни наукообразных стереотипов... И с тем освобождающим чувством причастности к векам и тысячелетиям человеческой культуры, какое неизменно появлялось всегда после

его лекций, в которых воскресали люди, жившие в безмерных далях времен и пространств, а летопись бед и страстей человеческих начинала приобретать смысл и стройность, неведомые доселе.

Не сразу принимались и выучивались новые термины, введенные Гумилевым в науку, дабы освободиться от принятого тогда и по-советски сурово законсервированного набора определений: народность, народ, нация (и за каждым словом сталинское, не подлежащее пересмотру истолкование). А тут — греческое «этнос», собственно народ, но уже без марксистской социальной периодизации! Кстати, и марксизм Лев Николаевич знал отлично, лучше своих оппонентов. Внове был и термин «пассионарность» (страстность). Мы знали Пасионарию Долорес Ибаррури и знали страсть как любовное влечение полов, но как-то не принято было думать о страстности Амундсена, рвущегося к полюсу, страстности Сент-Экзюпери, страстности Александра Македонского и Ганнибала, викингов и конкистадоров... И совсем уж внове было принимать тезис о том, что именно вот эта самая страстность, стремление к иному, большему или новому, способность совершать сверхусилия, ненадобные в монотонном течении обычной жизни, и есть та двигательная сила, которая созидает человеческую историю.

Рискну здесь высказать мысль, быть может и спорную, что замысел теории или хоть толчок к замыслу родился у Льва Николаевича под воздействием стихов горячо и заочно любимого отца, расстрелянного по прямому приказу одного из наших «вождей» еще в те годы, когда мартиролог намеренно уничтожаемых русских талантов только начинался.

Сама теория, по словам Льва Николаевича, родилась у него в пересыльной тюрьме, в Крестах, когда он сидел в пыльной камере, томясь от обывательской толковни сокамерников и следуя за лучом солнца, проникшим сквозь прутья зарешеченного окна. Ну и, конечно, стояла у колыбели нового истолкования человеческой цивилизации глыбистая фигура Вернадского, другого русского гения, капризно пощаженного Сталиным, с его учением о биосферной и, частично, рукотворной оболочке Земли, о громадных зарядах энергии, заключенных в биомассе живого вещества Вселенной.

Что еще помогло Льву Николаевичу? Пожалуй, избранная им сфера истории. У степняков не было связного летописания, и, чтобы добраться до истории степных народов, надо было сперва изучить историю всех сопредельных стран, а кто же не сопределен великому евразийскому степному пути сквозь весь континент от Тихого до Атлантического океана? Короче,

требовалось изучить и понять всю историю человечества, а тут уж сам Бог велел открыть, познать и систематизировать странную картину похожестей — и по форме выявления своего, и по срокам — в событиях истории самых разных народов Земли.

Концепция Гумилева прямо и сразу покорила меня возможностью построить наконец на канве пассионарных взрывов и спадов историю культуры, где был не только перечень событий, но и объяснение: почему является то-то и то-то и не является другое и третье. Построить теорию, которая в идеале годилась бы даже и для предсказаний, хотя бы возможностного характера. Поэтому, верно, и знакомство наше не прервалось, а продолжилось, причем Лев Николаевич давал читать мне свои работы, требуя критики. Но какие критические замечания мог я ему дать, воспринимая все написанное им так, как усердный ученик воспринимает произведения любимого профессора! А когда Лев Николаевич взял на себя труд читать мои романы и давать мне советы и консультации бесценного свойства — и не только по истории степных народов, разумеется, но и по философии, богословию, да и просто литературно-критические, заставляя переделывать целые главы, — то и получилось, что я стал постоянным гостем Льва Николаевича, получая от него безмерно больше того, что мог дать ему сам, почему и числю себя теперь среди учеников Л. Н. Гумилева.

Шли годы. Настороженность Гумилева ко мне постепенно проходила. Постепенно он все более раскрывался в своем обычном, домашнем облике, с этим своим соленым лагерным юмором, который в его устах приобретал странно аристократический оттенок, со вспышками гнева и яростного веселья, с блеском глаз и потиранием рук, и тогда въяве виделось, что в этой стареющей плоти заключен вечно молодой и потому вечно творческий дух.

Он уже тогда был толст. Худым, со втянутыми щеками, юношей, я видел его только на редких, в том числе и лагерных, фотографиях. Он уже трудно ходил и, нуждаясь в прогулках, завел собаку золотистой масти, Алтына (алтын по-татарски — золотой), которую очень любил и очень долго и упрямо спасал от естественной собачьей старости, пока пес сам не стал уже проситься умереть. В лице его уже в то время было что-то восточное, татарское. Ликом в старости Лев Николаевич, боготворивший отца, все более походил на мать, Анну Андреевну Ахматову.

Не стану тут вдаваться в непростую сложность семейных отношений великой Анны Ахматовой с ее еще более великим сыном. Порою, как кажется, она ревновала сына к отцу, и сыну

доставалась порция обид, предназначенных ушедшему в могилу Николаю Гумилеву. Порою и сын озадачивал мать. Живо представляю царственно откинувшуюся в креслах патрицианскую фигуру Анны Андреевны среди гостей и почитателей, произносящую один из своих афоризмов, к примеру: «Меня занимает претворение французских слов в русской поэтической речи, например „аромат“». И тут Лёвушка подает свой голос: «Но, мама, ведь это совсем не французский! „Арома“ — персидское слово и означает...» Как действительно вытерпеть такого сына!

Скажем тут, что тысячелетний долг и назначение женщины — жертвенная самоотдача. Отсюда и культ Богоматери. Женщина-творец тем самым как бы приобретает «мужское» назначение в обществе, разноствующее с ее древним, исконным долгом полного растворения в супруге и детях, в великом долге продолжения рода человеческого.

Любая женщина, раз взявшаяся за «мужское» дело, рано или поздно испытает на себе это противоречие между жертвенностью и выявлением своего «я». Испытала его и Анна Ахматова.

Ну, и то, о чем тяжело говорить нынче, но о чем тем не менее надобно говорить вновь и вновь: тяжкий, изматывающий страх, лежавший над страною, над каждым из нас, лишающий сил, заставлявший детей отрекаться от схваченных «органами» родителей, а родителей — чуждаться своих репрессированных детей, заставивший Анну Андреевну включить в «Реквием» эти страшные слова: «Ты сын и ужас мой». Ну и, — перемолчим, вспомнив сказанное задолго до нас: «Не судите, да не судимы будете». Тем, молодым, кому не пришлось вставать под «бурные и несмолкающие аплодисменты», тем всего этого попросту не объяснить. Да и понять не дано. К счастью!

Все-таки они, мать и сын, ревнуя, ссорясь, упрекая один другого, — все-таки они любили друг друга. Да и не могли не любить. «Реквием» написан о нем, как и о миллионах других, разделивших ту же судьбу. Кстати, многие переводы с восточных языков, изданные под именем Анны Ахматовой, выполнял ее сын, ибо к прочим своим талантам Лев Николаевич присоединял и талант поэтический, лишь несколько уступавший, по его собственной оценке, талантам матери и отца. Но и — полно об этом! Все это личное, все это прошлое. Все это от суеты жизни, неизбежной, но не долженствующей интересовать нас, когда мы говорим о великом. Не только внешность, но и многие черты характера были во Льве Николаевиче от матери. А от отца...

Лев Николаевич родился в 1912 году и воспитывался в Бежецке бабушкой. Николая Гумилева расстреляли в Петербурге в 1921-м. Отец остался в образе офицера с синими глазами,

осененного фигурой Георгия Победоносца на белом коне на картине, украшавшей стену их комнаты-квартиры-кабинета (все в одном помещении и без перегородок) на углу Владимирского и Московской. Русский Георгий, кудерьки иконописных облаков, офицерский околыш, бездонная синева уже запредельных, неживых глаз и стихи — и тогда, и всю жизнь запрещенные, запретные, неведомые большинству россиян новейших. Кстати, посажен Лев Николаевич был исключительно за то, что он был сыном своего отца, расстрелянного советской властью, а значит, виноватого. Как писал Щедрин, «у нас уж такая примета: где порют, там, значит, бунт».

Посидел, отсидел. Чуть не убили, чуть не уморили голодом, били головой о стену, приговорили к расстрелу, чем спасли от голодной смерти, ибо повезли из лагеря снова судить. Пока везли, был расстрелян прежний, заочно приговоривший его к смерти прокурор. Новый освободил за отсутствием состава преступления. Гумилев успел повоевать солдатом в армии Жукова, которого очень хвалил именно как талантливого стратега-полководца. Успел кончить университет, аспирантуру, получить ученую степень. И был вновь посажен в 1949 году, и вышел уже по общей амнистии после смерти Сталина. (И то не сразу, а в 1956 году!) Обычный, жутковатый советский социалистический бред, размноженный в миллионах экземпляров. Бред изнасилованной страны.

Он оказался одним из немногих не перемолотых этой системой и сохранил природный свой аристократизм тоже полностью. Помню, однажды должен был прийти некто нахальный и принести какую-то посылку, по-видимому мысля с этою передачей влезть в дом и в душу Гумилева.

— Дайте мне, — спокойно сказал Лев Николаевич. — Я это умею. Только не вмешивайтесь!

Когда раздался звонок, он подошел к двери, открыл, не повышая голоса, сказал:

— Это поставьте сюда. — И поглядел, только поглядел «обреченными» офицерскими глазами. И нахал испарился, пробормотав какие-то уже ненужные слова оправдания.

Помню еще эпизод, когда начиналась позорная война в Афганистане, а ко Льву пришел некий писатель, по-видимому близкий к правительственным органам (по делу пришел). Завязалась, естественно, беседа о наших принципиальных просчетах в Афганистане, о почти преступной политике руководства и прочем. Лев Николаевич очень толково объяснял, чего ни в коем случае не следовало совершать и с кем и с чем мы имеем дело в этой стране. Писатель же, еще весь в угаре

тогдашнего верноподданнического рвения, стал спорить, полуобвинив Льва Николаевича в недостатке патриотизма.

— Вы как будто забыли, — взорвался Лев Николаевич, — что я принадлежу к семье, которая с четырнадцатого столетия обороняла Россию!

Подозрительность, как и прочие лагерные отметки (посидите сами четырнадцать лет!), не вытеснила из души Льва Николаевича этой вот аристократической гордости русского дворянина, род которого, не запятнавши себя ничем, столетиями стоял на защите родной страны.

Кстати, в пограничном конфликте с Китаем на Амуре, когда китайская сторона запросила часть нашей территории, кто-то умный выложил на стол переговоров книги Л. Н. Гумилева, доказав историческую необоснованность китайских претензий. И те, неволею, сняли свои требования.

Наталья Викторовна явилась ему как подарок судьбы. В неустроенной холостяцкой полуголодной жизни явился свет. «Жалость» — великое русское слово, обнимающее разом понятия любви, заботы, чуткости, обслуги и десятки иных значений, — была на склоне лет подарена Льву Николаевичу. Ему исполнилось уже пятьдесят три, поздно было заводить детей. Да и не решился Лев, отдавший всего себя без остатка теории этногенеза, делу жизни, разменивать себя на неведомое всегда личное. Наталья Викторовна взвалила на себя и заботы по дому, и помощь в творческой работе мужа, забросив личные дела и отказавшись полностью от своей судьбы (она неплохой художник, но прекратила работу, посвятив всю себя заботам о Льве). В квартире появился порядок, чистота, ухоженность, прекрасный стол (Наталья Викторовна — мастерица готовить, мы же, с нашим «матерьялизмом», совсем растеряли эти вполне материальные навыки, хотя культура стола — одна из важнейших составляющих всякой национальной культуры и даже национального характера). Явилась хозяйка, способная принять любого гостя, не уронив чести семьи. Дворянская кровь сказалась и тут. Глядя на таких женщин, как Наталья Викторовна, я начал понимать, почему это победители, оккупировавшие страну в 1917 году, так упорно старались жениться на дворянках, верно слишком остро чуя свою собственную духовную пустоту — способность уничтожать при полном неумении творить.

Можно с уверенностью сказать, что Наталья Викторовна подарила Льву Николаевичу «лишние» десять — пятнадцать лет жизни, в которые он как раз и сумел подготовить, напечатать и тем спасти от уничтожения свои основные труды. И потому, говоря о гумилевской концепции, о ее явлении на свет,

необходимо помянуть и Наталью Викторовну как участника и своеобразного соавтора работ своего великого мужа.

Жизнь редко укладывается в схемы, кем бы ни были начертаны они. Затянувшуюся упорную блокаду изданий работ Гумилева разорвал человек, недавно еще сидевший в «Матросской тишине», — А. И. Лукьянов. Он, оказывается, читал работы Гумилева, они ему нравились, и где-то там, в верхах, он нажал, надавил, заставил... И этого не надо забывать так же, как не следует забывать, что Николай I, к примеру, помог печататься Пушкину и спас от цензурной опалы гоголевского «Ревизора», что никак не укладывается в прокрустово ложе концепций наших марксистских горе-литературоведов. И — кто знает? Быть может, со временем именно этот поступок Лукьянова окажется самым значительным во всей его жизни! Так Юсупов понял, что одно лишь послание «К вельможе» — «от северных оков освобождая мир», — написанное Пушкиным, создает ему славу большую, чем все иное, содеянное и сотворенное им, хоть и был Юсупов вторым, после царя, человеком в государстве, да еще создателем Эрмитажа! А в VI веке нашей эры в далеком Китае некий полководец спас от расправы поэта Ли Бо — величайшего из китайских поэтов — и тем самым обогатил поэзию своей страны и обессмертил свое имя в истории.

Века проходят, и духовное становится все значительнее, а материальное, служебное, карьерное, даже и слава воинских побед, умаляется, ветшает, уступая место тому, что при жизни своих создателей едва ценилось, как необязательная утеха жизни.

Было трудно видеть, год от году, как стареет эта прекрасная супружеская чета, как теряет силы (не духовные! — физические силы) Лев Николаевич, как у него в глазах является порою тот же обреченно умученный и покорный взгляд, что у его верного Алтына накануне смерти.

Школа Льва Николаевича воспитывает умение мыслить целыми пластами веков и тысячелетий, умение видеть в истории не только цепь событий, в которой предыдущее как бы автоматически считалось причиною последующего, а органический природно-рукотворный процесс, на фоне которого все прежние объяснения оказались ежели не смешны, то нелепы. (Пример географического детерминизма: Москва стала столицею, ибо стояла на скрещении торговых путей, будто бы «торговые пути» — это что-то вполне внечеловеческое, некая данность, существовавшая до человечества. Да не будь тут густого и деятельного населения, не было бы никаких и путей торговых, которые организуются людьми, а не наоборот. Да и шли тут пути поначалу вполне мимо Москвы, по Волге и по Днепру.)

Гумилевский энергетический (волновой, в нарастающих и затухающих ритмах) принцип рассмотрения исторического процесса[1176] прежде всего оживил историю, наполнил смыслом усилия и деятельность людей. Стало понятно, почему они в определенные эпохи действуют так-то и по-иному — в другие. Близкое течение «процессов» вновь обратилось в то, чем и было реально на протяжении веков: в страстную, полнокровную, трагическую и величавую жизнь живых, из плоти и крови, людей, и — оставим в покое теории — история приблизилась, стала зримой, живой, переживаемой. Отчего и сама реальная, «своя» жизнь тоже раздвинулась на века и тем самым невиданно обогатилась. Стало ясно, что ничто не проходит бесследно, что прошлое могущественно участвует в событиях сего дня, что давно умершие, давно погибшие люди, с их страстями и бедами, живы, живы в нас, их потомках, как и мы сами нерасторжимо спаяны с ними, уснувшими в земле.

Лишь после смерти Льва Николаевича я прочел его стихи, из которых понял, сколь остро ощущал и сам Гумилев эту связь времен, до того, что как бы и жил в разных временных периодах, прочувствовав в свой краткий срок многие тысячелетия человеческой культуры и судеб.

Сейчас, когда мне приходится неоднократно говорить и писать о том, что наша великая страна создана не по капризу удачливых завоеваний, а в результате этногеографического единства определенной евразийской территории, что это древний Великий шелковый путь, лишь сдвинутый к северу и снабженный благодаря творческой энергии русского народа Транссибирскою железнодорожной магистралью, что это, при всем своем многообразии, единый ареал, от Западной Европы отделяемый климатическою границей — отрицательной изотермой января, — когда я объясняю, что без морских выходов на Дальнем Востоке (спор о Курилах), Черном море (вопрос о Крыме!) и Балтийском море (клятый прибалтийский вопрос) страна не может существовать и что очерк этого государства был воссоздан уже древними скифами три тысячи лет тому назад, — я особенно остро понимаю, что без Льва Николаевича, без его школы я не смог бы никогда в жизни додуматься до этой мысли при всей ее кажущейся простоте.

Если бы наши политики хоть в какой-то степени понимали историю! Вот с такою же широтой видели ее как процесс, идущий от прошлого к будущему, отдавали себе отчет в том, что прошлое нельзя ни переделать, ни отменить и что, скажем, придя на Кавказ двести лет тому назад, мы теперь являемся заложниками истории, мы уже не можем сделать вид, будто бы этого не было,

не имеем права снять с себя долг высшего арбитра в непростых межнациональных конфликтах этой сокровищницы разнообразных народов, рас и культур, отказаться от миротворческой миссии Русского государства (после того как в нас поверили!), от всего того, чем так незадумчиво жертвуют наши нынешние политики, ведущие страну к гибели... Если бы понимали! Но недаром сказано: коли хочет Господь наказать, то прежде всего отнимает разум.

А между тем во всякой национальной политике надобно отдавать себе отчет: с чем мы имеем дело? На какой стадии этнического развития находится данный народ? Пассионарного подъема? (Тогда отойди и не мешай!) Перегрева? В акматической фазе? Надломе? «Золотой осени»? Обскурации? Или уже перешел в реликт? Любой из этих ответов требует своего, особого подхода к данному народу, да при этом надо еще учитывать и всю прошлую историю нации, уровень и характер культуры, особенно религии, характер суперэтнических связей данного народа, да мало ли что! И только тогда и возможно не «наломать дров» в этом непростом процессе межнациональных общений.

Счастлив народ, в коем понятия наследственной аристократии и аристократии духа хоть как-то совпадают друг с другом. Приведу тут заключительные строфы маленькой поэмы Л. Н. Гумилева «Похищение Бортэ» (супруги Чингисхана):

Старцы помнят, внуки помнят тоже: Прежде чем сместился звездный путь, Равный с равной спал на брачном ложе, Равный с равным бился грудь о грудь. С кем теперь равняться, с кем делиться И каким завидовать годам? Воют волки и летают птицы По холодным, мертвым городам.

Лев Николаевич совмещал в себе оба значения понятия «аристократизм» так же, как и Наталья Викторовна, которая никогда не подчеркивала своего дворянства и даже не упоминала о нем, которая отлично стряпала, справлялась с любою домашней работой, уборкой и стиркой, и при всем том являлась русской аристократкой, русскою барыней в лучшем смысле этого слова. А вот что это такое — русский аристократизм — даже не объяснить, тем паче что, как фольклорист, могу сказать, что аристократизм имеется и в народе, и в крестьянских традициях (особенно на Русском Севере).

Всякая стройная теория при первом знакомстве с нею обезоруживает. Помню сомнения, явившиеся в обществе вослед за реабилитацией генетики: ежели, мол, все заключено и запрограммировано в генах, то, выходит, и сделать ничего нельзя? Оказалось, именно тут-то, познав саму суть жизненного процесса, и можно на него повлиять. Относительно гумилевской

теории этногенеза говорилось то же самое: ежели, мол, этногенез — это природный процесс, со своими сроками, то можно ли что-то сделать? Можно, милые мои соотечественники! Именно понимая истинную суть происходящего, и можно влиять на события! Никакую болезнь не вылечить, пока не будет поставлен правильный диагноз. Я многократно проверял теорию Льва Николаевича по явлениям литературы, новой и древней, по событиям истории.

Замечу тут, что собственно великолепный русский реализм расцвел как раз в пору начавшегося надлома и тот характер русского человека, который мы привыкли считать нашим национальным характером — с рефлексией, неряшливостью, «порывами» и приступами отчаянья, есть характер русского человека эпохи надлома, но отнюдь не тот, который был в прежние века, когда зазора между замыслом и свершением почти не было, когда русский человек был собран, деятелен и деловит, а главное, в высокой степени коллективен, весь на миру и заодно с миром. Было, было время на Руси, и не так уж давно, когда дети не отрекались от родителей, когда родичи и друзья помогали друг другу, когда тот же деревенский мир и кормил сирот, и поддерживал вдов, и строил «помочью» избы друг другу, а когда надо, так же сообща, хором, брался за оружие, вставая на защиту себя и страны, когда, скажем, боярин выводил за собою на ратное поле толпы послужильцев, родичей, кметей и военных холопов, готовых отдать жизнь за господина своего... Было! И кабы не надлом, не получились бы, не прошли позорные годы пыток, лагерей, доносов и всеобщего жалкого страха...

И ведь что удивительно! Отрицая, борясь с гумилевской теорией, доказывая, что она якобы оставляет человека беззащитным перед ходом исторического процесса, его оппоненты цеплялись за марксизм, который как раз и не оставляет человеку никакого права на активное участие в жизни, ибо, видите ли, все запрограммировано заранее безликими экономическими отношениями. Нет, дорогие! Историю все-таки делают люди! Не все и не всегда можно сделать, и надобно знать, что можно и чего нельзя, чтобы не соваться в тот же Афганистан, не лезть в Африку в пору, когда у каждого на уме дом с садом и огородом и, значит, наступило время устроения жизни, время золотой осени. (Осень не только пора увядания, но и пора сбора урожая, сбора плодов!) Надо знать, что только пассионарный подъем — пора неоглядных подвигов и завоеваний, пора национального творчества и создания самого этноса; что в пору «перегрева» начинается борьба пассионариев друг с другом, и тут необходимо стараться не допустить самоубийственной резни, но сил в нации еще очень и

очень много, что в акматической фазе происходит государственное творчество, и все силы надо направить именно сюда, к лучшему устроению власти; что когда наступает надлом, надобно изо всех сил беречь таких людей, как Столыпин, и надо спасать традиции. (Да и вообще постоянная роль и назначение интеллигенции — сохранение национальных традиций, устоев, обычаев старины. Наша же интеллигенция эпохи надлома изо всех сил раскачивала корабль русской государственности, «жгла все, чему поклонялась» и была наказана за свой грех почти полным уничтожением как раз теми силами, которые выпустила, как джина из бутылки.) Надо знать, наконец, что «золотая осень» — время устроения, но отнюдь не военных амбиций, и роль России в эту пору должна быть духовной, учительной, религиозной и миротворческой, и именно сюда надобно направлять усилия культурной части нации. Но будет ли у нас золотая осень? Заработали ли мы ее? Или, истребивши наших крестьян, приблизили конечную ступень распада — обскурацию?

Как-то узкой компанией собравшихся у него учеников мы пристали ко Льву Николаевичу:

— Лев Николаевич! Вы же все знаете! Что будет теперь с Россией?

— Поймите! — ответил он. — Будущее нельзя предсказать, ибо еще не свершены поступки, которые его определят!

Да, в самые, казалось бы, безнадежные периоды у людей не отнято данное Господом право на совершение поступков, и предсказать можно лишь возможностные варианты грядущего. А воплощение этих вариантов или невоплощение целиком лежит в той красной области свободы воли, которой обладаем все мы с начала возраста мужества и до того часа, когда неизбывное, со старением, падение сил отодвигает нас в ряды бессильных зрителей трагической драмы уже не подвластной нам действительности. В самые последние месяцы, под воздействием болезни ли, а скорее, невеселых наблюдений, Гумилеву, как он говорил сам, становилось неинтересно жить. Власти, принимающие, раз за разом, самые бестолковые из предлагаемых решений, воровство, трусость, развал державы, почти сладострастное стремление унизить самих себя, еще раз наплевать на Россию...

— Боюсь, все это очень похоже на обскурацию! — говорил он порою задумчиво и грустно.

Да, было тяжело! И капризное непонимание предложенной им трактовки русско-ордынских отношений тоже больно ударяло по Гумилеву, и шараханье от него литературной братии. Куда как безопасно, в самом деле, выливать свой гнев на события

шестивековой давности, обвиняя татар в том, в чем хотелось бы обвинить современных власть имущих... Трусость и злоба — никудышные советчики в чем бы то ни было, а тем более в понимании истории!

А ведь дань собирали сами русские князья и за Орду держались до поры: спасала от Запада, остановив тогдашний напор фряжско-немецкой католической экспансии на Русь, и религиозного натиска не было на Руси со стороны веротерпимых степняков...

И почему никто не задумался о том, что монголы, пусть бессознательно, открыли русским Сибирь и тем способствовали, всего через два столетия после свержения ига, созданию великой, до Тихого океана, страны? Почему не подумали о том, что всеми этими застарелыми и выдуманными западною наукою злобами не достигается ничего, кроме искусственной конфронтации россиян с тюрками, способствующей развалу нашей великой евразийской державы, чего опять же никак нельзя допускать, ежели мы хотим сохранить Россию и сами остаться в живых!

Как мелки вопросы, которые задавали, почасту, и мне: а верующий ли он? Как будто бы человек такого масштаба и значения мог быть неверующим! И сколь мужественна, спокойна и не «на показ» была убежденная религиозность Гумилева! Сколь осознанным и сколь глубоким было у него знание богословских истин, сколь строго научен даже и сам подход к постижению Божества и той отрицательной нулевой силы уничтожения, «активной пустоты», раздробляющей в пыль и уничтожающей материю, которую мы называем дьяволом! У меня в руках была (и, увы, исчезла!) воистину драгоценная страница машинописной рукописи, представлявшая собою оригинальный, вполне законченный по сути своей богословский трактат. (Его-то я и использовал в богословском споре будущего Сергия Радонежского со своим старшим братом Стефаном.) И все же — восстановить бы те, драгоценные, строки учителя! И почему я ленился записывать, полагаясь на память, многое из того, что говорилось Львом Николаевичем походя, дома, в частных беседах, все эти драгоценные, как видится теперь, афоризмы гения.

И еще есть один воистину страшный исторический закон. Великим нациям не прощают их прошлого величия. Ежели мы, наследники Российской империи, потеряем ее, откажемся сохранять и удерживать это великое многонациональное государство, то погибнем. Все. И довольно скоро. Ибо будем виноваты в развале страны перед всеми народами, некогда в нее входившими, и нам этого, как и обманутых нами надежд, не простят. Нас, изменивших себе самим, никто не захочет даже

оставить в живых. И, конечно, не произнеся этого вслух, Лев Николаевич нет-нет да и задумывался: неужели кончено? Неужели величавая история России приходит к своему бесславному концу?

— Я умру в 1991 году, — сказал как-то Лев Николаевич года за четыре до смерти. Книги его еще только собирались выходить.

— Не умирайте, Лев Николаевич! — серьезно попросил я его.

— Почему?

— Потому что, пока книги не вышли, вы должны жить, дабы они вышли без изменений, и после того — дабы не было искушения переврать, перетолковать, переиначить написанное вами — вы должны жить еще какое-то время.

— Понимаю, вам некому будет читать свои романы! — ворчливо возразил Гумилев.

— И это тоже! — стараясь, чтобы не звучало очень уж похоронно, подтвердил я.

— Вы, однако, мне, как я ни прошу, критических замечаний не делаете!

— Я учусь у вас, Лев Николаевич! Я читаю ваши работы, как учебник, и критическим оком взглянуть на них попросту не могу, не тот у меня уровень.

Кстати, Льва Николаевича нет-нет да и упрекали в мелких ошибках (в частностях!), принимая подчас за ошибки его манеру, необходимую по самой сути обобщающего исследования, — сглаживать подробности несущественного характера, дабы выявить суть вековых процессов. В каждом из подобных случаев, внимательно посидев над материалом, неизбежно приходишь к выводу, что Лев Николаевич в главном не ошибался никогда, и самое подробное, нос к носу, скрупулезное исследование материала только подтверждает его окончательные выводы. Впрочем, в книге «Поиски вымышленного царства» и сам Гумилев посвятил целую главу изложению своего исследовательского метода.

Работы выходили. Известность росла. С огромным запозданием, лишь нынче, посмертно, Льву Николаевичу впервые была присуждена премия и памятная медаль. Причем Академией наук Азербайджана. Чествования состоялись в Петербурге. Медаль и премию принимала Наталья Викторовна. Жаль, конечно, что эта награда не застала уже его в живых. Но и то отметим с укором, что первую и пока единственную премию Гумилеву присудили тюрки, а не мы...

Работы выходили. Уходило здоровье. За год до смерти Лев Николаевич перенес тяжелейший инсульт (предсказание о девяносто первом годе едва не сбылось), после которого вновь

учился ходить. Они жили на даче в Комарове, и Лев Николаевич гордился тем, что может уже пройти несколько десятков шагов. В лице его все чаще являлся беззащитный, обреченный взгляд из-под приспущенных век. Он жаловался на потерю памяти: «Вы мне читали? Я полностью забыл!» Но голова у него была по-прежнему ясной, и, лукавя, не признаваясь в том, он замышлял уже новую работу — «Ритмы Евразии», начало которой напечатано сейчас в «Нашем современнике» (1993 г. — Ред.).

— Лев Николаевич, а когда «наступает история»? Когда можно говорить, что это уже прошлое, а вот то — еще современность?

— Когда умирает последний живой свидетель времени, — ответил он.

Теперь и сам Лев Николаевич умер. И для него началась история. История узкого кружка учеников. История широкого круга последователей и почитателей. И мы во многом по-новому осмысляем историю русского народа, которому Лев Николаевич дал ориентиры национального действования. Историю великой евразийской державы, которая должна остаться в целости в своих интересах и в интересах всего человечества, судьба которого в наши дни, как никогда прежде, зависит от судьбы и целости России, ибо гибель великой России ввергнет планету в кровавый хаос, окончанием коего будет, вероятнее всего, гибель всего живого и полное уничтожение вида Homo sapiens.

Умер он в больнице, после неудачной операции, которую, возможно, и не стоило делать. А сказать честно, он попросту уже слишком устал. Устал от неустройств, болезней, и не ему, с его неукротимым темпераментом бойца, было спокойно переносить подступившую дряхлость.

Перед смертью Лев Николаевич успел причаститься и собороваться. На похоронах было многолюдно и очень человечно, невзирая на многолюдство. Старые казаки, в своей старинно-красивой форме, встали у гроба с обнаженными шашками. Александро-Невская лавра выделила место для могилы у церкви, священник сказал глубокие и прочувствованные слова.

— Шапки долой, — звучит сдержанная команда. Головы казаков обнажаются, и только молоденький милиционер, которому, видимо, поручено и тут «надзирать и бдеть», глупо стоит в своей оттопыривающей уши форменной фуражке не в силах понять, осознать, что происходит перед ним, чему он является свидетелем и что ему тоже следовало бы, пусть и нарушая все инструкции, сдернуть в этот миг головной убор.

Соотечественники мои! Изо всех наших потерянных за эти десятилетия обрядов, возможно, лишь похороны еще по-

прежнему, хоть и на малый час, объединяют наше больное, распадающееся общество. Кто же зажжет свечу? Где и как вновь станет возникать не злоба, не гнев, но новое содружество россиян, ибо без того не дано нам будет Господом воскреснуть и сохраниться в веках!

Обнажим же головы все — соборно! Гений русской земли — часть нации и ее порождение. Но и нация, родившая гения, должна почуять ответственность свою перед ним. К ней направлены глаголы призывающие, и она должна им достойно ответствовать. Иначе голос гения замолкнет, как колокол на погосте, никого не разбудив. Проснемся ли?

В статьях и книгах все чаще звучат упоминания великого имени, все чаще встречаются те, кто и прочли, и поняли, и приняли гумилевские глаголы. Быть может, все это знак отнюдь не медленности, но быстроты распространения его идей? Ибо нас много, и мы разные, и земля наша велика зело! Но давайте поймем, что цепь исторических событий, выходящая из тьмы прошлых веков к будущему, нерасторжима. Давайте поймем, что в детской суете марксистских догм мы замахнулись на вечное, начав обрубать собственные корни. Давайте вновь сплотимся воедино, перестанем уничтожать среду своего обитания, как и друг друга, давайте вспомним, что мы, даже и в бедах, великая страна, великий народ и великое содружество народов. Давайте, прочтя Гумилева, научимся понимать, кто наши друзья по суперэтническому содружеству, а кто нет, и перестанем лезть к врагам, предавая друзей, тех, кто хочет быть вместе с нами, как мы предали осетин, абхазцев, жителей Приднестровья, как мы позорно предали сербов, отшатнувшись от них, — да мало ли! Осознаем зияющую перед нами пропасть, откроем наконец глаза! Пока не поздно! Пока не начнут вымирать, обращаясь в руины, города, пока не затянуло ольхою и ивняком наши пажити, не обмелели реки, пока не замерли окончательно детские голоса в наших селах!

Повторим вновь и опять: у нас есть великая история, у нас есть теперь и теория, оправдывающая, более того, делающая необходимым наше особенное бытие, существование нашей великой державы как гаранта равновесия мировых сил, с гибелью которого и весь мир легко может обрушиться в пропасть небытия, есть наука, есть мощная техника, не уступающая зарубежной, а в чем-то и превосходящая мировые образцы, у нас есть все еще не порушенная до конца наша великая держава, где надобно лишь навести порядок, очистив ее от грабителей и ренегатов. И у нас есть народ, который ждет появления преданных отчизне и безобманных вождей.

Есть всё! Дело теперь за нами.
1994

Хроника жизни Л. Н. Гумилёва

1910 г., 25 апреля — венчание А. Горенко (Ахматовой) и Н. Гумилева.

1912 г., 1 октября — родился Лев Гумилев в родильном приюте императрицы Александры Федоровны на 18-й линии Васильевского острова. Жил в Царском Селе (г. Пушкин).

1917 г. — революция. Лев Гумилев у бабушки А. И. Гумилевой в имение Слепнево Бежецкого уезда Тверской губернии.

1921 г. — восстание в Кронштадте. 25 августа — расстрел Н. С. Гумилева. Манифест евразийцев в Праге.

1929 г. — окончание школы в г. Бежецке, переезд в Ленинград.

1930 г., июнь — окончание 67-й единой гимназии. Экспедиция в Сибирь, мл. коллектор. 1 сентября — Трамвайное упр. Службы путей и тока (Парголово), чернорабочий. Декабрь — Биржа труда.

1931 г. — Геологоразведочный институт, коллектор. Забайкальская геологич. поисковая экспедиция.

1932 г. — 11 месяцев в Таджикистане — экспедиция по изучению Памира. Лаборант, санитар по борьбе с малярией в совхозе.

1933 г., лето — Крымская археол. экспедиция. 10 декабря — арест. 19 декабря — освобожден без предъявления обвинения.

1934 г., 1 сентября — студ. Истор. ф-та ЛГУ. Убийство С. Кирова.

1935 г., лето — Манычская археол. экспедиция. 23 октября — арест. 1 ноября — письмо А. Ахматовой И. В. Сталину. 3 ноября — освобожден «за отсутствием состава преступления». Отчислен из ЛГУ. 5 декабря — начата книга «Древние тюрки»

1936 г., лето — Саркельская экспедиция.

1937 г. — восстановлен в ЛГУ.

1938 г., март — арест. Обвинение в организации антисоветской молодежной контррев. организации. 27 сентября — приговор Военного Трибунала по 58-й ст., п. 10–11. 17 ноября — Военная коллегия Верх. Суда отменила приговор. Переследствие. 1 декабря — осужден по ст. 58 п. 8–10 УК. 3 декабря — этап на Беломорканал.

1939 г. — 4 лаг. отд., общие работы. 6 апреля — этап в Ленинград. Пересмотр дела, та же статья со сменой пункта на п. 17 — «террористическая деятельность» (расстрел). Тюрьма № 1 («Кресты»), камера № 614. С должности наркома НКВД снят Ежов.

10 мая — письмо А. А. Ахматовой И. В. Сталину. Июль — обвинение утверждено. Пересмотр дела. 26 июля — Особое Совещание — осужден по 58-й ст., п. 10–11 «организация антисоветской деятельности» — 5 лет лагерей и ссылка. 15 августа — тюрьма № 1, корп. 1, камера № 360. 21 сентября — этап на барже по Енисею в порт Дудинка.

1940 г., 5 января — ИТЛ Норильлага. Общие работы в шахте.

1943 г., 10 марта — окончание срока наказания. Освобождение. 13 марта — ссыльнопоселенец ЛАП-283. Геологический отдел Норильского комбината, геотехник. В хим. лаборатории — архивариус. Лето — экспедиция на Хантайском озеро.

1944 г., 1 июня — экспедиция на Нижней Тунгуске. 13 октября — Призван Туруханским райвоенкоматом в ряды РККА. Декабрь — принятие воинской присяги.

1945 г., 1 января — зенап № 1386 31-й зенитно-артиллерийской дивизии, рядовой. Январь-май — участие в боях за Варшаву, в штурме Зееловских высот и взятии Берлина. 25 сентября — демобилизация. 15 ноября — встреча в квартире А. Ахматовой с англ. дипломатом И. Берлиным. 1 декабря — ИВАН, пожарный.

1946 г., апрель — Восстановлен в ЛГУ. 15 апреля — поступление в аспирантуру ИВАН. Лето — Юго-Подольская археол. экспедиция. 14 августа — Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». А. Ахматова исключена из Союза писателей.

1947 г., лето — Юго-Подольская археол. экспедиция. 1 декабря — исключен из аспирантуры.

1948 г., 5 марта — психиатрическая больница им. И. М. Балинского, библиотекарь. 15 мая — Горно-Алтайская археол. экспедиция. 31 августа — смерть А. Жданова. Ленинградское дело. 28 декабря — защита канд. диссертации на тему «Политическая история первого тюркского каганата» на Истор. ф-те ЛГУ.

1949 г., 4 января — Музей этнографии народов СССР, ст. н. с. Лето — Саркельская экспедиция. 6 ноября — арест. 31 декабря — ВАК СССР присвоил уч. степень канд. истор. наук.

1950 г., 13 сентября — суд. Особое Совещание — осужден по ст. 58 п. 8,10,11 УК сроком на 10 лет. 23 ноября — прибыл в 3-е отд. Карлага — лагерь Песчаный под Карагандой. 13 декабря — перевод в 10-е лаготделение Карлага.

1951 г., 3 сентября — перевод в лагерь Камышовый (Томуса).

1952 г., 19 января — А. Ахматова восстановлена в Союзе писателей. 1954 г., 4 октября — Камышлаг передан в подчинение

УИТЛК УВД (Сиблаг) Омской области. Работа в ИТЛ Омск-29.

1956 г. — XX съезд партии, речь Хрущева о культе личности. 24 марта — освобождение. 11 мая — возвращение в Ленинград. 2 июня — реабилитация по делу № 1950. Начало переписки с П. Н. Савицким.

1957 г. — Государственный Эрмитаж, научная библиотека, лаборант, ст. н. с. Лето — Ангарская экспедиция.

1958 г. — член бюро и председатель отд. этнографии в ГО СССР.

1959 г., лето — нач. Астраханской археол. экспедиции. Дельта Волги.

1960 г., лето — Астраханская археол. экспедиция Эрмитажа. Берег Каспийского моря. Дербент. Книга «Хунну», тираж 1 000.

1961 г. — защита докторской диссертации «Древние тюрки VI—VII вв.». Сентябрь — резкое обсуждение книги «Хунну» в Эрмитаже. 30 сентября — разрыв с матерью. Декабрь — дискуссия в ЛО Института народов Азии и Африки АН СССР.

1962 г., 25 мая — Институт географии (НИГЭИ) при ЛГУ, с.н.с.

595

1963 г. — экспедиция ЛГУ в дельту Терека.

1964 г. — начат цикл статей «Ландшафт и этнос» в ж. «Вестник ЛГУ».

1965 г. — доклад о времени написания «Слова о полку Игореве».

1966 г., 5 марта — скончалась А. А. Ахматова. Июнь — книга «Открытие Хазарии» (тираж 15 000). Август — VII Международный Археологический конгресс, Прага. Встреча с П. Н. Савицким.

1967 г., 15 июня — приезд Н. В. Симоновской в Ленинград к Л.Н. Книга «Древние тюрки», тираж 4 800.

1970 г., — книга «Поиски вымышленного царства: (Легенда о «государстве пресвитера Иоанна»), тираж 9 500.

1974 г. — книга «Хунны в Китае», тираж 5 000. 23 мая — защита диссертации (трактата) «Этногенез и биосфера Земли» на соискание ученой степени док. геогр. наук.

1975 г. — реабилитация по делу № 1938. Книга «Старобурятская живопись», тираж 10 000. Трактат убран из плана изд-ва ЛГУ. Статьи перестали принимать, а доклады задерживали.

1976 г. — ВАК не утвердил присуждение степени док. географ. наук «за хорошее знание истории», но назначил членом докторского ученого совета по эконом. и соц. географии. Печать трактата отвергнута по анонимной рецензии Института

этнографии АН СССР.

1979 г., 2–25 октября — депонирование трактата в ВИНИТИ.

1980 г. — статья «Эхо Куликовской битвы» в журнале «Огонек». Выпады В. Чивилихина в романе «Память». Ответы Гумилева не были опубликованы нигде.

1981 г. — рецензия философа Бородая Ю. М. на трактат «Этнические контакты и окружающая среда».

1982 г. — ответ академиков-этнографов: Кедров Б. М., Григулевич И. Р. Крывелев И. А. «По поводу статьи Ю. М. Бородая «Этнические контакты и окружающая среда». Юбилей Л. Н. Гумилева не отмечен в ЛГУ. Рекомендовано прекратить чтение лекций в обществе «Знание». Прекращена высылка трактата из ВИНИТИ заказчикам.

1983 г. — книга дир. Ин-та этнографии академика Ю. В. Бромлея «Очерки теории этноса», без ссылок на авторство Л. Н. Гумилева. Отказ в публикациях без объяснения причин. Осень — лекции на факультете отменены. Курс прочел ученик Л. Н. Гумилева К. П. Иванов.

1984 г. — НИГЭИ: переизбрание на должность отменено.

1985 г., ноябрь — защита К. П. Ивановым канд. диссертации.

1986 г. — выход на пенсию с должности вед. научн. сотр.

1987 г. — письмо в ЦК КПСС на имя А. И. Лукьянова «Публикации моих работ за последние 10 лет блокируются». Осень — цикл лекций о славяно-русском этногенезе в лектории общества «Знание»

1988 г. — цикл лекций по народоведению на Лен. телевидении. 1989, май — выдвижение на звание академика АН СССР. Забаллотирован. Книга «Этногенез и биосфера Земли», тираж 50 000. 1 октября — начата статья «Заметки последнего евразийца».

1990 г. — книга «Закон Божий для детей» с предисл. Л. Н. Гумилева. Май — защита учеником Л. Н. Гумилева В. Ю. Ермолаевым диссертации. Июнь — переезд на новую квартиру. Ангуст — инсульт. Книга «Древняя Русь и Великая Степь», тираж 50 000.

1991 г. — академик РАЕН. Видеозапись цикла о русской истории.

1992 г. — трансляция цикла передач «Древняя Русь и Великая степь» на Ленинградском радио. 7 апреля — госпитализация и больницу АН СССР. 15 июня, ок. 23 часов — кончина Л. Н. Гумилева.

20 июня — гражданская панихида в здании Русского Географического общества. Отпевание в храме Воскресения Христова. Похоронен на Никольском кладбище Александро-

Невской лавры.

Этапы признания

1992 г., июнь — именем Л. Н. Гумилева названа малая планета. Июль — образован Фонд Л. Н. Гумилева, президент — ак. А. Панченко, его зам. президент Русского Географического об-ва проф. С. Б. Лавров, предс. Правления — к.г.н. В. Ю. Ермолаев. Октябрь — Л. Н. Гумилев (посмертно) награжден высшей наградой АН Азербайджана — алмазной звездой просветителя Г. З. Тагиева за книгу «Тысячелетие вокруг Каспия». 1 октября — Первые Гумилевские чтения в ЛГУ. 13 декабря — Фонд Андрея Первозванного наградил Л. Н. Гумилева (посмертно) международной премией и орденом. 18 декабря — убийство ученика Гумилева К. П. Иванова.

1993 г. — начало работы членов Фонда Л. Н. Гумилева (Гумилева Н. В., Лавров С. Б., Ермолаев В. Ю., Мичурин В. А.) над изданием серии книг ученого в издательстве «Прогресс». Реконструкция архивных видеозаписей лекций Гумилева в 30 передач «Этносы Земли» (авт. сцен. Новикова О. Г.) на телевидении СПб.

1995 г. — Л. Н. Гумилев удостоен премии «Вехи» Гос. Думы РФ за книгу «От Руси к России». Книга рекомендована в качестве учебника для средней школы.

1996 г. — в столице Казахстана Астане создан Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева.

1997 г., 1 октября — при попечении Татарстана установлена мемориальная доска на доме по улице Коломенской, где жил ученый.

1998 г. — в сети Интернет начал работу сайт «Gumilevica».

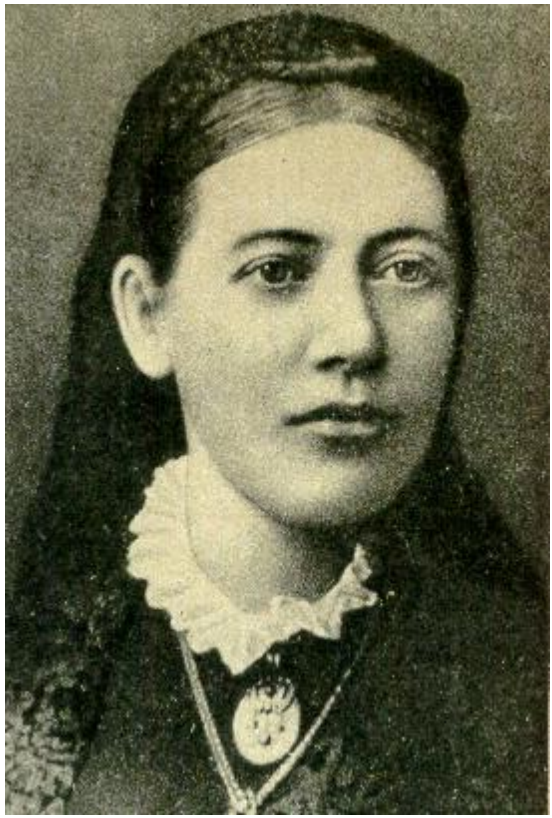
2003 г. — в г. Бежецке Тверской обл. установлен памятник А. Ахматовой, Н. Гумилеву и Л. Гумилеву.

2004 г., 4 сентября — кончина Н. В. Гумилевой. После отпевания в Москве урна с прахом захоронена рядом с могилой мужа.

2005 г. — в дни празднования юбилея 1000-летия Казани в центре города установлен памятник Льву Гумилеву.

Фотографии

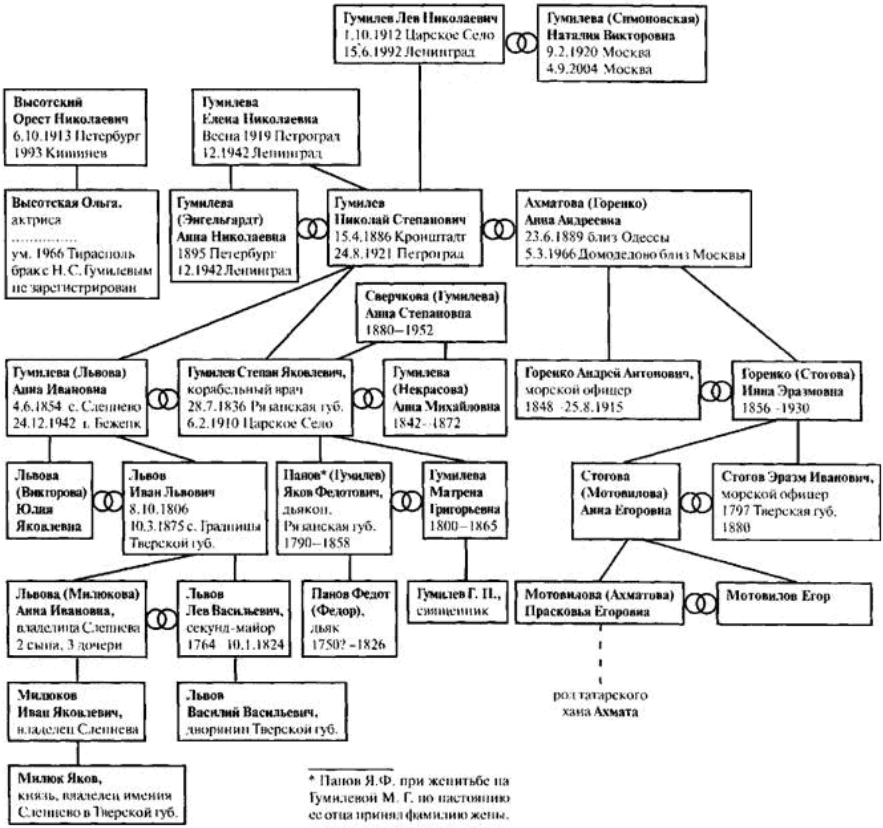
Я. Гумилев, судовой врач, дед Льва Гумилева



А И. Гумилева, бабушка Льва Гумилева

Усадебный дом Гумилевых из имения Слепнево под Бежецком, в котором прошло детство Левы

Родословная Льва Николаевича Гумилева



Составлено на основе изысканий Д.В.Куприянова, Л.Н.Гумилёва, О.Н.Высоцкого, Ю.В.Злобнина, С.И.Сепина, О.Г.Новиковой.

Анна Юренко. Евпатория, 1905 г.

Лёва в Ленинграде, 1926 г.

Николай Гумилев, Лёва и Анна Ахматова Царское Село, 1915 г.

А. М. Переслегин, учитель Льва в Бежецке (фото 1960 г.)

Николай Гумилев — гимназист старших классов, 1906 или 1907 г.

Лёва Гумилев и Анна Ахматова. Ленинград, 1926 г.

Лев Гумилев. Ленинград, 1932 г.

Лев Гумилев — студент, 1934 г.

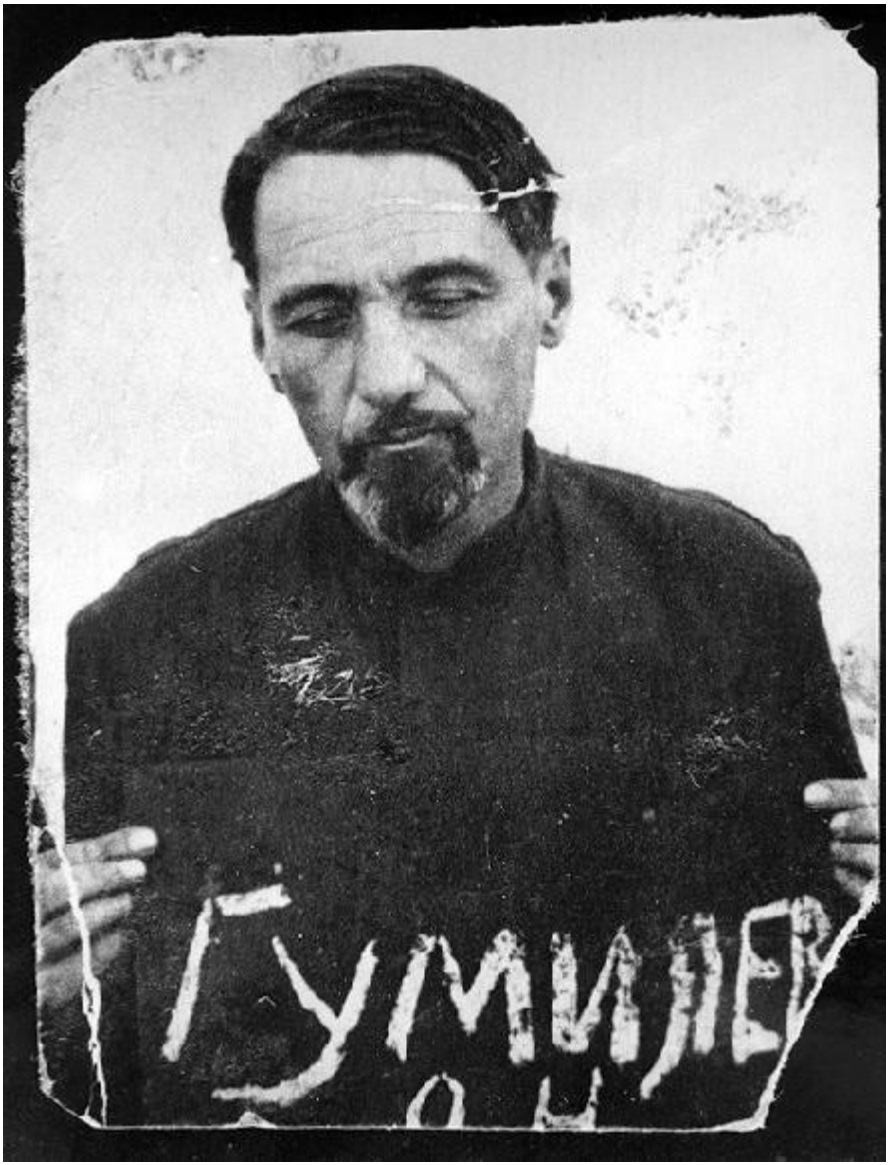
Л.Н. Гумилев в 1956 г. после освобождения из лагеря

В археологической экспедиции (fb2: неразборчиво), 1 июня

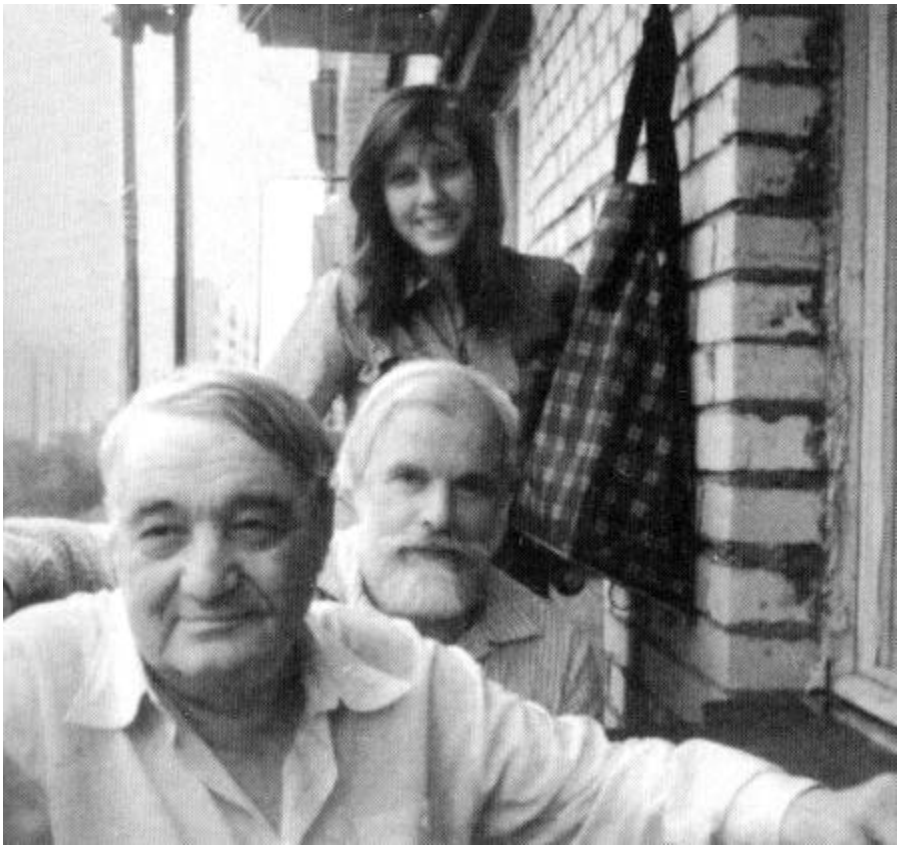
1904 г.

Л. П. Гумилев и П. А. Козырев в Ленинграде. 9 июня 1957 г.

Лев Гумилев в 1949 г., после защиты диссертации, незадолго до посадки «замешу».



Лев Гумилев — заключенный ГУЛАГа. Междуреченск, 1953 г.



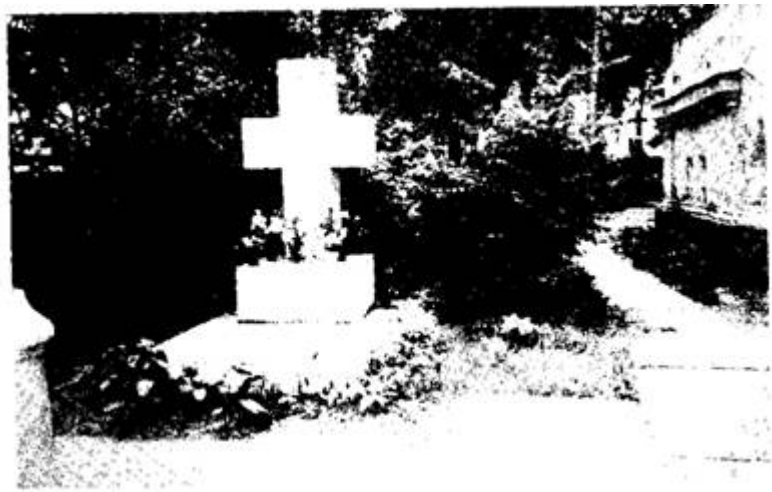
Л.Н.Гумилев, Д.М.Балашов. Москва, конец 80-х гг. (Фото В.В.Чернышева)

Академик Д. Ринчен

Константин Иванов в гостях у Учителя в новой квартире на Коломенской, 1991 г.

Л. Н. Гумилев и Савва Ямщиков (второй слева) на выставке реставрационных работ в Ленинграде

Открытие памятной доски на доме, в котором Л. Н. Гумилев прожил последние два года жизни



Никольское кладбище Александро-Невской лавры

notes

* * *

1

Магнитофонная запись произведена А. И. Лукьяновым 16 сентября 1986 г.

2

Магнитофонная запись произведена в 1987 г.

3

Странная игра судьбы, а может быть, и перст судьбы — почему его взяли именно на географический факультет? Вряд ли сейчас кто-нибудь может это объяснить, но в конце 30-х гг. был такой эпизод — при отказе восстановить его студентом истфака в Ленинграде московские друзья предлагали устроить на геофак в столице. Судьба как бы сталкивала Л.Н. с географией и столкнула, наконец, с пользой для обоих.

4

Константин Иванов — первый и наиболее близкий из учеников Л.Н., кандидат географических наук, работал в Институте географии под руководством Л.Н., был старостой университетской православной общины. Отец шестерых детей. В декабре 1992 г., через полгода после смерти учителя, был зверски убит у дверей своей квартиры.

«Вопросы философии», 1989, № 5, с. 158.

«Советская культура», 15 сентября 1988 г.

Л. Н. Гумилев. Библиографический указатель. Казань, 1990.

«Санкт-Петербургские ведомости», 20 мая, 1997 г.

«Мђра», 1994, № 4, с. 122.

10

Из архива Веры Лукницкой.

11

Сейчас приходится пожалеть о многом — почему не осталось магнитофонных записей многих выступлений Л.Н. в Географическом обществе, почему формально скупы протоколы Ученых советов, и много таких «почему» возникает, но ведь всегда казалось, что общение с Л.Н. будет еще долгим...

12

Г. Вернадский (1887–1973), сын В. И. Вернадского, работал сначала в Праге, а с 1927 г. до конца жизни был профессором Йельского университета — одного из самых престижных в США. Создал пятитомную «Историю России».

«Знамя», 1988, № 4, с. 202.

14

Гумилев Л. Н. Бремя таланта (введение к романам Д. М. Балашова. См.: Гумилев Л. Н. Чтобы свеча не погасла. Сборник эссе, интервью, стихотворений, переводов. М., Айрис-пресс, 2002).

15

В 1988 г. в Тбилиси вышла наиболее полная в то время книга стихотворений и поэм Н. Гумилева, но это было в Грузии, а тираж книги был «засекречен».

16

Лукницкий С. «Дело» Гумилева. Москва, 1996, с. 12. Генерал Ф. Бобков — тогда первый заместитель Председателя КГБ, глава пятого «идеологического» управления, — вспоминал, что благодаря их «служебной записке в ЦК с большим трудом, но все-таки начали выходить книги Игоря Северянина, Осипа Мандельштама, Бруно Ясенского, Павла Васильева. Не удалось «пробить» только стихи Николая Гумилева, они появились в печати только после смерти Суслова» («Люди», июнь. 1997, с. 30).

17

Автор не ошибался насчет фамилии, но несколько пренебрежительное слово «состоял» напрасно отнесено к Игорю Ивановичу Фомину — интеллигентнейшему человеку, высоко профессионально проявившему себя на этом нелегком в ту пору посту. Кстати, он был потомственным архитектором, сыном академика архитектуры И. А. Фомина.

18

Ардов М. Легендарная Ордынка. — «Новый мир», 1994, № 5, с. 143.

19

«Объединиться, чтобы не исчезнуть» — называлось одно из последних его интервью.

20

«Час пик», № 23, 1993. В одном из писем П. Савицкому он даже сдвинул планку назад — «семнадцатого века».

21

Афанасьев Ю. Прошлое и мы. — «Коммунист», 1985, № 14.

Чивилихин В. А. Память. — «Роман-газета», 1982, №16–17.

23

«Начала», 1992, № 4, с. 4–5.

«Согласие», 1990, № 1, с. 4.

25

Коммуна, община (нем.). Л.Н. неоднократно ссылался на этот термин К. Маркса. Например, в «Черной легенде» он писал: «Этносы (по К. Марксу — Gemeinwesen, в отличие от общества — Gesellschaft) — природные коллективы, адаптированные в своих вмещающих ландшафтах» (М., 1994, с.151). Здесь, конечно, натяжка, состоящая в идентификации упомянутого немецкого термина с понятием «этнос», но если очень хочется найти известного союзника в науке, то можно...

«Знамя», 1988, №4, с. 212.

27

Там же.

«Начала», 1992, № 4, с. 12.

В частности, тогда — в 1991 г. в ленинградской «Авроре» было опубликовано очень пространное и самое «автобиографичное» интервью с Л.Н. — «Аврора», 1991, № 11.

«Аврора», 1991, №11, с. 27.

«Социум», 1992, № 9, с. 86.

32

Письма Д. Ринчена Л. Н. Гумилеву: от 23 декабря 1972 г. и от 30 сентября 1974 г.

33

На титульном листе книги «Древние тюрки» он поместил такие слова: «Посвящаю эту книгу нашим братьям — тюркским народам Советского Союза».

Гумилев Л.Н. Черная легенда. М., Экопрос, 1994, с. 22–23.

35

Янов А. Учение Льва Гумилева. — «Свободная мысль», 1992, № 17.

Он автор ряда книг, написанных «из прекрасного далека». Крайняя амбициозность автора проявляется и в заголовках книг («Русская идея»), и в заголовках отдельных разделов — «Как я не спас Россию» в книге «После Ельцина» (М., 1995).

«Начала», 1992, № 4, с. 14.

«Русская мысль», 7–13 сентября 1995 г.: «Евразия в наступлении»; 25–31 января 1996 г.: «Перечитывая Зюганова».

«Русская мысль», 14–20 ноября 1996 г.

39

Карл Хаусхофер (1869–1946) именовался у нас не иначе, как гитлеровский генерал (что было неверно, т. к. он стал генералом сразу после Первой мировой войны) и творец гитлеровской геополитики, что весьма спорно. Будучи евразийцем и выступая за союз Германии с СССР, после полета Гесса в Шотландию (а Гесс был его учеником) Хаусхофер полностью потерял всякое политическое влияние, нацисты терпели его только из-за его былой популярности, более того, несколько недель он пробыл в концлагере Дахау. В 1946 г. покончил жизнь самоубийством.

Научный симпозиум «В. Э. Ден и современная Россия». СПб., 1993, с. 4–5.

«Литературная газета», 19 марта 1997 г.

Huntington S. The Clash of Civilizations, 1996.

43

Гумилев Л. Н. Черная легенда. М., 1994, с. 143.

«Знамя», 1988, № 4, с. 204.

Кожинов В. В. Монгольская эпоха в истории Руси и истинный смысл и значение Куликовской битвы. — «Наш современник», 1997, № 3, с. 193–194.

Лукницкая В. Николай Гумилев. Лениздат, 1990, с. 151.

47

Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. М., 1994, с. 346. «Природу нужно трактовать научно, об истории нужно писать стихи», — подтверждал и Освальд Шпенглер (Шпенглер О. Закат Европы. Т. I.М., 1993, с. 252).

48

Стихи эти мне прислал Юрий Константинович Ефремов — изумительный человек, большой друг Л.Н., живая история советской географии, автор многих книг и статей, создатель и многолетний директор знаменитого Музея землеведения в МГУ на Ленинских горах. Не кандидат и не доктор наук, но знают его все географы и уважают, может быть, больше, чем титулованных. Особо за его борьбу за русскую природу: он был по сути экологом до того, как слово «экология» стало широко известным, а геополитиком — до того, как термин перестал быть у нас криминальным.

49

Лукницкий П. Н. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. 1924–1925. Париж, 1991, с. 74.

Гумилевы и Бежецкий край. Сборник статей. Бежецк, 1996.

Лукницкая В. Николай Гумилев. Л., 1990, с. 118.

Ахматова А. Коротко о себе. — В кн.: Ахматова А.А. Сочинения. М., 1986, т. 2, с. 238.

53

Там же, с. 246.

Там же.

55

В «Записных книжках 1958–1966 гг.» она записала: «Слепнево 1911–1917. Его огромное значение в моей жизни» (Записные книжки Анны Ахматовой 1958–1966 гг. Москва-Турин, 1996, с. 137).

Н. Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990, с. 119.

Лукницкая В. Николай Гумилев. Л., 1990, с. 37.

Н. Гумилев в воспоминаниях современников, с. 151–152.

Там же, с. 246.

Гумилев Н. С. Сочинения в трех томах. Т. 3. М., 1991, с, 235.

61

Ардов М. Легендарная Ордынка. — «Новый мир», 1994, № 4, с. 20.

Гумилева А. Николай Степанович Гумилев. — В сб.: «Жизнь Н. Гумилева». Л., 1991, с. 70–71.

«Новая газета», 1997, № 30.

Гумилев Николай. Золотое сердце России. Кишинев, 1990, с. 704.

Сенин С. Таинственная Русь Николая Гумилева. В сб.: «Гумилевы и Бежецкий край». Бежецк, 1996, с. 28–29.

Там же, с. 29.

Гумилевы и Бежецкий край. Сборник статей. Бежецк, 1996, с. 6.

Куприянов Д. Лев Гумилев и Бежецкий край. — В сб.: «Дни Л. Н. Гумилева в Бежецке». Бежецк, 1995, с. 20.

69

Гумилев Л. Н. Поводов для ареста не давал. — «Аврора», 1991, № 11, с. 4–5.

Теодор Шумовский — «содельник» Л.Н., автор неизданной книги «Путешествие на Восток. Проза и поэзия пережитого».

«Невское время», 1993, 15 июня.

Гумилев Л. Н. Поводов для ареста не давал. — «Аврора», 1991, № 11, с. 12.

73

Российский Государственный исторический архив. 1343 (Департамент герольдии), оп. 35, д. 6832. Пользуюсь возможностью поблагодарить С. В. Богданова за указание на этот источник.

Лукницкий С. «Дело «Гумилева». М.,1996, с. 23.

75

Вступительная статья к книге «Н. Гумилев. Золотое сердце России». Кишинев, 1990, с. 5.

Лукницкий П. Встречи с А. Ахматовой. Т. 1, с. 115.

Там же, с. 116.

Лукницкий С. «Дело Гумилева». М., 1996, с. 45.

Н. Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990, с. 228.

80

Из архива Веры Лукницкой.

Лукницкая В. Николай Гумилев. Л., 1990, с. 249.

Лукницкий П. Встречи с А. Ахматовой, с. 44, 237.

83

Гумилев Л. Н. Поводов для ареста не давал. — «Аврора», 1991, № 11, с. 7.

Там же.

85

Герштейн Э. Лишняя любовь. — «Новый мир», 1993, № 11, с. 155.

Лукницкий П. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1, с. 25.

87

Там же, с. 38.

88

Обещанный издательством «Имка-пресс» второй том появился ЧИП через шесть лет.

89

Там же, с. 73.

Там же, с. 72.

91

Там же, с. 75.

«Самый непрочитанный поэт». Заметки Анны Ахматовой о Николае Гумилеве. «Новый мир», 1990, № 5, с. 220.

93

Лукницкий П. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1, с. 310.

Там же, с. 312.

Там же, с. 35.

Там же, с. 182.

Там же, с. 10.

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. 1963–1966. Т. 3. М., Согласие, 1997, с. 312.

Лукницкая В. Николай Гумилев. Л., 1990.

Хейт А. Анна Ахматова. Поэтические странствия. М., Радуга, 1991.

101

Ахматова А. Сочинения в 2 тт. 1990, т. 2, с. 237.

Ахматова А. А. Коротко о себе. Сочинения. Т. 2. М.,1986, с. 254.

103

Лукницкая В. Николай Гумилев. Л., 1990, с. 163.

В 1938 г. она слегла, узнав, что Лёва арестован и уже не вставала, а умерла в декабре 1942 г.

105

Гумилев Л. Н. Поводов для ареста не давал. — «Аврора», 1991, № 11, с. 7.

106

Сенин С.А.М. Переслегин — наставник Л. Н. Гумилева. — «СПб университет», 1997, № 18, с. 16.

107

Каисса — богиня шахмат.

108

Гумилев Л. Н. Биография научной теории, или Автонекролог. — «Знамя», 1988, № 4, с. 203.

109

Гумилев Л. Н. Поводов для ареста не давал. — «Аврора», 1991, № 11, с. 8.

Гумилев Л. Н. Биография научной теории, или Автонекролог. — «Знамя», 1988, № 4, с. 203.

111

Там, же, с. 203. Интересно, что отец его «с шестилетнего возраста прислушивался к чтению на уроках брата. В семь лет уже читал и писал» (Н. Гумилев в воспоминаниях современников. Нью-Йорк, Париж, 1990, с. 114).

112

Письмо П. Савицкому 3 декабря 1956 г.

113

Н. Гумилев в воспоминаниях современников. Нью-Йорк—Париж, 1990, с. 121.

Гумилев Л. Н. Биография научной теории, или Автонекролог. — «Знамя», 1988, №4, с. 203.

115

«Глобальная география» — формула почему-то совсем неизвестная ни в науке, ни в системе образования, но имеющая полное право на существование. Когда-то я не обратил внимания на эту гумилевскую находку, но в 1997 г. (абсолютно независимо от Л.Н.) мы назвали так свой учебник для 11 класса. (Ю. Гладкий, С.Лавров. Глобальная география. М., Дрофа, 1997).

Там же, с. 203.

117

Ардов М. Легендарная Ордынка. — «Новый мир», 1994, №5, с. 114.

Н. Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990, с. 113.

119

Ардов М. Легендарная Ордынка. — «Новый мир», 1994, №5, с. 116.

120

Там же, с. 116.

121

Доливо-Добровольский А. В. Образ отца Н. С. Гумилева в трудах его сына Л. Н. Гумилева. — В сб.: «Гумилевы и Бежецкий край», Бежецк, 1996; Вернадский Г. В. Русская история. М.,1997, с. 258; Н. Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990, с. 73.

Н. Гумилев в воспоминаниях современников, с. 175.

123

Там же, с. 91.

Лукницкая В. Н. Гумилев. Л., 1990, с. 65; «Самый непрочитанный поэт». Заметки Анны Ахматовой о Николае Гумилеве. — «Новый мир», 1990, № 5, с. 223.

125

Из воспоминаний К. Чуковского (Лукницкая В. Николай Гумилев. Л., 1990, с. 217).

Дэвидсон А. Муза странствий Н. Гумилева. — «Азия и Африка», 1988, № 3.

127

Письмо Л. Н. Гумилева П. Н. Савицкому, 18 ноября 1956 г.

Н. Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990, с. 230.

129

Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. М., Наука, 1970, с. 33.

130

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой, 1963–1966. Т. 3, М., 1997, с. 10.

131

Н. Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990, с. 232.

132

Герштейн Э. Лишняя любовь. — «Новый мир», 1993, № 11, с. 153.

133

Н. Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990, с. 48–49.

134

Письмо Л. Н. Гумилева П. Н. Савицкому 3 декабря 1956 г.

135

Н. Гумилев в воспоминаниях современников, с. 244.

136

Письмо Л.Н. Анне Ахматовой, 9 февраля 1955 г.

137

Герштейн Э. Лишняя любовь. — «Новый мир», 1993, № 11, с. 160.

138

Там же, с. 155.

139

Там же, с. 156, 157.

140

Там же, с. 159.

141

Там же.

142

Михайловский С. Н. Н. Пунин. Портрет в супрематическом пространстве. — «Нева», 1984, №6, с. 151.

143

Там же, с. 146.

Там же, с. 151.

145

Гумилев Л. Н. Поводов для ареста не давал. — «Аврора», 1991, № П, с.9.

146

Герштейн Э. Лишняя любовь. — «Новый мир», 1993, № 11, с. 182.

147

Там же, с. 175.

148

Там же, с. 185.

149

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. 1938–1941. М., 1997, с. 38.

150

Там же, с. 152–153.

151

Там же, с. 17.

«Звезда», 1994, № 1, с. 104.

153

Гумилев Л. Н. Поводов для ареста не давал. — «Аврора», 1991, № 11, с. 14.

154

Там же.

155

Герштейн Э. Лишняя любовь. — «Новый мир», 1993, № 11, с. 166.

Там же, с. 181.

157

Там же, с. 185.

158

Там же, с. 182.

159

Из «Личного листка по учету кадров». ЛГУ. 1960.

ЦНИГРИ — Центральный научно-исследовательский Геологоразведочный институт, ГИН АН — Геологический институт АН СССР (Л.Н. работал в его Четвертичной комиссии).

160

Дашкова А. Лев Гумилев, начало 30-х. — «МЂра», 1994, №4, с.96, 98.

161

Там же, с. 98.

162

Там же.

163

Лукницкая В. Перед тобой Земля. Л., 1988, с. 147.

Дашкова А. Лев Гумилев, начало 30-х. — «МЂра», 1994, №4, с. 96.

165

Гумилев Л. Н. Черная легенда. М., Экопрос, 1994, с. 262.

Там же, с. 267.

167

Герштейн Э. Лишняя любовь. — «Новый мир», 1994, № 11, с. 164.

«Источник», 1999, №1, с. 77–78.

169

Гумилев Л. Н. Поводов для ареста не давал. — «Аврора», 1991, № 11, с. 15.

Его старший брат, В. М. Эйхенбаум, теоретик и активный деятель русского анархического движения, был выслан из страны.

171

Там же, с. 16.

«Вечерний Санкт-Петербург», 21 апреля 1993 г.

173

Там же.

Там же.

175

Герштейн Э. Лишняя любовь. — «Новый мир», 1993, № 11, с. 145.

«Невское время», 15 июня 1993 г.

Т. А. Шумовский впоследствии — доктор исторических наук, автор ряда капитальных трудов, до 1979 г. работал в Институте востоковедения АН СССР, — лагерным эпопеям его посвящена книга «Путешествие на Восток» (увы, неизданная). Но до начала научной карьеры, ему как и Л.Н., пришлось отбыть еще один срок (1949–1956 гг.).

177

Герштейн Э. Лишняя любовь. — «Новый мир», 1993, № 12, с. 152.

178

Узник Таирова переулка. — «Невское время», 15 июня 1993 г.

Поводов для ареста не давал. — «Аврора», 1991, № 11, с. 19.

180

Там же.

181

Там же.

182

Герштейн Э. Лишняя любовь. — «Новый мир», 1993, № 12, с. 153.

183

Гумилев Л. Н. Мы живем в большой коммунальной квартире. Интервью. — «Неделя», 1991, №6.

Гумилев Л. Н. Биография научной теории, или Автонекролог. — «Знамя», 1988, №4, с. 210.

185

Харджиев Николай Иванович (1903–1996) — прозаик, искусствовед, автор ряда книг. Знаком с А.А.Ахматовой с 1930 г., часто она советовалась с ним о своих стихах, переводах, прозе. После ташкентской эвакуации А.А. он отдалился от нее.

186

Ахматова А. А. — Н. Харджиеву, 5 апреля 1943 г. — «Вопросы литературы», 1989, №6, с. 231.

Здесь он оказался вместе с Н. Козыревым — известнейшим впоследствии астрофизиком Пулковской обсерватории.

Поводов для ареста не давал. — «Аврора», 1991, № 11, с. 23–24.

189

ПисьмоЛ. Н. Гумилева к П. Савицкому, 23 января 1957 г.

190

Герштейн Э. Лишняя любовь. — «Новый мир», 1993, № 12, с. 151.

191

Томашевская З. Б. Я как петербургская тумба. — В книге: «Об Анне Ахматовой». Лениздат, 1990, с. 431.

«Вопросы литературы», 1989, № 6, с. 242.

193

Там же, с. 243.

Герштейн Э. Лишняя любовь. — «Новый мир», 1993, № 12, с. 151.

195

Там же, с. 152–153.

196

Там же, с. 153.

«Вопросы литературы», 1989, № 6, с. 242.

Гумилев Л. Н. Объединиться, чтобы не исчезнуть. — «Час пик», 1991, № 2.

199

Из «Личного листка по учету кадров». ЛГУ, 1960. ИВАН — Институт востоковедения АН СССР; ГМЭ — Государственный музей этнографии народов СССР.

Куняев С. Post scriptum I и Post scriptum II. — «Наш современник», 1995, № 10, 11.

201

Ахматова А. А. Коротко о себе. Сочинения. Т. 2. Л., 1986, с. 239.

202

Берггольц О. Ленинград. Стихи и поэмы. М., 1944, с. 9.

203

«Звезда», 1994, № 1, с. 99, 101.

Ленинградский университет в Великой Отечественной войне 1941–1945. Л., ЛГУ, 1990, с. 282.

205

Куняев С. Post scriptum I и Post scriptum II. — «Наш современник», 1995, № 10, с. 187.

«Вопросы литературы», 1989, № 6, с. 239.

207

Даев В. Коммунальные Зощенки. — «Наш современник», 1996, № 10, с. 203.

Куняев С. Post scriptum I и Post scriptum II. — «Наш современник», 1995, № 10, с. 194.

209

Цит. по: Даев В. Коммунальные Зощенки, с. 204.

Цит. по: Куняев С. Указ. соч., с. 196.

211

Шепилов Д. Т. Воспоминания. — «Вопросы истории», 1998, № 6, с. 12.

212

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. 1952–1962. Т. 2 М 1997, с. 8.

213

Берлин И. Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 годах. — «Звезда», 1990, № 2, с. 150.

Куняев С. Указ. соч., с. 184.

215

Чуковский К. Дневник. 1930–1969. М., 1994, с. 211.

216

Там же, с. 267.

217

Даев В. Коммунальные Зощенки. — «Наш современник», № 10, 1996 с. 205.

218

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. 1952–1962. Т. 2. М., 1997, с. 17.

219

Там же, с. 17, 227.

Who's Who. 1968. London, p. 241.

221

Герштейн Э. Лишняя любовь. — «Новый мир», 1993, № 12, с. 154.

Берлин И. Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 годах. — «Звезда», 1990, № 2, с. 147.

223

Там же, с. 153.

Там же, с. 147.

225

Там же, с. 148.

Там же, с. 149.

227

Там же, с. 150.

228

По воспоминаниям очень многих людей, А. А. Вознесенский был человеком и руководителем глубоко демократичным; в студенческой среде его называли не иначе как «папа-ректор», и любой студент или служащий университета мог быть принят им. См., например, книгу: Ученый-коммунист. К 75-летию со дня рождения А. А. Вознесенского. Изд. ЛГУ, 1973. — Прим. ред.

229

Большов Д. М. Памяти учителя. — «Наш современник», 1993, №8, с. 143.

Козырева М. Лев и Птица. — «МЂра», 1994, №4, с. 108.

231

Там же, с. 107.

232

Помните у Ильфа и Петрова: «К Птибурдукову ушла ты от меня».

233

Письмо Л.Н. — В. Н. Абросову, 24 сентября 1955. — «Мѣра», 1994, №4, с. 131.

234

Письмо Л.Н. — В. Н. Абросову, 5 июня 1955 г.

235

Письмо Л.Н. — В. Н. Абросову, 1 февраля 1956 г.

«Мђра», 1994, №4, с. 110.

237

Там же.

Там же, с. 114–136.

Герштейн Э. Мемуары и факты. — «Горизонт», 1989, №6.

Видимо, это был «манускрипт» на восьмушках серой бумаги, который мне довелось видеть в руках у Наталии Викторовны — вдовы Л.Н.

241

Герштейн Э. Лишняя любовь. — «Новый мир», 1993, №11, с 154.

Ардов М. Легендарная Ордынка. — «Новый мир», 1994, № 4, с. 15.

Там же, с. 15, 22.

Там же, с. 19–20.

245

Письмо Л.Н. — В. Н. Абросову, 3 июня 1955 г.

246

Письмо Л.Н. — В. Н. Абросову, 26 августа 1955 г.

247

Письма Л.Н. — В. Н. Абросову от 15 января 1955 г., 23 декабря 1954 г., 23 декабря 1954 г., 18 января 1955 г., 15 марта 1955 г.

248

Письма Л.Н. — В. Н. Абросову от 24 декабря 1955 г., 27 апреля 1955 г., 24 октября 1955 г., 27 октября 1995 г.

249

Гумилев Л. Н. Поводов для ареста не давал. — «Аврора», 1991, № 11, с. 30.

250

Письмо Л.Н. — В. Н. Абросову, 18 января 1955 г.

«Социум», 1992, № 9, с. 83.

Ничтожная их часть опубликована нами в книге: Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. М., Экопрос, 1993.

Савицкий П. Н. в борьбе за евразийство. — В сб. «Тридцатые годы. Утверждение евразийцев». 1931, с. 22.

254

Письмо П. Н. Савицкого Л. Н. Гумилеву, 15 января 1957 г.

255

Цит. по кн.: Пашуто В. Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М., Наука, 1992, с. 211–212.

«Начала», 1992, №4, с. 16.

«Евразия, народы, культура, религия». 1993, № 1, с. 37.

«Евразийский временник». Берлин, 1923, с. 67.

259

П. Савицкий сообщал Р. Якобсону в письме от 7 августа 1930 г., что имя Евразии (применительно к российскому миру) пришло ему в голову осенью 1919, когда он выздоравливал от брюшного тифа в Полтаве.

Цит. по сб.: «Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов». М., 1992, с. 155.

Основные работы Г. В. Вернадского, опубликованные в последние годы: «Древняя Русь», Тверь—Москва, 1996; «Киевская Русь». Тверь-Москва, 1996; «Монголы и Русь». Тверь-Москва, 1997; «Россия в средние века». Тверь-Москва, 1997; «Русская история». Аграф, Москва, 1997; «Московское царство» т. I–II, Тверь-Москва, 1997. Работы Н. С. Трубецкого опубликованы в сборнике: История. Культура. Язык. М., Прогресс, 1995.

262

Исаков С. Русские в Эстонии. 1918–1940. Тарту, 1996, с. 128–129. Автор отмечает, что идеи евразийства стали получать распространение в Эстонии среди более образованных слоев местного русского общества уже в 1920-е гг., а первым органом русской прессы в Эстонии, утверждавшим идеи евразийства, была выходившая в Таллинне в 1927–1928 гг., «еженедельная независимая национальная газета» «Рассвет».

263

А. Б. Евразийцы и Трест. — «Возрождение», Тетрадь 30, 1953, Париж, с. 121.

Еще в 1967 г. зарубежный исследователь евразийства проф. Н. Рязановский (США) отмечал, что, «основывая евразийство, он (т. е. П. Н.Савицкий. — С. Л.) создал собственную геополитическую теорию» («Звезда», 1995, № 2, с. 41). Сейчас это стало общепризнанным в кругу людей профессионально занимающихся геополитикой. В 1997 г. (наконец-то!) в России вышел сборник трудов П. Савицкого «Континент Евразия» (М., Аграф, 1997), в послесловии к которому А. Дугин справедливо именует его «первым русским геополитиком в полном смысле этого слова» (с. 444). Хотелось добавить, что некоторые взгляды П. Савицкого и черты его биографии (очень нестандартной, как мы увидим дальше) были отмечены в книге Л. Н. Гумилева «Ритмы Евразии» (М., Экопрос, 1993), а определение «первый русский геополитик» было заголовком статьи автора этой книги, статьи, опубликованной еще в 1995 г. в малотиражном журнале «Региональная политика» (№ 1(7), СПб.).

«Полис», 1994, № 1.

«Наш современник», 1993, № 1, 2.

267

Цит. по: «Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов». М., 1992, с. 23.

См.: Савицкий П. Н. Континент Евразия. М., 1997, с. 10.

269

«Последние новости», 2 марта 1927 г.

«Возрождение», 16 декабря 1926 г.; Сб. Тридцатые годы. Утверждение евразийцев, 1931, с. 21.

271

«Руль», 8 января 1927 г.

Востоков П. Стихи. Париж, 1960, с. 261.

«Возрождение», 16 февраля 1927 г.

Подробнее об этом в интересной статье Наталии Алеврас «Начала евразийской концепции в раннем творчестве Г. В. Вернадского и П. Н Савицкого». — «Вестник Евразии», 1996, № 1 (2).

Дугин А. Евразийский триумф. Послесловие к книге: Савицкий П.Н. Континент Евразия. М., 1997, с. 437.

«Путь», Париж, 1925, № 1.

277

Цит. по сб.: «Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов». М., 1992, с. 21.

Там же, с. 23, 24.

Савицкий П. Н. Два мира. — В кн.: Савицкий П. Н. Континент Евразия. М., 1997, с. 113–114.

Ключников С. С. Русский узел евразийства. — «Наш современник», 1992, № 3, с. 175.

281

Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов. М., 1992, с. 167–169.

282

Цит. по: Савкин И, Козловский В. Евразийское будущее России. — «Ступени», 1992, №2, с. 112, 113.

Кожинов В. В. Историософия евразийцев. — «Наш современник», 1992, № 2, с. 142.

Рязановский Н. Возникновение евразийства. — «Звезда», 1995, № 2, с. 35.

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991, с. 34.

Иванов В. Культурно-исторические основы русской государственности. Харбин, 1926.

287

Цит. по: Рязановский Н. Азия глазами русских. — В сб.: В раздумьях о России. XIX в. М., 1996, с. 415.

Хлебников В. Собрание произведений в 5 тт. Л., 1933, т. V, с. 179. Среди его произведений есть и такие «протоевразийские», как «Хаджи-Таркан».

289

Савицкий П. Н. Поворот к Востоку. — Цит. по кн.: Савицкий П-Н. Континент Евразия. М., 1997, с. 137.

Чхеидзе К. Лига Наций и государства-материки. — «Евразийская хроника», 1927, с. 37.

291

Цит. по: Хоружий С. Русь — новая Александрия: страница из предыстории евразийских идей. — «Начала», 1992, № 4(6), с. 17.

Архипов Ю. Веймарские находки. — «Москва», № 6, 1996, с. 168.

293

Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. СПб., Наука, 1994, т. 13, с. 203.

Там же, т. 12, с. 83.

Трубецкой Н. С. История, культура, язык. М., 1995, с. 617–725.

Савицкий П. Н. Географические и геополитические основы евразийства. — В сб.: «Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов». М., 1992, с. 112. Еще резче были формулировки у него же: «Россия имеет гораздо больше оснований, чем Китай, называться «Срединным Государством» (там же, с. 113).

Кьезе Д. Прощай, Россия! М., 1997, с. 82.

Пушкарев С. Россия и Европа в их историческом прошлом. — «Евразийский временник», 1927, Париж, с. 126.

299

Савицкий П. Н. Географические и геополитические основы евразийства. — Цит. по сб.: «Евразия, исторические взгляды русских эмигрантов. М., 1992, с. 116. «Вампукой» П. Н.Савицкий называет официальную советскую географию тех времен (его статья написана в 1933 или 1934 г.). Правда, некоторых советских физико-географов он уважал и с удовольствием цитировал, и более того, даже пропагандировал на Западе.

Пушкарев С. Россия и Европа в их историческом прошлом. — «Евразийский временник», 1927, Париж, с. 127.

301

Чхеидзе К. Из области русской геополитики. — В сб.: Тридцатые годы. Утверждение евразийцев, 1931, с. 113.

Савицкий Л. Н. Географические и геополитические основы евразийства. — В сб.: Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов. М., 1992, с. 117.

Л. Гумилев позже назовет это комплиментарностью.

Там же, с. 117–118.

«Сердцевина земли», Маккиндер позже ассоциировал ее с Россией, Советским Союзом.

Мировой остров — Евразия в самом широком смысле слова.

Логовиков П. Научные задачи евразийства. — В сб.: Тридцатые годы. Утверждение евразийцев, книга VII, 1931, с. 56.

308

Альфред Мэхэн (1840–1914) — американский адмирал, автор ряда геополитических трудов, проповедовавший «морскую силу» США; Николас Спикмен (1893–1943)— продолжатель концепций адмирала А. Мэхэна, профессор Института международных отношений при Йельском университете; Видаль деля Блаш (1845–1918) — основатель французской геополитической школы, автор ряда капитальных трудов, в частности, «Картины географии Франции» (1903).

309

Дугин А. Основы геополитики. М., 1997, с. 88.

«Наш современник», 1993, № 2, с. 145.

311

Записки Русского географического научно-исследовательского объединения при Русском Свободном университете в Праге. Т. XI, 1921.

312

Там же, с. 22.

313

Там же, с. 4.

Савицкий П. Н. Географический обзор России-Евразии.

315

Савицкий П. Н. Континент Евразия. М., 1997, с. 293. и там же, с. 284.

Такие сочетания часто определяют и возникновение городов, особенно крупных. Как бы поясняя это Л. Гумилеву на примере его города, П. Савицкий писал: «Ленинград — стык моря с водными путями, ведущими в глубь страны, это основное: водные пути в глубину страны усилил уже Петр I; невская дельта с богатой растительностью; Пулковская и пр. высоты — на юг, высоты Карельского перешейка — на север. Отличные, с темной окраской, почвы на Силурийском плато — «поддубицы», «дубняжины»; также во всех остальных местах — хорошие леса, местами лиственные, с богатыми, очень богатыми луговинами; во многих местах хорошие глины; строительные материалы: «пудожский камень», «силурийская» плита, гранит и диабаз с Карельского перешейка, берегов Ладоги и Онеги; в зданиях Ленинграда крупнейшие гранитные монолиты мира; новгородцы в десятках мест окрестностей нынешнего Ленинграда копили железную болотную руду и выжигали железо» и т. д.

Трубецкой Н. С. История, культура, язык. М., 1995, с. 107.

Савкин И., Козловский В. Евразийское будущее России. — «Ступени», 1992, № 2, с. 92. Между тем и сейчас еще, правда, не в России, а на Украине, есть рецидивы 30–40-х гг. Украинский востоковед Ю. Кочубей, отметив, что Г. В. Вернадский и П. Н.Савицкий были его земляками (это типично для многих современных украинских изданий), делает странный (мягко выражаясь) вывод: «Беда в том, что «евразийство» было не исторической школой, а и геополитической доктриной (?) (знак наш. — С. Л.)» (Кочубей Ю. Що таке «евразіство». — Літературна Україна, 1992, V, с. 3).

319

Чхеидзе К.А. Из области русской геополитики. — В сб.: Тридцатые годы. Утверждение евразийцев, 1931.

Вернадский Г. В. Начертание русской истории. Прага, 1927.

321

Цит. по: Горизонтов Л. Е. Евразийство 1921–1931 гг. (взгляд изнутри). — «Славяноведение», 1992, №4, с. 98–99.

В примечаниях к этим тезисам Г. Вернадский пишет: «Нельзя, конечно, отрицать проявления в отдельных фактах и легкомысленного авантюризма. По большей части, однако, этот авантюризм проявлялся лишь в тех случаях, когда русские деятели отступали от программы самодавления Евразии (некоторые войны XVIII–XIX вв., «русификаторская» деятельность в Варшаве, «империализм» на Дальнем Востоке начала XX в.).

323

Вернадский Г. В. Начертание русской истории. Ч. 1. Прага, 1927, с. 12.

Там же, с. 16.

325

Там же.

Там же, с. 20–22.

«Ступени», 1992, №2, с. 83; Трубецкой Н. С. История, культура, язык. М., 1995, с. 766.

328

Цит. по кн.: Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. М., Экопрос, 1993, с. 203.

329

Трубецкой Н. С. Европа и человечество. София, 1920, с. 5.

Там же.

331

Там же, с. 6.

Там же, с. 6, 7.

Савицкий П. Н. Континент Евразия. М., 1997, с. 159.

Трубецкой Н. С. Европа и человечество. София, 1920, с. 7.

Действительно, 1999 г. подтверждает написанное в 1920-м! Если вступление Польши в НАТО еще не пример (католическая страна), то стремление туда же Болгарии и страшные эпизоды с памятником советсткому воину (Алеше) в Пловдиве — убедительное доказательство жизненности отмеченной тенденции.

«Евразийская хроника». Вып. XI, с. 5, 7.

337

Цит. по: «Евразийский временник», кн. 3. Берлин, 1923, с. 158–159.

338

ГА РФ, ф. 5783 (П. Н. Савицкого), оп. 1, ед. хр. 146, л. 932.

339

Трубецкой Н. С. История, язык, культура. М., 1995, с. 331.

Трубецкой Н. С. Об истинном и ложном национализме. — «Исход к Востоку», с. 72.

Трубецкой Н. С. Европа и человечество. София, 1920, с. 19–20.

Там же, с. 23.

Там же, с. 39–40.

Там же, с. 42.

345

Цит. по: Трубецкой Н. С. История, культура, язык. М., 1995, с. 7.

346

Из письма П. Савицкого Н. Трубецкому, 23 февраля 1923 г. ЦГАОР, ф. 5783 (П. Н. Савицкого), оп. 1, ед. хр. 359, л. 36.

Трубецкой Г. Н. Католический богослов о русской религиозной психологии. — «Путь», Париж, 1925, № 1.

Лушкарев С. Россия и Европа в их историческом прошлом. — «Евразийский временник», 1927, с. 145.

Панченко А. М. Евразийство — современная проблема. — «Общая газета», № 17, 1994.

Флоровский Г. Евразийский соблазн. — «Современные записки». Париж, 1928, с. 312.

351

Савицкий П. Н. Подданство идеи. — Цит. по: «Наш современник», 1992, № 12, с. 135.

Ильин В. Евразийство. — «Ступени». 1992, № 2, с. 62.

353

Карсавин Л. Евразийство. с. 39, 45.

«Элементы», 1993, №4, с. 21.

355

Алеврас П. Начала евразийской концепции в раннем творчестве Г. В. Вернадского и П. Н. Савицкого. — «Вестник Евразии», 1996, № 1(2), с. 12.

Можно сколько угодно иронизировать над формулой «новая историческая общность — советский народ», но и она имела свои корни.

Трубецкой Н. С. История, культура, язык. М., 1995, с. 423.

Трубецкой Н. С. О государственном строе и форме правления. — «Евразийская хроника», 1927, с. 6.

359

Там же, с. 5.

360

Макшеев П.А. О воспитании ведущего отбора (идеократии). — «Евразийская хроника». Вып. 12. Берлин, 1937, с. 45.

361

Евразийство (опыт систематического изложения). Париж-Берлин, 1926 с. 52.

Ильин В. О евразийском патриотизме. — «Евразийская хроника», 1927, с. 12. Н. Трубецкой называл строй в СССР «лже-идеократией». («О государственном строе и форме правления». — «Евразийская хроника», 1927, с. 7.)

363

Там же, с. 12.

Алексеев Н. Советский федерализм. — «Евразийский временник», 1927, кн. 5, с. 257.

Там же, с. 257, 258.

366

Савицкий П. Н. Газета «Евразия» не есть евразийский орган. Прага, 1928, с. 8.

Савицкий П. Н. Подданство идеи. — «Евразийский временник», кн. 3, Берлин, 1923, с. 12, с. 13–14.

ГА РФ, ф. 5783 (П. Н. Савицкий), оп. 1, ед. хр. 28.

369

Трубецкой Н. С. Русская проблема. — «На путях», книга 2, Берлин, 1922, с. 306.

Русский узел евразийства. М., Беловодье, 1997, с. 97.

371

Топоров В. Н. Н.С. Трубецкой — ученый, мыслитель, человек (к столетию со дня рождения). — «Советское славяноведение», 1991, № 1, с. 98.

Савкин И, Козловский В. Евразийское будущее России. — «Ступени», 1992, № 2, с. 105.

Казнина О. Д. П. Святополк-Мирский и евразийское движение. — «Начала», 1992, № 4, с. 84, 85.

Савицкий П. Н. Газета «Евразия» не есть евразийский орган. Прага, 1928, с. 3–9.

Д. Святополк-Мирский, опекаемый М. Горьким, оказался в тяжелом положении после смерти писателя. В 1937 г. он был объявлен троцкистом и арестован. Погиб в лагере под Магаданом в 1939 г.

Казнина О. Указ. соч., с. 86–87.

Гумилев Л. Н. Н. С. Трубецкой и евразийство. Предисловие к кн: Трубецкой Н. С. История, культура, язык. М., 1995, с. 24.

Трубецкой Н. С. История, культура, язык. М., 1995, с. 343.

379

Из письма Л. Н. Гумилеву от 22 апреля 1967 г.

380

«То, что вспоминается». Из семейных воспоминаний Н. Е. Андреева (1908–1982). Т. II. Таллинн, 1996, с. 112.

Там же, с. 113–114.

382

Из письма к Л. Н. Гумилеву от 22 апреля 1967 г.

383

Письмо Л. Н. Гумилева П.Н. Савицкому, 8 ноября 1958 г.

384

Письмо Л. Н. Гумилева П. Н. Савицкому, 28 марта 1957 г.

385

Письмо П. Н. Савицкого Л. Н. Гумилеву, 23 декабря 1956 г.

Личное дело Л. Н. Гумилева, ЛГУ.

387

Письмо Л. Н. Гумилева П. Н. Савицкому, 18 ноября 1956 г.

388

Письмо Л. Н. Гумилева П. Н. Савицкому, 7 июля 1957 г.

389

Гумилев Л. Н. В Горбачеве я вижу Августа. — «Союз», № 18, май 1991.

Савицкий П. Н. В борьбе за евразийство. — В сб.: Тридцатые годы. Утверждение евразийцев. Кн. VII, 1931, с. 19.

Вернадский Г. В. Начертание русской истории. Ч. 1. Прага, 1927.

Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М., 1993, с.4.

393

Речь идет о книге Н. П. Толля «Скифы и гунны» (Прага, 1927).

«Социум», 1992, №9, с. 80–81.

395

Любопытно, что годом ранее в Льеже вышел сборник историософских работ «лингвиста Трубецкого» (так в заголовке) со статьей Патрика Серио — профессора Лозаннского университета. Там-то и были слова о том, что публицистика Трубецкого — важная веха на пути сращивания большевизма с национализмом. Рецензию на нее (еще более злобную, чем предисловие П. Серио) дала «Русская мысль» 14–20 ноября 1996 г.

Там же, с. 80.

397

Письмо П. Н. Савицкого Л. Н. Гумилеву, 17 декабря 1965 г.

Бурчинова Л. Послесловие к книге: Хара-Даван Э. Чингисхан как полководец и его наследие. Элиста, 1991, с. 212.

399

Сарепта — колония, основана немецкими колонистами в устье реки Сарпа (притока Волги). С 1920 г. — Красноармейск; в 1931 г. включена в городскую черту Сталинграда.

Другим вариантом для способных калмыков была духовная резиденция Далай-ламы в Тибете.

401

Там же, с. 213.

Исаков С. Русские в Эстонии (1918–1940 гг.). Тарту, 1996, с. 129.

403

В одном из писем в Ленинград П. Савицкий называет его «Эренжен Даваевич».

Вернадский Г. В. Монгольское иго в русской истории. — В сб.: Русский узел евразийства. М., 1997, с. 250, 251.

405

Хара-Даван Э. Чингисхан как полководец и его наследие. Белград, 1929, с. 9.

Горизонтов Е. Л. Евразийство 1921–1931 гг. (взгляд изнутри). — «Славяноведение», 1992, №4, с. 100.

Вернадский Г. В. Монголы и Русь. Тверь-Москва, 1997.

Вернадский Г. В. Исторические основы русско-калмыцких отношений. — «Калмыцко-ойротский сборник». Филадельфия, 1966, с. 36.

В 10-м выпуске «Евразийской хроники» (1928 г.) была напечатана его статья «Евразийство с точки зрения монгола».

Хара-Даван Э. Чингисхан, с. 11.

411

Там же, с. 12.

Там же, с. 17, 18.

Кожинов В. В. Византийское и монгольское «наследство» в судьбе России. — «Российский обозреватель», 1996, №3, с. 108.

414

Письмо П. Н. Савицкого Л. Н. Гумилеву, 12 января 1958 г.

415

Письмо П. Савицкого Л. Н. Гумилеву, 27 декабря 1958 г.

Владимирцов Б. Чингисхан. Петербург, 1912.

Вернадский Г. В. Монголы и Русь. Тверь-Москва, 1997, с. 51.

Хара-Даван Э. Чингисхан, с. 57, 58.

419

Там же, с. 59.

Вернадский Г. В. Монголы и Русь. Тверь-Москва, 1997, с. 10.

421

Хара-Даван Э. Чингисхан, с. 18.

Вернадский Г. В. Монгольское иго в русской истории. — В сб.: Русский узел евразийства. М., 1997, с. 258.

423

Хара-Даван Э. Чингисхан, с. 181.

Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. — В кн.: Трубецкой Н. С. История, культура, язык. М., 1997, с. 211, 212.

425

Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. М., Прогресс-Культура, 1993, с. 377.

«Панорам-форум», 1997, №1, с. 128.

Хара-Даван Э. Чингисхан..., с. 182, 183.

428

По словарю Даля, 200 слов обиходной русской речи монгольского происхождения.

429

Там же, с. 183.

430

Письмо Л. Н. Гумилева П.Н. Савицкому, 25 февраля 1957 г.

431

Письмо Л. Н. Гумилева П. Н. Савицкому, 23 января 1957 г.

Имеются в виду не вошедшие в книгу «Хунну» главы, которые гораздо позже (в 1974 г.) составили особую книгу «Хунны в Китае».

433

Письма Л. Н. Гумилева П. Н. Савицкому 1959 г: от 27 февраля, мая (б. д.), 8 октября, 22 ноября.

434

Письмо Л. Н. Гумилева П.Н. Савицкому, 16 апреля 1960 г.

435

Письмо Л. Н. Гумилева П. Н. Савицкому, 28 января 1960 г.

Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., 1993, с. 93.

437

Письмо П. Н. Савицкого Л. Н. Гумилеву от 21 сентября 1959 г.

438

Из некролога о П.Н. Савицком (1895–1968), написанного Г. Вернадским.

Востоков П. Стихи. Париж, 1960, с. 8, 9.

Там же, с. 36.

441

Там же, с. 85.

Созданием этой серии мы всецело обязаны Олегу Дмитриевичу Катагошину, рано и трагично ушедшему из жизни.

Гумилев Л.Н. Хунну. СПб., 1993, с. 5.

Вернадский Г. В. Из древней истории Евразии: Хунну. — «Новый журнал», 1960, № 62, с. 274.

Вернадский Г. В. Древняя Русь. Тверь-Москва, 1996, с. 139, 144. В США эта книга вышла в 1943 г.

Иловайский Д. И. Разыскания о начале Руси. М., 1876; 2-е издание вышло в 1882 г.

Вернадский Г. В. Из древней истории Евразии: Хунну. — «Новый журнал», 1960, № 62, с. 273.

Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991, с. 97.

Артамонов М. И. История хазар. Л., 1962, с. 521.

В 1935 г. — Манычская, в 1936 г. — Саркельская экспедиции (обе под руководством М. И. Артамонова), в 1946–47 гг. — Юго-Подольская (раскопка курганов, руководство опять же М. И. Артамонова), в 1948 г. — Горно-Алтайская, в 1949 г. — Саркельская, наконец, в 1957 г. — Ангарская под руководством А. П. Окладникова. Последующие «броски» Л.Н. в поле проходили уже под собственным руководством.

451

Бичурин Н. Я. Цит. соч., с. 6.

Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Л., 1926, с. 25.

453

Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. М., 1993, с. 281.

454

Письма Л. Н. Гумилева П. Н. Савицкому от 28 марта 1957, 15 апреля 1957 г., 7 июня 1957 г.

Впрочем, исключения все-таки бывают. В 1993 г. экспедиция студентов-археологов из Новосибирска под руководством доктора наук Натальи Полосмак сделала уникальное открытие на Алтае — под разграбленным холмом с захоронением воина было обнаружено второе — с хорошо сохранившийся мумией «алтайской княжны». Такое произошло на Алтае вообще впервые.

«Государства-континенты» поминал еще В. И. Вернадский в 1919 г.

Учение Л. Н. Гумилева: опыт осмысления. Материалы научных чтений. М., 1998, с. 101.

458

Савицкий П. Н. О задачах кочевниковедения. 1928, с. 88–89.

Востоков П. Стихи. Париж, 1960, с. 221.

См.: статья З. Удальцовой в «Большевике» № 11, 1952. Рецензия А. Рафикова в «Вопросах истории», № 5, 1952, Н. Мерперта и Л. Кызласова в «Вестнике древней истории», № 1, 1952.

461

Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Госполитиздат, 1950, с. 120.

462

Обсуждение в Ученом совете ИИМК книги А. Н. Бернштама «Очерк по истории гуннов». — «Советская археология», XVII, 1953, с. 320.

463

Там же, с. 323.

3. Удальцова — автор статьи, доктор наук, впоследствии член-корреспондент АН СССР.

Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991, с. 96.

Удальцова З. Против идеализации гуннских завоеваний. — «Большевик», 1952, № 11, с. 72.

Бернштам А. Н. Очерк истории гуннов. М., 1951, с. 8.

468

Письмо Л. Н. Гумилева А. А. Ахматовой, 9 ноября 1952 г.

469

Письмо Л. Н. Гумилева А. А. Ахматовой, 5 февраля 1954 г.

470

Письмо Л. Н. Гумилева П.Н. Савицкому, 25 января 1957 г.

471

Там же.

Гумилев Л. Н. Черная легенда. М., 1994, с. 42–43.

473

Письмо П. Н. Савицкого Л. Н. Гумилеву (1957 г.).

Эпоха Хань — II в. до н. э., эпоха Тан — VII—VIII вв.

Гумилев Л.Н. Хунны в Китае. М., 1974, с. 3.

Там же, с. 5.

Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991, с. 55.

Гумилев Л. Н. Историко-философские сочинения князя Н. Трубецкого. — В кн.: Трубецкой Н. С. История, культура, язык. М., 1995, с.49.

Гуру П. Азия. М., 1956, с. 101–104.

Кычанов Е. И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., Вост. литература, 1997, с.4.

481

Письмо Л. Н. Гумилева П. Н. Савицкому, 1957 г. (точная дата не проставлена).

482

Письмо Л. Н. Гумилева А. А. Ахматовой, 20 сентября 1954 г.

483

Письмо Л. Н. Гумилева А. А. Ахматовой, 21 апреля 1956 г.

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989, с. 386.

Гумилев Л.Н. Хунну. СПб., 1993, с. 26.

Гумилев Л. Н. Хунны в Азии и Европе. — В кн.: Ритмы Евразии. М., Экопрос, 1993, с.461.

487

Там же, с. 461.

«Хунны, — писал он П. Савицкому 19 декабря 1956 г., — сложились на лесистых склонах Инь-Шаня и потом лишь передвинулись в монгольские степи».

489

Письмо П. Н. Савицкого Л. Н. Гумилеву, 2 января 1957 г.

Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии. М., 1993, с. 462.

491

Кычанов Е. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., 1997 с. 7.

Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 1. М., 1993, с. 277.

493

Савицкий П. Н. О задачах кочевниковедения. Евразийское книгоиздательство, 1928, с. 92.

По другим данным (китайский источник) общая численность населения Хунну составляла 1,5–2 миллиона человек. (Кычанов Е. Цит. соч., с. 35). Правда, почему-то в более поздней статье «Хунны в Азии и Европе» Л.Н. приводит другую цифру — 300 тысяч человек, снабжая ее расчетом: 60 тысяч всадников равно 20 процентам всего населения (Ритмы Евразии. М., 1993, с. 463). Были, правда, у Л.Н. «оговорки» и в других местах («Тысячелетие вокруг Каспия», 1991, с. 76).

Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. М., 1970, с. 35.

Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991, с. 112.

Савицкий П. Н. Задачи кочевниковедения, 1928, с. 92.

Там же, с. 92.

Гумилев Л.Н. Хунну. СПб., 1993, с. 44.

500

Савицкий П. Н. О задачах кочевниковедения, 1928, с. 94.

501

Там же.

Там же, с. 86.

цит по; Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 1. М., Прогресс, 1993, с. 370.

Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. М., Экопрос, 1993, с. 289.

505

Кычанов Е. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., 1997, с. 28.

506

Письмо П. Н. Савицкого Л. Н. Гумилеву, 8 декабря 1956 г.

507

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989, с. 69.

Савицкий П. Н. О задачах кочевниковедения, с. 92–93.

509

Гумилев Л. Н. Хунну. СПб., 1993, с. 23.

510

Там же, с. 61.

511

Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Л., 1926, с. 86.

Кычанов Е. Указ. соч., с. 4.

513

Там же, с. 35.

Гумилев Л. Н. Хунну. СПб., 1993, с. 79.

515

Кычанов Е. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., 1997, с. 37.

516

Савицкий П. Н. О задачах кочевниковедения, 1928, с. 102.

517

Афанасьев Ю. Прошлое и мы. — «Коммунист», № 14, 1985.

518

Письмо П. Н. Савицкого Л. Н. Гумилеву 1 января 1957 г.

519

Гумилев Л. Н. Хунну. СПб., 1993, с. 79.

Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991, с. 82.

521

Письмо П. Н. Савицкого Л. Н. Гумилеву, 18 февраля 1959 г.

522

Письмо П.Н. Савицкого Л. Н. Гумилеву, 3 декабря 1959 г.

523

Савицкий П. Н. О задачах кочевниковедения, 1928, с. 100.

Крюков М. «Мы, вы, они». — «Знание — сила», 1985, № 3, с. 35.

525

Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. М., 1979, с. 38.

Гумилев Л. Н. Хунну. СПб., 1993, с. 79.

Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. М., 1993, с. 465.

Гумилев. Л. Н. Этносы: мифы и реальность. — «Дружба народов», 1990, № 10, с. 223.

529

Письмо Л. Н. Гумилева П. Н. Савицкому, 19 декабря 1956 г.

Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. М., 1993, с. 310.

531

Бичурин И. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Срединной Азии. М.-Л., 1950, ч. 1, с. 57–59.

Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. М., 1993, с. 467.

Гумилев Л. Н. Хунну. СПб., 1993, с. 204.

Вернадский Г. В. Древняя Русь. Тверь—Москва, 1996, с. 145.

Гумилев Л. Н. Хунну. СПб., 1993, с. 205, 206.

Там же, с. 206.

537

Савицкий П. Н. О задачах кочевниковедения, 1928, с. 95–96.

538

Письмо П. Савицкого Л. Н. Гумилеву, 1 мая 1957 г.

Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991, с. 123.

Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. М., 1993, с. 290, 307.

541

Письмо Л. Н. Гумилева А. Ахматовой (дата неизвестна).

«Вестник древней истории», 1961, №2, с. 124.

543

«Вестник древней истории», 1962, №3, с. 204.

Там же, с. 205.

545

Там же.

Там же, с. 209

Вернадский Г. В. Из древней истории Евразии: Хунну. — «Новый журнал» (Нью-Йорк), 1960, №62, с. 282, 283.

Мир России-Евразии. Антология. М., 1995, с. 393.

549

Письмо Л.Н. Гумилева П.Н. Савицкому, 19 апреля 1961 г.

Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М., 1993, с. 3.

551

Письма Л. Н. Гумилева А. Ахматовой от: 28 января 1953 г., августа 1954 г.

552

Письмо Л.Н. Гумилева А. Ахматовой от 9 января 1955 г.

553

Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М., 1993, с. 3.

554

А. Г. Грумм-Гржимайло (1894–1966) был членом Русского географического общества с 1927 г.; в 1934–1941 и 1946–1951 гг. заведовал библиотекой РГО, во время войны был в армии, позже работал в Москве — в издательстве АН СССР.

555

Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М., 1993, с. 95.

Там же, с. 4.

Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М., 1993, с. 5.

«Панорама-форум», 1997, № 1, с. 120.

Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. М., 1993, с. 107.

Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М., 1993, с. 35.

561

Вернадский Г. В. Древняя Русь. Тверь-Москва, 1996, с. 377.

Кляшторный С. Формирование древнетюркской государственности: от племенного союза до Первого Тюркского каганата. — «Панорама-форум», 1997, № 1, с. 121–122.

Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. М., 1993, с. 108.

Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М., 1993, с. 5.

Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991, с. 145.

«Панорама-форум», 1997, № 1, с. 123,

Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991, с. 145.

Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия Л., 1926, с. 79.

569

Гумилев Л. Н. Из истории Евразии. М., Искусство, 1993, с. 57.

Там же, с. 57.

Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. М., 1993, с. 111.

Мир Льва Гумилева. Арабески истории. М., 1994, с. 292–293.

Там же, с. 157.

Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М., 1993, с. 6.

575

Из рецензии на рукопись книги Л. Н. Гумилева «Политическая история Первого Тюркского каганата».

Нарочницкая Н. Борьба за поствизантийское пространство. — «Наш современник», 1997, №4, с. 239.

Кляшторный С. Формирование древнетюркской государственности от племенного союза до Первого Тюркского каганата. — «Панорама-форум», 1997, № 1, с. 123.

Концепция Госпрограммы РФ «Возрождение и развитие тюркских народов России». Москва-Уфа, 1994, с. 27.

«Правда», 29–30 мая 1997 г.

Концепция Госпрограммы РФ «Возрождение и развитие тюркских народов России», Москва-Уфа, 1994, с. 38.

581

Гумилев Л. Н. Из истории Евразии. М., 1993, с. 71.

Там же, с. 19.

Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия Л., 1926, с. 209.

Там же, с. 219.

Гумилев Л. Н. Великая распря в Первом Тюркском Каганате в свете византийских источников. — «Византийский временник», т. XX. М., 1961.

Гумилев Л. Н. Биография тюркского хана в «Истории» Феофилакта Симокатты и в действительности. — «Византийский временник», т. XXVI, 1965, с. 68.

Гумилев Л. Н. Из истории Евразии. М., 1993.

Гумилев Л. Н. Биография тюркского хана в «Истории» Феофилакта Симокатты и в действительности. — «Византийский временник», т. XXVI, 1965.

589

Вернадский Г. В. Древняя Русь. Тверь-Москва, 1996, с. 191.

590

«Немногочисленный, но воинственный народ», как характеризует их Л.Н.

591

Гумилев Л. Н. Биография тюркского хана..., с. 71, 72.

Там же, с. 68.

593

Там же, с. 75.

594

Это северные склоны Хангая к западу от р. Орхон. В знаменитых орхонских надписях эта горная страна выставляется центром Турецкого ханства и резиденцией хана турок (Г. Е. Грумм-Гржимайло).

Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия Л., 1926, с. 218.

Там же, с. 225.

597

Письмо Л. Н. Гумилева А. А. Ахматовой, 5 февраля 1955 г.

Об этом свидетельствует и посвящение гумилевского «Открытия Хазарии»: «Мысли и чувства автора, возникшие во время пятилетнего путешествия по Хазарии, как в пространстве, так и во времени, или биография научной идеи. Написана в 1965 г. н. э. или в 1000 г. от падения Хазарского каганата и посвящена моему дорогому учителю и другу Михаилу Илларионовичу Артамонову».

599

Гумилев Л. Н. Открытие Хазарии. М., 1966, с. 11.

600

Палеогеография — наука о закономерностях развития географической оболочки Земли и истории взаимодействия природы и человека.

601

Артамонов М. И. История хазар. Л., 1962, с. 37.

602

Там же, с. 37.

603

Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., Наука, 1990, с. 53.

Там же, с. 3.

Заметим, что он сам не менее живо описал экспедицию 1961 года: Прохоров Г. М. Как Лев Николаевич открывал Хазарию. — «МЂра», 1994, №4, с. 144–157.

606

Письмо Л. Н. Гумилева П. Н. Савицкому 8 октября 1959 г.

607

Письмо Л. Н. Гумилева П. Н. Савицкому 28 января 1960 г.

608

Письмо Л. Н. Гумилева П. Н. Савицкому 1 сентября 1960 г.

609

Абросов В. Н. Гетерохронность периодов повышенного увлажнения гумидной и аридной зон. — «Известия ВГО», 1962, с. 4.

Гумилев Л. Н. Открытие Хазарии. М., 1996.

611

Там же, с. 64.

Шнитников А. В. Изменчивость общей увлажненности материков северного полушария. — Записки ГО СССР, т. XVI, М.-Л., 1957, с. 278.

«Общая газета», 1996, № 11.

614

Там же.

615

Подробнее о нем в рассказах А. П. Белавской и Г. М. Прохорова («МЂра», 1994, №4, с. 103–106, 109–111).

«Озеро Балхаш». Л., Наука, 1973; «Зональные типы лимногенеза». Л., Наука, 1982; «Видообразование в озерах». М., Наука, 1987. Вторая монография до сих пор служит теоретической основой докторских диссертаций; сам же В. Н. Абросов доктором, увы, не стал.

«Мѣра», 1994, №4, с. 105.

ВНИОРХ — Всесоюзный научно-исследовательский институт организации рыбного хозяйства.

619

Письмо Л.Н. Гумилева В. Н. Абросову, 25 января 1955 г. — «МЂра», 1994, №4.

620

Письмо Л. Н. Гумилева В. Н. Абросову, 3 марта 1955 г. — «МЂра», 1994, №4, с. 116.

Берг Л. С. Климат и жизнь. М., 1947, с. 87.

622

Письмо Л. Н. Гумилева В. Н. Абросову 26 августа 1955 г. — «Мѣра», 1994, № 4, с. 130.

623

Гумилев Л. Н. Открытие Хазарии. М., 1966, с. 29.

Там же, с. 30.

БергЛ. С. Климат и жизнь. Л., 1947, с. 93.

Названные в честь русского естествоиспытателя Карла Бэра небольшие возвышения в дельте, не покрывавшиеся водой и при подъеме Каспия.

Гумилев Л. Н. Открытие Хазарии. М., 1966, с. 33.

«Мѣра», 1994, №4, с. 149.

629

Алексин А., Гумилев Л. Н. Степная Атлантида. — В сб.: Гумилев Лев Н. Открытие Хазарии. М., 1996, с. 232–233.

Там же.

Атиль, по мнению А. Новосельцева, современного специалиста по Хазарии.

Гумилев Л. Н. Где стоял Итиль. — В сб.: Гумилев Лев Н. Открытие Хазарии. М., 1996, с. 229.

633

Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным. М., Прогресс, 1996, с. 101.

Гумилев Л. Н. Открытие Хазарии. М., 1966, с. 68.

635

Там же.

«Вестник ЛГУ», 1972, № 24, с. 166.

Гумилев Л. Н. Где стоял Итиль? — В сб.: Гумилев Лев Н. Открытие Хазарии. М., 1996, с. 229.

638

Прохоров Г. Как Лев Николаевич открывал Хазарию. — «МЂра», 1994, №4, с. 151.

Аполлов Б. А. Доказательство прошлых низких стояний уровня Каспийского моря. — «Вопросы географии», 1951, с. 138.

Гумилев Л.Н. Открытие Хазарии. М., 1966, с. 86.

641

Там же, с. 88.

642

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989, с. 50.

Гадло А. В. Этническая история Северного Кавказа X—XIII вв. СПб., 1994, с. 40.

644

Прохоров Г. Как Лев Николаевич открывал Хазарию. — «МЂра», 1994, №4, с. 156.

В архиве Л.Н. — целая пачка его писем. Интересно, что он узнал адрес Л.Н. через Н. Е. Андреева, знакомого П. Савицкого.

646

Письмо С. Шишмана Л. Н. Гумилеву, 31 декабря 1966 г.

647

Письмо П. Н. Савицкого Л. Н. Гумилеву, 25 июня 1964 г.

Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991, с. 277. См. таблицы в: Гумилев Л. Н. Гетерохронность увлажнения Евразии в древности. — «Вестник ЛГУ», 1966, № 6, вып. 1; Гумилев Л. Н. Гетерохронность увлажнения Евразии в средние века. — «Вестник ЛГУ», 1966, № 18, вып. 3.

Гумилев Л. Н. Открытие Хазарии. М., 1966, с. 57, 84.

Там же, с. 81, 83.

651

Там же, с. 85.

652

Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991, с. 248.

653

Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. М., Экопрос, 1993, с.27.

Гумилева Н. В. Вступительное слово к книге «Поиски вымышленного царства». М., Танаис, 1994, с. 18.

655

Там же, с. 19.

656

Балашов Д. М. Памяти учителя. — «Наш современник», 1993, № 8, с. 144.

Михайловский С. Н. Н. Пунин. Портрет в супрематическом пространстве. — «Нева», 1989, №6, с. 158.

Толстой Ю. К. Спор о наследстве А. А. Ахматовой. — «Правоведение», 1989, № 3.

Юрий Кириллович Толстой — доктор юридических наук, профессор ЛГУ, автор 200 трудов, в 1990–1991 гг. — член Комитета конституционного надзора СССР.

659

Ардов М. Легендарная Ордынка. — «Новый мир», 1994, №5, с. 117.

Толстой Ю. К. Спор о наследстве А. А. Ахматовой. — «Правоведение», 1989, № 3, с. 64.

661

ЧуковскаяЛ. Записки об Анне Ахматовой. 1963–1966. Т. 3. М., 1997, с. 277.

Там же, с. 27.

663

«Синяя звезда» — Елена Карловна Дюбуше, дочь известного французского хирурга. Ей посвящен цикл стихотворений Н. Гумилева «К Синей звезде».

664

Герштейн Э. Из воспоминаний. Письма Анны Ахматовой. — «Вопросы литературы», 1989, № 6, с. 252, 253.

665

Толстой Ю. К. Спор о наследстве — «Правоведение», 1989, № 3, с. 64.

Она была создана под председательством А.А. Суркова, многократно помогавшего А.А. при ее жизни.

Правда, И. Пунина кое-что передала безвозмездно, чтобы, вероятно, выглядеть покрасивее.

668

Из архива Л. Н. Гумилева.

669

Толстой Ю. К. Спор о наследстве, с. 68.

670

Этот альбом был в 1934 г. подарен Анне Андреевне Н. И. Харджиевым, который был бессильным свидетелем на процессе. На первом листе альбома надпись по-французски: «Князь Долгорукий, 1838». Первые пять страниц заполнены французскими стихотворениями. Ахматова вписывала в этот альбом окончательные редакции своих стихов.

Там же, с. 70.

«Новая газета», № 30, 1997.

673

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. 1963–1966. Т. 3, с. 15.

Там же, с. 502.

Чупринин С. Литература и Россия: размолвка или прощание навсегда. — «Общая газета», 11–17 декабря 1997 г.

Герштейн Э. Новое о Мандельштаме. Paris, Ateneum, 1986.

677

Там же, с. 116.

Там же, с. 118.

679

Там же, с. 119.

Там же, с. 121.

681

Там же, с. 122.

Там же, с. 123.

683

Там же, с. 153.

Он был однажды соавтором Л.Н., а после его смерти — инициатором и создателем «оливково-полосатой серии» — книг «Мир Л. Гумилева».

685

Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. М., Танаис, 1994, с. 45.

«Советская культура», 15 сентября 1988 г.

«История СССР», 1968, № 1, с. 235.

Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. М., 1970, с. 261.

689

Там же, с. 4.

690

Словарь современного русского литературного языка, т. 15. М. — Л., Изд-во АН СССР. 1963, с. 795.

691

Несторий — константинопольский патриарх (428–431), основатель направления, имевшего много приверженцев к востоку от Византии. Учил, что Мария является не Богородицей, а Христородицей, т. е. родила Христа как смертного человека. Был осужден Эфесским вселенским собором (431) как еретик.

Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. М., 1970, с. 11.

693

Географический нонсенс: реально Сузы — столица государства Элам в Двуречье, в IV в. до н. э. — резиденция персидских царей.

Там же, с. 234.

695

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990, с. 256.

Мир Льва Гумилева. — «Арабески истории». Т. 1. М., 1994, с. 286.

697

Письмо Г. В. Вернадского Л. Н. Гумилеву, 11 июня 1972 г.

Коллингвуд Р. Дж. Идеи истории. Автобиография. М., 1980, с. 256.

Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. М., Танаис, 1994, с. 470.

Гумилев Л. Н. «Тайная» и «явная» история монголов XII—XIII вв. — В кн.: Татаро-монголы в Азии и Европе. М.,1977, с. 485.

701

Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991, с. 121.

Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. М., 1970, с. 18.

703

Там же, с. 18.

Там же, с. 51.

Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Л.,1926.

706

Кидани — племенной союз, впервые упоминающийся во второй половине IV в. Кидани жили в долине р. Ляохэ. В VIII—IX вв. сложилось раннее киданьское государство с государем (ваном), штатом чинов, армией и административным делением на восемь «бу» (округов). Киданьское государство до 936 г. официально называлось «государство киданей», с 937 по 1013 г. — «Великое Ляо».

Гумилев Л. Н. Из истории Евразии. М., 1993, с. 61.

Там же, с. 60.

709

Гумилев Л. Н. Китайская хронографическая терминология в трудах Н. Я. Бичурина. — В кн.: Собрание сведений по исторической географии Восточной и Средней Азии. Чебоксары, 1960, с. 665.

Это, правда, уже «красоты стиля» Л.Н.: Байкал всегда полон.

711

Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства, с. 71.

712

Кычанов Е. И. Очерки истории Тангутского государства. М., 1968, с. 78.

713

Онон — река в нынешней Читинской области, начинается в пределах МНР, затем, слившись с рекой Ингодой, образует Шилку — левый приток Амура.

Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного царства. М., 1970, с. 97.

715

Река Керулен в восточной части Монголии, впадает в озеро Далайнор.

Там же, с. 103.

Там же, с. 116.

В работе 1977 г. Л.Н. именует их «кэраиты», в книге Е. Кычанова они получили название «кереиты».

719

Там же, с. 106.

720

Учение перса Мани (216–273), являющееся объединением вавилоно-халдейских, иудейских, христианских, иранских (зороастризм), гностических представлений. Согласно манихейским взглядам, в мире идет постоянная борьба света и тьмы, добра и зла. Моральные каноны Мани требовали строжайшего воздержания, особенно в отношении питания, половой жизни и физического труда... Л.Н. отмечал, что это учение вызывало отвращение всюду, где оно проповедовалось, — в Риме, Иране и Китае. Только уйгуры приняли манихейство как государственную религию, но большая часть их тяготилась этой религией.

721

Монгольское слою «найма» значит «восемь» — именно столько родов было в их племени; Л.Н. шутливо называл их «восьмерочники».

Гумилев Л. Н. Черная легенда. М., Экопрос, 1994, с. 88.

723

Гумилев Л.Н. Поиски, с. 107–109.

Гумилев Л. Н. Черная легенда, с. 53.

725

Гурханами становились вожди объединенных племен.

Гумилев Л. Н. Поиски..., с. 133.

Там же, с. 134, 135.

Там же, с. 137, 138.

729

Там же, с. 152.

730

Государство Хорезмшахов объединяло тогда большую часть Средней Азии, весь нынешний Афганистан и весь Иран (кроме Хузистана). Оно простиралось от Арала и низовьев Сырдарьи на севере до Персидского залива на юге, от Памира на востоке до гор Загроса на западе.

731

Там же, с. 71.

Гумилев Л. Н. Из истории Евразии. М.,1993, с. 71.

Цит. по кн.: Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1977, с. 301.

Там же, с. 391.

Л.Н. гордился им и всем рассказывал, что на черном рынке оно шло за тридцатку — бешеные деньги по тому времени!

Гумилев Л. Н. Черная легенда, с. 80.

Гумилев Л. Н. От Руси к России. М., Экопрос, 1992, с. 105.

Превращение Ляо в химерное образование Л.Н. объяснял увлечением его населения чуждой ему китайской культурой.

Гумилев Л. Н. Черная легенда, с. 102.

Там же, с. 90.

Там же.

Там же, с 99. Это подтвердил и немецкий исследователь фон Эрдман (Грумм-Гржимайло Г. Е. Указ. соч., с. 38).

Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1977, с. 31.

Там же, с. 34.

Гумилев Л. Н. Черная легенда. М., 1994, с. 103.

Трубецкой Н. Наследие Чингисхана. — В кн.: «История, наука, язык». М., Прогресс, 1995, с. 215.

Ему — владыке Сарскому и Подольскому (XIII-XIV вв.) было посвящено стихотворение П. Савицкого:

Владыка Сарский и Подольский,
Вокруг тебя кипит Сарай:
В нем на базарах топот конский,
И бойкий торг, и псовий лай...

Гумилев Л. Н. Происхождение событий. — В кн.: «Арабески истории», кн. I.М.,1994, с. 20.

Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. М., 1970, с. 343.

Рыбаков Б. А. О преодолении самообмана. — «Вопросы истории», 1971, № 3.

751

Там же, с. 12.

«Вопросы истории», 1971, №3, с. 13.

Гумилев Л. Н. Поиски..., с. 184.

«История СССР», 1990, №4, с. 129.

755

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., Мысль, 1989, с. 492.

756

Идеократия — власть идей, идеалов. Термин евразийцев!, противопоставление «власти материи», «рыночной системе».

Кожинов В. В. Византийское и монгольское «наследство» в судьбе России. — «Российский обозреватель», 1996, № 3, с. 103.

Там же, с. 104.

Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. М., Танаис, 1994, с. 454 (комментарий).

Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства, с. 203.

Матузова В. И. Английские средневековые источники. М., Наука, 1979, с. 232.

Гумилев Л.Н. Поиски..., с. 205, 216, 222.

763

Гумилев Л. Н. Из неопубликованного. Дается по рукописи «Черной легенды». (Поиски вымышленного царства. Танаис, с. 455.)

Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т.VIII. М., 1935, с. 85.

765

Маркс К. Хронологические выписки. — «Архив К. Маркса, Ф. Энгельса».Т. V. М., 1938, с. 221.

Marx K. Secret Diplomatic History of the Eighteenth Century. London, 1899, p. 78.

Гумилев Л. Н. От Руси к России. М., 1992, с. 108.

Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1977, с. 11.

769

Там же, с. 210.

770

Записные книжки Анны Ахматовой (1908–1966). Москва-Турин, 1996, с. 449.

«Печатный двор», 22 сентября 1989 г.

К слову, академик К. К. Марков был изумительно светлой личностью, высокоинтеллектуальным человеком, но не имел никакого отношения к тем географическим сюжетам, которые занимали Л.Н.!

773

Письмо редактора журнала «Природа» И. Шишкина, 4 января 1974 г.

Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1977, с. 23.

Там же, с. 23.

Там же.

«Родина», 1997, №3/4, с. 86.

Там же.

«Der Spiegel», 1996, № 16, 5. 184.

Гумилев Л. Н. Тайная и явная история монголов XIII-XIV вв. — В кн.: Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1977, с. 495.

781

Там же, с. 486.

Именно по этой версии отмечалась его память в Монголии и КНР.

Кычанов Е. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., 1977, с. 190.

784

Боцзиле, бочихе — чжурчжэньский титул, приблизительный эквивалент титулу «лорд».

785

Цит. по кн.: Кычанов Е. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., 1997, с. 180.

Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Л., 1926, с.402.

Гумилев Л. Н. От Руси к России. М., 1992, с.97.

Гумилев Л. Н. Черная легенда. М., 1994, с. 102.

789

Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия , с. 408.

Вернадский Г. В. О составе великой Ясы Чингисхана. — Исследования и материалы по истории России и Востока. Вып. 1. Брюссель, 1939, с. 39.

791

Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия , с. 439.

Вернадский Г. В. Начертание русской истории. Прага, 1927, с. 71.

793

Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 1. М., 1993, с. 372.

Грумм-Гржимайло Г. Е. Указ. соч., с. 409; Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры, ч. 1. М., 1993, с. 370.

Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. М., 1970, с. 157; Гумилев Л.Н. От Руси к России. М., 1992, с. 432.

Вернадский Г. В. Начертание русской истории. Прага, 1927, с. 71.

Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного царства, с. 157.

Там же, с. 274.

Там же, с. 275.

800

По-разному в разное время именовали его наши историки.

801

Бартольд В. В. Образование империи Чингисхана. — Записки Восточного отделения Императорского Русского археологического обшества. Т. X, 1896. СПб., 1897, с. 113.

802

Вернадский Г. В. Начертание русской истории. Прага, 1927, с. 71.

803

Гумилев Л. Н. Черная легенда. М., 1994, с. 266.

Евразийство (опыт систематического изложения). Евразийское книгоиздательство. Прага, 1926, с. 38.

805

Цит. по: «Евразийский временник», 1927, с. 26.

Гумилев Л. Н. Черная легенда. М., Экопрос, 1994.

«Советская Татария», сентябрь—ноябрь, 1990.

808

Ермолаев В. Ю. Предисловие к сб.: Гумилев Л. Н. Черная легенда. М., Экопрос, 1994, с. 9–10.

809

Гумилев Л. Н. Черная легенда, с. 112.

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989, с. 512.

811

Гумилев Л. Н. Черная легенда, с. 135.

812

Ермолаев В. Ю. Предисловие к сборнику «Черная легенда», с. 15.

813

Гумилев Л. Н. Черная легенда, с. 142.

814

Там же, с. 143.

815

Гумилев Л. Н. Апокрифический диалог. — «Нева», 1988, № 3, с. 197.

Гумилев Л. Н. Черная легенда, с. 35.

817

Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991, с. 291.

818

Там же, с. 112. Тарент — это современное Таранто.

819

Козлов П. К. Северная Монголия. М., 1963, с. 17.

Город-экосистема. М., Медиа-пресс, 1997, с. 292.

821

Гумилев Л. Н. Черная легенда, с. 41.

Россия и латинство. Берлин, 1923, с. 33.

823

Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., Мысль, 1993, с. 146.

Шубарт В. Европа и душа Востока. М., Русская идея, 1997.

825

Там же, с. 309, 310.

цит по; Щубарт В. Европа и душа Востока. М., 1997, с. 370, 371.

827

Там же, с. 7.

828

Там же, с. 11.

829

Там же, с. 14,15.

830

Там же, с. 17, 18.

831

Там же, с. 28.

Там же, с. 33.

833

Там же, с. 127, 125.

Там же, с. 114.

835

Цит. по: Назаров М. Смысл истории. — В кн.: Шубарт В. Европа и душа Востока. М., 1997, с. 436.

836

Гумилев Л. Н. Черная легенда. М., Экопрос, 1994, с. 178.

837

«Постижение истории» впервые появилось в русском переводе в 1991 г., а «Цивилизация перед судом истории» — еще позже, в 1995 г.

838

Там же, с. 179.

839

Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. М., Экопрос, 1993, с. 302.

840

Малахов В. «Война культур» или интеллектуалы на границах. — «Октябрь», 1997, №7, с. 154.

841

Вебер Макс. Избранные произведения. М., 1990, с. 308.

842

Уколова В. И. «Старомоден» ли профессор Тойнби? — В кн.: Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1995, с. 12.

843

Там же, с. 156.

Это понятие не принадлежит Тойнби, который о нем не знал.

845

Уколова В. И. «Старомоден» ли профессор Тойнби? — В кн.: Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1995, с. 156.

Тойнби А. Дж. Цивилизация перед суцом истории. М., 1995, с. 157.

847

Там же, с. 160.

Цит. по: «Октябрь», 1997, №7, с. 152.

849

Азиатский поступок (нем.).

850

Там же, с. 155. Э. Нольте стал широко известен после нашумевшей в 80-х гг. в ФРГ дискуссии, получившей название «Спор историков».

Он, правда, наивно полагал, что в России происходит «возрождение интереса к идеям П. Савицкого».

Huntington Samuel P., The Clash of Civilizations. Europaverlag, München-Wien, 1997, p. 525.

853

Хантингтон С. Запад уникален, но не универсален. — «Мировая экономика и международные отношения», 1997, № 7, с. 84, 85.

Braudel F. On History. Chicago, 1980, p. 213.

«СПб Панорама», сентябрь, 1997, с. 70.

Зиновьев А. А. Запад. Феномен западнизма. М., 1995.

857

Евразия: народы, культура, религия, 1993, № 1, с. 37.

La caduta dell Impero del Male. Турин, 1994, с. 128.

859

Есин С. Персонажи смуты. — «Советская Россия», 5 марта 1998 г.

Кьезе Дж. Прощай, Россия. М., 1997, с. 257.

861

Там же, с. 260.

862

Вернадский В. И. Научная задача момента. — «Донская речь», 26 декабря 1919 г.

«Родина», 1997, № 3–4, с. 86–89, 91.

864

Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. М., Прогресс, 1993, ч. I, с. 372.

865

Гумилев Л. Н. От Руси до России. Очерки по русской истории. М., Дрофа, 1996, с. 132.

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., Мысль, 1989.

867

Там же, с. 467.

868

Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971, с. 8, 35.

869

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь, с. 471–477.

870

Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 1. М., Прогресс, 1993, с. 365.

871

Там же, с. 373.

872

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь, с. 485.

Там же, с. 471.

Каргалов В. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси. М., 1967, с. 49.

875

Там же, с. 478.

Якубовский А. Феодальное общество Средней Азии и его торговля с Восточной Европой в X—XV вв. Вып. 3, ч. 1. Л., 1932, с. 24.

877

Гумилев Л. Н. Слависты и номадисты. — «Русская литература», 1988, № 2, с. 228.

Хара-Даван Э. Чингисхан как полководец и его наследие. Элиста, 1991, с. 159.

Кожинов В. В. «Монгольская эпоха» в истории Руси и истинный смысл и значение Куликовской битвы. — «Наш современник», 1997, № 3, с. 194.

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь, с. 490.

881

Там же, с. 492.

882

Там же, с. 498.

883

Там же, с. 505.

Там же, с. 507.

885

Хара-Даван Э. Чингисхан как полководец и его наследие, с. 168.

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., Мысль, 1989, с. 539.

887

Феннел Джон. Кризис средневековой Руси. М., 1989, с. 213.

Вернадский Г. В. Русская история. М., Аграф, 1997, с. 69, 70.

В «Евразийском временнике» (1925 г.) была его статья, озаглавленная однозначно: «Два подвига Александра Невского».

889

Вернадский Г. В. Русская история. М. Аграф, 1997, с. 71.

Шмурло Е. Русская история. М., Аграф, 1997, с. 104.

891

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь, с. 523, 527.

892

Там же, с. 524.

893

Гумилев Л. Н. Историко-философские сочинения князя Н. Трубецкого. — В кн.: Трубецкой Н. С. История, культура, язык. М., Прогресс, 1995, с. 29.

894

Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Л., 1926, с. 206.

895

Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. Л., Наука, 1978, с. 107.

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь, с. 527.

897

Там же, с. 532.

Хара-Даван Э. Чингисхан как полководец и его наследие, с. 160. Оценка в 20 тысяч многократно подтверждается разными источниками и авторами (Мункуев Н. Заметки о древних монголах. — В кн.: Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1977, с. 397, 398).

899

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 24, с. 633, 635.

900

Гумилев Л. Н. От Руси до России. М., Дрофа, 1997, с. 538.

901

Там же, с. 542.

Федоров С. А. Донцы в наследии Чингисхана. — «Вольное казачество». Прага, 1928.

903

Хара-Даван Э. Чингисхан как полководец и его наследие, с. 193.

904

Там же, с. 192.

905

Кожинов В. В. «Монгольская эпоха» в истории Руси и истинный смысл и значение Куликовской битвы. — «Наш современник», 1997, № 3, с. 184, 185.

Павлов П. П. К вопросу о русской дани в Золотую Орду. — В кн.: Ученые записки Красноярского педагогического института, 1958.

907

Бартольд В. В. История изучения Востока в Европе и России. Л., 1926.

908

Кульпин Э. С. Путь России, М., 1995. — Цит. по: Цымбурский В. Л. От великого острова Руси.... — «Полис», 1997, № 6, с. 48.

909

Шмурло Е. Русская история. М., Аграф, 1997, с. 124.

910

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., Мысль, 1989, с. 543.

Там же, с. 548.

912

Гумилев Л. Н. От Руси до России. М., Дрофа, 1997, с. 171.

913

Евразийство (опыт систематического изложения). Евразийское книгоиздательство, 1926, с. 29.

914

Гумилев Л. Н. Год рождения 1380... — «Декоративное искусство», 1980, № 12, с. 34.

915

Там же, с. 34.

Там же, с. 35.

Кожинов В. В. Цит. соч., с. 191.

918

Там же, с. 189.

919

Успенский Ф. И. История Византийской империи. Т. 111. М., Мысль, 1997, с. 597, 598.

920

Его называли темником, т. к. первоначально он командовал тьмой — десятью тысячами воинов.

921

Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Л., 1926, с. 550.

922

Гумилев Л. Н. От Руси до России. М., Дрофа, 1997, с. 173.

923

Гумилев Л.Н. Год рождения 1380-й, с. 35.

Кожинов В.В. Цит. соч., с. 180, 185.

925

Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1995, с. 158.

926

Гумилев Л.Н. Год рождения 1380-й, с. 35.

927

Там же, с. 35.

928

Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край, с. 551.

Это был В. Гольцов — один из редакторов аджубеевских «Известий».

930

Латпманизов М. Разговоры с Ахматовой. — «Родная литература», 1989, № 3, с. 85.

«Этногенез и социальная география городов России».

«Знамя», 1988, № 1.

933

Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991, с. 48.

934

Бромлей Ю. В. Человек в этнической (национальной) системе. — «Вопросы философии», 1988, № 7.

935

Предисловие к книге: Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1990, с.4.

Там же, с. 8, 12.

937

Цит. по: Жолковский А. Анна Ахматова. Пятьдесят лет спустя. — «Звезда», 1996, №9, с. 217.

938

Там же, с. 212.

939

«Звезда», 1989, № 6, с. 133.

940

Там же, с. 132.

941

Лукницкий П. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 2, 1926–1927. Париж, Имка-пресс — Русский путь, 1997, с. 187, 106.

942

Там же, с. 132.

Вот некоторые стихи А.А., в которых возникала «Лёвина тема»:

Вот и доспорился яростный спорщик
До енисейских равнин.
Вам он — бродяга, шуан, заговорщик,
Мне он — единственный сын.

А вот менее известное 30-х гг.:

Семь тысяч три километра
Не услышишь, как мать зовет,
В грозном вое полярного ветра,
В тесноте обступивших невзгод.

Цит. по: Носик Б. Анна и Амадео. М., Радуга, 1997, с. 173.

945

Срезневская В. С. Воспоминания. — «Искусство Ленинграда», № 2, 1989, с. 57.

Лукницкий П. Цит. соч., с. 192.

947

Там же, с. 337.

948

Цит. по: Носик Б. Анна и Амадео. М., Радуга, 1997, с. 185. Кстати, в «Записных книжках» Ахматовой А. Модильяни поминается куда чаще, чем Л.Н.

949

«Звезда», 1989, № 6, с. 97.

Там же.

951

Жолковский А. Анна Ахматова. Пятьдесят лет спустя. — «Звезда», 1996, №9, с. 216, 217–219.

952

Там же, с. 211.

953

Будыко М. Рассказы Ахматовой. — «Звезда», 1989, № 6, с. 85.

954

Роскина Н. Как будто прощалась снова... — «Звезда», 1989, № 6, с. 10.

955

Анреп Борис. О черном кольце. — «Звезда», 1989, № 6, с. 61.

956

Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). Москва-Турин, 1996, с. 230.

957

Там же, с. 264.

Там же, с. 697.

959

«Литературная газета», 4 января 1989 г.

«Аврора», 1991, №11, с. 12.

961

Герштейн Э. Книга жизни. Предисловие к «Записным книжкам Анны Ахматовой (1958–1966)», Москва-Турин,1996, с. XIII.

Я уже ссылался на ее воспоминания «Новое о Мандельштаме» (Париж, 1986) в связи с разграблением архивов, а в 1998 г. в журнале «Знамя» вышли ее новые записки «Надежда Мандельштам» (№ 2, 1998).

963

«Общая газета», 19–25 марта 1998 г.

964

Герштейн Э. Книга жизни. Предисловие к «Записным книжкам Анны Ахматовой (1958–1966)», Москва-Турин, 1996, с. XIII.

Там же, с. XII.

Там же, с. 667.

967

«Звезда», 1989, № 6, с. 151.

Там же, с. 132.

969

Герштейн Э. Книга жизни. Предисловие к «Записным книжкам Анны Ахматовой (1958–1996). Москва-Турин, 1996, с. XIII.

Думается, что выпадение А. Сахарова из «обоймы» не случайно — ведь в памяти многих осталась его фотография перед гостиницей «Москва». На плакате, который он держит в руках, лозунг «Вся власть Советам!». Кому это сейчас нужно?

Гумилев Л. Н. Черная легенда. М., 1994, с. 273.

972

Гумилев Л. Н. Вино и виноградники. — «Природа», 1977, № 6, с. 147–149.

«Молодая гвардия», 1982, № 1.

Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. СПб., 1904, с. 92–93.

Во множественном числе, т. к. критиковался за «гумилевщину» и В. Кожинов.

Кузьмин А. Хазарские страдания. — «Молодая гвардия», № 5–6, 1993.

Там же, с. 231–252.

Там же, с. 234.

979

Кузьмин А. Священные камни памяти. — «Молодая гвардия», 1982, № 1, с.256.

980

Там же, с. 261.

«Звезда», № 10, 1995.

982

Лурье Я. С. Из книги «История России в летописаниях и восприятии нового времени». — «Звезда», 1990, № 10, с. 234.

983

Там же, с. 235, 237.

Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. М., Наука, 1970, с. 348.

985

Письмо Л. Н. Гумилева П. Н. Савицкому, 19 апреля 1961 г.

«Звезда», №10, 1990, с. 235.

987

«Юность», 1990, № 2, с. 5.

См. главу 9.4.

989

Бартольд В. В. Образование империи Чингисхана. — Записки Восточного отделения Императорского Русского археологического общества. Том X. 1896, СПб., 1897, с. 111.

Савицкий П. Н. Континент Евразия. М., 1997, с. 429.

991

Предисловие к книге: Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990, с. 8.

992

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990, с. 71.

993

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Автореферат докторской диссертации. ЛГУ, 1973, с. 5.

Широкогоров С. М. Этнос. Шанхай, 1923.

995

Там же, с. 3.

Крюков М. Мы, вы, они... — «Знание—сила», 1985, № 3, с. 33.

Широкогоров С. М. Этнос. Шанхай, 1923, с. 28, 88.

998

Если руководствоваться «Географическим энциклопедическим словарем» (М., 1988), то этнография и этнология — синонимы, что вряд ли верно.

999

Там же, с. 20.

1000

Там же, с. 33.

1001

Там же, с. 13.

1002

Там же, с. 76, 124.

1003

Там же, с. 119.

1004

Там же, с. 121.

1005

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л.,1990, с. 22.

1006

Географический энциклопедический словарь. М., 1988, с. 351.

1007

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990, с. 22.

1008

Там же, с. 24.

1009

Широкогоров С. М. Этнос. Шанхай, 1923, с. 14.

1010

Гумилев Л. Н. Этносфера: история людей и история природы. М., Экопрос, 1993, с. 25.

1011

Артамонов М. И. Опять «герой» и «толпа». — «Природа», 1971, №2, с. 75.

1012

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990, с. 35.

1013

Гумилев Л. Н. Никакой мистики. — «Юность», 1990, № 2, с. 6.

1014

Гумилев Л. Н. О термине «этнос». — Доклады отделений и комиссий ГО СССР, вып. 3. Л., 1967, с. 14–15.

1015

Гумилев Л. Н. Этногенез — природный процесс. — «Природа», 1971, № 2, с. 80.

1016

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Автореферат докторской диссертации, с. 3.

1017

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989, с. 329.

1018

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2 изд., т. 42, с. 124.

«Молодая гвардия», 1975, № 12.

1020

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990, с. 24.

1021

Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991, с. 27.

1022

Гумилев Л. Н. Черная легенда. М., Экопрос, 1994, с. 268.

1023

Из архива Л.Н. Гумилева.

1024

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990, с. 95.

1025

Гумилев Л. Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 1993, с. 99.

1026

Letter Hochschule Deutschland, 1998, 1, 8. 16.

1027

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. — «Полис», 1994, № 1.

1028

Гумилев Л. Н. О термине «этнос». — Доклады ГО СССР. Л., 1967, вып. 3, 4.

1029

Бромлей Ю.В. Этнос и география. М., Наука, 1973, с. 99.

1030

Гумилев Л. Н. Этногенез и этносфера. — «Природа», 1970, № 1, с. 11.

1031

«Знание—сила», 1985, №3, с. 34.

1032

Иванов К. П. Взгляды на этнографию: или есть ли в советской науке два учения об этносе? — «Известия ВГО», 1985, вып. 3.

Конечно, здесь вклад Л.Н. и Ю. В. Бромлея просто несоизмерим; серия гумилевских статей «Этнос и ландшафт» (в «Известиях ВГО») дала принципиально новые и вошедшие в науку понятия («вмещающий ландшафт», «кормящий ландшафт»). Сам автор гордо именовал эту серию статей «сюитой».

1034

Гумилев Л. Н. Этносфера: история людей и история природы. М., Экопрос, 1993, с. 11.

1035

Трубецкой Н. С. История, культура, язык. М., Прогресс, 1995, с. 34.

1036

Гумилев Л. Н., Панченко А. М. Чтобы свеча не погасла. Диалог. Л., 1990, с. 19.

1037

Гумилев Л. Н. Письмо в редакцию «Вопросов философии». — «Вопросы философии», 1989, №5, с. 157.

1038

Ксения — буквально «гостья» — вариант симбиоза, группа иноземцев, живущая замкнуто.

1039

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989, с. 63.

1040

«Вопросы философии», 1989, № 5, с. 158.

1041

«Наш современник», 1996, №4, с. 207–216.

1042

Моисеев Н. Н. Сумерки России. — «Наш современник», 1994, №3, с. 117.

1043

Гумилев Л. Н. Меня называют евразийцем... — «Наш современник», 1991, № 1, с. 132

1044

Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., Наука, 1983, с. 213–214.

1045

Кузьмин А. Священные камни памяти. — «Молодая гвардия», 1981, № 1, с. 256.

1046

Гумилев Л. Н. Этносфера: история людей и история природы. М., Экопрос, 1993, с. 31.

1047

Гумилев Л. Н. Этногенез и этносфера. — «Природа», 1970, № 2, с.46, 47.

1048

Вернадский Г. В. Начертание русской истории. Прага, 1927, с. 71.

1049

Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т. 8. М., 1935, с. 23.

S. Huntington. Kampf der Kulturen. Munchen-Wien, 1997, s. 55.

1051

Гумилев Л. Н. География этноса в исторический период. Л., Наука, 1990, с. 36–41.

1052

Гумилев Л. Н., Панченко А. М. Чтобы свеча не погасла. Л., 1990, с. 20.

1053

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990, с. 263.

1054

Гумилев Л. Н. Мы живем в большой коммунальной квартире. — «Неделя», 1991, № 6.

1055

Там же.

1056

Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991, с. 142.

Иванов Г. Мемуары и рассказы. Париж-Нью-Йорк, 1992, с. 42;

1058

Доливо-Добровольский А. В. Образ отца Н. С. Гумилева в трудах его сына Л. Н. Гумилева. — В сб.: «Гумилевы и Бежецкий край», Бежецк, 1996, с. 35–37.

1059

Из письма Ф. Сологубу с фронта 6 июля 1915 г. — Гумилев. Н. С. Неизданное. Париж, ИМКА-пресс, 1980, с. 127. 65 Там же, с. 132.

1060

Айхенвальд Ю. Поэты и поэтессы. М., 1922, с. 37. Удивительно, что это было напечатано в 1922 г. в Москве.

1061

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990, с. 288–289.

1062

Цит. по: Huntington S. Kampf der Kulturen. Munchen-Wien, 1997, 3. 55.

1063

Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. М., 1997, с. 157.

1064

Той самой схеме, которая была его гордостью и которая сейчас висит у него дома, справа от письменного стола.

1065

Учение Л. Н. Гумилева: опыт осмысления. Материалы научных чтений. М., 1998, с. 10.

1066

Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991, с. 14–17.

1067

Там же, с. 18.

1068

Гумилев Л. Н. Никакой мистики. Интервью. — «Юность», 1990, №2, с.4.

1069

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990, с. 258.

Там же, с. 615.

1071

Там же, с. 616.

1072

Гумилев Л. Н. Никакой мистики. — «Юность», № 2, с. 5.

1073

Гумилев Л. Н. Меня называют евразийцем. — «Наш современник», 1991, № 1, с. 132.

1074

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990, с. 326, 327.

1075

Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки. М., 1981, с.233.

1076

Гумилев Л. Н. Этносфера: история людей и история природы. М., Экопрос, 1993, с. 26.

1077

Там же, с. 26.

1078

В одной черновой записке Л.Н. излагались аргументы против двух первых гипотез: если бы солнечная активность была основной причиной, не было бы тех длинных полос («шрамов»), если бы — распад, то непонятно, как живут люди у месторождений урановой руды. Увы, все не так просто.

1079

Вернадский Г. В. Московское царство. Т. 2. М., 1997, с. 255.

1080

Учение Л. Н. Гумилева: опыт осмысления. М., 1998, с. 36.

1081

Там же, с. 50, 52.

1082

Максимов Е. В. Ритмы на Земле и в космосе. СПбГУ, 1995, с. 292.

1083

Там же, с. 297.

1084

Ученые спорят до сих пор и будут спорить еще долго; но они сходятся в одном — поэтически «толчки» гениально были объяснены отцом Л.Н.:

Убивая и воскрешая.
Набухать вселенской душой —
В этом воля земли святая,
Непонятная ей самой.

1085

Гумилев Л. Н. Этносфера: история людей и история природы. М., Экопрос, 1993, с. 311.

1086

Чемерисская М. И. Лев Николаевич Гумилев и его научное наследие. — «Восток», 1993, № 3, с. 180.

1087

ПанченкоА. М. Идеи Л. Н. Гумилева и Россия XX века. — В кн.: Гумилев Л. Н. От Руси до России. М., Танаис, 1994, с. 15.

1088

«Бежецкая жизнь», 11 июня 1997 г.

1089

Гумилев Л. Н. Никакой мистики. — «Юность», 1990, № 2, с. 5.

Гумилев Л. Н. Черная легенда. М., 1994, с. 247–323.

1091

Гумилев Л. Н. И тогда мне поставили пять. — «Час пик», 16 марта 1993 г.

1092

Гумилев Л. Н. Заметки последнего евразийца. — «Наше наследие», 1991, № 3, с. 21.

1093

Гумилев Л. Н. О людях, на нас не похожих. — «Советская культура», 1988, 15 сентября.

«Советская Россия», 18 сентября 1997 г.

1095

«Новый Петербург», 27 марта 1997 г.

Гумилев Л. Н. Черная легенда. М., 1994, с. 290.

1097

Гумилев Л. Н. И тогда мне поставили пять. — «Час пик», 1993, 16 июня (интервью взято в 1989 г.).

1098

Гумилев Л. Н. Заметки последнего евразийца. — «Наше наследие», 1991, № 3, с. 20.

1099

«Новый Петербург», 27 марта 1997 г.

1100

Если в 1992 г. газета печатала трогательно-проникновенные некрологи Л. Гумилева и К. Иванова, то уже через пару лет именовала Ученого «идеологом русского фашизма».

1101

«Правда», 30 июля 1997 г.

1102

«Завтра», 1997, № 5.

1103

Валлерстайн И. Социальная наука и коммунистическая интерлюдия, или К объяснению истории современности. — «Полис», 1997, № 2, с. 11.

1104

«Социум», 1992, №9, с. 81.

1105

Кстати сказать, точку зрения о полицентричности и многомерности мира разделял с Л. Гумилевым и А. Дж. Тойнби.

1106

Дугт А. Постлиберальная эра. — «Завтра», 1998, №21.

1107

Гумилев Л. Н. Черная легенда. М., 1994, с. 263.

1108

Там же, с. 256.

1109

Гумилев Л. Н. Мы живем в большой коммунальной квартире. — «Неделя», 1991, № 6.

1110

Там же.

1111

«Советская Россия», 18 сентября 1997 г.

1112

«Час пик», 1991, № 2.

1113

«Советская культура», 15 сентября 1988 г.

1114

Трубецкой Н. С. Общеевразийский национализм. — «Евразийская хроника», вып. IX. Париж, 1927, с. 29.

1115

Гумилев Л. Н. Черная легенда. М., 1994, с. 292.

1116

Гумилев Л. Н. Из черновиков.

1117

Гумилев Л. Н. Черная легенда. М., 1994, с. 297.

1118

Гумилев Л. Н. Меня называют евразийцем. — «Наш современник», 1991, № 1, с. 140.

1119

Гумилев Л. Н. Объединиться, чтобы не исчезнуть. — «Час пик», 1991, №3.

1120

«Санкт-Петербургские ведомости», 9 июля 1998 г.

1121

Казинцев А. Русская ойкумена. — «Наш современник», 1992, № 12, с. 188.

1122

Гумилев Л. Н. Черная легенда. М., 1994, с. 270.

1123

Кургинян С. Содержание нового интернационализма. Доклад на заседании клуба «Содержательное единство». 23 июня 1994 г., с. 21.

1124

Жданов Ю. Государство-континент. — В сб.: «Стратегия национальной политики РФ на Северном Кавказе». Ростов-на-Дону, 1995, с. 24.

1125

«Известия», 23 июня 1989 г.

1126

В 1997 г. президент М. Шаймиев, впервые посетивший Санкт-Петербург и пробывший там всего один день, нашел время съездить на могилу Л.Н.

1127

Хакимов Р. Россия и Татарстан: у исторического перекрестка. — «Панорама-форум», 1997, № 1, с. 58. Еще резче и, увы, обоснованнее, он же в другой статье: «Мы видим реальную национальную политику (России) в образе чеченской войны» («Панорама-форум», 1997, № 11, с. 36).

1128

«Независимая газета», 28 декабря 1993 г.

1129

Гумилев Л. Н. Объединиться, чтобы не исчезнуть. — «Час пик», 1991, № 3.

1130

Гумилев Л. Н. В Горбачеве я вижу Августа. — «Союз», № 18, 1991.

1131

Гумилев Л. Н. И тогда мне поставили пять. — «Час пик», 1993, 16 июня.

1132

«Комсомольская правда», 25 июля 1997 г.

1133

Солженицын А. Лицемерие на исходе XX века. — «СПб ведомости», 27 сентября 1997 г.

1134

«Новая газета», 1998, №21.

1135

Гумилев Л. Н. Мы живем в большой коммунальной квартире. — «Неделя», 1991, № 16.

1136

Гумилев Л. Н. Апокрифический диалог. — «Нева», 1988, № 3, с. 202.

1137

Гумилев Л. Н. Черная легенда. М., Экопрос, 1994, с. 257.

1138

Там же, с. 289.

1139

«Советская Россия», 13 сентября 1997 г.

1140

«СПб ведомости», 26 июля 1997 г.

1141

«Известия», 2 июля 1997 г.

1142

«Советская Россия», 14 мая 1998 г.

1143

Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 1. М., 1993, с.7.

1144

Сувчинский П. К преодолению революции. — «Евразийский альманах», 1993, Наука, с. 58.

1145

Гадло А. В. Этническая история русского народа как проблема отечественной историографии второй половины XX века. — «Вестник СПб университета», 1995, № 2, с. 3.

1146

Там же.

1147

Аннинский Л. Меж немцами и татарами. — «Родина», 1998, № 4, с. 16.

1148

По подсчетам Б. А. Рыбакова, таких княжеств в XII в. было 15, а в XIV — 250! («Родина», 1998, № 4).

1149

Там же, с. 17.

1150

«Панорама-форум», 1997, №1, с. 37.

1151

«Бюллетень № 2 совместного заседания Совета Союза и Совета национальностей 26 августа 1991 г.», с. 6.

1152

В одном романе-памфлете это слово — порождение распада страны — зло обыгрывается: «Теперь их называли россиянами, на это прозвище они охотно откликаются, не сознавая, что в этом слове заключена некая неопределенность, безнадежность, отражающая всю иллюзорность их пребывания на Земле» (А. Афанасьев).

1153

Махнач Вл. Империя в мировой истории. — В кн.: Неизбежность империи. М., Интеллект, 1996, с. 51, 52.

1154

Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991, с. 170 и далее.

1155

«Книжное обозрение», 1998, № 20.

1156

Учение Л. Н. Гумилева: опыт осмысления. Материалы научных чтений. М., 1998, с. 96.

1157

В связи с переездом Л.Н. в комнату на Московском проспекте.

см. Переписка Л.Н. Гумилева с Н.В. Тимофеевым-Ресовским и его учеником Н.В. Глотовым — *прим. ред.*

1159

См. Этногенез и этносфера // Природа. — 1970. № 1. с. 46–55, № 2. с. 13–50. — *прим. ред.*

1160

См. дискуссию: 1) Бромлей Ю. К. К вопросу о сущности этноса // Природа. — 1970. — № 2. с. 51–55; 2) Семевский Б. Н. Взаимодействие системы «Человек и природа» // Там же. — № 8. с. 74–75; 3) Дроздов О. А. Этнос и природная среда // Там же. с. 75–76; 4) Куренной В. Н. Пассионарность и ландшафт // Там же. с. 76–77; 5) Козлов В. И. Что же такое этнос // Там же. 1971. — № 2. с. 71–74; 6) Кузнецов Б. И. Проверка гипотезы Гумилева // Там же. с. 74–75; 7) Артамонов М. И. Снова «герои» и «толпа»? // Там же. — с. 75–77; 8) Ефремов Ю. К. Важное звено в цепи связей человека и природы // Там же. — с. 77–80; 9) Гумилев Л. Н. Этногенез — природный процесс // Там же. — с. 80–82; 10) Бромлей Ю. В. Несколько замечаний о социальных и природных факторах этногенеза // Там же. — с. 83–84 — *прим. ред.*

1161

Выступление на гражданской панихиде — прощании со Львом Николаевичем Гумилевым, состоявшемся в Русском Географическом обществе.

1162

В статье слова, цитаты Л. Н. Гумилева выделены курсивом.

1163

См. родословную Л. Н. Гумилева на вклейке.

1164

Помню, Л.Н. рассказывал, что у него было осколочное ранение. Снаряд попал в деревянный пол, осколок отскочил и попал ему в нос. Но рана была небольшой, все обошлось. Поэтому и не отражена в Книге учета личного состава, также как и история с банкой варенья — см. воспоминания Л.Н. на стр. 21 этой книги.

1165

Публикуется по изданию: 1941–1945. Ленинградский университет в Великой Отечественной войне. Л., ЛГУ, 1990, с. 282.

29 марта полк находится в городе Визен на берегу Одера. До 16 апреля все четыре батареи полка «держат», то есть охраняют от вражеских самолетов две переправы через реку. Под интенсивной бомбежкой сбивают «фоккерсы» и «юнкерсы». Отогнав противника, наступления на этом участке фронта 61-я армия не развивает. Но 1 апреля поступил приказ на передислокацию под Франкфурт-на-Одере. Артиллерия шла своим ходом, так как было получено минимальное количество железнодорожных эшелонов.

1166

Л. Н. Гумилев боевых наград не имел, видимо, в связи с обстоятельствами прошлой жизни. Был награжден несколькими почетными грамотами, медалями «За освобождение Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», юбилейными медалями.

1167

Текст приведен по книге М. Кралина «Победившее смерть слово». Томск, 2000.

Проявляется это в форме искажений важнейших положений ПТЭ, например, природные системные и жизнеутверждающие установки подменяются жизнеотрицающими; этничность — поведенческий признак, заменяется расовыми моментами; естественная наука этнология — мистическим наукообразием, а евразийство, сложившееся из комплиментарности наших предков, — территориальным принципом проживания и т. д.

1169

Текст выступления 16 ноября 1992 г. на общем собрании Московского отделения Русского географического общества и 4 декабря 1992 г. в Центральном доме литераторов. Впервые опубликован в «Известиях Русского географического общества» (1994, № 1). Печатается с сохранением особенностей авторской орфографии.

1170

См.: «Наш современник», 1997, №3, с. 193.

Об этом профессор С. Б. Лавров позднее рассказал в книге «Лев Гумилев: судьба идеи».

1172

См.: «Коммерсант-Daily», 4 октября 2002 г.; «Известия», 2 октября 2002 г.

1173

«Час пик», 1991, №3.

1174

Фрагмент из книги «Мой Псков».

1175

Диалог Л. Н. Гумилева и Д. М. Балашова «В какое время мы живем» (запись в 1990 г. провела Л.Антипова) см. в сборнике «Чтобы свеча не погасла» (М., Айрис-пресс, 2002, с. 80–108).

Кстати, об энергетической природе человеческой деятельности догадывались еще православные монахи XIV столетия, исихасты, считавшие «энергии» орудиями Божества, с помощью коих Господь творит зримый мир, и что именно энергии, пронизывающие материю, являются основою всего сущего. Положение, считавшееся «реакционным» в советской историографии, хотя и блестяще доказанное новейшей физикой, в частности квантовой теорией.